

|| ∞ ||

МИР

НОВОБЫИ

*Республика
Узбекистан*

1971 ||

НОВОБЫИ МИР

8



1971

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 8

Август. 1971 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Версты любви, роман	3
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Секунды, стихи	51
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Долгое прощание, повесть	53
БОРИС ПАСТЕРНАК — Стихи и переводы. Из литературного наследия	108
ЖАН-ЛУИ КЮРТИС — Молодожены, роман. Перевела с французского Л. Лунгина	118

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ — У дяди Тимохи	162
----------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ — No parking!	192
---------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. СТАРКОВ — На ветрах истории (Трилогия Константина Федина)	227
У. ГУРАЛЬНИК — Достоевский и современность. Писатель, его наследие и исследователи	240

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	254
И. Борисова. В поисках друга.— В. Сквозников. Стиль — вопреки моде.— Ю. Данилин. Книга отчаяния и непокорности.	

<i>Политика и наука</i>	261
-------------------------	-----

А. Кунина. Диалектика милитаризма.— Р. Баландин. Судьбы одной гипотезы.— Ф. Видрашку. Мир без надежды.— Д. Шалин. О понимании человека человеком.	
--	--

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	277
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Морозова.— Илья Штемлер. Уйти, чтобы остаться. ♦ Е. Полякова.— Н. А. Крымова. Станиславский-режиссер. ♦ Я. Билински.— Е. Краснощекова. «Обломов» И. А. Гончарова. ♦ Н. Беккерман.— Феликс Лев. Перед школой. Книга для родителей ♦ Е. Луцкая.— Подвиг актера. Талант и мужество	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
«НОВЫЙ МИР» В 1972 ГОДУ	287

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ВЕРСТЫ ЛЮБВИ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я не люблю приезжать в незнакомый город ночью, особенно когда льет дождь, автобусы уже не ходят, кроме, разумеется, дежурных, в которые обычно набивается много разного народу: запаздывающего, угрюмого, неразговорчивого, неохотно отвечающего или вовсе ничего не отвечающего на вопросы, а тебе даже приблизительно неизвестно, где, на какой площади или улице расположена гостиница, да и номер в этой гостинице не заказан, а есть ли свободные или нет, никто сказать не может, но кроме как в гостинице ночевать негде, ни родных, ни близких, ни даже мало-мальски знакомых в городе нет, и ты смотришь на стекла автобуса, по которым стекают, поблескивая в свете уличных фонарей и витрин, дождевые капли, и нерадостные мысли о тягостях командировочной жизни, о частых поездках (есть же, однако, люди, которые завидуют этим поездкам!) проникают в сознание, и ты уже недоволен жизнью, собой, своей однажды выбранной профессией, всем на свете. А профессия — что же обижать ее? Можно было не отрываться от земли, как твои друзья, закончившие в свое время вместе с тобой сельскохозяйственный техникум, а затем институт и как сам ты начинал когда-то, именно когда-то, лет, однако, девятнадцать — двадцать назад, когда были еще свежие следы недавней войны и деревенские ребятишки играли в «Сталинград» и «рейхстаг», а женщины, не веря похоронным, выходили на полустанки и станции встречать пассажирские поезда и воинские эшелоны; да, в памяти возникают именно те, первые после окончания техникума годы работы, когда ты вставал еще не по будильнику, как теперь, в уже привычной городской жизни, а поднимался с зарей, вместе со всем колхозным народом, как будто что-то подталкивало, будило, словно слышно было, как шевелилась, втягиваясь в ритм долгого трудового дня, деревня, и ты, еще не совсем проснувшийся, в сапогах и брюках, выбежав во двор, до пояса окатывался холодной колодезной водой. А за вербовыми плетнями, за огородами, что разделены неполотыми зелеными межами (эти огороды были, как мне всегда казалось, остатком той, череполосной России), виднелась по взгорьям черная пахотная земля; она словно проступала, прояснялась сквозь стекавший в низины белый, но уже редющий утренний туман, и, я думаю, есть что-то притягательное в этом виде черной земли, есть какое-то даже, пожалуй, необъяснимое или, вернее, не вполне объяснимое чувство огромной, неувыдаемой, не страшнейшей никаких невзгод силы жизни. Поля становились зелеными, потом желте-

ли, когда пшеница, налившись зерном, опускала долу колос и, взвихривая серую предосеннюю пыль, плыли по этим взгорьям комбайны, сновали машины, отвозившие в кузовах на ток зерно, и ветерок по утрам, теплый, сухой, хлебный, врываясь в подворье, обдувал, охлаждал, заветривал облитые водою лицо, шею, грудь, плечи, спину. Чувство это неповторимо. И странно: тогда, в те годы, когда все это происходило, не было такого ощущения полноты жизни, как теперь, или, точнее, как потом, когда только вспоминалось что и как было. Но отчего человек так устроен, что нет, в сущности, для него осознанного счастья, а вечно он к чему-то стремится, что-то ищет, ждет, тогда как надо остановиться и жить! В каком смысле остановиться? Не вообще, не на достигнутом, как принято говорить у нас теперь, — не это я имею в виду; остановиться в том смысле, что не искать себе иного рая, а работать и украшать землю, на которой живешь, в себе чувствовать ее неуязвимую силу и уметь радоваться траве, воде, ветру, солнцу. Те самые распаханые черные взгорья, что открывались взгляду со двора, я исходил вдоль и поперек за то недолгое время, пока работал в Долгушине, которое находилось километрах в пятнадцати от центральной усадьбы колхоза и в ста пятидесяти, это уже к слову, от ближайшей железнодорожной станции. Далековато? Да, и я так думал; только теперь вот, вспоминая, думаю иначе. В сапогах по стерне, по распаханному под зябь клевернику, по клиньям озимой, проверяя заделку семян, в дождь, ветер, когда все небо обложено низкими осенними тучами и нет, кажется, и не будет просвета, и не будет конца этому окладному дождю, в зеленом брезентовом плаще с откинутым капюшоном (в таких рисуют теперь лишь районщиков, посмеиваясь над ними и над неуклюжестью их одежды, а напрасно, потому что именно она, эта одежда, остается незаменимой и до сих пор на селе), — я часто снова вижу себя на долгушинских взгорьях, и на душе становится тревожно, тоскливо. Как солдат, пришедший с войны, хранит свою выдавшие виды старую, потертую, иссеченную осколками шинель, так храню я тот зеленый брезентовый дождевик с капюшоном, и каждый раз, когда, переключивая, беру его в руки, мне бывает приятно чувствовать его грубость и слышать его особенный жесткий шорох; он кажется мне промокшим, как и в оные времена, и крупные капли, дробясь, будто стекают с него на пол. «И этот дождь, что за окном автобуса, и тот, что хлестал на полях, и вообще... кому-то надо же работать и в управлении!» — говорю я себе в такие минуты для утешения и оправдания. Но грустное настроение и воспоминания продолжают идти своим чередом, и все более жизнь кажется направленной не по тому руслу, по какому бы надо, а цель — неясной, скрытой, как та гостиница в дождевом мраке ночи, в которую везет тебя автобус и в которой еще неизвестно, есть ли свободный номер или нет его.

«Да скоро ли она, эта гостиница?»

«Смотря какая. У нас в городе две: «Заря» и «Колос».

«Мне все равно; которая ближе».

«Вам лучше в «Колос». Это два квартала, если вы сойдете на площади Партизан, а если немного раньше, на углу Пролетарского проспекта, возле универсама, то вам придется...»

Слава богу, на сей раз повезло, сосед по сиденью оказался отзывчивым, и я с благодарностью смотрю на него и слушаю, что он говорит; я все понимаю, как нужно идти, где повернуть налево, где направо, мимо какого киоска и какой витрины, но — это лишь кажется, что все понятно; как только ты вышел из автобуса и очутился один на мокром асфальте, среди редких уже огней, среди незнакомых темных домов, мрачно возвышающихся на таком же ночном мрачном дождевом небе, все ориентиры вдруг как бы исчезают, и ты уже не видишь того киоска, о котором говорили тебе, и витрина давно уже не горит, а за углом направо здание ока-

зывается вовсе не таким, как оно было обрисовано, и ты идешь, захлестываемый дождем и ветром, несешь в руке свой надоевший и кажущийся тяжелым чемодан, произносишь про себя не раз говоренное и переговоренное: «Ну и выбрал же ты себе жизнь!» — и уже мысли о доме, семье, о тепле и уюте, который ты вынужден был оставить ради этой, может быть даже незначительной, во всяком случае, конечно же, не срочной командировки, постепенно возникают и заслоняют собой все. Я знаю, есть любовь к земле, к родным местам, к Долгушинскому отделению например, как у меня, где прошли самые счастливые, как я уже говорил, годы моей жизни, но есть еще любовь к жене, детям, и она так же сильна и так же порой необъяснима (говорят же: «Что он нашел в ней: и не броска, и не красива, и характером строга, а вот поди ж ты — нашел!»), как десятки других человеческих привычек и слабостей; она необъяснима и во мне, но она есть, и я рад, что она есть, и в трудные и одинокие, как теперь, минуты я вижу комнату, где лежит Наташа, вижу тусклый розовый ночничок, без которого ни она, ни дети, когда остаются одни, не могут спать, и весь уклад жизни, все, что повторялось изо дня в день, будничное и незаметное, открывается вдруг как бы новою, неведомою раньше стороною, становится ближе, дороже, роднее. И хотя гостиница уже найдена, и тебя определили, может быть не в лучший, но все же в довольно приличный номер, волнения кончились, и ты лежишь, укрывшись холодным казенным одеялом, но долго еще не можешь заснуть, потому что воспоминания так навязчивы и так приятны, что тебе не хочется ни выключать стоящую на тумбочке лампу, ни ворочаться, ни разглядывать обои в незнакомой комнате, а шум дождя за окном уже не вызывает тревоги, и весь ты как бы переходишь в иной и привычный тебе мир, каким жил только что, день назад, перед тем как ехать сюда, но с той лишь разницей, что все, что ты делал и о чем думал дома, ты повторяешь сейчас как бы на виду у себя, в воображении, и даешь всему другие, порой удивительные и неожиданные оценки. Я люблю эти минуты; они мне кажутся откровением перед самим собою, чего лишены мы в повседневной нашей жизни, вечно стремясь, спеша, суетясь и, в конце концов, не успевая, в сущности, сделать ничего значительного.

Я вижу свой дом в нешумном городском проезде, как будто, возвращаясь с работы, подхожу к нему со стороны сквера, и зеленые ветви лип, свисающие к земле, обтекают лицо, плечи, и кажется, что так и веет от них сыростью и свежестью леса, чем-то грибным, устоявшимся, знакомым еще с далеких детских лет, и усталость дня словно снимается с плеч; особенно когда ручной косилкой, жужжалкой, как еще называют ее в народе, постригают травяные газоны, полянки, и тогда, как со скошенных лугов, тянет запахом подсыхающего сена, я остаиваюсь и с наслаждением вдыхаю этот редкий в условиях городской жизни и, надо добавить, дорогой, бесценный воздух. Я стою и смотрю на дом, машинально отыскивая взглядом балкон на шестом этаже и окно своей квартиры, и чувство удовлетворения, что живу именно здесь, в лучшем, по моему твердому убеждению, и самом зеленом квартале города, и что — не просто живу, а достиг чего-то, заслужил, заработал, хотя бы квартиру в этом вот месте и этом будто плечом выдвинутом на улицу кирпичном доме. Но сейчас я лишь наблюдаю за собой — тем, стоящим в сквере, и наблюдать приятно, и приятно испытывать то знакомое чувство. Когда я выхожу с работы, всегда звоню жене: «Иду!» — и эта уже укоренившаяся привычка тоже представляется теперь особенной; там, со сквера, откуда я смотрю на дом, я вижу открытую форточку в кухонном окне и знаю, что Наташа в эту минуту собирает на стол. Накормить семью, накормить человека — это не просто. Чаще всего мы не задумываемся над этим, а садимся за стол, берем ложку или вилку и начинаем есть, улыбаясь и не замечая, как вкусно все приготовлено, и, конечно же, не спрашивая,

сколько потрачено на этот обед или ужин времени и усилий, сколько вложено выдумки, старания и любви; нам важно, что все это есть на столе и что есть еще вечерняя газета, кресло, в котором можно, откинувшись и вытянув ноги, посидеть, получитая, полудремля, часок, или поволноваться у телевизора, когда идет передача кубкового матча, и все это не только не представляется предосудительным, но кажется, что ничего иного и не может быть, что в этом и заключаются теплота и уют семейной жизни. Я тоже по вечерам сижу в кресле и просматриваю газеты, и теперь, лежа в номере на гостиничной койке, с удовольствием думаю, что и у меня есть такая возможность; но вместе с тем именно здесь, на отдалении, жизнь как бы выходит из личных рамок, и ты чувствуешь не только себя, вернее, не столько себя, как близких, родных тебе людей, и жизнь их становится тебе понятней, дороже и трогает душу. Десятки раз я открывал дверь Наташе, когда она по воскресным дням, возвращаясь из магазинов, входила в прихожую с переполненными и оттягивающими руки сумками, и открываю ей теперь, в воображении, но только теперь я вижу, как белы от напряжения ее пальцы, слышу вздох облегчения, когда она ставит на пол сумки, и вижу слегка бледноватое, усталое, но иногда счастливое (счастливое тем, что удалось достать что-то вкусное к обеду) лицо, и мне ясно, чем она живет, что думает, чувствует, и оттого, что ясно все, и еще более оттого, что я знаю, что делается это от любви ко мне, к семье, и делается с добрым чувством, я не просто удовлетворен, но испытываю то маленькое счастье, какого часто бывает достаточно человеку, чтобы быть довольным судьбой.

Наташа не работает в школе. и уже давно, с того года, когда у нас появился второй ребенок. Мы не спорили, увольняться ей или нет; перед нами не стоял вопрос, что лучше: воспитывать детей или иметь трудовой стаж, чтобы под старость получать пенсию; все произошло как-то само собою, просто и незаметно, как того требовали обстоятельства и домашние дела. Я и теперь никогда не думаю об этом. В каждой семье, очевидно, жизнь складывается по-своему, в зависимости от того, есть ли бабушки и дедушки, кто и, главное, как они; мы же с первого дня жили отдельно, вдвоем, самостоятельно, и все приходилось делать самим, постигать премудрости семейной жизни, и это тоже обычно накладывает свой отпечаток на воспоминания. Я вижу своих девочек Валя и Ларочку в тот момент, когда они, одетые в чистенькие школьные формы, в коричневых платьицах и черных отутюженных фартучках, с желтыми портфелями в руках, готовятся идти в школу, и Наташа еще хлопочет возле них, поправляя белые нейлоновые воротнички, красные галстуки и коричневые ленточки в косичках; я смотрю на них издали, находясь возле открытой кухонной двери, одним ухом как бы прислушиваясь к тому, о чем вещает радио в последних известиях, а другим — о чем говорят Валя, Ларочка и Наташа, чему улыбаются, что забавляет и веселит их, и может быть, не столько тогда, в минуту, когда все происходило, как теперь, чувствую, как дорога и приятна мне эта будничная, самая обычная сценка семейной жизни, и что, не будь этого, не будь Вали, Ларочки, Наташи, жизнь оказалась бы неполной, движущейся не в том направлении, как это только что казалось мне, когда я думал и вспоминал о Долгушинском отделении и черных вспаханных долгушинских взгорьях. Валя учится в пятом, Ларочка в четвертом; но дело в том, что и мы с Наташей учимся вместе с ними, как бы заново проходим школьную программу. Прежде я не знал, что люди в большинстве своем дважды оканчивают десятилетку: один раз сами, второй раз вместе с детьми, а иногда и третий раз — уже с внуками; но теперь я глубоко убежден в этом и говорю себе: «Ну что же, коль так устроена жизнь, я принимаю ее и радуюсь ей». То Валя, то Ларочка после полудня, когда готовят уроки, часто звонят мне на работу.

«Папочка, не получается...»

«Что же у тебя не получается?»

«Задача».

«На движение?»

«Да».

«А ты двигайся, раз на движение, не сиди на месте».

«Ты шутишь, а мне не до шуток».

«Ну, раз не до шуток, то давай уж, читай условие, кто там у тебя или что движется от пункта А до пункта Б?»

Ничего не поделаешь, приходится записывать условие задачи и, отложив все, высчитывать, с какой скоростью движутся от А до Б велосипедисты, автомашины, пароходы, где, на каком километре и в каком часу могут они встретиться, отправившись одновременно или в разное время навстречу друг другу, или еще что-то в этом роде, часто настолько замысловатое и запутанное, что не так-то просто отыскать верный ход решения. Иногда приходит Петр Семенович из соседнего кабинета. Разумеется, приходит по служебным делам, но и у него есть в доме ученики, ему тоже случается решать задачи. «Ну-ка, я посмотрю,— говорит он,— может быть, точно такая же, какую вчера Виктору моему задавали». Бывает, что такая, а бывает и нет, и мы уже вместе испещряем цифрами белые листы бумаги. «То ли еще будет, когда начнутся алгебра и логарифмы!» Да, пожалуй, то ли еще будет! Но я с улыбкой смотрю на это будущее; я мысленно говорю сейчас в трубку: «Валюша, Ларочка, берите тетрадки и карандаши» — и диктую решение. Я слышу их радостные голоса, вижу их лица и вижу склонившегося над столом Петра Семеновича, и все это вызывает во мне улыбку. А свет все еще горит в номере, ровные края металлического абажура, падая полукругом на стены, как бы делят комнату на две части по горизонтали, на два пласта, светлый и темный, и я лежу в нижнем, светлом, и думаю, что, может быть, оттого и светлы и приятны сейчас мои воспоминания.

В Калининичи я приехал тоже поздно, хотя, правда, не было дождя. а стояла теплая и ясная летняя ночь, но зато не было и свободного одноместного номера в гостинице, и меня определили в двухместный, в котором, как пояснила администраторша, жил хороший, спокойный человек, и что с ним даже интересно будет познакомиться. «Какой уж интерес,— про себя говорил я, открывая дверь и осторожно входя в номер.— Лишь бы не храпел, и то ладно».

В номере было темно; только постояв немного и приглядевшись, я увидел свободную кровать и направился к ней. Раздеваясь и устанавливая чемодан, я старался делать все так, чтобы не шуметь, и, кажется, ни разу не задел ни за угол стола, ни за ножку стула, и мне было удивительно, когда спавший как будто человек (так мне показалось, потому что за все время, пока я ходил и раздевался, он ни разу не пошевелился) неожиданно громко и совсем не сонным голосом сказал, обращаясь ко мне:

— Зажгите свет, не стесняйтесь, я все равно не сплю.

— Ничего, уже не надо, спасибо,--- ответил я, так как и в самом деле зажигать свет было уже ни к чему.— Бессонница? — спросил я затем, ложась и натягивая не плечи одеяло.

Говорить мне, откровенно, не хотелось, я произнес это так, к слову, лишь бы сказать что-то человеку, с которым придется теперь жить несколько дней вместе; так же, как и он первую свою фразу, я уже теперь, заранее, как бы спешил выказать расположение к нему, чтобы эта наша случайная совместная жизнь уже завтра с утра не оказалась ни мне, ни ему в тягость.

— Да,— сказал он.

— Давно страдаете?

— Нет. Иногда, временами.

— Ну, это еще не худший вариант. Хотите, я дам вам совет: ложка меда на стакан теплой воды, и до звонка будильника вас уже ничто не разбудит.

— Вы думаете?

— Уверен,— подтвердил я.

«Какие-нибудь неприятности, неудачная командировка, но что же тут переживать? Мало ли чего в жизни не бывает? Надо смотреть на все проще, философски»,— уже про себя закончил я, поворачиваясь на бок и закрывая глаза, и вместе с тем как бы сразу отходя от этого реального мира, и не видя уже ни сумрачных стен, ни зашторенных гардинами окон, и не думая о соседе, которого бог весть отчего мучает бессонница; на завтра мне самому предстояло много дел, в том числе несколько довольно серьезных встреч с работниками исполкома и руководителями Сельхозтехники, и я принялся размышлять, как лучше организовать день, к кому пойти прежде и к кому потом, чтобы за отведенные трое суток, которые должен буду прожить в Калининвичах, успеть сделать все дела. «Надо непременно успеть,— говорил я себе,— так как потом, в поездке по колхозам, уже невозможно будет натянуть день, но и не вернуться домой к сроку нельзя: у Ларочки день рождения, она будет ждать, и все в доме будут ждать, ведь я обещал, и еще надо подумать о подарке. Но что купишь в Калининвичах? Да хоть что-нибудь, ведь это будет из другого города, а значит, и памятно. И Валюше что-то надо, как же»,— продолжал я, как обычно, думая уже только о доме, вспоминая жену, дочерей. «Да,— уже почти сквозь сон мысленно проговорил я,— я не сказал соседу, что самое лучшее средство от бессонницы — это воспомина- ния. Завтра непременно надо будет сказать ему об этом».

Утром, когда я проснулся, соседа моего в номере уже не было. Он ушел, очевидно, по своим делам, и я вскоре тоже забыл о его существовании; но прежде — я обратил внимание, что кровать его была заправлена аккуратно и что ни на стульях, ни на тумбочке не висели рубашки и не валялись галстуки, а все было прибрано, и даже вчерашние газеты были сложены на столе ровной стопкой. «Это уже неплохо,— подумал я.— Аккуратность — черта хотя и не исключительная, но кое-что говорящая о характере человека». У нас почему-то принято считать, и чуть ли не с петровских времен, что аккуратность, пунктуальность, определенный и размеренный ритм жизни не имеют ничего общего с натурой нашего человека, что все это наносное, привезенное из-за границы, немецкое, тогда как это чистейший вздор, выдумки людей, которым хочется скрыть свой иногда далеко не упорядоченный образ жизни, и они приписывают народу какую-то якобы исконную разгульную бесшабашность, а в сущности — небрежение к себе, к будущему; я должен сказать, что, по крайней мере, во всех тех людях, с кем сводила меня дорожная судьба, я всегда чувствовал (как, впрочем, всегда чувствовал и в самом себе) постоянное стремление к ровной, размеренной жизни, к аккуратности и красоте, и это представлялось мне естественным так же, как земля, небо, деревья, дома — все то, что окружает нас и составляет основу нашего бытия. Нет, аккуратность — это не порок, и такие люди всегда производят на меня хорошее впечатление. Прежде всего они добры и чутки к ближним. Так подумал я и о своем соседе по номеру, которого по-настоящему и разглядеть-то не успел вчера среди ночи; когда же потом сблизился с ним, только сильнее укрепился в своем мнении. Мне показались отмеченными: каким-то особенным вкусом (вкусом в подборе вещей) и лежавший на подставке чемодан с чехлом, и куртка с застежками-«молниями» на плечиках в шифоньере; по вещам обычно в какой-то мере можно опреде-

лить возраст их владельца, и я подумал, глядя особенно на куртку, что сосед мой — человек еще довольно молодой, может быть лет тридцати, не старше. Откровенно говоря, я больше люблю беседовать с молодыми людьми, потому что тут встречаешься как бы с новым для себя видением мира, и это новое видение даже будто чем-то обогащает тебя; мне приятно было сознавать, что я проведу вечер в обществе молодого человека. Но я ошибся, посчитав своего соседа молодым; вечером, когда вошел в номер, я увидел совершенно иного, чем представлял себе, человека, и прежде всего поразила меня густая шапка седых, почти белых волос.

— Добрый вечер,— сказал я, удивленно рассматривая его.

Я стоял в прихожей, в тени, снимал пиджак, и думаю, что он не заметил этого удивленного выражения на моем лице; он встал и, сделав несколько шагов навстречу, протянул худую, белую и мягкую, какие бывают лишь у людей, не занимающихся физическим трудом, руку.

— Евгений Иванович Федосов,— представился он, четко, как старый военный, выговаривая каждое слово.— Вы ужинали? — сейчас же спросил он, как только я назвал себя.

— Нет еще.

— Может быть, составите компанию? Спустимся вниз, в ресторан, кухня здесь неплохая.

Ужинать мне еще не хотелось, я чувствовал себя усталым после какого-то особенно хлопотливого, как мне казалось, сегодняшнего дня, и желал лишь одного: постоять под душем, переодеться и полежать, вытянув ноги и заложив руки за голову, поразмышлять, что удалось и чего еще не удалось сделать, но — как ни сильно было во мне это желание, я все же не смог отказать Евгению Ивановичу, может быть, потому, как он смотрел на меня, приглашая, может быть, по тону голоса, как он произнесил слова, может быть, еще по каким-нибудь иным признакам, не замеченным мною тогда, сразу, поняв искренность и доброту его намерения; я лишь попросил его дать мне возможность надеть светлую рубашку и галстук, и через несколько минут мы уже входили сквозь раскрытые стеклянные двери в небольшой, обставленный цветами вдоль окон зал ресторана. Народу было еще не много, было не накурено, не шумно, музыканты еще не играли, и охрипшая певица в платье до полу и с микрофоном в руке (ничего иного я никогда не видел в гостиничных ресторанах; очевидно, и здесь должно было происходить то же) еще не появлялась, и какая-то атмосфера чистоты, свежести и уюта царила в зале; официантки улыбались, начиная свой трудный вечерний бег, было приятно смотреть на их еще не помявшиеся фартучки, на белые салфетки, пирамидами уложенные на столиках, и предвкушение ужина уже само собою поднимало настроение. Евгений Иванович шагал впереди. Он знал здесь все и шел к своему излюбленному месту, а я смотрел на его как будто сухошавую, но широкую спину, на скрещенные позади белые на фоне темного пиджака руки и думал, что есть в этом человеке что-то противоречивое, что по сложению он должен бы заниматься физическим трудом, но он занимается, как видно, умственным и так же, наверное, как и я, как многие в наше время, тяготеет своею сидячею работой. «Вот уж где она, проблема века,— мысленно произносил я.— Мы сами лишаем себя движения, изобретаем машины, называем это прогрессом, и никто и ничто не сможет остановить этого прогресса. Человечество стремительно несется вперед, а человек испытывает неудобства. Странно и непостижимо. Однако кем он работает? Какие дела привели его в Калининчи?»

Как только мы сели за столик, я тут же спросил его об этом.

— Преподаю,— ответил он.

— Где?

— В техникуме.

— Что?

— Математику.

Он говорил как будто с неохотою, может быть потому, что перелистывал меню; но мне молчание представлялось неловким, и я снова, когда официантка приняла заказ и отошла, спросил:

— Вы были на войне?

— Да. Но почему, собственно, вы задали этот вопрос?

— Смотрю на вашу раннюю седину.

— А-а...

— Мне кажется, с левой стороны у вас волосы темнее, меньше седины, а с правой — светлее. Такое бывает только после контузии.

— Не только. Но у меня — да, после контузии.

Сказав это, он опять замолчал; он и ел молча, когда подали заказанные бифштексы, и только время от времени каким-то долгим и внимательным взглядом смотрел в зал, на столики, будто искал или ждал кого-то; он шурился, и на бледном лице его, у глаз, собирались морщины. Я тоже несколько раз невольно оглянулся на зал, потому что любопытно было увидеть, кого искал взглядом этот седой человек, но, разумеется, я ничего не мог увидеть, кроме того, что зал все более наполнялся посетителями, а над столиками уже поднимались облачка табачного дыма, и я лишь яснее ощущал запах вина и жареного лука и отчетливее слышал сливавшийся в один сплошной рокот говор пришедших отужинать и поразвлечься людей.

— Вы кого-нибудь ждете? — наконец не выдержав, спросил я.

— Нет.

— Вы по каким делам здесь в командировке?

— Я не по делам и не в командировке. Я отдыхаю здесь.

— Отдыхаете?!

— Вы удивлены? Впрочем, вы удивитесь еще больше, — так же неторопливо и все еще будто с неохотою продолжил он, — если я скажу вам, что вот уже почти пятнадцать с лишним лет, — он чуть подумал, как бы прикидывая, верна ли названная им цифра, — да, пятнадцать с лишним лет подряд я каждый год провожу свой отпуск в этом городе. Родных у меня здесь нет, отдыхать, сами понимаете, негде, а вот приезжаю. Вы спросите, почему? Что за причина? Причина есть, конечно, но что о ней говорить! Она личная и вряд ли кому-нибудь будет интересна.

— Отчего же, — возразил я. — Я с удовольствием послушаю, тем более что-нибудь связанное с войной.

— И с войной, и после... да стоит ли? Я никогда и никому не рассказывал, но если у вас есть желание?..

— Конечно, — подтвердил я.

— Только не здесь, не среди этого шума и чада. Вернемся в номер, и если у вас по-прежнему будет желание...

— Разумеется, — снова подтвердил я.

Я давно заметил, и заметил это прежде всего по себе, что чужая жизнь всегда интересна людям; я люблю слушать, особенно про войну. Чувства, которые пережили люди в те годы, наверное, неповторимы; но вместе с тем каждый раз, когда я слушаю рассказ старого военного, мне кажется, что я понимаю, что испытывал он в разные минуты боя, и именно это, что понимаю и как бы сопереживаю с ним, это всегда оставляет в душе приятный и неизгладимый след. «Ну что ж, будет неплохой вечер», — про себя говорю я, глядя на Евгения Ивановича и все более убеждаясь в том, что, должно быть, что-то интересное и чрезвычайное было в жизни этого человека. Но то, что услышал я, когда мы, придя в номер, устроились в креслах друг против друга у полуоткрытой балконной двери, превзошло все ожидания и предположения; мне и теперь ка-

жется, что я не просто слушал и смотрел на Евгения Ивановича, но слово сам принимал участие в тех событиях, о которых рассказывал он. Мы сидели так, что я хорошо видел его лицо, которое сначала было освещено еще ярким предзакатным уличным светом, а потом, когда стемнело, — и люстрой, и зажженной за моею спиной на письменном столе голубою настольною лампой; я видел его глаза, руки, которые он большей частью держал на коленях, то сцепив пальцы, то просто положив ладонь на ладонь; в голосе его не было особенной взволнованности, он говорил ровно и даже как будто спокойно, но за каждым словом чувствовалась большая наболевшая правда. Он рассказывал все так, что ни о чем не нужно было дополнительно спрашивать, и за весь вечер я, кажется, не произнес ни одного звука, слушая Евгения Ивановича.

Час первый

— Прежде мне часто казалось, что жизнь человеческая состоит из цепи случайностей, — начал Евгений Иванович. — В детстве, например, я мечтал стать военным. Дело доходило до смешного. Бывало так: идем куда-нибудь с матерью по городу, и не дай бог если навстречу попадетсЯ колонна солдат. Стану будто вкопанный и смотрю, как идут бойцы, и тут уже никакая сила не сдвинет меня с места, пока колонна не скроется за углом. Мечтал, думал, фантазировал, знаете ли, в своем мальчишеском воображении, а в жизни все получилось иначе — не только до генерала, но и до капитана не дослужился, и не по своей, разумеется, вине. А вот еще, если хотите: в школе я больше всего любил географию и ботанику, а в педагогический институт поступил на факультет математики. Почему? Да потому, что когда был на подготовительном курсе, мне понравились уроки, которые давал математик Иван Иванович Ким. Кореец. Он так увлекательно и так виртуозно доказывал теоремы, что не только я, многие из нашего потока поступили тогда на математический. А если бы не было Кима, а был кто-то другой? Десятки раз можно сказать «если», но суть от этого вряд ли изменится. Когда я уходил на фронт, была у меня невеста, ну, может быть, не совсем невеста, договоренности между нами не было, но я любил ее, и мне казалось, что я женюсь только на ней, Рае Скворцовой, и что никого на свете, кроме нее, мне не надо, я и прощался больше с ней, чем с матерью, и письмо первое с фронта написал ей, но ведь в жизни не получилось так, как было задумано, и опять, если хотите, виновата какая-то нелепая случайность. Вот здесь, в Калининчиках, во время войны я встретил другую девушку, Ксеню, и она сразу как бы перечеркнула все мои мечты и планы, но и с ней не свела меня судьба близко, и живу я сейчас ни женатый, ни холостой, а так, что-то между: вроде и дом есть, и женщина в доме, и в то же время такое ощущение, словно все вокруг тебя пусто, какая-то тяжесть, какая-то постоянная тревога на сердце; в таких случаях говорят — томится душа, и это, мне думается, очень точное выражение. Вроде и работа есть, специальность, и как будто люблю я свою работу — какой еще вы найдете на свете более удивительный и податливый материал, чем дети! — а удовлетворения и спокойствия нет. Когда в Чите — думаю о том, что здесь, в Калининчиках, тянет сюда (я же читинец, сибиряк); когда здесь — начинаю волноваться, что и как там, дома, и тянет туда. Так и мотаюсь, а почему? Что это, безволие? Эгоистическое желание чего-то такого, что выше обычных человеческих потребностей и чего, собственно, не может дать жизнь? Или — от большого чувства? Но что такое большое чувство и зачем оно, если не приносит человеку удовлетворения и счастья? Не берусь, разумеется, утверждать, но полагаю, что еще более неисследованными, чем космос, являются человеческие чувства. Как они возникают, от чего зависит все, почему, к примеру, мне нравится синий цвет,

а другому зеленый? Природа любви, долга, чести? Все написанное об этом (по крайней мере, из того, что я прочитал) можно сравнить лишь с понятием «степь широка». Да, степь широка, но не больше, да, у человека есть любовь, но что это за сила, как измерить, скажем, ее мускулы, величину, измерить, в сущности, душу, некий такой абстрактный, нематериальный, как принято считать, комочек человеческих переживаний, — тут уж мало сказать только, что «степь широка».

Я не психолог, а математик, и, может быть, многие суждения мои покажутся вам дилетантскими, но дело не в этом; скажите, вы смогли бы объяснить, почему — вы женаты? — почему, допустим, вы полюбили эту женщину, которая стала вашей женой, а не какую-нибудь другую, почему именно она представлялась вам, может быть, представляется и теперь самой лучшей, доброй, единственной и неповторимой, тогда как вокруг, стоит лишь оглянуться, живут десятки других красивых женщин и, очевидно, не менее добрых, но они не прельщают вас, вы равнодушно проходите мимо — почему? Можно пуститься сейчас в воспоминания и перечислить многие достоинства вашей супруги, которые, кстати, выявились уже потом, в совместной жизни, как, впрочем, и некоторые неприятные черты (они есть у каждого человека!), но ведь в то время, когда вы впервые встретились с ней, вы же ничего этого не знали, ну, в лучшем случае, что-то предполагали, а в общем-то, какая-то совершенно необъяснимая сила тянула вас к этой женщине. Что это за необъяснимая сила? Она же была в вас, вы носили ее? Она была и во мне, возникла и угасала, вы понимаете, во мне самом, не то чтобы где-то в космосе, а я не знаю, что это такое, не могу постичь.

Конечно, проще всего сказать: такова природа человека, и это тоже будет объяснение. Но разве оно дает возможность мне управлять моими чувствами, приводить их в соответствие с разумом? Я понимаю, что, допустим, мне нельзя любить ее, нельзя, а я люблю; или, напротив, знаю, она хорошая и достойна большой любви, знаю, что ее надо любить, а не могу. Не могу! И это, знаете, страшно.

Вы не думайте, что я занимаюсь каким-то исследованием в этой области; я говорю вам сейчас об этом потому, что мне самому выпала на долю такая жизнь, эти волнения, и вот теперь, к сорока пяти годам, когда, видите, я уже весь седой и когда жизнь, в сущности, как говорят в таких случаях, уже сделана, — с какой-то опять-таки непонятной навязчивостью, как будто кто-то заставлял меня, я день за днем возвращаюсь к прожитым годам и стараюсь уяснить себе, почему именно моя жизнь сложилась так, а не иначе, где начало и где конец чувствам и переживаниям. Я никогда, разумеется, не напишу об этом книгу, но — так уж, наверное, устроен человек, что вольно или невольно он не только старается обобщить накопленный опыт, но и передать этот свой опыт жизни другому. Может быть, потому и я так подробно сейчас рассказываю вам о себе.

С чего все началось?

Жизнь, конечно же, не цепь случайностей; одно вытекает из другого, все связано, переплетено, обычно десятки обстоятельств, сотни подробностей определяют тот или иной, зачастую кажущийся нам неожиданным поступок. Надо же было, чтобы дивизия, в которой я служил, воевала в составе Первого Белорусского фронта и чтобы мы прорывали линию обороны именно здесь, под Калинковичами, и наступали затем на Калинковичи (в сорок четвертом, в январе, если помните, мы хотели захлопнуть несколько немецких дивизий в очередной, Калинковичский котел), и, главное, надо же было, чтобы я командовал орудиями как раз в этой батарее, которую бросили на подмогу танкистам, и чтобы бой был именно таким, каким был, и я пережил тот страх и то возбуждение и радость, те чувства, какие и теперь, когда вспоминаю, видите, морозом пробегают по мне

Мы стояли справа от дороги, в лесу, приготовив орудия к бою; перед нами лежало болото, заросшее высоким кустарником, и сквозь этот кустарник, синий от игольчатого инея, ничего не было видно, что делалось впереди. Какая-то немецкая батарея издала и методически обстреливала лес. Снаряды рвались вверху, задевая за макушки деревьев, рвались с таким резким, как будто обрушивающимся грохотом, что даже привычных, казалось бы, уже ко всему солдат охватывало неприятное и жуткое чувство. Я видел это по их лицам, по тому, как они жалась к стенкам наскоро вырытых щелей; да и сам я тоже с чувством обреченности прислушивался к разрывам. Ни окоп, ни ровик, ни щель при таком обстреле не укрытие; осколки летят вниз, как град, под прямым углом, и треск по лесу — словно прокатывается над головой сильная низкая гроза. А мы не стреляем, цели не видно, комбат никакой команды не подает; но и стрелять-то, собственно, опасно — наша пехота уже просочилась сквозь кустарник и топь на противоположный берег и вела бой где-то то ли в деревне (деревня Гольцы), то ли еще у околицы, а танки, которые должны были поддерживать ее, стояли за лесом, за нами, и не двигались с места; по болоту они не могли пройти, а дорога и бревенчатый настил через болото насквозь простреливались двумя, как потом выяснилось, немецкими самоходками. Двумя «фердинандами». Перекрыли дорогу и держат. Уже одиннадцать, двенадцатый час, наступление захлебывается, пехоту нашу теснят, вот-вот сбросят в болото. На дороге горят два наших танка, танкисты один за одним выскакивают из люков, и это происходит буквально на наших глазах. Метрах в трехстах за танками, на обочине дороги чей-то расчет устанавливает восьмидесяти-восьмимиллиметровую зенитную пушку. Через минуту-две начнется дуэль между зенитчиками и немецкими самоходками, я знаю это и неотрывно слежу за действиями зенитчиков. И бойцы мои смотрят. А по лесу все так же прокатывается треск разрывов, летят вниз срезанные ветви, осколки, и в этом раскатистом грохоте не слышно было, когда выстрелили зенитчики; только вдруг — синяя вспышка, мгновенная, как молния, и красная, стелющаяся над дорогой трасса бронебойного снаряда, метнувшаяся в кустарник, и сейчас же — раз! раз! раз! раз! — четыре таких же огненных трассы вынырнули из кустарника, и один за одним вспыхнули разрывы позади зенитчиков. Снова трасса в кустарник, и снова целая серия огненных пунктиров назад, к зенитчикам, и нам хорошо было видно, как немецкий снаряд угодил в орудие, разметав стоявших возле него бойцов. Черная воронка еще дымилась, а чуть выше нее зенитчики уже выкатывали второе орудие, и снова с минуты на минуту должна была начаться дуэль. Как раз в это время и вызвал меня к себе командир батареи капитан Филев. Василий Александрович Филев, я еще расскажу о нем, это был смелый на войне человек.

Есть у людей предчувствие, или, сказать точнее, предвидение; а в общем, тут и без предвидения было ясно, я знал, какое задание получу от комбата, и не без страха и содрогания оглядывался на все еще как будто дымившуюся черную воронку, где только что стояло орудие и откуда несли сейчас по лесу на плащ-палатках уже, наверное, мертвых солдат. Я знаю, что такое прямое попадание; под Веткой, на Соже, когда нашу батарею нащупала и накрыла немецкая артиллерия и снаряд угодил в четвертое орудие, все, кто находился возле него, были изрешечены осколками, одежда на них дотлевала, они лежали, как разбросанные головешки, и я до сих пор не могу без ужаса вспоминать эту картину. Да, так вот, уносили мертвых, и я смотрел на них, на воронку и на то новое орудие, которое зенитчики устанавливали позади воронки, и говорил себе: «Может быть, все еще кончится прежде, чем я **дойду** до комбата, может быть, они подобьют эти проклятые немецкие самоходки. Ну же, ну!» И действительно, все кончилось раньше, чем я успел пойти

до комбата, только не для немецких самоходок, а для наших зенитчиков; так же, как и первое, это орудие тоже едва успело сделать два или три выстрела, как огненные трассы, змеясь над дорогой — раз! раз! раз! — накрыли зенитчиков. Теперь уже на обочине зияли две воронки. Я остановился и несколько мгновений стоял неподвижно, прислонившись к холодному шершавому стволу, и лицо мое было, наверное, таким же белым, как снег вокруг, как кора на березе, к которой я приложился щекой. Я не думаю, что струсил тогда: грусость в девятнадцать лет — явление вообще редкое; скорее всего вот сейчас я бы мог действительно струсить, потому что с годами человек все бережливее относится к себе; я не струсил, но, понимаете, страшно было подумать, что через несколько минут и ты со своим орудием будешь вот такой же мишенью, как только что были зенитчики, на обочине прибавится еще одна воронка, а тебя, окровавленного и изрешеченного, понесут, это в лучшем случае, в медсанбат; страшно было представить, что те самые бойцы, с которыми ты прошел в боях почти от Курска до этих белорусских болот, отцы семейств (многие, во всяком случае; во взводе управления был у нас даже один пятидесятилетний связист, так мы его чаще в ровике держали, у аппарата, не пускали на линию), с которыми не просто сблизился, подружились, но которые стали тебе родными, как свои, — страшно было представить их разбросанными и доглевающими возле изогнутых орудийных станин. А что делать, какой выход? Танки стоят за лесом, наступление захлебывается; пехотинцы, сброшенные в болото, отстреливаются автоматными очередями, а немцы, словно почувствовав нашу нерешительность и заминку, усиливают навесной огонь по лесу. Когда я, добравшись до наблюдательного пункта, спрыгнул в траншею, из-за треска и грохота рвавшихся снарядов я даже, кажется, в первую минуту ничего не слышал, что говорили мне.

Рядом с капитаном Филевым на наблюдательном пункте стоял командир полка подполковник Снежников. Не знаю, заметили ли они мою взволнованность или нет, только я хорошо помню, как подполковник Снежников, приблизившись ко мне и прямо и пристально заглянув в лицо, вдруг спросил:

«Коммунист?»

Вы видите, я сейчас улыбаюсь, потому что вопрос этот звучит, как вы, наверное, уже заметили, как-то слишком традиционно, я бы сказал, литературно (я и сам не в одной книге читал про это), но поверьте, я ничего не выдумываю, да и какой смысл мне олитературивать то, что действительно происходило со мной? Вот так прямо и спросил меня подполковник, и я ответил ему:

«Да».

Но коммунистом в полном смысле этого слова я тогда еще не был, а был всего лишь кандидатом с двухмесячным стажем; кандидатский билет лежал у меня в боковом кармане гимнастерки, под полушубком; вручили мне его в декабре сорок третьего, в только что освобожденном нами Новозыбкове.

«Вы понимаете, что происходит здесь?» — снова спросил подполковник.

«Да».

«Сможете подавить?»

«Попробую, товарищ подполковник», — ответил я.

«Ну что ж, лейтенант, тогда — с богом!»

Я откозырнул, как положено, и кинулся было теперь уже бегом на батарею выполнять приказание, но на выходе из траншеи догнал меня капитан Филев.

«Ни в коем случае не оттягивай орудие к зенитчикам, — сказал он, — а ставь ближе к кустарнику, прямо за горящими танками».

«Но в танках начнут рваться снаряды»,— возразил я.

«Пусть рвутся, это не прямое попадание».

«Но!..»

«Никаких «но», я приказываю!»

«Ясно, товариш капитан!»

Но ясно мне стало потом, после боя, когда мы вместе с комбатом и солдатами перебирали все мельчайшие подробности, вспоминали, кто, что и как делал и вел себя, а в ту минуту я совершенно не представлял, для чего нужно было ставить непременно за горевшими танками и подвергать бойцов, в сущности, еще одной, дополнительной опасности. Однако нарушить приказ я, разумеется, не мог: и потому, что это было бы прежде всего нарушением воинского устава, но, главное, потому, что и я, и все мы на батарее любили и доверяли своему командиру; я-то начал войну в сорок третьем, летом, под Курском, а он тянул ее с самого начала, с сорок первого, и повидал, конечно, многое, побывал в разных переплетах, и отступал, и наступал, и еще в финской участвовал, штурмовал линию Маннергейма. Он уловил, я говорю сейчас не военным языком, самую суть момента, точно определил, что происходит на поле боя, и я считаю, да и тогда считал, что он спас мне и бойцам моего взвода жизнь. Поставь мы орудие выше, расстреляли бы нас немцы, как только что расстреляли зенитчиков. А дело-то было простое, нехитрое: любое орудие при выстреле дает вспышку, и немцы, хотя зимой мы красить их, засекали вспышку и поражали цель; за горевшими танками же, за языками пламени не было видно вспышки.

Но может быть, я зря забегаю вперед.

Я собрал солдат своего взвода и сказал им о поставленной перед нами задаче. Все слушали молча, никто и потом не проронил ни слова, и в этой тишине, казалось, с каким-то особенным, придавливающим треском прокатывались тяжелые разрывы по лесу. Я не стал вызывать охотников. «Пойдет первое орудие,— сказал я.— Сержант Приходько, за мной». И через несколько минут мы были уже на обочине и выбирали огневую позицию.

«Видите?»— спросил Приходько, когда мы выползли на заснеженную дорогу.

«Еще бы,— ответил я.— Как открыто стоят!»

«Обнаглели! Ну ничего, мы сейчас их потревожим».

«Или они нас,— подумал я, но сержанту сказал совершенно другое:— Вот здесь и поставим! Давай за людьми, катите орудие. Развернем его на дороге, а у обочины надо соорудить щель. Да не поперек ройте, а повдоль, понял?»

Пока подкатывали орудие и рыли щель, я лежал на дороге и то в бинокль, то простым глазом наблюдал за неподвижно стоявшими за бревенчатым настилом немецкими самоходками. Жерла их пушек, казалось, были направлены на меня, на весь наш расчет и на орудие, которое уже подталкивали к обочине, а впечатление, когда, знаете ли, целятся в тебя, не очень приятное. Я боялся пошевелиться и то и дело посматривал, скоро ли будет вырыта щель, чтобы спрыгнуть в нее, хоть не на виду будешь, а в укрытии, но в то же время я знал, что не только за моими действиями, но за всем тем, что происходит здесь, следят с наблюдательного пункта капитан Филев и подполковник Снежников, и оттого где-то, может быть подсознательно,— мне не хотелось показаться в их глазах трусом, и даже когда была отрыта щель, я еще продолжал лежать на снегу, понимая, однако, бессмысленность того, что делаю. Мне до сих пор кажется, что все, что я делал тогда, какие отдавал распоряжения, а главное, почему принялся стрелять сам и отстранил наводчика Мальцева, у которого, я видел, были белые, как будто закованные

руки. — все делал только из того чувства, как могут подумать обо мне. «Убьют, — думал я, — но убьют на виду, на людях, а это уже не так страшно». Но ведь душу не раскроешь и не помотришь, что в ней? Я наводил орудие, нащупывая перекрестие панорамы серый лоб немецкой самоходки, а солдатам приказал укрыться в щель; план был такой: я целюсь, нажимаю на гашетку и тут же, вроде как кошка, прыгаю на обочину, к своим, и пусть тогда немец бьет по орудью, если, конечно, засечет его, — возле орудия никого не будет; если и подобьет, выкатим другое. Я целюсь, секунда — и красная трасса, змеясь, понеслась над бревенчатым настилом, и я как будто замер, следя за ее полетом; как ни рассчитывал, видите, а все-таки не отпрыгнул сразу в щель. Вы, наверное, испытывали: бывает, держишь в руке прутик, водишь им и вдруг ощущаешь легкий толчок в руке, когда кончик прутика упрется в землю; мне кажется, я почувствовал такой легкий толчок, отдачу, когда трасса, искрясь, ткнулась в броню самоходки; на самом деле такое, конечно, исключено, но я точно помню, было у меня это ощущение, будто я держал в руках, как прутик, конец огненной трассы. Я понял, что попал в самоходку, и мгновенная радость охватила меня; но вместе с тем во мне же, как чувство самосохранения, рядом с этой мгновенной радостью жила иная, предупреждающая мысль. «Но самоходки две, прыгай, прыгай!» — и я метнулся через станину на обочину, в щель. «Ложись!» — крикнул я, падая, хотя на самом деле, как потом говорил Приходько, я вовсе не крикнул, а прошептал, и команду эту слышал только он один, а все лишь по инстинкту пригнулись, зная, как страшны осколки, когда в трех метрах от тебя рвется фугасный снаряд. Кажется, еще в тот момент, когда я скатывался к щели, две огненные черты, разрывая морозный воздух, пронеслись над орудием, и было слышно, как они — шлеп! шлеп! — ткнулись где-то далеко позади нас, в том районе, где стояли подбитые зенитки. Через минуту снова «шлеп! шлеп!» — опять позади нас; и еще трижды сдвоенные разрывы взвихривали снег, укладывая рядом с уже черневшими воронками новые, и я с радостью говорил себе: «Там ищут, а мы здесь!» В горячке боя, когда сознание не опережает, а следует за действиями, которые ты совершаешь, ни я, ни Приходько не заметили, что стреляла-то одна немецкая самоходка, а от второй уже начинал расплзаться и стелиться над снегом черный такой, специфический, когда горит железо, дымок. Мы выждали, пока выстрелы смолкли, потом сначала заряжающий перезарядил орудие, а следом за ним поднялся на огневую я и припал к панораме прицела; я наводил с той же тщательностью, подтягивая перекрестие панорамы к серой броне самоходки, и то же чувство страха — «Надо первым! Надо успеть прежде, чем выстрелит он!» — как ледяной ветерок, пробежало по телу. Секунда, выстрел, уткнувшаяся в броню трасса, и — я опять уже лежу в щели рядом с Приходько и вслушиваюсь, как шлепаются далеко позади нас снаряды, которые посылает немецкая самоходка. На этот раз она стреляла дольше, и в стрельбе ее была заметна растерянность и нервозность. А мы, выждав, опять поднялись к орудью, и все повторилось сначала; потом еще и еще, и я вдруг заметил, что уже не спрыгиваю в щель и что не только я, но и весь расчет находится возле орудия, как будто мы стреляем с закрытой позиции и ничто не угрожало и не угрожает нам. Но немцы и в самом деле уже не отвечали; и в перекрестие панорамы, и потом, когда, поднявшись над щитом, я смотрел в сторону чадивших самоходов, было хорошо видно, как фрицы, выскакивая из люков, стремились укрыться за обочиной дороги. «Фугасным! — закричал я. — Да колпачки отверните, колпачки!» И мы еще сделали несколько выстрелов уже, в сущности, по разбегавшейся пехоте.

Метрах в пятидесяти перед нашим орудием все еще горели два наших танка; они спасли нас, но они были для нас и угрозой, а мы, увлек-

шись поединком, совсем забыли про них. И странное дело — я ведь смотрел на них, вот так, как сейчас вижу вас, видел их черные, закопченные бока; и Приходько видел, и, наверное, весь расчет; иногда ветерок относил дым и гарь на нас, и лица наши были, как у кочегаров, в размазанной копоти. Да, я смотрел и с каким-то чрезвычайным трудом думал, что еще что-то надо сделать, но что? И в это время в дальнем от нас танке грохнул взрыв, плеснув на нас волну теплого воздуха, снега, земли и осколков. Мы снова кинулись в щель, и, к нашему счастью, никто не был ранен, лишь у Приходько оказалась продырявленной отвернувшаяся пола шинели. Потом грохнул взрыв и во втором танке, и все стихло; развороченная башня, как сбитая с головы шапка, лежала рядом с танком.

«Ну вот и все», — сказал я, когда мы поднялись к орудию.

Приходько, достав кисет, закурил, и кисет его тут же пошел по рукам.

У меня от той минуты осталось лишь ощущение, как я сидел на холодной станине и держался за нее рукой; я часто и теперь ощущаю под ладонью тот металлический холод, особенно по ночам, когда вспоминаю, — протянешь, случится, руку назад, возьмешься за железную спинку кровати, вот за такую, как здесь, в нашем номере, видите, а она холодная, и сейчас же все встает перед глазами, и уже не до сна.

Мы сидели, курили, разговаривали, как лесорубы после двух-трех десятков поваленных сосен, отдыхая и оглядывая свою работу, а мимо нас, огибая все еще стоящее с развернутыми станинами орудие, уже двинулись из-за леса танки к бревенчатому настилу; они шли на скорости, выбрасывая и выжимая из-под гусениц сдавленный снег, обдавая нас черным угарным выхлопным газом и оглушая грохотом и лязгом, и на них было приятно смотреть, приятно слышать этот оглушающий грохот, потому что то, что творилось в душе — сознание одержанной победы и сознание того, что ты жив, невредим и что наступление продолжается, сознание не столько своей, как обшей, народной силищи, которая взяла верх, давит, прет и которую слово уже никто и ничто не сможет остановить, — чувства эти как бы сливались с движением и грохотом танков. А со стороны леса к нам подходили командир батареи и командир полка. Первым их заметил сержант Приходько. Он встал, и следом за ним вскочил со станины и я; мне кажется, что я проделал все так, как положено по уставу (как бывало на смотре в военном училище): и подал команду «встать» и «смирно», и доложил, что задание выполнено, самодки подбиты, но я хорошо помню, что сам я не слышал своего голоса; не слышал и того, что ответил подполковник Снежников; заглушал ли все грохот проходивших танков, или во мне самом еще звенели отзвуки выстрелов, — лишь после того, как подполковник, обняв и поцеловав, выпустил меня из своих сильных рук, я начал понимать, что происходило на огневой.

Снежников обошел бойцов, каждого обнял и каждому пожал руку.

«Всех к награде, — затем ясно и громко сказал он, повернувшись к командиру батареи, и тут же, не задумываясь, добавил: — Сержанта к Боевому Знамени, лейтенанта к Герою!»

Вы понимаете, что значило для меня тогда, в девятнадцать лет, услышать о себе такое; слова подполковника, пожалуй, взволновали меня сильнее, чем только что окончившийся поединок; во всяком случае, сам себе я казался самым счастливым на земле человеком.

Час второй

— Героя, конечно, я не получил, — продолжал Евгений Иванович, — и это, думаю, вполне справедливо. Да и не в награде, собственно, дело, а в том состоянии, в каком находился я, когда мы на другой день оста-

новились в нами же освобожденных Калинковичах на отдых. Тогда никто на багарае еще не знал, что не утвердят мне Героя, а напротив, все были уверены в этом и относились, как мне кажется, или, по крайней мере, казалось тогда, с подчеркнутым уважением и вниманием. Старшина достал где-то комплект нового офицерского зимнего обмундирования — синие суконные галифе с красным, как принято у нас, артиллеристов, кантом и защитного цвета диагоналевую гимнастерку, — принес новые валенки и новую шапку с мягким сизоватым пушистым мехом и положил все это в избе на стул, перед моей кроватью; комбат называл меня уже не иначе как Героем, да и хозяйка дома, в котором я ночевал, смотрела на меня не так, как на всех, а было что-то особенное, матерински-заботливое и нежное в ее взгляде.

Калинковичи запомнились мне тогда низким деревянным городком с избами, широко, как в деревне, расставленными друг от друга, с огородами, плетнями, калитками и палисадниками у окон; многие крыши, особенно на окраине, где мы остановились, были соломенными. Занесенные снегом избы казались маленькими и чернели издали, как чернели вокруг них и на дороге воронки и наскоро вырытые и брошенные уже солдатами окопы. Через огороды тянулись глубоко врезанные в снег следы гусениц, и были видны подмятые танками ограды, разрушенные бревенчатые амбары и сараи. Город только-только остывал от боя, на вокзале еще дотлевали склады, догорали цистерны с горючим, пахло гарью, жженым толом, но уже и тянуло жилым дымком от разожженных походных кухонь. Орудия и машины мы подогнали к избам, как это и положено для маскировки, старшина отыскал на задах баньку, и через каких-то пару часов вместе с первой партией бойцов капитан Филев, я и еще командир второго взвода младший лейтенант Антоненко, забравшись на полок, с наслаждением обхлестывались березовыми венчиками. Раскаленные камни шипели, когда на них плескали воду, и сухой чистый пар обжигал лицо, руки, спину. Мы были красные, разморенные и довольные, когда вышли из бани. До ужина было еще далеко, и я отправился в свою избу, намереваясь полежать и отдохнуть, но как только прилег на кровать, незаметно для самого себя заснул.

Разбудил меня ординарец комбата.

«Зовут», — сказал он.

«Что случилось, не знаешь?» — спросил я, подымаясь.

«Нет. Велено позвать, и все».

«Ну хорошо, скажи: сейчас иду!»

Изва комбата через дорогу, идти было недалеко, и я, накинув наскоро полушубок, вышел сквозь морозные сенцы на улицу.

Стоял поздний зимний вечер, но мне показалось тогда, что уже наступила глубокая ночь, я долго приглядывался к темноте, прежде чем начал различать предметы; я помню, как спускался по ступенькам крыльца, держась за холодные и заиндевелые перила, и, очутившись уже на дорожке, прошел еще несколько шагов, упираясь ладонью в бревенчатую стену избы. За избою, на той стороне, скрипя валенками на снегу, прохаживался вдоль машины и орудия часовой. С минуту я прислушивался к его шагам, да, пожалуй, не столько к шагам, как к отдаленному орудийному грохоту, к канонаде, которая то, казалось, усиливалась, то затихала за домами и лесом. На слух трудно было определить, как далеко за городом шел бой, но так или иначе, а было радостно оттого, что война, вот она, неудержимо катится на запад, пушки гремят там, за лесом, с десятков километров отсюда, зарницами озаряя морозное ночное небо. Когда я пересекал дорогу, я увидел зарева пожарищ по горизонту в той стороне, откуда доносился бой. Горели подожженные немцами деревни. Всю осень и зиму, пока мы наступали, нас сопровождали такие пожары, так что это не было чем-то необычным; но как

ни говорят, что человек привыкает ко всему, в том числе и к войне, к свисту пуль и осколков, но привыкнуть к злобешему виду горевших деревьев в ночи я так и не смог; как будто и в полушубке, в валенках и шапке, а по спине каждый раз прокатывается ледяной ветер, когда смотришь на зарева. Избы горят, жилье, кров, груд людской. Я шел через дорогу, оглядываясь на эти зарева, и чувство, с каким вчера еще целился в немецкие самоходки, как бы само собою подымалось во мне, оборачиваясь злостью, той, когда, знаете (может быть, это только у нас, артиллеристов — истребителей танков), поймана в перекрестье прицепа броня и ты мгновенно нажимаешь на гашетку; мне кажется, я даже делал какие-то усилия рукой, будто под ладонью была та самая гашетка. На крыльце комбатовской избы я еще раз оглянулся на зарева. Я не думал, для чего нужен был капитану, но вполне ясно сознавал, что каким бы ни было задание, готов выполнить его; с этим чувством, оббив прежде валенки у порога и застегнув на все петли полушубок, я вошел в избу.

Но никаких приказаний на этот раз мне выполнять не пришлось. Еще днем комбат обещал собрать вечер в честь моего тогда не состоявшегося еще награждения («Надо сегодня и непременно,— говорил он,— а то, когда пойдем в бой, вряд ли будет у нас время!»), и я был приглашен теперь именно на этот маленький торжественный вечер; я вошел сосредоточенный, с определенным настроением, и когда увидел накрытый по-праздничному, как только можно было в тех условиях, стол, увидел подвешенную над столом и ярко горевшую керосиновую лампу — это, знаете, роскошь для того времени; увидел уже слегка разгоряченные за столом лица — все, знаете, как по команде, смотрели на меня и чему-то улыбались, чему, я еще не знал тогда,— я растерялся от неожиданности и стоял у порога, не решаясь, докладывать ли комбату, что прибыл, или просто, как было заведено у нас на батарее, когда обедали или ужинали вместе, снять полушубок и присесть к столу. Щурясь, я вглядывался, кто был в комнате. Ближе всех ко мне сидел капитан Филев, ворот гимнастерки его был расстегнут, и белый, только что подшитый подворотничок как-то особенно был замечен на его смуглой, с зимним загаром шее; рядом с ним, откинувшись на спинку стула и тоже с расстегнутым воротом, сидел его друг, командир четвертой батареи старший лейтенант Сургин (я знал его; полк у нас небольшой, пять батарей, мы все знали друг друга); за столом были и Антоненко, и наш старшина Шебанов, и хозяйка дома с дочерью. Они тоже выглядели нарядно, особенно дочь, в светлом платье с таким немного открытым воротом, с косами наперед, на грудь, и особенными, как мне сразу показалось, ясными детскими глазами. Да и вся она была как школьница, у которой еще далеко впереди выпускной десятый класс. Может быть, я бы не стал так пристально всматриваться в нее, может быть, и вовсе не обратил внимания — ну, сидит девочка, дочь хозяйки, ну и что в этом! — если бы не командир батареи, который, пока я в недоумении и растерянности топтался у порога, не встал бы из-за стола и, подойдя ко мне и хлопнув по плечу, не сказал бы:

«Ну вот и жених наш пришел, смотри, мать.— Он протянул руку, как бы приглашая хозяйку дома (которую он, кстати, тут же назвал Марией Семеновной) подойти и посмотреть, как молод, статен и красив «жених».— Да сними полушубок,— затем, взглянув на меня, проговорил он,— предстань пред тещины очи. Мы тебя, понимаешь, сватаем здесь, рассказываем о твоих подвигах, а ты бока пролеживаешь! Дайте место жениху! Место Герою!» — уже с заметной командирской ноткой добавил он, повернувшись к столу, ко всем, и когда я снял полушубок, провел и усадил меня рядом с Ксеньей.

Я понимал, что все это было шуткой. Перед моим приходом, навер-

ное, чтобы занять время, они затеяли игру в сватовство, игра понравилась, и они охотно продолжали ее теперь, разливая по стаканам водку, провозглашая тосты, шумя и закусывая; вместе со всеми опустошил свой стакан и я и сидел розовый — не столько от выпитой водки, сколько от смущения, чувствуя себя сначала неловко в непривычной роли жениха. Я улыбался и поглядывал то на будущую тещу, то на невесту и, знаете, как сейчас помню: находили минуты, когда мне хотелось, чтобы все происходившее было не шуткой, а правдой. Я смотрел на Ксению и говорил себе: «Да она же красива, черт возьми, она просто красавица!» — и во мне возникало желание обнять ее, ощутить ее близость, но я лишь еще больше краснел, сознавая это, и старался отворачиваться и не смотреть на нее. Я спрашиваю сейчас себя: что такое красота? Очевидно, это не только внешний облик человека, не только цвет волос, глаз, черты лица или покрой платья, а есть еще нечто такое, что заставляет жить и сверкать все эти внешние формы: есть чувства, сгусток чувств, с которым мы идем по жизни, к людям, есть понимание добра, наконец, у каждого человека есть свой мир, которым он живет, и каким бы ни был этот мир, прекрасным или плохим, и как бы мы ни старались скрыть его в себе, он непременно выявится или в движениях, или в выражении лица, или, если хотите, в тоне голоса и привлечет к нам или оттолкнет от нас людей. И что главное, мир этот не читается в глазах, а угадывается; угадывается красота души, красота человека. Я сидел так близко возле Ксении, что мне до сих пор кажется, что я чувствовал тепло ее тела. Я смотрел на ее косы, и хотя, знаете, я понимаю, что тут может быть удивительного и необычного, что у девушки косы, но для меня и теперь есть нечто неповторимое в том, как были заплетены и как спускались на грудь, прикрывая уши и шею, ее серебристо-серые (серебрились они от света керосиновой лампы, которая, как я уже говорил, висела над столом) волосы; когда она поворачивалась к матери, я видел ровный пробор на ее голове, и короткие, не вошедшие в косу волосы мягким светлым пушком кудрявились вокруг шеи; когда же она поворачивалась ко мне, я видел ее глаза, брови, темные ресницы; покрытые румянцем от волнения и возбуждения щеки ее, казалось, так и дышали здоровьем, молодостью, счастьем. Я помню ее оголенную до локтя белую руку, как она держала в пальцах хлеб и черпала ложечкой насыпанный старшиною прямо на стол горкой сахар; я мог бы сейчас пересказать все движения, сколько в них было простоты, естественности и привлекательности, но главное, конечно, заключалось не в этом; какой-то невероятной силой жизни, добра веяло от нее, будто движения ее были не просто движения и слова — не просто слова, а одухотворены, как бы подсвечены очень ясным и чистым чувством, и я помню, как действовало на меня именно это ее одухотворяющее, ясное и чистое чувство. Но представьте себе — это я уже рассуждаю теперь, — представьте, что творилось у нее на душе, какие мысли в ту минуту волновали ее? Для нее тот вечер, я так думаю, был своеобразным итогом жизни. Не возможность замужества, нет, не игра в сватовство, а совершенно другое; та радость жизни, то сознание счастья и доброты в себе, сознание доброты в людях, что окрыляло нас в детстве (что, по-моему, непременно должно окрылять каждого человека, входящего в жизнь), было отрезано у нее черными годами оккупации; зло, насилие, ужасы и ожидание просвета; мы были для нее (если бы не мы, а кто-то другой, все равно) теми, кто вернул ей ту самую радость жизни, сознание доброты и надежду на счастье; мы были освободителями, и надо полагать, как она волновалась, о чем думала и что испытывала в эти минуты. Я не спрашивал ее ни о чем, но я понимал ее, и мне радостно было оттого, что я понимал ее; да ведь и сам я был, знаете, в таком состоянии — Герой, центр торжества и внимания!

Разговор в основном шел между капитаном Филевым и Марией Семеновной; комбат четвертой Сургин и старшина Шебанов лишь изредка вставляли свои реплики, а больше смеялись, следя за перепалкой, так как Мария Семеновна держалась бойко, решительно, и только младший лейтенант Антоненко оставался как будто безучастным, ему не нравилось затеянное сватовство, он то и дело подкладывал себе на тарелку крупную и рассыпчатую картошку, беря ее не вилкой, а пальцами, и ел молча, по-крестьянски подставляя ладонь под крошки. Вообще он был немного странным человеком, во всяком случае. мне так казалось тогда; на батарее у нас он пробыл очень мало, так что я, в сущности, и не узнал его как следует. Его прислали к нам с расформированного бронепоезда, а потом, сразу же где-то после Калинковичей, опять отозвали. Ну да что о нем? За весь вечер, мне помнится, он так ни разу и не улыбнулся и вышел из избы первым, поклонившись хозяйке. Зато капитан Филев не умолкал ни на минуту, хотя в моем представлении — с ним-то я воевал уже не один месяц! — он тоже был всегда человеком молчаливым и суровым. Что же случилось с комбатом в тот вечер? Потом я узнал, что с ним случилось, но тогда — возбужденный выпитой водкой, видом сидевшей рядом Ксении, занятый своими размышлениями и чувствами, я даже не заметил этой перемены в комбате; в какие-то минуты мне вдруг начинало казаться, что капитан не шутит, и я, насколько это было удобно, старался пристальнее всмотреться в его лицо и яснее уловить интонацию его голоса. Он говорил:

«Да где же вы еще встретите такого жениха? И работу невесте на батарее найдем — санитаркой! — а старого Трифоньча в оружейный расчет заряжающим». И в то время как Мария Семеновна, которой давно уже было ясно, что шутка со сватовством перевалила за положенные пределы и что бог знает во что еще все это может вылиться, возражала: «Никуды я ее не отпущу, и не думайте», — капитан снова и снова, улыбаясь, начинал все сначала.

«А если они сами захотят?» — говорил он.

«Пусть распишутся сперва, а потом и решают сами».

«Так ведь еще ни горсовета, ни загса в городе нет!»

«Нет, так будут».

«Когда будут, нас здесь не будет».

«И слава богу, другие придут».

«Другие, да не такие».

«Может, и получше, кто знает».

«А если не придут?»

«Придут, куда денутся».

«Э-э, мать, давно говорят: держи синицу в руке, а не ищи журавля в небе. Ну как, порешили?»

«Не отпущу».

«Да вы что, не доверяете нам, что ли, Мария Семеновна?»

«Сказано, не отпущу, и все тут. И не сманивайте мне девку».

«А если, Мария Семеновна...» — продолжал капитан, обдумывая новый заход.

Мы же с Ксенией за весь вечер почти не сказали друг другу ни слова; по крайней мере, сколько я ни вспоминал потом, я не мог припомнить, чтобы она спрашивала о чем-либо еще, кроме того, что «долго ли вы простои́те в Калинковичах и действительно ли девушки служат на батареях санитарками?», и чтобы я ответил на ее вопросы как-либо подробнее, чем только «да» или «не знаю»; и тогда и теперь, спустя столько лет, мне кажется, что вечер прошел так быстро, что не успел я как следует осмотреться и прочувствовать все, как уже комбат четвертой Сургин, выйдя из-за стола, начал прощаться, а младший лейтенант Антоненко уже стоял одетым у дверей; и старшина Шебанов потянулся за ши-

нелю, и лишь я еще сидел за столом, возбужденный, с выражением какого-то, наверное, глупого счастья на лице. Конечно, глупого, да и как оно могло быть иначе тогда, в девятнадцать лет? Мне хотелось, чтобы вечер продолжался, но оставаться за столом, когда все уже встали, было неприлично, я тоже поднялся и, сказав Марии Семеновне: «Спасибо за угощение» — и повторив те же слова Ксене, пошел за своим полужубком. Не знаю, не могу понять до сих пор, каким образом, когда я, уже одетый и готовый к выходу, топтался у двери, ожидая старшего лейтенанта Сургина, который о чем-то еще разговаривал с нашим комбатом, — каким образом Ксения очутилась возле меня? Она смотрела на меня ясно, открыто; косы ее теперь были откинута назад, на спину, и лицо, шея (она стояла вполоборота к свету, к лампе, и я своей тенью не загораживал ее) и худенькие и покатые под платьем плечи — все снова показалось мне в ней особенным, и я, знаете, часто и сейчас вот так вижу ее перед собой. Я сразу догадался, что она хочет что-то сказать мне, и — может быть, действительно существует какой-то бессловесный язык между людьми? — по глазам ли, по всему ли выражению лица или только по тому, как дрогнули и шевельнулись ее губы, на которые я смотрел, но так или иначе, а мне кажется, я понял, что она хотела сказать, понял прежде, чем она успела вымолвить первое слово, и потянулся к ее худенькому, прикрытому платьем плечу.

«Возьмите меня», — сказала она.

«Санитаркой?»

«Все равно, возьмите!»

Надо было слышать, как она произнесла это, и видеть, как смотрела при этом. Но ведь мы глупы в молодости и часто теряем голову и говорим не то, что надо, а хороши бываем лишь потом, когда перебираем все в памяти, — тогда вдруг и слова находят, и движения красивы, и все бывает вообще-то просто и ясно. А в тот момент, когда все происходит? Что я ответил Ксене? Я был рад тому, что она сказала; она как бы продолжила во мне то, в сущности, неземное, сказочное состояние, в каком пребывал я, сидя рядом с нею за столом.

«Хорошо, я поговорю с комбатом, — прошептал я, не столько словами и тоном, как прикосновением руки передавая ей все то, что думал и чувствовал в эту минуту. — Непременно поговорю», — повторил я и, как будто боясь чего-то, может быть боясь прервать то самое ощущение счастья, какое охватило меня, — как застеснявшаяся девчонка, торопливо открыл дверь и вышел на улицу.

Сейчас я поступил бы иначе; да, наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, не с моим характером, тоже не стал бы суетиться и спешить, потому что ничего, в сущности, не произошло. Но ведь для меня ее слова, голос, все в ней — лицо, шея, плечи, платье. — все было чем-то особенным, неповторимым, я радовался, что есть на свете такая красота, радовался тому, что встретился с ней, и встретился не просто, а в лучший для себя момент — как-никак, а я был представлен к Герою! — и главное, что мои мысли и желание, как мне казалось, и ее были одинаковыми, теми же; в юношеском воображении моем, как голько она произнесла: «Все равно, возьмите!» — я хорошо помню, мгновенно возникли картины любви и жизни с нею. «Да что я вообразил, — в то же время говорил я себе, стоя уже на крыльце, на морозе, и вглядываясь в дальние и ближние зарева пожарищ по горизонту, которые теперь, в густой полумночной синеве, были как будто видны отчетливее, чем прежде, с вечера. — Смешно, глупо, и чего я вообразил себе!» Так же, как и несколько часов назад, когда я шел сюда, — под ладонью снова как будто была гашетка, и надо сказать, ощущение это воспринималось еще реальнее, потому что я положил руку на холодное, заиндевевшее перило; я нажимал ладонью на перило, производя только мне одному слышные

выстрелы, но делал это теперь не со злостью и стрелял не по немецким самоходкам, а просто, знаете, как бы салютовал от радости, от чувства любви, доброты, счастья, которое, может быть, вам покажется странным, было даже не во мне, а там, за дверью, в ней, согласной выйти за меня замуж и пойти санитаркой на батарею. Я понимал, что это неосуществимо, но мне не хотелось прерывать ход своих мыслей, и я снова и снова нажимал на подтаявшее под ладонью деревянное перило крыльца. «Огонь! Огонь! Огонь!» — про себя повторял я, не замечая, что произношу слова команды. Я вот и теперь нажимаю на подлокотник кресла — видите? — и рассказываю, потому что все давно пережито и прошло, а тогда — ведь было бы смешно, если бы вдруг я сказал Ксене о своих чувствах! А они были. Мальчишество ли, воображение ли, фантазия ли, но они были.

«Я вижу, лейтенант, ты и в самом деле влюбился, — сказал Сургин, когда мы, уже спустившись с крыльца, выходили на дорогу. — Она красива, и удивительно, как только мать от немцев уберегла ее! А ты на всякий случай адрес возьми, после войны надумаешь и вернешься», — добавил он, когда протаяли.

«Да что адрес, — мысленно возразил я, — и так найду, если понадобится, кончилась бы война да живым бы остаться».

Я не торопился к себе в избу; сначала обошел и проверил посты возле машин и орудий, а потом, сняв полушубок и валенки, долго лежал на кровати не раздеваясь, и все переживания вечера вновь как бы возникали и проходили через меня, я слышал голоса комбата, Марии Семеновны, Ксени, особенно последние ее слова, которые сказала она, когда я уже стоял одетым у порога. «А что, если на самом деле поговорить? — спрашивал я себя. — Нет, не согласится. А может, согласится? Может, он тоже — все на полном серьезе?» Я заснул с мыслью, что завтра непременно поговорю с комбатом, в конце концов, чем черт не шутит, и даже не просто поговорю, а попробую убедить его, потому что — Трифоныча, конечно же, даже нужно в расчет, к младшему лейтенанту Антоненко в четвертое орудие, там не хватает заряжающего.

Но утром все сложилось так, что я не смог как следует поговорить с комбатом. Батарею приказано было собираться в дорогу. Нас перебра-сывали в новый район боев, под Озаричи. Расположившиеся было на недельный, как предполагалось раньше, отдых, солдаты спешно укладывали вещевые мешки и батарейное имущество в кузова машин, прицепляли передки и орудия, и батарея, как, впрочем, и весь наш полк, выстраивалась в походную колонну на улице. Снег скрипел и вминался под ногами бойцов, под резиновыми скатами машин; было безветренно, морозно, все вокруг искрилось в холодных лучах встававшего низкого зимнего солнца. Мы стояли у головной машины; я, капитан Филев и младший лейтенант Антоненко. Капитан должен был еще сходить в штаб полка и уточнить маршрут движения, а пока отдавал последние перед маршем распоряжения по батарее. Улучив минуту, когда все уже как будто было сказано комбатом, я спросил, оглядываясь на Антоненко и смущаясь почему-то именно его, а не капитана:

«А как быть с санитаркой, товарищ комбат?»

«Какой еще санитаркой?»

«А что вчера...»

«Да вы что?! Ей еще и семнадцати нет, вы что? Выбросьте из головы вашу дурь, для всякой шутки есть место. Мы и так вчера натворили, вон, поглядите...»

На крыльце избы, куда мы с Антоненко, повернувшись, посмотрели, том самом крыльце, где я пережил вчера несколько счастливых минут, положив руку, как на гашетку, на холодное, заиндевевшее пери-

ло, стояла подбочась Мария Семеновна; она глядела на нас, на машины, на орудия, на всю уже выстроившуюся вдоль улицы колонну, и хотя издали трудно было разглядеть выражение ее лица, но по виду, как она держалась, нельзя было не заметить, что она недовольна и строжится. Дверь в избу за ее спиной была подперта широкой, местами обледенелой доскою, и Мария Семеновна, то и дело оборачиваясь, то окидывала взглядом доску, то дотрагивалась до нее рукой, проверяя, не сдвинулась ли, прочно ли держит дверь.

«Чего это она?» — спросил Антоненко.

«Дочь стережет, не пускает, а та в одну душу: пойду на батарею, и все. Слезы, рев, боже мой!»

«А почему бы не взять, если просится?»

«И вы тоже?!»

Не знаю, о чем еще говорили Антоненко и комбат, для меня разговор их уже не существовал; как-то вдруг, мгновенно, я как бы отключился от всего внешнего мира и мыслями, всем собою был там, в избе, где в слезах и отчаянии — я сразу представил себе, как и что с ней, — находилась Ксения. Если накануне вечером, когда мы сидели рядом и я смотрел на нее, мне казалось, что я понимал ее, то теперь, утром, глядя на подпертую доской дверь, я чувствовал себя так, будто сам был за той дверью и рвался наружу. Я понимал порыв ее души; хотя, в общем-то, мы не сказали вчера друг другу ни одного нежного слова, а утром, занятый сборами, я и вовсе не видел ее, но мне казалось, я твердо знал, что то чувство, какое испытывал к ней я, передалось ей, не могло не передаться, как всякое чистое, доброе и сильное чувство, и она рвется теперь и на батарею и ко мне. «Ко мне, да, ко мне, — мысленно произносил я. — Что-то же надо делать! Что?» Молча, не оглядываясь на комбата и Антоненку, я решительно направился было к избе, но громкий голос капитана остановил меня:

«Назад!»

Я замер и продолжал смотреть на крыльцо, на Марию Семеновну, на доску, которой была подперта дверь, на всю избу, ни секунды не сомневаясь в том, что там сейчас и «слезы», и «рев», и «боже мой», как сказал комбат. Но Ксения оказалась совершенно иной девушкой. Она не долго плакала; надев пальто и закутав голову шалью, она через сенцы забралась на чердак и как раз в те минуты, когда все мы смотрели на избу, в ту самую секунду, когда комбат остановил меня окриком, — плечом выдавливая узкую, подгнившую, но еще крепкую теперь, на морозе, и синюю от инея тесину на крыше. Я увидел, как дрогнула, сдвинулась, роняя снег, хрустя и потрескивая, сначала одна, потом другая тесина, и в образовавшуюся щель высунулась по пояс Ксения. Мария Семеновна по-прежнему еще стояла на крыльце, ничего не слыша и не подозревая, а мы — я, комбат и младший лейтенант Антоненко — во все глаза смотрели на Ксению, недоумевая, что же еще будет она делать теперь? Она выбралась на крутую, скользкую, покрытую снегом и ледком под снегом крышу и приготовилась прыгать. Я до сих пор не могу простить себе, что не побежал, не остановил и не предупредил ее, что нельзя прыгать в том месте, где она решила, — там был расчищен снег, это был двор, там не было сугроба, который мог бы смягчить удар при падении; когда я бросился вперед, крикнув: «Нельзя, Ксения!» — она уже летела вниз, распластав руки, к сизой и жесткой мерзлой земле; черное пальто, распахнувшись, хлопало полами за ее спиной.

Я не помню, как бежал; я видел только черный ком на мерзлой земле и спешил к нему, ни на что не обращая внимания; но когда подбежал и, склонившись, ладонью приподняв от снега голову Ксени, спросил: «Вы живы? Вы ушиблись?» — вокруг уже толпились подоспевшие

сюда комбат, Антоненко, несколько бойцов с передней машины и, конечно же, Мария Семеновна. С испуганными глазами, еще, как видно, не вполне успокоившаяся от недавнего разговора с дочерью и не ожидавшая, что все так обернется, она опустилась на колени и, бледная как снег, смотрела на дочь. «Ты что же это наделала»,— проговорила она, продолжая еще как бы строжиться, но глаза уже заволакивались слезами и посиневшие на морозе губы дрогнули. Ксения же молча смотрела на всех нас, кто окружил ее, переводя взгляд с одного лица на другое, и в этом тихом, спокойном, как будто молящем взгляде было отражено все ее душевное состояние в те минуты; я не заметил ни боли, ни раскаяния, хотя, как потом утверждал Трифоныч, у нее был будто бы закрытый перелом бедра; своим взглядом она как бы старалась внушить всем: «Вот видите, а вы не хотели брать меня!» Я держал на ладони ее голову, от дальней машины уже бежал Трифоныч с носилками и санитарной сумкой за спиной, а комбат говорил старшине Шебанову: «Отвезешь на своей машине. Да мигом, ждать долго не могу. Пока уточню маршрут, чтобы все было сделано». Потом подошел к Ксене, наклонился и долго, как мне показалось, вглядывался в ее лицо; приронувшись к ее руке, он заметно пожал ее и сказал: «Ничего, до свадьбы заживет»,— затем поднялся и, уже не оборачиваясь, зашагал к штабу полка. А я помог Трифонычу уложить Ксению на носилки и проводил ее до машины.

«Почему вы не взяли меня?» — негромким, еле слышным голосом спросила Ксения, когда я простался с ней в машине.

«Возьмем. Все решено, обязательно возьмем»,— ответил я, совершенно искренне веря в тот момент, что теперь действительно все решено, что комбат не сможет отказаться и что мы непременно возьмем ее санитаркой на батарею.

Она ничего не сказала, а только продолжала смотреть на меня.

«Я обязательно приеду за вами,— тут же добавил я, беря ее руку и так же, как это только что сделал капитан Филев, слегка пожимая ее.— До свиданья, поправляйтесь скорее».

Спустя час мы уже проезжали последние улицы Калинковичей, сквозь стекло машины я смотрел на серые деревянные избы, на тесовые и соломенные крыши, покрытые ледком и снегом, и думал о Ксене; мне было жаль ее, я чувствовал себя виноватым перед ней, мне хотелось вернуться и крикнуть: «Простите! Извините!» — и сказать эти слова Марии Семеновне, которая, так и оставив дом с подпиравшей дверь доскою, вместе с Трифонычем и старшиною поехала сопровождать дочь до санчасти. Я видел перед собою лицо Марии Семеновны — недавнее, бледное как снег, когда она опустилась на колени перед дочерью; и видел лицо Ксени — то розовым, разгоряченным, красивым, с косами вокруг шеи и по груди, какой она сидела вечером возле меня, то как будто угасшим, спокойным, как в минуту, когда простались, и все то, что должно было твориться в ее душе, я чувствовал в себе, понимая ее желание (ведь еще совсем недавно, всего лишь год с небольшим тому назад, сам я забрасывал военкомат заявлениями, прося досрочно призвать в армию,— я еще расскажу об этом — забирался в проходившие через Читу воинские эшелоны, стремясь попасть на фронт, и вырывался и дрался, когда снимали с платформы или выводили из вагона) и оттого еще больше жалел ее. Мне кажется, всем на батарее было как-то не по себе, грустно от этого случая, но никто не осуждал Ксению; лишь когда старшина Шебанов, оставив ее в санчасти, догнал колонну, комбат, спросив его: «Ну как, все в порядке?» — и услышав ответ: «Все в порядке, товарищ капитан»,— сказал: «Дите, девчонка, вообразила!» — но ни Шебанов, ни я ничего не ответили на это комбату.

Час третий

— Через неделю, в Озаричах, во время одной из ночных контратак немцев,— продолжал Евгений Иванович,— меня ранило в ногу; мина разорвалась недалеко позади орудия, и маленький шершавый осколок влетел прямо в подколенную ямку. Я говорю «маленький» и «шершавый», потому что держал его в руках, вот, на ладони, разумеется, после того, как хирург извлек его из ноги; я завернул его тогда в кусочек бинта, положил в полевую сумку, и с тех пор он так и лежит в сумке, которую я храню, а для чего, спросить, и сам не знаю: если как память, то воспоминания навеваются не из приятных, да и сумка довольно потертая, ветхая, ни к чему не пригодная, а вот — храню! Ну, а в общем, это не к делу. За всю неделю ни комбат, ни Антоненко, ни старшина Шебанов, ни я ни разу не заговорили между собою о Ксене; правда, во время боев не очень-то поговоришь о постороннем, потому что все нервы и все внимание сосредоточено на другом, но выпадали же, однако, и минуты передышек, когда мы сходились на командном пункте или на батарее вместе и ужинали или обедали, но и тогда ни Ксени, ни всего, что случилось с ней, как будто не существовало для нас. Только я один, как мне казалось, ни на мгновение не забывал о ней; во мне происходило, как вам сказать, ну, примерно то же, как на экранах телевизоров во время трансляции матчей, когда показывают повторно, да еще в замедленном темпе, как был забит гол, и вся секунда назад виденная картина проходит перед глазами вновь, уже в подробностях, в деталях, и ты видишь не только как взлетел и упал вратарь, но и на сколько сантиметров он не дотянулся рукой до мяча; во мне как будто включалась эта повторная и замедленная лента, и я все видел с мгновения, когда на крыше вдруг дрогнула и с хрустом, роняя снежок, сдвинулась тесина, другая, и вот уже Ксения лежит на снегу возле бревенчатой стены, на сизой и мерзлой земле, и я подбегаю к ней; и ее глаза, и заплаканные глаза Марии Семеновны, даже то, как комбат, прощаясь, пожал Ксене руку,— все это не по одному и не по два раза прокручивалось в воображении. А главное, я постоянно чувствовал, что я понимаю ее, и это какое-то единство духа, что ли, как будто перекачивалось во мне, держало поминутно в приподнятом, счастливом настроении. Я уже тогда говорил себе: «Я приеду к тебе, Ксения, как только кончится война, сразу же приеду. А может быть, и раньше, после ранения, по пути из госпиталя. Все может быть». Да, мне казалось, что я один помнил о ней, но на самом деле все было иначе, и через два года, когда демобилизовавшись, я действительно приехал за ней в Калинковичи, я с горечью узнал, что не только я один все эти месяцы вспоминал и думал о ней.

Но — давайте по порядку, как все было.

После госпиталя я уже не попал в свою часть. Меня направили в новый, сформировавшийся тогда под Брянском артиллерийский корпус, нас бросили на юг, под Будапешт, против танковых дивизий Гудериана, потом мы освобождали Пап, Вену, а закончил войну я почти у самой швейцарской границы, в небольшом австрийском городке Пургшталь. Это был красивый зеленый городок, совершенно не тронутый войною, и я как сейчас вижу словно сгрудившиеся у канала одноэтажные и двухэтажные белые домики с островерхими черепичными крышами; мы простояли в том городке до поздней осени, и все эти месяцы, разумеется, я жил лишь одной мыслью — поскорее пройти медицинскую комиссию, демобилизоваться и уехать к ней, в Калинковичи. Я вспоминал и о нашей батарее, и о капитане Филеве, и о том поединке с немецкими самоходками под деревней Гольцы, с чего, собственно, и началось все, но вспоминал лишь потому, что все это было связано с думами о

ней. «Какой же я был дурак,— говорил я себе,— надо же было так опростоволоситься, не взять ее адрес! А ведь старший лейтенант Сургин советовал, так нет, куда там, найду, если понадобится!» В том, что я найду ее, я не сомневался, но у меня было такое желание написать ей, что иногда хотелось прямо-таки взять и крикнуть: «Отпустите! Да отпустите же, я не могу, видите!» — но я, разумеется, не кричал, а закрывался в своей комнате, брал листок бумаги и, торопясь и брызгая чернилами, писал очередной рапорт об увольнении. Ранение у меня было тяжелое, и я знал, что так или иначе должны демобилизовать, и ждал только своей очереди. Домой я уже не сочинял и не отправлял, как бывало прежде, подробных писем — ни матери, ни Рае; события детства представлялись мне какими-то поблекшими, далекими, и все заслоняла собою встреча в Калининвичах с Ксеньей; да и поединков с танками было сколько и до и после Калининвичей, особенно когда под Будапештом «тигры» Гудериана прижали нас к Дунаю, а вот помнится же яснее, чем все другое, бревенчатый настил, горящие наши танки, заснеженный лес с прокатывающими по нему грохотом разрывов, и как будто вновь возвращаются ко мне те чувства, с какими я целился, стрелял и отпрыгивал затем в щель, на обочину дороги. Но почему так? Что было особенного в тот вечер, когда я впервые увидел Ксению? Ничего, а вот как будто стоят передо мною ее глаза, ее косы, и я не могу ничего поделывать, чтобы не смотреть на них, вернее, чтобы забыть о них; я чувствую ее доброту и нежность, вот так просто, чувствую, и все, и доброта эта, мысленная, ее, словно согревает во мне что-то, я волнуюсь, радуюсь, десятки планов на будущее пробегают в сознании, и я тороплю день и час своего увольнения; когда же наконец с чемоданом в руке и вещевым мешком за спиной я очутился в поезде, — почти целые сутки, не присаживаясь и не ложась, простоял у окна, глядя на пробежавшие мимо города, разъезды и станции; каждая отстуканная колесами вагона верста приближала меня к желанной цели.

В Калининвичи я приехал поздней декабрьской ночью, и с первой же минуты, я даже не знаю отчего, как только вышел на перрон, какое-то странное беспокойство начало овладевать мною; может быть, происходило оно оттого, что было слякотно и неуютно на тускло освещавшейся ночной незнакомой станции (мы ведь тогда только пересекли город и не были на вокзале), может быть, от вида дощатого барака, который, так как здание вокзала только еще восстанавливалось, был наскоро сколочен для пассажиров как зал ожидания (все шли к этому барраку; немного постояв на перроне, и я направился к нему), а может, как я думаю теперь, главной причиной была вдруг возникшая неуверенность, как, знаете, случается иногда на состязаниях: несется конь по плацу легко, лихо, и кажется, без труда возьмет сейчас все барьеры, но перед первым же препятствием вдруг останавливается, приседает на задние ноги и шарахается в сторону; нечто такое, по-моему, произошло и со мной. Препятствия, собственно, еще не было, я лишь подумал, что — а вдруг все совершенно не так, как я представляю себе? Вдруг отказ? Мысль о том, поправилась ли она после падения или нет, никогда не возникала во мне; раз в госпитале, значит, непременно поправится, говорил я себе, и это разумелось само собой, а тревожило другое — живы ли в ней те чувства, которые так поразили меня тогда и в существование которых я до этого самого часа, пока не ступил на перрон калинковичского вокзала, твердо верил. Забравшись в теплый дощатый барак — тепло в нем было от людской тесноты, а не оттого, что топили, — до самого рассвета я просидел на чемодане, у стены, положив вещевой мешок между ног, и думал о завтрашней встрече с Ксеньей. То, что всегда представлялось мне простым и ясным, как я приду и скажу: «Здравствуй, Ксения, вот и приехал твой жених, принимай!» — теперь казалось

неприемлемым, грубым; я перебирал десятки вариантов, как войду в избу и что скажу, и чем больше было этих вариантов, тем сильнее я волновался и тем нерешительнее чувствовал себя. Ни для Марии Семеновны, ни для Ксении у меня не было никаких подарков, я не собирал за границей часов и браслетов; в вещевом мешке лежала полная фляжка водки, маргарин, несколько банок консервов и сухари, что, в общем, было положено тогда офицеру по пищевому довольствию, и я воображал, как буду выкладывать все это на стол.

«Помните, Мария Семеновна?»

«Как же».

«По пути заглянул посмотреть, как вы тут живете».

«Спасибо. Мать-то жива?»

«А как же».

«Ждет, поди».

«А как же».

Вот так мысленно я разговаривал то с Марией Семеновной, то с Ксенией и уже заранее, еще ничего не зная, как все будет, то чувствовал себя неловко, стесненно, когда мне казалось, что я буду принят равнодушно, холодно, то как будто вдруг все заливалось во мне счастьем, и я, наверное, улыбался в сумрачной духоте зала, когда видел (словно все происходило наяву) радостные и доверчивые, обращенные на меня глаза Ксении; я воображал все до деталей, как буду встречен, но то, что на самом деле ожидало меня, обладай я даже сверхвоображением, я бы ни за что на свете не смог представить себе. Но ведь я тревожился и теперь знаю, что было причиной этой гревоги; теперь, но ни в коем случае не тогда. Я с нетерпением ждал рассвета, и когда в маленьких низких окнах ясной синевой забрезжило утро, оставаться в бараке уже ни одной минуты не мог; на привокзальной площади в занесенном снегом сквере отыскал место, где снег был чистым, сбросил шинель и гимнастерку и умылся этим снегом, натерев докрасна лицо, шею, руки, и бодрый, свежий, как будто и не было ни долгой утомительной дороги, ни прошедшей бессонной ночи в бараке (да и что значило для меня тогда не поспать ночь! Это теперь — чуть что, уже и лицо помято, и вялость, и все на свете, а тогда!), готов был идти и отыскивать дом Ксении.

«Мы въезжали в город со стороны шоссе Мозырь—Калинковичи,— рассуждал я,— с севера, или, вернее, северо-востока, и остановились где-то сразу на окраине. Значит, прежде всего надо сейчас выйти на то шоссе».

Я определил приблизительно, где была северная сторона города, и, надев вещевого мешок и взяв чемодан, зашагал необычной для себя размашистой походкой по слякотной — в те дни стояла оттепель! — разбитой машинами дороге. Движение было еще редкое, город только просыпался от долгой зимней ночи, открывались ставни на окнах изб, закуривались дымки над трубами, и дворники с деревянными лопатами еще только закручивали свои неизменные козьи ножки, примериваясь и приглядываясь к снежной жижице, прежде чем начать работу. Я шел, заткнув полы шинели за пояс, перебрасывал с руки на руку чемодан и оглядывал улицы. Мне казалось, что город мало изменился за те два года, пока меня не было здесь. Это сейчас — другое дело; от того деревянного городка сейчас, в сущности, мало что осталось; и вокзал не тот, многих старых улиц и в помине нет, а выросли новые кварталы; если хотите, и той избы, в которой жила Ксения, тоже нет, а стоит на том месте белый пятиэтажный панельный корпус; но в то раннее декабрьское утро, когда я пересекал город, все мне казалось как будто знакомым — и избы, и ограды, и сами улицы, широкие и слегка изогнутые, как в деревнях, и лишь не было заметно ни окопов, ни черных воронок, как в памятную зиму, ни остовов створивших машин и танков, ни кирпичных развалин,

потому что все это было убрано, расчищено, заделано; и все же, знаете, чем-то еще как будто фронтовым, военным веяло от всего, на что я смотрел: Может быть, потому, я так думаю теперь, что не везде лежал плотно снег, а местами были проталины, проглядывала черная земля, чернели оголенные тесовые крыши, и эта черно-белая пестрота как раз и создавала такое впечатление, но мне, собственно, не было тогда никакого дела до того, что создавало впечатление, я просто видел знакомый освобожденный город, и те прежние чувства, когда мы впервые морозным утром въезжали в него, и все, что было пережито мною вечером в избе Ксени и что я затем пронес в себе по всем дорогам войны, и эти теперь охватывавшие меня волнения перед встречей — все сливалось в одну счастливую и тревожную ношу, которую, казалось, было тяжелее нести, чем отдавливавший плечи вещевой мешок и оттягивавший руки чемодан.

Было уже около одиннадцати, когда я наконец вышел к шоссе Мозырь—Калинковичи.

Едва я очутился на шоссе, как тут же мысленно повторил весь маршрут нашего движения и сразу узнал улицу, на которую мы, въезжая, свернули тогда, и еще издали увидел и узнал и избу, в которой ночевал сам, и комбатовскую избу, что стояла напротив, через дорогу, вернее, е е избу, в которой были ли дома теперь Мария Семеновна и Ксения? Я тотчас же как бы увидел нашу выстроившуюся вдоль улицы колонну, готовую к маршу, и определил место, где стояла головная машина и где стояли мы — я, младший лейтенант Антоненко и комбат. Да я и в самом деле стоял на том месте, как в памятное утро, и, опустив чемодан на снег, к ногам, смотрел на избу Ксени; я испытывал, как вам пояснить лучше, такое чувство, словно все мне здесь было не просто знакомо, а было дорогим, близким: и крыльцо, на которое я смотрел, с перилами и ступеньками — все-все, как было тогда, и даже, я сразу заметил, рядом с крыльцом, у стены, лежала та самая широкая доска, которой Мария Семеновна когда-то подпирала дверь, и несколько ржавых гвоздей торчало по краям этой доски (я не сказал вам, но я ведь еще тогда обратил внимание на торчавшие из доски гвозди); и двор, расчищенный от снега, как он был расчищен в то утро, и сизые от времени, неизвестно с каких лет не крашенные наличники и ставни на окнах, такой же сизый, некрашенный фронтон и козырек тесовой крыши, а главное — на месте тех самых хрустнувших и надломившихся тесин чернела теперь толевая заплатка; вот она, так и стоит перед глазами, я смотрю на нее и чувствую, как все пережитое подымается во мне. Когда позднее я подходил к родному дому в Чите — у нас тоже дом деревянный, дедом еще моим, отпущенным поселенцем рубленный, — мне кажется, я так не волновался, так не билось сердце, как в эти минуты, когда стоял перед избой Ксени. И снова, но уже сильнее, чем на вокзале, когда я только-только сошел с подножки вагона на тускло освещенный слякотный перрон, сомнение охватило меня, и я в растерянности и нерешительности говорил себе: «Входить? Не входить? Что я скажу? Зачем пожаловал? Мои чувства! А ее? А Мария Семеновна?» Я оглядел свои забрызганные снежной кашицей и грязью сапоги и опустил полы шинели. Чего я ждал? Чего волновался? Глупо, и теперь я вполне понимаю, что глупо, но ведь в том-то и дело, что понимаем мы все задним числом; я мог бы смело войти в любую другую избу к совершенно незнакомым людям, а к ней — все во мне замирало от какого-то странного и тревожного предчувствия. Я смотрел на окна, и за белыми занавесками никого не было видно, и труба над крышей не дымилась, и никто не выходил из двери во двор и не возвращался в избу. «Да дома ли они? Может, и дома-то никого нет?» Я вошел во двор и постучал в окно, и почти тут же занавеска отогнулась и я увидел прислонившееся к стеклу лицо Марии Семеновны. Я сразу узнал ее, но она

долго смотрела на меня, и по ее взгляду было ясно, что я для нее — незнакомый, чужой, неизвестно зачем постучавшийся к ней человек.

«Это я, Мария Семеновна, я, помните?» — сказал я через стекло, но она, по-моему, либо не разобрала, либо просто не расслышала моих слов, потому что, когда вышла на крыльцо (она вышла налегке, закутав лишь грудь и шею шалью), спокойным и, чего я более всего опасался, холодным, равнодушным голосом спросила:

«Вам кого?»

Я смотрел на нее, не говоря ни слова, лишь стараясь всем видом своим напомнить ей, кто я. «Узнаете? Неужели не узнаете?» — глазами говорил я ей.

«Вам кого?» — снова и тем же как будто холодным тоном спросила она.

«Вы не помните меня, Мария Семеновна?» — наконец выговорил я.

«Нет. А кто вы?»

«Я тот самый лейтенант, Женя Федосов». Я не стал ничего пояснять дальше, полагая, что уже это сказанное должно ей сразу напомнить все.

«Да мало ли тут вас стояло за войну, рази всех упомнишь».

«А Ксения дома?»

«Дома. Только что с ночного дежурства пришла».

«Можно мне повидать ее?»

«Отчего же нельзя, можно, еще не спит, входите», — сказала Мария Семеновна, открывая передо мною дверь и приглашая пройти через сенцы в избу.

В сенцах, прежде чем переступить порог комнаты, я долго и старательно обметал веником ноги, мысленно и с тревогою снова говоря себе: «Может быть, ничего не было, я все вообразил, и мне не надо было приходить?» — и хотя не оборачивался и не смотрел на Марию Семеновну, которая стояла тут же и ожидала, пока я управлюсь, я чувствовал, что она следит за мною, ежась от холода в своем старом цветном ситцевом платье и кофте с заплатами на локтях, и мне было неловко под этим взглядом. Я вошел в избу бледный и уже совершенно не знал, что и как говорить. Да и на самом деле, что я мог сказать Ксене? Ведь между нами ничего не было, я не писал ей, прошло два года, она могла позабыть обо мне (как позабыла, я уже теперь знал, Мария Семеновна), и вдруг вот я, явился! Только в молодости — сколько мне было тогда? двадцать один? да, уже двадцать один, — только в молодости можно еще совершать такие необдуманные поступки и ставить себя в столь неловкое положение; я ведь делал все не по разуму, а по чувству: что испытывал, что воображал, то и казалось действительностью, и был счастлив от этого воображения и чувств, и только в то утро впервые, уже когда обметал ноги в сенцах, ощутил отрезвляющее дыхание жизни. Я переступил порог и остановился у двери, не снимая вещевого мешка с плеч, лишь опустив чемодан на пол, и оглядывал комнату; я сразу заметил, что все здесь было не так, как прежде, что комната перегорожена надвое не окрашенною, не оклеенною обоями и не успевшею потемнеть еще дощатою перегородкой, и еще стоял невыветрившийся запах свежеструганной сосны; огромная русская печь, занимавшая, как мне раньше казалось, добрую четверть комнаты, была теперь в первой, и меньшей, половине, а во вторую вел ничем пока не занавешенный дверной проем, и там, за этим проемом, за перегородкою была Ксения. Я не видел ее; только было слышно, будто кто-то переодевался, шуршал платьем.

«Ксения, к тебе пришли», — сказала Мария Семеновна, направляясь к печи, не оглядываясь на меня и не предлагая ни пройти дальше, ни сесть.

«Кто?»

«Какой-то военный».

«Кто, мам?»

«Да шут вас знает кто, выйди да посмотри».

«Сейчас!»

В шинели, сапогах, с шапкою в руке я продолжал стоять у порога. Ксения же появилась в проеме дверей неожиданно, вдруг. Так же, как минуты прощания, когда она лежала на носилках в машине, как те часы, когда вечером, при свете висевшей над столом керосиновой лампы я сидел с нею рядом и смотрел на ее лицо и серебристо-серые, спадавшие на грудь косы,— так запомнилось мне и это мгновение, когда после двух лет военных дорог, двух лет постоянной думы о ней я вновь увидел ее. Она, наверное, уже собиралась отдыхать после ночного дежурства, была в халате, и лишь услышав, что кто-то пришел к ней, быстро надела платье и принялась заплетать косу, я так думаю, потому что, когда она стояла в дверях и я смотрел на нее, тонкие белые пальцы ее еще укладывали последние витки в косе; лицо ее выражало удивление, и ясные, чистые глаза тоже выражали удивление; она была как бы вся на свету, немного пополневшая с того времени, но еще более женственная от этой полноты, и я, знаете, глядя на нее, чувствовал, что не зря все эти годы думал о ней. Вместе с тревогой и растерянностью я испытывал прилив счастья; я старался уловить в ее взгляде прежние и дорогие мне чувства и мысли, и хотя их не было и не могло быть в ней, все же то удивление, какое светилося в ее глазах, было как бы обещанием, надеждой, что все еще вспомнится, вернется и она заживет той жизнью, какой жила тогда, в часы, когда мне понятным и близким был весь мир ее радостных желаний; я говорил ей, мысленно, разумеется, взглядом: «Ну же, ну, вспомни!» — и всматривался в каждую черточку ее лица, ожидая, что вот-вот она ответит, пусть так же беззвучно, мысленно, выражением глаз, я пойму, почувствую и успокоюсь. То, что она была не так свежа после ночного дежурства и лицо ее было утомленным, я заметил позднее, когда уже сидел за столом и она угощала меня чаем и отварной картошкой, залитой подсолнечным маслом; да и сам я, как ни бодрился, как ни казался себе полным сил и энергии, тоже, конечно, выглядел утомленным, и Ксения не только заметила, но и сказала мне об этом; но произошло это потом, позже, а пока — я ничего не видел, кроме ее ясных и светлых, обращенных на меня глаз и белых пальцев, которые, замедлив движения, как бы вдруг остановились, так и не закончив плести косу.

«Это вы?!» — не очень громко, с явным удивлением и, как мне показалось, с ноткою радости в голосе сказала наконец Ксения.

«Да, я».

«А Вася мне ничего не сказал,— добавила она с тем же удивлением.— Вы раздевайтесь, что же вы стоите! — Она подошла ко мне и пошла снять с плеч вещевой мешок.— Мам, ты знаешь, кто к нам пожаловал? — принимая от меня шинель и вешая ее на гвоздь, продолжила она.— Это же тот самый жених мой, помнишь?»

«Господи! — сказала Мария Семеновна, отрываясь от своих дел и уже не с равнодушием, а с заинтересованностью глядя на меня.— Так ты опоздал, парень!»

«Как это опоздал, Мария Семеновна?»

«Ксения наша уже замужем, уже и свадьба сыграна».

«Как замужем?»

«Как замуж выходят? Вот так и замужем. За тем капитаном твоим. Опередил он».

Я не поверил тому, что сказала Мария Семеновна, принял ее слова за шутку. «Капитан Филев? Василий Александрович? Да зачем ему, он же в военную академию собирался». Я посмотрел на Ксению; лицо

ее, может быть, от смущения, как это бывает, я уже теперь знаю, у молодых супругов, когда при них вдруг начинают говорить об их женитьбе, но, может, от возникшего неожиданно сожаления, что она поторопилась, не подождала меня, от чувства, может быть, вины передо мною (так я думаю для утешения), лицо ее вспыхнуло румянцем, и смотрела она теперь не на меня, а куда-то вниз, то ли на мои сапоги, то ли на половичок, на котором я стоял, а пальцы снова принялись заплетать косу. Я не стал спрашивать ее; я все еще не хотел верить тому, о чем сказала Мария Семеновна, но чем дольше смотрел на Ксению, тем яснее становилось, что все это правда и что вот отчего так тревожно было у меня на душе еще на вокзале, когда я только вышел из вагона, и так беспокойно билось сердце, когда подходил сюда, к дому. «Не может быть!» — однако продолжал говорить я себе, переводя взгляд с Ксени на Марию Семеновну и снова на Ксению. Они молчали; и я молчал; и всем нам было, по-моему, нехорошо, неловко от этого молчания.

«А я ведь не за тем, я просто так, по пути, проведать», — сказал я, краснея оттого, что произносил ложь, и чувствуя, что ни Мария Семеновна, теперь как будто с еще большим вниманием смотревшая на меня, ни Ксения, тоже взглянувшая на меня, не верят мне. Но что я мог еще сказать им?

«Да что же вы не проходите? — сказала Ксения, разрушая эту минуту неловкости. — Проходите в комнату. Вот Вася-то будет рад, — добавила она, пододвигая мне стул. — Он на работе, в диспетчерской. А вы завтракали? Могу угостить картошкой с постным маслом, уж что есть, могу приготовить чай. Да что, собственно, я спрашиваю, боже мой, человек с дороги, а я спрашиваю. Посидите, я сейчас». И она вышла, оставив меня одного в комнате.

Не знаю, сколько времени я просидел, ожидая, пока войдет Ксения и начнет накрывать стол; минуты эти показались мне долгими, но я был так ошеломлен и растерян, что не успел ничего разглядеть, что и как было убрано в комнате; я думал о своем бывшем комбате, который, как сказала Мария Семеновна, опередил меня, — он вставал передо мною таким, каким запомнился в те годы, когда служили вместе: то вот он на наблюдательном пункте с биноклем у глаз, молчаливый, решающий все сам, про себя, и отдающий распоряжения лишь короткими, ничего не объясняющими фразами («Делать так, и все, и не иначе!»), то проверяющий стволы орудий на батарее, как вычищены и смазаны после боя, перед маршем; то вдруг вижу его за ужином или обедом — единственно когда появлялась на лице его улыбка; мне он нравился таким, суровым, я и теперь, представляя его себе, не без зависти и не без гордости смотрел на него, но вместе с тем сейчас я искал в нем то, что могло быть привлекательным для Ксени, и казавшаяся замечательной тогда суровость его души, а может быть черствость, которой я восхищался, представлялась теперь несовместимой с чистым, добрым и доверчивым сердцем Ксени. «Будет ли она счастлива с ним? — спрашивал я себя и тут же отвечал: — Нет». Мне не хотелось думать плохо о бывшем своем комбате, я видел лишь несоответствие характеров, и было в этом несоответствии что-то обнадеживающее для меня. Но, знаете, я ошибался тогда, потому что рассуждения мои были продиктованы не разумом, а опять-таки чувством, мне казалось, что то, что испытываю я к Ксене, не может и не в состоянии испытывать никто другой, что только во мне столько нежности и любви, столько доброты, что я могу одарить не только Ксению, но весь мир своею щедростью, и что э т о, что есть во мне, не может и не должно быть, по крайней мере, по отношению к Ксене, ни в ком другом на свете; к сожалению, думая так в молодости, мы все ошибаемся: то, что есть во мне, вполне может быть и в другом, и в третьем, и в четвертом. Но я вот так думал о своем бывшем комбате и, сравнивая его с собою, чув-

ствовал, что я бы более осчастливил Ксеню, чем он; и чем отчетливее представлял себе это, тем мучительнее и больнее было на душе. Я сидел неподвижно, склонившись, обхватив виски ладонями и упершись локтями в колени, и лицо мое, наверное, было красным от возбуждения, мыслей и чувств; за перегородкой о чем-то разговаривали Мария Семеновна с Ксеньей, я слышал отрывки фраз, смысл которых, однако, совершенно не доходил до моего сознания; я был занят собою и говорил себе: «Так вот почему он так долго смотрел на нее тогда, в то утро, когда она, прыгнув с крыши, лежала на снегу, а я держал на ладони ее голову, и вон что означали его нежное пожатие и его слова: «До свадьбы заживет!» Как же я не сообразил тогда? Вот что все это значило», — повторял я, ясно представляя, как все было в то морозное утро, и какой-то как будто нерассасывающийся клубок боли все сильнее сдавливал мне грудь. «Зачем я приехал? Для чего завтрак? Надо сейчас же встать и уйти, да, сейчас же, и забыть, не думать, все равно уже ничего не вернешь», — про себя произносил я, продолжая, однако, сидеть все в той же позе, не двигаясь, даже когда по звукам шагов почувствовал, что вошла Ксения и что, остановившись, смотрит на меня.

«Вы устали?» — спросила она.

«Да, немного есть», — подтвердил я, разгибаясь и глядя на нее. — Но ничего, что вы, пусть это вас не волнует, — тут же поправился я, заметив озабоченность на ее лице. — Горячего чайку, и все пройдет. Я ведь только проведать... после того... помните? А вечером — дальше, домой».

«Когда ваш поезд?»

«Вечером. Ночью».

«Вася придет с работы в шесть, вы уж дождитесь, он будет рад. Мы ведь не раз вспоминали о вас», — сказала она, и при этих словах опять какой-то будто румянец вспыхнул на ее лице. — Вы, может быть, хотите умыться с дороги? — сейчас же спросила она, чтобы, наверное, перевести разговор на другое. — Умывальник в сенцах, там и полотенце чистое я повесила, пожалуйста, а потом и к столу, пока картошка горячая и чай».

Я умывался и не чувствовал, что вода была холодной; все та же мысль — о п о з д а л! — как будто переполняла мою голову, но думал я уже не о бывшем своем комбате, а о том, что если бы отпустили меня по первому поданному мною рапорту, а было это еще ранней осенью, как только дошла до нас весть о разгроме Квантунской армии и капитуляции Японии, — если бы тогда сразу отпустили, все было бы иначе, и не я, а комбат хлопался бы сейчас под умывальником, ругая себя, досадуя и переживая; того, что ему еще на Сандомирском плацдарме оторвало руку, что приехал он уже около года назад и что, подай я рапорт даже раньше, сразу после взятия Берлина, все равно бы не успел, — этого я еще не знал, и проклинал про себя тот маленький зеленый австрийский городок Пургшталь, по улицам которого бродил в ожидании, когда наконец будет решен мой вопрос, и в тоске по этим нашим теперь заснеженным и еще как будто пахнувшим фронтным дымком русским деревянным избам Калининичей. Уже сидя за столом, я продолжал думать все о том же, о своем, и прилагал немало усилий, чтобы хоть на время приглушить этот поток растравлявших душу мыслей и послушать Ксению. Она рассказывала, как лежала в Брянске в госпитале, куда отвезли ее вместе с ранеными в санитарном поезде и куда несколько раз, упрасивая кондукторов и забираясь в попутные эшелоны, приезжала к ней мать, Мария Семеновна, но из всего того, что говорила Ксения, я понял лишь одно: что все обошлось, слава богу, благополучно, что пока никаких последствий нет, хотя и надо еще беречься; она еще говорила, как, вернувшись домой, пошла работать нянечкой в стоявший тогда в Калининичах военный госпиталь (теперь это была уже городская

больница) и поступила на курсы медицинских сестер; я слушал, смотрел на нее, с болью чувствуя, как счастье уплывает от меня; я бы не мог сейчас пересказать с подробностями, о чем она говорила, но одну фразу помню дословно, потому что она особенно поразила меня: «Зря вы не взяли меня тогда санитаркой на батарею, я так хотела, я, вы знаете, готова была на все», — и слова эти ее как бы вновь мгновенно вернули меня в то морозное январское утро, когда она, худенькая девочка, лежа на носилках, просила: «Почему вы не взяли меня?» Краснея в который раз за эти часы, пока был здесь, в доме Ксени и Марии Семеновны, и разговаривал с ними, я протянул руку и, как тогда, в машине, пожал мягкую и теплую ладонь Ксени. Слов, чтобы выразить свои чувства, у меня не было, и я сделал это — пожал и все! — хотя и сознавал, что нельзя было так делать, что это было неловко, глупо, смешно, наконец, нетактично, ведь она замужняя женщина, но я не мог сдержаться, и, понимая свою нетактичность и видя, как взглянула на меня при этом Ксения, как посмотрела сидевшая тут же Мария Семеновна, покраснел еще больше и, как будто намереваясь протереть глаза, прикрыл ладонью лоб и щеки. «Теперь-то для чего все это», — торопливо сказал я себе. Я ни минуты уже не сомневался, что они знают, для чего я приехал к ним, и мне было, с одной стороны, приятно сознавать, что понимают, а с другой — я чувствовал себя в каком-то глупейшем, униженном положении. Я ел мало, и чай казался мне безвкусным и пресным; о том, что лежало в моем вещевом мешке и что собирался я с торжественностью (вот ведь как играет иногда воображение!) высыпать на стол, я совсем забыл; мне было не до этого; допив чай и поблагодарив Ксению и Марию Семеновну, я сказал, что хочу пройтись по городу и посмотреть, как он выглядит теперь, этот самый их город, который когда-то, два года назад, я освобождал вот в такую же зимнюю пору, и что уже по одному этому он и мне дорог и памятен; фактически же я уходил просто потому, что не мог оставаться далее в избе, рядом с Ксенией, хотелось побыть одному, чтобы пережить и обдумать все то, что случилось со мной.

«Пусть пока чемодан и вещевой мешок полежат у вас», — попросил я.

«Какой разговор», — ответила Мария Семеновна.

«Может быть, вы бы отдохнули с дороги», — сказала Ксения, на лице которой я все более замечал растерянность и какое-то еще чувство, будто жалости или сострадания ко мне, чего я еще не мог да и не в состоянии был определить.

«Нет, спасибо. У меня ведь только один день, и я все должен посмотреть».

«Но к обеду мы вас ждем, возвращайтесь непременно!»

«Постараюсь», — сказал я и, слегка поклонившись сам не зная для чего, в знак благодарности за гостеприимство и завтрак, что ли, вышел на улицу.

Но куда мне было идти? Что смотреть? Я зашагал к центру, разбрызгивая сапогами жидкую снежную кашу, глядя по сторонам и снова как будто чувствуя, что да, чем-то фронтным веет от этих обветшалых деревянных изб; кое-где из-под снега проглядывали то фундамент, то остов кирпичной печи на месте разнесенных когда-то снарядами и сгоревших домов. Я дошел до вокзала, до барака, в котором ночевал, и повернул обратно к центру; несколько раз я то оказывался вдруг на шоссе Мозырь—Калинковичи, то опять у дощатого барака, вышагивая, наверно, по одним и тем же улицам, но не замечая этого, не замечая оживления возле магазинов и киосков, возникавшего к полудню; я не замечал даже усталости, потому что мир, которым я жил все эти часы, не имел ничего общего с тем внешним — избами, людьми, магазинами, тротуарами, — который окружал меня; то, что за многие месяцы было создано в моем воображении, что представлялось и в напряженные минуты

боя и затем, в далеком Пургштале, не только возможным, но неслучайным, неминуемым, неизбежным, теперь рушилось во мне, рушился мир, в котором я мог бы жить и чувствовать себя счастливым. Но что все же так влекло меня к Ксене: тот ли порыв души, когда она, преодолевая все преграды, стремилась к нам на батарею (я знаю, она бы вышла тогда за меня замуж, не колеблясь ни одной секунды, хотя, как я узнал уже спустя много лет, была у нее и другая, своя, личная причина пойти на фронт хоть санитаркой, хоть заряжающим к орудию, все равно, как она сама говорила); или вид ее серебристо-серых кос, ясных глаз и неповторимых, как мне и теперь кажется, линий ее лица; или то неразгаданное, что я только чувствовал в ней, улавливая огромную доброту ее души, ту женскую доброту, которая может сделать счастливым любого живущего на земле человека; да, скорее всего именно это было главным, отчего я так тянулся к ней, и проявлялась эта доброта в ней не отчетливо, не вдруг, не так, чтобы сразу видна и понятна, а в разных как будто мелочах, в движениях, во взгляде, в тоне голоса, в незначительных поступках, свидетелем которых я был и в тот далекий вечер, когда впервые увидел ее, и вот сейчас, в день этой встречи,— как она принимала, разговаривала и как вела себя; доброта в ней была естественной, природной, а не вынужденной или продиктованной рассудком. и этого нельзя было не почувствовать с первой же минуты знакомства с ней, и я снова убедился в этом, когда вечером, вернувшись, наблюдал, как она распоряжалась и хозяйничала в доме. Я пришел поздно, было уже довольно темно; уставший, в заляпаных грязью сапогах, я еще стоял у калитки, а на крыльцо, приготовившись встречать меня, уже вышел капитан Филев, бывший мой комбат и теперь счастливчик, опередивший меня,— я сразу узнал его и сразу же заметил пустой рукав еще армейской гимнастерки, заткнутый за широкий офицерский ремень; вышла и Ксения в платке; и даже Мария Семеновна, не желавшая, очевидно, отставать от всех и проникшаяся общим добрым настроением, стояла тут же, позади дочери.

«Ты что же это,— с упреком и радостью сказал Василий Александрович, шагнув мне навстречу и одною рукою обнимая меня, и я почувствовал, как теплые губы его и жесткая щетина не бритого, наверное, со вчерашнего дня лица прильнули к моей щеке.— Мы тебя ждем, Ксения ко мне на работу бегала, я пришел пораньше, отпросился, мы ждем тебя, а ты, чертяка...— И он снова обнял меня и приложился своею жесткою щетиной.— До старшего дослужился, вижу. В отпуск? Или по чистой?»

«По чистой».

«Домой?»

«Да».

«Гражданку тянуть?»

«Да».

«Ну, заходи, чертяка. Орден Боевого-то получил?носишь? А жаль, что Героя не утвердили. Я часто вспоминаю, как ты лихо тогда!.. И подполковник Снежников... как он настаивал! Мы ведь все видели, мы ни на минуту не спускали с тебя глаз»,— говорил Василий Александрович, снимая с меня шинель и усаживая за стол, на котором уже были расставлены тарелки с квашеной капустой, мочеными яблоками, солеными огурцами и залитой уксусом селедкой, а в центре возвышалась бутылка с коричневой сургучовою головкой; да, было видно, что они ждали давно, и Василий Александрович особенно суетился, выказывая гостеприимство. Во все время вечера он казался возбужденным и веселым, и было что-то необычное, вернее сказать, непривычное для меня в этом его настроении: я знал его другим, угрюмым, малоразговорчивым; лишь однажды, в день того ложного сватовства в этом же вот доме, он дер-

жался оживленно, но тогда заметна была искусственность в его шутках; теперь же будто что-то изменилось в нем, и чем внимательнее (насколько разумеется, хватало у меня внимания при том моем состоянии) я слушал его и наблюдал за ним, тем сильнее утверждался в догадке, что, да, что-то действительно изменилось в характере бывшего моего сурового и строгого комбата. На самом ли деле радовался он моему приезде, или перемена имела иную и более вескую причину — доброе влияние Ксени? — я еще не знал тогда, лишь отдаленно возникала у меня такая мысль, но время показало, что я был прав в своем предположении, которое, кстати, в те минуты отнюдь не радовало, а, напротив, только огорчало меня. Я вспомнил о времени потому, что много лет спустя Василий Александрович как-то в порыве откровения сказал мне такую фразу: «Очень важно, Женя, кто рядом с тобой. Важно для жизни». А ведь рядом с ним была Ксения, и для меня в тот вечер было особенно больно, что она с ним, а не со мной. Я выложил из вещевого мешка консервы, сухари, все что было из продуктов, и достал фляжку с водкой; рюмку за рюмкой поднимал я вместе с бывшим своим комбатом, теперь — Ксениным мужем, провозглашая тосты за их счастье, за победу, потому что все мы жили тогда еще тем радостным чувством, что разгромили врага, что тяжелые будни войны уже позади и что — пусть потихоньку, по-малому, но жизнь теперь пойдет в гору, на улучшение, что легче будет народу, а значит, легче и нам; словом, разные тосты поднимали мы, я пил, закусывал, но в противоположность Василию Александровичу не только не пьянел и не веселел, но с каждой минутой все более тревожные и мучительные думы охватывали меня. В голосе Ксени, когда она, обращаясь к мужу, произносила: «Вася!» — мне казалось, было что-то особенное, и я пытался уловить ту особенность интонации, представить, как бы звучало мое имя в ее устах; до боли в сердце мне нравилось, как она ухаживала за всеми нами, в том числе и за матерью, Марией Семеновной, заменяя тарелки, предлагая кушанья и не оговариваясь, не стесняясь той скромности угощений, какие были на столе; она знала, что подано все, что только имелось в доме лучшего, щедрость эта была для нее естественной и потому радовала ее; как и во время первой встречи, когда я смотрел на ее лицо, оно представлялось мне не просто красивым само по себе своими правильными и четкими линиями, — оно опять будто было подсвечено тем внутренним светом, теми чувствами (может быть, и воспоминаниями того морозного январского вечера), какие теснились в ней теперь и отражали всю ее ясную, чистую и щедрую своей добротой натуру. Эти чувства были обращены не ко мне, а к мужу, Василию Александровичу, я понимал это, и именно это делало мучительной для меня встречу. Чем более я сознавал, что Ксения потеряна для меня, тем отчетливее, казалось, чувствовал, что никогда не смогу позабыть ее и что жизнь без нее будет для меня пустой, неинтересной, ненужной. Не в силах сдерживать себя, я мрачнел и все чаще поглядывал на часы, будто и в самом деле надо было спешить на вокзал, к поезду, хотя никакого билета у меня не было и утром я сказал неправду Ксене, что уезжаю сегодня же; но сейчас я даже сам как будто верил, что мне надо спешить на вокзал.

«Во сколько отходит?» — спрашивал Василий Александрович.

«В три тридцать».

«О-о, еще есть время, еще успеешь».

Немного погодя я снова смотрел на часы, и опять между нами происходил тот же разговор.

«Еще успеешь! Мы с Ксеньей проводим тебя. Ей завтра все равно на работу не идти, а я ничего, еще отосплюсь. Как хорошо все-таки, что ты приехал, чертяка!» — говорил он, но я все яснее чувствовал, что не могу более оставаться здесь.

В двенадцатом часу наконец я встал и решительно заявил, что ухожу.

«Собирайся, Ксения, проводим».

«Нет, не надо»,— возразил я.

«Почему?»

«Не надо»,— повторил я даже, наверное, немного грубовато, потому что мне действительно не хотелось, чтобы они провожали меня. Пожав всем руки и пожелав Ксене и Василию Александровичу счастья, я надел шинель, накинул на плечи теперь уже порожний вещевой мешок и вышел на крыльцо.

Следом за мною вышли Василий Александрович и Ксения.

К ночи подморозило, перило крыльца схватилось тонким скользким ледком, я почувствовал это сразу, едва положил на него руку, и ощущение холода под ладонью живо напомнило тот казавшийся мне теперь далеким-далеким морозный январский вечер, когда вот так же, разгоряченный, но с совершенно иным настроением, счастливым, я стоял здесь, на крыльце, на этом же самом месте, ожидая комбата четвертой старшего лейтенанта Сургина, и, как на гашетку — «Огонь! Огонь! Огонь!» — нажимал на заиндевевшее и начавшее уже подтаивать под рукою перило крыльца, салютуя своим радостным чувствам, а впереди по горизонту полыхали зарева пожарищ; и хотя теперь передо мною в ночи не было горевших деревень, а лишь мирно светились уличные фонари засыпавших Калининичей да редкие еще в то время огни витрин — за этими огнями, вдали, я видел те когда-то озарявшие небо зловещие всполохи войны; инстинктивно, не знаю сам как, возникло во мне это желание, только я раз за разом, быстро и, конечно же, незаметно ни для Ксении, ни для Василия Александровича нажал ладонью на перило крыльца, как на гашетку, точно так же, как тогда, про себя считая: «Раз! Раз! Раз!» — и какое-то страшное, злое чувство охватило меня, будто стрелял я не просто в пространство, а, как в том заснеженном лесу, под деревней Гольцы, — по перекрестившим дорогу немецким самоходкам. Но длилось это всего несколько секунд. Ни Ксения, ни Василий Александрович, я думаю, даже не догадывались, что творилось в моей душе; полагая, что я засмотрелся на ночные Калининичи, которые были хорошо видны с крыльца, так как изба стояла на возвышении, Василий Александрович дружески тронул меня за плечо, спросил:

«Любуешься? Я тоже долго не мог привыкнуть к этим мирным огням. Бывало ведь как — папиросу в рукав, да еще и под полу шинели».

«Да,— ответил я как будто Василию Александровичу, но более — своему течению мыслей.— Будем привыкать к новому». И еще раз пожелав счастья Ксене и своему бывшему комбату, поднял чемодан и пошел по подмерзшей теперь дорожке через двор на улицу.

Ксения осталась на крыльце. Было темно, я не разглядел ее лица. Василий Александрович же проводил меня до калитки.

«Ты погоди,— сказал он вдруг, когда я шагнул было уже на тротуар,— не уходи с сердцем, я же вижу; ты пойми, я не мог иначе. Ты вот едешь домой, к матери, а мне куда было? Сожжено все: ни избы, ни родных, ни деревни, ничего! И к тому же — ведь я люблю ее», — добавил он, и по тону голоса я почувствовал, что он говорит правду.

«Желаю счастья»,— однако сухо и даже с раздражением, как мне кажется теперь, ответил я и, ничего не говоря более ему, зашагал по знакомой, исхоженной днем дороге на вокзал.

Я уходил с чувством, что больше никогда не вернусь сюда, а жизнь за моей, как говорится, спиной снова уже прокладывала для меня дорогу к этому дому.

Час четвертый

— Почти двое суток прожил я в станционном дощатом бараке,— продолжал Евгений Иванович,— прежде чем военный комендант поместил меня в один из проходивших на Москву и переполненных до отказа демобилизованными воинами поездов. Днем я то сидел на чемодане, то стоял в тамбуре с обледенелыми и плохо закрывавшимися дверями, и только по ночам, когда особенно поджимал мороз и, казалось, некуда было деться от сквозняков, грохота, леденящего дыхания железной обшивки стен и никелированных ручек, за которые нельзя было взяться, не почувствовав, как примерзают пальцы, и не ощутив вдруг, как коченеют ноги на вышарканном солдатскими сапогами металлическом полу,— я входил в вагон, вернее, втискивался, чтобы отогреться, говоря спасибо какому-то рябоватому, с оспинным лицом старшине, который уступал мне место, а сам на время уходил в тамбур; он тоже ехал в Сибирь, но куда точно, я уже теперь не помню, как не помню и его фамилии, а знаю только, что звали его Порфирием, что воевал он на Третьем Украинском, где и я, брал Пап, Веспрем, Вену, в общем, почти однополчанин, и, надо сказать, в том положении, в каком я находился, он очень выручил меня. От Москвы же я продолжал путь уже в плацкартном вагоне, и хотя полка была боковая, на проходе, все же я мог часами лежать теперь, вытянув ноги, блаженствуя в тепле, или смотреть в окно то на заснеженные леса, то на деревеньки у замерзших и тоже заснеженных речек, то на разъезды, полустанки и станции, на вокзалы, где как будто и не было никаких следов войны, но где на перронах шумел и толкался с котелками и чайниками все тот же военный люд — в гимнастерках, шинелях, защитного цвета телогрейках, в ремнях и без ремней, с орденами, медалями; казалось, что вместе с поездами прибывало сюда, в малолюдные еще тогда сибирские города, дыхание недавно окончившейся победно войны, оседая, дробясь, растекаясь с вокзалов по деревьям, по притихшим, осевшим и словно почерневшим от ожидания крестьянским избам. Я до сих пор храню в себе это впечатление, и все, на что смотрел тогда сквозь запорошенное снежной пылью и прихваченное морозцем стекло,— все это часто и теперь разворачивается передо мною, я вновь подъезжаю к родному городу и смотрю на сопки, снега, на темную, то подступавшую к самой дороге, то вдруг убегающую к горизонту кромку тайги. За этой тайгой, за сопками, лежала деревня Севастьяновка, куда я уезжал на лето к своему деду по матери, и хотя из окна вагона не было видно этой деревни, но сознание того, что вот сейчас я проезжаю мимо нее, что еще шесть полустанков, всего только шесть отделяют меня от Читы-I и от Читы-II, пассажирской, пробуждало совершенно иные, чем когда я подъезжал к Калинковичам, мысли и чувства. Как ни был я огорчен и как ни мучительна была для меня ревность, какую испытывал я с будто нарастающей, чем дальше отвозил меня поезд от Калинковичей, силой,— все то, пережитое, как бы уходило на задний план, отдалялось, свертывалось, словно укладывалось на покой на время где-то в тайниках души, а на смену этому с каждым часом, особенно в утро, когда подъезжали к Чите, появлялось новое, радостное и тревожное волнение. Мы часто говорим: «Босоное детство». Вот это самое босоное детство вставало перед глазами, и было радостно сознавать, что оно было, что живо в памяти, и что все происходило на этой вот земле, что лежит за окном, под снегом, и что именно там, на желтой и мокрой под сугробами траве, на песчаном откосе у парома на Омутовке, тоже, наверно, покрытого ледяною коркой, время еще хранит следы твоих босых ног. Фантазия, конечно, воображение; сейчас как-то не возникает таких ассоциаций; а тогда — хотя за плечами была война, и уже колючею шетинкой покрывались за ночь щеки, и сам я чувствовал себя так, будто

был не просто мужчиной, но человеком, прожившим, по крайней мере, первую и главную половину своей жизни, — хотя именно так я думал и считал себя вполне возмужавшим и лишенным всякой не присущей мужчинам чувствительности (наивно, конечно, звучит это теперь!), но в воображении я все же представлял себе те самые следы своих босых ног на траве и песке. Мы бегали из деревни на Омутовку не только порыбачить и покупаться, но, главное, интересно было смотреть, как старый, облепленный лягушечьей зеленью паром, нагруженный возами с сеном, скрипя и вздрагивая, двигался от одного берега реки к другому, натягивал висевший над водою толстый железный трос. Я видел все это, а вернее, воображал, глядя на покрывавший землю и замерзшие речушки ослепительно белый под солнцем снег, и воспоминания то словно уводили меня вглубь, к вечерам, когда мы, деревенские ребята (хотя я и приезжал всего лишь на лето, но так сживался и так дружил со своими сверстниками из Севастьяновки, что к концу лета обычно не только сам, но и никто не считал меня недеревенским), когда мы собирались у костра, закапывали принесенную за пазухой картошку в горячую золу и потом, обжигая руки и губы, ели ее, иногда непропеченную, иногда наполовину сгоревшую, похрустывая зауглившимся корочками, и слушали, как паромщик рассказывал длинную, мне так казалось, нескончаемую историю про драгоценный, сверкавший золотом и алмазами китайский императорский скипетр. Теперь я знаю — есть об этом толстая книга; но тот наш паромщик, дядя Яков, за всю жизнь только и прочитал эту книгу и пересказывал нам ее на свой лад, добавляя, по-своему изменяя и усиливая самые такие щипательные места, и в этом, думаю, был для него какой-то свой, особый интерес и смысл жизни, а для нас — тоже свой, мальчишеский интерес. Да, так вот, то уводила меня память, как я уже говорил, к тому костру, тем вечерам, и я видел себя сидящим перед дядей Яковом с разломленной картошкой в руках и с широко раскрытыми глазами, то вдруг вставала перед мысленным взором месяца и дни, когда уже шла война и я тайком от матери готовился убежать на фронт. Нас было шестеро — все из одного девятого «Б», — и замысел свой держали втайне; мы приходили в школу пораньше, засовывали портфели за дровяной штабель, сложенный в школьном дворе, и отправлялись либо в военкомат с зажатými в ладонях заявлениями (в военкомате нас уже, конечно, хорошо знали, и дежурный офицер, еще издали только завидя нас, выходил из своего кабинета с окошечком и становился посреди дверей, улыбаясь и преграждая дорогу), либо бежали на вокзал, высматривали и выискивали пути, как лучше и незаметнее пробраться в уходивший на фронт эшелон. Но походы эти не всегда заканчивались для нас гладко. Однажды, вернувшись в школьный двор к полудню, как обычно, к концу занятий, мы не нашли своих портфелей за дровяным штабелем; их обнаружил истопник, почтенный Семен Игнатьевич, как его все звали, и отнес директору на стол. Он поджидал нас, стоя за остекленной дверью, и когда мы, озадаченные пропажей — как можно явиться домой без портфеля! — толклись возле штабеля, вышел из-за двери и, растворяя довольную улыбку в окладистой и длинной, какие носят теперь только швейцары в ресторанах, седой бороде и поманивая пальцем, проговорил: «Сюда, сюда, голубчики, к директору в кабинет, там и дорогие мамаша вас поджидают». Стоя у окна вагона, волнуясь и улыбаясь про себя, я как живого видел теперь выходящего из-за двери почтенного Семёна Игнатьевича и видел всех нас шестерых, с опущенными головами стоявших в директорском кабинете; на покрытом зеленой суконной скатертью столе лежали рядком, один возле другого, наши набитые учебниками и тетрадами портфели, и даже глобус, по-моему, был переставлен по этому случаю на подоконник, чтобы освободить место. Что говорил директор? Ну, ясно, что он мог говорить. Как смотрели на нас матери? Как смотре-

ла на меня моя мать? Так же отчетливо, как почтенного Семена Игнатьевича, как наши разложенные на столе портфели, я видел теперь перед собою лицо матери с усталыми, заплаканными глазами и, может быть, как раз в эти минуты, в поезде, когда вспоминал все, впервые мне стало не просто жалко мать, а какое-то не испытанное прежде чувство вины за причиненную ей боль как бы обожгло сердце. Мать не ругала; она ничего не сказала тогда; мы вышли из школы, она взяла меня за руку, пальцы ее были холодными, глаза то и дело наполнялись слезами, а я чувствовал себя подавленным, видя ее такой, и думал, что все это из-за меня, и только лишь вечером узнал, что пришла похоронная на отца. Эта похоронная лежала на комодe, сложенная вдвое, и я случайно, уже перед самым сном, заметив незнакомую бумажку и развернув, прочитал ее. У меня не тряслись руки, помню, но я весь белый, как будто обескровленный, стоял у комода; потом прошел в комнату, где лежала мать на кровати, нераздетая, в черном платье и с красными от слез глазами, и, упав на колени, уткнулся лицом в ее мягкую грудь.

«Ничего,— сказала она тихо, почти шепотом, погладив ладонью мою тогда еще, конечно, не седую голову.— Только ты не убегай больше, Женья».

«Не буду, мама».

Я с торжественностью говорил себе, что буду теперь примерным сыном, что не оставляю мать и не побегу больше ни на вокзал, ни в военкомат, а дождусь дня, когда сама собою придет повестка, и уже как положено, без лишних слез и причитаний (как провожала мать в армию отца), соберет она меня в трудную военную дорогу, благословив своим материнским словом, а пока буду помогать ей во всем, как делал отец и как должен я теперь, единственный в доме мужчина; так говорил я себе, но, как мне сейчас кажется, уже тогда, в те минуты, я знал, что не смогу выполнить это обещание, потому что есть еще клятва перед ребятами, есть страшная договоренность: «На фронт!» — которую я действительно так нарушить не мог, и похоронная на отца уже в тот вечер вместе с болью и жалостью к матери пробуждала во мне и чувство долга, расплаты за смерть отца. И я все же ушел добровольцем, правда, не на фронт, а в военное училище, как и все друзья мои по девятому «Б», и вот теперь, в приближавшемся к Чите поезде, те будто забытые за время окопной жизни и будто заслоненные думой о Калининичах, о Ксене, о воображенной совместной жизни с ней переживания повторялись в сознании, и я не в силах был ни долго стоять у окна, ни сидеть на одном месте, ни слушать, что говорили мне и о чем вообще рассуждали в вагоне люди, а, волнуясь, торопил стук колес и отсчитывал в уме остававшиеся еще до Читы перегоны.

Все воспоминания связывались больше всего с матерью: и то, что я писал ей последнее время редко, да и суховато, как мне казалось, и что поехал сначала в Калининичи, а не домой («Эх, Ксения, Ксения,— говорил я про себя,— а могли бы ехать сейчас вместе!»), и что о своей демобилизации сообщил не из Пургштала, а только из Калининичей и в день отъезда,— все это теперь каким-то тревожным упреком ложилось на душу; особенно неприятно было вспоминать тот далекий прощальный вечер, когда, вместо того чтобы побыть с матерью, я почти до трех ночи, как уже говорил вам, пробродил с Раей по морозным улицам Читы, заходя в чужие подъезды и таясь по темным углам. Мне не вспоминалось ни ее лицо, ни черное зателенное пальто с узким белым воротничком и такими же узкими манжетами из беличьего меха и опушкой по низу, в каком она была в ту ночь, ни слова, о чем мы говорили, ни чувства, вернее, ничего, что было тогда значительным и казалось незабвенным, а все время как бы стояла перед глазами наша изба со ступенчатым, под навесом

крыльцом, с печью на кухне и комнатою, где сидела в одиночестве, скрестив, наверное, на груди руки, мать, ожидая меня и глядя на остывавший на столе прощально-праздничный ужин; я не мог простить себе это бесцельное, как оно представлялось мне теперь, ночное хождение по морозным улицам, и каждый раз, как только передо мной открывалась картина, как я вошел в комнату и увидел дремлющую на стуле мать и накрытый салфетками остывший ужин, я морщился, как от боли, от щемящего чувства вины перед матерью. «Нет, такого больше не будет,— говорил я себе в утешение.— К черту все, и Раю, и Ксению, все-все к черту!» С этим чувством вины и сознанием того, что уже ничто подобное со мной не повторится в жизни, я сошел на родной читинский перрон. Но когда я встретился с матерью, лишь в первые часы (может быть, даже в первые минуты), пока мы смотрели друг на друга и она, вытирая слезы радости, говорила, что счастлива, что не спала ночи, ожидая, как только получила телеграмму, что еду,— лишь в эти первые часы встречи, как бы забыв все, я испытывал искреннюю радость, был оживлен и весел и тем радовал мать. Мы просидели за столом весь день и вечер, приходили соседи, поднимали рюмки, поздравляли и уходили, а мать, похудевшая с тех пор, как в последний раз, это было зимой сорок второго, я видел ее, поседевшая, в знакомом мне синем шерстяном платье, суетилась, не зная, как угодить, что поставить передо мною, и то и дело, подходя, прижимала мою голову к себе, и гладила, и разглядывала уже начавшие тогда, в двадцать один год, седесть виски. Вот сейчас, когда я рассказываю обо всем этом, мне кажется, что день тот прошел в каком-то хмельном — не столько от выпивки, как от волнений и разговоров — угаре, и я только помню, что когда уже лежал в постели и засыпал, мать сидела рядом на стуле и все смотрела на меня счастливыми (ни раньше, мне кажется, ни потом я уже никогда больше не видел ее такой счастливой), как только могли быть у матери, дождавшейся с войны сына, глазами.

На другой день как будто еще продолжалось то приподнятое настроение, хотя, в сущности, я уже только казался веселым, только внешне поддерживал тон разговора и улыбался, даже смеялся, когда это было к месту, но время от времени вдруг вспоминались Калининичи, Ксения, о ч е р е д и в ш и й меня комбат, и я весь как бы перемещался в ту сферу мучительных переживаний, будто все еще находился в дощатом станционном бараке, досадуя, злясь и торопя коменданта, чтобы поскорее посадил меня в любой проходивший на Москву поезд; только в первое утро, когда деревянной лопатой расчищал во дворе наметенный за ночь снег, сознание того, что я дома, что вот они, в голубом инее с детства знакомые до каждой трешинки бревенчатые стены родной избы, еще вызывало радостное чувство, но уже на второй и третий все казалось будничным, обычным, и за этими стенами виделись другие, те, что памяты были по Калининичам; только в самом начале, когда ходил в военкомат, чтобы стать на учет, получить военный билет и положенную мне как фронтовику, хотя я еще нигде не работал, хлебную карточку,— еще как бы в новизну были немного забытые и радовавшие теперь глаз кирпичные здания на центральной улице и деревянные избы на окраинных, почти примыкавших к тайге, я останавливался и любовался всем, но спустя неделю ничто уже не привлекало внимание, а мысли как бы сами собою переносили меня в то недавнее прошлое, к тем событиям, которые еще свежи были в памяти, и я в каждом деревянном домике, в том числе и в своей избе, искал и находил сходство с той, что стояла в Калининичах на въезде со стороны Мозырского шоссе. Переживал я про себя, молча; матери же представлялся каким-то, как я думаю теперь, чужим, непривычно замкнутым, **каким никогда не был прежде**; сколько раз я ловил на себе ее вопрошительно-тревожные взгляды и понимал, что означали

эти взгляды, но не мог пересилить себя и только более мрачнел и замыкался.

Я знаю, что думала обо мне мать; она полагала, что все это от вида крови, от страшных картин войны.

«Слава богу, хоть не пьет»,— сказала она однажды соседке, и я случайно, сидя как-то у раскрытого окна, дело было уже летом, услышал этот разговор.

«А у Никитиных вон тоже-ть не пьет, а по ночам такие команды выкрикивает, душу леденит».

«Молчит мой, уж что с ним, молчит. Ни на вечера, никуда, а ведь и невеста была, и хороша, и характером мягка, а уж угодить готова была, да и в жизни пристроена, учительница, но и слышать не хотел».

«Насмотрелся, поди, смертей-то?»

«Уж как ни насмотрелся».

«Вот и отбило охоту жить, это бывает так».

«Не знаю что и думать».

«А по ночам кричит?»

«Нет».

«Ну, милая, тебе еще повезло, скажу».

Не раз, конечно, они говорили вот так обо мне, как говорили тогда о своих вернувшихся с войны огрубевших и очерстневших сыновьях и мужьях, наверное, все матери и жены, но что было делать мне? Матери я ничего не рассказывал; я никому ничего не рассказывал, старался забыть все, не думать, не растревать душу, но — только умом и понимал, что думать не надо, а в том незримом мире, вернее, невидимом для других мире, который, я верю, носит в себе каждый человек, продолжал жить прежними тревожными воспоминаниями; и я никак не мог примириться с этим, что комбат о п е р е д и л меня; мне казалось, что я имел больше прав на Ксеню, что я сделал бы ее счастливее, чем он, потому что чувствовал, сколько копилось во мне добра, тепла и нежности к ней. Оттого-то и был я неразговорчивым и мрачным. Мать же понимала только одно — война сделала меня таким, как будто не ее сыном, она и умерла, знаете, с этой сокрушавшей ее мыслью, так и не узнав правды, и меня теперь запоздало мучает иногда по ночам совесть. Но, может быть, она и была права: конечно же, война! Иначе — разве я попал бы в Калининичи и случилось ли бы со мной все то, что было? Однако я опять забежал вперед; мать умерла спустя почти семь лет после того, как я вернулся, а в ту первую зиму она еще старалась, как она говорила, вернуть меня к жизни, особенно в первые недели, и то и дело напоминала о Раечке, которая жила теперь уже под Читой, в Антипихе, — есть такая небольшая железнодорожная станция с крутым песчаным откосом и высокими соснами, будто рассыпным строем, как атакующая пехота, вбегавшими в станционный поселок, — и вела там первые классы начальной школы.

«А у нас Раечка была, — обычно начинала разговор мать, когда я возвращался после первых и неопределенных еще поисков работы домой. — Привет тебе передавала. Ты что же, забыл ее?»

«Очень хорошо», — отвечал я и уходил к себе в комнату.

Рая приезжала еще и еще, но каждый раз появлялась в доме в те часы, будто специально когда меня не было, и я узнавал обо всем лишь от матери; не помню теперь точно, что побудило меня, но однажды, уступив советам матери, я все же решил поехать в Антипиху и навестить Раю.

Было безветренно, тепло, как только может быть тепло в декабре, когда пошедший еще ночью снег продолжал устилать, разумеется, уже

не первую порошею землю, и от медленно и густо падавших снежинок, от низко нависшего над головою, отяжелевшего темного неба, от вида будто сгрудившихся домов и спешащих по улицам машин, наконец, от людской толчеи, которая, чем ближе я подходил к вокзалу, тоже торопясь, чтобы успеть на очередной отходивший на Антипику пригородный поезд, тем становилась заметнее, создавалось впечатление сумрачного зимнего вечера, хотя было всего около двенадцати дня; это впечатление довершали горевшие вдоль всего перрона электрические фонари, возле которых кружились, как мошकारа, крупные снежные хлопья, и опушенный снегом состав поблескивал в свете этих фонарей. Все вокруг было словно наполнено нашей особенной, сибирской красотой и размягчало душу; есть все же что-то успокаивающее в мерно падающих белых снежинках, и оттого-то, наверное, и во мне все как бы наливалось покоем, умиротворением, я с удовольствием смотрел на заснеженные фуражки проводников, на лица, мокрые, будто вспотевшие от подтаивавшего на щеках снега, и только в самый последний момент, когда состав уже тронулся, вскочил на подножку и вошел в вагон. За окном, пока поезд ехал, был все тот же застилавший все белым снег; той же будто медленно и ровно оседавшей пеленою ложился он под ноги, когда я шагал уже среди деревянных домиков маленького станционного поселка, поглядывая на полузалепленные летящими хлопьями номера на фасадах, с трудом разбирая и отыскивая нужный мне. Я не знал, где жила Раиса теперь, но у меня был ее адрес, и в этот воскресный день я надеялся застать ее дома. От вида ли падающего мерно снега, от чего ли другого, но только, как я уже говорил, какое-то именно удивительное спокойствие, даже будто безразличие владело мною: нельзя сказать, чтобы я совсем не думал о прежних своих отношениях с Раей, о наших встречах, в конце концов, о письмах, которые писал ей в первые месяцы с фронта, но воспоминания эти, пока я не увидел самую Раю, не волновали меня. «Ну, учились вместе,— говорил я себе,— ну и что? Разве первая записка, в которой я написал: «Есть билеты в кино. Хочешь? Буду ждать у входа»,— но что та записка и что оттого, что Рая пришла тогда?» С какой-то холодной медлительностью, как падавший на плечи снег (я был в шинели; я ведь, знаете, почти три года носил ее, прежде чем сумел заменить на обыкновенное гражданское пальто), и с какой-то, как теперь мне кажется, непростительной и незаметной, разумеется, на лице усмешкой я вспоминал, как мы сидели в тот вечер в зале кинотеатра, какое уж было там кино, я больше поглядывал на нее, чем на экран, и хотел и боялся дотронуться до нее; мне смешно было теперь видеть себя тем глупым, вообразившим невесть что девятиклассником, а главное, когда я спрашивал себя: «Что я нашел в ней хорошего?» — ничего сколько-нибудь вразумительного не приходило в голову. «И отличницей не была,— думал я,— разве что стихи умела читать, как никто в классе. Да, стихи, конечно, она умела читать»,— повторил я, чувствуя, как теплотою вдруг отдалось это воспоминание во мне. Она читала их не на сцене, а в классе на уроках литературы, и все мы, обычно повернувшись, смотрели на нее; она жила тем, о чем говорила, свой, особенный мир подымался и играл на ее лице, и я не мог оторвать глаз от нее в такие минуты; чем-то все-таки привлекала же она меня; но мир этот ее был как бы мгновенным и затухал сразу же, как только, закончив чтение и услышав от учительницы: «Молодец, Скворцова, ставлю отлично»,— она садилась за парту; да, мир ее был мгновенным, вспыхивавшим и угасавшим под влиянием проникновенных ли строк поэтов или еще от чего-то, о чем я не знал, да и не узнаю теперь до конца жизни, а у Ксени, которую я не мог мысленно не сравнивать с Раей и которая в сравнении представлялась мне еще более привлекательной и красивой, у Ксени мир этот был постоянным, все время жил в ней и, я лишь повторяю сказанное, как бы подсвечивал,

одухотворял ее лицо; мир этот был естественным состоянием ее жизни, я чувствовал и верил в это, хотя к тому времени лишь два раза встречался с ней; и не ошибался, вы узнаете потом, нет, не ошибался, и это только еще раз подтверждает мое предположение, что есть между людьми какое-то бессловесное взаимопонимание; с горечью, не обращая внимания на залеплявший глаза снег, я думал, что потеря Ксени равна для меня, в сущности, потере жизни и что, конечно же, ни Рая, ни кто-либо еще не смогут затмить в моем сознании память о ней, но, думая так, продолжал все же шаг за шагом приближаться к дому Раи. Запорошенный сырым, липким снегом, почти один на широкой пустынной улице станционного поселка, я все чаще останавливался возле длинных, барачного типа, рубленых еще до войны изб и когда, найдя наконец нужный номер, вошел, стряхнув с себя снег, в тусклый, пахнущий кухней коридор, — вдруг так же, как в Калинковичах перед домом Ксени и Марии Семеновны, остановился, ощутив острое желание сейчас же вернуться домой и лечь на притуленный к теплой печи диван, который уже тогда, в те первые прожитые дома недели, стал для меня излюбленным местом дум и воспоминаний; но если в Калинковичах я не решался войти из боязни, как буду принят, помнят ли меня, из боязни, в сущности, отказа, то теперь, когда стоял перед комнатой Раи, опасения совсем иного порядка заставляли меня молча смотреть на обитую черным дерматином дверь; мне казалось, что если я сейчас переступлю порог, что-то святое и чистое будет разрушено во мне и что я уже никогда не смогу простить себе этого; но в то же время и уйти я не мог, потому что как бы чувствовал, что за моей спиной стоит мать и смотрит, как смотрела утром, обрадованная, когда провожала меня, и уже только от одного сознания, что своим уходом я огорчу ее, я мучительно морщился. Вот так, в нерешительности, не вполне уверенный, что делаю то, что нужно, я все же шагнул к двери и негромко постучал в нее.

Я застал Раю в том обыденном, домашнем одеянии — халате — и слегка взлохмаченными, не очень тщательно причесанными волосами, проще говоря, в том виде, в каком женщины, по обыкновению, не любят представлять перед мужчинами, полагая, что выставляют себя в самом невыгодном для них свете, тогда как именно в этой самой домашности, без украшений и подмазок, они бывают гораздо привлекательнее, веет от них сущностью жизни, приятным и добрым семейным уютом. Но это так, к слову. Едва только Рая открыла дверь и увидела меня, руки ее мгновенно схватились за неприлично широко, как ей, наверное, показалось, расстегнутый ворот халата, и она запахнула его, потом поправила ладонями прическу, и снова руки ее прижались к груди у ворота. Так же, как и Ксения (есть, очевидно, что-то общее при неожиданных встречах, во всяком случае, хотя бы в произносимых словах), но только не с удивлением, а скорее с испугом на лице и в глазах, Рая спросила:

«Ты?!»

«Да, я».

«Что же ты не предупредил? Я в таком виде. Ну входи, входи же, как ты неожиданно! Когда ждала, не приходил, а перестала ждать — явился. Ну проходи же!»

Еще когда только собирался сюда, я знал, что жила Рая одна, что комнату эту предоставила ей школа, а что родители так и остались в Чите и лишь изредка, занятые своими делами, приезжали к ней (или она приезжала к ним), и теперь, войдя, раздевшись и присев на предложенный стул, не без любопытства, хотя все с той же, может быть даже заметной для Раи, холодностью и отчужденностью поглядывал на кровать, шифоньер, стол, на все то, чем и как была убрана и обставлена комната, и в то же время то и дело вскидывал взгляд на Раю, которая в совершенной, как мне казалось, растерянности, так и не выпуская из пальцев

запахнутый на шее ворот халата, издали, от дверей, глядела на меня она ждала, что я скажу, и я видел и понимал это; более того, я знал, каких слов она ждала, но слов этих, я чувствовал, у меня не было, и мне жалко и больно было смотреть на Раю. «Ну вот, пришел,— с раздражением говорил я себе, уже не думая о матери, о всех тех причинах, которые побудили меня прийти сюда (было же в мыслях и такое: «Не только на Ксене все сошлось клином!»), а сообразуясь лишь с теми чувствами, какие сейчас возникли во мне и вызывали как раз это самое раздражение.— А для чего пришел? Кому нужна эта неприятная, по крайней мере для меня, сцена? Ведь я же знал, что она... я же знал...» — продолжал я повторять про себя. Все те перемены, которые произошли с Раей с тех пор, как я в последний раз видел ее, я заметил еще в минуту, когда она только открыла мне дверь, и сейчас — то первое впечатление, что она похудела, вытянулась и что от прежней школьницы ничего не осталось, а что передо мною стояла теперь молодая женщина лишь со знакомыми чертами лица,— то первое впечатление все более утверждалось во мне, чем дольше мы молчали и смотрели друг на друга. На вешалке, и это я сразу отметил про себя, когда еще с шинелью в руках подходил к ней, висело аккуратно надетое на плечики все то же черное, с узким беличьим воротничком и опушкой по низу знакомое мне пальто, и Рая, уловив мой взгляд, еще тогда, в ту же секунду, как-то вдруг съежилась, как бы стесняясь этой подмеченной мною бедности; и халат на ней был хотя чистенький, байковый, но заметно потертый, и она стеснялась и этого; да и все в комнате было скромно, бедно, на покрытом клеенкою столе рядом со стопкою ученических тетрадей, которые она, наверное, только что проверяла, стояла ученическая непроливашка с торчавшею из нее тоненькой и, как мне подумалось тогда, еще школьной ее ручкой, и она, видя, как я оглядываю все это, с тревогою и смущением следила за мною. Я понимаю, да и тогда сразу понимал, как бы ей хотелось устроить жизнь и как принять меня, и как раз оттого, может быть, что понимал, от той все больше возникавшей жалости к ней я чувствовал, как что-то далекое, прошлое и пережитое вдруг шевельнулось во мне, и я уже не с холодностью, а, сам того не замечая пока, с участием посмотрел на нее; и сейчас же, знаете, взгляд этот был принят и понят ею, и она сказала:

«Я рада, Женья, что ты пришел, а то я уже начала думать, что ты совсем забыл обо мне. Как ты возмужал, боже мой,— ни на секунду не отрывая от меня взгляда и теперь уже как будто с удивлением продолжала она.— Боже мой! — громче повторила она, и слова эти, которые прежде я слышал только от матери и вообще только от пожилых людей, с той же естественной простотою, как они обычно звучали в устах матери, прозвучали в ее голосе.— Чем же мне угостить тебя? Так все неожиданно, вдруг!»

«Ничем меня не надо угощать».

«Это почему?»

«Я ненадолго».

«Что значит «ненадолго»? Я просто не отпущу тебя, столько не виделись, и вдруг ненадолго», — сказала она, все еще сжимая ворот халата, и белые пальцы ее рук, казалось, слились с таким же белым, чуть удлиненным от худобы и наклоненным теперь к груди подбородком. Ей надо было переодеться и уложить волосы, она с беспокойством то и дело оглядывала комнату, где бы можно было сделать это, я видел ее беспокойство, но не понимал, отчего оно (это ведь только теперь, задним, как говорится, числом мне все ясно, а тогда не только это, но и еще многое другое я толковал иначе, чем оно было на самом деле); взять платье и уйти в общий и холодный коридор она не решилась и, в конце концов, только слегка поправив перед зеркалом волосы и заколов ворот халата какую-то перламутровую в виде тоненького листика брошь, принялась

хозяйничать у стола и возле электрической плитки. Лицо ее как бы посветлело, когда она расстилала на столе скатерть, раскладывала и представляла тарелки, стаканы, вилки и ложечки, и я, совершенно не думая о том, как воспримет Рая, что я смотрю на нее, даже, по-моему, сам того не замечая, что делаю, молча и внимательно следил за ней; она готовила омлет из яичного порошка; движения ее были мягкими, красивыми, и происходило это, наверное, как раз потому, что она, чувствуя на себе мои взгляды, все более обретала уверенность, и минуты эти были для нее, конечно, минутами счастья. Не то чтобы она старалась, но все само как-то особенно ладилось в ее руках, и она радовалась этому, была вполне довольна собой, и когда, улучив мгновенье, оглядывалась на меня, все эти мысли и чувства были как бы ясно написаны на ее возбужденном и немного раскрасневшемся от этого возбуждения лице. Она включила электрическую лампочку, чтобы было светлее, и задернула белые ситцевые шторы на окне; когда омлет был готов, достала бутылку водки и банку консервов со свиной тушенкой, которые приготовила и берегла, радуется, для этой встречи, и, поставив все это передо мной и извинившись, что только вот хлеба маловато, потому что у нее не рабочая, а лишь служащая карточка, и что она тут ничего не может поделать, попросила открыть консервы и водку.

«Женя, ты же победитель,— сказала она, когда мы, произнеся первый за встречу и сегодняшний вечер тост, выпили и уже закусывали горячим еще и не осевшим омлетом (она-то лишь отхлебнула глоток и, сморщившись и закашлявшись от обжегшей ее боли, поставила стакан на стол; да и потом она только пригубляла и морщилась, произнося каждый раз: «Боже мой, как только вы пьете ее!»).— Ты же победитель,— повторила она,— прошел такую войну, выжил, вернулся, ты должен радоваться, а на тебя скучно смотреть. Ты же победитель,— в третий раз проговорила она, глазами, всем выражением лица, как я теперь вижу, стараясь вызвать во мне то самое чувство, какое должно было стоять за этим словом победитель.— Ты должен радоваться, а ты!.. Ну уж мы ладно, мы терпели и делали все, чтобы вам было легче там, на фронте, и мы ждали, я говорю «мы», Женя, не потому, что хочу приобщить себя к какой-то большой, общей жизни, но поверь, я знаю, что думали женщины, по крайней мере, матери моих первоклашек, да и сама я, ах, боже мой, да что говорить, мы ждали, что вот вы, вернувшись со славою, вдохнете жизнь во все это обветшалое,— слегка рукою она показала на стены и спорбленный потолок своей барачной коммунальной квартиры,— заждавшееся настоящих мужских рук, а ты какой-то угрюмый, мрачный. Что с тобой?»

«Вдохнуть жизнь»,— с усмешкою повторил я, не скрывая ее от Раи.

Мне странными показались тогда ее слова, как бы наполненные неуместной для той минуты приподнятостью, и потому усмешка, хотя Рая еще долго продолжала говорить об этом, все время, пока она говорила, не сходила с моего лица; но теперь я чувствую себя неловко за то свое поведение; ведь я не понимал ее, она казалась мне неинтересной, скучной с этими своими рассуждениями, в то время как в ней теплится свой и по-своему, наверное, красивый мир забот, счастья и горя; я почти не смотрел на Раю, но будь я чуть повнимательнее, непременно уловил бы проявление этого мира и в словах и в голосе, как она произносила их и глядела на меня при этом, и заметил бы, сколько тревоги, той, что всегда готова перейти в радость от одного только ласкового жеста или слова, было в ее глазах. Мне думается, что, говоря о женщинах и вернувшихся с войны победителях, которые должны были уже лишь своим настроением вдохнуть жизнь во все истосковавшееся и ожидавшее их, она имела в виду себя, свои желания и надежды, но, может быть — и чем дальше отдаляет меня время от того вечера, тем острее я начинаю осознавать это,— она жила общею с людьми жизнью, их мысли были ее мыслями,

она не выделяла себя и была права в своих упреках. Мы иногда считаем (я имею в виду мы — фронтовики), что именно нам выпало на долю перенести всю главную тяжесть войны, тогда как вот сейчас, возвращаясь к прошлому и представляя, как все могло быть с Раей, как ей, в сущности еще школьнице, только-только окончившей десятый класс, с нежною, еще не окрепшею в убеждениях душой пришлось окунуться вдруг, сразу, в мир труда, забот, напряжения и горя, как она, в сущности, я говорю, еще школьница, приняв первый класс, заходила в дома к своим ученикам и, разговаривая с родителями, выслушивала их нужды, читала похоронные, и уже в силу того положения, что она — учительница, должна была утешать, ободрять и вселять надежду во всех этих людей, в то время как отец ее уже без ног лежал в госпитале где-то под Куйбышевом и должен был вот-вот вернуться домой, а от брата — танкиста — так и не было еще писем с тех пор, как он отправился на фронт, да и я тоже почти перестал писать ей после Калининичей, так вот, возвращаясь к прошлому и представляя себе все, я уже по-другому смотрю на прожитое, и боль, какую причинял в тот вечер Рае, каждый раз вспоминая, испытываю сам и говорю себе лишь в утешение известную, с позволения сказать, народную мудрость: «Век живи, век учись». В том своем черном заталенном пальтишке с беличьим воротником и беличьей опушкой по низу, которое я хорошо знал, которым любовался когда-то, когда оно еще было новеньким на ней и которое все еще служило ей и теперь, обветшалое и потертое, и висело на вешалке у входа, в подшитых валенках, которые тоже стояли у порога и на которые я часто взглядывал в тот вечер, сидя за столом напротив Раи, я как живую вижу ее бегущей по морозу от избы к избе и от барака к барачу в маленькой заснеженной Антипихе со ступившими на улицу заиндевелыми соснами и снова и снова ощущаю всю ту несправедливость, может быть даже жестокость, с какою я обошелся с ней в тот вечер. Но что я мог поделывать? Я пил и усмехался всему, что она говорила, и, знаете, удивительно, сколько же было в ней терпения, что она как бы не замечала эту мою усмешку. Мне кажется, она делала все, чтобы удержать меня, и старалась понять, что же произошло, отчего я так переменялся к ней, и надежда, что все еще может наладиться, все эти часы, по-мосму, пока я был у нее, ни на секунду не покидала ее; под конец она даже решилась на такой шаг, который стоил ей, конечно же, огромных душевных усилий. Все было так, что я не могу без упрека и сожаления вспоминать об этом, потому что, очевидно, причина другому боль, человек не может не чувствовать той же боли в себе или, по крайней мере, не сознавать ее, пусть потом, после, спустя день, год или в конце жизни.

А случилось вот что.

Последний пригородный поезд отправлялся из Антипихи в Читу в двенадцать тридцать ночи, и я, подчиняясь настоянию Раи, согласился ехать этим последним поездом. Было еще только начало одиннадцатого, когда она, по-своему, наверное, истолковывая мое мрачное настроение и желая еще хоть чем-то угодить мне, предложила прилечь на кровать и отдохнуть. «Ты же устал, я вижу, чего уж тут», — говорила она, снимая и аккуратно складывая голубовато-светлое покрывало с кровати, и хотя я не чувствовал себя усталым и в голове, казалось, все было ясно и чисто, я поднялся из-за стола и, охотно входя в эту предложенную роль утомленного и огруزشенного от угощений человека (так легче было скрывать свои чувства от Раи), не раздеваясь и не снимая сапог, прилег на кровать и свесил к полу ноги. Сначала я лежал с открытыми глазами, потом прикрыл их, некоторое время еще прислушиваясь к тому, о чем говорила убиравшая со стола Рае, но я уже как бы погружался в тот мир дорогих мне воспоминаний, который и в этот вечер, да и потом многие годы, что бы

я ни делал и о чем бы ни думал, постоянно жил во мне и волновал меня. Иногда Рая спрашивала, перебивая себя: «Ты слышишь, Женя?» — и, не дожидаясь ответа и не замечая, что я уже не слушаю ее, продолжала свое. Но в какую-то минуту, наверное, вдруг почувствовав, что я совершенно не участвую в разговоре, громко спросила:

«Женя, ты что, спишь?»

Я не ответил.

«Ты спишь, Женя?» — повторила она и, чуть выждав и снова не услышав ответа, оставила свое занятие и тихо, на цыпочках, подошла ко мне.

Прошло столько лет, а я хорошо помню, как она, наклонившись и разглядывая мое сонное, как ей казалось, лицо, погладила волосы, прикоснувшись ладонью ко лбу, и мне приятно было это прикосновение; подбородком, щеками, прикрытыми веками чувствовал я на себе ее дыхание, близость ее ласково, конечно, смотревших на меня глаз, и все это тоже вызывало приятное ощущение. Я все еще продолжал думать о Ксене, но вместе с тем представлял себе в мыслях все то, что делала Рая, — не только выражение ее глаз, не только движение рук и губ, когда она, все еще склоненная надо мной, со знакомой уже и теперь особенно трогавшей естественностью и простотою произнесла не раз за сегодняшний вечер слышанное мною «боже мой», относя это уже к тому, как я быстро заснул, но и то, как за провисшим воротом халата должна была проглядывать сейчас оголившаяся до груди ее худая, высокая и, как мне казалось, красивая белая шея; я не только как бы следил за внешними движениями, определяя по звукам, как Рая отошла и, еще убрав что-то со стола и составив в шкаф, вернулась и принялась стаскивать с меня сапоги, отстегивать ремень и портупюю, но и за тем ходом ее чувств, какие она испытывала в минуты, когда, выключив свет и сбросив халат, вся теплая и доступная, съежившись, укладывалась возле меня на кровати; я понимал, на что она решилась и чего ждала от меня, но не шевелился, сам не зная пока, для чего, может быть, чтобы уловить еще какое-то новое подтверждение ее любви ко мне, что ли, старался как бы продлить у нее то впечатление, будто я действительно сплю и ничего не чувствую и не слышу. Она прижалась щекой к моему плечу и представлялась мне маленьким, доверчивым и беззащитным существом, в котором беспокойно и гулко, так, что, казалось, было ясно слышно в густой темноте комнаты, билось сердце. «Боже мой, — машинально, лишь потому только, что слова эти произносила Рая, мысленно проговорил я себе, — и это она, та самая, на которую я когда-то смотрел на уроках и на переменах в школьном коридоре как на божество, замирая чистой (но я говорил, конечно, — глупой) мальчишеской душой!» Я лежал тихо, не ворочаясь, и она, пригревшись, тоже лежала спокойно и, конечно, так же, как и я, не спала, и, наверное, десятки разных дум и надежд возникали в ее голове; я не знаю, что переживала она, но ожидание счастья, это знакомое всем нам чувство, каждому человеку, особенно когда счастье кажется действительно реальным и остается сделать к нему лишь один шаг, — это чувство близости счастья, несомненно, заглушало в ней все иные и то морозцем, потому что я чувствовал, как временами словно дрожь пробежала по ее телу, то жаром, потому что я ощущал и это, как бы вдруг вспыхивавшее тепло, отдавалось в ней. Я совершенно далек от мысли, что ей просто хотелось провести со мною ночь; ни тогда, ни теперь я не могу представить себе такой Раю; перед ее глазами в те минуты, наверное, проходила жизнь, прошлая, девичья, с мечтами и планами, и она вообразила меня, каким казался я ей тогда и каким оставался в памяти вплоть до сегодняшнего вечера, и вставали картины ее бытия в Антипихе, и уже новые и не такие возвышенные, как прежде, а основанные на познанной сложности и трудности жизни виделись мечты и надежды. она

выстраивала, складывала свою судьбу, тревожась и радуясь, и мне теперь, искренне говоря, жаль, что это ее состояние так ясно я понимаю лишь сейчас, вернее, понял потом, спустя много лет, вспоминая, а не тогда, когда, доверчивая и беззащитная, жаждавшая и ожидавшая от меня счастья, она лежала рядом со мной. Не опасаясь, что она может заметить, я открыл глаза и смотрел в темноту, то видя временами синий просвет окна, как будто где-то далеко за лесом, за снежными сугробами светлую полосую уже начинал брезжить рассвет (на самом же деле это за крышею соседнего барака горел электрический фонарь на столбе, и слабый свет от него, притушенный все еще густо порошившим снегом, падал на окно), то временами как бы не было ни синеющего окна, ни темноты комнаты и даже как будто ни лежащей рядом Раи, а я видел себя бегущим к избе там, в Калининчиках, и вот уже держу в ладони приподнятую от снега голову Ксени, и выражение ее лица, молящее выражение глаз: «Видите, а вы не верили и не хотели брать меня», — как упрек, поднимали во мне всю ту прежнюю, уже пережитую боль. Я прислушивался, как дышит Рая, и в то же время весь как бы переносился в тот фронтной вечер, когда сидел рядом с Ксеньей, и серебристо-серые косы (я уже говорил вам, что серебрились они от света керосиновой лампы, висевшей над столом) и то счастливое лицо Ксени опять и опять словно наплывали на меня; морозное крыльцо, и ощущение холодного перила под ладонью, и ощущение гашетки, как я нажимал на нее, стреляя по немецким самоходкам, и прыгающая с крыши Ксения, и Рая в своем заталенном черном пальто с узким беличьим воротом, и мать, дремавшая на стуле перед остывшим праздничным ужином тогда, зимой сорок второго на сорок третий, когда я уезжал в военное училище, и ее счастливые глаза теперь, когда я сегодня утром сказал ей, что еду к Рае, и слова Марии Семеновны, что я о п о з д а л, и как будто извиняющийся голос бывшего моего комбата капитана Филева: «Но я не мог иначе, пойми!» — все попеременно, вне всякой последовательности прояснялось и угасало, и я ни на чем не мог остановиться, чем более думал обо всем, и чувствовал лишь, что мне жарко, и капельки пота, неприятно щекоча, скатывались со щеки по шее на подушку. Не знаю, долго ли я пролежал так; как будто долго; но постепенно, хотя спать, как мне казалось, я не хотел, все расплывчивее и приглушеннее виделись мне картины, все неслышнее становилось дыхание Раи, и я не заметил, как задремал и заснул. Когда же проснулся, было утро и Рая, уже успевшая сбегать в магазин за хлебом, готовила завтрак.

Как только она заметила, что я поднялся и сел на кровати, она пошла ко мне. вся улыбающаяся, счастливая и совсем не похожая на ту, какой я видел ее вчера вечером, и сказала:

«Доброе утро, Женя. Как спалось?»

«Ничего, спасибо».

«Сейчас будем завтракать», — прибавила она, глядя на меня все теми же светившимися счастьем глазами.

Но в то время как она чему-то (я недоумевал чему) радовалась, я чувствовал себя неловко уже оттого, что сидел перед ней в помятой и расстегнутой на все пуговицы гимнастерке; чтобы не смотреть на Раю, а главное, не выказывать своего смущения («Как же я заснул», — говорил я себе, живо припоминая подробности и морщась), я подтянул сапоги и начал обуваться. Пока накручивал портянки, Рая стояла рядом, и хотя я не видел ее, а лишь чувствовал, что она смотрит на меня, но, знаете, стоит мне хотя бы вот сейчас на минуту прикрыть глаза, как она — вся та, нарядная — снова как бы оживает передо мною. Она была в голубом, с белой отделкой платье, сшитом, наверное, специально для этой нашей встречи, и волосы были причесаны так, что делали ее лицо чем-то очень похожим на прежнее, школьное, какое когда-то нравилось мне, я уловил

это, и на мгновение даже старое и забытое уже чувство к ней будто шевельнулось во мне, но именно только на мгновение, потому что более всего занимало меня то, в каком, как мне казалось, нехорошем и двусмысленном положении я был теперь перед Раей. Оттого, что я не понимал, чему она радовалась, уже сама эта радость ее вызывала неприязнь и раздражение. «Как же я заснул, черт!» — продолжал я говорить себе, не находя ничего другого, и Раины хлопоты с завтраком тоже представлялись мне излишними и ненужными.

«Я тороплюсь,—сказал я Рае, подходя к вешалке и снимая шинель.— Все, конец, надо прервать это состояние и мысли»,— для себя продолжил я.

«Как? А завтрак?»

«Я тороплюсь»,— повторил я.

«Но хоть чаю выпей».

«Не могу».

Я надевал шинель, застегивал пояс и опять не смотрел на Раю; но когда перед тем, как проститься и открыть дверь, взглянул на нее — лицо ее уже не светилось, как только что, счастьем; но и ни отчаяния и ни испуга тоже не было в глазах, а смотрела она тем особенным, присущим только нашим, русским женщинам взглядом, в котором улавливалось не то чтобы смирение, а какое-то глубокое спокойствие перед тем, что совершилось, и только руки она вновь держала прижатыми к груди возле шеи, как будто стесняясь, как вчера в минуту встречи, когда запахла ворот халата, и, пожалуй, лишь только это движение ее рук выдавало в ней то чувство, какое на самом деле должна была испытывать она; сейчас я это хорошо понимаю и даже могу вполне представить себе мир ее мыслей, но тогда, мрачно и поверх ее плеча глядя на невзрачный, старый и выцветший коврик, прибитый над кроватью, я сказал: «Извини, я тороплюсь. Извини»,— открыл дверь и вышел в коридор. Но в коридоре что-то еще как будто заставило меня задержаться у двери, я прислушался; в комнате не раздавалось ни звука, и тогда, как бы подчиняясь этой тишине, медленно, стараясь не стучать каблуками, я прошел по коридору к выходу.

(Продолжение следует)



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

СЕКУНДЫ

Так и начнется стихотворенье...
Строчки другие найти не могу.
На циферблате — на светлой арене,
словно лошадки, секунды бегут.
Ах, быстроногие, ах, вороны!
Слышу, копытца все бьют и бьют.
В круг замыкая все сроки земные,
скачут секунды сквозь жизнь мою,
скачут, чтоб время отмерить минутой,
веком — и это доступно им...
Если б не думать: а вдруг споткнутся
вместе с сердцем моим...

СКОРОСТИ

Летит золотая пчела над травой,
чтоб где-то под ней покачнулся стебель.
Летят самолеты,
и сверхзвуковой
взлетает и тает в небе.

Машины
шлифуют асфальт.
Тормоза
то взвизнут, то где-то взвоят.
Дорога бежит по глазам,
минуя стекло ветровое.

Все скорости мира передо мной.
Попробуй сегодня не слушать их зова!
Минуты — и шар земной
ракетою окольцован!

Но есть и следы на снегу,
тропа от ограды завода.
Я в сердце слова берегу
о скромности пешехода.

Земля! Что ей, вертится. Камень,
суглинок... Но я — свое:
уж не пешеход ли ногами
заставил вертеться ее?

ВОЛХОВ

Мудрый Новгород, скажи мне:
как смогу
я века твои сложить
к строке строку?

Волхов, Волхов, вольная вода.
Предки в нем тянули невода,
где церквей, монастырей кресты
тьнь свою роняют с высоты.

У Детинца,¹ у большой стены,
снятся Волхову о ратной славе сны,
дни, когда он тишину будил,
рябью на кольчугу походил.
Видит он вблизи своей воды
Александра Невского следы,
где с дружиной он поил коней
в сини летописью ставших дней.

Не забудет он и то, когда
смыла свастику с себя его вода,
чтобы с флагом нашим
отсветом одним
зорям севера опять стоять над ним.
Кто сказал, что Волхов мутен?
Дно его
небом выстлано.
Кроме — ничего.
Если ж есть там что-то — глубоко.
Так поведал бы
гуслиар Садко.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Все ближе он многим народам и странам.
Пусть воздух дождем и травой пропах,
вдруг строчка пахнёт то сурьмой, то ураном,
то лунною пылью блеснет на губах.

Пойди угадай, где его граница!
В нем есть, неизвестная до поры,
своя менделеевская таблица...
...Склоняйся над ним и слагай миры.

¹ Новгородский кремль.



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

Повесть

В те времена, лет восемнадцать назад, на этом месте было очень много сирени. Там, где сейчас магазин «Мясо», желтел деревянный дачный заборчик — все было тут дачное, и люди, жившие здесь, считали, что живут на даче,— и над заборчиком громоздилась сирень. Ее пышные формы, не в силах удержаться в рамках заборчика, переливались на улицу. Тут было неистовство сиреневой плоти. Как ее ни хапали проходившие мимо, как ни шипали, ни ломали, ни дергали, она продолжала сохранять свою женственную округлость и каждую весну ошеломляла эту ничтожную, пыльную улицу цветами и запахом. Когда она цвела и стояла вся в пене, она была похожа на город. На старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин. Она напоминала старый город в час сумерек.

Но, впрочем, все это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин «Мясо». Тогда, во времена сирени, жители домика за желтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко — трамваем до Ваганьковского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут.

Когда приехали в Саратов, все было вначале очень скверно: поселились в плохой гостинице, стояла жара, публика не ходила, все как-то разладилось, актеры болели, и Сергей Леонидович, не выносивший жары и плохих гостиниц, укатил в Москву, оставив вместо себя Смурного. Этот Смурный пришел в театр года два назад и сразу, как заметила Ляля, «положил на нее глаз». Но она отвергла его без колебаний, потому что прошел слух, что он интригует против Сергея Леонидовича, хочет занять его место, а это казалось Ляле чудовищной подлостью. Подлых людей она терпеть не могла. Правда, она не знала в точности размеров подлости Смурного и как именно он интригует против Сергея Леонидовича, но люди говорили, что подлость имеет место, и Ляля каким-то особым чутьем, которому привыкла доверять, этим слухам поверила. Уж очень он был галантен, белолиц, глаза с поволокой и эта провинциальная манера гордым, резким движением головы отбрасывать назад волосы, падающие на лоб. Сергей Леонидович однажды смешно показывал, как — он наблюдал случайно — Смурный бежал своим быстрым, энергичным шажком-пробежкой один через пустое фойе, вдруг остановился у зеркала, поглядел на себя пронзитель-

но и движением головы откинул волосы с такой горделивой славью, что Сергей Леонидович, по его признанию, даже несколько обомлел. Сергей Леонидович умеет ведь показать убийственно. И ничего не скажет, а все ясно, портрет готов. Ну, и Смурный, разумеется, не забыл, что его отвергли, стал всячески вредить, зажимать, или, как говорят на театре, устраивать Ляле з а т и р. А сам между тем прощупывал — ну как? Два спектакля он ставил, Сергей Леонидович болел, оба провалились; один тащился полсезона, другой и того меньше, но дело не в том: в оба не взял Лялю. Одна роль была уж точно Лялина, всему театру видно, и все-таки умудрился не взять, пригласил стажерку из театрального училища. В общем, все было ясно. Подруги говорили: «Чего ты уперлась? Мужик уязвлен, согласись для смеха. Подумаешь, не забудет». Но у Ляли как будто что-то заколодило. Не то что согласиться, но даже просто сидеть с ним рядом в буфете и то не могла.

Было похожее: война на исходе, Ляле восемнадцать, сбилась веселая компания в Путишковском переулке у Аллочки Шлейфер, кто с фронта, кто из госпиталя, кто из эвакуации, из какого-нибудь Камышлова или Намангана. Все начиналось сызнова: надежды, песни, молодое рвение жить, стать, любовь и жалость ко всем, кто вернулся, долгие провожания через Москву, ночные подъезды, — и вдруг пришел один, седой, тридцатилетний, глаза белые, ясные, как хрусталь, он не просил и не звал, потому что все приходили к нему без зова. Сказал, что организует студию «Голубой ковчег». Ляле очень хотелось попасть в студию, ибо все было решено: жизнь без театра не имеет смысла. Затея со студией, конечно, лопнула, но в нее верили долго. В то время были Яша и Лазик, она разрывалась между ними, жалела обоих: Яша появился раньше, в сорок третьем году, вышел из госпиталя, вся его семья погибла под Минском, он был старше на двенадцать лет, но неумелый, беспомощный, как ребенок, замечательный математик, а Лазик — поэт, хромой, потерял ногу под Ленинградом, сочинял песенки и пел изумительно под гитару. Но человек с седым бобриком и прозрачными глазами был совсем другое: от него зависела жизнь. Ляля не знала, как себя вести с ним. И была какая-то суббота, когда в громадной пустой Аллочкиной квартире (родители занимались важными государственными делами в побежденной Германии) набилось человек двадцать молодого сброда, и он вдруг вывел Лялю на лестницу и сказал тоном приказа, что они поедут сейчас к нему домой и он даст ей книгу, которую давно обещал. Ляля не могла вымолвить ни слова, и ее стала бить дрожь. Всю дорогу, пока ехали трамваем, незаметно дрожала и стискивала зубы, чтоб не стучали. Нет, ничего не боялась, дрожь была не от страха: билась ее мечта, «Голубой ковчег»! Он ни разу до этого ни о чем не говорил с Лялей и даже, кажется, не замечал ее. Ни о какой книге не было речи. Как только вошли в комнату, не успели зажечь свет и Ляля даже не сняла пальто, он схватил ее за плечи, почти опрокинул, грубо, по-хозяйски нашарил ротом ее губы, так что у нее все помутилось от гнева, и она стала его отталкивать, он не отпускал, тянул куда-то, боролись в темноте, она ударила его кулаком в лицо, должно быть сильно, потому что он вскрикнул от боли, она убежала. Два дня не выходила из своей мансарды на втором этаже, говорила, что больна, а на самом деле просто рыдала оттого, что жизнь кончилась, мечты не сбываются и людям верить нельзя, но на третий день вышла из дому, дошла до метро «Сокол» и купила мороженое — это была новинка, довоенная радость, впервые стали продавать свободно, хотя и по дорогой, коммерческой цене, но это значило, что карточки непременно отменят, прежнее счастье близко и новое недалеко, — наступило успокоение и душевная тишина, что всегда происходило внезапно, от совершеннейших пустяков. И она уже не жалела о

рухнувшим «Голубом ковчеге», о том, что ударила пожилого человека в лицо и никогда больше не придет к Аллочке Шлейфер. Но вспоминная и раздумывая о том, что случилось, узнала себя по-новому. Значит, думала она, самое страшное и невозможное — зависимость. Когда зависимость, тогда конец, тупик, не перепрыгнешь. Ведь когда ехала в трамвае, всеми силами смиряя дрожь, уже знала, что будет и за чем едет. Надо было решать. И там же, в трамвае, поняла: нет. Ошибка за недлинную жизнь было наделано много, но все это были ошибки чувств, но не ошибки расчетов. С тем человеком встретились через три года случайно в доме у одного Гришиного приятеля, и оба сделали вид, что незнакомы.

И так же, как тот, хрустальноглазый, Смурный нравился многим, особенно же еще молодым женщинам, которых всегда избыток после долгой войны. Могущество Смурного в театре с каждым месяцем росло, тем более что Сергей Леонидович хворал и подолгу отсутствовал. Было известно, что Смурный разошелся с женой, оставил ей большую квартиру, крайне благородно — взял пару белья и пишущую машинку (загадка: зачем ему пишущая машинка?), — что он в превосходном возрасте, тридцать восемь, и живет один в скромной комнатке у Красных ворот. Но всем, разумеется, было ясно, что будет у него и то и это, все блага жизни. Ляля мыкалась на седьмых ролях, и все-таки — нет, заколодило. Скоро он перестал смотреть в ее сторону и в Саратове, когда остался за главного, сунул ее в самую худшую комнату, на первом этаже, вместе с гримершей.

В Саратове шел спектакль, поставленный Сергеем Леонидовичем весною, где Ляля играла пустяки, два выхода, двадцать пять слов. Спектакль был серый, но не по вине Сергея Леонидовича, а по вине пьесы. Какая-то скукота о лесополосах. Поставили из-за темы. В газетах похваливали, но публика ходила вяло. Саратовские газеты писали о спектакле с особенным пылом, потому что автор — мало кому известный начинающий драматург Смолянов — был саратовец, вернее, теперь-то москвич, но детство и юность прошли в Саратове. Автор и сейчас, в дни гастролей, приехал в родной город, где жили его мать старушка и дочка, больная девочка, и однажды в понедельник, когда театр не работал, в жаркий июльский день пригласил всех актеров, занятых в спектакле, к себе домой на ужин.

Тот день начался с неприятности. Утром Смурный встретил Лялю в коридоре гостиницы и, не поздоровавшись — что было для него, мужчины воспитанного, фактом странным, — пригласил к себе в номер для разговора.

— Пять минут! — сказал он и как-то глупо помахал перед Лялиным лицом ладонью с растопыренными пальцами.

В номере Смурного, лучшем в гостинице и называвшемся «семейный люкс», где были занавеси из малинового панбархата, такой же панбархат лежал на овальном столике с графином, где имелся альков, тоже задрапированный малиновым панбархатом, в глубине которого что-то белело, и где смрадно пахло табачными окурками и одеколоном «Шипр», Ляля села к овальному столику, а Смурный исчез на секунду в алькове и тотчас вернулся, держа в руке бумагу.

— Вот полюбуйтесь, пришло вчера с московской почтой. Пересла-но из высшей инстанции. Адресовано-то было туда, но они переслали.

Ляля увидела несколько страниц, исписанных чернилами, и с ужасом узнала знакомый почерк — писала мать!

Вот оно, самое страшное, чего Ляля больше всего боялась. Мать добивается справедливости. Господи, ведь сколько раз было сказано, умоляли ее, стояли перед ней на коленях — чтобы не смела вмешиваться, чтобы никаких писем, жалоб! Любимое занятие: писать письма.

Когда-то писала директору школы с требованием, чтобы письмо обсуждалось на родительском совете, писала в роно, потом, когда Лялю не приняли в театральное училище, писала в министерство. Она и дома, когда сердится на кого-то, выясняет отношения с помощью писем. Нередко Ляля, проснувшись, находила на своем столе страницы две, три, четыре, а то и больше, бывало до целой ученической тетради, исписанные крупными слитными строчками без знаков препинания: «Людмила ты должна знать что когда берешь чужую вещь ее необходимо возвратить не дожидаясь просьбы это не деликатно ты взяла мою черную меховую накидку...»

подавив стон, Ляля придвинула к себе рукописные листки — сразу узнала большую счетоводческую книгу отца, из которой листки были вырваны, — и стала бегло читать, перескакивая через строчки. Читать подробно, вникая в каждое слово, не было сил. «Обращается мать молодой артистки... Еще в школьном драмкружке которым руководил заслуженный артист... Шестой год после зачисления в труппу... Неужели наша артистическая молодежь должна... До каких пор самовластье режиссеров...»

— Ну что я могу сказать, Герман Владимирович? — Ляля отбросила листки и с отчаянием взглянула на Смурного, который навис над столиком и смотрел на нее сверху с застылой улыбкой. — Писала моя мама. Я за нее, как вы понимаете, не отвечаю. К тому же она больной человек.

— Больной человек? По письму не заметно. Написано связно, обвинения серьезные, хотя и бездоказательные, то есть — клеветнические. Но написано хитро и кое-что между строк прочитывается. Больные люди на это не способны.

— Что между строк?

— Да вот здесь! — Он ткнул пальцем. — Пахучее местечко.

Ляля увидела фразу, которую при первом чтении проскочила: «...не пошла ему навстречу после чего последовала режиссерская месть оба спектакля им поставленные...» О-о! Ну зачем же это? Зачем, боже мой, зачем, зачем? Теперь Ляля не могла поднять глаз на Смурного и тянула время, шевеля губами, делая вид, что с трудом разбирает почерк. Смурный терпеливо ждал, потом спросил:

— Ну? Хотелось бы услышать...

— А что я могу сказать?

Ляля взглянула — он не улыбался, глаза оловянно-строгие, губы пучком.

— Как что? Позвольте узнать: что означает сей бред? Какая месть? Что за околесица?

— Я не знаю, Герман Владимирович, ей-богу...

И вдруг, не выдержав, прыснула смехом. Потому что все было какой-то жалкой ерундой. Не напоминать же ему. И это лицо, багровое, колыхавшееся от гнева. Мать сотворила глупость, но ведь написала правду. Он знает, что написала правду, но делает оловянные глаза и требует — боже мой, чего же он требует? — чтобы она, Ляля, стыдилась за мать, чтобы умирала от чувства стыда и этот стыд был бы некоторой оплатой за те неприятности, которые он испытал, получив письмо, пересланное из высшей инстанции. Теперь уже все равно. Значит, стыдиться за мать не нужно. Зачем стыдиться за несчастную женщину, которая терзается и не спит ночей из-за дочкиных неурядиц и пытается в меру своего разумения... Да ведь главное, главное: написала правду! Все правда от первой до последней строчки.

И, совершенно успокоившись, Ляля выложила все это Смурному: мама, конечно, не дипломат, действует глупо, за это ей будет хороший бенз, но кое в чем она права. Как — права? О чем вы говорите? Вот

о том-то, о том-то. О чем вы прекрасно знаете. Вы дико самоуверенны! Просто мне нечего терять. Нет, моя милая, вам есть что терять. Не страшно, Герман Владимирович. Чтицей в Мосэстраде или на радио и то лучше, чем здесь, под вашим крылышком. Не думайте, что так легко устроиться, тем более вам — без театрального образования. Ничего, свой шестьсот пятьдесят я всегда заработаю, и даже больше. Ну хорошо, ваши личные планы меня мало интересуют, а это пирожное мы перешлем сегодня же Сергею Леонидовичу, пусть он его кушает. Вышние инстанции требуют ответа. А мне безразлично, делайте как хотите. Значит, договорились. До свиданья. Будьте здоровы. И надо проветрить, Герман Владимирович, комнату: тут какой-то нехороший запах.

Ляля выбежала от Смурного на улицу, кружила по скверу, стояла бесцельно в какой-то очереди, потом вернулась в гостиницу в свой номер и легла. Колотилось сердце, и набегали всякие слова, злые, справедливые, которые не были сказаны. А почему Милютин, которая в театре без году неделя?.. — и так далее и тому подобное. Женьку Милютину не трогать, бог с ней, мать-одиночка. Но каков подлец: без театрального образования! Второй раз колет этим. Можно иметь диплом и быть дубиной. Мало ли примеров! Артистами не выучиваются, а рождаются, болван. Ее приняли в труппу по личной просьбе Сергея Леонидовича, а уж он-то понимает, наверное, побольше какого-то Смурного. Но не в том беда. А вот в чем: стыдно за мать. Нет — за себя, за себя, невыносимо! Он этого и добивался: чтоб сгорела со стыда. И правда — хочется. Просто вот так вытянуться, стиснуть зубы, закрыть глаза и лежать не двигаясь: гореть со стыда. Обуглиться, уничтожиться. Жизни в театре не будет. Сергей Леонидович проклянет. Актеры будут смеяться и, как выражается Боб Миронович, злошутничать, когда узнают, а узнают непременно, Смурный позаботится. И придется уходить. Но ведь некуда и невозможно. Если б у Гриши хоть как-то сдвинулись его дела — тогда рискнуть... Но теперь — как же? Откуда брать шестьсот пятьдесят? И как всегда, когда получила щелчок по носу — а щелчков таких в Лялиной жизни набралось порядочно, с каждым годом больше, — после обиды, тихого отчаяния, поспешных и суматошливых соображений что делать, как протестовать, наступало самое гнусное, убивающее: сомнения. А если — правы? А вдруг — бездарность? И все видят, понимают, Сергей Леонидович жалеет по старой дружбе, а Смурному жалеть нег надобности.

Удрученная страшными мыслями, Ляля долго недвижно лежала в пустой комнате — гримерша куда-то ушла, не с кем было поделиться, — пока крик из коридора: «Телепнева, на выход!» — не вывел ее из унылого оцепенения. Понедельник! Мать звонит каждый понедельник, когда театр выходной. Слышно было отлично:

— Доченька! Ну как ты? Что у тебя?

Телефон стоял в вестибюле, вокруг шныряли люди. Паша Корнилович с Макеевым прошли с сумкой к дверям, наверно на рынок. Паша проходя шлепнул Лялю сзади ладонью, такой негодяй, всегда шлепает, и Ляля, как ни была расстроена и поглощена разговором, прикрыла трубку и крикнула:

— Одерни! Одерни немедленно!

Паша послушно подбежал и одернул юбку: чтоб поклонники не переводились. Говорить маме все, что кипело, было тут, конечно, немисливо. Ляля спрашивала, узнала, что отец здоров, хлопчет о саде, движения пока нет. Гриша на Башиловке, недавно привез по ее просьбе овощей, правда картошка неудачная, мелкая и дорогая, сейчас молодая по три с полтиной повсюду, а он как-то неловко купил, с утра поехал, по четыре рубля, — разговор о картошке Лялю слегка встревожил, тут был скрыт намек на привычное недовольство зятем, и Ляля

с некоторым раздражением прервала мать, сказав, что цены на картошку ее не интересуют, а вот что-нибудь о Гришиных делах: из киностудии ему ответили? Мать точно только ждала этого, сказала тоном агрессивной жалобы:

— Ты же знаешь, твой Гриша никогда ничего нам не рассказывает о своих делах!

В другой раз Ляля пропустила бы фразу мимо ушей, сочла бы ее нормальной, но теперь, когда она едва сдерживалась от того, чтобы не накричать на мать, она не могла смолчать и ответила тоже с нажимом:

— Но можно и самой поинтересоваться, правда же? Ты знаешь, как это нам важно.

— Я не люблю вмешиваться в чужие дела.

— Нет, любишь! — вырвалось у Ляли. — Любишь, любишь!

И уж не могла удержаться, выпалила все: сто раз просили этого не делать, умоляли, объясняли, и вот это здесь, каким же надо быть упрямым, нехорошим человеком, теперь скандал, ну ладно, что ж говорить, не поправишь, но все очень плохо. Мать, не понимая, металась на другом конце провода:

— Что? Как? Говори яснее!

— О твоих стихах!

— Каких стихах?

— Которые ты любишь сочинять и посылать в разные редакции!

— Господи, да ведь... когда это было? Четыре месяца назад?

Разговор был бессмыслен, Ляля сказала слабым голосом: «Ну ладно, мама, пока» — и звякнула трубкой.

Старая актриса Алмазова шла к титану за кипятком, замешкалась в вестибюле, ушки топориком, и, когда Ляля кинула трубку, блеснул на секунду жадный старухин взгляд. То ли Алмазиха услышала и разгадала, то ли Смурный уже пустил звон, но вечером в доме автора кто-то из актеров шептал Ляле возбужденно:

— А верно говорят, ты какое-то заявление на наших написала?

Настроение было такое, что лучше бы вовсе не ходить на этот ужин. Ляля колебалась, но потом — одной в комнате лучше, что ли? С тоски помрешь. И покормят все ж таки. Винца можно выпить, настроение поднять. Но в большой комнате, где все слиплись боками вокруг стола, в тесноте, со Смурным во главе, сидеть было тяжело — видеть перед собой самодовольное лицо, наблюдать откидывание волос, ускальзыванье глаз, слушать глупые тосты, шутки, подначки. Возмущало Лялю и то, что актеры — особенно Пашка Корнилович с Макеевым, грубая работа, да и Смурный, тот похитрей, — подтрунивали над бедным автором, втайне издевались над ним, тот не понимал, а если и понимал, то не все, жалко отшучивался, его мать-старушка пугалась, ахала или благодарила от души, гости хохотали. Все шутки вертелись вокруг угощения.

— Паш, а капуста-то в пирожках с душком, а? Не находишь?

— Не нахожу-с, ваше сиятельство. Вот грибки, позволю заметить, не того-с...

— Как — не того-с? Почему молчал? А я две тарелки навернул!

— Гриб в желудке не жилец, ваше сиятельство... Вскрытие покажет...

В таком стиле шла игра, актеры потешались, плакали от смеха, пили, жевали, хлебали, кто-то вдруг вскакивал и истово возглашал:

— Дорогой Николай Демьянович! Спасибо вам за каждую вашу строчку! Спасибо за то, что вы есть!

Аплодировали, кричали «ура». Несчастный Смолянов с землистым

от смущения лицом — такое же лицо было у него весной на премьерс — не знал, благодарить ему или отвечать шуткой, только улыбался и кивал, как немой.

— Николай Демьянович! — кричал Makeев. — Вы нас совершенно заговорили! Вы же никому не даете раскрыть рта!

И опять хохотали, а Смолянов кивал, улыбался.

Ляле же это не нравилось. Она не любила, когда злошутница уют. Ну что ж что слабенькая пьеса, не Шекспир? А человек, может, хороший. Пригласил с открытой душой, деньжищ ухлопал тыщи, наверно, три. И все ведь пришли, не отказались, и Смурный пришел, хотя Ляля сама слышала, как однажды в кабинете директора поносил Смолянова, называл его пьесу «репильной драматургией» — Ляля такого слова не знала, даже выясняла потом. И Боб Миронович был тут, у мясных пирогов и у водочки, а ведь он в открытую на худсовете выступал против смоляновской пьесы, с директором спорил, Сергея Леонидовича уламывал, чтобы тот отказался. Все, все были тут, критики тайные, насмешники, презиратели, все на дармовщинку сбежались, актер-актерычи несчастные. Выпить-закусить загорелось. Ах ты, боже мой, и глядеть тошно, и жалко их, бедных, и смешно: как дети! Играют, бузят, веселятся по пустякам и больно делают, как настоящие дети, жестокие. И когда вдруг поднялся жалконький актеришка Ерешкин Иван Васильевич и туда же, чтоб не отстать: «Дорогой автор, разрешите поднять сей бокал за то, чтобы вы еще много, много раз радовали нас своими прекрасными... (пауза) пирожками с капустой!» — и были крики «ура», «браво», Ляля не вынесла затравленного вида автора и вышла в другую комнату. Стала там помогать старушке, смоляновской матери Евдокии Ниловне, готовить стол для чая.

Старушка вовсе с ног сбилась. Ляля, как увидела ее, сразу полюбила — на бабушку похожа, такая же хлопотунья, суетится попусту. Бабушка умерла два года назад, жила в Измайлове, в старом дедовском доме.

— Да не ставьте вы пироги! — шептала Ляля старушке. — Печенья хватит!

— Не ставить? — пугалась старушка.

— Ну их! Обойдутся.

Было жаль трудов Евдокии Ниловны: два блюда с мясным пловом и громадную миску с пирожками за полчаса подмели. Потом Ляля пошла наверх по скрипучей лестнице, в светелку — старушка повела знакомиться к больной девочке. И опять Ляля удивилась: дома, в Москве, у нее такая же комнатка наверху, мансарда, где все детство прошло, юность и где теперь они с Гришей. Девочке было тринадцать лет, и она была толстая, развитая, с полной грудкой, как взрослая девушка, но лицо бессмысленное, овечье, с пустым взглядом. Видно было, что бабушка очень любит Галочку: сразу заговорила нежно, тихо, поправила чулки, застегнула пряжку на туфле и, когда привела Галочку в порядок — та сидела в качалке и, качаясь, играла детским шариком на резинке, стучала им методически в пол, — дала ей на тарелке кусок пирога и чашку чая. Галочка чай не хотела, отодвигала рукой, а пирог ела, но шарик свой не бросала — продолжала стучать в пол.

— А я думаю: кто это наверху долбит? — сказала Ляля.

— Стук-постук, — сказала старушка ласково. — Это наша Галочка стук-постук да стук-постук... — И, прикинув к уху Ляли, шептала: — Цельный день вот так стукотит. Горе у нас, горе...

Внизу, в большой комнате, запели. Кто-то стал плясать, топали, двигали с шумом мебель. Ляля вдруг остро почувствовала: домой, увидеть отца, Гришу! Выйти в сад. Вспомнилось: дома вот так же иногда пели, плясали. Сойдутся родные, дядя Коля, тетя Женя с ребятами,

дядя Миша, а то отцовская родня привалит с Урала, заведут песни, а Ляля, когда надоест, убежит к себе наверх, в мансарду, читает книгу, а внизу шум, пляс. Девочка бросала мячик, не глядя на Лялю, и, кажется, вовсе не замечала ее присутствия. Старушка шепотом делилась: Галочка от первой жены Николая Демьяновича, которая умерла, уж очень тужила из-за дочери, а новая жена Марта, самолюбивая женщина, Галочку знать не желает и ее, Евдокию Ниловну, видеть не хочет, никогда сюда не приедет, письма не пришлет и Николаю Демьяновичу приезжать запрещает. Деньги, мол, посылай, а больше ничего. А какие деньги? Тоже сказать, пенсия небогатая: чегыresta рублей шлет. Это когда у них ссора, тогда он и прикатит, в какой год раз. Мама, говорит, она женщина очень даже плохая, взгальная баба, но я, говорит, ее люблю и она мне в работе помощница.

Ляля слушала старушку, горевала с ней, смотрела на тупое, овечьё лицо девочки и думала: «У всех горе. А ведь драматург, успешный...» От этой мысли, что — у всех, и — еще горше бывает, собственные неприятности легчали, таяли.

Через час гости стали собираться, директор вызвал автобус, Ивана Васильевича Ерошкина тащили, беднягу, волоком, все ж таки небезобразничал, успел, в полночь укатили, а Ляля пожалела старушку — осталась посуду мыть. Шофер автобуса обещал вернуться через тридцать минут. Не вернулся почему-то. Смолянов ходил в пижамных штанах и в майке по дому и, напевая, возил по полу мебель, расставлял по местам, таскал грязную посуду на кухню и то и дело подходил к буфету — прикладывался. Ляля думала, что вот-вот свалится. Но автор держался, смотрел на Лялю добрыми голубыми глазами сквозь очки в круглой оправе и улыбался, как официант. Было видно, что рад тому, что гости ушли и все кончилось.

Ляля продолжала надеяться, что он свалится и захрапит, как полагается пьяному человеку, как всегда бывало с отцом, с дядей Мишей, дядей Колей и с Гришей тоже — Гриша мог захрапеть неожиданно за столом, при гостях, — но автор был, видимо, покрепче. Спина у него широкая, как у гимнаста, и на левой руке выше локтя выколота русалка с хвостом и вокруг русалки два каких-то имени. Когда Ляля разглядела русалку, стало не по себе — подумала, что сейчас, среди ночи, в доме, где нет никого, кроме старушки и больной девочки, автор вовсе и не автор, а здоровый мужик, который спяну может накурлесить. Но Смолянов вроде не собирался куролесить и даже, кажется, не понимал, что в его доме остается ночевать молодая женщина — а куда ей деться во втором часу ночи? Вдруг взял ее руку, клюнул мокрыми губами — так же клевал тогда, на сцене, в день премьеры, — и невнятно плачущим голосом пробормотал:

— Простите, добрая моя... Не гневайтесь на меня, ладно?

— Я нисколько не гневаюсь, Николай Демьянович, — сказала Ляля. Руку на всякий случай осторожно отняла.

— Человек я маленький, незаметный, цену себе знаю, — бубнил Смолянов, — никакой я не этот... Какой я, к черту?.. Но и они тоже дрянь людишки... Только вы не гневайтесь, ладно? Милая моя, хорошая...

Опять норовил клюнуть.

Ляля забеспокоилась, позвала громко:

— Евдокия Ниловна!

Он облокотился о стол, вдруг заплакал, снял очки и стал вытирать глаза ладонью.

Деться было некуда, она легла на диван, накрылась пальто. Но заснуть не могла, было беспокойно и как-то нестерпимо неловко. Чувствовала себя виноватой: за Пашку, за дураков, за всех. Ну, зачем

обижали человека? Такой крепыш, плечистый, с широкой грудью, не старый еще, правда уж с лысиной, и — плачет отчего-то, несчастен. Ведь он, должно быть, богатый. Нет, богатство не дает счастья. Надо еще что-то, главное. От этой мысли была смутная радость и чувство превосходства: таинственное что-то, нужное для счастья, казалось Ляле, у нее есть. Она не могла бы твердо объяснить, что это было, но уверенно знала: у нее есть. Потому что, когда другие были несчастны, ей хотелось жалеть и облегчать, делиться чем-то, а значит — было чем делиться, если получалось такое желание. Иногда думала, что это оттого, что нет детей. Но, подумавши глубже, понимая — нет, дети не уменьшили бы желания делиться чем-то нужным для счастья, потому что родные дети были бы все равно что она сама.

И беспокоясь все больше, Ляля спросила, не сделать ли крепкий кофе. Он согласился, Ляля пошла на кухню, сделала, принесла две чашки. После кофе — была уже половина третьего — спать совсем расхотелось. Смолянов отрезвел, рассказывал, как ему трудно жить, работать: друзей нет, люди к нему недоверчивы, семейная жизнь не удалась. В Москву приехал четыре года назад, до этого работал в провинции, во время войны — во фронтовой газете, а еще раньше, в тридцатые годы, был полярником, зимовал на Диксоне, служил в погранчастях, в угрозыске, в физкультурных организациях, сам был боксером. Однажды своей рукой застрелил бандита на станции Калач. Сейчас вот уже третья пьеса, две другие шли в провинции, образования не хватает, все сам, своим горбом, а зимой, когда пробивал «Лесные дали», было так тяжело — сил нет. Хотели его придушить, уже удавку приготовили, но ничего не вышло. Знает теперь, какие есть на свете поганые люди. И в ее любимом театре тоже, да, да. Смеялся — пирожками с капустой гнушается? Ничего, мои милые, будете умолять, на коленях ползать: дяденька, дай пирожок с капустой! Ляля слушала с жадным интересом, удивлялась: похоже, похоже. И его образованием колот, пользуются. Представляла, как на такого здоровяка, жилистого, навалятся всемером, с удавкой, а он их — боксом.

Стало светать, петухи запели. Смолянов и Ляля вышли в сад, дорожкой спустились сквозь заросли — душно пахло крапивой — мимо какого-то старого кладбища с поникшими в разные стороны крестами, к обрыву над Волгой и сели там на бревне.

— Вся моя юнь с этим бревнышком закадычным... — рассказывал Смолянов. — И как его в войну не ожгли? Мужиков не было...

Ляля пожмалась, зябла, он ее обнял. Река была в белых ключьях, только у края темнела вода, глыбилась черная баржа, и еще что-то чернело на берегу, может быть лодки. И там, среди этого черного, на песке жгли костер. Смолянов говорил, что там ютится шпана, ходить опасно. Вот если сейчас спуститься вниз — свободно прирежут, ни за понюх табаку. Он рассказывал что-то про шпану, бандитов, вспоминал. Слушать было интересно, нисколько не страшно, только холодно. Когда шли обратно, продолжал ее обнимать, вдруг остановил, прижал неловко — хотел получить погреть, — и так стояли. И правда, холод был невероятный — не скажешь, что днем жара, — он грел ее движениями ладоней по всему телу, а сам все говорил, бубнил, напевал, гладил неторопливо и крепко, все крепче, и чем дольше это длилось и чем больше она чувствовала его силу, тем сильнее почему-то его жалела.

Вернувшись в дом, выпили немного водки, чтоб согреться, поднялись на второй этаж, прокрались в комнату, где было темно, шторы опущены и пахло псовым, холостяцким жильем. Разговаривали шепотом, чтоб не разбудить девочку: она спала за стеной.

Он бормотал обиженно, неразборчиво, грозил кому-то, и Ляля все не могла отделаться от чувства стыда за актер-актерычей, ей казалось,

что непременно надо оправдываться, утешать — ведь ни за что обидели, за его же хорошее. И утешала горячо, как могла. Не нужно на них сердиться, они наивные, добрые, очень добрые, а какие они товарищи превосходные, последним поделятся, только вот дурачества иногда говорят, глупости, ради красного словца, да бог с ними, Ляля всегда прощает, потому что — жизнь-то у них какая? Попробуйте-ка на семьсот рублей. А у Ивана Васильевича, у Ерошкина, семья пять человек. Тут должна быть любовь, величайшая, бескорыстнейшая. И у нее, у Ляли, есть враги, вредят ей, устраивают затир, а все равно отравить ей радость не могут — ради этой радости, может быть даже счастья, пускай минутного, все терпеть, прощать, потому что... Для чего же иначе?.. И он утешался, кивал: «Да, да, понимаю вас...»

Ну вот, и была последняя Лялина доброта и последняя жалость. Поздним утром, разлепив глаза и плохо еще соображая, услышала — стучат. Потом вдруг вспомнила, что больная за стенкой стучит мячиком.

Через полтора месяца, когда Ляля приехала после гастролей и уже после крымского отдыха в Москву, чуть ли не в первый день встретила Смолянова. Он сказал, что пишет новую пьесу. Принес Сергею Леонидовичу первый акт, и тот вроде бы одобрил.

Ляля знала, что она всегда хороша после Крыма. И все люди обычно хороши, но она бывает — особенно. Как Машка, верная подруга, утверждает: возмутительно хороша, потому что лежит бесстрашно на солнце, обжаривается дочерна, светлые волосы выгорают до цвета соломы, и тем ярче на смуглом лице яснее синие глаза, и потому что купается неумоимо, заплывает далеко, не отставая от самых сильных пловцов, а вечерами волейбол, теннис, может быть, и не классно, но с азартом, лишь бы двигаться, прыгать, хохотать, уставать, доводить себя до изнеможения. И никаких курортных романов, на фиг, на фиг, от них ни проку, ни соку. Зато когда возвращается, полная сил и тоски по мужу, подругам, театру и даже просто по родной улочке, бегущей мимо церкви, овощного магазина... Смолянов, разглядывая Лялю, улыбался, и в его взгляде было то мужское, радостное и откровенное, что Ляля любила ощущать, потому что это ощущение означало, что она в порядке и все у нее как надо. У Ляли в такие минуты тайного ликования перед собой даже голос менялся. И она изменившимся голосом приветствовала Смолянова, подавая ему руку и слыша, как голос звучит нараспев и в нос:

— Николай Демьянович, ну что же, порадуете нас, значит, новеньким? Очень здорово, очень хорошо!

При этом с удивлением подумала о том, что была ночь, когда она горячо жалела этого человека со скучным лицом — господи, да за что же? В лице Смолянова было что-то сырое, непропеченное.

Он бормотал в своей манере — невразумительно, мял Лялину руку. Ляля сказала легко: «Николай Демьянович, еще увидимся! Пока!» — и побежала. На секунду потом остановилась, оглянулась:

— Я очень рада, что вы снова у нас в театре!

Но прошло несколько дней, и все крымское отлетело, а может, просто навалилась Москва с холодами, дождем, спехом, болезнью отца, сердитым Сергеем Леонидовичем, волнениями из-за новой постановки и беготней по магазинам в поисках туфель на каучуке для мокрой погоды.

В новой постановке Ляля, конечно, получила шиш. Но в декабре Смолянов принес пьесу «Игнат Тимофеевич», стал бывать в театре часто: то читка, то обсуждения, доработки, распределение ролей. Спер-

ва ничего не обещали, потом дали мировую ролишку, потом — хорошую, одну из героинь. Ляля совершенно ни о чем не просила. Смолянов сам догадался, поговорил с Сергеем Леонидовичем. Смурный на худсовете возражал, но Николай Демьянович твердо сказал: «Вот так-то!» — и Смурный заткнулся.

Хотя роль Евдокии, жены Игната Тимофеевича, директорши сельской школы-семилетки, была не ахти какая завидная — очень уж лобовата, ревность, страдания, разговоры поучительные, — но Ляля надеялась всех поразить, показать класс, «из карасы сделать поросю», как говорил Сергей Леонидович. Работать взялась с упованием. В роли своей отыскивала такие тонкости, такую глубину, что автор изумлялся просто душно:

— Ну и ну! А я и думать не думал...

Все-таки что бы ни говорили о Смолянове разные умники вроде Боба Мироновича, Ники Герасимова или родного Гриши, одни из снобизма, другие, чего скрывать, от зависти к успехам — Смолянова в газетах помнили все чаще, хвалебней, «Лесополосы» шли уже в сорока театрах, — было в этом провинциале что-то милое, прочное, какое-то умение нерасторопно, но властно себе подчинять, добираться ходким медвежьим шагом до сути, до цели. Смолянов теперь приходил в театр ежедневно, сидел на репетициях. Иногда после репетиции, незаметно отлучившись, шли с Лялей в ресторан — обычно в «Москву» на десятый этаж, где был знакомый метрдотель, — оттуда ездили в пустую квартиру одного друга Смолянова, который уехал в Китай и оставил Смолянову ключ. Однажды в обувном магазине на окраине, где директором был знакомый Смолянова, купили туфли на каучуке (с осени искала, а тут заикнулась и — раз, пожалуйста!). Удивлялась: ведь он в Москве житель недавний, а уже все ходы-выходы знает и знакомых полно. И человек-то не очень уж общительный, мрачноватый даже, не шустряга какой-нибудь. Значит, талант особый. Есть такие люди: все-то им удается по-тихому, дела у них идут, денешки текут, женщины к ним льнут, дуры глупые. Талант! Самый драгоценный: жизнь устраивать, обставлять, как комнату мебелью. Вот бы Грише такого хоть немножко. И то, что было в Саратове случайностью, блажью сострадательной, химерой предрассветной — то ли было, то ли не было, — стало теперь, на исходе зимы, обыкновенностью и простотой, вроде и нельзя без этого никак. В марте, когда премьера была уже близка, Ляля заметила, что Смурный стал ей улыбаться и первым издали здороваться почтительно.

...И забывается вся мерзость ненастья, холод, слякоть, и кажется, что тепло и солнце были всегда и, главное, всегда будут. И вот когда в Лялиной жизни случилось то, о чем она мечтала годами, почти без надежды, потому что в глубине души с некоторым страхом и смирением подозревала в себе вечную неудачницу: Сергей Леонидович теперь подолгу работал с нею одной, гримерша, неискренняя баба, стала называть ее Людмилой Петровной, и был случай, когда за Лялей прислали директорскую машину, чтобы ехать на радио рассказывать вместе с директором и Сергеем Леонидовичем о том, как идет работа над новым спектаклем, — когда все это и другое в таком же роде случилось в Лялиной жизни в конце зимы тысяча девятьсот пятьдесят второго года, когда Ляля исполнилось двадцать семь, она очень быстро, пожалуй даже мигом, привыкла к происшедшей перемене и думала, что теперь так будет всегда и в дальнейшем может быть только лучше.

Что переломило жизнь, оставалось для Ляли загадкой, да она и не задумывалась. Ветра, что ли, переменили направление в поднебе-

сье? Где-то за тысячи миль пронесли ураганы? Бабушка, покойница, любила такую поговорку: «Придет время, будет и пора». И вот пришло Лялино время — а почему бы и нет? Она так упорно ждала, терпела. Мама считала, конечно, что поворот к лучшему случился благодаря ей: давешняя кляуза помогла. Возможно, что и так. А возможно, что Николай Демьянович повлиял. А еще того возможней, что Сергей Леонидович, который, вообще-то, всегда, еще с приемных экзаменов в училище, на которых Лялю провалили, относился к ней хорошо, даже чересчур хорошо, привык, пригляделся, а вдруг увидел сосвежа и сам изумился: «Да что ж это, товарищи, мы с Людмилой Телепневой делаем?» Он однажды, передавали, так про нее сказал: «Ну милота́, милота, а дальше что?» Да ведь если милота есть, это ужасно много. Милота на улице не валяется. «Милота — дар божий, — говорил Ксенофонт Федорович, художник, который и передавал услышанное. — Развивать нужно, лелеять, а не нос воротить». Ксенофонт Федорович был отличный человек. Лялю любил, как дочь. Умер, бедный, от сердечно-го приступа: пил много.

А все-таки бабушка мудрей всех — пришло время, вот и пора.

Занавес закрылся, актеры поспешно бросились за кулисы, но Ляля не успела за другими, и, когда полотнища вновь распахнулись, шумящая волна из зала захватила ее, она оказалась одна на сцене и не могла сообразить, кланяться ей одной или ждать остальных. Кто-то схватил ее руку и, больно сжав пальцы, потянул к рампе. Она поклонилась, краем глаза увидела, кто тянул: Макеев. Тот улыбался и шептал злобно:

— Кланяйся, ну! Тебя же вызывают...

И снова так же: все гурьбой, отпихивая друг друга, кинулись за кулисы. Ляля почему-то замешкалась, и волна накрыла ее одну. Кто-то бросил букет. Актеры перестали кланяться, выстроились неровной шеренгой, тоже стали аплодировать, и все повернулись в сторону правой кулисы, откуда вышел Сергей Леонидович с лицом немного бледным и брезгливым, какое бывало у него от усталости к концу репетиций. Ляля смотрела на Сергея Леонидовича, едва сдерживая слезы, ей хотелось обнять его и сказать ему, какой он настоящий и замечательный. Неожиданно он взял ее за руку и вывел вперед. Они стояли одни перед залом, который наполовину уже опустел, но гремел, хлопотал и напирал на сцену еще сильнее, чем прежде.

— Спасибо, Сергей Леонидович, — сказала Ляля. — Спасибо вам...

— В зал, в зал! — не глядя на нее, пробормотал он.

Потом вышел Николай Демьянович в отличном светлом костюме, с белым платком в карманчике, в каких-то новых очках с толстой черной американской оправой — эти очки совершенно его изменили, и вообще он выглядел непривычно. Он уже не сгибался в поклонах, как официант, лицо его не покрывала смертельная бледность, и оно не блесло потом, держался он прямо, кланялся солидно, опуская голову, и было похоже, что он соглашается с кем-то: «Да! Да! Да!» Потом он подошел к Сергею Леонидовичу, обнял его и поцеловал. Ляля заметила, что Сергей Леонидович запунцовел, стискивая Николая Демьяновича с горячностью и что-то говоря ему на ухо. Затем Николай Демьянович подошел к Ляле, поцеловал ей руку, шепнул:

— Сегодня бы надо отметить...

Ляля не успела ничего сказать, как он уже отошел, жал руки актерам, а женщинам целовал. Наконец отгремело, иссякло, все спускались по узкой лестнице вниз, разговаривали хором, хохотали, поздравляли друг друга. Сергей Леонидович поддерживал Лялю под локоть.

— Семь раз вызывали! Семь, семь! — кричала помреж Лемберг,

которая стояла внизу у лестницы и, подняв обе руки, показывала растопыренными пальцами: семь.— Успех, Сергей Леонидович!

— Да, да, посмотрим...— кивал главный.— Но вы, Ада Максимовна, очень торопите занавес. Получается назойливо, провинциально.

— Вы же сами просили, Сергей Леонидович!

— Надо соображать: видите, обозначился успех, значит, незачем гнать занавес, и без того хлопают. Вы соображайте. Ну, ничего, пустяки. Поздравляю вас.— Он устало улыбнулся, пожал Лемберг руку.— Облака в третьем акте снять, запишите. Ни черта не получается, какая-то каша.

Сергей Леонидович прошел дальше, а Лемберг обхватила Лялю сзади за плечи и чмокнула в щеку.

— Лялечка, поздравляю! Ой, прости, испачкала! Ну, ничего, сейчас смоешь грим. Все чудесно, замечательно, только в последнем действии одно местечко — когда Макеев подходит к крыльцу и ты поворачиваешься...

Лемберг тараторила в возбуждении, двигая большим накрашенным ртом, но Ляля понимала плохо.

— Спасибо, Адочка, большое спасибо.

Она кивала и улыбалась почти бессознательно, потом тоже чмокнула Лемберг в щеку. И тут же пришло в голову, что еще месяц назад (да какой месяц — еще вчера!) она не посмела бы не только поцеловать Аду Максимовну, но даже назвать ее Адочкой, а сейчас это вышло так просто, само собой, и Лемберг как будто даже довольна тем, что ее чмокнули. Все вокруг продолжало меняться, и она менялась сама, она это чувствовала. Так и должно быть, ничего странного. Не нужно удивляться. Все, что ее окружало и было с нею связано, менялось, менялось, менялось неумолимо и ежесекундно, и люди, кажется, это чуяли, как птицы чувят перемену погоды.

Когда, разгримировавшись и переодевшись, Ляля вышла в кулисный зал, там уже стоял окруженный актерами Сергей Леонидович и делал замечания по какой-то сцене. Он сам показывал, что следовало делать и в чем была ошибка, и по тому, как он показывал, смешно, с увлечением, было ясно, что у него превосходное настроение, что он чувствует удачу и уже слышал от кого-то ободряющие прогнозы. И все это понимали и, глядя, как Сергей Леонидович показывает, хохотали восторженно. Здесь же был Смурный, который тоже улыбался, глядя на Сергея Леонидовича, и на его лице застыло выражение несколько приторной радости. Он сказал Ляле:

— Очень, очень здорово, Людмила Петровна! Поздравляю от души.

По глазам было видно, что фальшивит. Впрочем, так же фальшивила Женька Милютина, которая целовала Лялю, говорила, что страшно счастлива за нее и что пора наконец положить предел террору старух и всей молодежи объединиться. Раньше, когда Женька была в порядке, а Ляля в з а т и р е, она этого не предлагала. Но все это Лялю сейчас не трогало, худое не вспоминалось, хотелось быть доброй, великодушной, и, прочитав в ласковых глазах Смурного глубоко запрятанный мелкий, собачий страшок, она даже испытала к бывшему врагу нечто вроде сочувствия и ответила радостно:

— Спасибо, Герман Владимирович, спасибо вам!

Тут в зале появился Николай Демьянович, сказал что-то насчет банкета в «Гранд-отеле», кажется, в понедельник — Ляля слушала плохо, думала как быть: Гриша ждет внизу, придется знакомить. Николай Демьянович, подойдя к Ляле, сообщил негромко, но совершенно спокойно, как будто вокруг не было людей:

— Буду ждать внизу, у кабинета директора. Там два друга со мной.

После этого исчез.

Ляля вернулась в свою уборную, сложила вещи в чемоданчик, взяла цветы, но прежде чем уйти присела на минуту перед зеркалом. На душе было смутно. Радость мешалась с ощущением тревоги, надвигалась громадная неловкость. Гриша не рвался на премьеру, не любит сюда ходить, болезненно самолюбив, здесь его обижали. Но она уговорила. Мать, которая не могла оставить отца, тоже уговаривала, но в своем стиле: «Идите, идите! Кто-то должен Лялечку встретить и проводить домой». Родственников набегит много — дядя Коля в полном составе, младшая мамина сестра Вероника, тетя Женя и дядя Миша, их ребята Майка и Борька, Майка уж наверняка, завзятая театралка; Валентина Абрамовна, сестра дяди Миши, хотела прийти, и тетя Тома собиралась специально приехать из Александрова. Всех мать перебулгачила. Ляля с ней даже поругалась. Зачем это нужно: устраивать в театре телепередачу ходынку? Нет, правильное сказать фомичевскую ходынку, потому что все — мамыны родственники, а из отцовских если кто и придет, так один, может быть, Славик, сын дяди Феди. Но всем было сказано абсолютно твердо: никаких ожиданий в фойе, семейных демонстраций, возгласов, букетов и т. п. После третьего акта — пальто, галоши и до свиданья. Встретимся дома — 4-я Почтовая, тридцать два. И только Борьке, страстному фотографу, разрешено было сделать два-три снимка где-нибудь в фойе, когда все кончится. А встречать будет один Гриша. И с ним Ляля поедет домой. Но как раз Гриша был единственный — Ляля знала, — кто придет сюда без охоты и даже, наверное, без букета. Бог с ним, не важно. Мрачнейшее настроение, можно простить. Временами становилось безумно его жаль, ночами ломала голову: что сделать для него, как помочь? И казалось, если не вытащить в театр, еще тягостней будет ему дома или в его любимой библиотеке. Все было бы нормально, если бы Николай Демьянович не предложил куда-то пойти. Один, без жены. Значит, опять в ссоре. Ужасная женщина: в такой день ссориться! Отравляет ему все праздники. Ах, было бы недурно пойти куда-нибудь, вкусно поесть, выпить вина, красненького сухого, в «Арагви», например, — даже засосало под ложечкой и на языке возник вкус сациви. Но Гриша... А если — всем? В самом деле — ну, что особенного?

Ляля смотрела на себя в зеркало — лицо было бледно, чуть розовело у скул, бесцветная немецкая помада придавала губам влажный и какой-то очень свежий, девический блеск. Все говорили, что у Ляли красивый рот, и она это знала. Смотрела на свой рот с удовольствием. Медлила: пусть актеры разойдутся, не надо спешить, проще встретиться с Николаем Демьяновичем в максимально пустом фойе и потом где-то возле вешалки или в вестибюле знакомить его с Гришей. И пускай родственники исчезнут. Особенно опасны были Майка с ее назойливостью и жена дяди Коли Липа, Олимпиада Афанасьевна, патентованная семейная дура. А уж неловкости с Гришей и Николаем Демьяновичем, разумеется, не избежать. Гриша, может быть, что-то почуял, но скорей всего нет, слишком удручен своими невзгодами. Был неуклюжий эпизод с рубашкой, которую Ляля купила в подарок Николаю Демьяновичу ко дню рождения: хранила рубашку в комод: Гриша случайно нашел, удивился, спросил чья. Ворот-то чересчур большой, сорок пять сантиметров. Гриша носит сорок один. Пришлось соврать, что собирают коллективный подарок одному хорошему человеку, виолончелисту Тамаркину из театрального оркестра. Стыдно, а что делать? Ведь сказать честно значило бы, во-первых, нанести Грише удар чудовищной силы, что было бы бесчеловечно, особенно теперь, когда

он в таком состоянии, и, во-вторых, — неправда, вернее, частичная правда, не истинная правда. Потому что то, что происходило у Ляли со Смоляновым, нельзя было назвать ни увлечением, ни чем-то другим, определенным. Ляля не знала, что это было. Ничего от него не требовала, не ждала. Никакой воспаленности, жгучей необходимости видеть и знать ежедневно, ежечасно — что Ляля испытывала когда-то с другими — здесь не было. Могла неделями не видеть Смолянова и не страдала от того, что он не звонит в театр, не разыскивает. Но когда с ним встречалась, было всегда хорошо. И всегда его за что-то жалела. Знала, что эта жалость ему нужна: ведь ни жена-эгоистка, ни больная дочь и ни старуха мать где-то там, далеко, и уж тем более ни публика, ни театральные друзья не могли ему этого дать. Он так и говорил: «Одна ты во мне хоть что-то понимаешь».

Оставить ради него Гришу? Может, он и хотел бы. Но речи о том не было, и Ляля никогда бы не согласилась — еще сильнее мучилась бы за Гришу. С Гришей вся жизнь. Хоть и не расписаны. Но не в этом же дело! И школа, и юность, и война, голод, надежды, дети неродившиеся. И вот теперь, когда что-то засветило...

У Ляли даже горло сжало, когда вдруг представила Гришу, оставленного ею. Нет, никогда! Сейчас дождь на улице, гремит по железному отливу, а Гриша наверняка ждет ее не в театре и даже не под аркой театрального подъезда, а где-то поодаль, жмется к стене. Такой человек. Все в нем больное, перекрученное. Ляля заторопилась, схватила чемоданчик, цветы, погасила свет и вышла поспешно.

Когда шла быстрым шагом, почти бежала по коридору, услышала обрывок разговора:

— Заметила, как она себя выделяла? Одна на сцене оставалась несколько раз. Манера захолустных премьерш.

— Господи, чего ты хочешь? В нашем театре только так и выдвигаются...

На секунду было искушение вернуться, поглядеть: кто? Не имеет значения. Теперь это будет, начнется, и — все правильно, так и быть должно. Фойе было полутемное, публика почти рассеялась, и, слава богу, никаких знакомых лиц. Вдруг слева ослепительно вспыхнуло — Борька подскочил и щелкнул почти в упор. Ляля даже не поглядела в его сторону. Николай Демьянович разговаривал с двумя незнакомыми мужчинами, тут же стояли Роман Васильевич, директор, и администратор Бравин. Ляля прошла мимо, кивнула скромно:

— Всего доброго!

Мужчины нестройно, весело отозвались, кажется были уже в легком коньячном возбуждении, директор сверкал золотыми зубами в улыбке, администратор Бравин крикнул: «Людочка, на чаек с вашей милости! По случаю премьеры!» — а Николай Демьянович сказал:

— Людмила Петровна, а не подвезти ли вас? Я на машине.

Ребров, конечно, на спектакль не пошел. Еще чего: ходить на Смолянова! С одиннадцати часов засел в Библиотеке Ленина в третьем, научном зале и читал об Иване Гавриловиче Прыжове. Накануне заказал все, что нашел в каталоге: «Русский архив» за 1866 год, «Историю кабаков», «Нищих на святой Руси», статьи в «Голосе», в «Московских ведомостях», в «Санкт-Петербургских ведомостях», книжку Альтмана, сборник статей и писем тридцать четвертого года, «Минувшие годы» и многое другое. Великолепное чтение на несколько дней. Зачем был ему нужен Прыжов, Ребров и сам не знал. Зачем-то нужен! Сидение в библиотеке, глотание старых книг, газет и журналов превратилось в необоримую, тяжелую привычку вроде пристрастия к картам или курения наркотиков. На Прыжова Ребров наткнулся, заинтересо-

вавшись Нечаевым. Собственно, впервые он узнал об этом имени год назад, когда здесь же, в третьем зале, читал номера старых журналов. Все это было ни к чему. Какой-то неизбывный дурман. Были дни, когда он даже не обедал, только ходил в курилку. А ведь нужно писать какой-то очерк, что-то придумывать со сценарием! Нет, Иван Гаврилович Прыжов, совершенно бесполезный и давно всеми забытый дядя, незадачливый бунтовщик, историк, пьянчужка и попрошайка, благороднейший человек, бытописатель народного житья, живший сто лет назад, не отпускал Реброва. А может быть, глупая, бездонная любознательность или еще более глупая лень. До шести часов, когда уже зарябило в глазах, Ребров просидел в библиотеке, исписав страниц двадцать — боже мой, для чего же? — разных фактов и соображений, почерпнутых из жизни Ивана Гавриловича и из его сочинений. Потом пошел в кафе «Националь» ужинать. Угнездившись за любимым столиком у окна, он пил кофе, жевал весь вечер один остывший шницель с сухим картофельным «паем», который умели по-настоящему делать только здесь, в «Национале», и выпил раза два по рюмке коньяка: подходили знакомые и угощали. Ребров был без денег. Утром взяла у Ляли десятку. В «Национале» все шло чередом: подсаживались, знакомились, уходили, передавали, сообщали, остряли, пугали, возмущались, одалживали, устраивали, напивались, буянили. В седьмом часу пришли с бегов, рассказывали, какие были выдачи и новые плутни, в девять, как всегда, явился художник Рысев, про которого говорили, что с ним надо поосторожней, в десятом стали возникать актеры, не занятые в последних актах. «Говорят, в Малом полный провал...» «А Мышикова действительно сняли?» «Слушайте, а это знаете: пришел раввин к проститутке...» «За таким товаром надо ехать в Ригу!» «Смотрите, какая красота у нашего друга!» «Что это значит: у Ляльки премьера, а он тут бражничает? Почему ты не в директорской ложе, негодник?»

Ребров делал ленивое, презрительное движение рукой, не желая пускаться в объяснения: презрение относилось и к сути вопроса, и к тому, кто спрашивал. Каждому ярыжке кабацкому давать отчет. К тому же корбило — «негодник», «Лялька». Вечное актерское панибратство. Он все еще был во власти Ивана Гавриловича и, разговаривая с ярыжками, думал о нем. Кабацкий механизм остался, по-видимому, неизменным: та же тяга к общению, забвению. Недаром Прыжов сжег два последних тома своей «Истории кабаков», боясь, что правительство усилит надзор и прижмет эти горькие клубы. Никто не мог понять, что с Ребровым происходило.

Около десяти, когда Ребров уже собрался уходить — до театра на троллейбусе было не больше четверти часа, — появился Шахов, как обычно на бегу, второпях спросил, как дела у Реброва. Вид был инспекторский, деловой, и, спрашивая, окидывал орлиным взглядом соседние столики: не терял ни минуты. Ребров ответил, что ничего нового. И добавил по-прыжовски:

— Умираю, а ногой дрыгаю.

— Вот что, милый, — сказал Шахов, высматривая кого-то в дальнем углу зала, — ты мне позвони дней через пяток, или я тебе. Может, что-нибудь придумаем. Подрыгаем вместе...

Было холодно, лил дождь. Публика из театра уже потекла, но не толпой, а ручейком, те, кто сбежал до кошца. Ребров не стал заходить под арку театрального подъезда, не желая встречать актеров и всяких знакомых деятелей, обыкновенных посетителей премьер, и всего более опасаясь наткнуться на Лялиных родственников. Не то чтобы он не любил этих людей, большинство которых было из клана Ирины Игнатьевны, но старался держаться от них подальше: может, многие были прекрасные люди, вполне добропорядочные, но в каждом из них

ему чудилась небольшая порция тещи. Он встал у стены, чтобы скрыться от дождя и одновременно наблюдать за выходящими. А вот почему — ну, почему, спрашивается? — он не мог бы стоять в подъезде и с улыбкой встречать знакомых, пожимать руки родственникам, шутиливо отвечать на приветствия? «Муж волнуется?» «А что делать? Сэ ля ви!» А еще лучше — с букетом цветов в фойе, внизу, и на глазах у всех кинуться навстречу, обнять, расцеловать при одобригельном гуле голпы?

Но все это было совершенно невозможно. Пуще всего на свете Ребров боялся показаться смешным.

Это свойство, присущее натурам самолюбивым и замкнутым, доставляло Реброву порядочно затруднений в жизни. Затруднения начались давно, еще в годы школы. С Лялей учились в одном классе, она очень нравилась, мучительски, немо, непонятно чем — косами, что ли, голоском, ранней женской статью или смелостью на школьных подмостках в роли Неле из Уленшпигеля. Сказать было нельзя, даже смотреть в ее сторону невыносимо, и вот — истязанье. Однажды выскочил с ребятами после уроков, Ляля на дворе, спросила: «Ты домой?» Вместо того чтобы закричать: «Конечно! Идем!» — едва не задохнулся, буркнул: «Да нет, я тут...» Если бы не было ребят! Но те следили зорко, и — ушла, больше не спрашивала, так и ходили целый год, а то и два в одну сторону, но не вместе.

Потом, в классе уже девятом, был темный зал в каком-то клубе на Тверской-Ямской, вечерний сеанс, на экране ловили вредителей, стреляли, мчались на конях. Ребров и Ляля, сидевшие в заднем ряду, ничего не понимали. Его левая рука и Лялина правая сплелись в темноте и ласкали друг друга, обнимали, стискивали до боли. Полтора часа это длилось. Ребров и Ляля не произносили ни слова, и лица их были обращены к экрану. Когда зажегся свет, встали и, пряча глаза, по-прежнему не говоря ни слова, пошли к выходу. На улице Ляля вдруг расхохоталась и сказала, что он очень смешной. Пораженный в самое сердце, он пробормотал: «Ты тоже смешная!»

Да, да, старый страх: быть смешным. Но получалось еще хуже. Просто сказать «я тебя люблю» представлялось смехотворной нелепостью, нарушением всех правил хорошего тона, и в результате он тупо молчал, что было нелепостью еще большей. Она ведь первая предложила стать его женой — зимой в сорок седьмом. А у них тогда уже все произошло. Но он никак не решался. Потому что — а вдруг откажут? Что тогда: под электричку? И вокруг нее были мужчины, тот хромой, потом тот, кто устраивал ее в театр, еще был какой-то Яша, какой-то Валерий, друг детства, сын тещиной приятельницы. Теща давно мечтала выдать Лялю за этого Валерия и, кажется, до сих пор не оставила дикой надежды.

А Гриша любил ее всегда, все тринадцать лет. Не было дня, чтобы о ней не думал. Когда уезжала на гастроли или на юг — она любила отдыхать одна, так уж было заведено, — он не находил себе места, мыкался, мертвел от тоски, не мог ни работать, ни гулять. Приятели знакомили с девушками, старались отвлечь, но у него пропадал всякий интерес, когда Ляля странствовала и когда, казалось, наступало удобнейшее время. Вот если она в Москве и все в порядке — тогда он не прочь. Но и то больше в разговорах, чем на деле. «А хорошо бы нынче это самое — оторваться...» — говорил приятелю за чашкой кофе, глядя на каких-нибудь бледных студенточек в библиотечной столовой. Ах, боже мой, за все годы было, может быть, два или три случая, когда он отрывался. Разве это цифры для молодого мужика? Все равно что нуль. Тут было еще суеверие, нечто вроде тайного страха, в каком даже себе не признавался: если он позволит, значит, и там

будет что-то позволено. Наверное, там и позволялось. Это была главная мука его жизни. Ведь удивительное простодушие — ничего не стоило поцеловать, с легкостью ответить на ухаживание. Нет, это не значило, что пойдет до конца, но несколько шагов по пути к концу пробежит не задумываясь. Тут не актерское, не среда, а — характер. Доброта, будь она неладна. Был однажды случай, давно, перед войной. Ну, конечно, перед самой войной, в июне: поехали после экзамена вдвоем купаться на Щукинский пляж. Пляжа там до войны никакого не было, а был только высоченный и крутой песчаный откос. Вода, конечно, холодная, начало лета, окунулись раза два и лежали на песке, и тут откуда-то взялись три парня, стали заигрывать с Лялей, задираться с Ребровым: вели к драке. Ребров, как всегда в таких историях, терпел долго, накалялся, потом будто взорвался, полез в беспамятстве с кулаками, ну и те стали его молотить. Избили бы, наверное, «вúсмерть», как тогда выражались на улице, но Ляля бросилась защищать, закричала: «Перестаньте! Что вы делаете? Что вам нужно от нас?!» И вдруг: «Ну, хотите, я вас всех поцелую?» И верно, поцеловала всех троих, одного за другим. Те оторопели, она взяла Реброва за руку и увела. Привезла на трамвае к себе домой. Ее родители ужасались, делали ему примочки, поили чаем и оставили ночевать в дачном домике на веранде. Ночью пришла Ляля, ничего не было, кроме ласк, бурной Лялиной жалости, и Ребров не испытывал потребности доказывать, что он настоящий мужчина, — он и так ощущал это всем своим гордым избитым телом. Лишь одна мысль терзала, не давала сна и утром — сквозь пение птиц, солнечный, лиственный свет — разбудила злой болью: как же могла поцеловать? Всех троих? Так просто? Господи, да ведь хотела его спасти. И спасла, спасла! Спасла? А если бы чтоб спасти... еще похуже? Со всеми тремя? Помедлив, ответила твердо: если бы чтоб спасти — могла. Да, могла бы. Безусловно могла, если бы чтоб его спасти.

Он застал, повалился на кушетку, до крови мучая зубами губу. Отчаянность была не в том, что могла бы, а в том, что — так просто, твердо, не колеблясь. А потом, когда встретились с Лялей случайно, после трех лет военной круговерти — после фронта, ранения, сибирского госпиталя — в каком-то доме у Сретенских ворот, и он увидел рядом с нею хромого поэта, знаменитого тем, что сочинял песенки для инвалидов и слепцов, жалкое создание, мозгляка, алкоголика, и Реброву сказали, что Ляля ходит за Лазиком — так звали этого хромушу — как нянька, преданна ему необыкновенно, и когда поэт был отброшен, хотя и с трудом, все кончилось, старое зачеркнуто, замазано черной дегтярной краской, все равно сквозь эту черноту проглядывали и Лазик, и трое на берегу, и какой-то подлец, пытавшийся Лялю изнасиловать, и еще много неведомых, о существовании которых он достоверно не знал, но догадывался. Никого из них нельзя было уничтожить навсегда.

В разные времена возникали разные тревоги: то Макеев, то сам Сергей Леонидович, о котором она говорила с придыханием, как о существе божественном, то беспокоил режиссер Смурный, хотя Ляля его ненавидела, и в этом была как будто некоторая гарантия, но Ребров знал, что при Лялином мягкосердечии самая страстная ненависть может легко перекинуться в страстное сожаление, даже в сочувствие, тут надо держать ухо востро. Неприятен был Валерий с его мамашей, которых теща любила приглашать в гости. Иногда вызывали подозрение драматурги, особенно такие удачливые, как Федька Арнольдов, гжучий брюнет, в Лялином вкусе, Смолянов тоже мог представлять опасность, и уж крайнее раздражение вызывал один актер по фамилии Корнилович, некий Пашка: под маркой товарищества он держался с Лялей невероятно фамильярно, в присутствии Реброва позволял себе с Лялей

сальные шуточки, говорил ей «ты», обнимал ее, хватал за руки. Поэтому Ребров не любил бывать в актерских компаниях. Да и о чем с ними разговаривать? Было скучно, к тому же он напрягался, душил в себе ревность, а это вело к гадкому, унижительному. В том-то и дело, что, мучаясь, он не желал ничем эту муку обнаруживать. Готов был умереть от удушья ночью, в припадке тоски, но ни за что не примчался бы в город, где шли гастроли, или на курорт, куда Ляля улетела с подругой, и никогда во время Лялиных отъездов не звонил ей по телефону. Звонила Ирина Игнатьевна. Сообщала все сведения. А он, с жадностью ловя каждое слово, напускал на себя уныло-спокойный и даже рассеянный вид, отчего теща скрытно негодовала, считая, что он мало волнуется и, значит, мало любит: это подтверждало ее догадку.

Но когда Ляля возвращалась — счастливейшие дни! — он с первых же минут, с вокзала или аэропорта, старался кое-что тончайшим образом выведать и распознать. Шло исследование самых малых изменений, происшедших за дни разлуки в ее привычках, голосе, здоровье, отношении к нему, и в первую же ночь тайному суровому испытанию подвергалась ее любовь. Она, конечно, ни о чем не догадывалась. И вот из-за всего этого, наверное, он не мог так свободно приходить сюда и, улыбаясь, разговаривать со всеми этими людьми. Когда летом приехали из Саратова и Ребров встречал ее на вокзале, Корнилович нарочно громким, шутовским голосом говорил Ляле: «Ну что, Лялечка, признаемся Грише во всем? А? Давай признаемся!» Актеры хохотали, Гриша силился улыбаться, а на душе кошки скребли: черт их знает, а вдруг?

В театр не любил приходить еще вот почему: Лялю тут унижали. И он не мог защитить. Его тоже унижали. Две пьесы сюда давал, одну молодежную, о стройке университета, другую вроде детской сказки, о войне в Корее — обе не прошли. К своим пьесам Ребров относился двойственно — с одной стороны, как бы не всерьез, видел их слабинку, прозрачный расчет, но не очень-то огорчался, полагая, что эти пьесы для него дело второстепенное, неглавное; с другой же стороны, они были делом вполне главным и даже главнейшим в смысле житейском, на них зиждилось будущее. И потом, оскорбительно — почему не берут? Неужто настолько плохо, хуже всего остального, даже какой-то смоляновской чепухи?

Публика уже шла густой толпой, дождь усиливался, проходившие говорили о такси, метро, о том, что надо зайти в булочную, никто не говорил о спектакле. «Ну, конечно! Все правильно», — без всякого удивления думал Ребров. Со Смоляновым он знаком не был, пьес его не видел и не читал, но почему-то был убежден в том, что Смолянов — бездарность и ловкач, а пьесы его — чепуха.

Появился завлит Маревин Борис Миронович, или, как его называли в театре, Боб; держал ребровские пьесы четыре месяца, этакая свинья, и лишь недавно через Лялю передал, что, мол, не подойдет. Не удосужился даже пригласить, объяснить. Не написал никакого официального письма. А чего церемониться? Свой человек, муж Лялечки, не настоящий автор. Когда приносят Берг или Федька Арнольдов, он небось за одну ночь глотает и чуть свет звонит: «Послушайте, безобразие, вы меня замучили, не мог оторваться...» На улице грозный Маревин, перед которым трепетали авторы, выглядел совсем иначе, чем в своем кабинетике с чернильным прибором зеленого мрамора в бронзулетках, — довольно жалко. Да еще под дождем. Неказистый, плюгавого роста господинчик в берете, в пальтишке не лучше ребровского, с портфелем, он выбежал под дождь, согнулся, подергал, как комарик, тонкими ножками, поглядел по сторонам — увидел Реброва, поклонился. Ребров ответил высокомерным

кивком. Тут сильный, с ветром обвал дождя шархнул Маревина, шатнул его к стене дома, и Маревин невольно приблизился к Реброву — так что нельзя было не поздороваться и не сказать двух слов.

— Ждете Лялю? У нее сегодня большой день. И вас поздравляю...

Ребров не желал разговаривать с ним о Ляле. Спросил:

— Ну, что пьеса — колоссальный успех? Публика воеет?

— Вы с ума сошли! — зашептал Маревин. — Дерьмо средней руки. Желая здравствовать...

Убежал, подпрыгивая. Вдруг подумалось: можно бы написать отличную пьесу об Иване Гавриловиче. Все тут есть — и драма, и смерть, и живописные лохмотья, и преданность женщины, и мученическая жизнь нищего литератора, готового продать рукопись за рюмку! А как с убийством? Но ведь он не хотел убивать Иванова, отказывался, умолял, говорил, что стар, слеп, но они сказали: «Мы вас понесем». И кажется, напили водкой. В том-то и ужас. Достоевский сотворил гениальную карикатуру, «Бесов», а если попросту, как оно было... Только вот зачем? Для кого?

В дверях появился Макеев в роскошном пальто с шалевым воротником, руки в карманах, до носа закутан белым шарфом, кто-то тащил сзади его чемоданчик. Макеевские поклонницы, «сыры», дежурившие под аркой, запищали хором: «Макеев душка — да! да! да!» Потом вывалилась большая компания, в центре — Ляля. В согнутой левой руке, как ребенка, держала громадный букет. Шумно прощались, вскрикивали, махали шляпами, какая-то женщина целовала Лялю, компания быстро рассеивалась. Ребров слегка попятился и вышел под дождь. Ляля продолжала разговаривать с кем-то. Ребров узнал Смолянова. Он напрягся. Прирос к месту, сказав себе, что не сделает ни шага к Ляле, пусть она подойдет к нему. Ляля и Смолянов, разговаривая, медленно приближались к Реброву. Ляля его увидела, но была настолько увлечена, что не кивнула, не улыбнулась ему, не сделала никакого жеста, свидетельствующего о том, что она его вообще заметила. Они, кажется, и дождя не замечали. «О черт! Зачем она его тащит?» — заметался Ребров. Ляля и Смолянов подошли, остановились в двух шагах, и Ляля, не глядя на Реброва, протянула ему букет.

— Это что? — спросил Ребров, беря букет. — Мне подарок, что ли?

— Гриша, поддержи. — Ляля впервые посмотрела на него. Взгляд был слегка очумелый, глаза блестящие. — Ой, прости, Гришенька! Вы не знакомы? Смолянов Николай Демьянович. Ребров Григорий Федорович. Гриша, вот Николай Демьянович предлагает куда-нибудь пойти отметить...

Смолянов приподнял шляпу, его рука оказалась неожиданно сильной.

— Поздравляю вас с, так сказать, праздником... — пробормотал Ребров, чувствуя в своем голосе какую-то гнусность. В следующую секунду оправдал себя: «Да что ж, бедняга разве виноват в том, что бездарен? А у человека как-никак премьера».

Смолянов, наверное, не расслышал — не поблагодарил, не сделал даже маленького поклона в ответ на поздравление и вместо этого бубнил чепуху:

— И вот странность, Григорий Федорович: не играл, не бегал, сидел в ложе и смотрел, а, знаете, спину ломит, будто мешки с картошкой таскал. Ну — работа! Я бы драматургам молоко бесплатно давал, как за вредное производство...

Подошли двое, Смолянов знакомил: один был из управления театров, другой — какой-то земляк Смолянова, саратовский, теперь работал в Москве. Земляк попрощался, а тот пригласил всех в «Победу». Когда сажались в машину, невеста откуда высыпались вдруг Лялины родствен-

ники, человек пять или шесть, предводительствуемые тетей Липой, громкогласной дурой; все это обрушилось на Лялю с поцелуями, букетами, вскриками, вспыхивал блиц, кто-то эту суматоху снимал; наконец Ляля отбилась, удрала в глубь машины, за нею полез Ребров, которого никто, слава богу, не заметил, и последним зтиснулся Смолянов, захлопнул дверь. В машине нельзя было повернуться от букетов. Ляля отчего-то безумно хохотала. Куда ехать? Решили: в новую гостиницу «Советская», на Ленинградском шоссе. Там, говорят, был ресторан с цыганами.

До революции домик, где жили Телепневы, был дачкой какого-нибудь фабричного служащего или чиновника из небольших, у кого не хватало пороку поселиться в настоящей подмосковной, с речкой и бором, в Лосином острове или в Кускове, и кого служба обязывала ежедневно ездить в Москву, отчего близость к городу играла первейшую роль; революция всех дачевладельцев, крупных и мелкоту, вытряхнула из домиков, заселила светелки, зальцы и верандочки рабочим людом, недавними солдатами, мужиками и бабами, прихлынувшими в столицу из голодных мест. Так в 1922 году поселился здесь, тогда еще за чертой города, демобилизованный красный боец Петр Телепнев, из екатеринбургских мящан, по профессии мастер-котельщик, по призванию садовод. Учился на рабфаке, работал сперва мастером, а потом до сменного инженера дошел на большом новом заводе, что вырос неподалеку от дома, на старом Ходынском поле.

Но сильней, чем завод, чем дорогие сердцу котлы и, может, сильней, чем жену и дочку, любил Петр Телепнев свой сад, взлелеянный за три десятилетия. Особенно богаты были георгины. Ими славился Телепнев по всей Москве. Среди цветоводов так и говорилось — «телепневские георгины», иногда даже просто «телепневские», потому что каждый понимал, о каких цветах речь. Были в саду и другие цветы — тюльпаны, астры, хризантемы, левкой, замечательные и тоже знаменитые ирисы, и была сирень, богатейшая, восемнадцать кустов, вдоль всего забора. Но к сирени Петр Александрович относился почему-то не так бережно и ревниво, как ко многим цветам, разрешал ломать ее, отсаживал кустами, дарил направо и налево, благо что родственников пол-Москвы.

В войну сад едва не погиб. Кому было дело до цветов, когда жили едва-едва, впроголодь, у девчонки ни платьиц, ни туфель, в мае, по-сучому, бегала в валенках, а Ирина Игнатьевна мучилась язвою, неделями по больницам. И все же выжили и сад спасли. Спас Петр Александрович — часами, ночами, отнятыми у жизни, верою в то, что спросят однажды, очнувшись: «А чего-то у нас вроде не хватает? Стояло что-то вроде на столе посередке?» И верно, народ возвращался к цветам, картошка-лорх и редис ранний помаленьку выходили из моды, хотя места на грядках еще не уступали, но были уже не властные хозяева, а как бы временные жильцы, кого терпят по нужде, за хорошую плату, не чая поскорее отделаться, но тут неожиданно навернулась новая опасность. Через два года после конца войны стали застраивать Почтовые улицы каменными домами. Над сиреневым садом, над сорока восемью сортами *Dahlia variabilis* нависла беда — снос. Домик — шут с ним, не жалко, куча дров, дадут другую квартиру, еще получше, а вот саду грозила смерть.

Петр Александрович пустился собирать бумаги, ездил к именитым клиентам, кого когда-то сиренью одаривал, за подписями, писал заявления в райсовет, в райжилуправление, в Моссовет, в Мосжилуправление, главному архитектору города с единственной просьбой: сад, как уникальный и после смерти Петра Александровича переходящий в собственность государства, оставить в целости, а ему дать квартиру в близлежащем

доме, чтобы мог продолжать уход за садом и вести наблюдения, имеющие общепризнанное научное значение.

Третий год это длилось, Петр Александрович писал, звонил, мыкался по приемным, стучал во все двери; каменные дома приближались, уже застроили всю улицу от церкви до Таракановки, уже засыпали гнилую речонку мусором, навезли земли, разбили скверик, уже пустили троллейбус, уже Лялька сыграла три роли в театре, но все была недовольна, хотела уходить, то съезжалась, то разъезжалась со своим горемыкой Григорием, и уже родилась у них и тут же умерла единственная дочка Варенька от менингита, а вопрос о саде все не был решен.

Районный инженер говорил: «Ваш дом находится в квартале восемь. Сейчас мы добиваем два квартала за Таракановкой, ваша очередь третья. Если к тому времени Моссовет никакого решения не примет — ждите в гости трактор».

Тут еще соседи из двух таких же деревянных домиков портили дело: тоже строчили заявления, собирали подписи. Но они-то наоборот — торопились ломаться, ругали Петра Александровича почему зря. Особенно допекал Куртов, милиционер. Когда-то жили по-доброму, водочку попивали, на рыбалку ездили вместе, дочери были дружны, Лялька и Маргаритка, в один класс ходили, а теперь из-за всей этой колбасни переругались дотла.

Петр Александрович посерел лицом, согнулся от беготни и волнений. В сентябре вышел в сад нарезать бело-желтых *imperialis* в подарок отставному полковнику Дудареву, которому исполнилось шестьдесят пять, — георгины в эту осень вышли на редкость, хоть в Женеву на выставку, *imperialis* двухсаженные, — и подумал вдруг, что на тот год ни его, ни *imperialis* на этом месте не будет, а будет котлован, извести наляпано и бабы носилками кирпич таскают. И в тот же миг что-то вонзилось, как сверлом маленьким, в сердце и опрокинуло. Лежал на клумбе с ирисами в полном сознании, только боль сверлила и страх был: не двигаться! Звал слабым голосом: «Ирина! Ирина!» Ирина Игнатьевна, конечно, не слыхала, но Кандидка, умница, залаял от забора, и немного погодя жена вышла и увидела. Два месяца Петр Александрович пролежал дома. Первые двадцать дней приказано было — пластом, головой не шевелить, с боку на бок не дергаться, понемногу оклемался, стал ходить. В январе отправили в санаторий на полтора месяца. Вернулся — вроде бы ничего, да как-то ненадежно. То, да не то.

В неважном виде встречал Петр Александрович радость: Ляleckину премьере и большой успех. Петр Александрович, конечно, радовался за дочь, особенно за жену, которая от успехов Людмилы расцвела, возгордилась, забыла про язву, но мысли о саде мучили неотступно.

Возникали идеи. А если письмо от театра? Всем коллективом? Народный такой-то, заслуженная такая-то. Главного режиссера привлечь... «Узнав о готовящемся варварском уничтожении очага цветоводческой культуры Ленинградского района...» Лялька обещала поговорить с главным администратором товарищем Бравиним. Этот Бравин, по ее словам, очень полезный и толковый товарищ, к нему по всем вопросам обращаются, он и заявления пишет и в суды ходит, он и по разводам и по жилплощади. Поговорить с ним Ляleckе никак не удавалось, надо наедине, обстоятельно, а в театре всегда гонка, толкотня, тихой минуты не бывает. Но — обещала добиться. «Может, — говорит, — приглашу домой на рюмку водочки, он не откажется». Другая идея: фельетон. Для этой цели следовало насесть на Григория: у него ведь знакомства в газетном мире и у самого рука легкая. Говорил с ним, обещал, но — обычное дело — десять раз напоминай, пока с места стронется. А напоминать тоже не просто, выбирать нужно подходящее время: часто бывал не в духе, скрытно раздражен против Ирины Игнатьевны, в ссоре с Лялей, иногда

непонятно из-за чего дулся и на Петра Александровича. Ляля иной раз сама предупреждала: «Вы сегодня с Гришей полегче, а то у него неприятности с работой. Он очень расстроен». Да ведь когда были неприятности? Все года у него кругом одни неприятности и расстройства.

Удачный момент, чтобы напомнить и подтолкнуть, выпал, по мнению Петра Александровича, на понедельник, когда молодые вернутся с банкета, если, конечно, не за полночь. Петр Александрович заметил, что, когда Григорий выпивал — выпивал он не часто, на какие шиши, а угощать нынче не очень-то угощают, — он становился разговорчив, общителен и даже не скуп. Вообще-то Петр Александрович считал зятя скупым. Не так насчет денег, как насчет вещей: попросишь, бывает, какой пустяк, бритвенное лезвие, помазок или шарф надеть на улицу высколотить, он всегда дает как-то вроде нехотя, не сразу. Книгу попросишь, вот Жуковского просил, Анатоля Франса — библиотека у него на Башиловке видная, прекрасно подобранная, — пообещает: «Хорошо, Петр Александрович, завтра принесу». А завтра: «Ай, забыл! Следующий раз как буду там, обязательно захвачу». Жуковского два месяца мурыжил-мурыжил, а потом: вчера, говорит, искал специально, не нашел, куда-то делся. Скупенек, чего говорить. Да ведь жизнь не сладкая: какой год бьется, а толку нет. Никто его пьес не берет, киносценариев тоже. А пишет неплохо, замечательно, талант большой. Не хуже, чем у других-то. Про восстание в Сибири давал читать: здорово! Язык очень хороший, крепкий, факты богатые. Видимо, связей не хватает. Там ведь без этого никуда. Сто лет будешь биться — все впустую, даже не думай...

Не дождавшись Григория и Ляли, Петр Александрович уснул. Сон был тяжкий: трактор, треща изгородью, ломая столбы, ползет в сад, на клумбы, сначала на георгины, потом на флоксы, нежно-розовые, в осенней великой силе, ирисы, левкой — все в кашу. На тракторе за рулем Митька Куртов, орет злобно: «Довольно! Наигрались!» Проснулся с колючем в сердце, звал Ирину напрасно, за стенкой шум, разговор, Лялькины веселый хохот. На часах был час с половиной.

Вдруг вбежала Ирина Игнатьевна, всполошенная:

— Отец! Не спишь?

— А ты где, чертушка? Второй час же, люди добрые... — ворчал сердито, весь еще во власти кошмара, и голос слаб. — Не напраснуетесь... Подай сердечнос. Запить. — Когда давило в груди и напал страх — будто смерть вблизи, — все казалось чепухой: радость жены, Лялькины успехи, неудачи — все, все. И только одно — сад. — Попроси Григория зайти.

— Петраша, гости там, чай пьют, — зашептала Ирина Игнатьевна, наклоняясь низко к лицу Петра Александровича. Зачем-то улыбалась впотьмах, глупо. — Драматург, которого пьесу играли...

— Ну и шут с ним, какая важность. Позови тотчас! Скажи — срочно прошу!

Через короткое время вошел, распахнув дверь настежь, Григорий, сел осторожно на стул рядом с диваном. Покачивался. Сильный запах вина распространился по комнате.

— Гриша, вот какое, значит, дело... — начал Петр Александрович, стараясь придать голосу строгую деловитость. Объяснил, что нельзя терять ни дня, ни часа. Насчет газеты. Прямо завтра с утра: позвонить куда нужно, написать, свезти, безобразия вопиющее, вредительство высшей марки, рассказать кому — не поверят, что на тридцать пятом году Советской власти такое творят.

Григорий сидел, опустив голову, уставив локти в колени, и кивал, по-нурясь:

— Да... Да... Да... — Потом вдруг поднял голову и спросил: — Петр Саньч, а почему меня не поздравляете?

— С чем?

— А с премьерой моей незаконной супруги Людмилы Петровны Тепневой.

— А, ну что ж, пожалуйста! Я тебя поздравляю.

— Вы меня должны поздравлять.— Грозил пальцем.— Меня все поздравляют, а я всех благодарю. Вот сейчас в «Советской» все руку жали, говорили: «Мы вас поздравляем, мой милый». Или так: «Поздравляем от души, любезный». А я благодарил. Спасибо, благодарю вас. Поэтому что подарить необходимо! Человечество погибает от недостатка благодарности — Благодарности в высшем смысле, с большой буквы...

Ирина Игнатьевна, стоявшая в дверях за спиной зятя, делала знаки: прогоняй, пьян — не видишь? По дерганым движениям, глупой улыбке — среди ночи вздумала, дура, чаем поить! — увидел, что и сама матушка хороша.

— Ладно, уходи...— сказал слабым голосом.— Завтра. Поздравляю тебя.

— Спасибо, спасибо. Искренне вами тронут...— шептал Григорий, шаркая и кланяясь низко, как шут. Когда бывал пьян, всегда вот так шептал и паясничал.

Ирина Игнатьевна погасила свет в коридоре. Через полминуты Григорий снова зажег, вперся в комнату, зашептал:

— Между прочим, драматург будет здесь ночевать. Поскольку час поздний. С женой, говорит, ссорюсь, не хочу домой.

— Что ж, пускай,— сказал Петр Александрович.— Место позволяет. Товарищ Смолянов?

— Товарищ Смолянов. Должен сказать, человек в высшей степени загадочный. У меня есть подозрение, по некоторым данным, мельчайшим наблюдениям...— Наклонился и шепнул: — Достоевского не читал!

— Ну? — спросил Петр Александрович, как бы испугавшись.

— Не читал. Ей-богу! Тссс...— Гриша смеялся беззвучно, махая руками над лежащим Петром Александровичем.— И с Толстым, по-моему, не все в порядке... Кстати, у Достоевского в «Бесах» есть такая мысль — человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Это очень глубоко, Петр Саныч! Понимаете ли, Прыжов Иван Гаврилович... Я вам не рассказывал? Ну, не важно. Отставной коллежский регистратор. Там целая история. Не важно, не важно. Так вот жизнь этого Прыжова была невероятно мучительной, цепь несчастий, и все-таки, понимаете ли, Петр Саныч, у него было и счастье. Какое же, спросите вы? А его жена, Ольга Григорьевна Мартос... Самоотверженная женщина... Ведь намучилась с ним в Москве, всегда без гроша, вечные неудачи, пьяница страшный, неизлечимый, и потом еще — в Сибирь за ним... Вот-с какие пироги...— Григорий стоял, покачиваясь, вытирая щеки ладонью, минуту целую стоял вот так молча, потом ушел на цыпочках.

На другой день Ляля привела драматурга товарища Смолянова к отцу знакомиться. Пока Ляля с матерью и тетей Томой, приехавшей в субботу из Александрова нарочно на Лялину премьеру, готовили завтрак, а Григорий бегал в «церковный» — так называли магазин рядом с церковью, самый близкий, через парк бежать,— за бутылочкой для поправки, Петр Александрович и Николай Демьянович разговаривали. Драматург оказался мужчина славный, добродушный. Мучился сильно: ждал поправки. Разговаривали насчет рыбалки. Тот был любитель. Держал у себя дома, под Саратовом, моторную лодку со снастью, каждое лето скрывался туда от невозможной московской сутолоки на месяц, на полтора. Говорил, что осетры по пуду — не редкость. А отец его, рыбопромышленник, владевший когда-то, при царе Горохе, двумя баркасами-«астраханками». рассказывал, что в его времена и по пять пудов лови-

лись. Незаметно сползли на сад. Петр Александрович всю боль выложил. Николай Демьянович обещал помочь, обговорить кое с кем и, если бы, сказал, был тут телефон, сию минуту позвонил бы и кое-что выяснил.

Петр Александрович воскрылился, звал жену, требовал, чтобы гостя вели в сад, все показывали. Заколотилось в груди: вдруг и правда поможет? Ведь человек большой. Захочет — сделает! Велел достать папки с бумагами, разложил на одеяле все свои записочки, заявления, телеграммы, челобитные.

— А вот доктор наук Стружанинов... Вот тоже видный товарищ: «С возмущением узнав...»

Тут вернулся Григорий с бутылкой, сели завтракать, Лялечка — за гитару, и вдруг стук в окно. Входят: Куртов, сосед, в форме старшего лейтенанта милиции, другой сосед — пенсионер Беспалов и Халидова, теть Роза, школьная уборщица. С этой Розой у Ирины Игнатьевны были раньше отличные отношения: та приходила стирать, на рынок бегала, иной раз и цветочки продаст, а Ирина Игнатьевна ее жалела, детишкам когда чего подбрасывала, у той четверо, муж погиб. Но за последний год стали, конечно, врагами.

Опять начался шум — Халидова верещала тонким голосом, понять невозможно, пенсионер бубнил и кулаком размахивал. Ляля пыталась их урезонить и прекратить скандал — при госте-то, срам! — но те напирали сильнее, трясли какой-то бумагой от районного архитектора. Петр Александрович его знал: никудышный человек, чего хочешь подпишет.

Прилег на диван, молчал — прислушивался, как сердце колотится. Руки немели, и по всему телу текла дурная, зыбкая немота.

Ирина Игнатьевна вдруг закричала:

— Что вы делаете, подлецы! Больной человек лежит — не видите? Сволочи!

«Зачем ругаться? — думал Петр Александрович почти равнодушно. — Не нужно это. Бесполезно же...»

Куртов Митька гудел что-то насчет райсобеса. «Пенсию отнять... Цветами спекулируют...»

— Дурак ты, Митька, — выговорил так тихо, что, наверно, не услышал никто.

Николай Демьянович вдруг побагровел, щеки затряслись, и — ка-ак грохнет по столу:

— Сейчас же все из комнаты вон! Вон, вон, вон! Немедленно, сию минуту! А о вашем поведении, товарищ старший лейтенант, — гыкал пальцем в обомлевшего Куртова, — буду разговаривать с Иваном Григорьевичем! Какое отделение? Район Ленинградский?

Вытолкались из комнаты, шум длился за стеной. Ирина Игнатьевна присела рядом с диваном, лицо закрыла, заплакала:

— Такой день, Лялечкин, подлецы... Петраша, а если — ну их к лешему? Жизнь-то дороже...

Петр Александрович молчал, прислушивался. Нехорошо было. Все внутри сделалось зыбким, непрочным, не хотелось ни говорить, ни двигаться, потому что то, что давило, могло разорвать непрочность и уже разрывало, боль начиналась. Не где-то в одном месте, в сердце или в середине груди, а повсюду, во всем теле, одна громадная боль. Вернулся драматург, говорил: «Мы их доведем до ума! Ерунда, не волнуйтесь!» Гриша кричал высоким голосом во дворе. И без того лютая боль с каждой секундой жгла сильнее. Через силу проговорил:

— Доктора вызывайте, что ли...

...Летом был Ленинград впервые в жизни, прогулки, «Астория», джаз, настоящий, откуда-то из Китая, танцевать все равно с кем, до закрытия, Николай Демьянович был тяжел, тяжело напивался, ночью — врача, сердце разрывалось от жалости к одному и другому, кто остался в Мо-

ске, тому — кожаное пальто в комиссионном на Невском, ночной плач, убегание на Башиловку, в театре все переменялось: новый сезон начался с высшей ставки, «Игнат Тимофеевич» шел на премию, Николай Демьянович купил автомобиль, переехал на новую квартиру, холстяной мешок на сундуке в прихожей распухал от писем, особенно много было от солдат, после того как Лялин портрет напечатали на обложке журнала, Смурный заискивал, в подругах проступало скрытое, самое плохое, некоторые исчезли, не могли пережить, а бедный отец маялся в Боткинской, снова попал туда в конце осени, третий инфаркт.

Опять был декабрь, снег. Но совсем другой декабрь, другой снег. Ляля вышла на улицу из больничного двора — сидела у отца долго, отнесла мандарины, новую книгу «Лунный камень», за которой все гонялись, сунула пятьдесят рублей старушке, чтоб лучше смотрела, — и медленно шла по темноватому, окутанному морозным дымом переулку, ее обгоняли люди с авоськами, свертками, бежавшие к трамваям, а она шла не торопясь, ее ждала машина, и впервые почему-то здесь, после больницы, в миг усталости и печали из-за отца, вдруг ощутила себя внове, неиспытанно и спокойно: богатой женщиной.

Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как больничный забор, а она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается богатой женщине. Ощущение было многослойное, вовсе не означало, что в Лялиной сумочке много денег, — как раз денег не было, быстро тратились, — означало разное; то, например, что на морозе Ляле тепло: впервые. может быть, в жизни, в парниковой цигейковой роскоши, пахнущей так свежо и чудесно, она не испытывала страха перед морозом. Означало также спокойствие в главном, без чего нет жизни, ведь теперь уже никто не посмеет ничего плохого сказать и даже подумать, она доказала, это признано, достаточно посмотреть, как вытягиваются лица актрис, когда она входит в репетиционное фойе или когда, когда, когда, когда; в это ощущение входило и то, что она нравится, любима, из-за нее мучаются, и то, что она могла купить то, что раньше казалось недоступным, например китайский чайный сервиз, и вечерами могла есть то, что любит — цыпленка «табака», сыр «сулугуни», — пить красное вино, и — новые удивительные знакомства.

За премьерой следовала другая, потом радио, потом приглашение на «Мосфильм», рецензия, статья, портрет, повышение оклада, обещание новой квартиры, выдвижение на конференцию, на прием, на премию, и на Сретенке в меховом магазине, когда искала шапку для Гриши, директор магазина, пожилая дама в очках, с пятнами диатеза на подбородке, внезапно покраснев, спросила:

— Простите, вы не из Драматического театра? Ваша фамилия Телепнева?

Шапка была принесена из-за кулис магазина, завернутая в газету, чтобы не раздражать очередь. Когда вышли на улицу с покупкой, Гриша пробормотал с хохотком:

— Черт возьми, потрясающая известность! Даже как-то неловко ходить с вами рядом, мадам...

Да, да, неловко. Ляля чувствовала, как он съезжился, когда ее известность тыкала его в бок, в спину. Он и радовался, конечно, ликовал втайне, даже плакал однажды — кто-то видел его вытирающим глаза на концерте, когда она пела песни Евдокии из «Ивана Тимофеевича», эти песни стали популярны, она теперь часто выступала в концертах, даже выезжала в другие города, — но внутри что-то точило его непобедимо. Ведь его собственные дела не продвинулись ни на шаг, ни на сантиметр! Это было новым страданием, мешавшим тому, чтобы ощущение богатой женщины стало подлинным счастьем и, может быть, даже бла-

женством. До блаженства было не так-то далеко. Но вот — чужое, родное страдание мешало. Мешала еще мать с ее нервами, похудением, ежедневным трепетом за отца, и мешал отец, судьба которого оставалась смутной: то казалось, что выкарабкивается, то опять надвигался ужас.

Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки — раньше только поглядывала на улице, как дамы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля! а теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам, — юркнула довольно проворно на заднее сиденье. Смолянов спросил об отце. Шофер проехал Белорусский, площадь Маяковского, свернул по Садовой налево.

— Куда мы едем? — спросила Ляля.

— Будем ужинать у Александра Васильевича. Он пригласил.

Александр Васильевич Агабеков, друг Николая Демьяновича, жил у Курского. Чем занимался Александр Васильевич, Ляля в точности не знала, какой-то солидный работник. В гостях у него Ляля еще не бывала. И не хотелось туда. Вообще — никуда. Томило: Гриша где-то болтается, жалко ожесточаясь, в библиотеке, у приятеля или дома кружит, как волк, по комнате, ждет. Ну что сделать? Как помочь человеку? Ведь человек хороший, способный. Прекрасный человек! Редких качеств, настоящий интеллигент — отлично знает историю, литературу, польский язык выучил самостоятельно, чтоб читать газеты. Вообще он талантливый во всем, рисует очень хорошо, любит музыку. Но какое-то невезение. И — бесплодно утекает жизнь.

Николай Демьянович слушал холодновато.

— Почвы у него нет, вот беда, — сказал вдруг, и Ляля вспомнила, что он уже говорил так однажды. Именно такими словами: почва, беда.

Летом в парке Горького была вечером какая-то встреча со зрителями на открытой эстраде, сцены из спектакля, Смолянов выступал, почему-то и Гриша там оказался, и потом ужинали в «Поплавке». Был еще Сергей Леонидович, кто-то из актеров. Возник спор, что-то высокоумное, Гриша был раздражен, цеплялся, и Смолянов сказал: «Ваша беда в том...» Конечно, так не следовало, неосторожность. Гриша воспламенился и стал кричать: «Какая почва? О чем речь? Черноземы? Подзолы? Фекалии? Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!» И зачем-то стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин, отец участвовал в первой мировой и в гражданской войнах, хотя был человек мирный, до революции статистик, потом экономист, и все это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть — Россия, черт бы вас подрал с вашими вывороченными мозгами! Было неприятно, похоже на ссору, Сергей Леонидович успокаивал и говорил, что Николай Демьянович имел в виду, по-видимому, жизненный опыт, что Гриша еще неискушен, молод, но Смолянов в пьяном упорстве бубнил свое: «Нет, почва непременно, обязательно...» Гриша сказал ему что-то злое. Но тут спасла неожиданность: за соседним столом разгорелась вдруг зверская драка, примчалась милиция. Когда вышли на улицу, о «почве» уже не говорили.

— Какая там почва! — сказала Ляля. — Помочь надо человеку.

Николай Демьянович помолчал.

— А если в штат куда-нибудь? Нелегко, правда, но — попробовать...

— Нет! Ты же знаешь, он очень гордый, ранимый...

— Место можно найти приличное.

— Нет, Коля, ему нужно помочь в творчестве. Где-то подтолкнуть, подать руку, а дальше пойдет сам. Доброе слово хотя бы...

Лялин голос слегка дрожал. Никогда и ни о чем она Николая Демьяновича вот прямо так не просила, если он что и делал, то—сам, догадывался. А теперь впервые — просила. И сразу стало не по себе, потому что он как-то напрягся. А ведь он добрый. Ляля знала, что он помогал многим, особенно землякам, молодежи, людям бедным, незадачливым; знала, что не мог оставить жену, хотя не любил ее, терпел ее вздорность, но — не мог, жалел, она психически неуравновешенна.

Но тут, с Гришей, другое. Ляля предчувствовала, что будет натуга, и шла на это, на неприятное. Ту вспышку в «Поплавке» он, наверное, не забыл, но никогда, ни разу, не говорил Ляле ничего. Только однажды довольно робко заметил: «Не понимаю, как ты можешь жить с таким человечком?» Ляля оскорбилась. Ну нет, таких штук она не потерпит! Гриша никакой не человечек, он человек в настоящем и большом смысле. «А ты как можешь жить со своей истеричкой?» Оправдывался: «Марта не истеричка, она больная женщина. И у меня не осталось к ней никакого чувства, кроме, может, чувства долга и боязни нанести смертельную рану. А вот ты от своего Гриши никак не отлипнешь». И это было правдой. Зачем отрицать? Гриша — это Гриша. Как у Чехова где-то: «Жена есть жена». Самое странное, что Гриша даже не «жена», то есть не муж, они не расписаны, у Гриши есть своя комната на Башиловке, куда он регулярно сбегает после ссор с Лялей или в дни особого угнетения духа; он не кормит ее, как полагается мужу, и не одевает, и все-таки — ведь непонятно же, невозможно объяснить! — все-таки отодрать от души нету сил. Прикипел, вплавился со всеми своими детскими бедами, корями, scarлатинами, картавостью, сыпью, потницей...

Николай Демьянович положил свою руку на Лялину.

— Ладно! Подумаем...

У Агабекова были гости. В громадной гостиной — Ляля таких больших комнат никогда и не видела, метров сорок — за столом под люстрой, как в театре, сидели несколько мужчин и женщин, ужин был в разгаре, еды много, отборной и, сразу видно, не домашнего приготовления, а из ресторана. Улучив момент, Николай Демьянович шепнул:

— Забыл сказать. У его папаши день рождения...

Во главе стола сидел старичок с необыкновенно розовым, глянцеви-тым, как бы муляжным личиком, в черной черкеске. Поднимались тосты, произносились речи.

Одна дама с внезапным энтузиазмом подняла тост «за присутствующую здесь, среди нас, замечательную представительницу...». Мужчины смотрели восторженно:

— Людмила Петровна, за вас! До дна! Все пьют за Людмилу Петровну!

Кто-то крикнул:

— Предупреждаю, кто не выпьет до дна за Людмилу Петровну...

Волновались, спешили чокнуться, излучали радостную преданность и даже, пожалуй, преклонение, и хотя Ляля догадывалась, что — пьяный вздор, большинство никогда не видели ее на сцене и, наверное, не слышали имени, а все равно было приятно, даже очень. Появилась гитара. Ляля стала петь — сначала без желания, очень уж просили, и Николай Демьянович, сжав ее колено под столом, сказал тихо: «Прошу не отказываться», — но потом, выпив рюмку-другую вина, сама разохотилась и пела с удовольствием «Среди миров, в мерцании светил», цыганские и любимую с детства, которой мама научила: «По улицам пыль подымая». Александр Васильевич смотрел на Лялю в упор, не мигая. Взгляд был странный, направлен на Лялин рот, и от этого — от того, что не в глаза смотрел, а на рот, поющий — было неприятно. Что-то неживое было во взгляде лобастого человека с усиками, все больше стекленело, стекленело и превратилось в совершеннейшее холодное стекло, даже страшно

на миг, но потом — веки мигнули, стеклянность исчезла. Грузины голосили по-своему, очень красиво. Ляля пыталась аккомпанировать. Один из гостей вдруг вскочил и захлопал в ладоши.

Будем пэть, будем пэть,
Будем вэ-сэ-литься!..

Все подхватили, захопали, переместились в другую комнату, потащили Лялю — уже немного кружилась голова, хотелось дурачиться и быть, уж коль на то пошло, настоящей царицей бала! — и она шлепнулась с гитарой на пол, на медвежью шкуру, и запела-заорала от души, перекрывая музыку радиолы:

Хас-Булат ма-ла-дой!..
Бедна сакля твоя!

И отчего напало такое веселье? «Хас-Булата» пели дома. Отец басом, а дядя Миша, муж тети Жени, изо всей мочи старался высоким-высоким голосом. Когда через полчаса вернулась в большую комнату с люстрой — что-то вдруг больно кольнуло, точно повернулось неудачно больное ребро, а это была лишь мысль о Грише, — за столом сидели одни мужчины, спорили. Николая Демьяновича не было. Сказали, уехал за товарищем, скоро приедет. Ляля прислушалась — что-то о политике, насчет американского президента, Германии, Югославии. Все это Лялю совсем не интересовало, было скучно. Прошло часа два.

Александр Васильевич и Ляля сидели за маленьким столиком в кабинете, над головами в позолоченном бра три свечи. Было жарко от раскаленных батарей, вина; Александр Васильевич расслабил галстук и растегнул верхнюю пуговицу белой рубашки. Разговаривали о музыке. В детстве Ляля три года посещала музыкальную школу, у нее находили абсолютный слух и хороший голос, но нужно было купить пианино, а у отца никак не собирались деньги, все тратил на сад, удалось купить только перед самой войной, но в сорок третьем году, когда было голодно, продали. Правда, мама купила тогда гитару. Александр Васильевич сказал, что очень любит итальянское пение и у него много пластинок, немецких, с записями Карузо, Джильи, Тотти дель Монте. Ляля загорелась: послушать! Пошли в другую комнату, сели на диван. Гостей никого не осталось, они — двое. Пластинки были настолько прекрасны, что Ляля обо всем забыла: о том, что дома ждут, что Николай Демьянович куда-то провалился и что Александр Васильевич раньше не очень-то нравился, подозревала в нем бабника. Никаких улик, а так — подсознательно. Глупость: усики и чересчур деликатное обхождение, он как будто даже остерегался до Ляли пальцем дотронуться. А бабников Ляля терпеть не могла.

Когда подошло к часу ночи, Ляля сильно заволновалась:

— Где же Николай Демьянович? А вдруг несчастье?

— Коля приедет, — твердо обещал Александр Васильевич. — Приедет обязательно.

— Но я вас замучила!

— Обо мне не беспокойтесь, ночами как раз не сплю, работаю. А зеваю — это сердечное, мотор стучит. Значит, нужно принять. — Он вынул из кармана стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько крохотных красных шариков.

— Принести воды?

— Пожалуйста. Если не затруднит...

Она побежала на кухню, зажгла свет, кухня оказалась огромной комнатой, вроде столовой — за занавеской кто-то храпел, — налила в чашку остывшую воду из чайника. Александр Васильевич лежал на диване, полузакрыв глаза. Лицо его, недавно румяное от вина, стало блед-

но, осунулось. Все это было как-то нехорошо. Приняв лекарство, он взял Лялину руку.

— Не уходите, Людмила Петровна.

— Я не уйду,— сказала Ляля. Сама подумала: «Куда ж уходить? Второй час. На метро опоздала. И он какой-то плохой, и там — Гриша...»

— Сядьте ближе, рядом. Вот так. Здесь, пожалуйста...— Не отпустил ее руку, держал крепко. Было похоже, что боится ее отпустить, как больной — сиделку, но почему-то жалости к нему не было. Вдруг — звонок телефона в большой комнате. Николай Демьянович слабым голосом, едва слышно сквозь треск — из автомата — сообщил, что застряли в Замоскворечье, сели в кювет, машин нет, никто не вытащит до утра.

— Ты уж меня извини, переночуй там, у Александра Васильевича, а утром я тебя заберу. Только веди себя хорошо. Слышишь? Веди себя хорошо!

— А ты здоров? — кричала испуганно.

— Да, да! Здоров! Ты меня извини!

Непонятно было, зачем извиняется.

— Николай Демьянович не придет,— сказала Ляля, входя в комнату, где тот лежал на диване.— Я побегу, Александр Васильевич? Может, успею на троллейбус. До свиданья! Где моя сумочка?

Вдруг нахлынуло — уйти немедленно, не оставаться больше ни секунды. Так бывало: непонятно отчего, и — никакой силой не удержать. Хозяин дома пытался уговорить, даже вскочил с дивана с неожиданной живостью. Куда? Что случилось? Не отдавал сумочку. Нет, нет, должна идти непременно. Но почти два часа ночи! Ничего, есть такси. А если вызвать домой? Нет, нет. Нет, нет, нет! Нет, исключено, совершенно невозможно. Сумочку — на память. Бегу, бегу, извините, большое спасибо. Да почему же такой пожар? В чем дело, собственно?

Смотрел с каким-то странным, напыщенным удивлением, почти высокомерно.

— Что вам сказал Смолянов?

— Сказал, чтоб вела себя хорошо. Что это значит, как вы думаете?

— Это значит... я думаю...— Схватил ее за руки, потянул.— Он болван! Зачем он вам нужен?

И тут — догадка ударила, оледенила. Всегда у нее так: сначала чувство, инстинкт, а потом догадка. В первую секунду сама себе не поверила, но затем — да, возможно, звонок не случайный. Потому что зачем же тогда извинялся? Человек, когда пьян, не умеет хитрить. Невольно проболтался: просил прощения.

— Нам надо о многом поговорить. Мы не успели...— Лобастый человек говорил теперь очень строго и крепко держал Лялины руки, она вырывала их, но пока еще не изо всей силы, потому что он какой-то больной, и она боялась. Он говорил об Академическом театре, о том, что он ее устроит, переведет, назначит, повысит, предоставит любые концерты, поездки, и что в противном случае, она должна понять, женщина с такими губами... Ну нет уж! Этим способом от нее никто ничего не добивался. Спросила вдруг ласково:

— Скажите, а Николай Демьянович очень вас боится?

— Что? Еще бы!

Ляля засмеялась. Спокойно, спокойно, отдохните, вам вредно. Тоска и презрение к тому, вралою, вдруг превратившемуся в жалкое, нечеловеческое отродье. Про себя клятвенно: ни одного слова, ни взгляда в его сторону. Летела сквозь метель по громадной пустой Садовой. Куда? Пробежав долго, вдруг поняла, что бежит без смысла, надо к центру, метро закрыто.

Повернула к Покровке, чтобы дойти до бульваров, и — к Маше, на Чистые пруды. Через полчаса, измучившись, брела по бульвару, тихому и голому, как лес: ни бродяг, ни милиционеров, одни скамейки в толстой снеговой броне, и думала со слезами: «Господи, какая дура! На что трачу жизнь... А Гриша, родной...»

Ребров понемногу зарабатывал ответами на письма в двух редакциях и очерками для радио. Кроме того, печатал иногда мелкие исторические заметки в тонких журналах. Все это был мизер, чтобы как-то держаться на поверхности. В лучшие времена выходило около тысячи в месяц. Иногда набегало по семьсот, по триста, а то и вовсе — пшик. Теперь, когда Ляля стала приносить большую получку и возникали неожиданные гонорары, жизнь вроде упрочилась, но сделалась отчего-то еще тревожнее и нуднее. Раньше — нету денег, ну и нет. Обойдешься чашкой кофе, не барин. А теперь Ляля может вынуть и тридцатку и сотню, но ведь — просить. И тут еще Ирина Игнатьевна портила кровь. Ей казалось, что он заставляет Лялю в погоне за рублем мотаться по концертам, выступлениям, то есть что он ее э к с п л у а т и р у е т.

И Ребров, ощущая эти тещины мысли — так прямо она их не высказывала, но давала понять, а иногда ему попадались ее послания к дочери, Ляля бросала их где попало, — чувствовал порой, что начинает Ирину Игнатьевну ненавидеть. Вечерами доносились ее жалобы Ляле: «Вошел в кухню и не поздоровался... Три раза просила наколоть дров...» Все это была нудность, невозможно терпеть. Рвался убежать на Башиловку, Ляля умоляла остаться, потому что тогда бы и ей пришлось ехать на Башиловку — что бывало и раньше, — но бросить мать одну было нельзя. Умолять-то умоляла, а вот приструнить мать по-настоящему никогда не хватало духу.

Молчал, терпел, старался пораньше удрать в библиотеку, попозже вернуться.

В тот день он, как назло, вернулся домой рано. Был расстроен: в одной из редакций, где третий год исправно давали отвечать на письма, вдруг сказали, что новое начальство пересматривает список внештатников и он под вопросом. Почему? С какой стати? Знакомый человек смущенно пожимал плечами:

— Ничего не понимаю. Я думаю, через какое-то время ситуация прояснится...

Знакомая дама иронически заметила:

— Кажется, вы сейчас не так уж нуждаетесь? Ваша жена процветает? А есть люди, для которых эти письма — единственный способ заработать кусок хлеба.

Надо бы проявить настойчивость, пожаловаться, поскулить, там были колебания, но старая боязнь — показаться смешным, жалким просителем, и — уступил. Конечно, конечно, есть люди более достойные, какой разговор? Все правильно. Новость была на редкость неприятной, но он виду не подал, даже пошутил, рассказал анекдот и ушел в гордом спокойствии. Бюджет сократился на треть. Никого не хотелось видеть, только — домой, к Ляльке. Она одна могла успокоить, сказать какую-нибудь утешительную чепуху.

Ляля должна была навестить в шесть часов отца в больнице и прийти около семи домой, спектакля в этот день не было. Она не пришла ни в семь, ни в восемь, ни в десять. Теща начала психовать, что, как всегда, выливалось в формы бессмысленных метаний: то она решала зачем-то бежать к метро, то звонить из автомата в Боткинскую, то прямо ехать туда. Ребров насилу уговорил: будоражить отца, какая глупость! В доме жила уже несколько дней Тамара Игнатьевна, тетя Тома из Александрова, приехавшая, чтоб немного помочь теще по хозяйству. Эта тихая.

длинная, нескладная старуха с несчастной судьбой — все ее близкие, муж и дети, погибли кто где — хотя прописана была постоянно в Александрове, в ста километрах, но подолгу жила в Москве у сестер Жени, Вероники, у брата Коли в Измайлове или, реже всего, здесь, у тещи. Была она домашняя портниха, неважная, теща говорила — «кундепщица», выучилась, чтоб хоть чем-то жить, и часто оставалась неделями у вовсе чужих людей. Теща свою Тамару не жаловала. Лялька и Петр Александрович относились к ней добрее, чем родная сестра, а та под разными предлогами старалась от сестринского пребывания и ее услуг отделяться. Предлог чаще всего был такой — боязнь штрафа. За то, что ночует без прописки. А при том, что сосед-милиционер полон злобы к Петру Александровичу, такой штраф может легко случиться.

Но истина-то была другая — глупая старушечья ревность с какой-нибудь подоплекой этак в четверть века. Когда Петр Александрович оказался второй раз в больнице, теща сама написала тете Томе и попросила приехать. Все, что копилось в Ирине Игнатьевне — страх за мужа, раздражение зятем, тревоги за дочь, мучения язвой, — падало громом на тихую долговязую тетю Тому. И та сносила, терпела, прощала, успокаивала. Сейчас она тоже пыталась Ирину Игнатьевну утихомирить и уж, во всяком случае, отговорить от поездки в Боткинскую, за что получила жестокий удар:

— Ты давно без мужа и без детей, ты меня не можешь понять!

Однако в одиннадцатом часу Ребров сам занервничал, побежал к автомату и позвонил Лялиной подруге Маше, которой Ляля иногда передавала сведения для него — это был способ связи. Маша оказалась дома. Нет, никто не звонил. Может быть вот что — возник неожиданный концерт? Кажется, собирались на какой-то концерт в Красногорск.

— А ты почему не поехала? — спросил Ребров подозрительно, хотя от души чуть отлегло.

— Концерт-то не наш, мосэстрадовский, — объяснила Маша. — Но я точно не знаю. Это предположение.

Ребров рассказал теще про концерт, и она как будто успокоилась. Сели пить чай. Ни в двенадцать, ни в час Ляля не явилась. Поездки от Мосэстрады обычно делались на автобусе, и Лялю привозили домой тоже автобусом. Тем не менее в половине первого почти теща схватила шубу, закуталась в платок и побежала на Сокол, к метро — встречать. Кого она могла встретить? Ребров пытался доказать, что — нелепость, пустая трата сил. Ирина Игнатьевна, однако, была уже в том состоянии полубезумия, когда доводы логики бессильны.

— Конечно, идти ночью на улицу не очень приятно... Лучше сидеть в теплом доме... — бормотала она.

— Да я могу пойти вместо вас, пожалуйста. Только какой смысл?

— Смысл, смысл! Вам все смысл нужен. А того не можете понять, что у человека сердце горит, я себе места не нахожу...

Кандидка залаял тоненько, визгливо-радостно во дворе: значит, отвязывает, берет с собой. Беспokoиться нечего, Кандидка перервет любых обидчиков, но во всей этой сцене — демонстративном, бессмысленном убегании — было что-то оскорбляющее. Не для того побежала на Сокол, чтобы Лялю встречать, и сама на это не надеялась, а для того, чтоб оскорбить и обвинить. Чтобы сестра видела, какой Ребров ужасный, бесчувственный: остается дома, а старуха одна, в ночь... Но не мог же он только затем, чтобы что-то доказывать, совершать бессмысленные поступки!

Из комнаты Петра Александровича тихо вышла Тамара Игнатьевна. Вид у нее был виноватый. Шаркая валенками, ходила некоторое время по комнате, потом сказала:

— Хотела с ней пойти, она меня прогнала... Сердится за то, что за

вас вступилась... А что ж, у меня права голоса нет? Я что вижу, то и говорю...

Ребров сидел за столом, курил.

Долговязая старуха, продолжая шаркать вокруг, гудела жалобно: — Я не приживалка, не попрошайка какая-нибудь. У меня свой дом. У меня друзей пол-Москвы. Вот Михначева Наталья Алексеевна, генеральша, сколько меня умоляет, чтоб я у нее пожила, две телеграммы прислала. Я зачем приехала? Пожалела Ирину, она тут бесится без Петра, растерялась, рассиховалась, я же знаю — она того не испытывала, что мы испытали... И Ляльку жалко, хотелось помочь... А зачем же мне все это слушать? Я и то не умею, и это не понимаю. «И зачем ты к нему подлизываешься?» Это я к вам подлизываюсь! Ну скажите на милость — не дура? Зачем мне к вам подлизываться? Что вы мне — пенсию даете, шоколадом кормите?

— Ваша сестра любит людей унижать, — сказал Ребров.

— Верно, верно, Гриша, очень даже любит! Верно говорите. Еще в гимназии учились, за ней это было. Она Веронику, нашу младшую, заставила однажды мел есть — та ее умоляла об одной вещи, письмо показать... Ирину у нас в семье не очень... А вот видите: самая счастливая! У всех семьи порушились, что-нибудь да не так. У Женьки Михаил Абрамович — второй муж, первый до войны умер. У Вероники вовсе мужа нет, был какой-то пьяница, она его выгнала, про меня и говорить нечего. Да и у Коли — чего ж хорошего? Олимпиада такая жадная, корыстная. Маме век сократила. Нет, счастливых среди нас нету, одна Ирина, да и то, видите, судьба настигла... А что я сказала про вас? Ничего особенного. Я, говорю, всегда вашему Грише сочувствую, потому что он один как перст. Ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев, никого нет. Верно?

— Да, — сказал Ребров. — Но жалеть меня не нужно.

— Гриша, я вас не жалею, я только то говорю: можно ведь понимать? У тебя, говорю, Лялька, Петя, нас, таких-сяких родственников, целая деревня, а у него — кто?

— Не надо, не надо мне сочувствовать. Я в этом не заинтересован.

— А она мне: «Ты к нему подлизываешься!» То, что один, это еще не заслуга. Ты тоже, дескать, одна. Ну, я, конечно, не стала больше разговаривать — бог с тобой, думаю, жизнь тебя еще не учила, но научит. Да... — И вдруг, присев к столу под лампу, сразу осветившую все ее болезненное, изрытое многими годами, бедами, широтами лицо, странно соединявшее в себе лицо никчемной старухи и битого морскими ветрами моряка, сказала мягко и даже просительно: — А все же вы на нее не сердитесь, ладно? Знаете, какая Ирина была красивая! Сколько у нее было предложений в двадцать третьем году! Она была просто замечательная. Она же балерина. Училась у Полякова в студии на Бронной. Мы бегали всей оравой смотреть. Поляков предлагал уехать в Ригу. И не поехала, маму пожалела — отец наш как раз умер, у Коли были неприятности... Петя тогда уже появился, но никто не знал... Нет, из-за мамы, только из-за мамы... Я говорю — счастливая. А какое ж счастье? В земле, в навозе копать, картошку сажать, дрова пилить, колоть, как мужик. Вся родня говорила: продайте вы этот дом, сад, на шута это нужно в Москве, купите квартирку небольшую, удобную, в центре, будете жить по-человечески. Нет, Петя не может. Без сада ему не жизнь. Вот чего не отнимешь: она семье преданна. Ведь вся Иркина молодость, все ее надежды, таланты какие-никакие, но что-то ведь было, — все в землю ушло. Вот вам, Гриша, и счастье, жизнь кончается. А не дай бог с Петром Александровичем что? Не переживет она... Ой, такая она глупая, наивная, если рассказать...

Тамара Игнатьевна бормотала, Ребров прислушивался — ни собаки, ни голосов не было слышно. Он думал: как отвратительно должно быть

человеческое лицо, если его рассматривать в лупу, все поры, волоски, неровности кожи... А мы только и делаем что рассматриваем в лупу. Каждая минута, секунда — тысячекратное увеличение. А нужно все время видеть — годы, целое... Тогда бы не было ненависти. Нельзя ненавидеть женщину, родившую другую женщину — ту, без которой нет жизни. Это невозможно, ведь они одно целое, непрерывное. Они — как дерево с ветками. Боль нельзя разделить. Хотела быть балериной и прожила жалкую садово-огородную жизнь — ну и что же? Нельзя ненавидеть. Человек не замечает, как он превращается во что-то другое...

Ирина Игнатьевна вернулась через час и, узнав, что Ляля не приехала, зарыдала. Ребров тоже представлял себе разные страсти, бедствия, нападения. Ни о каком спанье не могло быть и речи, но и находиться в одной комнате с рыдающей тещей тоже не мог — поднялся наверх, в мансарду, пробовал читать, не читалось, лег на кровать, курил, томился, иногда сламывала дремота, несколько минут проходило в бреде, вдруг вскакивал, хватался за папиросы. В непонятное время возникла Ирина Игнатьевна — лицо вспухшее, волосы космами из-под платка — и с порога:

— Будь прокляты эти деньги! Всех денег не заработаешь! Зачем вы ее посылаете на заработки? Как вам не стыдно?

Что-то стало душить Реброва.

— Кто ее посылает?

— Вы! Есть ли у вас совесть? — И в глазах белых, слезящихся не злорада, а истинная вера в то, что говорит, и отчаяние перед ним, злодеем.

— Никто ее не посылает! Это вы... я!.. — заорал он, задыхаясь. — Вы разрушаете нашу жизнь! Вы, а не я! Вы! Вы!

— Эх вы, посылаете на заработки...

— Не врете! Уже разрушили нашу семью — да, да! Вы запрещаете Ляле со мной расписываться! Требуете, чтоб она делала аборт!

— А вы ей не муж. Зачем ей от вас детей?

— Нет, я муж, а вы не мать, потому что творите ей зло, одно зло!

Тут был снова приступ рыдания, крик сквозь слезы:

— Не смейте так говорить! Я люблю свою дочь больше жизни! — И аккуратно высморкавшись и вытерев губы: — Вы не муж, вы жалкий человек, и моя дочь с вами несчастна.

Он сбежал вниз, схватил пальто, шапку, сунул ноги в валенки и выскочил в сад. Кружил по снегу в потемках. Было гадкое чувство: страх перед собой, перед минутой ненависти, почти сумасшествия. Что произошло? Ведь только что думал о старухе спокойно. Он сходит с ума, превращается в злобное существо. Надо что-то делать. Попросить извинения, что ли? Не то: надо что-то делать с о б о й. В третьем часу, одеревенев от мороза, вернулся в дом, свалился на кровать. Утром приехала Ляля, румяная с холода, с каким-то жадным нетерпением страстно целовала Реброва, жалела мать:

— Боже мой, вы не спали! Бедные мои! Тетя Томочка, и ты не спала? Какая я негодница, как я вас мучила...

Теща слезливо:

— Ляля, зачем ты себя изнуряешь концертами?

— Я была вовсе не на концерте, глупейшим образом попала в один дом, Смолянов обещал заехать, сломалась машина, я шла пешком к Машке в два часа ночи, словом — кошмар...

— Ах, Лялечка!

Теща вздыхала, но было заметно, что она сразу успокоилась, услышав про Смолянова и про какой-то «один дом». Ребров чуял, о чем она мечтала.

Его сосала новая тревога — где она все-таки была? Не приставал ли кто? Опять возник Смолянов. И несмотря на тревогу, был счастлив от-

того, что она так истинно, горячо страдала из-за его страданий, целовала страстно, не постеснявшись матери, тетки. Ляля же, уловив, что между матерью и мужем натянутость — она улавливала это тут же, — спросила у Реброва, все ли в порядке. Они поднялись к себе в мансарду. Ребров сказал, что все нормально.

— Гриша, я тебя очень прошу! — зашептала Ляля внушительно. — Будь с мамой поласковой. Она же с ума сходит из-за папы...

— Ладно, — сказал Ребров.

Ляля сбросила платье, туфли, надела халат и легла. Морозный румянец спал, она лежала, закрыв глаза, побледневшая, с пятнами усталости на щеках.

— А где все-таки ты была? До Маши?

— Ой, Гриша, совершенно не интересно. В одном доме, там праздновали день рождения какого-то старика... Потом расскажу. Я хочу поспать.

— Тебе делали гнусные предложения?

— Конечно... Со всех сторон... — Она повернулась на бок, лицом к стене. — Разбуди меня через час, в половине двенадцатого придет машина. И накрой одеялом. Спасибо, Гришенька.

Ребров вышел. В коридоре столкнулся с тещей и совершенно неожиданно для себя сказал:

— Я вчера кричал что-то глупое, не обращайтесь внимания, Ирина Игнатьевна...

— Да, да, понимаю, мы оба нервничали. Виновата эта негодяйка. Гриша, сходите за молоком. Пожалуйста! — Умильная, просительная улыбка как ни в чем не бывало. — Она кашляет, я хочу дать горяченького...

Ребров легко побежал в магазин, принес две бутылки и поднялся наверх, в свой «кабинет».

Рядом с мансардой была совсем маленькая комнатка, щель с косым потолком, с одной стороны стенка комнаты, с другой скат крыши. Здесь, в «кабинете», помещались письменный стол и стул, больше ничего, но было окошко и можно работать. Ребров стал раскладывать свои папки, толстые тетради. Придвинул к себе одну с надписью на обложке «Наброски для п. о н.», что значило «Наброски для пьесы о народовольцах». Этим он занимался несколько последних недель, пожалуй, почти месяц, с тех пор как увлекся Николаем Васильевичем Клеточниковым, агентом народовольцев в Третьем отделении. О Клеточникове впервые узнал четыре года назад, когда в издательстве Академии наук вышло новое издание воспоминаний Морозова, шлиссельбуржца, потом читал о нем в других книгах, в «Былом», у Фигнер. Но идея пьесы возникла недавно и, как обычно, вдруг. Пылко начал работать. Так же пылко, как начинал когда-то повесть о декабристах, потом о восстании ссыльных поляков в Сибири, потом об Иване Прыжове, о поэте Михайлове. Все это, незаконченное, сумбурное, грудями черновиков лежало в бесчисленных папках, ожидая своего часа. Внезапно наступал такой день, когда прорезывался пока еще робкий, холодноватый, но обещающий великое оледенение вопрос: зачем? Дальше все происходило быстро. Мотор переставал стучать, надвигалась скука, и, кроме того, следовало срочно зарабатывать деньги на жизнь.

Он вынул тоненькую пачку бумаги — на первом листе рядом с несколькими чернильными абзацами были нарисованы лица с бакенбардами, шпаги, лошади. Ребров любил рисовать лошадей. Собственно, это была даже не любовь к лошадям и вовсе никакое не рисование, а рисовальная неврастения — косматые уродцы рождались сами, механически, стоило о чем-то задуматься.

Большое количество уродливых лошадок на исчерканном листе было

дурным знаком — оледенение близилось. Ах, он знал в чем дело! Сам виноват. Третьего дня разговаривал с одним знакомым, работником журнала, тот выслушал про Клеточникова и сказал: нет, вряд ли кого-то заинтересует. Ребров и сам догадывался. Но не надо было спрашивать. Бедный Николай Васильевич Клеточников, столоначальник департамента полиции, тихо скончавшийся от голодовки в Алексеевском равелине после тихой, героической и краткой жизни, на что мог рассчитывать через семьдесят лет? Он был болен неизлечимо, обречен. Обречен на забвение. Все это не имеет ровно никаких перспектив, дураку ясно. Надо было на что-то решаться. Куда-то, может быть, уехать. В другой город, черт знает куда. Но ведь Ляля никуда теперь не поедет, ее дела превосходны.

Ребровская рука с привычной, ловкой безнадежностью — и одновременно с какой-то жуткой быстротой — лепила лошадок, одну за другой, одну за другой...

Два года назад Реброву предложили Барнаул, место в газете, и Ляля списалась с барнаульским театром, совсем уж было собрались, но в последний момент теща нечеловеческими усилиями — слезами, демагогией — все-таки поломала. Но не в теще дело. Та страшилась одного: как бы Ребров и Ляля не соединились прочно, навсегда. А Барнаул значил — навсегда. Для Реброва тут была громадная жертва, утрата многого — третьего, научного зала, старых книг, букинистов, приятелей, тонких журнальчиков, где он печатал свои исторические завитушки (посылать почтой? сомнительно! да и брать откуда?), и, однако, он шел на все. В р е м е н н о, разумеется. Даже рвался к этим утратам, к тому, чтобы — перелом, все заново. Ведь жизнь велика! Да, теща протестовала изо всех сил, однако Ляля часто поступала вопреки матери, не такая уж примерная дочь — вопреки матери бросила музыкальную школу, вопреки матери крутила с поэтом, убежала к нему, жила у него и вопреки матери вот уж пять лет с ним, Ребровым. Значит, сама не могла решиться на Барнаул, на то, чтобы навсегда. Он должен был пройти испытательный срок, что-то доказывать, предоставить гарантии. Теща говорила об этом прямо, а Ляля — был убежден — мыслила о том же втайне, даже втайне от себя. Но ведь если думать глубже, до конца... Тогда, наверно, и не в Ляле дело, а в нем. Он сам не может сказать ни себе, ни ей: навсегда. Если думать до конца. Не потому, что не хватает любви, а потому, что слишком много ее, чересчур тесно, лодка перевернется, есть страх — в открытое море. Сначала должен сам себе что-то доказать. Предоставить себе самому гарантии. И она это чувствует: «Гриша, теперь, когда не надо думать о куске хлеба, ты можешь сидеть спокойно и работать...»

За завтраком Ляля, торопясь, рассказывала о посещении отца — к февралю, может быть, выпишут. Что-то о театре, кознях Смурного, о том, что у Сергея Леонидовича конфликт со Смоляновым, не хочет ставить его новую пьесу, Боб с ним заодно, но директор настаивает, Бобу грозит увольнение, а Смурный уже подбрасывает Смолянову хвост. Ирина Игнатьевна жадно спрашивала, Ребров молчал. В присутствии тещи не любил разговаривать с Лялей о театральных делах. Вдруг выввалось:

— И правильно, что не хочет ставить! Наконец-то опомнился.

— Почему правильно?

— Да потому, что ерунда. Никому это не нужно...

— Гриша, ты не прав и, прости меня, немного завидуешь. У Смолянова есть неплохие вещи, публика его принимает.

— Публика принимает! Критерий! Да выпусти на сцену двух дураков, пусть лупят друг друга по мордасам... Главное, я завидую! Чему завидовать? Его деньгам, что ли? Тогда уж завидовать модельному сапожнику Аркашке, нашему соседу.

— А знаете, Гриша,— вступила в разговор тетя Тома,— я с вами не согласна. Спектакль, где Лялечка играла, мне понравился. Я очень много смеялась.

— Не отвлекайте ее пустыми разговорами. Она ничего не успеет псесть,— сказала теща строго.

Ребров засмеялся.

— Нет, вы меня изумляете! Да неужто вы всю эту музыку принимаете всерьез? Так называемый успех, шум-гром?

Почему-то он распался, городил лишнее. Теща тут же спросила:

— А вы считаете — успеха нет?

— Гриша, а вот Смолянов добрее тебя. Ты о нем с такой злостью, а он хочет помочь.

— Во-первых, безо всякой злости. Во-вторых, кому помочь?

— Я с ним вчера говорила. Насчет тебя.

— Что насчет меня? — Он смотрел на нее в ошеломлении. Лицо ее стало краснеть. Ляля краснела редко, и если уж это случилось, то были, значит, причины.— Ну, о чем ты могла с ним говорить?

— Вообще, я сделала глупость. Человек он ненадежный, не нужно было...

— О чем, о чем?

— Ну, о том, чтобы как-то тебе помочь. В творчестве...

Он пробормотал: «Вот еще вздор... Как он может мне помочь?» — махнул рукой и вышел. Возмутила бестактность — говорить об этом при теще! Кроме того, хотелось немедленно, сию же минуту, спросить о Смолянове все — рассеять или укрепить подозрение, которое уже саднило занозой, но при старухах спрашивать было нельзя. Поэтому он поднялся в мансарду и ждал в нетерпении. Наконец Ляля взбежала по лестнице — театральная «Победа» стояла внизу у ворот,— стала, торопясь, собираться, бросать вещи в чемоданчик. Он спросил: как возник разговор? Ляля что-то ответила. Тогда схватил ее за плечи, стиснул, глядя твердо, с отчаянием:

— У тебя с ним роман!

Она секунду глядела с недоумением, лицо ее вновь начало краснеть.

— Конечно, как же иначе! Ведь он наш драматург, мы от него зависим. Нет, Гришенька, выяснилось, что он глуп. А, как ты знаешь, глупые люди для меня не существуют. Я побежала! Пока!

Ребров смотрел сверху, как цигейковая шуба мелькает в саду, на белом, среди голых деревьев. Ничего не разрешилось. Конечно, она шутила. Это было бы невероятно. Она знала, что тогда он не сможет жить.

Через час трамваем поехал на Башиловку. Нужно было взять несколько книг, которые давно уже оторвал от сердца, мысленно свыкся: продать. Сосед Канунов сказал, что приходили из домоуправления и строго требуют справку с места работы. Вплоть до выписки и выселения из Москвы. Сосед был человек неважнецкий. Комнату занял нахраписто после войны под маркой того, что инвалид. Комната раньше принадлежала хорошим людям, ребровским старинным соседям, которые замешкались в эвакуации, а этот вселился в одну из комнат — у тех было две,— и уж потом его ни кипятком, ни керосином не выморить.

Насчет справки повторил три раза, даже в комнату нагло просунулся.

— Сказали, Григорий Федорович, если до первого не представите, заявят в милицию.

— Хорошо, хорошо. Представлю.

— Так что вы побеспокойтесь. Ввиду того, что я назначен уполномоченным по подъезду.

— Очень приятно...— Ребров с некоторым усилием — сосед не давал — придвинул дверь, закрыл.

Минуту спустя был стук и голос соседа, гораздо более требовательный, резкий:

— И прошу окно заклеить! Вы где-то живете, неизвестно где, а квартиру морозите. Прошу безотлагательно утеплить.

«Иди к чертовой бабушке», — пробурчал Ребров неслышно, но вслух ничего не сказал. Раздражение и упадок сил — вот что он испытывал. Скандалить с такими, как Канунов, не нужно. Справку? Принесем. Заклеить окно? Пожалуйста. Не теряя времени стал рыться в шкафу и на полках, отыскивая книги для продажи. Попадались старые общие тетради, альбомы с бездарными школьными рисунками, а вот и учебник польского языка, самоучитель итальянского — господи, сколько благих начинаний! В книгах был хаос, пришлось потратить часа полтора, да он и отвлекался, всовывал нос в старье, в пыльные тетради и, забыв обо всем, наслаждался бессмысленным чтением, пока не нашлось нужное количество книг, рублей на сто двадцать. Наконец, набив портфель до отказа, вышел из дому, который когда-то был родным, единственным, но после смерти родителей, гибели брата и после того, как жизнь переломилась Лялей, сделался нежилым помещением, вроде сарая.

Справку для домоуправления два года давала как раз та редакция, где накануне его вычеркнули из списка внештатников. Искать выход. Причем срочно! Этот дядя доведет дело до конца. Кажется, нацелился на его комнату. Ну да, у него семья, тесно, а тут — видит — месяцами никто не живет. несправедливо же. В домоуправлении, может, и забыли про справку, в прошлом году приносил, но Канунов напомнит. Что он там делает, на мясокомбинате? Мастер, инженер, нормировщик, шут его знает. Делает колбасу. Чуть зазеваешься, и он тебя — хоп, в машину, и вылетаешь с другого конца рулончиком «любительской» в целлофане, с аккуратными хвостиками. Если бы студия взяла сценарий, а какой-нибудь театр принял пьесу — хотя бы на будущее, с переработкой, но с договором, — дело в шляпе, справка будет. А пока что он зеро, продавец воздуха. На заводе силикатного кирпича всегда нужны разнорабочие, и вам дадут справку. Он ведь даже не муж известной артистки. Канунов что-то почуял, недаром выспрашивал: «А почему бы вам не прописаться на площади жены? А вы член какого-нибудь творческого союза?»

Все ясно: Канунов приступил к действиям! Прошлый раз очень ласково пытался выяснить адрес Ляли для того будто бы, чтобы письма не залеживались: пересылать. Но Ребров угадал опасность и адреса не дал. Ничего, пусть залеживаются. А то явится однажды: «А мы, Григорий Федорович, насчет справочки!»

Ребров невольно оглянулся. Улица была пустынна, ветер мел снежок по тощему тротуарчику.

За книги в Проезде МХАТа, в четырнадцатом магазине, где был знакомый товаровед, выручил девяносто рублей и сразу поехал в редакцию на Гоголевский бульвар, где у него брали иногда «Исторические курьезы» и «Забытые факты». Там сказали, что справку дать не могут, потому что он не включен в официальный список. В другую редакцию, где лишь изредка получал работу — ответы на письма, — идти было вовсе бессмысленно.

Побрел в «Националь». И первый, на кого наткнулся в зале, был Шахов.

— А! — сказал Шахов будто бы дружелюбно. — Как ваши дела, вьюнош? Садитесь, примите стопаря. У вас какой-то вид замороженного судака.

— Дела мои прекрасны, — сказал Ребров, садясь и наливая в фужер коньяк из шаховского графинчика. Вел себя нахально, потому что

решил сразу же заказать двести.— Слушай, а ты мне что-то предлагал, помнишь?

— А? Помню. Что? Забыл...— Шахов захохотал, подмигивая. Красные в синеву щеки, набрякшие от коньяка, тряслись, глаза смотрели вроде пьяно, но одновременно как-то цепко, внимательно.— Сейчас обсудим. Ты поешь поплотней. Закажи карпа. Сегодня карп колоссальный...

Предложение было таково: есть один человек, который может помочь. Надо принести, показать все что есть, сценарий, пьесу, он скажет что, где, куда, почем. Человек крайне солидный, с большим опытом. Это что же — соавторство? Почему так уж обязательно сразу? Как говорится, будем посмотреть. Но вариант не исключается. Нет, исключается! К чертям собачьим! Кто же этот крайне солидный человек? Тихо, тихо, не нервничать, особенно с карпом. Слишком много костей.

— Как говорится, наше дело предложить, а ваше принять...

Со своими красными, всегда влажными глазами он похож на старого сеттера, большого конъюнктивитом. Ему лет под семьдесят, но все зовут его Костей. Кажется, он что-то делал еще в «Биржевых ведомостях». Мог что-то делать и семьдесят лет назад, и сто, и раньше. В «Голосе» у Краевского, в «Московских ведомостях» у Каткова — где угодно. Милый Костя, это уж наглость, неудобь глаголемая, ни в какие ворота! Почему же, позвольте узнать? А что вы о себе воображаете, вьюнош? Ну хорошо, закажите еще двести — и никакого разговора не было. В случае чего я здесь во вторник после шести. Что рассказываете супругу? Как дела у Сергея Леонидовича? Я слышал, у него неприятности? Конфликт с директором?

Было около трех. Ребров поехал в театр. Не был там очень давно, и не хотелось, не мог. Но теперь гнало последний раз толкнуться, потому что стоял на грани. Ведь настоящего ответа так и не получил. Обсуждения не было. И рукописи до сих пор там. И еще — увидеть Лялю, спросить немедленно. Как она скажет, так и будет.

Проскользнул пустой вестибюль, кинул пальто на крюк в гардеробе, и — к завлиту в кабинетик, набитый табачным дымом.

Маревин сидел на диване, притулясь небрежно, одну коротенькую ножку подогнув под себя, другой покачивая, рядом с ним на краю дивана чинно выпрямилась сухая кеглеобразная дама. Разговаривали вполголоса, у Маревина в руках четки. Всегда с четками, как правверный мусульманин. На Реброва взглянул устало, с удивлением.

— Позвольте, Гриша, мне думается, какой-то разговор у нас был. Разве нет? Мне думается, вы ошибаетесь...

— Ничего подобного! Через Лялю...

— Да был, был! Вы запомнили. По поводу «Высокого дома» — или как там у вас? — вы спрашивали по телефону... Я передал мнение Сергея Леонидовича...

— А где официальный письменный ответ?

— Я не понимаю, Григорий Федорович...— В черных глазах Маревина сгушалось неудовольствие. Под глазами темными нашлепками висли мешки, как с перепоя. И этот пигмей, жалкий язвенник, тут царь и бог! — На чем вы настаиваете? Обсуждение? Мы вас щадили... Зачем вам? Актеры, члены совета, люди бестактные, грубые, скажут какую-нибудь неприятность — вы полгода работать не сможете, руки опустятся. В ваших же интересах... Официальное письмо — пожалуйста, хоть сию минуту...

Кажется, издевательство. Но ведь, наверно, по делу. Издевательство-то по делу. Считает халтурщиком. Голову стягивало болью, будто кто-то все туже закручивал вокруг черепа полотенце. А, плевать!

И вдруг неузнаваемым, пошло-напористым голосом, каким должны разговаривать халтурщики:

— Борис Миронович, мне бы хотелось получить справку о том, что я ваш автор и работаю для театра над пьесой. Это необходимо...

Завонил телефон. Пигмей спустил ножки с дивана.

— ...для домоуправления.

Пока он бубнил в телефон, дама склонила кеглеобразный стан к Реброву, шепнула:

— У Бориса Мироновича — вы знаете? — большое горе. Жену похоронил. Он ведь один, детей нет, родных никого...

Маревин продолжал бубнить в телефон:

— Выписку, да, да, в понедельник, попрошу подготовить всю документацию, да, да, да, да, да, существенно важно...

— Отчего умерла? — поинтересовался Ребров.

— Она болела очень долго, — сказала дама, кивнув скорбно и почтительно, но в то же время с видом какого-то неизъяснимого уважения.

Маревин пытался понять, о какой справке идет речь. Потом, поняв, дал совет: Людмила Петровна должна переговорить с директором, ей не откажут. Он бы сам мог переговорить, но теперь это не имеет смысла. Он из театра уходит. Для него директор не сделает ничего, скорее наоборот, а если Людмила попросит — может сделать. Она как раз пользуется сейчас кредитом. Ребров содрогнулся от мысли: потерять человека, который единственный в мире. Остаться совсем одному. Он взглянул пронзительно в маленькое, померкшее — теперь видел, что померкшее, — лицо Маревина, который снова сел на диван и тербил четки, и понял, что этому человеку худо. Не из тех, кто может жить совсем один. Сухопарые дамы вроде сидящей тут, на диване, его не спасут.

«Боб скоро умрет! — вдруг подумал Ребров с испугом. — Без театра...»

— А вы, пожалуй, зайдите к Сергею Леонидовичу, — сказал Маревин. — Поговорите с ним. Зайдите, зайдите сейчас же! Он у себя, я знаю.

Реброву захотелось сказать: да бог с ними, с пьесами, справками. Все это мура, не стоит разговора. В самом деле мура. Можно как-то перекрутиться и жить дальше. Ведь жизнь велика. А стоит разговора другое: смерть, одиночество. Но это как раз то, о чем разговаривать невозможно. И он тряс руку Маревина, заглядывая в его глаза — в них была беззащитность и одновременно все же какое-то высокомерие — и, потоптавшись, помяв слабые пальцы, так ничего не сказал и ушел.

Зачем было идти к главному? Ведь все стало ясно, пользы не будет. Но он действовал теперь — как бывало с ним часто — во власти инерции, не в силах затормозить. Главный режиссер знал Реброва довольно хорошо как мужа Ляли, но серьезных разговоров никогда не было, все так, мимоходное, застольное, два слова на вокзале, в буфете, у вешалки... И вдруг этот тучный седой человек — ошеломительная неожиданность! — стал говорить Реброву все свое сокровенное, мучающее. Ребров ему что-то про справку, а тот — про то, что зол на весь мир, находится в опаснейшем, мизантропическом настроении, человечество себя не оправдало, мы погибнем от лицемерия — и что-то еще в таком духе. Он почти бегал по комнате, а Ребров стоял у окна, прижатый спиной к высокому подоконнику.

Оказывается, полчаса назад окончился худсовет и старик всем дал по мозгам — директору, заму, второму режиссеру! Вчера ночью, в бессонницу, вдруг отчетливо понял, что спасение в одном: говорить людям правду в глаза. Автору, конечно, донесут сегодня же, потому что сыр-

то бор разгорелся из-за него. Борис Миронович встал поперек третьей пьесы... А что такое третья смоляновская пьеса, это, знаете ли, особый разговор — действие происходит в Чикаго, Белграде и на Волго-Доне...

— Почему, собственно, я все это рассказываю? Наверное, потому, что ваша Людмила была единственным человеком на худсовете, кто пытался — пускай робко! — помочь мне спасти Боба.

Он поглядел на Реброва внимательно и вдруг продолжал иным голосом, сухо и неприязненно:

— Так, теперь поговорим о вас. Я предупредил, сегодня я беспощаден. Согласны? Идет? Так вот, читаю я ваши сочинения, читаю других молодых авторов — того же Смолянова — и удивляюсь: ну зачем люди себя мучают? Почему пишут о том, о чем имеют лишь слабое представление? Ведь у каждого из вас есть свое, кровное, что дорого до слез, как у Чехова — его дяди Вани, доктора Астровы, а у Горького, допустим, его мещане, Булычевы, Достигаевы. А у вас — кто? что? Вот сочинили о корейской войне. Корею вы не знаете, войны тамошней не нюхали и вообще на востоке дальше Казанского вокзала не бывали, а? Так ли?

— Это пьеса не вполне реалистическая... Скорее сказка, — пробормотал Ребров не в силах побороть улыбки, которая со стороны выглядела, наверное, дурацкой. — Даже, пожалуй, притча...

— Притча! Послушайте, это самонадеяннейшее заявление: я написал притчу! Притчи пишут народы, а не авторы. Теперь другая ваша пьеса, о строительстве университета. Терпите, терпите, такой уж день. Но ведь боже мой, друзья мои золотые, научитесь сначала писать о двухэтажных домишках, о бараках, о комнатках в цветочных обоях, где живут Петры Ивановичи и Марьи Ивановны, а потом уж кидайтесь на сорок пять этажей! Вот Смолянов, человек не без способностей, принес когда-то первую немудрящую пьеску о лесополосах, что-то было свеженькое, от жизни... Опыта еще мало, а замахивается... Я колебался, но убедили, упростили, тема нужная, поставил... Тут вступает в действие мифотворчество, возникает мифологема...

Ребров был не в силах сосредоточиться и вникнуть по-настоящему. Что-то о Смолянове, невероятно длинное, сложное, накипевшее. Но ведь пустяки, вздор. Зачем так долго? И такая горячность? Одно ясно: одинок, ущемлен, на что-то решился и уже испуган, некому пожаловаться, не на кого излить. Здорово же Смолянов успел насолить. Какие-то ключья фраз достигали сознания: «Герман Владимирович, этот магистр лицемерия, рвется в постановщики... А раньше, вы помните?.. Оба моих спектакля — мой, мой грех, я этого Голема породил!..»

— Сергей Леонидович, — сказал Ребров, — а как вы полагаете с моим вопросом? Как мне-то быть? — Вновь, как в кабинетике Маревина, возникло грубое вожделие халтурщика бить в одну точку. А что делать? Явился в таком качестве — и должен вести себя соответственно. — Мне бы справку хотя бы.

— Справку? Какую справку? — удивился главный режиссер. — Ах, ту справку, о которой вы говорили. Обратитесь к администрации.

Он включил настольную лампу, стал шевелить бумаги на столе, лицо вмиг сделалось старческим, брезгливым. Ребров неожиданно сел в кресло под лампу и сказал:

— А вот что: у вас есть десять минут времени? Хочу кое-что рассказать. Нет, не к тому, что вы читали. То — мур! Имейте в виду, я на вас совершенно не в обиде...

— Не тратьте времени зря. Я вам дал семь минут.

Просидели в кабинете два с половиной часа. Ребров рассказывал о Николае Васильевиче Клеточникове. Все, что горело в нем последние месяцы и что стало остывать и превращаться в лед за последние дни. Но

теперь, рассказывая, снова воспламенялся: ведь история Николая Васильевича была примером того, как следует жить, не заботясь о великих пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии... Неизвестно даже, был ли он истинный революционер, то есть сознавал ли в полной мере задачи и цели. Явился неожиданно, чахлый, полубольной, никому не ведомый, провинциальная чиновничья крыса в круглых очках, и предложил свою помощь революции. И были сомнения, неясность — ничего ведь героического! Ни стальных мускулов Александра, ни кинжалов и пистолетов Сергея, ни начитанности Льва, ни карбонарского романтизма Николая. Ну ничего, ничего. Был исполнителем. Исполнял чужую волю, которую несколько человек называли «народной». Внедрил в полицейское чрево, проник под панцирь, просочился в самую глубь, в кишки, в сердцевину Третьего отделения и оттуда — спасал, выручал, убивал. Исполнял волю собственной совести. Вот и все. Объяснить это почти невозможно, ибо совесть — понятие туманное, вроде словечка «рябь». Попробуйте объяснить словечко «рябь» — ничего не выйдет, начнете дрыгать в воздухе пальцами. И однако, тут гигантская сила. Правда, в разные времена эта сила то прибывает, то убывает, в зависимости, может быть, от каких-то взрывов солнечного вещества. На следствии он говорил нелепицу, клеветал на себя, будто получал деньги от революционеров за сообщаемые сведения, надо было как-то объяснить. Как же объяснить? Ну, хорошо, болен, чахоточный, больше двух-трех лет не протянул бы, но болезнь обостряет только то, что в человеке заложено, — и вот обострилась совесть.

Когда он играл в карты с жирной домовладелицей, полицейской наущницей, желая ей понравиться и через нее получить место в заветном учреждении...

Сергей Леонидович слушал с азартом и жадностью, как слушают дети. В нем было что-то безусловно детское, в толстом старике. И по ходу рассказа вставлял внезапно слова насчет «мирового лицемерия». Наконец он сказал:

— Удивительно, как много прекрасных и забытых людей жило на земле. И ведь недавно! Мой отец был современником вашего Николая Васильевича, тоже петербургский житель... — И он, пораженный, рассуждал об этом. Ребров был почти растроган. Кажется, главреж впервые слышал такое имя, как Николай Морозов, а уж про Льва Тихомирова говорить нечего. — Понимаете ли, какая штука: для вас восьмидесятый год — это Клеточников, Третье отделение, бомбы, охота на царя, а для меня — Островский, «Невольницы» в Малом, Ермолова в роли Евлалии. Садовский, Музиль... Да, да, да! Господи, как все это жестоко переплелось! Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу... Нет, так не годится! Правда о времени — это слитность, все вместе: Клеточников, Музиль... Ах, если бы изобразить на сцене это течение времени, несущее всех, все! Но сегодня я заявил: если уходит Борис Миронович, уйду и я. Так что господа должны решать. Обычно после худсовета у меня тут шум, толкотня, анекдоты рассказывают, а сегодня видите — все разбежалось, я их озадачил...

Ребров вышел на улицу в сумерках, уже горели фонари. Измочаленный долгим разговором и отчего-то бессмысленно радостный — вот уж вправду бессмысленно! Ведь ничего не добился, ни самой малой малости, какую можно бы принести в клюве, — брел по улицам: от Пушкинской площади к Грубной, оттуда по Неглинной вниз, опять на Пушкинскую. Однако радость постепенно гасла, проступало уныние. Нет, не оттого, что еще один день сгорел бесплодно, даже библиотека пропала. Вдруг подумалось: у старика, так же как у Реброва, нет желания идти домой. Это была печальная мысль. И когда Ребров встретил у дверей диетической столовой старого приятеля, некоего Толю Щекина, он был

уже весь во власти уныния. Этого парня, с которым когда-то учился в институте, Ребров всегда встречал на улицах. Щекин получал пенсию как инвалид войны. Он был одинок, жил скудно, почти загадочно, не пил, не курил, питался в столовых, всегда ходил в одном тонком пальтишке, с одним и тем же клетчатым шарфиком.

Встречая Реброва, Щекин почему-то разговаривал с ним свысока, с неизменной покровительственной улыбкой. А Ребров любил встречать Щекина. Один вид этого человека, который прекратил всякие попытки подняться выше нулевой отметки, улучшал настроение. Обычно говорили о женщинах. Ребров спрашивал, не женился ли Щекин. Тот хохотал: «Что ты, что ты! Никогда!» Лицо Щекина было неистребимо румяное, зубы, аккуратно починенные, сверкали. Друзьями Щекина были продавщицы, официантки, судомойки, приемщицы из ателье и химчистки, с которыми он проводил несколько запланированных часов в неделю: приглашал в свою скромную комнату, угощал скромным ужином, бутылкой вина, иногда просто чаем с колбасой и радовался скромному призу. Вот о них-то и случалось кратко, на бегу, поговорить. Но сейчас усталость и уныние не располагали к балагурству. Исподлобья взглянув на Щекина, Ребров спросил машинально:

— Ну как, еще не женился?

— Никогда! — захохотал Щекин и дружелюбно, хотя и несколько покровительственно пошлепал Реброва по плечу. Он стоял почти у самых дверей диетстоловой, впереди были только старухи, а сзади человек двадцать. Очередь, по-видимому, стояла долго, намерзлись и, заметив приставшего Реброва, злобно насторожились. А Ребров почувствовал голод. Ведь он ел часов в двенадцать, а теперь был уже седьмой! Щекин спросил:

— Говорят, твоя жена пошла в гору? Ты машину покупаешь?

— Кто тебе сказал?

— Вся Москва говорит, ха-ха...

— Гражданин, встаньте в очередь! — проскрипело сзади.

Щекин громовым голосом заявил, что Ребров стоял впереди него. Очередь заколыхалась, кто-то вскрикнул: «Мы не видели!» — электрические разряды щелкали в воздухе. Ребров не оборачивался, открылась дверь, три старухи и за ними Ребров под прикрытием щекинского протеза вклинились внутрь. За супом и запеканкой Ребров рассказывал о своих бедах. Он понял: кто-то должен слушать. Щекин слушал хорошо. Кивал, вставлял сочувственные глупости и, улыбаясь, поглядывал на Реброва свысока.

Вдруг он сказал:

— А ты, брат, обуян гордыней! Какие-то пьесы сочиняешь, повести о народовольцах.

— То есть как это? — удивился Ребров.

— Честолюбие тебя замучило. Суетишься зря. Я вот преподаю в вечерней школе литературу, шесть часов в неделю. И как мило! Фонвизин, Пушкин, Державин... «Я царь, я раб, я червь, я бог!» Хочешь, устрой? Будешь историю преподавать. И справку дадут.

Ребров покачал головой.

— Пока не хочу.

— Ну, ладно. Посуетись немножко. А зря вообще-то. Не взять ли еще по стакану киселя?

Ребров молчал, подавленный.

В том, что честный недалекий Щекин — почему-то Ребров был убежден в том, что Щекин недалек. — высказал так открыто и доброжелательно, была какая-то наивная, смертельная беспощадность. Вот она, правда в глаза. А не те колкости, которые отпускал Сергей Леонидович. В самом деле, не лучше ли так — лапки кверху? История в вечер-

ней школе. Шесть часов в неделю. Справка, положение, существование. Щекин приковылял с двумя стаканами киселя и говорил что-то про черненскую подавальщицу, ее зовут Рита, из хорошей семьи. «Могу дать телефон. Дать телефон?» Ребров был так далеко, что, хотя слышал вопрос, не ответил. Когда вышли на улицу, Щекин сказал:

— А ты не расстраивайся. Через двадцать лет все будет наоборот. Вы с этим режиссером, Сергеем Леонидовичем, поменяетесь местами, я тебе обещаю.— Он засмеялся.—И только я останусь на прежнем месте!

— Через двадцать лет? Кому это нужно. Я буду старичком, почти таким же, как он...

— Я и говорю: поменяетесь местами. А он перестанет существовать. Почти так же, как ты теперь, ха-ха!

— Спасибо, обрадовал.

— Не горюй, милый! Звони. Про вечернюю школу помни. Есть еще место заведующего клубом в Первомайском районе, могу устроить. Не пропадай!

И прожигатель жизни по диетическим столовым двинулся Пушкинской вниз, к метро. Ребров пошел по той же улице вверх. Последние слова Щекина, вроде бы исполненные доброжелательства, удручили вконец. Неужели без злого умысла? «Но ведь прав, подлец,— не существу...»

Долго ходил по улицам и думал об этом.

Если вдруг очокуриться — кто заплачет? Да попросту — кто спохватится? Ляля заплачет. Некого будет жалеть. Но через три месяца познакомят с одним туберкулезником, физиком, любителем симфонической музыки или с чудесным человеком, землемером, запойным пьяницей, Ирина Игнатьевна все равно будет рада и найдет преимущества. Главное преимущество: туберкулезник и запойный пьяница существуют. Начался снегопад. Ехать домой было все еще рано. Тянуло по бульварам, сначала вниз, до Трубной, потом в гору, к Сретенским воротам. Знал, куда тянет: к дому на Сретенском бульваре. «Аннушка» очень медленно одолевала подъем. В электрической уютной теплоте качались бескровные лица. Ребров почти шагом догнал трамвай и вскочил на подножку. Было когда-то: зима, снегопад, горбился бульвар с вымершими деревьями и вот тут — справа темнела кирпичами древняя крепостная стена — он вскакивал на подножку. Портфель держал в левой, семенил быстро и четко, стараясь попасть в ритм колеса, молодецкий прыжок и — там! Правой ухватывал поручень. Так было ежедневно до того марта, в гололед, когда нога провалилась в пустоту, портфель выпал и кто-то сильный схватил за ворот, выволок на площадку. У Сретенских ворот, кторые были конечной целью недолгого приятного путешествия — всего-то одна остановка! — услышал крик и увидел бегущую снизу, от Трубной, размахивающую руками фигуру человека. Это был отец. Он нес портфель, за которым Ребров собирался бежать вниз. Подбежал, тяжело дыша, с белым лицом, и, ни слова не говоря, отвесил такую плюху, что Ребров брыкнулся на тротуар, а лишь только поднялся, отец ударил снова, выговорив с ужасающей ненавистью: «Негодяй! Я все видел!» После того дня отец долго втайне следил, скрываясь, как настоящий шпион, за углом дома на Рождественке, за тем, как Ребров возвращается из школы, не прыгает ли в трамвай. Делать отцу было нечего. Он тогда уже не работал, был раздражительный, крикливый, ругался с мамой. Мама его жалела. Когда Ребров ей жаловался на то, что отец шпионит и ребята заместили, дразнят его, она говорила, что не нужно обращать внимания. «Пусть делает что хочет! -- говорила мама.— Ведь он страдает, а мы не можем помочь». Ребров не понимал, почему нельзя найти другую работу и не страдать. Отец был экономистом. Но он уже был тогда болен, чего Ребров не знал. В конце лета отца увезли в боль-

ницу, из которой он не вернулся. Мама навещала его, но Реброва и его брата Володьку никогда не брала с собой. Однажды приехала радостная и сказала, что отец ее узнал. Отец сидел на кровати, шил из лоскутов одеяло и, когда мама зашла в палату, вдруг посмотрел на нее и сказал своим обычным ворчливым тоном: «Вера, у нас дома много разных лоскутов. Почему ты мне не привезла?» Мама так растерялась и обрадовалась, что не нашла, что ответить и расплакалась. Когда началась война, больницу эвакуировали в Кировскую область, отец умер в начале сорок второго от воспаления легких, но Ребров узнал об этом только через два года. Мама, наверное, узнала сразу же, она переписывалась с больницей. Она была в Кузнецке, куда эвакуировался завод. Мама умерла в сорок третьем году от сердечного приступа, а Володька перестал писать летом сорок второго — Ребров прочитал об этом в маминем письме, — и, вернувшись в Москву после госпиталя, Ребров стал наводить справки, писать повсюду, но ответ был один: данными не располагаем. Потом уж, сопоставив известные факты и некоторые сведения из последних писем Володьки, Ребров понял, что Володькина часть попала в котел под Харьковом.

Вот он, двухэтажный дом с полуколоннами, львиными облупленными мордами. На втором этаже третье и четвертое окна справа. Тут протекала лучшая жизнь: до шестого класса. Когда отца уволили с работы, он почему-то не мог тут жить — говорил, что мешает уличный шум, мучает бессонница, — и переехали на тихую Башиловку, почти за город. Как Ребров тогда сопротивлялся! Как не хотелось покидать школу, ребят, бульвар, каток на Чистых прудах, марочный магазин на Кузнецком, куда бегали после школы и где в подворотне происходили жестокие драки! Однажды получил от матери шесть рублей на серию французских колоний, вышел, счастливый, из магазина, вдруг кто-то толкнул в подворотню — трое пацанов стали молча крутить руки, отнимать пакет, он боролся отчаянно, раскидал, вырвался, побежал вниз по улице и, только добежав до метро, заметил, что весь перед его нового весеннего пальто висит ключьями: порезан бритвой. Но гордость тем, что раскидал, вырвался и спас драгоценный пакет, была больше мелкой неприятности: подумаешь, пальто...

Снег валил гуще. Заваливал все: закусочную, из хлопающих дверей которой вырывался теплый воздух, тротуар, бредущих людей, шапки, лица, воспоминания, мальчика в черном тулупчике, сначала длинном, потом куцем. Четыре человека жили за этими окнами на втором этаже. Один Ребров остался из четырех — стоит и смотрит в довоенное... Куда ж они делись все? Нет их ни здесь, ни там — нигде. Так получилось. Он их представитель на земле, где сейчас снегопад, где троллейбусы медленно идут с включенными фарами...

Ляля спросила:

— Зачем ты приходишь сегодня пьяный?

— Куда приходил?

— Мне сказал Боб. Пришел, говорит, твой, пьяный вдрабадан, стал требовать обсуждения пьес. Про какую-то справку. А у Боба — ты же знаешь? — ужасные неприятности...

Ребров махнул рукой. Знает! Говорить обо всем этом сил не было. Сказал единственное:

— Смолянову передай спасибо.

Легли спать, и Ребров рассказал, что ходил сегодня к старому дому на бульваре. Добашиловская жизнь Реброва волновала Лялю, она любила его расспрашивать про отца, про времена, когда Ребров был совсем маленьким, — они-то познакомились в седьмом классе. И сейчас лежала, притихнув, и слушала. Ребров рассказывал, как когда-то давно, году в тридцать третьем, отец купил два детских соломенных крес-

лица и приделал их к багажникам велосипедов, к своему и к маминому, и по воскресеньям вчетвером ездили кататься: Ребров и Володька сидели в креслах на багажниках. Где-то есть такая фотография, надо поискать. Лялина рука коснулась в темноте его лба, волос, стала гладить. Он взял эту руку, прижал к губам. Сказал, что сегодня один человек предложил работу: в школе для взрослых, преподавать историю. Можно еще пойти завклубом в Первомайский район. Ляля молча гладила его лицо. Он сказал, что есть другое предложение: отнести обе пьесы к кому-то, кто имеет связи, может помочь. Там, вероятно, придется брать в соавторы. Но ведь лучше, чем так, без движения. Хотя противно. Ляля шепнула:

— Ну и не надо.— Стала целовать его.— Не надо, мой милый. Не надо, родной мой. Не думай ни о чем. Все будет у нас хорошо. Справку достанем, будешь работать спокойно, добьешься всего, ведь ты талантливый, не надо, не надо, не раскисай. Что за дурак тебе предложил завклубом?

Он лежал не шевелясь, слушая, впитывая в самое сердце ее бормотание, сладкий шепот, обволакивающий, как эфир.

— Ты знаешь, что мне кажется? Что я... ты понял?

— Да?

— Мне кажется — да. И я хочу оставить.

Забилось в груди, силы возвращались. Радость, испуг — все вместе, слитно. Столько же счастья, сколько и несчастья: вот все, что необходимо. И это родное, теплое рядом и есть единственное доказательство: существую!

Тут, как бывает во сне, возникла вдруг истина, показавшаяся ясной и старой: не когито эрго сум, а люблю эрго сум, вот и все. Как же люди не догадываются? Почему не поймут? Ведь это же поразительная очевидность. «И я существую! Существую вопреки вам всем!» — думал он с бурной и злобной нежностью, не ощущая ничего, кроме вкуса любви на губах и великого прилива сил.

Днем около одиннадцати пришли двое с телефонного узла и стали смотреть, откуда и как тянуть в дом «воздушку». Никто их не вызывал. Все думали, что ошибка, но рабочие показали наряд, на котором значилась фамилия Телепневой Л. П. и стояла подпись начальника узла. Тогда Ляля сообразила и сказала: «Ах, я знаю, что это!» — но было видно, что смущена и как будто не очень рада. Ребров потребовал отчета. Ляля сказала, что о телефоне давно хлопочет дирекция театра — им самим неудобно, часто приходится гонять машину только для того, чтобы что-нибудь сообщить, — но ничего не клеилось, кабеля поблизости нет, а «воздушка» вещь дорогая, и вот, должно быть, в дело вступил Смолянов. У Смолянова связи и в этой области. Ирина Игнатьевна радостно восклицала:

— Какая прелесть, Лялечка! Большое, большое ему спасибо. Передай Николаю Демьяновичу, что он душка, молодец...

— Мама, я не хочу одолжаться.

— Ляля, какие глупости! При чем тут одолжаться? У всех наших родных, у всех знакомых сто лет телефоны, одни мы как в деревне...

Что-то в этой суете, внезапности, Лялиной не радости и чересчур горячем тешином ликовании было такое, от чего Ребров насторожился. Ведь, черт возьми, телефон! Это — вещь! У него никогда в жизни не было телефона, ни на Сретенке, ни на Башиловке. Но как-то странно Ляля смутилась: будто споткнулась на ровном месте. Вскоре пришла машина, Ляля уехала, а теща через час уже звонила дяде Коле, тете Жене, дяде Мише, всей ораве родственников, сообщала номер телефона и последние сведения про Петра Александровича.

Через неделю старика обещали выписать.

Ребров шел от метро домой — спустя два дня после того, как возник телефон, — и, приближаясь к желтому дачному заборчику, увидел нечто, в первую секунду его изумившее. У ворот соседнего участка стояли милиционер Куртов и Канунов в черном длинном пальто, разговаривали. Канунов встал вполоборота, сделал вид, что не заметил Реброва. И Ребров сделал вид, что не узнал, хотя прошел рядом, почти коснулся плечом.

Чувство было невыносимо гадостное и от неожиданности — слабость в ногах.

Приятно мало узнавать, что кто-то под тебя упорно роет. Ты живешь, а чье-то рыло работает. «Ну, все!» — подумал Ребров, подходя к своей калитке, и рассмеялся. Оглянувшись, увидел, что милиционер и Канунов на него смотрят.

Планида Смолянова, четыре года круто набиравшая высоту, вдруг замедлила ход. Собственно, ничего страшного в делах не произошло, никаких катастроф, но темп снизился — это могло быть дурным предзнаменованием. Как Николай Демьянович себя ни уговаривал в том, что самая лучшая футбольная команда, например ЦДКА, и то иногда теряет очки, нельзя же нигде не ошибаться и не нести урона ни в чем, терпения не было и мудрости не хватало. Вместо того чтобы хладнокровно двигаться дальше, не реагировать на стоны и оскорбления, он, не выдержав характера, ввязался в прямой скандал: где-то на ходу, на лестнице стал отвечать на крики и грубости старика, угрожал, тряс на него пальцем, бывшего завлита Маревина обозвал двурушником и, как дуралей, полностью раскрылся. Нервы сдали! Оно понятно, ведь как раз в январе случились тяжелые неприятности: в Саратове мать разбил паралич, отнялись ноги и речь, и неизвестно было, как поступить с девочкой, куда ее пристроить; пока что панял для нее старушонку, соседку, а спустя десять дней Марта выкинула номер. Хотела из окна прыгнуть, из новой квартиры на шестом этаже. Фрося, свояченица, увидела, поймала на подоконнике. Это уж второй раз, первый раз было в октябре, на старой квартире. Пришлось, конечно, заявить, отвезли в Каченко. Николай Демьянович никому не рассказывал, особенно в театре. Зачем? Никого не разжалобишь, а навредить могут. Настроение от всего этого было хуже некуда.

Людмила вторую неделю избегала Николая Демьяновича. Встречались в театре, сухо кивнет в ответ на «здравствуй» и — мимо. Николай Демьянович и сам в иные минуты подумывал о том, чтобы «завязать». А ну ее к богу в рай с ее обидами! В точности не знал, но догадывался — видно, решила, что он ее Александру Васильевичу подсватывал. Верно, Александр Васильевич просил, даже требовал, и отказать было никак невозможно, но знала б она, дура, как он страдал из-за нее, какие кошмары представлял в своем воображении и как уповал на ее независимый нрав, столько раз его зливший. Ведь он в ту ночь глаз не сомкнул. Ни минуты сна не было, бред мучил, галлюцинации: то Александр Васильевич мерещился, будто на него кулаком стучит и глазами сверлит по-своему, то Людмилу представлял в невыносимом виде, с тем вместе, и Николаю Демьяновичу язык показывает. И все же верил, всем сердцем, всеми печенками-селезенками: нет, нет, нет, ни за что! Убежден был почти железно, тыщу рублей поставил бы против рубля за то, что Александру Васильевичу ничего не обломится. Ни боже мой, никогда! Не тот случай. Когда Александр Васильевич позвонил наутро, сердито что-то басил — ничего не понять, только ясно, что злой как черт, — Николай Демьянович от радости даже подпрыгнул у телефона. «Ах ты, бедняга ты мой! Изжога, говоришь, одышка, соболезную...» — бормотал сочувственно, а сам, глядя в зеркало, строил веселые рожи.

Привык к Людмиле, присушился, что правда, то правда. И быстро-то как! Хотя томила его, раздражала обидами, отвращала иной раз дураком Гришенькой и капризами, самодурством («Какой шум из-за Маревина подняла! А старика защищать по-глупому?»), доводила до желания порвать навсегда, женщин кругом много, не такая уж сладкая, не заносись, бывают и слаще, а у него, если разобраться, возможности безграничны. только помани, и хотя знакомили с разными на скорую руку, ездили на дачу, в Химки, к приятелям, туда-сюда — через час все надоедало и превращалось в скуку. Потому что люди пустые, без понятия. Им бы только пенки снимать, а он на таких насмотрелся, на пенкоснимателей. Человек он сложной судьбы, характера непростого, не всякая поймет.

А Людмила — понимала. Удивительная: ничего у него не просила, ни за что не бранила, денег не брала. Раза два предлагал, отказывалась категорически: «Ну, как тебе не стыдно?» Он радовался, приятно было — не оттого, что деньги жалел, а оттого, что такая женщина удивительная и — любит. Всего-то и трат — туфли на каучуке за триста восемьдесят рублей когда-то давно. Ну, и рестораны, само собой, не считано. Терпел Николай Демьянович, томился и — сил не стало терпеть — в коридоре остановил за руку, сказал:

— Людмила, а у меня беда.

Она глаза вскинула:

— Что такое?

— Мать с инсультом, в больнице. Не знаю, как с Галкой быть...

В глазах Людмилиных мелькнуло начальное, доброе: то ли испуг, то ли жалость.

— Возьми Галочку в Москву. А то мать себя доконает, если будет волноваться...

— И в Москве беда. С Мартой...

Рассказал скупое. Со всех сторон край — в театре война, Маревин, сволота, актеров настраивал, рецензентов подбивал, хорошо хоть отделались, а дома судьба смертным боем бьет. И близкие люди отворачиваются, ни помощи, ни тепла.

— Марту жаль, очень, очень даже жаль. Женщина еще не старая, тридцать восемь. Но центральная нервная система расшатана до предела, лечиться не меньше года и неизвестно как и что, какие результаты. Очень жаль. Она ведь отличный педагог, преподавала в детской школе гимнастику. У нее, значит, таким образом: маниакальный бред и навязчивые идеи. Ну, с Фросей скандалы, крики, с кулаками бросалась, ты же знаешь. А оказалось вот что — болезнь, никуда не денешься. Ну так жаль...

Рассказывал Николай Демьянович, буровил вполголоса и смотрел: милое лицо бледнеет, на глаза будто слезы наворачиваются. Вдруг схватилась:

— Тебе помочь?

Он кивнул.

— Поедем ко мне, сейчас же!

Соображал: Фрося может надуться, будет тарелки швырять, а ну ее к богу в рай. Отослать куда-нибудь. В Тарасовку, на дачу. Ага, протопить дачу, давно не топили.

— Где телефон? Сейчас позвоню, и поедем.

— Нет... Не поедем.

Вышли из коридора, стояли на широкой лестничной площадке перед окном. Был виден двор с грязной, в утопанном черном снегу землей. Директорская машина стояла перед воротами гаража, капот был открыт. Возле кирпичной стены, отделявшей территорию театра от соседнего дома, высились намертво заваленные снегом какие-то декорации. «Не

забыть в гараж зайти, насчет аккумулятора», — подумал Николай Демьянович.

— У нас, Николай Демьянович, все кончилось, — услышал голос. — Я так решила.

— Почему?

— Так...

Стукнула дверь внизу, кто-то поднимался тяжело, кряхтя. Людмила умолкла. Старик, из театральных пенсионеров. Поздоровался. Людмила ответила и, когда старик прошел в дверь, ведущую в коридор, повторила тверже:

— Так!

— Ты другого времени не нашла?

— Я про твои несчастья не знала.

— Но теперь знаешь?

— Знаю. Сочувствую тебе... — Помолчала. — Но все равно.

Глаза чужие, холодные.

— Ты мне казался... А ты, видишь, какой! Я привыкла к слабым мужикам... Я им и защита, и мать, и жена... Думала вначале, что и тебе я нужна...

— А что в них хорошего, в слабых мужиках?

— Они подлого не сделают.

— Да? Еще как сделают!

— Нет, их на это не хватает.

— Неправду говоришь! Глупости какие-то, вздор несешь, — бормотал он, чувствуя, как в нем поднимается нехорошее волнение, вроде озноба и жара. — Ну я, например, что подлого сделал? Кого убил, удавил?

— Любого, если понадобится. Боба уже удавил, теперь за Сергеем Леонидовичем очередь — я же вижу...

— Ну и что? Правильно видишь. Только я непричастен. Время его вышло, поняла? Запутался он, не годится, отстал безнадежно.

Ляля засмеялась.

— От кого отстал? От тебя, что ли?

— От времени, моя милая!

— Ой, боже мой... — Она продолжала смеяться.

Вдруг понял: жар, охвативший его, был страхом, потому что — конец, он видел.

— Зачем же было комедь ломать?

— Не догадывалась, Николай Демьянович. Ну, глупа, глупа матушка, что поделать? Виновата, казните. Вот Гриша несильный человек, верно, очень несильный, без меня ему погибель, но никогда же — на подлое...

— Неправду говоришь, совершенную неправду говоришь, чепуху какую-то, — молотил почти неслышным тетеревиным голосом, не было сил сказать громче. — Обыкновенный человек, такой же, как я, твой Гриша. Что ж он, не знает, что у нас с тобой? Ведь знает, а терпит.

— Не знает.

— Знает, очень даже. Только у него ума больше, чем благородных кровей.

— Не знает! — вдруг крикнула Ляля и глазами сверкнула так, что Николай Демьянович попятился.

— Неправду говоришь... — шептал отчаянно и смотрел, как она ему кивает, делает рукой прощальный знак, поворачивается и уходит.

И когда через два дня Костька Шахов привел к нему домой этого самого Гришу и тот, каменно напрягаясь, показывал свою хурду-мурду в обтрепанных папках с тесемками, повторяя то и дело не к месту: «Да ведь вся штука в том...» — а Костька ерничал и за журнальным столиком нахально в счет комиссионных хлестал коньяк, Николай Демьянович смотрел на Гришу с каким-то даже печальным изумлением и думал: «Да

что же в нем есть? Отчего это?» Вид у Гриши был затруханный, оторопевший, и говорил он дребедень: про справку какую-то для домоуправления. Николай Демьянович Костьку просил, чтобы тот темнил подольше, не открывал Грише, к кому его поведут, чтобы только сегодня открыл бы, у метро, где у них встреча назначалась, — и ведь не плюнул же, не закричал возмущенно: «Ах вот как?» — не побежал обратно в метро. Пришел как миленький. Сидит на диване плотно, хорошо, нога на ногу, папироса в зубах, и поглядывает этак с достоинством, как благородный человек. Да ведь, может, не догадывается? Ни боже мой! Догадывается, собака. Непременно догадывается. Людмила рассказывала, как он дома рубашку нашел, которую она ему, Николаю Демьяновичу, ко дню рождения приготовила, в комодке хранила. Спросил тогда, она отговорила, будто какому-то музыканту из оркестра коллективный подарок. Николай Демьянович нарочно эту рубашку надел и халат распахнул. И Гриша, верно, рубашку заметил сразу же, но молчал, не спрашивал, только глаза на нее пялил. Обо всем переговорили — о критиках, о главреже, которому давно на покой пора, освободить место, а не хочет, брыкается, о том, что меры нужны, на собрании выступить, рассказать, какие безобразия творятся, молодых авторов жмут («Вам бы и поднять вопрос, Григорий Федорович?»), и все время Гриша рубашку глазами щупал и, как видно, сильно себя изводил. Наконец не вынес:

— Скажите, Николай Демьянович, где вы купили эту рубашку?

— Вот эту? Людмила Петровна подарила.

— А! — сказал Гриша.

И больше ничего. Действительно, слабые мужики никогда шума не сделают. Нет чтобы по скуле дать или закричать хотя бы: «Ка-ак! Почему такое? На каком основании?» Попрощались мирно, условились, что Николай Демьянович поглядит, подумает и через денька три-четыре даст знать.

— Телефон-то у вас теперь имеется, знаю, знаю... — улыбался благодушно, начальственно и рукой махал, провожая до двери.

Сочинения в обтертых папках посмотрел в тот же день, посоветовался кое с кем. Костька дал почитать Левке, Алинке. К Алинке, Левкиной жене, всегда прислушивался: мудрая баба, кандидат наук. Все это, сказала Алинка, написано неплохо, но без царя в голове. Если только перелопатить солидно, перештыковать, тогда, может, дело и будет. Но вдвоем подписать резона нет. Со Смоляновым, конечно, любой в соавторство пойдет, а Ребров — кто такой? С чем его кушают? «А кушают его, — подумал Николай Демьянович и даже засмеялся, — с женой вместе. С женой и кушают!» Ну, ну, шутка, ничего страшного, не беспокойтесь, помочь поможем, скушать скушаем, но ведь не за красивые же глаза и не за то, что было, а за то, что быть должно. И тут влетела к Николаю Демьяновичу одна стремительная мысль: будто птичка летним вечером залетела вдруг на веранду. Окна все закрыты, двери закрыты, будет птичка колотиться в стекла — тук, тук! тук, тук! — пока не обессилит вконец, не упадет на пол, и тогда бери ее голой рукой.

Николай Демьянович видел всю картину отчетливо, и у него даже во рту пересыхало, как бывало, когда думал о женщине, и дней через пять, управившись с другими делами, позвонил по Людмилиному телефону и позвал Григория Федоровича. Женский голос ответил, что Григорий Федорович больше здесь не живет.

...Третьи сутки Ребров, лежа на верхней полке, мучил себя — делал из мухи слона. На листке бумаги писал: муха — мура — кура — кора — корт — торт — торс... Спасительную отраву подсунул человек с полки напротив, некий Модест Петрович, как только отплыли от московских окраин и углубились в снега, в черные дачные заборы. Когда Ребров откладывал бумагу, переставал бормотать «морс — морг — торг» и взгляд

его утыкался в потолок или скользил по скучной законной белизне — март был в начале, сугробами еще стояла здоровенная зима, — он слышал речи, видел лица, от которых отрывался навсегда, летел в неведомое. Петр Александрович улыбался сохлыми, желтыми губами. «Вам видней, Гриша. Делайте как знаете...»

Старику было все безразлично. Даже сад — когда-то вся жизнь — теперь не волновал. Целыми днями старик сидел в кресле у окна, слушал радио, дремал или читал «Огонек», на его губах стыла улыбка. Улыбка равнодушия ко всему, что не есть болезнь, то есть смерть. Он говорил только о своем самочувствии, лекарствах, врачах, сестрах; одна делала уколы лучше и приятно разговаривала, он ее очень любил, другая была угрюма, колола больней, не сразу попадала в вену, и он ее ненавидел, называл «сверловщицей». Ребров изумлялся краем сознания: как может человек измениться всей сутью! Он еще не знал, что и его сад — когда-то тоже вся жизнь — может быть отринут, покинут навсегда. И сроки были уже близки.

— Я вам советую, Гриша, не обращать внимания. Плюньте, плюньте! Ах, боже мой... — Старик вздыхал легкими судорожными вздохами, но вовсе не от приступа жалости к Реброву, а оттого, что вдруг опять напала мысль о болезни. — Вы не знаете женщин... Они сделаны иначе, чем мы. Ирина, например, никак не может понять, что, когда она открывает дверь на кухню... — Вдруг спрашивал шепотом: — И зачем вы пошли к Смолянову?

— Какая разница! — раздражался Ребров. — Нужно было, и пошел.

Ребров долго после того посещения, гадчайшего (и в самом деле поступок идиота! Нет, труса. Вдруг страх — надо что-то делать, немедленно, где-то крупно заработать, прибавление семьи, жить отдельно. Нет, не то, главным была, может быть, низменная, самоистязательная тяга — полюбопытствовать, вмазаться в эту пытку, ведь давно уже догадался, что о д и н ч е л о в е к — это Смолянов), дня два не хотел никаких выяснений. Не хотел ни во что верить, ничего знать. Потому что какой смысл? Доказать нельзя. То, что она подарила рубашку и он нагло улыбался, рассказывая об этом, еще ничего не значило. Он вообще наглец, скотина. Однако утром третьего дня все переменялось. Случайно — на полу в мансарде — Ребров наткнулся на послание Ирины Игнатьевны к Ляле. К этим сочинениям на листках ученических тетрадок, иногда в конвертах, иногда и без, Ребров привык; теща делалась графоманкой, когда бывала с дочерью в ссоре. А та, шляпа, раскидывала повсюду — не хочешь, а прочитаешь! Между ними что-то произошло, они почти не разговаривали, было заметно, но Ребров не спрашивал в чем дело. Знал одно: начинается между ними, а замыкается на нем. Ляля не выдерживала долгих ссор с матерью. Не нужно было поднимать это письмо, черт бы с ним совсем! Как всегда, теща писала современной прозой, как Дос Пассос, без точек и запятых:

«Дура ты дура жизнь тебя ничему не учит идиотка последняя зачем тебе это нужно? Имей в виду я возиться с ним не стану на меня не рассчитывай у меня сил нет мне отца достаточно как бы на ноги поставить ты на него ишачишь мотаешься теперь еще ребенок совсем закабалишься очень скоро постареешь превратишься в клячу как тети Женина Майка ни кожи ни рожи деточки заездили а у тебя талант но ты дура им бросаешься от детей радости нет а есть только горе и разочарование ты многого не понимаешь у тебя детское сознание он тебя эксплуатирует в хвост и в гриву сам сидит в ресторане Националь пьет и жрет за твой счет а ты работай как лошадь если бы настоящий муж тогда бы я не так переживала Николай Демьянович за тобой ухаживал но ты отказалась ради чего? Если ты не пригласишь Алексея Ивановича я не желаю тебя знать живите как хотите на нас с отцом не рассчитывайте земельную рен-

ту налог на строение все коммунальные расходы платите половину телефон на ваш счет нам он не нужен питайтесь в столовых я готовить отказываюсь Верни мне двести сорок рублей которые я тебе одолжила на мех...»

Во всем этом полубреде Реброва сразила одна фраза: «Николай Демьянович за тобой ухаживал но ты отказалась». Вечером Ребров не выдержал, спросил:

— Ну как, пригласишь Алексея Ивановича или нет?

Алексей Иванович был старичок гинеколог, пользовавшийся еще Ирину Игнатьевну и дважды делавший аборт Ляле. Ребров видел, что Ляля накалена, изнемогает от материнской враждебности — теща мучила ее молчанием четвертые сутки, чем-то это должно было разрешиться, — надо было прикусить язык, но Ребров потерял равновесие. Слово за слово — и все, будто только того и ждали, закрутились в эту воронку. Ляля и теща обвиняли друг друга, и теща, как всегда, оказалась более стойкой — Ляля рыдала, ей стало плохо, давали лекарство, перепуганная теща лепетала: «Деточка, я тебя не оставлю», — брызгала на Лялю холодной водой. Наступило какое-то тупое нежелание говорить. Петр Александрович тоже стоял молча, опираясь на палку, и слушал крики женщин. Потом женщины разошлись по комнатам, и Ребров остался вдвоем с Петром Александровичем.

— Гриша, хочу вам сказать... — заговорил вдруг старик, приближаясь тихо. — Мне все едино... Вы завтра уедеге, я послезавтра помру. Мне что? Ну вот, пятнадцать, не то шестнадцать лет назад был Валентин... — Оглянувшись, продолжал шепотом: — Иванович Скобов. Старший мастер по нашему заводу. Солидный человек. Очень солидный, представительный. В кузнечном цехе. Вместе на рыбалку ездили, гостевали, то, се. И вдруг чую: у Ирины с ним какая-то хреномутя, сохнет баба, любовь, понимаете ли...

Ребров усмехнулся:

— Если бы...

— Ну, не любовь, не знаю, кто ее знает, как хотите называйте. Но что характерно! Был момент: уйти, думаю. Непременно уйти. Девку забрать, уйти куда глаза глядят...

— Так. И дальше?

— Дальше ничего. Глупость, понимаете? Глупость проходит, а жизнь-то длинная.

— Нет, — сказал Ребров. — Тут дело другое. Я бы — пожалуйста. Но не могу. Не могу. Потому что... — И, не договорив, махнул рукой и побегал вверх по лестнице.

На другой день уехал. И уезжая, понимал, что на этот раз совсем не то, что было когда-то, когда он бросался от обиды на Башиловку. Был сине-солнечный, ярчайший день посреди зимы. Старик, улыбаясь, смотрел в окно на снег, слепящий глаза, и жевал губами.

— Делайте как знаете, Гриша...

На третью ночь прибежала Ляля с чемоданами: жить. С матерью поругалась навеки. Простить, поверить, нельзя же так поступать с человеком, без жалости, без пощады. Он рвался понять и простить. Но все-таки: отчего? И Ляля, плача и каясь, говорила что-то такое мелкое, стыдное, что слышать было невыносимо. Да, да, говорила она, где-то внутри, в подкорке. — и это самое ужасное — было, наверно, вот что: как то себя устроить. Ему хотелось заорать: «Боже мой, зачем на себя наговаривать? Ведь не могло же такого быть!» Могло, могло. Именно так и было. Она не желала уступать. Он надеялся, но — нет. И эта правда, вся правда, голая правда была испуленней и голей, чем самая голая страсть. Он истерзывал, выпытывал из нее все: про того, другого, всех давнишних, и она рассказывала до конца, отдавала эту жалкую

правду, они оба как будто сошли с ума. Теперь-то ясно, что было той ночью: конец. Но они не понимали, им казалось, что начинается что-то новое, необыкновенное.

А на другой день, когда Ребров остался один, Ляля ушла в театр, он ощутил такую пустоту и скуку, что подумал: не бросить ли записку в почтовый ящик и не уехать ли куда-нибудь далеко? Пришел Шахов и сказал, что Смолянов давно ждет его, но Ребров сказал, что никуда не поедет. Потом однажды вечером явился сам Смолянов с ребровскими папками, коньяком и тортом для Ляли: «Если гора не идет к Магомету...»

Он сообщил, что нашел для Реброва работу: завлитом в театре вместо Маревина. С директором договорились, в управлении тоже. Ляля была на спектакле. Ребров испытывал стыд за хлам, неуют комнаты, плач кануновских детей за стеной, за свой затрапезный вид — в шлепанцах, старой пижаме. Он смутно представлял себе, что ему надо сейчас делать: бить Смолянова или ехать к директору и договариваться о работе? От того, чтобы бить, останавливала мысль о том, что все-таки тот приехал с добром, хочет помочь. Зачем же сразу бить? От коньяка отказался. Была еще проблема справки, потому что Канунов приставал. Во всем была какая-то странная необязательность, будто происходило во сне. И стыд во сне и удивление сквозь сон.

— Почему же Ляля ничего не сказала?

— Она не знает. Договоренность пока только с директором и с Германом Владимировичем... Герман Владимирович — вы знаете? — будет, вероятно, главным... А Сергея Леонидовича вчера свезли в больницу, инфаркт, говорят, обширнейший. Что ж вы хотите? Нельзя так себя не щадить... Оклад полторы тысячи, неприсутственные дни, приходит к часу...

Ребров в последние дни отчетливо ощущал: в нем что-то разрушительно переменялось. Это случилось тогда, перед отъездом. Перемена была такого свойства, что Реброву казалось, будто он теперь другой человек, с другой кровью, другим химическим составом молекул. И этот другой человек мог и вести себя иначе, чем тот, старый, а тот, старый, имел право не отвечать за поступки другого. Сказал, что нужно посоветоваться с Лялей

— Да чего ж тут советоваться? — смеялся Смолянов.

Но посоветоваться не удалось. Ляля заболела, лежала у матери, он гуда не ездил, а через дня два вызвали телеграммой, и он узнал, что приезжал Алексей Иванович и теперь все в порядке. Ляля была еще слаба, не вставала, глаза лучились светлом, счастливым и, как показалось Реброву, виновато. Тому, старому Реброву захотелось рвануться к Ляле, прижаться лбом к ее белой руке, потому что счастье во влажных глазах было преодоленным страданием, но другой Ребров сказал спокойным голосом:

— Как ты себя чувствуешь? Я рад, что все кончилось.

Теща улыбалась умиротворенно, шептала:

— Только не беспокойте ее сейчас, хорошо? Гришенька, я вас прошу, сбегайте на рынок, купите фруктов...

Ребров подумал: «Она будет в ее власти всегда. До чьей-нибудь смерти». Через час, когда он вернулся с Инвалидного рынка, Ляля спала. Ребров уехал на Башиловку. На другой день, в пятницу, пришел Шахов, они отправились обедать в ресторан, а оттуда в театр. Выпили так много, что Ребров еле передвигал ноги. Сели в такси. Но сознание работало четко. Самое страшное, думал Ребров, это долгое прощание. На площади Маяковского он велел шоферу остановиться, открыл дверцу и высадил Шахова на тротуар. Он испытывал небывалую легкость, нечто пленительное и нелепое. Если бы не боялся показаться смешным, он мог бы подняться и взлететь над домами. Поезд отходил в двадцать один час.

Ляля, наверно, бродила в халате по комнате, пила чай, а он улетал не прощаясь, парил в зимнем небе над крышами, исчезал, пропадал.

Модест Петрович спустил ноги в серых вязаных носках с полки и, помахивая ими над кем-то спящим, спросил:

— Вы что же, Григорий батькович: после окончания института?

— Нет, мой милый. Мне, слава богу, под тридцать,— сказал Ребров.— После окончания жизни.

— Ах вот что...

Модест Петрович засмеялся. Синева за окном густела. Включили свет. Одна жизнь кончилась, другая начинается. Собственно, человек — любой, даже вот этот геологоразведочный Модест Петрович,— живет не одну, а несколько жизней. Умирает и возрождается, присутствует на собственных похоронах и наблюдает собственное рождение: опять та же медлительность, те же надежды. И можно после смерти оглядывать всю прожитую жизнь. Этим и занимался Ребров, пока поезд тащил его на восток, во все более глубокие снега и крепнущие морозы. На пятые сутки утром в коридоре была шумная толкотня. Голосисто и странно, подурному кричала женщина: «Ай-ай-ай-ай-ай!» Отпахнулась дверь, всунулось красное, какое-то смятое, кисельное лицо с глазами навывкате, дохнуло шепотом: умер... в пять утра... Ребров вышел в коридор. Из одного купе доносились рыдания, в другом — дверь была настежь — играли в карты. Какой-то человек, расталкивая теснившихся, бежал по коридору, держа перед собой громадный китайский термос. Ребров вернулся в купе, залез на свою верхнюю полку. Слезы душили его, он повернулся к стенке и, стискивая зубы, чувствуя лицом мокроту казенной наволочки, думал о жизни, которую успел прожить: да что же в ней было?

— Вся штука в том...— бормотал он сквозь стиснутые зубы,— будет ли другая?

Через неделю из окна гостиницы на Большой Сибирской, где Ребров ждал начальника партии, он увидел такую сцену: на мостовой затеялась драка, мужик ударил ножом в живот одного, другого; бросился бежать, его догнали, повалили, стали бить. Сначала схватили трое: рабочий в белом, мучном комбинезоне (на углу разгружали машину с мешками муки), какой-то проходивший мимо солдат и женщина. Когда Ребров сбежал вниз, вокруг убийцы уже сгрудилась толпа. Один из тех, кого он ударил, лежал и стонал, другой кружил на месте, согнувшись, держась за живот. Милицейский автомобиль подкатил через пять минут. Толпа раздвинулась, убийца лежал не двигаясь, с лицом неживым, черным, как подошва. Было ясно, что суд свершился. Два милиционера подняли его и поволокли, держа под мышками, к задней открытой дверце машины. И вдруг убийца двумя руками поправил кепку, надвинул ее глубже на свою маленькую детскую головенку и самостоятельно влез в машину.

Ребров вернулся в гостиницу, на второй этаж. Он подумал: как легко убить человека. И как невозможно трудно убить человека. Скоро приехал начальник партии Балашов, хороший малый, томич. Мостовая была пуста, и только на том месте, где стоял грузовик с мешками муки, было немного насыпано белым. Балашов сообщил последние сроки: до середины апреля камеральные работы в городе, а двадцатого числа на пять месяцев в тайгу. И уж оттуда, решил Ребров, на обратном пути можно будет попасть в Петровск-Забайкальский, бывший Петровский железоделательный завод, где погубал в ссылке, а все ж таки «дрыгал ногой» Иван Прыжов. Увидеть, что же там было и во что это превратилось силою времени.

Когда Ляля проезжает троллейбусом мимо восьмиэтажного дома с магазином «Мясо» в первом этаже — Ляля ездит иногда на бульвар Кар-

бышева в срочную химчистку,— ей вспоминается вдруг кое-что из прошлой жизни, восемнадцать лет назад: Гриша, театр, старик режиссер, запах сирени весной, собака Кандидка, гремящая цепью вдоль забора,— и она испытывает странную мгновенную боль, сжатие сердца, не то радость, не то сожаление от того, что все это было с нею когда-то. А иногда проезжает мимо дома с «Мясом» как мимо совершенно пустого места, потому что забот у Ляли хватает, голова пухнет: о муже думай, о сыне-восьмикласснике думай, на работе все сложно, директор Дома культуры нагружает на Лялю посторонние дела, она трехжильная, вывезет, да еще местком, да еще занятия в кружке физвоспитания на стадионе «Динамо», где Ляля бегаёт по суббстам с пожилыми полковниками. Муж у Ляли военный, кандидат наук, преподаёт в академии. Папа, мама, тетя Тома, дядя Коля и даже несчастная Майка, моложе Ляли на пять лет, умерли за эти годы; старые друзья по театру исчезли, видеть никого из них не хочется (Ляля долго судилась, когда увольняли, боролась отчаянно, астму заработала в этой борьбе, но пришлось уступить), и у Ляли теперь повый круг — военные, инженеры, автомобилисты. Всеволод сам страстный автомобилист, каждое лето ездят с приятелями в две, три машины то в Крым, то на Карпаты, в Прибалтику. А от театральных, когда встречаются случайно, бывает только неприятное.

Как-то наткнулась в ГУМе в очереди за подушками на Машу, старую подругу. Как Машка изменилась! И лицом постарела, и вся какая-то ломаная, недобрая. Зачем-то рассказывала про Смолянова. Кому интересно? Ляля не помнила даже, как этот Смолянов выглядит, толстый или тонкий, в очках или без очков. Будто бы обеднял, захирел, пьес не пишет и живет тем, что сдает дачу жильцам на лето. Ну и бог с ним, ну и на здоровье, зачем все это знать?

— А у твоего Реброва с дочкой одной моей приятельницы роман!

— Да что ты?

Тут Ляля насторожилась, хотя напустила на себя равнодушный вид. Маша стала рассказывать: девчонка снималась в какой-то его картине, потом вместе ездили на фестиваль в Аргентину или в Бразилию, куда-то туда, и с ними ездил один общий знакомый... Но в это время очередь подошла к прилавку, завертелись в толпе, растерялись, и потом уж Ляля не стала ее искать. Про Реброва примерно знала: процветает, хорошо зарабатывает сценариями, живет на Юго-Западе, тоже есть машина, и, кажется, был уж дважды женат. Вот, собственно, и все. И она радовалась за него. Ведь всегда относилась к нему очень хорошо. Не знала одного: он часто думает о своей жизни, оценивает ее так и сяк — это его любимое занятие повсюду, особенно в путешествиях,— и ему кажется, что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни, потому что для счастья нужно столько же...

А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу — гибель, с каждым годом все гуще. Ляля удивляется: «И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повыврастали?»



БОРИС ПАСТЕРНАК

★

СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ

РЕМЕСЛО

Когда я, кончив, кресло отодвину,
Страница вскрикнет, сон свой победа.
Она в бреду и спит наполовину
Под властью ожидания и дождя.

Такой не наплетешь про арлекинов.
На то поэт, чтоб сделать ей теплей.
Она забылась, корпус запрокинув,
Всею тяжестью сожженных кораблей.

Я ей внушил в часы, за жуть которых
Ручается фантазия, когда
Зима зажжет за окнами конторок
Зеленый визг заждавшегося льда,

И циферблаты банков и присутствий,
Впивая снег и уличную темь,
Зайдутся боем, вскочат, потрясутся,
Подымут стрелки и покажут семь,

В такой-то, темной памяти событий
Глубокий час внушил странице я
Опомниться, надеть башлык и выйти
К другим, к потомкам, как из забытья.

(1928)

* * *

Деревя, только ради вас
И ваших глаз прекрасных ради
Живу я в мире в первый раз,
На вас и вашу прелесть глядя.

Мне часто думается,— бог
Свою живую краску кистью
Из сердца моего извлек
И перенес на ваши листья.

И если мне близка, как вы,
Какая-то на свете личность,
В ней тоже простота травы,
Листвы и выси непривычность.

1957

Из Шандора Петефи

МАРИЯ СЕЧИ

С венгерского

Рыцарское время доблести суровой!
Северным сияньем ты отполыхало.
Жаром вдохновенья озарю я снова
Родину героев старого закала,
Где царем вздымался дуб отваги смелой
И цветком любви царица роза рдела.

Двести лет назад Дёрдь Ракоци с войсками
В Венгрию пришел за дело веры биться.
В Гемерских горах за темными лесами
Крепости Мурань он увидел бойницы.
К самым облакам забравшись на высоты,
Замок ждал его, открыв ему ворота.

Бетлева вдова, краса Мария Сечи,
Вышла к Ракоци, сказав гостеприимно:
«Здравствуй, храбрый сын Эрдея, рада встрече,
Уваженье наше, видимо, взаимно.
Делу одному мы посвятили сердце.
Руку дай, пожму тебе, единомерцу.

Вот моя рука, дай мне свою спокойно.
В поводах к тому у нас нет недостатка.
Муж мой и отец вели со славой войны,
Да и я сама — не робкого десятка.
Так-то, Дёрдь. Теперь мы связаны судьбою.
Недруги — друзья у нас одни с тобою».

Ракоци Марии выделил охрану
И пустился с войском дальше в путь-дорогу.
Он считал, что, если враг придет неожиданно,
Неприступны склоны горного отрога.
За черту громов ушла Мурань на круче,
Молнии топча и попирая тучи.

И пришли войска на штурм твердыни дерзкой.
Вел их полководец Ференц Вешелени.
Подступив к Мурани с армией имперской,
Он дает гонцу такое порученье:
«Подымись в Мурань и, умысла не пряча,
Объяви им бой или потребуй слачи».

В форт придя, гонец смущен явленьем странным:
Женщина выходит из-за бастиона.
«Я поговорить хотел бы с капитаном».
«Говори, я здесь начальник обороны».
Стал в тупик гонец и смотрит на Марию.
Воина такого видел он впервые.

Победив смущенье, говорит, однако:
«Отвори добром ворота, а иначе
Силой их взломаем, бросившись в атаку.
Что мне передать? Согласна ль ты на сдачу?»
Гордо улыбнулась не моргнувши глазом
Сечи и гонцу ответила отказом.

Рассказал гонец, когда пришел обратно,
О переговорах. Слушал Вешелени
И не знал что думать. Было непонятно,
Сердце или ум задело донесенье.
Тучей он смотрел в тревоге незнакомой
И метал такие молнии и громы:

«Только этих лавров мне недоставало —
Пушки наводить на чепчики и кички!
Наступлю ногой на кончик покрывала,
Голову с тебя сорву я с непривычки!
В кладовой ли пусто у тебя, чертовка,
Что пришлось на саблю променять шумовку?»

Слава ли моя сюда не долетела,
Что она со мною связываться смеет?
Завтра ведь заря от грохота обстрела,
Вспыхнуть не успев, смертельно побледнеет!
А к восходу солнца на обломках зданья
Трубку разожгу я головней Мурани.

Женщина в доспехах! Странное явленье!
Как мужчина в юбке или же в корсете.
Я об амазонках слышал измышленья,
Значит, в самом деле есть они на свете?
По словам гонца, она к тому ж красива.
Надо непременно посмотреть на диво».

Время шло лениво, долго, безысходно.
Как сороки треск и ворона галденье,
Спорили в душе его поочередно
Демон любопытства и желанье мщенья.
Ночь прошла. Светает. Будет загляденье
Наблюдать зарю с развалин укрепленья!

Вот и сам рассвет на звонкой колеснице,
Словно победитель, катит по долине.
На плечах багряный ментик шевелится.
В шапке светится звездой перо навлинье.
Он зарезал ночь, снял голову с казенной
И забрызгал кровью полог небосклона.

А ряды тумана из обоза ночи
Бросились бежать и быстро поредели.
Разметенной мглы разрозненные клочья
Спрятались внизу, на самом дне ущелья.
Как бы удавившись с горя и позора,
Всюду вис туман на соснах косогора.

Чу! В Мурани трубят сбор, гремят оружием,
Видя, что снаружи враг пришел в движенье.
«В бой друзья! Примером храбрости послужим!» —
Раздается слово воодушевленья.
Зов Марии льется жаворонка трелью,
Звонко отдаваясь в глубине ущелья.

Бесновался конь под ней разгоряченный,
Удила грызя и фыркая все время.
Всадница бряцала саблей золоченой,
В панцире стальном, в стальном блестящем шлеме.
Панцирь, сабля, шлем отсвечивали резко,
Но в глазах Марии было больше блеска.

Люди позади лихого командира
Ждали, чтоб завыли вражьи пушек глотки.
Как цепные псы, оскалились мортиры,
Глядя с ближних гор на замок посередке.
И однако вместо пушечного грома
Входит в замок новый вестник, незнакомый.

Он — красы мадьярской лучшее наследье,
И его глаза, как факелы отваги,
Светят по дороге к смерти иль победе.
Вот он поднял их и стал белей бумаги.
Перед ним Мария. Кровь с лица мгновенно
Скрылась в угол сердца самый сокровенный.

Он стоял пред ней, соображая туго,
Сам без языка, как колокол разбитый.
Все сочли, что он молчит от перепуга,
Лишь одной Марии было все открыто.
Женщина всегда прочтет в душе мужчины,
В чем ее красы пленительность повинна.

Прелестью своей гордясь и торжествуя,
Что она бедняге голову вскружила,
Всадница к гонцу подъехала вплотную
И улыбкой край зубов полуоткрыла.
Конь одним прыжком осилил расстояние.
И тогда гонец с трудом прервал молчанье

«Госпожа! — сказал он. — Мой начальник снова
Предлагает сдать. Вдумайся серьезно.
Всякий, кто сперва не слушается зова,
Кается, когда раскаиваться поздно.
Грозны наши пушки. Видишь их свирепость?
Львы дохнут огнем и сдунут вашу крепость».

«Поблагодари сердечно полководца,—
 Молвила Мария.— но пускай он знает,
 Что у нас решили до конца бороться
 И напрасно нас он предостерегает.
 Знай, у наших ног в исходе передраги
 Лягут ваши львы, как мирные дворняги.

Замок на скале и укреплен неплохо,
 Но не будь и этих башен из гранита,
 Руки и мечи до рокового вздоха,
 До последней капли крови нам защита.—
 Хлопнувши рукой по сабле золоченой,
 Кончила Мария воодушевленно:

— С богом! Приходите. Дрогнут наши стены,
 Сами мы тогда подыдемся стеною.
 Крепость может пасть, но храбрость неизменна,
 И уж если мы умрем, то как герои.
 Мы умрем, не видя, как потом над нами,
 Оттеснив наш стяг, взовется ваше знамя».

На нее смотрел гонец в оцепененье,
 И слова Марии пропадали даром.
 Дух его пылал, как будет все творенье
 В страшный судный день охвачено пожаром.
 Поклонился он, а может, без поклона
 Удалился, прямо в сердце пораженный.

Юношу Мария провожала взглядом,
 Сетуя, что с ним так мало говорила.
 «Он бы до сих пор стоял со мною рядом,
 Глядя на меня так пылко и уныло.
 Больше бед наделать мог гонец несмелый,
 Чем его начальник батареей целой».

Только у ворот опомнился насилиу
 Молодой гонец, позвал сторожевого,
 Попросил в сторожку принести чернила
 И присел черкнуть по делу два-три слова.
 «Сплоховал я, брат,— сказал он,— в замке вашем,
 Как гонец осман пред королем Матьяшем.

Гаркнувши: «Султан привет шлет властелину!» —
 Смог он и ни с места, стал балда балдою.
 С языком отсохшим так и я, дубина,
 Только что стоял пред вашей госпожою.
 Здесь есть все, что я забыл сказать в смущенье.
 Передай письмо скорей по назначенью».

Сторож снес письмо. Верхом, как прежде, сидя,
 В чтении письма Мария погрузилась.
 Хорошо еще, что, бедная, при виде
 Этих строк с коня на землю не свалилась!
 Спешившись и внешне овладев собою,
 Со двора она ушла в свои покои.

О, как не терпелось ей одной остаться!
Чуть к себе вошла, раздумывать не стала,
Панцирь свой сняла, чтоб лучше отдышаться,
Так теперь ее вооруженье жало.
Сердце билось с болью, прежде неизвестной,
Отшвырнула шлем, ей в шлеме было тесно.

Если скинуть шлем и сбросить панцирь можно,
Надо ли, чтоб сабля на боку моталась?
И ее сняла Мария осторожно,
Точно на нее теперь взглянуть боялась.
Та, что обнаженной саблею махала,
С робостью теперь ее в ножнах держала.

Пребратился Марс в Венеру. Шум прибоя
Переходит так в безветрия затишье,
На закате после духоты и зноя
Солнце золотит остынувшие крыши.
И глаза, что прежде молнии метали,
Розы щек в росе счастливых слез купали.

Много раз прочла записку, раз за разом.
«Женщина превыше всех! — она читала.—
Ум был у меня единственный, и разум
Я не уберег, и ты его украла.
Тысяча сердец зато ему замена,
Отдаю их все одной тебе, бесценной.

Надо увидаться до начала боя.
Может статься, я паду в его разгаре,
Умереть, пред тем не свидевшись с тобою,
Было б равносильно ада вечной каре.
Покажись хотя бы лишь на то мгновенье,
Сколько надо сердцу на одно биенье.

Укажи мне путь, какой тебе угодно.
Я к тебе пробьюсь чрез пламя преисподней,
На тебя взгляну — и радостно, свободно
Смерть из рук твоих приму хотя б сегодня.
Свой ответ отправь Ференцу Вешелени —
Это он к тебе являлся в укрепленье».

Вот письмо какими чувствами дышало.
Но не поддается вовсе описанью,
Что с Марией случилось, что обуревало
Всю ее при чтенье этого посланья.
Над душой промчалась буря грозовая,
Словно в море волны белые вздымая.

В этом море сердце, маленькая шлюпка,
Смело вдаль гребло сквозь волны и буруны.
Ах, оно везло в своей обшивке хрупкой
Целый мир надежд, сокровища подлунной.
Берег был далек, но цель уж засветилась.
Впрочем, все равно: она на все решилась.

«Напишу ему»,— Мария прошептала.
Села, замечтавшись над пустой страницей,
Мысль из-под пера скользила, ускользала,—
Нет, она писать была не мастерица.
Наконец в своей растерянности шалой —
«В полночь будь у южной башни»,— написала.

Сам не зная, как попав в свою палатку,
Лег в ней Вешелени на медвежью шкуру.
Жестким мех казался, постлан был негладко,
Вешелени встал и вышел, злой и хмурый.
В поисках помягче постланной постели
Лег на голый камень в глубине ущелья.

Высилась скала как раз против Мурани.
Он в раздумье сел под сенью старой ели.
Снизу доносилось ручейка журчанье,
Птичек голоса над головой звенели.
Раньше он совсем не замечал их пенья,
А теперь впервые слушал в умиленье.

«Наконец, нельзя так! — он вскричал с досадой.—
Я заморожен! Я только ею занят!
Мир завешан силой колдовского взгляда!
Занавес на всем, и тьма мой взор туманит.
В занавесе дырка проткнута иголкой,
Чтобы этой ведьмой любоваться в щелку.

Хороша, смела! Мы были б славной парой.
Схоронив жену, я горевал неволью,
Но пришел в себя я скоро от удара —
Так она была скучна и богомольна.
Лучше б до меня она пошла в монашки.
В браке состоять совсем не шло бедняжке.

О, любовь, любовь! Нежданной гостьей чудной
Ты пришла ко мне. Сказать тебе спасибо
Иль проклясть, что кончен сон мой непробудный,
Что могла ты сдвинуть каменную глыбу?
Вдруг она ответит гордо, нелюбезно?
Не толкай меня, безумье, к краю бездны».

На Мурань взглянув с угрозою впервые,
Он пошел в шатер и замер на пороге:
В глубине палатки ждал ответ Марии.
У него едва не подкосились ноги.
Став белей бумаги, он волнение спрятал
И письмо рукой дрожащей распечатал. .

...Вот и ночь пришла, видений королева,
Месяц в волосах у ней венцом сияет.
Гибель звезд алмазных на груди у девы --
Как ни при каком дворе не насчитают.
Но сейчас пришла царица без регалий —
Небо затянуло, звезды не сверкали.

Ночь пришла в плаще, под черным капюшоном.
 Может быть, и ей свиданье предстояло?
 Вешелени ждал во рву под бастионом
 И о милой думал. Время шло, бежало
 Вдруг он вздрогнул: в башне на краю обрыва
 Пробыло двенадцать гулко и лениво.

Он считал удары. Как он волновался!
 Из окошка сверху к башни основанью
 Лестницы конец веревочной спускался.
 Вешелени вверх полез без колебанья.
 Что ждало его? Блаженство или плаха?
 Все равно. С окна он прыгнул внутрь без страха.

Он застал ее одну, но в ореоле
 Тысячи красот, с почетной свитой всею —
 Темно-синих глаз, волос чернее смолы,
 И вишневых губ, и белоснежной шеи.
 Лампа на столе от ревности дрожала,
 Чувствуя, какое чудо освещала.

«Я пришел, — сказал он, — выразить сначала,
 Как я благодарен за великодушье.
 Повторять ли вновь, что ты уже читала?
 Душу ты во мне растормошила! Слушай:
 В одиноком сердце, мертвом и угрюмом,
 Птицей вьет любовь гнездо с веселым шумом.

Это сердце дрожью все теперь объято
 Не как розы куст от ветра дуновенья,
 Но как иногда качаются Карпаты
 В миг, когда колеблет их землетрясенье.
 Это сердце — крепость, и она — во власти
 Овладевшей ею величайшей страсти.

Но скажи, что ждет меня в судьбе тяжелой?
 Жалость ли твоя? Или благоволение?
 Женская насмешка? Гордости уколы?
 Или на вершине моего мученья
 Ты надежды замок возвести решила?
 Объясни, зачем меня ты пригласила?»

«Хочешь знать зачем? — переспросила Сечи. —
 Потому что я горю к тебе любовью.
 Сердцем и рукой, поверь чистосердечью,
 Я теперь твоя, но вот одно условие:
 Докажи и ты мне искренность желанья,
 Будь со мною вместе в протестантском стане».

«Нет, — он ей ответил гвердо и сурово, —
 С этим разум мой не может примириться.
 Требуй жертв, проси чего-нибудь другого.
 Ты дороже жизни мне. Но есть границы.
 Жизни мне не жаль, но выше честь и имя.
 Даже для тебя не поступлюсь я ими.

В верности поклявшись цезарскому стягу,
 Я по гроб останусь верен клятве этой.
 Если научусь я нарушать присягу,
 Как сама поверишь ты в мои обеты?
 Пожелай другого, сжался надо мною,
 Или я уйду с разбитою душою».

Между тем Мария тихо, молчаливо
 Любовалась им и втайне ликовала:
 «О, как хороши души его порывы!
 Я его себе таким и представляла.
 Что же делать мне? Для нашего блаженства
 Стать отступницей, пойти на отщепенство?»

И она сказала с яростью притворной:
 «Если, оказалось, ты такой безбожник,
 Что не покорился истине бесспорной.
 Что ж, ты не уйдешь отсюда, ты — заложник.
 Раз пренебрегаешь ты постелью брачной,
 Есть другая спальня, там темно и мрачно».

Потайную дверь Мария отворила.
 Рядом был застенок с черным эшафотом.
 Глянул Вешелени, но не страх унылый —
 Жгучий стыд покрыл его холодным потом.
 «О глупец! — вскричал он. — О глупец влюбленный,
 Простотой своей и страстью ослепленный!

Я предвидел ведь, подозревал ловушку
 И пришел, однако, к своему позору!
 Где помощник твой! Поторопись, подружка!
 Кончены мои с тобою разговоры.
 Обезглавь меня, зарой в могильной яме
 И укрась мой холм ослиными ушами!

Тот, кого сам бог войны щадил в сраженье,
 Женскими руками глупо пойман в сети!
 Но при чем тут ты и это обвиненье?
 Каждый жнет, что сеял. Это я в ответе!
 Приступай скорей к заслуженной расплате.
 Не тебя, себя я предаю проклятью»

«Думать брось о плахе! — женщина вскричала. —
 Не на плаху, нет, сюда, в объятья эти!
 Силы нет такой, чтоб между нами стала.
 Жребий наш записан на одной планете.
 А чтоб честь твоя осталась без изъяна,
 В вере я сама отступницею стану.

Мне единовверцы не простят разрыва.
 Близ тебя я, верно, справлюсь с этой болью.
 В будущем, надеюсь, вникнут справедливо
 Почему я тут не доиграла роли,
 Почему в итоге я не удержалась —
 И в воительнице женщины сказалась.

Я стыжусь, что я платила дань актерству,
Унижая тем военные доспехи.
На плечах мужчины это не притворство,
И война не шутка и не для потехи.
Роза, цвет любви,— вот в чем одном по праву
Женское оружие, женская держава».

Через день в Мурани загремели пушки.
Только это были залпы холостые,
Громовой салют на свадебной пирушке
Князя Вешелени и его Марии.
Долго ли на этой свадьбе пировали,
Не слыхал, но знаю лишь, что без печали.

Двести лет спустя я был тут мимоходом.
Шума прежней жизни не было в помине.
Розы осыпались грустные пред входом
В старую Мурань, забытую твердыню.
Розу я сорвал. Быть может, роза эта
Выросла из праха женщины воспетой.



ЖАН-ЛУИ КЮРТИС

★

МОЛОДОЖЕНЫ

Роман

Жан-Луи Кюртис (род. в 1917 году) занимает видное место среди современных французских писателей. За свой первый роман «Молодые люди» (1946) получил премию Казе, а год спустя премию Гонкура за «Леса ночи». С тех пор издавал книгу за книгой. Роман «Молодожены» вышел в свет в 1967 году.

— Конечно, номер во дворце, с балконом на лагуну, совсем не то что наша гостиничка. Слушай, давай переедем туда на одну ночь. На одну единственную, последнюю? Можем мы себе это позволить? Как ты думаешь, сколько стоит такой номер в сутки? Дорого?

— Десять тысяч лир, наверно.

— Пустяки! Разрешим себе? Шикнем в последнюю ночь?

— Посмотрим. В зависимости от того, как у нас будет с деньгами. В четверг или в пятницу я тебе точно скажу, получится или нет.

— Знаешь, мне жутко хочется! Чтобы хоть разок, хоть на один вечер почувствовать себя богатой.

— Конечно, если отказаться от посещения виллы Барбара, я думаю, мы смогли бы...

— А что в этой вилле Барбара?

— О! Это одна из палатинских вилл, там фрески...

— Да ну ее к черту!

— ...Веронезе.

— Мы уже обегали столько музеев и церквей!.. Живопись и все прочее — это, конечно, прекрасно, но... Я предпочитаю провести одну ночь в «Даниели». А всем расскажем, что жили там все время. Ладно?

— Ну ты и обманщица, пижонка! Пошли, нам подали нашу ладью.

Он берет ее за руку, и они бегут к причалу. Им весело. Допотопный катерок, пыхтя, разворачивается. Они в шутку называют его ладьей, посмеиваясь над итальянской высокопарностью. Ладья Тристана и Изольды, ладья Антония и Клеопатры. Группы туристов идут на набережной. Они спешат, вид у них сосредоточенный. Эти люди заплатили за развлечения и полны решимости получить за свои деньги сполна. Она поворачивает голову: у гостинички «Даниели» молодая пара, судя по всему — американцы, сидит в глиссер. Лакей в сине-белом полосатом жилете несет их матерчатый сак. Гондольер (соломенная шляпа с развевающейся красной ленточкой, матросский воротник) поправляет желтые подушки на сиденьях. Роскошный глиссер так и сверкает надраенной медью и никелем. Молодые люди удобно располагаются. Обоим лет по тридцать. Оба бронзовые от загара, этикие великолепные животные. Какая свобода в движениях! И эта улыбка. Их одежда сидит так безупречно, что кажется второй кожей, словно они в ней родились и она редела вместе с ними. Нет, в самом деле, американцы — это просто фан-

тастика! Ну и конечно, они держат друг друга за руки, как и положено. Когда любишь.

— Обожаю нашу ладью, — говорит она с чуть наигранной нежностью. — Правда, очень уж демократично — так и отдает оплаченным отпуском, — зато весело.

В Лидо у них «свой» пляж. Как и «своя» ладья, он тоже отдает тем же оплаченным отпуском, и выбрали они его, конечно, не потому, что он им так уж понравился, а по необходимости. Пляж этот примыкает к городскому, бесплатному, и кабинка для переодевания — самое примитивное сооружение — стоит здесь всего триста лир в день. Каждые пятнадцать минут туда отправляется автобус, но он всегда битком набитый. Всегда. Поэтому чаще всего они идут пешком. Пройти надо с километр, вдоль огороженных частных пляжей, все более и более дешевых, по мере того как удаляешься от Эксельсиора, где нежатся на солнце сильные мира сего. «Эта прогулка, — сказал он как-то, — предметный урок экспериментальной социологии: видишь все социальные перегородки внутри христианской демократии».

На полпути она вдруг садится на скамейку. Он присаживается рядом и спрашивает с тревогой:

— Ты устала?

Она отрицательно качает головой. Однако он замечает, что она бледна и у нее круги под глазами.

— Ты что-то чувствуешь? — спрашивает он, и взгляд его скользит по ее талии.

— Нет. Еще рано. Кажется, до начала третьего месяца не чувствуешь ничего.

— Тебя не тошнит?

— Сейчас нет. Я немножко...

Она так и не договаривает. Она улыбается.

— Просто я берегу себя.

— Интересно, на что оно теперь похоже?

— Комочек желатина наподобие головастика. Мерзость, должно быть, изрядная.

— Когда я думаю о том, что ты... что это вот тут... — Он бережно коснулся ее живота. — Я все время об этом думаю.

— Ну знаешь, ничего тут сверхъестественного нет, — говорит она. — С сотворения мира миллиарды баб... Восхищаться тут особенно нечем.

— Нет, есть чем, если знаешь, что ты ответствен... Я еще не привык к этой мысли.

Она спрашивает, в самом ли деле это что-то значит для него. Что до нее, то, кроме смутного чувства страха и постоянной боязни тошноты, она пока ничего не испытывает.

— Не очень-то романтично, — заключает она, вставая.

И они идут дальше, к самому дальнему пляжу.

— Мы вернемся сюда через несколько лет, — говорит он. — Вот тогда мы совершим наше настоящее свадебное путешествие. Денег будет побольше.

Она искоса взглядывает на него, и губы ее растягиваются в неопределенной улыбке:

— Ты думаешь?

— Что мы вернемся или что будет больше денег?

— И то и другое.

— Да, думаю. Мы остановимся в отеле «Даниели», номере-люкс с анфиладой комнат. А может, снимем для нас двоих желтый дворец.

Ее улыбка стала более определенной.

— Договорились. Сегодня же пойдем на Большой канал выбрать себе дворец. Всегда все лучше делать заблаговременно.

На пляже она ложится на спину и вытягивает руки вдоль тела. «Ты — египетская статуэтка, тебя только что вынули из неск... где ты пролежала три тыся-

чи лет, но время не тронуло тебя». Она небольшого роста, но сложена идеально. Белый купальник удачно оттеняет матовость ее кожи. Он устраивается рядом, но так, чтобы все время любоваться ею. Он не в силах отвести от нее глаз, это ясно. Нетрудно также догадаться, что ему все время хочется касаться ее рукой, целовать ее, как-то невзначай до нее дотронуться. Маленькая египетская богиня, поверженная на песок, она лежит на солнце не шелохнувшись, но он все время в движении, он ничего не может с собой поделать. Он то украдкой касается ее плеча, бедра или колена, то наклоняет голову так, словно приникает к микроскопу, чтоб разглядеть ее гладкую, бархатистую, нежную кожу. Проходящие мимо мальчишки и девчонки цвета пеклеванного хлеба бросают на них те беглые, но цепкие взгляды латинян, которые за долю секунды схватывают все, оценивают ситуацию и выносят беспощадно точный приговор: молодожены (у обоих обручальные кольца), небогаты, поскольку они здесь, а не там, она красивее его, он — более влюблен.

Теперь, встав на колени, он склоняется над ней и втирает ореховое масло в отполированное, будто отлитое из бронзы тело. Он нежно поглаживает ей спину, тихонечко массирует ее. Его движения сладострастно-медлительны; процедура эта стала обрядом — словно он бальзамирует умершую или живую девушку, готовя ее к бракосочетанию с богом. Потом он вытирает руки махровым полотенцем. Она переворачивается на живот и сдвигает бретельки лифчика, чтобы плечи загорали ровно. Она просит передать ей газеты и сигарету. Он поспешно вскакивает, он счастлив, что может чем-то услужить ей, сделать приятное, окружить ее заботой, хоть что-то добавить к ленивому благоденствию этого дня. Она говорит:

— Спасибо, дорогой, ты просто прелесть!

Она листает газету — это художественный еженедельник. Задерживается на странице, посвященной кино и театру.

— Смотри-ка, новый фильм Премингера. Надо пойти, как приедем, это must.

Он улыбается, быть может из-за этого английского слова, которое она произнесла с милым парижским акцентом; быть может, его позабавила и умилила фривольность маленькой египетской богини, которая скоро станет матерью... Он говорит:

— Да, дорогая, обязательно пойдем.

Себе он купил «Монд». Он хочет быть в курсе всего, что происходит в мире, знать, как разворачиваются военные действия там, где еще бушует война, каковы последние достижения в покорении космоса, насколько остры сейчас расовые конфликты... Каждый день он приносит с собой на пляж и книгу, но ему еще ни разу не удалось ее даже раскрыть — время уходит на купанье (в теплой воде Адриатического моря можно плавать часами), на созерцание жены, на разговоры с ней, на обряды «бальзамирования» и прислуживания (то подать ей сигарету, то газеты, то еще что-нибудь в этом роде) и на глазенье по сторонам, на наблюдение за кипящей вокруг жизнью, неизменной, но вместе с тем постоянно меняющейся.

Вот продавец мороженого, его выкрики «gelati!»¹ напоминают боевой клич, столь воинственны интонации его голоса, он проходит вперед-назад по пляжу каждые двадцать минут с регулярностью челнока на ткацком станке. Ровно в три часа появляется развязная девчонка, еще совсем подросток, похожая на кузнечика — длинные тонкие ноги и коротенькое туловище; ее всегда сопровождает эскорт из пяти-шести мальчишек, приплясывающих на ходу под звуки транзистора болтающегося у нее на плече. Не обходится дело и без вечно орущей матроны — «такую мы видели сто раз в фильмах, помнишь «Августовское воскресенье»?». Первые дни их забавляла эта атмосфера средиземноморской комедии, они словно каким-то чудом попали в кадр итальянского неореалистического фильма. Но постепенно все это перестало их забавлять: транзисторы орали чересчур громко, мальчишки были слишком наглы, и весь этот пестрый мирок оказался скорее вульгар-

¹ Мороженое (итал.).

ным и грубым, чем живописным... Да и без грязной, засаленной бумаги, которая повсюду валялась, тоже можно бы обойтись.

Когда они возвращаются назад на своей «ладье», он говорит, что не может наглядеться на город, особенно в этот час. Венеция в действительности еще волшебней, еще прекрасней, чем рисовалась в мечтах, чем представлялась воображению по картинам, книгам, фильмам. И добавляет как бы извиняясь:

— Каждый вечер я повторяю одно и то же... Ты, верно, считаешь, что я заговариваюсь!

— Вовсе нет, дорогой, я думаю о том же, о чем и ты, — с горячностью возражает она.

— Да, но ты не повторяешь все время одно и то же...

— Ну и что? — прерывает она. — В каждом есть что-то косное. Когда живешь вместе, надо с этим мириться, это несложно. Лучше говорить все, что приходит в голову, зато чувствовать себя раскованным.

— Но я так боюсь тебе наскучить...

— Бедная я, несчастная! — говорит она приглушенным голосом, с нарочитым отчаянием. — Я вышла замуж за самого большого идиота на свете!

Они смотрят друг на друга с улыбкой. Она чмокает его в щеку и склоняет голову ему на плечо. Он чуть приоткрывает рот, словно задыхаясь под бременем счастья.

— С ума сойти, как я загорела за неделю! — говорит она. — Гляди! — Она протягивает ему свою обнаженную руку. — Я темнее тебя. Ко мне загар лучше пристает.

— Это солнце к тебе пристает, оно в тебя влюбилось.

— Ах, как вы галантны, господин мой муж.

Гостиница, в которой они остановились, точнее пансион, расположена за la Salute². Из окна их номера виден кусочек лагуны с la Giudecca³ вдали, а если высунуться, то виден даже фасад Redentore⁴. Гостиница чистая, относительно тихая и недорогая, но вечером надо не опоздать на последний varogetto⁵, чтобы переправиться через канал, — брать каждый раз гондолу им явно не по карману. Эта необходимость, по ее мнению, портит все удовольствие... — «мы как загородники — вечно озабочены, как бы не опоздать на последний поезд...» — все удовольствие от вечера на площади Святого Марка. Хочется пошататься там подольше, «когда уже почти нет туристов и Венеция принадлежит только нам». Ей хочется также «хоть разок» попозже посидеть в баре «Гарри», потому что после полуночи там можно встретить, она уверена, «интересных людей».

— А кого ты называешь интересными людьми?

— Иностранцев, которые часть года проводят в Венеции. Тех, кто купил здесь дворцы. Южноамериканских миллионеров.

— Ты считаешь, что они интереснее других?

— Еще бы! Богатые, знаменитые люди всегда интересны.

— Но почему, объясни мне?

— Да хотя бы по одному тому, что они богаты и знамениты. Они не как все. Этикие прекрасные чудовища. Не говоря уже о том, что они могут, невзирая на это, оказаться и не менее человечными, чем простые смертные.

Он давно уже обратил внимание на то, что она очень охотно употребляет прилагательное «человечный».

У себя в номере они ложатся на кровать, чтобы отдохнуть. Это час поцелуев и нежных ласк. Он хотел бы еще долго-долго лежать с ней вот так, это ясно, но она мягко, с милой улыбкой высвобождается из его объятий, говорит, что «надо быть благоразумными» и что давно пора одеваться.

Переодевание к обеду — весьма важный момент в их распорядке дня. Вернее, ее переодевание, потому что он, собственно говоря, справляется с этим в два

² La Salute — церковь святой Марии.

³ La Giudecca — один из больших островов Венеции

⁴ Redentore — храм Спасителя (Прим. перев.)

⁵ Пароходик (итал.)

счета. Он вообще охотнее всего пошел бы обедать в том виде, в каком был утром (полотняные брюки и сандалии), но она внушила ему, что куда приятнее переодеться, «обед должен быть праздником», и он покорно влезает в брюки из шерстяной фланели и синюю куртку с серебряными пуговицами; она настаивает и на галстук. У нее же на этот обряд уходит не меньше часа. Но он не жалуется. Он присутствует на этом ежедневном спектакле, на разыгрывании одной из мистерий женственности... «Туалет Клеопатры», — говорит он, и в самом деле в результате этого действия возникает некая экзотическая принцесса, ничуть не похожая на ту простую, без ухищрений девушку, которую он видел на пляже. Не похожую, но тоже на редкость красивую и удивительно привлекательную. Платье, украшения, волосы, блестящие от лака; но главное, косметика, которая придает глазам, оттененным сине-зелеными веками, миндалевидную форму, а всему юному ее лицу — эффектную неподвижность маски.

Впрочем, изменяется не только ее внешний облик, но и поведение, жесты. мимика и даже дикция; так, например, каждый вечер он снова поражается той особой манере, с которой его жена обращается с официантами или с хозяином ресторана, когда он подходит к их столу поздороваться. Кажется, что этот совсем особый светский тон она надела вместе со своим коротким «полувечерним» платьем, и обходительность эта стала такой же неотъемлемой частью ее туалета, как, скажем, запах дорогих духов. Он был в восторге от ее умения подать себя. В первый же вечер он сделал ей комплимент:

— Знаешь, я восхищен: с ума сойти, до чего ты элегантна! Я горжусь тобой!

— Собственно говоря, ты прав, — говорит она, когда они садятся за стол. — Я предпочитаю нашу тратторию великолепию «Даниели». Здесь хоть все подлинное. И обстановка и еда без туфты. — Она виновато прикусывает губу и смеется. — Ой, прости, дорогой! Я забыла, что ты не любишь этого слова.

— Да говори его себе на здоровье!

— Нет, нет. Не знаю, право, почему ты его не любишь, но раз так, я его навсегда исключу из обихода... Посмотрим, что же сегодня в меню.

Она долго изучает меню с видом знатока и все колеблется что взять, хотя выбор не так уж велик и она уже успела перепробовать все блюда.

— Ну что, возьмем *scampi*?⁶ Или лучше *scallopine*?⁷ А может, мне остановиться на *lasagne*?..⁸ Да, решено, я буду есть *lasagne*. Это забавно.

Он все еще не перестает удивляться ее способности находить «забавными» вещи, к которым, как кажется на первый взгляд, это определение совершенно не подходит, потому что они совсем из другой области. Когда речь идет о еде, то естественней сказать «вкусный», а когда говорят о произведениях искусства, то больше подходит, наверно, «прекрасный».

— Дорогая, ты всегда поражаешь меня неожиданностью своих определений, — говорит он весело. — По-твоему, *lasagne* забавно?

— Ну да, забавно есть. Не разберешь что это — овощи или мясо...

— Удивляюсь, как это ты еще не сказала, что забавны *la Salute* или площадь Святого Марка.

— Что ж, и они забавны в известном смысле. Все зависит от точки зрения. Для марсианина площадь Святого Марка должна быть безумно забавной — ну что, съел?

— Но ты же не марсианка.

— Конечно, дорогой. Из нас двоих скорее ты марсианин.

И они с нежностью посмотрели друг на друга. Ее глаза мерцают, как самцветы, должно быть из-за сине-зеленых век... Он шепчет:

— Слижу я горькую слезу, разбавленную сладким гримом.

Она изображает на лице испуг

— У меня потекли ресницы! Какой ужас!

— Это цитата.

⁶ Омары (итал.).

⁷ Эскалопы (итал.).

⁸ Лалша в мясном соусе с овощами (итал.).

- Точно. Откуда это?
- Маллармэ.
- Сколько стихов ты знаешь... Никогда бы не подумала. Ты ведь занимаешься наукой.
- Немножко.
- Правда, дорогой. От ученого у тебя одна рассеянность. Когда уж ты наконец изобретишь порох? А, вот и Марио.

К ним подходит хозяин, чтобы самолично взять заказ. Даже в таком дешевом ресторанчике это знак особого внимания. Синьор Марио всячески демонстрирует свою особую симпатию этой молодой французской паре «in viaggio di nozze»⁹. Он делает вид, будто всерьез флиртует с молодой дамой, оба дурачатся, не скупясь на жесты и мимику, и получают полное удовольствие. Она по-ребячьи радуется этой нелепой игре, ведет себя как принцесса, которой удалось вырваться из тисков этикета.

- Обожаю Марио, — говорит она, когда хозяин направляется к другому столику. — Он душка.
- По-моему, он позволяет себе слишком много. Ты не считаешь?
- Только попробуй сказать, что ты ревнуешь.
- Пожалуй, ревную немножко.
- Какая прелесть!
- Мне вдруг показалось, что все это уже однажды было.
- Было? Предатель! Ты ездил в Венецию с другой? Нет? Клянись, что этого не было.

— Клянусь! Клянусь, что этого не было, потому что этого не могло быть никогда! Провалиться мне на этом месте, если вру!

— Значит, ты водил какую-то девчонку в итальянский ресторан в Париже. Говори, кого?

— Нет, я никого не водил! Скорее это кадр из фильма.

— Что?

— Мне кажется... Должно быть, я видел в кино такую сцену: влюбленная пара в ресторане, и хозяин все время демонстративно ухаживает за дамой...

Она опускает глаза и несколько секунд смотрит на скатерть; кончиками пальцев она катает шарик хлеба возле тарелки.

— Ничего тут такого нет, — добавляет он, помолчав. — Кино теперь снимают про все.

В ресторан входит уличный певец. Он запекает «Torna Sorriento»¹⁰, сопровождая себя на мандолине, и пробирается между столиками. Вот он уже стоит возле нее. Он поет только для нее, словно это серенада. Муж стискивает пальцы, он изо всех сил старается сохранить на лице улыбку, но левый уголок его губ подергивается, как от нервного тика. Ему явно неприятно, что их троика привлекает взгляды всех, кто сидит за другими столиками.

Только некоторое время спустя, уже на террасе кафе «Флориан», он успокаивается: никто больше не обращает на них внимания, они уже не актеры, а зрители. Спектакль, который они пришли смотреть, это толчея иностранных туристов на площади. Она не устает (уверяет она) смотреть на эту «бесконечную киноленту». Иногда, правда, кажется, что она педалирует, демонстрируя эту свою увлеченность, играет ею словно веером, но он готов участвовать в игре: нет ничего приятнее (он говорил ей это уже несколько раз, как бы желая подчеркнуть их согласие во всем), чем вместе смеяться над одним и тем же. Помимо близости, больше всего роднит людей смех... Минуты, когда их обоих вдруг охватывало неудержимое веселье, относились, бесспорно, к лучшим за время путешествия.

— До чего все эти люди омерзительны, — говорит она (сегодня зрелище толпы на площади забавляло ее недолго). — Во всяком случае, большинство. Летом сюда не надо ездить.

⁹ Свадебное путешествие (итал.).

¹⁰ «Вернись в Сорренто» (итал.).

— А где летом не встретишь туристов? Разве что на Огненной Земле или в Гренландии.

— Ты только посмотри на них! Какие уроды! Надо бы запретить людям с такими рожами ездить в города вроде Венеции.

— Подлинный интеллеktуал, да еще левых убеждений...

— Прежде всего, я не считаю себя интеллеktуалкой. Потом, левые убеждения вовсе не обязывают проводить жизнь в обществе всякой шушеры.

— Ты их считаешь шушерой?

— Еще бы! И французы хуже всех. Ты видел, как сегодня утром группа молодых засранцев пела «Прощайте, до свидания!» перед Святым Марком?

Его передернуло от грубого слова: он не любит, когда она так выражается. Как-то раз он ей очень деликатно сказал об этом. Она тогда ответила: «Все девочки, которых я знаю, так говорят... Такова эпоха. И мы не святоши».

— Это были ребята из «Молодежного турклуба» или что-то в этом роде.

— Ну и что с того? Из-за них всю эту красоту хочется послать к чертовой матери...

После паузы она говорит нервно:

— Пойдем в бар «Гарри», переменим обстановку.

Он помрачнел. Быть может, он боялся этих резких перепадов настроения, этой внезапной депрессии.

У «Гарри» пусто, только трое парней лет по двадцати сидят на табуретах у стойки. Одеты они ультрамодно. Парни, видно, ждут кого-то и не знают, как убить время.

— Здесь лучше, — говорит она с удовлетворением. — На этих хоть смотреть не противно.

Она заказывает скотч. А парни преспокойно разглядывают ее, несколько не смущаясь присутствием мужа.

— Им, верно, здорово скучно, — говорит он тихо.

— Нет клиентуры, — отвечает она тоже шепотом.

— Какой клиентуры?

— Дорогой, ты что, с неба свалился?

— Ты думаешь, что... пожилые дамы?

— Или господа. Такие типы, как правило, «комбайны».

Он засмеялся.

— Смешно!

— Ты не знал этого слова?

— Нет. Впервые слышу.

— Клянусь, иногда я просто недоумеваю. откуда ты такой взялся.

— Зато ты чересчур в курсе всего. Подозрительно.

Они опять смотрят друг на друга и улыбаются. Тучи рассеялись. Это видно по ряду признаков, прежде всего по тому, как снова изменилось ее настроение. Она вновь обрела померкшую было привлекательность. Она оживленно поддерживает разговор, ее лицо то и дело освещает «ослепительная» улыбка. И больше она ни разу, ни единого раза не взглянула на тех трех типов у стойки.

В номере в полночь ее оживление снова меркнет.

— Какая программа на завтра?

— Санте Эльвизе, церковь, где два Тьеполо. А заодно осмотрим дворец Лаб-
биа — он неподалеку.

— А вообще, сколько в Венеции церквей? Нам еще много осталось?

Так как он молчит, она встает, подходит к нему и целует его в губы.

— Это не упрек, дорогой. Ты потрясный гид. Благодаря тебе я столько узнала! Но мы уже обегали такую прорву церквей. Я просто немного устала.

— Мы посмотрим Санте Эльвизе в другой раз, дорогая. Или вообще не посмотрим. Прости меня.

— Нет, это я должна просить у тебя прощения. Ты не сердисься?

— Ну что ты? Я понимаю, что ты устала. Я должен был сам об этом подумать.

Она садится на край кровати.

— Дай сигаретку. Мне еще неохота спать. А тебе?

— Мне тоже.

Он прикуривает и сует ей в рот зажженную сигарету. Садится рядом с ней. Обнимает ее.

— Как глупо,— говорит она,— что я не догадалась попросить Ариану дать мне письмо к ее друзьям. У нее здесь есть друзья. Люди с положением. Она называла мне их фамилию, но я забыла, а написать ей уже поздно. С темпами итальянской почты ответ от нее придет, когда нас уже здесь не будет.

— Ты соскучилась по обществу?

Он склонил голову ей на плечо, держит ее руку в своих и то и дело подносит к губам. Это как игра.

— Мы никого не видим,— отвечает она с напряженной улыбкой,— вот уже целую неделю.

— Но мы же в свадебном...

— Знаешь что,— перебивает она тоном человека, намеренного что-то уточнить.— Видеть я никого не хочу, но мне охота пойти к кому-нибудь на коктейль. Музыка... Знаешь, особая атмосфера, немного виски...

Он уже не подносит ее руку к губам. Молчание. Она тушит в пепельнице недокуренную сигарету. Она смотрит прямо перед собой.

— Что с тобой? — спрашивает она глухим голосом.

— Ничего.

— Нет, что-то есть. Это из-за того, что я сейчас сказала? Ты считаешь, что мне не должно хотеться пойти на коктейль?

— Нет, уверяю тебя...

— Я сразу чую, когда что-то не так. От меня ты ничего не утаишь.

Она поворачивается к нему и покрывает его лицо быстрыми поцелуями.

— Болван ты мой дорогой! Боишься, что я скучаю, ведь верно? Я в жизни не была так счастлива, как теперь. Ты мне веришь? Скажи, что ты мне веришь. Поклянись!

Они долго целуются. Он опрокидывает ее на кровать и прижимает к себе. Он закрывает глаза. Видно, он страдает. Спустя минуту или две она тихонько высвобождается из его объятий. Слышно, как в соседней комнате кто-то зашевелился, недовольно заворчал.

— Ну вот, этого типа мы явно разбудили,— шепчет она.— С ума сойти, до чего же рано ложатся в этом заведении! А перегородочки тонюсенькие! Скажи, тебе хочется спать?

Он снова ее обнимает.

— Мне хочется курить и разговаривать.— говорит она и вновь высвобождается из его объятий, на этот раз чтобы взять со стола сигарету. Потом она ложится на спину рядом с ним. Пепельницу ставит себе на живот. Затягивается и пускает струйку дыма.— Как только мы вернемся в Париж, надо будет искать квартиру,— говорит она.— На помощь Арианы я особенно не рассчитываю.

Он не спешит ей ответить, но она тормозит его, и он вяло говорит, что да, как только они вернуться, он займется поисками жилья.

— Не жилья, дорогой,— поправляет она,— а отдельной квартиры со всеми удобствами. Ведь есть новостройки с коридорной системой и общими уборными на этаже. Ты разве этого не знал?

Нет, он не знал.

Потом она говорит, что ей неохота жить у стариков, ни у своих, ни у его. Конечно, и те и другие «просто прелесть какие люди», но пропасть между поколениями в наш век не преодолеешь. Нет, они снимут меблированную двухкомнатную квартирку со всеми удобствами, где-нибудь в приличном районе. Это стоит примерно восемьсот новых франков в месяц. Да, сперва им придется удовлетвориться двухкомнатной квартирой. А потом, когда у него будет нормальный оклад...

— Кстати, предложение «Юниверсал моторс» еще не отпало? Тебе непременно надо туда устроиться. Ведь, в конце концов, у тебя квалификация куда вы-

ше, чем у Шарля, а он зарабатывает сорок тысяч в месяц. Почему бы тебе не получать столько же? У него ведь даже нет диплома инженера.

— Но у него зато коммерческое образование.

— Не важно, им нужны инженеры. Они ведь сами предложили тебе...

Она размечталась о будущем.

— А мне надо будет пристроиться в какую-нибудь газету.

Или на радио. У нее, говорит она, очень «микрофонный» голос. Хотя журналистика, пожалуй, больше подходит. Он ласково напоминает ей, что у нее уже двухмесячная беременность и что скоро она, возможно, не сможет работать вне дома. Нет, она с ним не согласна. В наш век, говорит она, женщины вкальвают до самых родов. Она вовсе не намерена запереться в мебелирашке на семь месяцев, торчать на кухне да шить приданое. Она слишком активна по натуре, чтобы вести такую затворническую жизнь. Ей во что бы то ни стало надо быть при деле.

— При каком деле?

— Ни при каком. Вообще при деле. Участвовать в жизни. Во всем, что происходит. Я хочу быть при деле. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Наконец она согласилась, что пора спать, но этому предшествовала неизменная церемония вечернего туалета, обряд приготовления к ночи. Обычно он просматривает газеты, ожидая, когда она вернется и он сможет пойти в ванную. Но сегодня, вместо того чтобы взяться за чтение, он продолжает лежать, вытянувшись на спине и подложив ладони под затылок, и глядит в потолок. Тишину нарушает сперва только бульканье льющейся воды да непрекращающееся гудение в водопроводных трубах. Потом сосед за стеной начинает вертеться на кровати и снова что-то бормочет во сне.

Свет погашен, и они больше часа в постели, но вдруг она вновь зажигает лампу у изголовья. Она лежит голая. Он щурится и моргает от света. Он улыбается. Он тоже голый. Несколько секунд они молча смотрят друг на друга.

— Ты счастлив, дорогой? — спрашивает она шепотом.

Вместо ответа он тесно прижимается к ней, вдыхает ее запах, словно свежий утренний воздух, утыкается в нее лицом. Она высвобождает руку и гладит его затылок.

— Видишь, Жиль, все хорошо.

— Я знаю...

У него хриловатый мальчишеский голос.

— Но тебя что-то огорчило сегодня? Признайся.

— Ничего. Пустяки.

— Нет, я заметила. Раз или даже два. Правда? Я, наверно, сказала что-то, что тебя задело.

— Нет, честное слово...

— Нет, да! Вот, например, насчет друзей Арианы. Когда я пожалела, что мы не взяли их адреса. Но знаешь, я ведь это сказала просто так. На самом деле мне никого не хочется видеть. Ты мне веришь, Жиль, дорогой?

Он еще крепче обнимает ее и несколько раз кивает, словно ребенок, который молча говорит «да».

Она гасит свет.

Мне кажется, что вот именно с этого дня все и началось. С того самого дня в Венеции, когда она сказала, что ей хотелось бы провести хоть одну ночь в гостинице «Даниели», чтобы почувствовать себя богатой. Да, все началось с того дня. Во всяком случае, так мне это кажется теперь, пять лет спустя. Конечно, и до этого у нас бывали размолвки, случалось, пробежала тень. Например, когда я познакомил ее со своими, и потом всякий раз, когда она приходила к нам домой одна или вместе с родителями. Ту некоторую затрудненность общения, которая возникла у нее с моими стариками, я приписывал их застенчивости, их старомодному прямодушию и обычному непониманию, существующему между поколениями. И нельзя сказать, что я был неправ: ведь факт, что все молодые, все мои ровесники, которых я знаю, которых вижу вокруг, с трудом общаются со старшими. По-

жилые люди удручают их, действуют им на нервы, наводят на них тоску. Я говорил себе: «Она как все молодые, она вполне современна. Мои родители тяготят ее не сами по себе, а потому, что они люди другой породы, той, с которой она не хочет знаться, — породы стариков». Еще во времена нашей помолвки нам случалось ссориться по пустякам. Я думал: «Любовные ссоры — у кого их нет!» И наши примирения бывали такими сладостными, что стоило нарочно ссориться ради счастья кинуться потом друг другу в объятия. Правда, и в день свадьбы... Ясно, конечно, всем ясно, какое испытание для девушки эта церемония, церемония, во многом определяющая всю ее дальнейшую жизнь, и так далее... Но в том-то и дело, что Вероника, несмотря на белое платье и фату, не была «девушкой» в том смысле, как это принято понимать. У нас уже не было тайн друг от друга и тем самым не было причины для страха (который, говорят, охватывает новобрачных, не имеющих опыта, хотя непонятно, почему ими должен владеть именно страх, а не радостное ожидание). Однако остается волнение, вполне понятное, когда играешь главную роль в маленькой социальной комедии, где все регламентировано традицией. Кстати, я был в полном восторге от того, как превосходно сыграла Вероника свою роль: словно опытная профессиональная актриса, которая бдительно следит за ходом представления и в случае нужды может заменить режиссера. Ее родители, мои, ее подруги и мои друзья — все по сравнению с ней выглядели жалкими любителями. Не говоря уже обо мне самом, которого такого рода действие свергает в оцепенение, сходное с параличом. Но Вероника с таким искусством сочетала в себе трепет с организаторским талантом и девственную скромность с авторитарностью распорядителя, что я мог не тревожиться насчет нашего будущего и заранее считать, что, имея такую жену, я буду как за каменной стеной. Руль наверняка окажется в ее надежных руках, и она доблестно поведет наш корабль, минуя опасные рифы, по бушующим волнам житейского моря. Я по-своему толкую факты, потому что смотрю на них с дистанции в пять лет, зная то, что знаю теперь, что мне пришлось узнать за эти годы. А тогда, в день свадьбы, мне кажется, я просто ошалел от восхищения. Я все твердил себе, что Вероника во всех отношениях куда взрослее меня и как мне крупно повезло, что она меня любит, а она меня действительно любила, в этом я не мог сомневаться, иначе вообще ни в чем нельзя быть уверенным в этом мире. К моему восхищению прибавлялось еще одно чувство, которое я назвал бы тогда уважением, однако, если бы у меня хватило ума разобраться в том, что я испытывал, я бы понял, что чувство это скорее походило на страх. Да, она, видимо, внушала мне какой-то смутный страх. Но страх этот был сбалансирован нежно и тайно хранимыми в памяти картинами нашей близости, где роли были распределены как должно, и поэтому я мог тише себя иллюзией, будто я хозяин положения... Итак, в день нашей свадьбы все шло почти как по маслу главным образом благодаря Веронике, ее удивительному искусству всем руководить, ни на секунду не переставая при этом быть скромной и прилично случаю взволнованной невестой. Да, все шло почти как по маслу, почти так, как обычно представляют себе «прекрасную» свадьбу в нашей среде — скажем, в среде просвещенных свободомыслящих обывателей, у которых есть четкое представление о том, как все это должно происходить, одним словом, у обывателей, ограниченных в средствах, но не пахнущих нафталином. Однако следует признать, что высшего шика не было. Что до моих — семья у нас скромная, без всяких претензий, — то они были всем довольны, даже слегка подавлены суматошной пышностью этой церемонии. У ее же родни, у которой гонора куда больше, я заметил несколько чуть заметных кислотоватых улыбок. Денежные траты, потребовавшие от обеих семей предельного напряжения, были нацелены главным образом на туалет и драгоценности невесты. Платье было сшито достаточно знаменитым портным. Фотография Вероники могла бы украсить обложку любого женского журнала ценою в полтора франка, а может быть даже — чем черт не шутит — и «Вог» или «Вотр ботэ»¹¹. Мы из кожи вон лезли. Обе семьи выложились до предела... Видит бог, все могло быть и хуже. Тучками, омрачившими в этот день небосвод, были ре-

¹¹ «Вог», «Вотр ботэ» — самые дорогие и известные журналы мод.

шительно неудавшееся рагу из куропаток и тетя Мирей. Моя тетя Мирей. Вот уже больше шестидесяти лет она — родная сестра моего отца и больше двадцати — крест нашей семьи. Тетя Мирей — девица, и теперь уже мало шансов, что она изменит свое семейное положение. Ее вкус по части одежды вызывал у нас жаркие споры. В свадебном кортеже она одна привлекала всеобщее внимание, потому что была в немислимом оранжевом платье с воланами, которое делало ее похожей на гигантского лангуста. Увидев тетю Мирей, Вероника побледнела как полотно. Их отношения и без того были натянутыми. А к концу обеда, когда тетя Мирей под действием «сотерна»¹² предалась необузданному веселью, ситуация стала просто катастрофической. Ее «серебряный» смех гремел, заглушая разговоры за столом, а несколько раз прогрохотал поистине гомерически, так что все общество едва не замолкло. Я видел, каким убийственным огнем вспыхивали глаза Вероники. Меня словно пытали на дыбе. Думаю, что моих родителей тоже. И все-таки ожидаемой катастрофы не произошло, хотя готов биться об заклад, что мы ходили по самому краю пропасти. Только после того, как обед был закончен и молодые гости предложили «закатиться» на вечер куда-нибудь и настояли, чтобы мы, Вероника и я, пошли вместе с ними, благо наш поезд уходил только в 23 часа 30 минут, — только тогда Вероника сорвалась. Впрочем, ничто этого не предвещало. Мы вышли на улицу — человек шесть более или менее молодых людей. Началась обычная невнятица: не знали, куда идти, ни на одном кабаке не могли остановиться, и все эти переговоры велись искусственно-оживленным тоном, еще больше подчеркнутым идиотскими шуточками... И вдруг Вероника расплакалась. Это длилось недолго — несколько раз всхлинула и тут же взяла себя в руки. Девушки захлопотали вокруг нее, я же сделал то, что от меня все ждали: обнял мою жену за плечи и стал шепотом ее успокаивать. Эту маленькую вспышку объяснили нервозностью и усталостью, напряжением этого дня. Однако я подозревал (собственно говоря, я был в этом уверен), что причиной слез была не усталость, а горечь: несмотря на дорогое платье от знаменитого портного, весь этот день был для Вероники полон разочарований: не слишком удавшийся обед, недостаточно элегантные подружки, не слишком представительные мои родители и несносная тетя Мирей... На очень короткое время, быть может на несколько секунд, я вдруг совсем разлюбил Веронику. Я обнимал ее за плечи, шептал ей на ухо нежные слова, но я ее не любил. Мне даже кажется, что если бы я определил словами чувство, которое овладело мной в те несколько секунд, я сказал бы себе: «Какого черта я торчу здесь рядом с этой психопаткой? Чего ей еще надо? Какое она имеет право презирать мою семью? Что это за чужая девица, с которой я надолго связал свою жизнь?» Но само собой разумеется, ничего этого я себе тогда не сказал. Волна обиды и отвращения, нахлынувшая на меня из самой глубины моего сердца, тотчас откатилась. А ночью в поезде (мы пошли на дикий расход и ехали в двухместном купе спального вагона) мы были очень счастливы: радость, которую мы доставляли друг другу, еще не иссякла и перед ней все остальное отступало.

В тот вечер в Венеции, когда хозяин трактира сам принимал у нас заказ, я на какой-то миг снова перестал любить Веронику. Второй раз с тех пор, как я сказал ей: «Я люблю тебя», — я переставал ее любить, охваченный тем же внутренним протестом, что и тогда, на улице, после свадебного обеда, хотя обстоятельства были совсем другие. Только на этот раз она, видимо, это заметила.

Я не очень ловок в отношениях с людьми. Я не из тех, кто с улыбочкой обходит все острые углы. Быть может, это придет со временем. Требования жизни и опыт помогут мне в конце концов обрести это умение принаравливаться, эту обходительность, которые так восхищают меня в моих современниках. В двадцать три года, когда я встретил Веронику, я был до странности лишен этих качеств. Изю всех молодых людей моего возраста ей меньше всего надо было встретить именно меня. Но я думаю, что в жизни случаются такие нелепые ошибки. Ей следовало бы встретить кого-нибудь вроде Шарля — парня, может, и недалекого, но духовно и физически полностью отвечающего стереотипу времени: атлетическая фигура,

¹² «Сотерн» — сорт белого вина.

мощная челюсть. Таких охотно фотографируют для рекламы крепких напитков и последних моделей автомобилей. «Человек, шагающий в ногу с эпохой, пьет только коньяк «бонето»; или: «Такой молодой — и уже генеральный директор? Ну да! Потому что Жерар всегда всюду приезжает первым в своей роскошной...» И далее следует марка машины. От такого типа никогда не услышишь ни одной оригинальной мысли, ничего личного, но откровенной глупости он тоже не брякнет. Он просто будет пересказывать то, что вычитал в двух-трех ходких еженедельниках, популярных в среде просвещенных буржуа. Я так и слышу его разглагольствования — хорошо поставленный голос, металлический тембр и эти интонации, которые тотчас вызывают в памяти образ изысканных и мрачных улиц в районе Пасси или парка Монсо. Если говорят, к примеру, об Алжире, он скажет: «Вот как мы должны были поступить...»; или, касаясь Европейского содружества наций, изречет: «Позиция, которую мы занимаем в общем рынке...» — словно он воплощает в себе и Францию и будущее нации. Он ведет себя как завсегдатай в самых шикарных ресторанах. С видом знатока он дегустирует вино и небрежным кивком подтверждает метрдетелю, стоящему в позе почтительного ожидания (внешне почтительного), что это местное вино вполне приемлемо. Он отлично разбирается в сортах виски, в сигарах и, конечно, в автомобилях. Зато он абсолютно не понимает смешного, в его словах нет даже намека на иронию, такие вот лбы начисто лишены чувства юмора, иначе они не были бы тем, что они есть. Но у него имеется в запасе, поскольку это модно, репертуар мрачных анекдотов, абсолютно не смешных, страшных и уныло-зловонных. Он расскажет, допустим, о маленьком мальчике, который просит отца повести его на каток. А отец ему отвечает: «Дурак, куда тебе кататься на коньках, у тебя же ноги отрезаны по самую задницу». Услышав такой анекдот, он не рассмеется, а изречет замогильным голосом с серьезной миной гробовщика: «Смешно-о-о», — удлинняя гласную в конце слова. А если бы он был чуть-чуть поинтеллигентней (такие тоже встречаются среди молодой поросли буржуазно-технократических джунглей, где самый отпетый конформизм трусливо маскируется под анархизм, чисто словесный, конечно, и вполне безобидный), он сказал бы «Этот анекдот разом перечеркивает все священные табу. Осмеяно решительно все — и детство, и увечье, и родительская любовь!» Меня эти господа умиляют. Бедняги, какие усилия приходится им ежеминутно тратить, чтобы не ударить лицом в грязь. Да, в самом деле, достоинство западного человека, представителя белой расы, на которое ныне так посягают, нашло себе убежище в этом архетипе молодого элегантного французского буржуа, оперативного и удачливого, да еще непременно с легким френком влево.

Я влюбился в Веронику с первого взгляда. И не только потому, что она была красивой — разве влюбляешься в красоту? Просто к тому времени я уже созрел для любви. Я хотел любить. Она подвернулась мне в самый благоприятный момент. В другой день я мог бы встретить ее и даже не обратить внимания или, во всяком случае, не испытать при этом ничего, кроме банального, мимолежного волнения, которое испытываешь всякий раз, когда видишь на улице изящный силуэт или приятное лицо. Случай свел нас как-то зимним вечером во дворце Шайо на концерте «Музыкальной молодежи». В тот год я вместе с двумя-тремя приятелями посещал эти концерты. В антракте нас познакомили, назвали только имена: Вероника, Жиль. Мы сразу перешли на «ты». В нашем маленьком суровом мирке, где все были «товарищами», друг другу говорили только «ты». Мне не очень понравилось ее имя, оно показалось мне вычурным и фальшиво-изысканным. Впрочем, оно ей и не подходило. Имя «Вероника» для меня чем-то связано с представленным о томности тридцатых годов прошлого века или с гривуазным кокетством эпохи Второй империи. Моя же Вероника не была ни томной, ни манерной. Это была просто современная девушка, очень в себе уверенная, может быть, даже излишне раскованная, но ее свободные манеры были в пределах хорошего вкуса. Она говорила резко, глядела собеседнику прямо в зрачки, смеялась, пожалуй, чересчур громко и курила, как мальчишка, «галуаз»¹³. Не знаю, что именно покорило меня.

¹³ «Г а л у а з» — сорт дешевых крепких сигарет.

Может быть, ее голос, какие-то неожиданные, интригующие интонации (которыми Вероника, как я потом обнаружил, прекрасно владела), хрипловатый тембр, удивительно красивый и завораживающий. Большой жадный рот, смягченный трогательными ямочками в углах губ. Одним словом, я тут же остро захотел ей понравиться. Повторяю, я готов был влюбиться в первую встречную девчонку, которой я пришелся бы по душе, лишь бы она хоть в какой-то мере внешне соответствовала тому типу, который меня волновал. А Вероника ему соответствовала, да еще как! Едва нас познакомили, как она вовсе перестала обращать внимание на всех остальных и сосредоточилась исключительно на мне. Эта откровенность привела меня в восторг... С тем же успехом она могла бы меня и насторожить. Но я уже отметил у своих сверстников, и девушек и ребят, удивительную свободу в выражении своих симпатий и антипатий. Да и я сам в этом отношении не обременял себя особым деликатничаньем. К тому же наш моральный кодекс действительно предписывал нам непосредственность, отвращение к лицемерию и накладывал запрет на ложь во имя вежливости. Мы даже кичились друг другом нарочитой грубостью, которую, впрочем, старшее поколение приветствовало в нас, словно добродетель. Короче говоря, Вероника в первую же нашу встречу дала мне понять, что я ей не безразличен. Я загорелся. Все решилось в тот самый вечер. Мы отделились нашей любви с неистовством и безрассудством, равно неискушенные в том, в чем большинство наших сверстников уже давным-давно преуспело. Впрочем, я все равно бы не мог перенять их тривиальный опыт. Я всецело отдавался порывам... Однако в один прекрасный день (он не заставил себя долго ждать) мне пришлось спуститься на землю. Вероника сказала мне, причем без особого волнения и тревоги, что она скорее всего беременна. Это известие сперва ошеломило меня, а потом, почти без перехода, меня охватила безумная радость. В первый миг мне показалось, что произошла какая-то нелепость чуть ли не непристойного свойства. Минуту спустя я уже не помнил себя от счастья. И тут же заговорил о женитьбе.

Мои родители приняли это с удивительным благодушием. Для них, как и для меня, не было и тени сомнения: я женюсь на ней, вот и все. В нашем доме никогда не заводили разговоров о нравственности, потому что нравственность подразумевалась сама собой. Без всяких обсуждений каждому было ясно, что хорошо и что плохо, и выбор, конечно, был всегда однозначным.

Вероника же, напротив, столкнулась в своей семье с большими трудностями. Интеллигентность и прогрессивность взглядов, присущая ее домашним, иногда странным образом давала сбой. Конечно, будь я одним из тех, кого называют молодые административные кадры, все было бы по-другому: ложный шаг их дочери был бы искуплен сладостно-современным смыслом слов «продвижение по службе». Но я не был одним из этих многообещающих молодых людей.

Я тогда еще не отдавал себе отчета в том, до какой степени Вероника дочь своих родителей. Я осознал это только в Венеции, когда она призналась в жгучем желании провести хоть одну ночь в «Даниели». Не в первый раз она не скрывала своей неудовлетворенности чем-либо, «обсчитанности», по выражению ее подруги Арианы («Я почувствовала себя обсчитанной», — говорила Ариана, когда хотела сказать, что ее что-то разочаровало). И прежде я не раз имел случай убедиться, что Вероника любит деньги, роскошь, хочет блистать в обществе. Но меня это нимало не огорчало. Я считал это чертой юности, которая в дальнейшем, под гнетом ответственности, обычно обременяющей человека в зрелом возрасте, непременно сгладится. «Она просто избалованная девочка». И еще — как бы это выразить? — она сама казалась мне чем-то вроде предмета роскоши: ее красота, ее манеры, ее одежда — на всем было как бы клеймо качества, которым я гордился. Да и как я мог упрекнуть ее в том, что она была такой, какой была, раз именно это меня, по сути дела, и восхищало в ней? К тому же я лениво надеялся, что со временем смогу раздобыть для этой драгоценности достойную оправу. Придется только запастись терпением, но мы молоды и влюблены друг в друга, мы сумеем подождать. Однако в тот день в Венеции я впервые испугался. Страх этот был едва осознанный, и я всеми силами пытался подавить его в себе. Сожаление Вероники по поводу того, что мы остановились не в «Даниели», было, видимо, первым пробив-

шимся наверх родничком из огромного подспудного озера. То ли внутреннее давление достигло тогда критического предела, то ли ослабли пласты сопротивления, но, так или иначе, на поверхности зажурчали слабые струйки и других фраз — этакие крошечные фонтанчики, в которых прорывались какие-то сожаления, желания, обиды: почему мы купаемся на самом дешевом пляже, а не на тех, что предназначены для богатых туристов? почему мы не знакомы с каким-нибудь богатым иностранцем, владельцем палатки? почему так тонки стены нашего номера? почему мы должны возвращаться в наш пансион до полуночи? И дело было не только в словах. Взгляд тоже вдруг становился обвиняющим. Например, взгляд, которым она окидывала мою одежду. Уже до нашей свадьбы Вероника, подтрунивая надо мной, как бы шутя сказала, что я далеко не эталон элегантности. Чтобы смягчить обидность подобных замечаний, сказанных, правда, милым тоном, она делала вид, что ей симпатична «моя богемность», как она это называла. «Пора мне все это взять в свои руки». — говорила она, или еще: «Ты настоящий парень, тебе не важно, в чем ходить. Не то что эти пижоны, которые кокетливой любой девчонки». Но она явно хотела, чтобы я был одет получше. На другой день после приезда в Венецию я надел новый костюм, который купил специально для нашего путешествия. Вероника этого костюма еще не видела и сразу же окинула его ледяным оценивающим взглядом: «Откуда он?» Я назвал магазин. Она криво усмехнулась: «Ясно. Бедненький мой Жиль. К счастью, теперь я сама буду покупать тебе костюмы. Но скажи, дорогой, неужели у тебя никогда не было товарища, с которым ты мог бы посоветоваться на этот счет?» Это было, насколько мне помнится, первое маленькое унижение, которое я вытерпел от нее, хотя она отнюдь не хотела меня обидеть. За первым последовало много других, куда более чувствительных. Но Вероника не была ни грубой, ни черствой. Она почувствовала, что больно задела меня, и весь вечер восхитительно старалась как-нибудь это загладить. Я объяснял моему злосчастному костюму чудесными минутами.

Я заметил также, что она всегда как бы играет роль. Я хочу сказать, что она все время что-то изображает то ли для себя самой, то ли для других (а скорее всего и то и другое вместе). Даже когда мы бывали только вдвоем. А в Венеции мы все время бывали только вдвоем. Например, вечером того самого дня произошло два незначительных эпизода. Сперва в ресторане, а потом в баре. Мне вдруг показалось, что она ведет себя неестественно, разыгрывает какой-то спектакль, а может быть, просто привлекает к себе внимание. Помнится, я даже отметил это. Я сказал, что наш обед напоминает мне кадр из какого-то кинофильма. Она смутилась. Я попал в точку: она и в самом деле словно видела себя самое на экране. А позже, в баре, Вероника оживленно болтала, смеялась и все прочее — для публики. Это было очевидно. Вся же публика состояла из трех сутенеров. Для них, для этих подонков, она изображала прелестную иностранку, этакую ультрасовременную диву, завсегдатаю космополитических баров. «Ладно, — сказал я себе, — она как ребенок, это все издержки возраста, а может быть, и социального происхождения. Это пройдет». И еще: «Она кокетка. Были бы зрители, а кто — ей безразлично. Это, должно быть, лежит в самой природе вечно женственного». Но все же у меня стало тревожно на душе, я как-то растерялся. Почему она играет, даже когда нет публики? Я мучительно топтался вокруг да около истины, которую я сумел сформулировать лишь много времени спустя: она играла, чтобы обмануть себя, чтобы заглушить свое разочарование, чтобы развеять скуку.

Разочарование оттого, что все оказалось совсем не так, как она надеялась или мечтала. Это я учуял сразу, не успели мы переступить порог пансиона возле *la Salute*. Один мой приятель порекомендовал мне этот пансион. Слишком бурный восторг Вероники по поводу «живописности», «обаяния», «романтичности» пансиона Рафаэли наверняка встревожил бы меня, если б я не хотел так же горячо, как она, уверить себя, что все к лучшему в нашем самом удачном из всех возможных свадебном путешествии. До чего же легко себя обманываешь! По правде говоря, когда Вероника, войдя в наш номер, вдруг словно окаменела, прежде чем с новой силой начать восторгаться и восхищаться, на меня на какой-то миг нашло прозренье... Но справедливость требует признать, что все обстояло не так уж

плохо, даже наоборот. Счастье физической близости снимало все проблемы. Когда спускалась ночь, тени дня отступали, теряли реальность.

А тени были, были бесспорно. Например, вот такая... Во время нашей короткой помолвки мне казалось, что Вероника тонко чувствует искусство. Мне это нравилось. Но в Венеции я очень скоро обнаружил, что ее художественное восприятие, наоборот, крайне поверхностное: дань приличию, а не настоящая внутренняя потребность, не склонность, не радость. Интерес к живописи — признак хорошего воспитания, показатель того, что ты принадлежишь к определенному классу, некое обязательное требование твоей социальной или возрастной группы, точно так же как посещение концертов «Музыкальной молодежи», киноклуба при Синема-теке или любой премьеры ТНП, где должно аплодировать до изнеможения... Так и надо себя вести, если ты молодой просвещенный француз образца шестидеся-тых годов. Мне следовало бы сообразить, как обстоит дело, когда Вероника зая-вила мне, что больше всего ей нравятся ташисты. Не то чтобы эти ее любимые ташисты были дурны (да я и не мог этого толком оценить), а просто слова ее зву-чали фальшиво. Типичная подделка. В самом деле, перед картиной, скульптурой или архитектурным памятником, к которому либо мода, либо реклама не привлек-ли всеобщего внимания, Вероника ничего не чувствовала и ей нечего было сказать. В Венеции в музеях и церквях она была не только на редкость нелюбопытна, но даже высокомерна. Она оживлялась лишь перед полотнами Джорджоне — должно быть потому, что в тот год он пользовался особым вниманием критиков и искус-ствоведов: его заново «открыли» и журналы посвящали ему пространные статьи. Вероника нашла, что «Буря на море» «абсолютно потрясающа»... Если бы не тщеславие, не желание блистать, не боязнь показаться отсталой, она бы не стала скрывать, что картины наводят на нее только скуку. Накануне нашего первого по-сещения музея я сел за путеводитель; мне хотелось запастись нужными сведения-ми, чтобы предельно облегчить Веронике задачу постижения искусства и препод-нести ей, если так можно выразиться, культуру «на блюдечке», в готовом для употребления виде. Но эта пища не пришлась ей по вкусу. У нее не было аппети-та к таким вещам. И я махнул рукой... Сам я стал разбираться в искусстве срав-нительно недавно и, конечно, знал еще только азы. Видимо, склонность к этому у меня есть, но вкус мой пробудили и кое-как сформировали двое друзей-иностран-цев, с которыми мне посчастливилось познакомиться позапрошлым летом. Встре-ча с этими людьми, это были американцы, мать и сын, буквально ошеломи-ла меня. Я им бесконечно обязан. Они раскрыли мне глаза на... я не хочу быть высокопарным, но как же это сказать иначе... на красоту мира. Они были настоя-щими знатоками живописи, и я поэтому тоже попытался как-то разобраться в этих вещах. Приехать в Венецию с ними или даже одному было бы сказкой. Присутст-вие Вероники разрушало волшебство. Она вяло плелась от картины к картине, томясь скукой, и через пять минут уже изнемогала от усталости. Ничто так не уд-ручает, как одиночество вдвоем, да еще там, где полным-полно чудес, где надо быть счастливым именно вместе, вдохновляя друг друга. Казалось, я тащу за со-бой гиру. В мрачном молчании шли мы из зала в зал. Жизнь возвращалась к Ве-ронике, только когда мы выходили на улицу — на Большом канале или на пло-щади Святого Марка, на террасе кафе или на пляже.

Накануне отъезда я получил письмо от мамы. Она приглашала нас, посколь-ку выходить на работу мне надо было только через неделю, погостить несколько дней в Бретани, где наши проводили свой летний отпуск. Когда я сказал об этом Веронике, она тут же согласилась, причем с неподдельной радостью. Меня это, по правде говоря, даже несколько удивило, я уже знал, что она ровным счетом ниче-го не испытывает к моим старикам. Но, видимо, Вероника все же предпочитала продлить свои каникулы хоть таким образом, чем вернуться в Париж к своим соб-ственным родителям, у которых нам предстояло прожить несколько дней, пока мы не найдем себе квартиру. «Но имей в виду, — сказал я ей, — нам придется поселиться с ними в одном доме, в той вилле, которую они ежегодно сни-мают. Там меня всегда ждет комната. И есть мы будем вынуждены почти всегда вместе с ними». Она ответила, что понимает это, но ничего против не имеет, ведь

она «прекрасно относится» к моим родителям; эта явная неправда была продиктована то ли желанием сказать мне приятное, то ли леностью ума или безразличием. Собственно говоря, она никак к ним не относилась, не любила их и не ненавидела. В худшем случае она их считала невыносимо скучными, они просто едва существовали для нее.

Общение Вероники с моими родителями проходило сравнительно благополучно, главным образом из-за редкостной благожелательности моих стариков, слепо верных кодексу семейной морали, по которому сноха есть особа священная и ее надлежит любить и лелеять больше, нежели своих собственных детей. Мой отец вел себя с ней как галантный кавалер, а мама была готова обслуживать ее и баловать так, как до сих пор обслуживала и баловала мужа, сына и дочь. Вероника приняла такую систему отношений как должное, ничем не выказав ни своего удовольствия, ни своей благодарности. Поначалу мне тоже казалось вполне естественным, что мои отец и мать окружают ее исключительным вниманием и заботой. Иное отношение к ней меня бы удивило и обидело. В дальнейшем, однако, моя позиция в этом вопросе несколько изменилась.

Что касается ее родителей, то я не берусь утверждать, что мы очень благоволили друг к другу. Как я уже говорил, я не был тем зятем, о котором они мечтали, и они ненароком давали мне понять, что я должен буду горы свернуть, прежде чем окажусь достойным их родства. Признаюсь, правда, что я не облегчал им задачу. Они не знали, с какого боку ко мне подойти. Я, видно, был их самым большим разочарованием в жизни. Выйди их дочь за битника, пилюля не оказалась бы более горькой. Наоборот, с битниками всегда еще есть надежда: это часто дети из хороших семей, которые год или два придуриваются, будто им плевать на материальные блага, чтобы раз и навсегда внести в свою жизнь элемент духовности. Битник — это принц в лохмотьях бродяги, этакая пастораль шестидесятых годов. Вы думаете, что выходите замуж за нищего философа, и — о чудо! — вдруг оказывается, что он сын профессора Гетеборгского университета или крупного фабриканта из Лилля. У меня же были нулевые шансы на такую феерическую метаморфозу. Я был всего лишь молодым инженером, занимающим пока вполне скромную должность. Отец мой тоже был «скромным служащим». Мы все, и я и мои домашние, были безнадежно скромными. Тяжелый удар для таких просвещенных буржуа, как родители Вероники. Уж лучше бы мне быть рабочим высокой квалификации либо негром с университетским дипломом.

Вернувшись из Венеции, мы остановились у них на одну ночь, чтобы наутро уехать в Брест. Отец Вероники — ветеринар, но — заметьте — ветеринар в высокопоставленных кругах. Он пользуется собачек и кошечек 17-го района, к тому же отнюдь не всего (в 17-м районе живут не только сливки общества, но и люди без гроша за душой). Он посещает лишь респектабельные дома. Он никогда не путешествует, но считает себя великим знатоком европейского искусства. Свою осведомленность он черпает в художественных журналах. Он питает к этому повышенный интерес, это его хобби, как говорит Вероника. «Папа знает барокко как никто, это его хобби...» В тот вечер за столом он подверг меня небольшому экзамену, предложил мне своего рода тест в области эстетики. Что меня больше всего восхитило в Венеции? (Сам он там никогда не был.) Я уже достаточно хорошо раскусил этого господина и понимал, что не следует наивно отвечать: площадь Святого Марка или картины Карпаччо, — а надо называть нечто менее популярное, нечто изысканное, доступное лишь знатокам и искушенным ценителям. Я попытался было вспомнить имя какого-нибудь малоизвестного художника и вдруг отважился на полный блеф. Я изобразил на лице улыбку посвященного — меня, мол на мякине не проведешь — и многозначительно произнес:

— Само собой разумеется, «Разносчик вафель».

— «Разносчик вафель»? — переспросил растерявшийся ветеринар.

— Ну да, конечно, та небольшая вещица Антонио Джелати, что висит в Академии. Барокко. Мастер, правда не из первого десятка, но бесподобен. Быть не может, чтобы вы не знали этого шедевра. Помнишь, Вероника, я тебе рассказывал его историю?

Вероника никак не могла вспомнить, да оно и понятно, но то ли по легкомыслию, то ли по безразличию, то ли из тщеславия — она, мол, видела все, что можно увидеть в Венеции, — она, в конце концов, подтвердила, что прекрасно помнит эту вещь. (В дальнейшем я много раз ловил ее на таком мелком вранье, обычно вызванном желанием казаться во всем хорошо осведомленной.) После нескольких секунд мучительной паузы кошачий доктор с облегчением покачал головой, всем своим видом показав, что наконец-то вспомнил и Антонио Джелати и его шедевры. Вот они какие в этой семье: дотошные, искренние, никогда не занимаются дешевым очковтирательством. (А я еле сдерживал смех, вспоминая физиономию синьора Антонио, мороженщика с пляжа, у которого мы покупали «джелати», когда вылезали из моря.) Отец Вероники минуты на три лишился дара речи. Я наслаждался легкой победой над несчастным, но он, не в силах стерпеть, чтобы такой жалкий зятек, как я, уличал его в недостатке зрелищности, метнул в меня взгляд инквизитора и рявкнул:

— А Тетрарки?

— Что?

— Тетрарки, я спрашиваю? Неужели не они на первом месте?

И я вынужден был признаться в своем невежестве. Он обернулся к жене.

— Они были в Венеции, — прошептал он, исполненный сочувствия и сарказма. — Ты слышишь, они не знают, что такое Тетрарки!

Моя теща, естественно, скорчила соответствующую мину и расплылась в несходительной улыбке, хотя наверняка впервые в жизни услышала об этих Тетрарках и не имела даже смутного представления о том, что это: божества, звери или овощи. Затем мой тесть обернулся ко мне:

— Это, голубчик, статуи императоров на площади Святого Марка. Лучшее, что есть в Венеции. Собственно говоря, только это и стоит там смотреть, можете мне поверить.

Насладившись мстостью, он со спокойной совестью принялся за «камандер».

Я еще не упомянул о Жан-Марке, брате Вероники, который тоже сыграл немаловажную роль в нашей истории. В то время (я хочу сказать, в первые месяцы нашего брака) он меня еще не полностью презирал, потому что не достиг духовной зрелости, но когда он набрался ума-разума в шикарных кабаках на левом берегу Сены и в фирме, торгующей готовым платьем для подростков (процесс этот был недолог — он длился всего три года), то оказалось, что с точки зрения тех ценностей, которые он признавал и которым поклонялся, я был вообще вне игры, меня просто не существовало... В восемнадцать лет в Жан-Марке, ученике религиозного колледжа в Пикардии, оставалось еще что-то детское, симпатии его, случалось, были необъяснимы и милота нерасчетливой. Когда же он вернулся в Париж, все сразу изменилось. Три года столкновений с моралью века превратили его в мужчину, в настоящего мужчину, в такого, каких любовно штампует наша эпоха...

На другое утро в поезде, который мчал нас в Бретань, я был полон тревоги. Как Вероника перенесет неделю жизни у моих родных? Вилла, которую снимали наши, не была ни большой, ни шикарной. Она была уродлива тем уродством, которое почему-то всегда присуще домикам, сдаваемым внаем на лето за умеренную плату. Правда, большую часть дня мы будем проводить на воздухе, на пляже... Что касается моей сестрички Жанины, то тут мне нечего было беспокоиться. Она милая девчонка, мы очень любим друг друга, и я знал, что она готова будет в лепешку расшибиться, лишь бы угодить своей красивой невестке по той простой причине, что она ее невестка, жена, которую выбрал себе ее брат. Что же до родителей, то тревогу могла вселять только их робость и переизбыток усердия. Больше всего я волновался из-за тетки Мирей, к которой Вероника явно не испытывала никакой симпатии. А главное, весь характер нашей жизни там, летний быт, семейный пляж — я боялся, что все это покажется Веронике убогим и скучным... Не то чтобы она привыкла к большей роскоши, но все же несомненно между ней и моими, между их домом и нашим был ощутимый перепад, и меня он пугал, словно это была непреодолимая пропасть.

— Вам не следует так долго жариться на солнце, Вероника, — говорит мадемуазель Феррюс. — В вашем положении это не рекомендуется.

Она не реагирует. Может, делает вид, что не слышит? Или в самом деле заснула? Это трудно сказать, потому что она лежит ничком на своем купальном халате, уткнув лицо в руки. День ослепительный, жаркий, солнце палит всюю. Дети с визгом гоняются друг за другом. Неподалеку орет транзистор — джазовая музыка. Пронзительно кричат чайки. Высоко-высоко в густой синеве застыл кем-то запущенный воздушный змей. Группка, образованная семьей Феррюс, притихла, разморенная зноем. Все, кроме мадемуазель Феррюс, которая, как всегда, начеку. Ее брат (отец Жилия) читает «Монд». На нем полотняные брюки и тенниска.

— Кем не рекомендуется?

Это спрашивает Жиль. Он растянулся возле своей жены, подставив спину солнцу. Но загорел он все же меньше, чем она.

— Что значит кем? Конечно, врачами! Все знают, что длительное пребывание на солнце вызывает ожоги, прилив крови. Это опасно. Особенно для женщины в интересном положении.

После этого заявления возникает молчание. Вероника тем временем повернулась на бок.

— Я жарюсь на ореховом масле, — говорит она лениво. — Я не сгорю, а только подрумянюсь.

Мадемуазель Феррюс пропустила шутку мимо ушей.

— Все же советую быть осторожней, — говорит она.

Ее взгляд упирается в талию невестки.

— Не забывайте о ребенке, — добавляет мадемуазель Феррюс, понизив голос.

— Пусть привыкает, — отвечает Вероника. — Он будет солнцепоклонником.

— Надеюсь, что нет, — решительно возражает мадемуазель Феррюс и вскидывает на переносицу темные очки.

— Отчего же? Как все через двадцать лет.

— Через двадцать лет все будут поклоняться солнцу? — с тревогой восклицает мадемуазель Феррюс.

— Вероника шутит, — говорит месье Феррюс сестре. — Ты все понимаешь буквально.

— Через двадцать лет! — подхватывает Жанина. — Интересно, где мы будем через двадцать лет?

Она садится, потягивается, как после сна.

— Как где? Здесь, конечно, — поспешно откликается мадемуазель Феррюс, боясь, что разговор иссякнет.

— Ты оптимистка, — говорит Жанина.

— А ты думаешь, что я к тому времени уже умру?

— Я не то хотела сказать...

— А что же?

— Я думаю об атомной войне, о китайцах...

— О, ты считаешь, что китайцы...

— Который час? — вдруг спохватывается мадам Феррюс. — Должно быть, около полудня. Я пойду готовить завтрак.

Она складывает свитер, который вяжет, запихивает его в сумку вместе со спицами и клубком шерсти и поднимается. Ее дочь тоже встает и накидывает купальный халат.

— Я пойду с тобой, мама.

— Они не посмеют развязать войну! — восклицает мадемуазель Феррюс, обращаясь к пляжу, к небу и к морю. — Это был бы конец...

— Ты можешь остаться, детка. Все готово. Надо только сунуть жаркое в духовку.

— Вы думаете, что Мао на это решится? Вы так думаете? Я — нет. Хотя их и около миллиарда...

— Может быть, и мне пойти?.. — спрашивает Вероника без большого рвения. Но три голоса одновременно прерывают ее. Мадам Феррюс, Жиль и Жанина говорят хором: нет, нет, не надо, пусть остается здесь, пусть отдыхает, ей надо беречь себя.

— Я словно футляр с драгоценностью, — усмехается Вероника. — Во мне, значит, будущее рода.

— В каждом ребенке, который должен родиться, — мило говорит месье Феррюс, — всегда заключено будущее рода.

Мадемуазель Феррюс на время прерывает дискуссию о международном положении.

— Вы уже выбрали? — спрашивает она.

— Что выбрала?

— Как что? Имя! Пора, пора...

— У нас, кажется, есть еще впереди несколько месяцев.

— Я придумала несколько имен. Но не уверена, что предложу их вам. Вам, молодым, так трудно угодить. Вам ничего не нравится.

— А все-таки?

— Что бы вы сказали... — решаете наконец мадемуазель Феррюс, преодолевая свое недоверие, — о Тибальде? По-моему, это чрезвычайно красивое имя для мальчика.

— Да, именно для мальчика, — подхватывает Жиль. — Девочке оно куда меньше подходит.

— Боже, до чего ты глуп! Что за школьные шутки!

— Тибальд — как-то отдает средневековым, — замечает Жанина.

— Ну и что же? Во всяком случае, это очень изысканное имя. Одного из наследников французского престола зовут Тибальд.

— Вот это довод! — говорит месье Феррюс. — Но боюсь, что это имя для нас слишком шикарно. А вы что скажете, Вероника?

— Я с вами согласна. Явно слишком шикарно.

Час спустя за завтраком мадемуазель Феррюс снова пытается отстоять свой приоритет по части имен:

— Ну, а как бы вы отнесли к Бертранде?

Семья за столом словно окаменела. Наконец Жиль решаете:

— Боюсь, это имя трудновато произносить.

— А что, это имя тоже в ходу у членов королевской фамилии? — осторожно осведомляется месье Феррюс.

— Насколько мне известно, нет. Погодите, сейчас вспомню... Девочек зовут: Изабелла, Клод.

— Скажи, папа, правда, что граф Парижский мог бы сменить де Голля? Я читала в «Пари-матч», что он котируется как дофин.

— Маловероятно, детка. Франция вряд ли пошла бы на...

Мадемуазель Феррюс воинственно вскидывает голову:

— Почему вряд ли? Скажите на милость!..

— У тети Мирей культ королевской семьи, — шепчет месье Феррюс, наклоняясь к снохе, словно поверяя ей тайну.

— Ну, насчет культа ты преувеличиваешь! Но нельзя отрицать, что все они воистину порядочные люди. Я уверена, что граф Парижский правил бы страной не хуже любого современного политика. Что ни говори, а он все-таки последняя ветвь...

— Да будь он хоть деревом, что из того? — перебивает Жиль.

— Вероника, вы любите сельдерей? — вдруг спрашивает мадам Феррюс. Ее высказывания часто бывают неожиданными, вызванными какими-то смутными ассоциациями. — Я подумала, что, может быть, сегодня к ужину... Говорят, это очень полезно.

Вместо ответа Вероника кивает и глядит на свекровь с несколько усталой и натянутой улыбкой.

— Один мальчик на пляже. — говорит Жанина, — уверял меня, что де Голля не переизберут... Его отец — депутат, не знаю, правда, от какого округа, он в оппозиции.

— Не переизберут! Смешно слушать!..

— Что-то вы ведете на пляже больно серьезные разговоры, — замечает Жиль. — Я знаю этого мальчика?

— Много они понимают, те, что в оппозиции... Лично я думаю, как тот обозреватель....

— Я хочу знать, с кем ты дружишь?

— ...который писал несколько дней назад в «Блокноте»...

— Вот еще! Я имею право дружить, с кем захочу, не спрашивая твоего решения!

— Дети, не ссорьтесь!

— ...Они просто как пауки в банке, словно во времена недоброй памяти Четвертой республики...

— А почему он мне всегда все запрещает? Если бы я его слушалась, я бы жила как монашка.

— Вот видите, Вероника, так у нас всегда, — говорит мадам Феррюс. — Не знаю, будет ли Жиль так же строг к своим детям, как к сестре?

— Зато я буду снисходительной. Для равновесия.

— У нас в классе есть одна девочка из Алжира. Так вот, она рассказала, что ее брат всюду ходит за ней по пятам. Готов запереть ее на замок, чтобы она ни с кем не встречалась. Когда она идет танцевать в Сен-Жермен-де-Пре, он идет вместе с ней и никого к ней не подпускает. Ее зовут Ясмина.

— Вот такие нравы мне по душе, — говорит Жиль. — Эти достойные люди заслуживают независимости. Ей столько же лет, сколько тебе?

— Она даже на год старше.

— В шестнадцать лет приличная девочка не пойдет танцевать в Сен-Жермен-де-Пре.

— Послушай, Жиль, — говорит Вероника. — Ты, оказывается, чудовищный ретроград.

— В этом вопросе я его полностью поддерживаю, — решительно заявляет мадемуазель Феррюс. — В остальном я редко с ним соглашаюсь. Но тут!.. Боже, теперь царит такая распушенность. Это недопустимо.

— О! Ты всегда радуешься, когда угнетают молодых, — говорит Жанина.

По летнему распорядку дня у Феррюсов после завтрака все расходится по своим комнатам для отдыха.

— Тебе хочется спать?

— Нет. Какие у нас планы на сегодня?

Вероника скинула туфли, закурила сигарету и улеглась на кровать. С одной стороны у нее пепельница, с другой — стопка иллюстрированных журналов.

— Как захочешь, дорогая. Можно погулять вдоль моря после пяти, если ты не очень устала.

— Как вчера?

— Доктор велел побольше ходить.

Когда Жиль остается наедине с женой, у него появляются интонации и жесты, которых не знают за ним его домашние. Он говорит с Вероникой почти материнским тоном, но без всякой слащавости. Он полон заботы о ней. Его движения становятся медленными, плавными, словно Вероника очень хрупкая вещь, с которой надо обращаться необычайно бережно.

— И так красиво возвращаться на закате, вспоминаются...

— Знаешь, дорогой, ты мне это уже говорил.

— Ну да? Я уже стал заговариваться. — Он улыбается.

— Ты мне даже читал эти стихи. В Венеции.

— Спорим, что ты не запомнила ни одной строчки?

— Пстой!-пстой!.. Помню! «Гиацинтовый, золотой...» Гиацинт — очень красивое слово.

Они улыбаются друг другу. Жиль хочет улечься рядом с ней, но для этого ему надо убрать с постели пачку иллюстрированных журналов. Он кладет журналы на коврик возле кровати, наклоняется и целует Веронику.

— А вообще-то, — говорит он задумчиво, — надо повторять одно и то же.

— Надо? Зачем?

— А затем, что жизнь состоит из вещей, которые повторяются, которые регулярно возникают вновь и в конце концов свиваются в такие... как бы это сказать... жгуты, что ли, связывающие людей. Людей, которые любят друг друга. Мне кажется, то, что называют счастьем, и есть в конечном счете многократный возврат к одному и тому же. К тому, что знаешь заранее, чего ждешь и счастлив оттого, что все повторяется, — еще одна нить, связывающая тебя с тем, кого любишь. Это все вещи повседневные, самые обычные: прогулка, закат, стихотворенье, шутка, еда какая-нибудь... Ты не согласна?

— Нет, конечно, согласна...

Кончиками пальцев она водит по щеке мужа. Она разглядывает его, склоненного над ней, с нежным и, пожалуй, недоуменным любопытством.

— Ты живешь исключительно чувством, — говорит она раздумчиво, словно вдруг открыла в нем новую черту.

— Ты лишь сегодня это заметила?

— Нет, я знала это и прежде, но... как тебе сказать... Человека можно узнать по-настоящему, только когда видишь его дома, в кругу семьи, среди своих. За те три дня, что мы здесь, я увидела тебя в новом свете. Тебя нельзя понять до конца, пока не знаешь, каков ты с Жаниной, пока не увидишь вас вместе. Она очень много для тебя значит.

— Конечно, это же естественно.

Вероника мотает головой.

— Совсем не так естественно. Я знаю уйму ребят, которым абсолютно наплевать на своих сестер, их не интересует, с кем они проводят время и кто с ними спит... Ну, Жиль, пожалуйста, не ужасайся, что я употребляю такие выражения, теперь все так говорят. Конечно, твои родители такого не скажут, на то они и родители, но ты-то принадлежишь к другому поколению... А возвращаясь к Жанине, ты с ней безумно строг, все опекаешь ее. Так себя теперь никто не ведет. Возьми, к примеру, хоть Жан-Марка. Ты можешь себе представить, чтобы его заботило, что я делаю, с кем встречаюсь?

— Нет, не могу.

— А ты с Жаниной в самом деле ведешь себя как турок. И то со времен Мустафы Кемала турки сильно эволюционировали...

Оба тихо смеются. Стены в доме тонкие, и звуки проникают из комнаты в комнату. «Как в нашем пансионе в Венеции, — уже успела отметить Вероника. — За все время нашего свадебного путешествия нам так и не удалось ни разу по-настоящему побыть вдвоем».

— Скажи, Жанина ведь симпатичная, правда?

— Я ее обожаю!

Этот ответ, видимо, не убеждает Жюль.

— Нет, кроме шуток, она тебе нравится?

— Я же сказала, что обожаю ее.

Краткое молчание. Жиль взял жену за руку.

— А как тебе мои родители?

Его голос звучит хрипловато.

— О, они очаровательны, — отвечает она не задумываясь. — Ты ведь меня уже спрашивал.

— Да. Но мне бы хотелось быть уверенным...

— Они душки! Ну конечно, они...

Вероника замолкает, не кончив фразы.

— Валяй, говори до конца!

— Они из другой эпохи. Я и не подозревала, что еще есть такие люди, как они. Твоя мать явление просто... неправдоподобное. Такая самоотверженность.

Свести свою роль только к хозяйству... не спору, в этом есть даже что-то прекрасное в известном смысле, но все же... Нет, они из другой эпохи.

— Ты их не одобряешь?

— Почему же? Но все-таки со временем это должно действовать угнетающе.

Я хочу сказать — их общество.

Снова молчание. На этот раз более длительное. Жиль словно замер.

Она встревожена.

— Ты сердисься?

— Нет, что ты...

Он делает явное усилие.

— Я думаю, ты права...

— Твой отец просто прелесть, — говорит она с жаром. — Какое чувство юмора! Юмор ты от него унаследовал. Он такой славный!..

Она снова закуривает. Когда она творит этот маленький обряд, ее лицо, движения, выражение глаз становятся по-мужски жесткими. В эти минуты она похожа на мальчишку. Точный удар большим пальцем по зажигалке (золоченая вещь, на вид дорогая, и скорее мужская, чем женская), щеки западают, и она скашивает глаза на кончик сигареты, которая должна загореться от вспыхнувшего пламени. Потом резким движением откидывает голову, полураскрытый рот округляется, и губы вытягиваются, как у рыбы, чтобы вместе с дыханием выпустить струю дыма.

— О чем ты думаешь?

— Я смотрю на тебя.

— У тебя такой вид, словно ты о чем-то думаешь.

— Я думаю, что ты особенно хороша, когда закуриваешь. До чего ты пластична! Мне пришло в голову, что жест, которым ты закуриваешь, исчерпывающе полно выражает равенство — тот факт, что вы стали равны мужчинам. Это символ.

Она ничего не говорит в ответ. Она внимательно оглядывает комнату.

— Бог ты мой, как здесь все безвкусно! — вздыхает она. — Ты знаком с хозевами этой виллы?

— Нет. Папа видел их раз или два.

— Побывав в этом помещении, просто интересно на них поглядеть. Как я ненавижу французских мелких буржуа! Ты только посмотри на камин, на эту фарфоровую пастушку. А эти чудовищные литографии! Где они раздобыли такую мерзость? Не иначе как на рынке в Клиши! Воображаю, что это за люди! Каждый вечер — у телевизора. Больше всего любят варьете. А от заграничных передач просто заходятся. С ума сойти!

Она говорит с язвительностью, пожалуй, чрезмерной для такого ничтожного повода.

— Надо стараться не замечать обстановки.

И Жиль улыбается.

— Ну, знаешь, такую обстановку попробуй не заметить. Если бы мне пришлось тут жить постоянно, я бы стала психопаткой.

Помолчав, он спрашивает:

— Хочешь, пойдем куда-нибудь?

— Сейчас еще жарко, я немного почитаю.

Он наклоняется, чтобы поднять с полу кипу журналов. Она ежедневно покупает не меньше четырех-пяти штук. Главным образом иллюстрированные еженедельники. Видимо, время до вечера пройдет, как вчера и позавчера. Вероника выкурит полпачки «галуаз», листая журналы. Прежде всего «Театр. Кино». Потом страничка, посвященная новым книгам. И наконец — моды и вообще все то, что идет под рубрикой «Для женщин». Если остается время, она пробегает и статьи, посвященные текущей политике. А он тем временем читает книгу из серии «Плеяда»¹⁴, которую на днях купил. Раз или два ему придется распахнуть дверь, чтобы сквозняк выгнал дым из комнаты. Сидя здесь взаперти, совсем не чувствуешь, что

¹⁴ «П л е я д а» — издательство, выпускающее книги для интеллектуальной элиты.

сейчас лето, что дом стоит на берегу океана и что все вокруг залито солнцем. Сюда не долетают ни йодистый запах водорослей, ни аромат вереска, ни свежий ветерок. Почитав так с час, Вероника говорит, что ей хотелось бы позвонить своей подруге Ариане. Может ли она это сделать, не побеспокоив никого в доме? Легко ли дают в этой дыре Париж? Жиль рассеивает все ее сомнения, и она идет в прихожую к телефону. Дверь Вероника за собой не притворяет, и Жиль слышит ее разговор. У нее особый «телефонный» голос. Более высокий, чем обычно, с удивительными вариантами интонаций, регистра, тембра. Он вслушивается в это русалочье пенье.

— Ариана? Это Вероника. Да, дорогая! (Восклицанья, смех.) Мы вернулись в воскресенье... Я позвонила просто так, какая удача, что ты дома!.. Восхитительно!.. Все было на редкость удачно, мне тебе столько надо рассказать... Нет, мы сейчас в Бретани, у родителей Жилья... Да... У них вилла на берегу моря... Перос-Гюирек... Что? Что? Я плохо слышу... Да, я не могла тебе позвонить. Мы уехали сюда в понедельник утром. Были в Париже только одну ночь... Нет, что ты!.. Как Шарль? Все в порядке?.. Вы получили наши открытки? В «Даниели», дорогая... А ты как думала!.. Да, это, конечно, безумие. Жиль просто разорился, но мы не могли себе в этом отказать... Роскошный номер с террасой на лагуну... (Пауза.) Ну, если хочешь, назови это балконом... Нет, ты ошибаешься, уверяю тебя, там есть номера с террасами... Одним словом, это была сказка... О, не знаю точно, наверно, неделю. Мы вернемся, я думаю, в понедельник или во вторник... (Новая пауза, очень долгая, прерываемая только какими-то восклицаниями.) Ну да, конечно, в любой день, когда вы захотите... Не знаю где, как только приедем, начнем искать... Трехкомнатную квартиру на Левом берегу... Хочешь, мы сейчас точно назначим день?.. Ну, когда тебе удобно? В тот четверг?.. По-моему, это пятнадцатое... Договорились. В «Реле»? О дорогая, ты ангел, я безумно рада!.. Договорились... Нет, что ты, обязательно... Все!.. До скорого. Целую тебя.

— Ну, ты сильна! Всех за пояс заткнешь! — говорит Жиль, когда она возвращается в комнату. — С ума сойти!

Она со смехом бросается на него, со звонким, молодым и лукавым смехом.

— Такой девке, как Ариана, надо пускать пыль в глаза. Это же самое большое трепло в Париже.

— Ей-богу, ты соврешь — недорого возьмешь: и жили мы в «Даниели», и у нас вилла на берегу моря...

— Это не вранье, это дипломатия. Она же не придет сюда проверять.

Телефонный разговор, казалось, вернул Веронике жизненный тонус.

— Шарль и Ариана приглашают нас пообедать с ними в «Реле» в будущий четверг... Колоссально вот так сразу окунуться в парижскую жизнь...

Жиль как будто не разделяет ее восторга.

— В «Реле»?

— Ну да, теперь это самый модный, самый шикарный ресторан. Все туда ходят.

— Ну, если все туда ходят, он, должно быть, не такой уж шикарный?

— Нет, шикарный, очень шикарный. Сам увидишь, дурачок.

Она стоит перед зеркалом, пристально разглядывая свою фигуру анфас и в профиль.

— Я еще могу появляться на людях? Как ты считаешь? Я надену свою русскую блузку, ну, знаешь, ту, из зеленого шелка с золотой вышивкой. Через три месяца меня так разнесет, что стыдно будет кому-нибудь на глаза показаться. Надо пользоваться, пока еще можно.

Стук в дверь, два робких удара. Входит Жанина.

— Я вам не помешала? — спрашивает она застенчиво. — Я только хотела узнать...

— Ой, какая ты аппетитненькая! — говорит Вероника. — Смотри, как бы тебя не слопали. Вот, например, сын этого депутата.

Смутившись, Жанина засмеялась не по-девчачьи кокетливо. На ней синие джинсы и тельняшка. Она очень тоненькая и, кажется, состоит только из длинню-

щих ног, шеи, маленькой смеющейся рожицы и карих, отливающих золотом глаз. При виде ее вспоминается олененок или какой-то другой грациозный лесной зверек.

— Мы уезжаем на велосипедах целой компанией. Я пришла спросить — может быть, вы захотите поехать с нами?

— А почему бы нам не поехать? — восклицает Вероника, которой перспектива этой прогулки, видно, и в самом деле кажется заманчивой. — Потрясная идея! Но у нас ведь нет велосипедов.

— Можно взять напрокат в гараже.

— А тебе это не вредно? — с тревогой спрашивает Жиль.

— Наоборот, полезно, развивает брюшной пресс, — твердо заявляет Вероника. Она явно полна решимости отвести все возражения. — Я намерена рожать без боли, по новому методу, значит, мне надо развивать брюшной пресс. Верно, Жанина?

— Да где ей помнить, — серьезно говорит Жиль. — Она уже года три как не рожала.

Брат и сестра дружно хохочут. Они глядят друг на друга, и сразу видно, что они заодно, что они свои. Чувствуется, они вот-вот начнут «ломать комедию», как говорят в семье, у них есть свой репертуар постоянных шуток, целый набор гримас, ужимок, мимических пародий на мультфильмы, но лишь в намеках и символах, едва ли понятных непосвященным, и со стороны все это может показаться каким-то нелепым ребячеством, чуть ли не идиотизмом. Этот спектакль обростает каждый день чем-то новым, имеет бесчисленные вариации и начинается, по сути дела, только тогда, когда «актеры» уже заходятся от смеха, хохочут до упаду, до слез и вынуждены то и дело прерываться, чтобы хоть немного перевести дух. В эти минуты Жиль выглядит не старше своей сестры, и странно видеть, как этот высокий, худой, уже совсем взрослый мужчина с обычно серьезным выражением лица вдруг начинает себя вести как расшалившийся школьник.

Вероника усаживается на кровать и глядит на их номер, который ей совсем не кажется забавным: она не улавливает, что они изображают, она не знает нода. Все же в этом буйном потоке слов и жестов она мимоходом засекает передразнивание мадемуазель Феррюс («Рожать в ее-то годы? Скажите на милость! Граф Парижский этого не одобрил бы. Куда мы идем? Если хотите знать, все имеет свои границы»), какие-то арабские ругательства (где они их только набрались и что в них смешного?), подражание знаменитому диснеевскому Дональду Даку и еще другому персонажу из «Картунз» — канареечке, свист которой переходит в клекот, стоит ей завидеть грозную тень кошки на стене, и тогда она восклицает: «I thought I taw a putty tat!..»¹⁵ Наконец они умолкают, окончательно выбившись из сил.

— Дорогие мои дети, — говорит Вероника, — вам, может, и очень смешно, а мне вот нет.

Она снимает платье и остается в трусиках и лифчике, нисколько не смущаясь присутствия Жанины, к которой с первой же минуты стала относиться как к ровне, как к «подружке». Девочке явно льстит такое обращение. Невестка в ореоле «взрослости», в расцвете красоты и женственности, и тем не менее — подруга.

— Когда за тобой заедут твои друзья? — спрашивает Жиль Жанину.

— Около пяти. Еще есть время.

— А ты думаешь, они не будут возражать против нас?

— Что за идея? — говорит Вероника с искренним удивлением. — Приятели Жанины, я надеюсь, симпатичные ребята.

— Разве в этом дело? — говорит Жиль. — Они могут быть расчудесными ребятами и не желать общаться с нами... Ты забываешь о разнице в возрасте.

— О! Это чепуха! — восклицает Жанина с чуть наигранной уверенностью. — Вы смело можете с нами поехать.

¹⁵ Искаженное английское «Мне кажется, я вижу киску!..».

Но Жиль чувствует, быть может по еле уловимому изменению тона, что полной уверенности у нее все же нет.

— Это точно? — допытывается он. — А то знаешь, зайчик, если тебе все же кажется, что нам лучше не...

Жанина протестующе мотает головой. Ее брат с улыбкой смотрит на нее, возпросительно подняв брови.

— Какого черта разница в возрасте может быть препятствием? — спрашивает Вероника. — Да она и не так велика.

Вероника тем временем надевает платье, ее голова уже появилась в вырезе, а руку она как раз просовывает в рукав.

— Нет, велика. Семь или восемь лет — это колоссально. Для них мы старики, — говорит Жиль, а так как Жанина снова готова запротестовать, он притягивает ее к себе и целует. — Не для тебя, зайчик, я знаю, но для твоих товарищей это все-таки кое-что значит? Ведь верно?

Он кладет ей руку на плечо и сравнивает их рост.

— Слушай, по-моему, ты за эти дни еще вытянулась. И здорово похорошела! Нет, прежде ты была не такой.

Она замахивается, чтобы его ударить. Он отскакивает, и вот они уже снова готовы приняться за свои игры. Вероника спешит их отвлечь:

— В вашей компании больше мальчишек или девчонок?

— Да пожалуй, так на так.

— А за тобой сколько ребят ухаживают? Один, два?

Жанина не знает, что ответить, она смеется, чуть наклонив голову.

— Вот, например, сын депутата? — продолжает допытываться Вероника.

— Ну, этот-то! Он жуткий ходок, бегает за всеми девчонками.

— Но он тебе нравится? Симпатичный малый?

— Да...

— Он богат?

— Во всяком случае, деньги у него водятся. Он мне сказал, что его отец купил себе «астон-мартин».

— Крупно оторвал! Тогда, детка, займись им, — говорит Вероника заговорщицким тоном. — Раз у него есть башли, займись им.

Совет встречен ледяным молчанием. Жанина застыла, опустив голову, она чрезмерно пристально разглядывает какое-то пятно на ковре. Краска заливает сперва ее шею, а потом и все лицо. А Вероника как ни в чем не бывало продолжает одеваться (она застегивает босоножки), не замечая явного замешательства, в которое повергла свою невестку.

Жиль кашлянул, быть может, чтобы прочистить горло.

— В чьем гараже можно взять велосипеды? — спрашивает он у Жанины.

— У Легерна. Знаешь, на площади, у почты.

Компания Жанины — все на велосипедах — приветствует молодоженов без восторга, но вполне вежливо. Жанина представляет им брата и невестку, назвав их по именам. Потом она называет каждого из своих друзей той скороговорочкой, в которой опытное ухо Жили без труда различает смущение и растерянность. К счастью, все ребята очень оживлены. То, что могло бы оказаться напряженностью, поглощается всеобщим возбуждением. У мальчишек и девчонок примерно один и тот же облик: все в шортах или в джинсах. Кажется, все они оттиснуты одной и той же формой, и даже с первого взгляда трудно определить их пол. Как они привлекательны, какое естественное изящество и какое равнодушие ко всему, что не относится к их маленькому миру! Жиль и Вероника — это всем ясно — к нему не относятся, поэтому никто к ним не обращается. Почти с самого старта группа велосипедистов, как команда в «Тур де Франс», идет не кучно, а растягивается вдоль дороги, превращаясь в огромную змею на колесах. Жиль и Вероника очень скоро оказываются в хвосте. То ли потому, что Вероника не может уже так энергично вертеть педали, то ли оттого, что они по молчаливому согласию решили приотстать. Жанина едет рядом с ними. Чувствуется, что ей как-то не по себе. Она, видно, поняла, что сделала глупость, пригласив брата и невестку в свою компа-

нию. Жиль предлагает ей догнать своих. Она искренне отказывается. Так проходит с четверть часа, и вдруг сама Вероника решает положить этому конец:

— Я устала. Мне, пожалуй, лучше остановиться. Поезжай без нас, Жанина. Мы немного передохнем и тихонько двинемся назад.

Жанина сперва снова отказывается, но после долгих уговоров все же соглашается их оставить. Они кладут велосипеды на откос кювета и садятся на обочину дороги. Ребята не заметили, что они остановились, никто даже головы назад не повернул. На их отсутствие просто никто не обратил внимания.

— Ты прав, — говорит Вероника, — они прекрасно обходятся без нас.

— Компания уже сбилась, сама знаешь, что это такое. Новеньких всегда неохотно принимают. Вспомни, когда мы...

— Нет, дело не в том, что мы новенькие, нас бы во как приняли, если бы мы были их возраста.

— Да они ведь дети.

— Не такие уж дети. Старшим из них не меньше восемнадцати. Но нам по двадцать четыре и мы женаты. Этого достаточно, чтобы они считали нас стариками.

Она задумалась над тем, что сказала.

— На меня это произвело сильное впечатление, — говорит она взволнованно. — Ничего подобного я еще не переживала.

— К этому привыкаешь...

— Ты думаешь?

— Послушай, дорогая, не будем преувеличивать! Мы еще очень молоды. Нам ведь нет еще и двадцати пяти, понимаешь? Вся жизнь впереди.

— Да, но для них мы уже взрослые.

— Конечно, дорогая, мы и в самом деле взрослые. Ты этого не знала?

— Я это поняла только что.

Несколько секунд они молчат. Перед ними дорога, за ней — кустарник, дальше дюны и океан, который урчит и сверкает на солнце. День удивительно ясный, прозрачный, воздух напоен светом и насыщен острым запахом йода. Пенящиеся волны издали напоминают белые стежки. Свежее дыхание открытого моря холодит щеки. Фигурки велосипедистов на дороге все уменьшаются, мелькают между деревьями на опушке леса.

Вероника провожает их взглядом, она снимает темные очки и хмурит брови. Жиль в упор разглядывает ее профиль немного обиженной девочки: рот, длинные загнутые ресницы, маленькое ухо, розовое, как раковинка... Он касается губами этого уха. Вероника ежится.

— Щекотно... Жиль!

Он не настаивает. Она снова надевает очки, потом открывает сумочку, вынимает носовой платок и вытирает ладони.

— Взрослые, — говорит она задумчиво. — Как твои родители или как мои... Странно.

Вдруг она утыкается в плечо Жили.

— Скажи, дорогой, ведь нам не придется вести такую жизнь, как они, правда?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, как твои родители или даже мои. Мы будем жить более интересно, более весело?

— Да, наверно...

Его голос звучит хрипловато.

— Не наверно. Надо быть уверенным! Очень уж печально думать, что впереди нас ожидает такая вот жизнь...

— Их жизнь не была несчастливой.

— Да... Но и увлекательной она тоже не была. Я думаю, вряд ли стоит жить, чтобы прожить такую вот жизнь...

Жиль молчит. Она порывисто оборачивается к нему, как всякий раз, когда вдруг понимает, что была, возможно, слишком грубой, что могла его обидеть. Она целует Жили.

— Я говорю и о моих родителях тоже, поверь, — шепчет она, как бы извиняясь. — Твой отец и мать просто прелесть какие, но, откровенно говоря, дорогой, они как-то отстали от жизни... Они почти нигде не бывают, у них мало знакомых. В общем, я считаю, что они живут какой-то... как бы это сказать... заторможенной. что ли, жизнью. И у нас дома то же самое. Ну, сколько лет твоей маме? Пятьдесят два — пятьдесят три года? В наше время пятидесятилетняя женщина должна была бы еще... ну, я не знаю, заботиться о своей внешности, что ли, бывать на людях, интересоваться тем, что происходит в мире... А твоя мама... создается впечатление, что она живет только для мужа и детей... Такая преданность, такое самоотречение, конечно, прекрасны, и возможно даже, что она этим вполне счастлива, но...

— Мне кажется, что она и в самом деле вполне счастлива.

— Но все же жизнь — это нечто другое, жизнь не может свестись исключительно к семье, к хозяйству... Во всяком случае, в наши дни не может! И потом, это я уже совсем не могу понять, честное слово, решительно не могу... как вы только терпите эту зануду, вашу тетю Мирей?

— Привыкли. Она так давно живет с нами. Я тебе уже рассказывал, что мы...

— Знаю, знаю. Вы взяли ее к себе из милосердия, это прекрасно, не спорю, но все же, согласишься, она действует на нервы, она же всем в тягость. И вы покорно ее терпите... Клянусь, я считаю твою мать просто святой!

— У тети Мирей есть и свои достоинства.

— Да, конечно, как у всех. Никто не бывает ни целиком черненьким, ни целиком беленьким. Но все же приносить такую жертву уже столько лет! Я говорю о твоих родителях. И во имя чего только приносится эта жертва, разреши спросить?.. Знаешь, дорогой, давай не будем говорить об этом, я вижу, тебе это неприятно.

— Да нет, что ты!

— Нет, я прекрасно это вижу. Хорошо, не будем это больше обсуждать. Я хотела сказать только одно: я желаю себе, я желаю нам с тобой другой жизни. Ты согласен?

— Ну, конечно, дорогая, согласен.

— И ты об этом всерьез позаботишься? Как только мы вернемся в Париж?

— Да...

— Нам надо прежде всего как-то мило устроиться, организовать себе приятный интерьер, чтобы он нам нравился. Это очень важно. И квартиру надо подыскать очень быстро, да, дорогой?

— Какая ты нетерпеливая, — говорит он и целует ее. Он бережно берет в ладони это красивое встревоженное лицо и влюбленно на него смотрит.

— Надо быть нетерпеливой, Жиль. Время летит быстро, так быстро... И знаешь, нам дана только одна жизнь.

Вдалеке, там, где дорога углубляется в лес, уже давным-давно скрылись из виду велосипедисты.

Вернувшись в Париж, мы прожили несколько дней у ее родителей, ровно столько, сколько надо было, чтобы найти квартиру «нашей мечты».

Это оказалось совсем не легким делом. Что до меня, то я был бы доволен любым жильем, лишь бы жить там с ней. Тогда (да, впрочем, и теперь) моя потребность в комфорте (не говоря уже о роскоши) была невелика. Меня не волновали такого рода вещи. Меня волновали лица, голоса, присутствие тех или иных людей, «нравственный климат», пейзажи, споры, произведения искусства, какая-то неожиданная страница в книге. Но я был решительно равнодушен к обивочным тканям или керамическим плиткам для ванной. Я знаю, это большой пробел. Ванная комната тоже может быть произведением искусства, но я не хотел гнуть спину лишние десять часов в неделю, чтобы приобрести самую новомодную ванную. Два последних года до женитьбы я жил в комнате для прислуги, наверно, безобразной, нимало не пытаюсь хоть немножко ее украсить, как делало большинство моих

товарищей по факультету, умелость и изобретательность которых по этой части вызывали мое изумление. Они переклеивали обои, перекрашивали двери и окна, все лакировали и полировали. Они часами сновали по развалам и лавкам, где продается всякая металлическая рухлядь, в поисках чего-нибудь забавного, чем можно было бы украсить свою берлогу. Я — нет. Увы. Но тут уж ничего не попишешь — я не родился с душой художника-декоратора. В этом отношении я был, несомненно, явлением уникальным, потому что большинство мальчишек моего возраста, во всяком случае все те, кого я знал, придавали огромное значение внешнему виду, тому, что они называли «оправой» своей жизни. Это относилось также и к одежде (свою полную некомпетентность по этой части я уже имел случай отметить). Когда я слушал их разговоры об убранстве холостой квартирки — предмете их мечты, меня охватывал ужас. Они знали точный оттенок цвета своих будущих занавесок, стиль мебели, форму ламп... Так и подмывало их спросить, не собираются ли они поставить себе швейную машину. И не то чтобы они были женоподобны или глупы — они были, как говорится, продуктом своего времени и одержимо воплощали его мани.

Итак, мы с Вероникой занялись поисками квартиры. Вернее, поисками занялась Вероника, а я сопровождал ее, когда бывал свободен, поскольку я тем временем снова приступил к работе. Агентства, в которые мы обращались, по мнению Вероники, предлагали всегда «нечто непотребное». Квартиры, которые мы смотрели, все без исключения были действительно очень уродливые и к тому же расположены, как правило, в малопривятных районах или в скверных домах. Повторяю еще раз: что до меня, то я поначалу был готов на любой вариант, но отвращение Вероники в конце концов заразило и меня. От старомодного доходного дома, где проживают всякие там мелкие буржуа, Вероника впадала в настоящий транс: «Никогда, никогда я тут не смогу жить!» Выбор района был тоже очень важен. Естественно, и тут у нее были самые жесткие требования. Речь могла идти только о 5-м, 6-м, 7-м районах, да и то об определенной их части. Весь остальной Париж решительно исключался. Но не менее естественным было и то, что квартирные агентства, в которые мы обращались, никогда не посылали нас на эти благословенные улицы. Никогда. Они настойчиво направляли нас за пределы рая — то на улицу Монж, то в Денфер-Рошери, то в унылую пустошь вблизи Военной академии. Вероника стонала: «Нет, Жиль, в этом квартале мне будет казаться, что я в ссылке — от всего далеко, паршивый транспорт, удручающе-уродливо и действует на психику. Через две недели у меня здесь будет нервная депрессия». В качестве довода она приводила также соображения престижа: «Улица Мутон-Дюверне — ничего себе адресочек! Нет! Ни за что на свете!» «Шикарными» адресами она считала, например, Университетскую улицу, улицу Сан-Доменик, улицу Гренель. Но об этих вождеденных улицах агентства, казалось, и слыхом не слыхали.

Легкие тени, пробежавшие между нами в Венеции, были лишь предвестниками дальнейшего. В Париже до меня дошла труднопереносимая истина, становившаяся с каждым днем все очевидней. Ее можно было выразить одной фразой: Вероника меня любила, это верно, но не настолько, чтобы пойти на какие-либо лишения. Ну, а я, я мог бы с ней жить где угодно. Любовь — в этом я уверен — чувство, которое не нуждается ни в чем, кроме самого объекта любви, чувство, которое питается самим собой, своей неисчерпаемой сутью. Что же это за любовь, если она не замыкается на объекте любви, только на нем? Перепады настроения Вероники, горечь ее неудовлетворенности, жажда роскоши, потребность «быть на уровне» — все это оказывалось столь же губительным для наших отношений, как, скажем, измена. Меня все время не покидало ощущение, что я нахожусь словно под дулом нацеленного на меня упрека, хотя он еще ни разу не был высказан. Упрека в несостоятельности. Я, как выяснилось, был не способен обеспечить свою жену той «оправой» жизни, без которой современной молодой паре нет спасенья. Итак, я несостоятелен, беспомощен и бог знает что еще, причем все только отрицательное. Вероника, наверно, и не отдавала себе отчета в том, что она меня в чем-то упрекает. Зато я отдавал себе в этом отчет полностью.

Изо дня в день тянулся один и тот же унылый разговор о том, что бы мы

могли сделать, если бы у нас было побольше денег. «Если бы у нас было три миллиона! Всего три миллиона, Жиль. Это же по нынешним временам сущие пустяки. Что бы нам придумать, чтобы заработать эти три миллиона? Не играть же нам на бегах, как всякие там подонки?» И она все возилась с этой мыслью, никак не могла от нее отказаться, словно упрямый ребенок. От этих разговоров мне иногда хотелось прыгнуть с моста в реку. Или напиться до потери сознания. Или уехать куда-нибудь подальше, в какую-нибудь чертову пустыню, где никто не ноет, что нету трех миллионов на покупку квартиры.

Когда Вероника строила планы на будущее, она всегда употребляла слова, связанные либо с покупками («Мы отхватим», «У нас будет...»), либо с развлечениями: гости, рестораны, каникулы, путешествия. Временами мне казалось, что в Веронике сидит какой-то чудовищный невидимый спрут, который мириадами своих присосок стремится перекачать в себя всю материальность мира. Ее вожеления были одновременно и необъятны и скромны, скромны потому, что достаточно иметь нужную сумму денег, чтобы их удовлетворить (во всяком случае, в первый период нашей совместной жизни; в дальнейшем требования Вероники заметно усложнились). И я не переставал удивляться тому, что счастье ей мог бы обеспечить текущий счет в банке. Я как-то сказал, чтобы ее успокоить: «Через несколько лет у нас все это будет, я тебе обещаю». — «Через несколько лет? Когда мы будем на пенсии? Когда мы будем в возрасте наших родителей? Мне это не нужно, Жиль. После сорока лет мне вообще ничего не будет нужно. Да к тому же до этого времени на нас сбросит бомбу. Нам все надо иметь сейчас, сейчас, пока мы молоды». Ей и в голову не приходило, что именно наша молодость и могла нам все заменить: наши лица еще не изрезали морщины, наше тело было еще сильным, наш ум — еще жадным. У нас могла бы быть и наша любовь, если бы Вероника этого захотела. Но вместо того чтобы наслаждаться тем, что мы такие, какими тогда были, радоваться нашему реальному бытию, она мечтала о вещах, которые нам, по ее представлению, полагалось иметь.

А частые встречи с Шарлем и Арианой Дагне еще усложняли и без того сложную ситуацию. Ариана старше Вероники года на четыре и всегда выступала для нее в роли эдакой многоопытной учительницы жизни. Шарль и Ариана зарабатывали значительно больше нас и положение в обществе занимали более заметное, нежели мы, если вообще можно принимать всерьез это иллюзорное различие. Но Вероника принимала его всерьез. Конечно, если смотреть с Сириуса или даже с меньшей дистанции, то обе молодые пары, и мы и они, и Дагне и Феррюсы, сливались в общем ничтожестве. Но с такой высоты, как метр восемьдесят, кое-какие различия все же были видны. Я раскусил эту пару до того, как с ней познакомился. Я по восторгам Вероники учуял, что это за птицы. Душа у меня к ним не лежала. Два года тому назад я бы наотрез отказался с ними встречаться, но после женитьбы я заставлял себя быть гибким и принял решение преодолеть свою необщительность. И я примирился с Шарлем и Арианой (да и не только с ними) как с неизбежным злом, к которому, однако, можно приноровиться, а если проявить максимум доброй воли, то даже перестать по этому поводу раздражаться. Впрочем, я преувеличиваю, они вовсе не были такими уж невыносимыми. Ариана работала в крупной рекламной конторе и ловко управлялась с *planning*, *brainstorming*, *testing*, *motivation study*¹⁶ и прочими современными методиками. Сферой же его деятельности были импорт и экспорт. Зарплата Шарля и зарплата Арианы, сложенные вместе, обеспечивали им такой *standing*¹⁷, как говорила Вероника, по сравнению с которым наш казался удручающе жалким. У них была квартира в одном из этих новых зданий типа «люкс» или «полулукс». заселенных, видимо, исключительно «молодыми административными кадрами». У них был весь набор самоновейшей домашней техники и всякие там специальные штучки-дрючки: стереофонический суперпронграватель, гарантирующий абсолютную точность звукопередачи, с четырьмя или пятью, не меньше, выносными динамиками, магнитофон, чтобы запи-

¹⁶ Планирование, «мозговая атака», тесты, изучение спроса (англ.)

¹⁷ Уровень жизни (англ.).

сывать себя (и оставить благодарному потомству образцы разговоров, которые вели во времена де Голля молодые просвещенные французы), а мебель была обита каким-то особым нейлоновым плюшем на водостойкой основе (а может, я что-то путаю). Стоит у них и какой-то стеклянный предмет, внутри которого с разной скоростью, в зависимости от интенсивности освещения, вращаются крошечные металлические крылышки (как называется эта вещь, я не знаю и знать не желаю). И конечно же, у Шарля и Арианы было по машине, и всякий раз, когда мы вместе обедали, мы имели удовольствие слушать все тот же припев о заторах транспорта на парижских улицах и невозможности в этих условиях быть точным и пунктуальным, о каждодневных конфликтах с автоинспекторами (к счастью, у них есть друг в министерстве внутренних дел, который их всегда выручает), о неизбежных вмятинах и царапинах в момент торможения у светофоров и о той нервной трепке, с которой все это связано. Этот осточертевший мне припев, который я всегда с ужасом ожидал, зная, что он неизбежен, Вероника слушала с упоением, словно это была волшебная ария. Великий гимн автомобилистов... Вероника, к слову сказать, прекрасно знала все марки машин, их сравнительные достоинства, их технические характеристики. Я так часто слышал, как она с горькой тоской говорила о «мазерати», «ягуаре», «астон-мартине», что просто не могу глядеть на эти машины, вернее, не мог бы глядеть, если бы отличал их одну от другой, но, слава богу, мне это не дано — настолько велико и неодолимо мое к ним отвращение: ко всем машинам без различия расы, возраста и пола я отношусь с одинаковой ненавистью. И я готов так же возненавидеть их владельцев или, вернее (поскольку у всех, в том числе у меня, есть машина), тех людей, для которых важно иметь «мазерати», только «мазерати». Но ненависть утомительна, поэтому легче считать всех этих типов просто не стоящими внимания.

Шарль и Ариана оказали сильное влияние на мою жизнь, даже не подозревая об этом. Я говорю «даже не подозревая», но это не совсем точно. Хотя Ариана была занята только собой, она все же отдавала себе отчет в том, что водонепроницаемый плюш и прочие чудеса разили Веронику наповал и что сравнение их «позолоченной» жизни с нашей возбуждало в ней чувство постоянной неудовлетворенности. Я не думаю, чтобы Ариана была какой-то злодейкой, во всяком случае, она, я уверен, не злее половины всех тех, кого я знал. Но вечная зависть, которую испытывала к ней Вероника, все же доставляла ей тайную радость. А кроме того, она не любила меня, и это было только справедливо: я тоже ее не любил. Несмотря на все мои ухищрения преодолеть свою антипатию к ней, скрыть это чувство, оно все же время от времени в чем-то прорывалось. С первой же нашей встречи, с первой же минуты, с первого взгляда я увидел Ариану как облупленную, и она это знала. Она чувствовала, что я увидел в ней всю ее фальшь, то, что она вся «псевдо», и беспощадно осудил ее раз и навсегда. Обычно она всем втирала очки — во всяком случае, почти всем, потому что мало кому дано судить трезво, и большинство людей, кто по лености ума, кто по легкомыслию, кто по глупости, доверяется поверхностному впечатлению. Но меня-то она не провела. Ради Вероники и Шарля мы с ней прилежно играли порученные нам партии в нашем квартете и изо всех сил поддерживали фикцию дружеских отношений. Но подспудно не затихала война. Я постоянно ждал от нее любого подвоха. Чертова Ариана!.. Ее мужа я тоже раскусил в первую же минуту, его фальшивость была другого рода. Как и Ариана, Шарль носил маску из папье-маше, но в отличие от Арианы Шарль чувствовал себя в ней неудобно, она не приросла к нему, не стала его плотью. Наш милый Шарль был создан для незатейливой жизни, любил перекинуться в картишки или посидеть с удочкой на берегу, а его втиснули в мундир «молодого административного кадра», который должен быть деятелен, организован, в курсе всего, четок, точен и ни в чем не отставать от людей. Этот мундир здорово жал ему в подмышках, но он и не помышлял его скинуть. Дисциплина. Служба, служба. При таком фельдфебеле, как его жена, черта с два нарушишь устав!

В конце концов мы поселились в трехкомнатной меблированной квартире неподалеку от площади Мобер. Точнее было бы сказать: в конце концов мы покори-

лись необходимости поселиться... Поиски нас просто довели до ручки. Мы оказались излишне привередливы. Квартира, на которой мы остановили свой выбор, была далеко не самая приятная из всех, что мы успели посмотреть за это время. Хотя она находилась на пятом этаже (конечно, без лифта), комнаты были мрачно-ватые, потому что окна выходили в узкий темный двор. Итак, необходимость взбираться на пятый этаж не компенсировалась избытком света. Особенно противной была кухня, маленькая, тесная, ни одного прямого угла, с крошечным оконцем, выходящим на лестницу черного хода — вонючий колодец, где собирались все запахи дома. Служащая агентства, которая показывала нам эту квартиру, сказала: «А вот и кухня, она забавная». Почему забавная? Ну и жаргончик у этих теток из агентств по жилплощади! С помощью модных словечек они умеют всучить вам всякую дрянь. Это же надо — забавная!..

Мы перевезли свои сундуки, свои чемоданы и начали устроиваться. Мы старались разговаривать друг с другом, быть оживленными... «Вот мы и дома наконец. Можно бы и раньше, да, дорогая? Придется все перекрасить. Вот увидишь, после ремонта здесь будет куда веселее». Когда мы кончили возиться, почти кончили (все вынули из чемоданов и разложили по полкам), Вероника присела на кровать в спальне. Она стала теперь уже очень грузной, лицо у нее было желтое и усталое — выглядела она лет на тридцать. Я сел рядом с ней. Я же, наоборот, сильно похудел за последнее время, и пиджак болтался на мне, как на вешалке, я почему-то стал сутулиться и выглядел тоже не блестяще. Мы смотрели на свое непрезентабельное отражение в зеркальной дверце шкафа из светлого дерева, стоявшего напротив. Медленным скользящим взглядом Вероника охватила сидящую на кровати пару и все, что ее окружало, и вдруг заплакала. Она плакала долго, беззвучно, и плечи ее вздрагивали от прерывистых вздохов. Я обнял ее. Я был удручен и полон сочувствия и нежности. Я сам готов был заплакать. Я знал, почему она плачет. Конечно же, потому, что мы бедны и неустроены. Потому что все вокруг уродливо и решительно не похоже на то, о чем она мечтала. Но еще и потому, что чудо нашей юности исчезло в этом зеркале у нас на глазах. Мы уже не были мальчишкой и девчонкой. Мы были ответственными людьми, мужчиной и женщиной, у которых скоро будет ребенок и которым придется в нашем жестоком мире вести отчаянную борьбу, чтобы выжить. Смутное чувство, что мы не принадлежим больше к божественной породе молодых, чуть проглянувшее в нас во время велосипедной прогулки с друзьями Жанины, вдруг материализовалось в этом отражении.

В последующие дни я посвятил все свое свободное время оборудованию квартиры. Я перекрасил кухню, переклеил обои в спальне, сколотил полки. Оказалось, что у меня не такие уж плохие руки. Вероника мне помогала сколько могла — чувствовала она себя довольно скверно. По сравнению с днями поисков квартиры это был скорее хороший период нашей жизни: нам казалось, что мы что-то вместе строим, и это нас связывало. Я даже вновь начал надеяться, что еще не все потеряно, что мы сможем быть счастливы... Вероника была как будто более раскованна, более весела. Сегодня, оценивая все это с дистанции времени, я думаю... боюсь быть к ней несправедливым, зря ее оговаривать... и все же я думаю, в то время она играла свою очередную роль — роль молодой мужественной и ловкой женщины, под стать тем, чьи фотографии украшают обложки проспектов, рекламирующих обои и декоративные ткани: месье и мадам, молодые, свежие, прелестные, с таким увлечением заняты витьем своего гнезда. Мадам умело разматывает рулон обоев. Быть может, Вероника разыгрывала эту сценку. Быть может, но я точно не знаю, боюсь ее зря обвинить. К чему эти вечные подозрения, которые разъедают все на свете, пережигают все дотла? В этом повинен нынешний век, он занес в чувствительные сердца семена подозрения — я имею в виду нашу цивилизацию, такую лицемерную, такую эрзацную, такую продажную... Она всех заразила... Итак, период устройства был довольно приятным, ибо тогда мы жили иллюзией, что являемся друг для друга всем, что один для другого — конечная цель. В последние недели перед рождением нашей дочки Вероника так подурнела, что у меня

даже не возникало мысли о близости, но я понимал, что она во мне нуждается и был преисполнен нежности и заботливости.

Несмотря на ряд усовершенствований, которые мы произвели в нашей квартире, нам там не было хорошо: мы оказались в кольце ненавистных соседей с их шумной, мерзопакостной жизнью. Если взирать на мир из окон пятого этажа парижского дома третьей категории, да к тому же выходящих во двор, то род человеческий выглядит малопривлекательным. Печальный образец был у нас всегда перед глазами: за исключением детей здесь почти все были непереносимо уродливы тем безнадежным уродством, которое не освещал даже слабенький лучик доброты или ума. словно какие-то глубоководные рыбы, но, увы, не такие молчаливые. В фешенебельных кварталах уродство встречается реже, во всяком случае оно лучше замаскировано. Люди хорошо питаются в течение ряда поколений, занимаются в школе спортом, холят себя, и у них нет тех повседневных мучительных забот, которые постепенно искажают облик. Если ты живешь в фешенебельном квартале или если ты там прежде долго жил, то, мне кажется, тебе легче полюбить своего ближнего. Я не был бы удивлен, если бы мне сказали, что в районе Нейи духовная жизнь интенсивнее, нежели в районе Нантера. И что на тех красивых улицах, где могут оценить мысль Тейара де Шардена, люди действительно стоят ближе к ноосфере¹⁸. Все это результат хорошего воспитания, сюда входит и уважение к прислуге, и каникулы, проведенные на музыкальных фестивалях в Зальцбурге и Байрейте... Но в районе площади Мобер (а мы жили именно там) до ноосферы довольно-таки далеко, и физическое уродство там не было смягчено нравственной красотой.

Я уже говорил, что наши соседи отнюдь не были немыми. Напротив, природа их наделила на редкость зычными голосами. Без семейных ссор не проходило и дня: две-три пары, подменяя друг друга, день и ночь поддерживали священный огонь супружеских распрей. «Пляску смерти» играли почти на всех этажах нашего дома. Были среди жильцов и одиночки, которые от тоски и заброшенности впали в маразм. Под нами, например, обитала старуха, страшная как циклоп, хромая, с раздувшимися, набрякшими альбумином отечными ногами и с жестокими выпученными глазами. Нам было слышно, как она остервенело рычит, словно дикий зверь в своем логове. Она излучала злобу, но главным и постоянным объектом ее ненависти была другая старуха, такая же одинокая, хотя и совсем в ином духе. Ее мы прозвали мадам Дракула¹⁹. В давней молодости она была мастерицей у мадемуазель Шанель²⁰ и осталась верна кокетливо-инфантильному гриму тех лет: губы сердечком, тонкие дуги нарисованных бровей и кукольные нарумяненные щечки в стиле 1925 года. Востренькая, плюгавая, она все свое время проводила в слежке. Дверь на лестницу у нее всегда была приоткрыта. Когда мы появлялись, она ее скромно прикрывала и снова отворяла, едва мы успевали миновать площадку. Мы всегда чувствовали себя под надзором этой маленькой зловещей тени. Мадам Дракула иногда вступала с нами в разговор, и отделаться от нее не было никакой возможности, разве что грубо оборвать, но на это у нас не всегда хватало мужества. Она была непревзойденным виртуозом по части подслащенных гнусных намеков... Бедная мадам Дракула. Бедная Циклопиха с четвертого этажа. Бедные чудовища, которых никто не любит, которые никого не лобят, рожденные на свет лишь затем, чтобы стать объектом презрения, удивления и ужаса. Бог и за вас принял смерть?

В наших клетушках на пятом этаже мы оказались подключенными к жизни всего дома. Эта коллективная жизнь была расписана как по нотам. В шесть утра у большого с третьего этажа, уже много месяцев не встающего с постели, начинался приступ кашля, длившийся до семи. (Ровно в семь кашель резко обрывался, уж не знаю, право, что делали с этим несчастным: кляп ли засовывали ему в пасть

¹⁸ Ноосфера — область планеты, охваченная разумной человеческой деятельностью.

¹⁹ Вампир Дракула — персонаж серии фильмов-ужасов.

²⁰ Знаменитая парижская модельерша, основательница всемирно известного дома моделей «Шанель».

или оглушали ударом по темени?) И так, он умолкал, но тут же вступала пара с пятого этажа (их окна были как раз напротив наших) со своим ежедневным аттракционом: супружеская ссора. Их «танец смерти» длился до девяти. Жена истошно вопила, муж глухо огрызнулся, должно быть, ему было все же немного стыдно. В десять гусыня с четвертого отправлялась за покупками. На ее двери было не меньше пяти замков, задвижек и защелок. Сперва раздавалось громкое звяканье и скрип, потом она со всего маху захлопывала за собой дверь — бля м! — и всякий раз у меня екало сердце. В полдень кто-то (мне так и не удалось установить кто именно) запустил радио на полную мощность. В четыре часа девочка из шестой квартиры слева начинала брэнчать на пианино. От семи до девяти вечера мы имели возможность с двух сторон слушать телевизионные программы, правда разные. Справа всегда первую, слева всегда вторую. Владельцы этих телевизоров были альтруистами. Вместо того чтобы ревниво, в полном одиночестве, наслаждаться всеми этими драматическими спектаклями, репортажами, телевизионными играми и эстрадными концертами, они заботились о том, чтобы разделить это удовольствие со всеми жильцами. Между двенадцатью и половиной первого сосед, что над нами, возвращался домой; он, видно, был крайне неуклюж, потому что различные предметы то и дело с грохотом падали на паркет. Затем он начинал раздеваться и швырял на пол сперва один, потом другой ботинок с высоты, которая казалась мне противоестественной, словно он разувался, взобравшись на стремянку. Только к двум часам ночи дом затихал и можно было начинать думать о сне. Для полноты картины мне надо было бы упомянуть также о стуче молотка (все без исключения почему-то заколачивали в стену гвозди, причем ежедневно, но преимущественно по утрам в воскресенье) и о концертах какого-то меломана, который чуть ли не каждый день запускал часа по два кряду пластинки с оперными ариями. К тому же он обычно подпевал певцу, а если это была певица, то вторил ей на октаву ниже. Благодаря этому мерзавцу я знаю теперь наизусть «Мадам Баттерфляй».

Мой шурин Жан-Марк иногда навещал нас. С тех пор как он вернулся из своего иезуитского коллежа где-то в районе Понтуаза, он менялся буквально на глазах. Заметим в скобках, что годы обучения в этом коллеже не оставили на нем глубокого следа. Жан-Марк нимало не беспокоило, что его ожидает в ином мире. Зато этот мир и его возможности интересовали его как нельзя больше. Его заставили посещать лекции на факультете общественных наук, подобно тому как в доброе старое время добропорядочные родители отправляли своих «барышень» в finishing school²¹, чтобы они набрались там хороших манер. Образование, которое Жан-Марк продолжал на улице Сан-Гийом, можно было обнаружить лишь в его интонации, в покрое костюма, в манере носить зонтик и выпячивать подбородок. Жан-Марк всегда напоминал мне ту отвратительную рекламу апельсинового мармелада одной английской фирмы, которая частенько появлялась во многих газетах. На ней был изображен спесиво глядящий на вас молодой человек в костюме и тонца и в цилиндре, склоненный над банкой этого самого мармелада. Подпись под картинкой гласила: «Называйте меня эсквайром!» Это одновременно и бессмыслица, потому что «эсквайр» не дворянский титул, который можно получить в награду за что-то, и подлость, потому что реклама эта апеллирует к самым низменным, к самым гадким инстинктам человека — к его тщеславию, к его гнусному желанию казаться не тем, чем он есть, быть причисленным к псевдозлите. Мастера рекламы не бог весть какого мнения о человечестве. Жан-Марк хотел прослыть аристократом. Это была его самая сильная страсть, которой не уступала, пожалуй, только страсть к деньгам. Он прекрасно ладил со своей сестрой, они говорили на одном языке. Я это не сразу подметил. Сперва мне казалось, что это обычная привязанность брата и сестры, но потом я понял — дело не только в этом: их объединяли общие жизненные устремления. Когда Жан-Марк приходил к нам в гости и они болтали друг с другом, я чувствовал себя выключенным из их разговора. Я считал, что это в порядке вещей, что у брата и сестры может быть своя террито-

²¹ Буквально: завершающая школа (англ.).

рия общения, куда чужим доступа нет, точно так же как у нас с Жаниной, несмотря на разницу в возрасте. Но их репертуар был не таким ребячливым, как наш, не таким невинным. У них речь шла не о Дональде Даке, а о парижской светской хронике, о Сен-Тропезе, о модных знаменитостях...

Я быстро учуял, что Жан-Марк стал относиться ко мне снисходительно. Еще год тому назад он был мил со мной, даже сердечен. Тогда он еще не открыл для себя Истинных Ценностей, теперь он восполнил этот пробел, и я потерял для него всякий вес.

— Слушай, цуцик, — сказал он мне как-то раз (улица Сан-Гийом изменила его акцент, интонацию, но не лексику, которая сохранила следы врожденного хамства). — Ну и дерьмо же ваша меблирашка. Ты бы хоть поднатужился и перескочил на ступеньку повыше. Вероника стоит лучшего, тебе не кажется?

И он обвел подбородком комнату, в которой мы сидели. Да, Вероника, несомненно, стоила лучшего. Я промолчал.

«Перескочить на ступеньку выше» мне удалось только год спустя. Но рождение нашей маленькой дочки временно отодвинуло на задний план все заботы о материальном благополучии и о продвижении по социальной лестнице. В течение полугода все наши мысли были сконцентрированы на малютке и ничего другого для нас не существовало. И я вспоминаю об этом периоде как о самом счастливом в моей жизни.

— День ото дня она становится все больше на тебя похожа, — говорит Жанина. — У нее твои глаза.

— Правда? Так всегда утешают отцов.

— Свистун! — говорит Жан-Марк. — Кончай придуриваться! А что у нее от меня?

— Ничего, — торопливо отвечает Жиль. — Абсолютно ничего.

— У нее будет мой ум. Сейчас это не заметно, но вы учтите, у нее будет ум ее дяди.

— Бедняжечка, — бормочет Жиль, склоняясь над крошечным личиком, утопающим в батисте. — Явилась злая фея и сделала свой роковой подарок.

Вытянув руку, он указывает двумя пальцами на прорицателя злой судьбы.

— Слышите, что несет этот кретин? — возмущается Жан-Марк. — Во-первых, я не фея...

— Дурачки! — смеется Вероника. Она держит малютку на руках. — Пошли, Жанина, будем ее купать!

— А я? — спрашивает Жиль.

— Ты хочешь, чтобы мы и тебя выкупали?

— Меня вы не возьмете с собой?

— В нашей ванной комнате вчетвером не повернешься.

И тем не менее все четверо отправляются в ванную. Жиль не может пропустить купание дочки. Каждый вечер он присутствует на этой церемонии. С восторгом и умилением смотрит он, как эта розовая обезьянка гримасничает и плещется в воде.

— Увидишь, какая она смешная, — говорит он Жан-Марку. — Настоящий клоун.

Мыло и губка девочке явно не нравятся. Она норовит отвернуть головку от этих неприятных предметов и морщится, корча изысканно-презрительные гримаски, словно старая маркиза, шокированная нарушением приличия. Зрители хохочут. Жиль с нежностью глядит на Веронику, Жанину и дочку. «Вот три существа, которых я сейчас люблю больше всего на свете», — говорят его глаза. Вероника вновь обрела свою свежесть и красоту, она стала даже более красивой, чем до родов: такая же тоненькая и стройная, как прежде, и в то же время в полном расцвете. И Жанина день ото дня становится все более прелестной. Что до маленькой... «Дочка для него — восьмое чудо света! Он просто обалдел, кроме нее, ничто теперь его не интересует, — часто говорит Вероника с наигранным возмущением. — С тех пор как она появилась, он меня едва замечает». И в самом деле, каждый ве-

чер, вернувшись домой, Жиль, поцеловав жену, первым делом спрашивает ее о Мари: как она поживает, как провела день, чему еще успела научиться, потому что, уверяет он, она редкостно способный ребенок. Он спешит к ее кровати и, если она не спит, играет и разговаривает с ней до той минуты, как ее понесут купать. Если девочка, увидев его, улыбается, он от радости приходит в полный восторг и горделиво хвастается перед женой своим успехом у дочери.

С купаньем покончено, и Жан-Марк, спохватившись, смотрит на часы.

— Нам пора мотать отсюда, — говорит он Жанине, — а то опоздаем.

— Вы куда-то собрались? — строго спрашивает Жиль.

— Точно так, с вашего разрешения.

— Что-то мне кажется, вы часто стали вместе шататься последнее время. А могу ли я полюбопытствовать, куда ты намерен повести Жанину?

— Гляди-ка! Твой братан настоящий шпик. Великий инквизитор. Мы идем в кино.

— А после кино?

— Отвяжись от них, — говорит Вероника, — они достаточно взрослые...

— Я не хочу, чтобы ты водил ее в ночные бары Сен-Жермен-де-Пре, — невозмутимо продолжает Жиль. — Она еще не доросла.

Жанина смущена, и вместе с тем ее это забавляет. Забавляет потому, что она узнает манеру острить своего старшего брата, догадывается, сколько игры и скрытого юмора таится в нарочитой строгости интонаций и в суровом выражении лица. А смущена потому, что давно заметила ироническое отношение Жили к Жан-Марку. Кроме того, она вообще по натуре застенчива, ей неловко быть объектом всеобщего внимания.

— Во всяком случае, — продолжает Жиль, — проводи ее до дома, до самого подъезда.

— Послушай, милейший, я джентльмен.

— А ты бы нацепил значок со словами «я джентльмен» — тогда бы не было никаких сомнений. На какой же фильм вы идете, если не секрет?

Жанина говорит какое-то название, фамилию режиссера, объясняет, что это фильм «Новой волны».

— Ясно, — говорит Жиль, — на полфильма — сцена в постели...

— У тебя нет газетки, чтобы посмотреть программу кино? — спрашивает Жан-Марк. — Скоро пасха, может, где-нибудь в пригороде, в каком-нибудь клубе христианской молодежи показывают «Голгофу».

Все четверо хохочут. Потом Жиль все же продолжает пародировать содержание фильмов «Новой волны». Голос его делается тягучим, старчески-хриплым, а на лице застывает постное выражение, никак не вяжущееся с веселыми искорками в глазах и смешливым подергиванием губ — верными приметам назревающего взрыва веселья.

— Там будет героиня, а может, даже две, подстриженные под Жанну д'Арк, но отнюдь не девственницы, совсем наоборот. Одна из них все время будет сидеть в ванне. На вид ничего себе, но какая-то чокнутая. Так вот, принимая ванну, она читает «Критику чистого разума» или что-нибудь в этом духе из серии «Мысль», чтобы преодолеть свой комплекс неполноценности в области культуры. Ее муж — известный деятель искусства или науки, вполне современный господин. Поэтому он читает исключительно комиксы и бульварные романы. Одним словом, тип понятен. Он, конечно, семи пядей во лбу, но ему и в голову не приходит, что жена изменяет ему со знаменитым автогонщиком. Высокий интеллект этого деятеля таинственным образом время от времени дает сбой. Вечером они ходят в ночные каbare на Левом берегу, чтобы встретиться с приятелями, послушать классный джаз и посмотреть стриптиз. Это зрелище им никогда не надоедает, тем более что муж уже давно переспал с этой девицей. Он совершенно уверен, что его жена ни о чем не догадывается, однако она все знает, но ей на это плевать. Поразительная проницательность мужа порой вдруг, как мы знаем, дает сбой. В каbare они встречают приятелей, например юную кинозвезду, или там режиссера, или критика журнала «Кайе дю синема». Одним словом, самых обыкновенных

людей, вроде нас с вами... Они непременно заводят речь об Алжире, или о Вьетнаме, или о положении американских негров, чтобы облегчить свою нечистую совесть современных интеллигентов. Один из них говорит, например, другому: «Ты видел, как они линчевали этого профессора в Нью-Орлеане?» — и приводит две-три ужасные подробности, и в эту самую минуту мы видим на экране крупным планом пупок очаровательной стрипперл. Эпатирующий контраст, не правда ли?.. Тревожная, будоражащая ирония. Потом жена танцует с каким-то весьма подозрительным типом. Муж смотрит на этого типа злым взглядом, хотя мужу бояться решительно нечего, поскольку тип этот пришел в кабак с немецким промышленником, но, как я уже говорил, на этот проникновенный ум минутами находит какое-то странное затмение. Потом жена процитирует несколько фраз из «Критики чистого разума», и одновременно наплывом на экране появляются те картины, которые проносятся в это время у нее в голове: мчащийся на максимальной скорости гоночный автомобиль, она сама совершенно голая с корзинкой в руке переходит площадь Согласия во время демонстрации 14 июля, ее муж в одежде космонавта в ракете читает «Супермена» и рассеянно гладит блондинку, на которой нет ничего, кроме кожаного ремня и сапожек. Современный эротизм, не так ли? Фетишизация кожи. Штурм табу. Короче, я не буду рассказывать весь фильм, чтобы не портить вам удовольствия. Но сами увидите, там все это будет. Или что-нибудь похожее. Прекрасная работа оператора. Оригинальный монтаж. И в титрах такие имена, что у вас дух захватит.

После ухода Жан-Марка и Жанины они готовят ужин и садятся за стол, и Жиль, возвращаясь к мысли, которая, видно, не покидала его все это время, говорит, что ему не хотелось бы, чтобы Жанина так часто встречалась с Жан-Марком.

— Почему? Воишься, что он сделает ей ребенка? Уверю тебя, зря, Жан-Марк в этих вопросах куда более просвещен, чем был ты в его возрасте.

Сказано не в бровь, а в глаз. Жиль явно понял намек. «Допер», как сказала бы его жена.

— Ты на меня не в обиде?

— Конечно, нет! Но не станешь же ты возражать, ты был предельно неопытен. Я тоже, впрочем. Подумать только, какой я была тогда дурочкой! Несмотря на весь свой темперамент. Но, возвращаясь к Жан-Марку и Жанине, я уверена, он примет все меры. Ты можешь не беспокоиться.

— Значит, ты думаешь, что Жанина и он...

Жиль покраснел, у него заплетается язык.

— Я вовсе не утверждаю, что он с ней спит.

— Упаси бог!

— А я вовсе не уверена, что «упаси бог». Да не гляди ты на меня такими глазами! Предположим на минуту, что он все же спит с ней, это ведь тоже не катастрофа.

Жиль кладет на стол нож и вилку, словно это предположение отбило у него аппетит.

— Ты считаешь? Ну, знаешь...

— Да ты не волнуйся. Если бы что было, я угадала бы. Прочла по их глазам. Я думаю, Жан-Марк и сам бы мне сказал об этом.

— Он посвящает тебя в такого рода дела?

— Он всем хвалится каждой своей новой победой. И мне, в частности.

— Вот негодяй! Он тебе об этом рассказывает? Тебе?

— А что такого?

— Ну не знаю. Говорить о таком с сестрой. Признайся, это все же...

— Ты отстал, Жиль. Странно, но в этих вопросах ты полон предрассудков. Особенно если речь идет о твоей сестре.

— Жанина — настоящая девушка.

— Ты хочешь сказать, что я не была настоящей девушкой?

— Нет, прости: я хочу сказать, что и ты была настоящей девушкой... Но признайся, все же есть разница...

— Во всяком случае, если она спит с Жан-Марком и это доставляет им обоим удовольствие, то я не вижу, почему бы им от этого отказаться!

— Жанине всего шестнадцать лет.

— Ну и что? В шестнадцать лет девчонка уже созрела для половой жизни. Но когда дело касается Жанины, ты не в силах нормально рассуждать.

— Хорошо, я согласен, пусть у нее будет любовник, если это сделает ее счастливой и если ты настаиваешь на том, чтобы я рассуждал «нормально». Но только не Жан-Марк.

— Не знаю, право, почему ты так ненавидишь моего брата.

Это сказано сдержанным тоном, с натянутой улыбкой.

— Я его вовсе не ненавижу, — горячо говорит Жиль. — Но мысль, что Жанина и он... Нет, сама видишь, эта мысль мне невыносима. Просто мурашки бегут по спине. Я бы предпочел, чтобы она выбрала любого другого, только не его. Пусть даже водопроводчика, если это молодой симпатичный парень. Я ничего не имею против твоего брата. Но ведь бывают вот такие несовместимости, тут уж ничего не попишешь. Это сильнее меня.

— А если бы они поженились?

— Нет, ни в коем случае!

— Крик души!.. А знаешь, Жан-Марк будет, возможно, совсем неплохой партией. У него удивительное коммерческое чутье.

— А я не хочу, чтобы Жанина вышла замуж за человека с удивительным коммерческим чутьем, — уныло говорит Жиль.

Вероника опускает глаза. Ее улыбочка скорее похожа на усмешку.

— Я знаю, что не хочешь. Но может, следовало бы спросить и саму Жанину, каково ее мнение?

— Я ее знаю. Она тоже этого не хочет. Даже если...

— Что если? Продолжай.

— Даже если ты будешь давать ей соответствующие советы, не уверен, что она их послушается.

Вероника поднимает глаза и мерит его жестким взглядом.

— Какие советы? О чем ты говоришь?

Ее голос слегка дрожит. Но отступать теперь уже поздно. Ссора так ссора. Жиль улыбается. Нервничает? Или хочет смягчить смысл своих слов?

— Помнишь, прошлым летом, в Бретани, ты ей как-то сказала, что если ее товарищ, сын депутата, богат, ей, мол, следует им заняться. Это твои слова: «Если у него есть башли, займись им».

Она хмурит брови, припоминая.

— Я ей так сказала? Что ж, вполне возможно. Наверное, я шутила. А что она ответила?

— Ничего, — говорит он холодно. — Она покраснела.

— Тут не с чего было краснеть, — говорит Вероника с вызовом; они в упор смотрят друг на друга, без всякой нежности.

— Возможно, что и не с чего. Но она все же покраснела.

Вероника отворачивается. Молчание. Она вздыхает.

— Ну и память же у тебя! Помнить такие вот мелочи, какие-то случайные, ничего не значащие фразы...

— Видимо, эта фраза что-то для меня значила.

Она снова кидает на него жесткий внимательный взгляд.

— Почему? Ты увидел в моих словах намек на то обстоятельство, что у тебя самого нет башлей, так, что ли?

Настал черед Жили опустить глаза.

— В твоих словах много чего можно было увидеть...

— Я сказала эту фразу, не придавая ей никакого особого значения, — говорит она вдруг устало. — Сказала просто так, ничего не имея в виду. Если искать скрытый смысл в каждом слове...

— Бывают неконтролируемые аллюзии. — Он произносит слова отрывисто,

словно иронически, чтобы снять по возможности серьезность обвинения. — По Фрейду, все полно значения. Ничего уже нельзя сказать просто так.

— К чертовой матери Фрейда! Лучше помоги-ка мне.

Они убирают посуду со стола, уносят все на кухню. Она крошечная, вместе они там едва помещаются. Раковина, газовая плита и шкафчики для посуды и кастрюль занимают почти всю ее площадь. Вероника готовит салат, а Жиль моет тарелки в напряженном молчании — каждый из них пытается угадать тайный ход мыслей другого. Только что они были на грани ссоры, им едва удалось ее избежать. Даже не глядя на жену (он все же видит ее краем глаза), Жиль знает, что она сейчас прервет молчание, наверняка скажет что-нибудь приятное, шутливое, чтобы сгладить дурное впечатление от последних реплик.

— Милый, да ты великолепно моешь посуду! Ты, право, на все руки... Посмотрели бы на тебя сейчас твои американские друзья!

— Они сочли бы это естественным. На самом деле это совсем простые люди.

— Простота миллионеров... — Помолчав, она продолжает: — Меня удивляет, что общение с этими людьми, такими изысканными, такими артистичными, по твоим словам, не привило тебе вкуса к красивым вещам.

— Ну что ты! Я люблю красивые вещи!

— Да, пожалуй, в известном смысле. Но с большими ограничениями. Вот машины, например, ты не любишь. А ведь красивая машина — вещь не менее интересная, чем хорошая картина, и не менее прекрасная, тебе не кажется? Она имеет такую же эстетическую ценность. И предметы домашнего обихода тоже.

— Я никогда этого не отрицал, дорогая.

— Почему же ты в таком случае так нетребователен к своему интерьеру?

— Ну, знаешь, это уж слишком! — закричал он с наигранным негодованием. — Подумать только, что я потратил три недели своей жизни на ремонт этой чертовой квартиры! Все свое свободное время без остатка я посвятил украшению своего интерьера!

Они смеются, радуясь разрядке. Опасность грозы миновала. Они возвращаются в столовую, чтобы завершить обед деликатесом: салат, который едят с сыром (этот рецепт он получил все от тех же американских друзей, общение с которыми имело для него, видимо, такое значение).

— Может, тебе хотелось бы, чтоб я, как Шарль, занялся какими-нибудь художественными поделками? — спрашивает он. Уголки его губ при этом дрожат, как всегда, когда он сдерживает улыбку. — Чтоб я мастерил, например, подвижную скульптуру в духе Кальдера?

Они уже не раз смеялись над этой штуковиной, вернее, над честолюбивыми потугами бедняги Шарля.

— Удивляюсь, почему Ариана не пробует своих сил в абстрактной живописи, — говорит Жиль. — Раз он ваяет в манере Кальдера, почему бы ей не писать, как... ну, не знаю, скажем, как Дюбюффэ? Или занялась бы она коллажами. Такая предпринимчивая женщина...

— Ой, постарайся, пожалуйста, завтра не смеяться над ней так, как в прошлый раз. Она наверняка это заметила. И он тоже. Ты ее терпеть не можешь, но это еще не причина...

— Ариану? Да я ее просто обожаю! Мы обожаем друг друга. Дорогая, уж не знаю, что ты положила в этот салат, но он такой вкусный, что на тебя надо молиться. В салатах ты просто недопражаема. — И он ласково треплет ее по щеке. — Ариану? — продолжает он. — Да мы с ней друзья-приятели. Я ее очень ценю. Когда-нибудь я напишу ее портрет. Ты увидишь, как он будет похож. Само собой разумеется, словесный портрет в духе моралистов времен классицизма. Ну, знаешь: «Дифил, или Любитель птиц».

— И как ты его озаглавишь? «Ариана, или...»?

Он делает вид, что ищет заглавие.

— «Амазонка нового времени», — предлагает она.

— «Амазонка»? Неплохо! Но надо более точно определить нашу эпоху. «Но-

вое время» — это слишком расплывчато, да к тому же можно спутать с журналом того же названия. Подожди, я, кажется, придумал: «Амазонка потребительского общества». Либо: «Амазонка цивилизации досуга». Ну, как?

— В самую точку.

— Нет, хорошенько все обдумав, я, пожалуй, назову его просто «Дамочка». Впрочем, это одно и то же.

По лицу Вероники пробегает тень.

— Дамочка?

— Да... Я действительно напишу этот портрет, кроме шуток. Столько интересного можно сказать по поводу нашей дорогой Арианы.

Она с любопытством смотрит на него и говорит:

— До чего же у тебя иногда бывает свирепый вид!

— Это обратная сторона доброты, дорогая. Я очень, очень добрый, ты же знаешь. Поэтому время от времени я больше не могу. задыхаюсь, мне необходима разрядка.

— Ариана или Жан-Марк — твои любимые мишени.

— Согласись, что они воплотили в себе все... словом, все то, что я не люблю в сегодняшнем мире.

— А мир сегодня такой же, каким был всегда.

— Нет, мир сегодня хуже. Широко распространились... как бы это выразить... какие-то дикие взгляды на нравственность.

— Объясни, я не совсем понимаю...

— Я и сам в точности не знаю, что я хочу сказать. Но примерно вот что: помнишь Нагорную проповедь в Евангелии? Так вот, переверни там все наоборот — и ты получишь представление о современной морали. Нечем дышать. Мне, во всяком случае.

— Выходит, бедный Жан-Марк антихрист?

— Нет. В общем, ты ведь понимаешь...

— Нет, не совсем. Что тебе в нем так уж не по душе?

— Мы разные...

— Это еще не довод.

— Он чертовски самоуверен. Я — нет. Он принимает и одобряет мир таким, какой он есть. Я — нет. Я хочу сказать, современный мир. Он любит деньги и будет много зарабатывать. Я — нет. Он груб и бесчувствен, живет без оглядки на других. Я — нет. Он опустошен. Я — нет. И глубоко... Да не стоит, пожалуй, продолжать!

— Нет, почему же, валяй, валяй. Раз уж ты начал.

— Глубоко... это еще не очень заметно, потому что он молод и довольно красив, но с годами это проявится все больше и больше... Но это уже и теперь проступает в его физическом облике... Не знаю, как бы это объяснить, но где-то между уголками рта и скулами...

— Но что? Ты еще не сказал, что глубоко? Что он глубоко?

— Изволь: он вульгарен, глубоко вульгарен.

Это заявление Вероника выслушивает молча. Взгляд ее снова становится жестким.

— Ты многих людей считаешь вульгарными, — говорит она наконец.

— Да, действительно. Их и в самом деле много, это вытекает из самого определения слова.

— Ты считаешь вульгарными всех тех, кто не думает, как ты, кто не живет, как ты. Ты нетерпим.

— Нет, это не так, вот послушай: ты, например, ты думаешь иначе, чем я, и жить хотела бы по-другому. Но ты не вульгарна.

— Уж не знаю, как тебя поблагодарить за такое великодушие...

— Вероника, не дури. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Извини меня, если я тебя обидел. Ну тем, что сказал о твоём брате... Я не должен был этого делать... Скажи, ты обиделась?

Она в нерешительности хмурит брови. Потом пожимает плечами.

— Нет, по-настоящему нет,— говорит она.— И в глубине души я считаю, что ты прав.

Он вскакивает с поражающей ее проворностью, опускается перед ней на колени, берет ее руки, покрывает их поцелуями...

— Если бы ты только знала, как я тебя люблю, как восхищаюсь тобой! Такие вот мелочи...— говорит он с жаром.— Вот именно поэтому ты не вульгарна, ты — отрицание вульгарности. Никакой в тебе нет хитрости. Удивительная прямота. Ни тени злопамятства, никаких мелких счетов. Ты без обиняков говоришь, что согласна, даже если тебе и не очень-то приятно быть согласной и говорить об этом. Это так редко встречается, так редко! Ты просто чудо!

Он притягивает ее к себе и целует. Она теперь улыбается, видно, что она счастлива от его слов.

— Такой честной и красивой девчонки, как ты, да еще чтобы так отлично умела готовить салат, нет, такой второй во Франции днем с огнем не сыщешь,— шепчет он.

Они смеются. И опять целуются. Она гладит его щеку кончиками пальцев.

— Я тоже, наверное, не раз тебя ранила, даже не замечая этого,— говорит она.— Да?

Он качает головой — то ли чтобы сказать «нет», то ли чтобы попросить переменить тему: мол, не будем больше об этом.

— Не отрицай, я знаю. Вот, например, когда мы жили у твоих родителей и я говорила тебе о них... И еще были случаи. Я уверена. Ты настоящий мужчина, в тебе нет ничего женского, и все же ты так чувствителен, так чувствителен. Я таких чувствительных просто не встречала.

— Это еще не ясно,— говорит он с нарочито серьезным видом, хотя глаза его смеются,— быть может, чувствительность в конечном счете мужская черта? Мы, мужчины, такие хрупкие. Сильный пол — это женщины, теперь это становится все очевидней. Вот возьми хотя бы «Илиаду». У всех этих великих героев древности, у Ахиллеса, у Гектора, ну и у всех остальных, глаза на мокром месте. Когда они не заняты войной, они только и делают что умиляются. И в «Песне о Роланде» то же самое: рыцари готовы расплакаться по любому пустяку.

— Забавно! — Она смеется.— Представляю себе, как Ахиллес вытаскивает из кармана платок и утирает глаза.

— Он это делал чашечкой. Вот только карманов у него не было и, боюсь, сморкался он пальцами.

Жиль снова садится за стол, и они весело кончают обед. Потом они дружно убирают посуду, расставляют все по местам и заходят к малышке. Она спит, подняв к щекам сжатые кулачки. И снова они умиляются, глядя на тонюсенькие пальчики, на крошечные ноготки, совершенные в своей хрупкости и миниатюрности. Они не переставали удивляться, как чуду, что создали это поразительное существо с таким завершенным и уже сильным тельцем. Они стоят рядом, склонившись над этой кукольной кроватью, и молчат, переполненные нежностью, скованные тайной этого растительного сна. Шелковистые веки, блестящие, как атлас. Маленький пухлый ротик с чуть вздернутой верхней губой — «рот Венеры». Жиль говорит:

— Она восхитительна.

Вероника улыбается:

— Ты самый пристрастный отец на свете. Она миленькая, как почти все малыши.

Он протестует:

— Неправда, я никогда не видел такого прелестного создания.

Это игра, ее бессмыслица очевидна обоим, но она их успокаивает. Они словно произносят заклинания.

Они возвращаются в большую комнату, где им предстоит провести вечер. Два кресла, лампа, газеты и книги. Она включает транзистор, подхватывает модный мотив. Потом она смотрит на свои часики.

— Мне нечего читать...
 — А книжку, которую ты начала вчера...
 — Мура! Я бросила... Скажи, Жиль, когда мы купим телевизор?
 — Тебе в самом деле хочется?
 — Последние известия, спектакли... Бывают и неплохие передачи... Иногда, зимними вечерами...

— Ну что ж, давай купим. Телевизоры продаются, кажется, в кредит.
 — Да. Надо ежемесячно вносить какую-то небольшую сумму. Год или два. Это очень удобно.

— А ты не боишься, что мы закиснем? Телевизор в нашем возрасте? Мы что, пенсионеры?

— Ну ты же знаешь, дорогой, с какой радостью я куда-нибудь пошла бы. В гости, в кино, на танцы. Я уже целую вечность не была в «Кастеле». Когда ты меня туда поведешь?

Жиль закрывает книгу, которую читал, заложив пальцем страницу вместо закладки.

— Верно. Мы почти никуда не ходим, — говорит он. — Послушай, давай будем иногда приглашать baby-sitter²². Ведь до того, как мы поженились, ты чуть ли не каждый вечер ходила танцевать. Хочешь, пойдём в «Кастель» в будущую пятницу? Возьмешь у Арианы телефон ее baby-sitter, и все дела.

— Вот здорово! Пошли! Я буду так рада повидать всех ребят. — И она дарит Жюля сияющей улыбкой. — Спасибо, дорогой, ты — золото!

Он вновь раскрывает книгу, она перелистывает иллюстрированные журналы. Тишину нарушают только негромкие звуки дома (у соседей моют посуду, где-то бормочет радио) и неумолкающий гул города. Так проходит минут десять. Вероника снова смотрит на часы.

— Жиль, — ее голос звучит фальшиво-смущенно, — знаешь, мне почему-то хочется выпить виски. Просто идиотство какое-то, ведь я уже не беременна, но вдруг мне жутко захотелось. Хорошего виски.

— За чем же дело стало, сейчас пойду и куплю.

— Но магазины ведь уже закрыты.

— Я поеду в drugstore²³. На машине это займет не больше десяти минут.

— Если найдешь место, где припарковаться. Тебе не лень, правда?

Вместо ответа он целует ее.

Когда он через четверть часа возвращается с бутылкой виски в руке, он с порога слышит голос своей жены. Она говорит по телефону. Он идет на кухню, откупоривает бутылку, ставит на поднос стаканы, лед. Занимаясь всем этим, он невольно прислушивается к разговору за стеной.

— Знаешь, дорогая, я позвоню тебе потом. Жиль вернулся... Да... Когда захочешь, дорогая... Я понимаю... Нет, конечно!.. Договорились... Спокойной ночи. Целую.

Вероника кладет трубку в тот момент, когда Жиль входит в комнату с подносом в руках.

— С кем это ты? — спрашивает он. — Что-нибудь случилось?

— Да нет, это Ариана.

— Вы пользуетесь моим отсутствием, чтобы трепаться по телефону и секретничать, — говорит он с шутивным упреком.

— Ничего подобного. Я хотела узнать телефон ее baby-sitter.

— А мне показалось, что ты говорила с ней очень серьезно. Слово у нее произошло какое-то несчастье.

— У нее действительно неприятности.

Жиль разливает виски по стаканам.

— Ты купил «White horse»²⁴, — говорит она со знанием дела. — Мое любимое.

— Ах, ты различаешь марки виски? По мне, они все на один вкус.

²² Няня (англ.).

²³ Аптека американского типа (англ.).

²⁴ «Белая лошадь» (англ.) — марка виски.

Они молча потихоньку пьют. У Жилия сосредоточенное лицо.

— О чем ты думаешь? — спрашивает она. — Как приятно пить виски! Я почти забыла это ощущение... Ты можешь мне сказать, о чем ты думаешь вот именно в эту минуту?

— А тебе так хочется знать? У меня вертелись в голове не очень красивые мысли. Ну что же, я скажу: вспомнил одну девушку, вернее, ее разговор по телефону из кафе. Там не было будки, телефон висел прямо под лестницей. Я проходил мимо и услышал ее последнюю фразу, перед тем как она повесила трубку. Я просто остолбенел... И главное, что девушка эта — на вид ей было лет двадцать пять, не больше, — выглядела вполне интеллигентно. Судя по одежде, по лицу, по интонациям, по дикции, по всему, она явно из Шестнадцатого района²⁵. Так вот, я услышал, как она сказала тихо, но не очень тихо: «Ну, будь здорова. Покажи ему класс!» Клянусь, у меня просто мурашки по спине побежали. Девушка с таким облик! Ей бы играть героинь Бернаноса²⁶ в фильме Брессона!

— Здесь нет никакого противоречия. Но скажи, ты вспомнил о ней из-за моего разговора с Арианой?

— Я часто думал, может быть это и глупо, но что поделаешь, иногда разбирает такого рода любопытство, короче, я часто думал, говорят ли девчонки между собой, наедине, о таких вещах, о которых говорят ребята, хотя они, как правило, во всяком случае те, кого я знал, на этот счет довольно сдержанны...

— Сегодня ты что-то наделяешь мужчин всеми добродетелями, которые до сих пор считались женскими: скромностью, чувствительностью.

— Нет, кроме шуток, меня интересует, ведут ли девчонки между собой такие же разговоры, как парни. О чем они говорят, когда мы их не слышим? Что они друг другу рассказывают? Я всегда подозревал, что тут нам могло бы открыться много неожиданного.

Вероника поворачивается и глядит ему в глаза.

— Ты хочешь знать, что мне сказала Ариана? Она мне сказала, что только что порвала со своим любовником. Вернее, он с ней порвал.

— У нее любовник? У Арианы?

— Да, уже года два. Жиль, не смотри на меня так!

Она смеется и отпивает глоточек виски.

— Почему ты мне никогда об этом не рассказывала?

— Я обещала ей молчать.

— А Шарль? Он в курсе?

— Ты что, с ума сошел! Этого еще не хватало... Бедный Шарль.

— Два года!.. Вот сука!

— Жиль, ну послушай... (Подразумевается: не будь мелким буржуа.)

— Нет, сука! Она замужем за приличным малым, все у него на месте, он вполне симпатичный и еще нянчится с ней... А она ему изменяет с... Да, кстати, с кем она ему изменяет? Ты знаешь этого типа?

Все это произносится тоном возмущенной добродетели.

— Видела как-то раз. Роскошный мужик!

— Это не оправдание.

Она сосредоточенно смотрит на свой стакан.

— Знаешь, что я тебе скажу... Шарль не такой уж хороший муж...

— Почему? Он ей тоже изменяет?

— Нет, не в этом дело...

Вероника улыбается таинственно и сдержанно — мол, больше меня ни о чем не спрашивай.

— А, понятно... Она тебя посвятила и в эти дела? Ну, знаешь! Бедняга, на его месте я оказался бы не лучше. У меня она тоже отбивала бы всякую охоту. Черт возьми! Кто бы подумал такое, глядя на них? Кажется, что они живут так согласно. Образцовая пара.

²⁵ Аристократический район Парижа.

²⁶ Жорж Бернанос (1888—1948) — известный французский католический писатель. Имеется в виду фильм по роману Бернаноса «Сельский священник».

— Ты ее осуждаешь?

— Да.

— Но ведь это всего-навсего банальная несерьезная связь.

— Банальность не делает ее менее грязной.

— А ты... Ты судишь по меркам... — Она делает неопределенный жест. — Ты из прошлого века...

Снова молчание. Атмосфера заметно изменилась. Он наливает виски, улыбается жене и говорит, поднимая стакан:

— Выпьем, дорогая, за наше будущее.

Она права. Возможно, я и в самом деле из прошлого века. Я верил, что любовь — это порука, что нет любви вне исключительности и верности. Для меня понятие супружеской измены связано с понятием пошлости. Жена, обманывающая мужа, не может быть «доброкачественной»... Умом я заставил себя допустить, что такой взгляд скорее всего предрассудок уже изживающей себя патриархальной эпохи, когда мужское самолюбие определяло кодекс домашней морали... В конце концов, срывы в сексуальной сфере не обязательно свидетельствуют о нравственной несостоятельности. Допустим, это так. Но тогда, рассуждал я, необходимо во всем повиниться перед тем, с кем связан. Нравственное падение обманщика или обманутого и состоит в обмане, во лжи. Я презирал Ариану, думал я, не потому, что у нее был любовник, а потому, что она изо дня в день врала человеку, с которым собиралась прожить жизнь. И меня радовало, что у меня есть основание ее презирать... Антипатия, которую я к ней испытывал, оперлась теперь на прочный фундамент. В течение нескольких дней мы с Вероникой только об этом и говорили. Хорошо, говорил я, женщины так же свободны, как мужчины, они имеют право любить кого им вздумается и сколько вздумается; но если это так, то какого черта надо поддерживать фикцию буржуазного брака в том виде, в каком он существует на Западе? Зачем эта обезьянья комедия с пожизненным «обязательством», с актом гражданского состояния и религиозной церемонией? Чем фактически тайно практиковать полигамию, честнее было бы решительно отказать от брака и дать людям право жить вместе и расставаться, когда им заблагорассудится. Свободный союз? Ты куда как добр (говорила Вероника). А как будет с детьми? Сразу видно, что не вы их носите в брюхе и не вы их рожаете. Вполне можно представить себе форму цивилизации, при которой государство брало бы на себя заботу по воспитанию детей (говорил я). А ты бы хотел, вот ты (возражала она), чтобы государство взяло на себя заботу по воспитанию твоей дочери? И все же несмотря на это нельзя отрицать, что... Нет, ты ответь (горячилась Вероника). Ты хотел бы, чтобы государство взяло на себя заботу?.. И все же несмотря на это, бесспорно, что свободный союз был бы куда целомудреннее, чем ваши презренные, ничтожные адюльтеры и ваши презренные, ничтожные фильмы «Новой волны», которая неумоимо варьирует этот в высшей степени «благородный» сюжет. А твое возражение насчет детей льет воду скорей на мою мельницу, чем на твою. Ариана не расстанется с мужем, потому что он добытчик, кормилец, потому что он обеспечивает ей опору в жизни, комфорт и положение в обществе, и она ему изменяет, прикрываясь требованием равноправия, потому что дохнет от скуки и еще потому, что желает иметь все разом, даже если одно несовместимо с другим: мужа и любовника, семейный дом и холостую квартирку, упорядоченность и беспорядок, она хочет быть замужней и свободной женщиной, матерью и амазонкой, она хочет уважительности и богемы, исполнять супружеский долг и справлять собачьи свадьбы, наслаждаться одновременно спокойным счастьем и безумным счастьем. Что ж, подайте этой претенциозной сукке все вместе и даже более того — и пусть она обожрется всем этим и околеет ко всем чертям! Ъ Паскаля есть фраза, где примерно это и говорится, я сейчас забыл, в каком разделе «Мыслей», но я точно помню ее если не дословно, то, во всяком случае, ее смысл, она поразительно подходит к твоей Ариане, да и не только к ней, но и ко многим людям из нашего окружения. Послушай-ка, не цитируй мне великих французских мыслителей (парировала Вероника), чтобы получше обвинить Ариану. Ты ее ненави-

дишь, ты воспользовался первым попавшимся поводом. чтобы ее очернить: если бы я заранее знала, что ты так будешь реагировать. я ничего бы тебе не рассказала, но, надо думать, у нее все же есть и большие достоинства. она на высоте и как женщина и как жена. раз Шарль так очевидно в нее влюблен. Вот тут-то (говорил я). возможно, ты и ошибаешься. Шарль — милый дурак. Что? Нет, Вероника, ты должна согласиться. что хотя твои друзья и очень эффектная, очень современная пара, но все же они... короче, она сука, он дурачок, он играет роль всем довольно-го, счастливого мужа, потому что запрограммирован, ничего другого не умеет, он — стереотипный продукт Системы... Если бы он не играл порученной ему роли, если бы вдруг решился увидеть вещи такими, какие они есть в действительности, если бы осознал, что женат на авторитарной снобке, которая его унижает, которую он боится и не выносит, он пустил бы себе пулю в лоб, предварительно приняв все меры предосторожности, чтобы не промазать. Но дело в том, что он, так сказать, уже на рельсах, его жизнь посвящена продвижению по службе, обедам в ресторанах, вечерам в «Кастеле». Что? Что ты говоришь? Я говорю (повторяла Вероника), что не такой уж это ад, как ты изображаешь. Бывает и хуже. Хуже, чем что. Вероника? Хуже, чем обеда в ресторанах и вечера в «Кастеле» (сказала она). Вот мне, например, в «Кастеле» очень весело, только, жаль, бываем мы там редко. Жить во лжи (отвечал я с серьезным видом) — это ад, Шарль живет во лжи. А я повторяю (возражала мне Вероника, и при этом у нее были нехорошие, чуть хитроватые глаза), что жизнь Шарля и Арианы и их частые посещения «Кастеля» не такой уж ад...

— А кроме всего прочего, — сказала мне Вероника как-то вечером, — тебе следовало бы пощадить Шарля и Ариану, особенно Ариану, несмотря на твоё к ней отвращение, и постараться быть с ними, с ней в частности, помилей, поскольку она должна тебя познакомить с управляющим из «Юниверсал моторс».

Перевела с французского Л. Лунгина.

(Окончание следует)



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

★

У ДЯДИ ТИМОХИ

В этом очерке я рассказываю большей частью о старом, отживающем на моей родине О новом, что идет и уже пришло на смену старому, будет рассказано в следующем очерке.

* * *

Места, где я родился и вырос, лежат далеко от Москвы, по берегам малоизвестной желтой речки Кумы. Я люблю ее больше всех речек на свете.

Богатые села живут по Куме. Лезокумка, Правокумка, Покойное, Прасковья (в Москве можно купить дорогое вино «прасковейский мускат»), Архангельское, поуличному Цыгановка,— это мое родное село, город Прикумск — мой родной город. Когда-то, очень давно, его называли Кара-Багла, потом Святой Крест. Откуда эти названия, я не знаю, но теперь мне хочется все знать про свою родину. Я заметил: не одного меня, многих потянуло нынче к родным местам. Мне даже подумалось, что есть в этом какой-то знак времени, таящий для нас важный и еще неясный смысл. В последние годы много пишут и говорят об истоках. Возвращение к истокам, к отцовскому порогу стало темой многих писателей самых разных возрастов. Значит, не в возрасте дело, но в чем-то другом. Почему это мы, привыкшие идти безостановочно вперед и вперед, почувствовали потребность остановиться, оглядеться вокруг, назад оглянуться, осмыслить пройденное? Почему?

Давно уже хотелось мне поехать на родину, поглядеть что и как — в детстве оно все было по-другому, — на людей поглядеть, каких знал да какие живые пооставались, на родную хату поглядеть, на курган, на родной выгон, на Володин сад. Хотелось давно, однако все как-то не получалось, и, заметьте, не у одного только меня не получалось. И вот наконец-то. Через тридцать лет. Почему так долго? Сначала я объяснял это своей нерадивостью. Но когда заметил, что то же самое или почти то же самое происходит не со мной одним, стал искать ответа в другом. Пока, правда, не нашел..

Город Святой Крест сначала стал Прикумском, а еще потом, не навсегда правда, но на много лет,— Буденновском. Это я хорошо помню сам. Годов за пять до войны жители нашего теплого и пыльного городка — я был тогда в шестом классе — узнали, что название Прикумск отменяется, и что город наш будет называться Буденновском, и что по этому случаю в гости к нам едет Семен Михайлович Буденный. Со своим учителем рисования Христофором Захаровичем Гокжаевым мы по клеткам рисовали портрет Семена Михайловича. Собственно, рисовал сам учитель — сначала полотно натягивал на подрамник, потом на клетки разбивал это полотно и фотографию Буденного. Я только помогал ему, подавал гвоздики, линейку придерживал, слушал, как низким, глухим голосом он объяснял попутно свои действия. Я сильно любил Христофора Захаровича, любил голос его тихий и низкий, любил глядеть, как он рисует и как рассказывает про знаменитых художников и про рисование вообще. Бывал я и дома у него, картины его смотрел, портреты сына, дочери, слушал, как он играет на скрипке. Господи, не каждому в детстве судьба посылает такого человека, как Христофор Захарович Гокжаев, который окончил Петербургскую академию, стал художником, чтобы потом вернуться в свой Святой Крест, долго ждать, пока мы появимся на

свет, подрастем, чтобы учить нас рисовать, учить любить рисование и красоту. Потом я стал дружить с сыном Христофора Захаровича, с Захариком, тоже художником уже тогда, в юности. Жив ли теперь он? Много лет прошло с тех пор.

Словом, к предстоящему празднику мы рисовали портрет Буденного. Когда портрет более или менее уже угадывался на полотне, учитель доверил мне усы. Рисовали мы гуашью, цветными палочками. Усы у меня получились, их слегка только подправил Христофор Захарович. Когда портрет был готов и водворен в раму, когда его во время праздника проносили по площади мимо трибуны, где стоял живой Семен Михайлович, мне дали держать портрет с одного края именно в то время, когда мы проходили мимо трибуны. Семен Михайлович специально помахал рукой нам, несшим его портрет, хотя он и не знал, что рисовали его мы с Христофором Захаровичем и что усы отдельно рисовал я. Тогда меня потрясло, что наш портрет и живой Семен Михайлович были похожи как две капли. Но смотрел я большей частью только на усы, на живые и на портретные, они были ведь моим творением.

Потом Святой Крест стал Прикумском. А выше, в голых степях, вырос за это время новый город Нефтекумск. Нефть нашли там. В другом же месте, где по одному берегу лежало большое торговое село Воронцовка, или по бумагам Воронцово-Александровское, а по другому берегу другое село, названия не помню, теперь из этих двух сел образовался город Зеленокумск, районный центр. В этом же районе есть совхоз «Кумской», где живет дядя Тимоха. Много эта Кума завязала узлов в памяти населяющего ее берега народа. А оставили ее нам совсем уж древние дикие племена куманы. Так вроде назывались половцы. Вон куда дело-то уходит.

Теперь на эту Куму, на мою родину, езжу я осенью уже два года подряд. Первый раз поехал поездом, второй раз на автомобиле.

Когда ехал поездом, в Минводах купил туристскую карту. И чего, оказывается, нет на моей Ставропольщине! Путешествие в Долину Очарования, к Лермонтовской скале, в Долину Нарзанов, по окрестностям курорта Теберда, к месту вечной мерзлоты на горе Развалка, наконец, к Медовым водопадам. И много чего другого.

Путешествовать по Ставрополю, сказано в карте-путеводителе, значит путешествовать по всему нашему Союзу. Тут есть все вплоть до вечной мерзлоты. И главное, хорошо размечены маршруты, садись и поезжай по любому. Маршруты для туристов и, конечно, для гостей. Но я-то был тут не гость, тем более не турист, я был блудный сын, вернувшийся к родному порогу после долгих тридцати лет. И поэтому, пересев на местный поезд, я поехал не к Медовым водопадам, а прямо к дяде Тимохе.

Давно когда-то по этой же дороге уезжал я из своего села. Паровозик был старенький, в вагонах с деревянными лавками крепко пахло потом, олифой и старинной грязью. Назывался тот поезд «Максим Горький», не ехал, а пешком ходил, у каждой канавы останавливался. Правда, канава была одна, заросшая донником, в канаве стоял фонарь. Это была станция Нины. Поезд стоял тут две минуты.

Теперь паровозика того не было, его заменил современный тепловоз. В новеньких вагонах — мягкие кресла, как в автобусах дальнего следования или в самолетах, откидные, с высокими спинками, подремать можно. Фонаря на станции Нины тоже не осталось, осталась только канава, но современный поезд, как и раньше, останавливается тут на две минуты.

Лет пять тому назад приезжал в Москву человек от дяди Тимохи, за высокие показатели послан был на ВДНХ. Привез полную наволочку яблок. Дядя просил передать.

— Ну, как он там, дядя мой?

И в памяти встал высокий, худой, с длинным носатым лицом Тимофей Артемович, дядя Тимоха. Жил он в центре села, недалеко от нардома — так называли тогда сельские клубы, — ходил в активистах. Помню и сейчас ненашенский, несельский запах от тоненьких папиросок, которые курил дядя Тимоха. В сельсовете всегда было много народу, всегда была толкотня и пахло этими тоненькими папиросками. От этих папиросок дядя Тимоха казался мне тоже совсем новым, похожим на приезжих и незнакомых начальников. И когда в колхоз стали записывать, дядя Тимоха был среди начальников, среди приезжих людей, своим человеком. В отличие от моего отца, ко-

торый в школу не ходил вовсе, дядя Тимоха с отличием окончил церковноприходскую школу. Похвальный лист висел в передней комнате, и почерк у дяди был самый красивый из всех, какие я видел тогда.

До колхозов каждый мужик работал в степи, зимнее время в своем дворе, и редко, по праздникам, гуляли, то есть сходились друг к дружке, пили вино и пели старинные песни, иногда выходили посидеть на завалинке. Теперь же все засуетилось. В нардоме толкотня, в сельсовете толкотня, бегают, говорят, пишут и пишут без конца. И эти, конечно, папироски, каких раньше никто не видал в наших местах. Я тогда догадывался, что в село, в нашу жизнь пришло какое-то большое новое дело. И в этом новом, прямо в самой середине его, находился мой дядя Тимоха. И должность у него была — секретарь сельсовета. Даже отец мой, грамотей-самоучка, который впоследствии дошел до главного бухгалтера, тоже тогда в своем конце села, на Непочетке, ходил с тетрадкой по дворам и тоже все писал и писал, прикасался к этому новому, к перевороту всей сельской жизни. Однако дядя Тимоха был в центре, в нардоме, и казался мне намного главнее отца.

— Ну как же он, как там он живет? — пытал я того человека.

— Живет Тимофей Артемович добро, — говорил человек, — сам из себя толстый, как директор. Другой раз путают с директором. Ну, дюже пьют.

— Что же он пьет?

Я знал, что у дяди во дворе виноградник, наверно, свое вино водится, но человек сказал так:

— Все пить — и вино пить, и водку, и коньяк. Ну, правда, тихо Напьется — сразу бегить спать. А живет добро, толщей директора будет.

Человек был из говорунов, из тех, что совруг — дорого не возьмут.

Конечно, дядя Тимоха справный. И кость широкая, и рост — дай бог каждому, и лицо кавказское, носатое. Мне показалось в первую минуту, что за тридцать лет он ничуть не изменился. Но изменения, конечно, есть. Сильно потяжелел, а голос тише стал, невнятный голос, старый. дребезжащий бас, и ноги плохо гнутся в коленках. Во всем же остальном тот самый. Ни на какого директора не похож. Все вранье. Ну, пьет. Выпивает, так сказать. Так тут все выпивают.

— Обедай, обедай, ничего не обедаешь, — говорила Татьяна Ивановна, жена дяди Тимохи.

Сам же он чокался с мной маленьким граненым стаканчиком и все глядел на меня. Один раз только и сказал, что ни за что бы не признал на улице, ни за что. Сказал невнятно, тихим надтреснутым басом, а то все глядел, чокался. Говорила Татьяна Ивановна.

— Ну, ты ж гляди, усе целое, курица целая, борщу две тарелочки съел — и будеть. Кто ж так обедает, Петрович?

Обедали мы уже восьмой час. День давно кончился, душный и жаркий, а мы все еще обливались потом, обедали. Менялись тарелки с борщом, на месте съеденных отварных кур появлялись новые, ветчина лежала нарезанная и целым окороком, горка яиц, помидоры все подрезали с луком, поливали постным маслом, потом арбуз разрезали, виноград поставили, потом опять все сначала. Шестилитровая банка стояла на столе, и в ней никак не убавлялось.

Татьяна Ивановна была второй женой дяди Тимохи. Первая умерла давно, детей от нее тоже не осталось. Андрей, мой сверстник, конопатый Андрюшка, погиб на войне. Дядя Тимоха долго еще после войны писал в разные места, просил поискать Андрея, не верил в его смерть, «не должен Андрюшка погибнуть». Сестренка Андрея, Поля, еще до войны угорела, вскоре после того, как умерла мать.

Теперь за столом сидели новые дети, незнакомые мне, от Татьяны Ивановны, четыре дочери. Две замужние, с мужиками сидели, и детишки, внуки дяди Тимохины, тут же терлись, возле родителей, возле деда и бабки.

— Миша, Николай... Тимофей Артемович...

Я все тост хотел поднять за их хорошую жизнь, но Татьяна Ивановна не давала.

— Подожди за нас пить, Петрович, давайте за встречу выпьем, налей, отец, чего ж ты глядишь.

— Мы уже восьмой час за встречу пьем,— пробивался я со своим гостем.

— А ехал сколько, тридцать лет ехал. Давайте за встречу.

Опять выпили за встречу.

— А ты на их не гляди,— говорила мне Татьяна Ивановна,— ты обедай, Петрович, обедай. Курей нарубили, хватит, а не хватит — еще нарубим.

— А много ль у вас курей этих?

— Бегают на дворе, а сколько, шут их знает, кто ж их считал. мы с отцом старые уже. Старые, вот и корову нынче не держим, и кабана одного только посадили, стареем, а так живем добро, не хуже людей. Ты бы, Петрович, на директора нашего поглядел, как он живет, вот сказал бы. У вас министры так не живут.

— Ты, мать, дюже не болтай,— сказал дядя Тимоха.

— А чего я болтаю, неправду, что ль, говорю? Да, не живут ихние министры так. А ты, Петрович, не слухай его, он боится у нас правду говорить, всего на свете боится.

— Ничего я не боюсь, а лишнего не болтай,— спокойно ответил дядя Тимоха и добродушно поскрипел, вроде посмеялся.

* * *

Скоро семьдесят ему, но глаза живые, крупные, с зеленцой, выпуклые. Лицо длинное, породистое, даже царственное, без всяких отеков. Седина только что стала показываться. Ноги, правда, плохие, в коленках не гнутся.

Долго приглядывался ко мне, часов восемь. Потом разговорился все же. Из жизни случаи стал рассказывать. И выходило так, что только теперь, когда из учетчиков перешел в ночные сторожа, только теперь наступило равновесие и мир в душе.

Татьяна Ивановна говорит: всего боится. Неправда. Сгоряча сказано. Просто дядя Тимоха тихий по своей природе, а может, оттого, что побитый сильно. Не переносит он никаких скандалов, драк и всего такого.

— Я эти драки, чтоб они провалились, дюже не люблю. Как выпили, так драться, а я лучше убегу, ну их к свиньям.

Между тем вся его долгая жизнь только и делала, что подсовывала ему эти драки и разные неприятности, как на зло, как в отместку за его гихость. Сперва эти неприятности шли от отца, от Артема Ивановича, от моего деда. значит. Крутой, с размахом был человек. Семь лет при дворе его императорского величества служил. Бывало, как выпьет, начнет домашних по чужим дворам гонять или же построит в шеренгу и давай муштровать, как его семь лет муштровали, а после перед строем артикулы показывает чепельником: «На пле-чо! К но-ге! Ко-ли!» И так далее. Редко когда без буйства. В тихие минуты ласков был и печален и все одну песню пел — «Го-оре мое вели-кое-е...». Был Артем Иванович человеком бедным, невезучим, брат же его — богатей известный, впоследствии раскулаченный, конечно. Много Артем Иванович претерпел от своего брата. И задумал однажды отомстить ему. Ведь как не любил их, а пошел в урядники. Получил амуницию, снаряжение, выпил, конечно, для верности, явился при всем параде к богатому брату, саблю обнажил и с криком стал рубить налево и направо: «В Сибирь! На каторгу, мать вашу... Зарублю!» После этого помягчел брат, родственность проявлять стал. Артем же Иванович, исполнив свою месть, из урядников ушел.

Потом революция грянула, за ней гражданская война. А уже позже колхозы начались. До колхозов еще стали принимать в партию дядю Тимоху — грамотный, чепелье класса кончил с отличием, в активистах ходил.

— Дело это не шутейное, не могу я Дядя у меня кулак был, в Сибири теперь. «Нет, говорят, дядя сам за себя отвечает, раз, говорят, бедняк-активист. не имеешь права беспартийным хсдить». Я, говорю, не против партии, но вступать, говорю, не могу ввиду того, что характер у меня не такой, если переписать что — пожалуйста, а то ведь все равно будете потом назад выкидывать через дядю. Не послушались, приняли. А я как в воду глядел. Вычистили меня потом, чуть в Сибирь не уехали. Но пожалели, свои ж все люди. А тут, глядь, война, немцы пришли. У степ уехал, живу тихо, хлеб убираем. Приезжаю домой — стучат ночью. «Сорокин?» Сорокин «Одевай-

ся, гулять поедем. Бери, говорят, четверть вина». Ну что ж, говорю, я не против. Взял четверть, поехали. На линейке едем. Молчат. Одного знаю, в сельсовете был раньше. «Не боисси, говорит, гулять с нами?» А я, говорю, ничего не боюсь, гулять так гулять. Приезжаем. Гляжу — комендатура. Этот, знакомый, из сельсовета, наган выхватывает да ко мне: «Твою мать, гулять захотел? Мы тебя напоим сейчас!» Я говорю, ты схорони свой наган, не грозись, видал я наганы.

— О, господи! — вмешивается тут Татьяна Ивановна. — Ды сроду ж ты такое не говорил, молчал с перепугу.

— Много ты знаешь, — говорит в сторону дядя Тимоха и продолжает свое. — Не грозись, говорю, — продолжает дядя, — и не трожь меня, а то, говорю, как тресну между глаз, юшкой умоисси.

— Ой, господи, мать родная! — Это опять Татьяна Ивановна.

Дядя Тимоха — ноль внимания.

— Этот, правда, испугался, наган схоронил, а зубами скрипит. Тогда другой сбоку р-раз меня в ухо. Не удержался я, полетел наземь. Может, минуты две ничего не помнил, потом очнулся, встаю, он обратно, я обратно падаю. Теперь лежу, не поднимаюсь. Зачем, думаю. Встану, а он опять по морде. Лежу. Слухаю. Говорит: «Отвези его к такой-то матери». А другой ему: «Пускай переночует, успеем». Потасили меня, в подвал бросили. Гляжу, там двое лежат. Узнал — наши, цыгановские. «Тимоха?» Тимоха. «Ну дяржись», говорят. Я дяржусь... Утром дюже сильно побили меня и выпустили. Через зады, проулком, на тихую улицу — и побег я. Бегу и не верю, что выпустили. Ну вот, целый, Петрович, видишь, живу...

Пожевал немного, подумал, опять стал говорить:

— Апосля войны то бригадиром поставют, то скинут. А потому что молчать не любил. Если что не так, в глаза говорю. Мухлевать не давал. «Бери, говорят, Сорокин, третью бригаду, вытягивай». Третью не возьму, не дурак я, чтоб третью брать. «Это почему?» — спрашивают, вроде сами не знают. А потому, говорю, что там одни бывшие активисты, живут на льготах, а работать не хотят, работать некому. Не пойду в третью. Тогда сняли со второй, а бригада моя передовая была. Поставили учетчиком. Оттуда на склад. Надоело. Взял и уехал в совхоз, пятнадцатый год уже тут. Привык.

Опять стал думать, жизнь свою, видно, перебирал, и опьянел малость.

— Ничего у вас, говорю, не получится. Гуртовку не подпишу — и всему делу конец. Как так! То да се, директору, мол, телеграфировать будем, неустойку заплачивать из своо кармана. А я говорю, не грозитесь директором, я его не боюсь, а мухлевать не дам. Это мы свиноголовье сдавали. Видят, на своем стою. Тимофей Артемович, мол, Тимофей Артемович. Четверть вина поставили. Выпить, говорю, не откажусь, а мухлевать не дам. А счас, Петрович, отдежурю — и никто тебе ничего. Ну их к свиньям.

Потом истории пошли неинтересные.

— Ну, ладно, — говорю, — а ты как, Михаил?

Михаил кругленький, крепкий, чернявый. Улыбается, довольный всеми и собой. Каменщик, новый свинарник строит. Грамоту, какая была, всю начисто позабыл. Землю копать, камень класть — это может. Собственный мотоцикл гоняет, с люлькой.

— Ну как, Миша?

— Ну как, Петрович. Усе у меня есть, чего нету, достану. Я усе могу достать. У мене и телевизор есть, кролей сорок штук, корова, мотоцикл, голубя — о! — поглядите на моих голубей, вы и не видали таких.

— Расхвастался, хвост распустил. — Это Валька, жена Михаила, говорит.

— А чего ты, человек спрашивает, я отвечаю. Ну, правда, Петрович, усе у меня есть. — И немного стесняется от этого, улыбка широкая, но стеснительная.

— Парень он добрый, — говорит Татьяна Ивановна, — только пьеть, зараза, глаза б не глядели.

— Ну, ладно, мамка, ты лучше налей нам ишшо.

Вздыхает Татьяна Ивановна, однако наливает.

— За вашу хорошую жизнь! — Это я говорю.

— Живем добро, — отзывается Михаил.

Коля засобирался, перебил Михаила. Коля — тоже зять, Любин муж, русенький, щуплый, глаза ласковые, внимательные, с какой-то своей думкой. Он тракторист, тянется к книжкам, стихи знает на память, поговорить о разном любит, помечтать. А пьет плохо. Отчего-то звереет сразу, драться лезет. Нынче случай особый, грустный сидит. Засобирался Коля на дежурство. В ночь сторожует на сви-нарнике. У них так: четыре человека, механизаторами называются, содержат до трех тысяч свиней. Каждому из четырех приходится делать все, что бывает нужно. Когда подвозит на тракторе корма и раздает свиньям, когда сторожит — все делают сами, и платят всем четверым поровну, за полученный привес. Так вроде все нормально, если экономически, а с моральной точки Коля переживает. Вот он тракторист, хороший тракторист, а идет сторожем в ночь, гордость его страдает. И не только гордость.

— Труд у нас разный при социализме, и ценится он по-разному. А получается вот что. Я тракторист, и моя ночь стоит, к примеру, десять рублей, а ночь сторожа стоит не больше рубля. Неправильно. Зачем же принижать мою специальность?

Так считает Коля.

— А с привесами как? — я спрашиваю.

— С привесами у нас в порядке.

Прощается и уходит.

Наутро чуть свет сговорились мы на рыбалку пойти на Куму.

Ах, эта Кума. Я прошу все реки, какие только видел за свою жизнь, простить меня. Еще ночью, когда Михаил приехал за мной на своем мотоцикле на Георгиевскую дорогу, где я сошел с рейсового автобуса и ждал Михаила, еще тогда, как только понял, что под колесами мотоцикла гремит дощатым настилем старый мост, как только в черноте ночи угадал текшую под нами невидимую Куму, сердце мое дрогнуло. Нет, оказывается, одну только Куму я любил так сильно всю свою жизнь.

И уговариваясь на завтрашнюю рыбалку, я все думал, как увижу ее, мою речку, как встречу с ней, с моей речкой. Остаток ночи, доставшийся нам от долгого обеда, я провел в ожидании утра. Наконец скрипнула дверь, зашмурыгали по полу тяжелые дяди Тимохины ноги, вернулся с ночного сторожевания. Пришел и Коля с ночного дежурства. Не домой пошел, а сюда, просился вчера с нами пойти. Ему хотелось беседовать со мной, говорить на заветные темы, отвлеченные и возвышенные.

Татьяна Ивановна уже занималась стряпней в летней кухоньке во дворе. Выглянула оттуда, посмотрела на наши сборы, как долго и мучительно поднимал с земли дядя Тимоха удочку — ноги не гнутся, а руки не достают до земли, и спина тоже не гнется.

— О, господи, да ты и правда туда же собираисси. Горе ты горькое, тебе ж ноги не донесут, рыболов.

— Ты, мать, помолчи, не мешай,— сказал дядя Тимоха, выпрямившись, потом снова стал доставать с земли удочку. И достал. Поглядел в сторону Татьяны Ивановны победителем.

Но когда мы тронулись в путь, уже вышли со двора, Татьяна Ивановна не оставила дядю Тимоху. Она выскочила на улицу и, уже совсем разобиженная и разозленная, стала кричать на него, призывать его к разуму:

— Три километра итить, ты что, в своем уме, а тады будешь помирать неделю, на постели валяться, ну-ка давай сюда эту удочку дурацкую да иди поросенка хоть покорми! Петрович,— теперь ко мне повернулась Татьяна Ивановна,— скажи хоть ты ему, он же совсем негодный.

Я высказался в том смысле, что дядя Тимоха вполне годный и что сдаваться нельзя, потому что как только сдался перед старостью, тогда уже конец. А Тимофей Артемович вполне еще годный.

Дядя Тимоха тут резко повернулся и сказал:

— На лисапете поеду. Где мой лисапет?

— О, господи, дите малое. Ты ж на ем когда ездил, может, двадцать лет назад, убьесси.

— Не убьюсь. Где мой лисапет?

Дядя Тимоха проворно вернулся на негнувшихся ногах и быстро вывел свой велосипед. Вывел на бульварчик и, хотя что-то кричала Татьяна Ивановна, не раздумывая занес ногу и оказался в седле. Крутанул педаль, велосипед покагился по бульварчику, потом стал съезжать с бульварчика на газон, а съехавши на газон, завалился набок, вроде у него колеса подломились. Тимофей Артемович как сидел неподвижно, так и рухнул вместе с велосипедом. Однако же проворно поднялся, потер руку возле локтя, там появилась красная ссадина.

— Ничего, заживет, пойду пешком.— И пошел, быстро подтаскивая тяжелые, негнувшиеся ноги. Пошел без оглядки.

Я подумал, что молодец дядя Тимоха, не слался.

Ничего, прекрасно прошли три километра. Степная дорога бежала вдаль, к темному лесному уголку, слева холмились поля, от свинофермы с подветренной стороны тянуло навозом, свиньями. Потом миновали мы этот вонючий воздушный поток, и снова запахло утренней свежестью, чуть-чуть польнью, чуть-чуть зеленым горьковатым клевером. На телеграфных проводах сидели крупные птицы в ярком оперении. Изумрудно-зеленое, желтое, черное мелькало в глазах, когда при нашем приближении они отталкивались от проводов и перепархивали на те же провода, но подальше от нас.

Дядя Тимоха шлепал впереди в галошах, потом остановился, выпростал ноги, подел галоши концом удлища, взял в руки и пошел босиком. Я тоже снял тапочки и тоже пошел босиком. Без привычки было колко, но и хорошо, потому что под ступнями ног лежала прохладная, жесткая, родимая моя земля, я шел по ней и был для нее легким, как пушинка. Слева за плоской горой вызолотился край неба и без всякой торжественности, просто и буднично появилось солнце. Поравнявшись с терновыми кустами, я выломал себе ветку с круглыми и гвердыми ягодами, покрытыми нежным голубым налетом. Попробовал на вкус — вяжет во рту, кисло до оскомины. Но какая прелесть этот степной терновый куст весь в острых колючках, весь в черных каргечинах, затуманенных матово-сизой дымкой.

Кончилось клеверище, и вот он — клин леса. Я знаю, что этот клин огибают Кума. Я еще не вижу ее, но чувствую, как она течет там невидимая, дорога сворачивает влево и тянется, ну конечно же, по берегу, точно повторяя крутое колено, крутую петлю, какую делает тут река.

И вот я стою на берегу, на отвесной круче, и гляжу на нее. Все вскруг объято утренней тишиной, все стоит, не шелохнется, и только одна она тянет свои желтые воды по узкому руслу, завивает желтые воронки под самой кручей, всасывает внутрь опавшие полевые листья. В конце излучины, откуда мощно текут ее воды, поперек реки лежит дерево, скелет мертвого дерева, уже давно белого и гладкого, без коры, и сучья белые торчат во все стороны. Оттуда слышно громкое журчание. А напротив меня край леса, его обтекает Кума, там пологий огкос, сизый, набрякший влагой у самой воды, а выше, поднимаясь террасками, становится все белей и суше, пока под самой кручей совсем не переходит в мелкий сыпучий песок. И точно, река сразу унесла меня в детство. Я почувствовал, как пальцы ног вдавливаются в ее дно, то скользкое, вминающееся, то мягкое, выстеленное бархатистым песком, я вижу, как по подбородку, по верхней губе моих давних дружков стекает желтая вода, оставляет дорожки прозрачного желтого ила, я даже улавливаю вкус этого ила, слышу напор воды, сносящий меня, обтекающий мое детское тело.

— Пошли, пошли,— тихонько говорит дядя Тимоха.

По берегу вдоль кручи топаям мы по лесной тропинке, глянцевого, холодной, бегущей среди зарослей, среди узловатых карагачей. Тут еще сумеречно, сыро, и все время не отступает от нас журчание быстрой воды.

Выбрали отлогий бережок с глиняными террасками под сплошным навесом верб. Дядя Тимоха наломал вербных прутьев, устроил себе высокое сиденье. Забросив удочку, возвышался над краем берега, как старый император на троне. Текла мимо желтая Кума.

Коля не отступал от меня ни на шаг.

— Я люблю рыбалку,— говорит он вполголоса.— Люблю, а ходить некогда. То по работе занят, то по домашним делам, так и жизнь проходит.

Я сказал, что всему надо находить время.

— Пока не получается. Бьюсь всю жизнь, а не выходит. Сколько помню себя, столько я бьюсь. Отец у меня на войне пропал, мать померла, нас много осталось, пришлось самим из нужды выбиваться. Ну, я выучился, трактористом стал, люблю это дело, а забот все больше. Свои дети пошли, хозяйство свое. Любка все время болеет, некогда кругом глянуть. А я, Петрович, очень все понимаю. И кручу вон ту, и корягу в воде, видите, голова зеленая, это верба затонула, и травку всякую понимаю, все бы мог нарисовать или рассказать обо всем, а не могу, думаю всю жизнь об этом, а доступу нет. Вот я, Петрович, выпью — и тянет меня тогда драться. Вы же видите, какой я богатырь, а вот тянет меня драться. А ведь я точно знаю: может такая жизнь быть у людей, какую я вижу, какую хочу. Вот, думаю, брошу вышивать, совсем брошу, с силами соберусь, вырвусь вперед, а там... все откроется. Не-ет, Петрович. Думаешь одно, а получается другое, опять то же самое получается.

— Коля, — сказал тогда я ему, — вот смотри, дети у тебя есть, ты их любишь, Любку жалеешь, значит, тоже любишь, хата у тебя есть, поросенок есть, корова есть, виноград есть, куры, гуси есть, теперь скажи: чего тебе не хватает? На тракториста ты выучился, работу свою уважаешь. Чего тебе не хватает?

— А я думал, Петрович, вы меня поняли.

— Да понял я тебя, не бойся.

Солнышко уже поднялось над низкорослым, густым и кудрявым лесом. От середины реки и до другого берега оно ослепило всю быструю воду, и под нашим навесом из густых верб уже чувствовалось приближение жары.

Я поймал двух сомят. Скользкие, большеротые эти сомята опять вернули меня в детство.

— Коля, — сказал я, — давайте купаться.

О, как входил я в эту воду, шаг за шагом спускался в глубину, касаясь ногами бархатистого дна, как сопротивлялся течению, как полплыл к другому берегу, пол желтую кручу, как нырял, отталкиваясь от мягкого, от совсем забытого ласкового дна. Смутно мелькнуло желание раствориться в этой Куме, слиться с ее водой, с ее мягким нескром, с ее корягами, белыми затонувшими стволами, с ее бесконечно петляющими берегами. Но для этого надо было утонуть в ней. Когда-то я уже тонул в ней однажды, в далеком детстве.

Дядя Тимоха тоже разоблачился, остался в длинных трусах. Он неуклюже спустился в воду, держась за терраску берега, вошел по самую грудь и стал стонать от удовольствия. То погружал в воду крупные, в веснушках плечи, то поднимал их из воды и все стонал, как стонут от удовольствия плавающие лошади — э-г-мм... э-мм... о-ооо.

— Это уж годов двадцать не купался я, а может, и боле. О-ооо.

Я плавал, звал дядю Тимоху на тот берег.

— Не, — отговаривался он, — я плавать не дже-то умею.

— А вы не бойтесь.

— Я ничего не боюсь, я ее тыщу раз туда-сюда переплывал, — сказал дядя Тимоха и решительно двинулся в глубину. Гребанул раз-другой руками, и когда воды было уже по самый подбородок, он так же решительно повернул назад, борясь с течением. — Не... Ну ее к свиньям. Не хочу. Не боюсь, а так, не хочу, ну ее к свиньям — Опять стал хлюпать водой, погружаться, и высовываться, и стонать от удовольствия.

Ничуть не помирал дядя Тимоха, когда мы вернулись домой, а напротив, ходил гордо и молчаливо перед Татьяной Ивановной, и все искал себе работу, какое-нибудь занятие по дому, и совсем не думал отдыхать. Молчал, ничего не говорил Татьяне Ивановне, но всем видом своим показывал, что рано еще махать на него рукой.

О ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Там, где живет дядя Тимоха, раньше, до войны еще, жили немецкие колонисты. Порядки у них, как известно, были хорошие, люди жили хорошо, за скотом ходили они хорошо — словом, во всем у них царили немецкий порядок и аккуратность: и в доме и в хозяйстве вообще. Помню, мужики наши говорили о колонистах с завистью

и удивлением. Так вот. Хорошая жизнь колонистов давным-давно перестала быть предметом зависти и удивления, больше того — она давно перестала удовлетворять моих земляков. Я уж не говорю о том, что немцам-колонистам и не снился такой Дом культуры, какой нынче тут есть, с его кинозалом, с его библиотекой, с комнатами для занятий самодеятельных кружков, или та же баня, или магазин, или автобаза, или дорога, по которой в любое время года, в любую погоду можно легко выехать на Георгиевский тракт, где с утра до ночи снуют комфортабельные рейсовые автобусы. Об этом я не говорю. Я беру улицу, простую улицу, где раньше стояли опрятные немецкие домики. Нет теперь этих домиков, нет этой улицы с тучами пыли в сухую погоду и с непролазной грязью в сылять. Теперь за изгородью стоят в садах и виноградниках новые фундаментальные дома, в них светло и просторно, а улица стала, собственно, не улицей, а парком. Посредине тянется асфальтированный бульварчик, с двух сторон вдоль бульварчика пирамидальные тополя, за тополями же цветники по обе стороны. Цветники с молодыми посадками декоративных деревьев. И гвоздика, и канны, и тюльпаны... Никакой проезжей части, проехать по улице нельзя даже на мотоцикле. И правильно. Довольно глотать пыль, этого в нашем крае всегда хватало — и уличной пыли и степной. Теперь довольно, пыли больше не будет. По вечерам, как только стемнеет, подростки на новой улице девчонки и мальчишки уже потихоньку начинают обживать этот бульвар. Все тут уже есть — и луна над тополями, и любовь, и соловьи весенней порой.

Год, когда я приехал в первый раз сюда, был трудный. Нет, трудный — не то слово. Это была беда горькая. Зимой мело целый месяц, изо дня в день, и намело под самые крыши домов. В двух шагах ничего нельзя было видеть. Скот задыхался под снегом. Никаких сил не хватало освободить его из-под снежных заносов. А ветер был какой! Одного, говорят, зоотехника, высунувшегося по нужде, ветер поднял и за целую версту отнес от скотного двора. Грунт до метра промерз. Такого не было никогда. И после этой зимы, в мае — жара, на почве до пятидесяти градусов. Все варилось. Никто такой жары не помнил.

Слово «стихия» не сходило с уст. Руководители мотались по краю, заседали, совещались, думали, искали выход. Господи, да по прежним временам все Ставрополье мое с сумой пошло бы по свету. Но теперь иное дело. Никакой паники. Люди были спасены, край был спасен. Страна наша — как один родной дом. Даже далекие сибиряки помогали ставропольцам. Хорошо живут мои земляки. Даже стихия не может нарушить их благополучия. Бывшая Брусиловка, дяди Тимохин совхоз, далеко не лучшее хозяйство моего края, но и она может служить хорошим примером.

В первый же день моего приезда я заметил, что все тут говорят о привесах. Директор, парторг, зоотехник, агрономы, экономисты и разные другие руководители. На утренних летучках, на совещаниях, заседаниях, на общих собраниях. И это понятно. Свиноарии-механизаторы говорят — тоже понятно. Но почему дядя Тимоха (он ведь теперь только ночной сторож в гаражах), почему Татьяна Ивановна, почему мы обедаем и тоже говорим о привесах — тут нужны пояснения. Совхоз особый. Ставропольская газета назвала его «холодильником на ногах». И правда. Принимает он от окрестных колхозов общественный и личный скот, предназначенный для сдачи государству. Здесь этот скот откармливают, увеличивают вес, доводят, как говорится, до кондиции и передают мясокомбинату. Иначе говоря, заготовленный скот государство не гонит сразу на бойню — невыгодно, он некондиционный, — а помещает на временное содержание, хранение в кормсовхоз, то есть в «холодильник на ногах». Но «холодильник» этот не простой. Положишь туда, к примеру, тонну, а когда понадобится взять оттуда, открываешь дверцу, а там вместо одной уже две тонны. За это чудо, а если серьезно говорить, за этот труд, когда из одной тонны делают две, государство, естественно, платит. Этой-то платой за прибавку, за привес и живет весь «холодильник» со всеми населяющими его людьми.

Поначалу разговоры о привесах я отнес исключительно за счет высокой сознательности, за счет интереса к общественному производству. Об этом сказал и директору при встрече не без тайного, конечно, умысла польстить ему. Однако директор

отнесся к моим словам не совсем так, как я ожидал, а гораздо проще, гораздо более трезво.

— Как же им не говорить,— сказал он,— когда от привесов зависит вся их жизнь. Будут привесы — будут и деньги, будет прежде всего зарплата, будут новые квартиры, бытовые улучшения, водопровод, газ, благоустроенные улицы, всякая культура и так далее. Причем больше привесы — значит, больше зарплата и все прочее. Как же тут не говорить. От привесов зависят все поголовно.

Да, подумалось мне, крепко связано. Материальная заинтересованность в ее классическом или идеальном выражении. Мы государству, государство нам. Мы ему больше — и оно нам больше. И директор со всеми своими помощниками, и рабочий со всеми своими иждивенцами — все связаны одной веревочкой. Интересы у всех совпадают. Полная гармония. Не может эта гармония не отражаться на производстве, на главных показателях? Смотрим бумаги. Действительно так. Отражается. До 1965 года не выполнялись планы. Но это уже история. При новом директоре по всем показателям планы перевыполняются из года в год. Премии, переходящие знамена. Шаг у совхоза твердый, уверенный, директор держится с достоинством, настроение у него хорошее. И это естественно. Дела действительно идут хорошо. И живут люди у дяди Тимохином совхозе действительно хорошо. Но вот ведь какое дело. Никогда, видно, человек не скажет: теперь вот все хорошо, больше ничего не желаю, теперь точка. Нет, не скажет. Во всем он будет находить какие-то пункты, какие-то стороны, которые его не устраивают или перестали устраивать, он даже в раю найдет такие пункты, такие стороны, найдет несправедливости какие-нибудь и будет бороться, будет говорить о несправедливостях, несовершенствах рая. Иначе, подумалось мне, и нельзя. Иначе все остановится на мертвой точке, и жизнь, ее движение прекратится.

Когда Татьяна Ивановна говорит между прочим: «Погляди, как живет наш директор», — я чувствую, что здешняя гармония в чем-то нарушается. Хотя и думаю, что сказано это по неграмотности. Живет директор, между прочим, так же, как и все. Ну, в самом деле. У Татьяны Ивановны, у дяди Тимохи есть куры, яйца, мясо, масло, хлеб белый, и молоко со сметаной, и виноград, и в граненый стаканчик есть чего налить. То же и у директора. Не может же быть, чтобы дядя Тимоха съедал за обедом одну курицу и миску вареников, а директор две курицы и две миски вареников. А если это и возможно, то ведь и дядя Тимоха может себе позволить то же самое. Разницы в этом никакой найти нельзя. Другое взять. Спит дядя Тимоха на пуховиках. На пуховых подушках. Тут, кстати, очень любят пуховики и пуховые подушки. В каждой комнате, сколько бы комнат ни было, стоит по две кровати, и на каждой возвышается горою по четыре подушки. Подушки, подушки, подушки. Это дело поставлено хорошо. У директора и тут никаких преимуществ перед другими. На работу также поднимается рано, раньше всех. Никаких праздников, всегда могут звонить. Одним словом, всем известна директорская работа. Правда, две машины «Газик» для полевых разъездов и «Волга» для поездки по хорошим дорогам — в районный центр, в краевой центр, в Пятигорск или там в другие города: пути-дороги руководителя немерены, неисповедимы. Так что ж, на волах, что ли, директору ездить? На волах нынче не поедешь.

Тогда в чем же, Татьяна Ивановна, он живет лучше, чем министры, когда мы не можем найти даже, чем лучше его жизнь хотя бы вашей?

Да, говорю я себе, все правильно, все так, но вот начну вспоминать, как в одном, другом месте произносят слово «директор», и опять послышится в этом слове какой-то оттенок лишний, разъединяющий директора и Татьяну Ивановну, конечно, других и прочих. Почему разъединяющий? Ведь все под одной крышей ходят, под одними привесами — и директор и рабочий, ведь есть налаженная гармония, общие интересы и так далее. Но тут приходят на память другие мелочи. Ходят-то под одной крышей, да ходят по-разному. Вот он отворяет потихонечку дверь директорского кабинета, лицо просовывает — можно, мол, — и, не услышав возражения, проходит. Сначала на середину, потом ближе, к столу. «Нельзя ли, Иван Иванович, отходов выписать пудиков шесть?» Или: «Крышу, Иван Иванович, недокрыл, шиферу не хва-

тило, нельзя ли?..» Директор может оторваться от бумаг и взглянуть на просителя, может и не взглянуть, а просто сказать: «Не могу. Сейчас не могу, ступай!» Проситель уйдет. Вошел он в кабинет, между прочим, неполной своей походкой, голосом говорил тоже неполным. Личность его была тут, в директорском кабинете, неполная, усеченная личность. А вчера вечером за столом у нас по-соседски обедал, выпивал, песни играл, плечи эдак разворачивал, истории рассказывал, суждения выносил. Не налобуешься! Вот тебе и рабочий кормосовхоза. И умен, и начитан-наслышан, и песни играет с размахом, с русской удалью, и судит прямо, без оглядок. И вот на же тебе, сначала голову потихонечку просовывает, а уже потом сам входит и говорит неполным голосом. Сам-то он понимает, чувствует эту разницу? Очень даже хорошо. А поэтому когда произносит слово «директор», появляется у него какой-то лишний оттенок, очень даже уловимый на слух. А директор? Знает ли он, как выглядит у себя дома его рабочий, как он красив бывает, независим и горд среди равных себе? Забыл. Конечно, если ему сказать, то вспомнит, не с рождения ж он директор, а так вообще-то забыл. Вернее сказать, привык к такому порядку, когда он может, не поднимая головы, сказать «не могу, ступай», или, задумавшись, не ответить на приветствие рабочего, или вообще не заметить его.

Вот в чем только и разница. В остальном же у всех жизнь одинаковая. Но недаром сказано: не единым хлебом жив человек. Потребность в хлебе, можно сказать, удовлетворена, а вот потребность в человеческом достоинстве, можно сказать, не всегда. А эту потребность в каждом человеке социализм разбудил — дай бог! Никого не тронь! Я не говорю про все совхозы и про все колхозы, а говорю лишь на основании исключительно того малого, что видел.

— Михаил, ну ты ж сходи к нему, что ж мы, так и будем в развалюхе жить?

— Да не пойду я, ну его к свиньям. Наорет, накричит...

— А ты испугался.

— Испугался! Не люблю, когда орут на меня, и все.

Некультурно. Во всех этих тонкостях не хватает культуры.

Ни другом, ни товарищем, ни братом Татьяна Ивановна директора не называет. А привесы есть. И жизнь хорошая. И ведь директор хороший! Привесы добывать его научили, считать копейку научили, думать о трудящихся — в целом, конечно: Дом культуры, баня, водопровод, красивые улицы и так далее — научили. О трудящихся — да, но вот о человеке, конкретно о человеке, о личности думать он еще не научился. А ведь Татьяна Ивановна обязана по законам социализма считать его и другом, и товарищем, и братом.

ДЯДЯ МИТЯЙ И ДРУГИЕ

Теперь вот дядя Митяй. Чувствую, не те это люди. Не ими гордится нынче деревня, не они — дядя Тимоха, дядя Митяй, тетка Нюрка. — не они делают погоду в нынешней деревне. Это все люди отжившие, песня их давно уже спета, никому теперь они не интересны, хотя все они мои родственники, близкие мои знакомые. И как только подумал я, что никому они теперь не интересны, дух противоречия заговорил во мне громко и даже с вызовом. Это как же так, заговорил дух противоречия, близкие мне люди и никому не интересны, потому что отжили свое, отдали все соки свои и силы, теперь можно и не видеть их, не замечать... И понесло меня. А понесло потому, что других людей у себя на родине я пока еще не знал, да и ничто меня пока не связывало с теми другими людьми, среди которых были и передовые механизаторы, и передовые гуртоправы, чабаны, виноградари и так далее. С моими же я был связан, ну, хотя бы детством своим, и встреча с ними трогала меня, и мне хочется говорить о них.

В одной из мудрейших книг, в книге Лао-цзы (Ли Эр), я прочитал: «По себе можно познать других; по одной семье можно познать другие; по одной деревне можно познать остальные; по одному царству можно познать другие; по одной стране можно познать весь мир. Откуда я знаю мир как таковой? Благодаря этому».

Конечно, все тут устарело, потому что оно из четвертого — третьего тысячелетья до нашей эры, но все же это меня как-то утешило, потому что доля-то правды в этом есть.

Приехали мы в мое родное село Архангельское, по-уличному — Цыгановка. Дома у двоюродной тетки моей никого не было. Пока мы топтались во дворике, появился Митяй, дядя Митяй, третий теткин муж. Я этого Митяя никогда в глаза не видел. Смутно помню красивую и стеснительную тетку Лиду; у нее были веснушки на лице, и говорила она стеснительно, немного нараспев. Два-три раза приезжал к нам ее отец, от него пахло кожей и табаком. Жил он где-то далеко, на Черных землях, с ногайцами. Звали его все по имени — Степок. Приезжал он и вместе с ногайцами, был подслеповат и больше ничем от ногайских татар не отличался. Конечно, Степка давно уже на свете не было.

Дядя Митяй — это уже другое. Лицо у дяди Митяя бульдожье, рот с обвисшими углами, постный, застывший. Когда он увидел нас, не удивился, не обрадовался. Ходил, говорит, в кладовку, заперта, хозяйка моя в Баксан уехала, завтра вернется.

Но мы все равно не уходим и норювим со своими сумками проникнуть в дом. В доме прохладно. На каждой кровати по четыре пуховых подушки. Фотографии на стенках. Мне было странно найти среди совсем чужих лиц свою фотографию, сначала я даже не узнал себя, так было неожиданно и странно.

После осмотра фотографий мы сели. Разговор не шел. Дядя Митяй на вопросы отвечал без охоты.

— Плохо живу, какая тут жизнь, — отмахивался он и опять постно замыкал челюсти. Сидел на стульчике, дождался, когда уйдем. Мы ему были не родня, а тетка будет завтра.

— Чего ж тебе плохо? Лида работает, сад у тебя, — сказала Татьяна Ивановна.

Дядя Митяй вздохнул, понял, видать, что мы уйдем не скоро. Разговорился потихоньку:

— Деньги у меня всегда не выводились. Вина в прошлый год двести ведер надувал. А жить мне, Вася, нельзя. — Вдруг дядя Митяй обратился прямо ко мне, да так ласково, так доверительно. — Нельзя мне жить, Вася. Ни этого нельзя, ни того нельзя. Кислого нельзя. Соленого нельзя. Никакого острого нельзя. От вина я теперь отстранен, Вася, навсегда. Отстранили меня от жизни, можно сказать

— Кто отстранил? — спросил я для сочувствия.

— Доктора. Сейчас из Кисловодска. Последний, говорят, раз откачали и больше — все. Больше, говорят, не будет этого, не откачают. А я не могу. Всю жизнь занимался. Я ж помру без этого.

Дядя Митяй поднялся, челюсти его ожили, глаза заиграли, он стал ходить по комнате и рассказывать, как он любил жить.

Совсем другой стал дядя Митяй, то есть совершенно другой. Живой, интересный.

— Я ее, Вася, знаешь, сколько попил. Ну, фулюганить любил, это правда. — Дядя Митяй посерьезнел, нахмурился и солидно признался: — Фулюган я большой был. Три раза по восемь лет давали. Фулюганил, Вася, исключительно только из гордости. Больней всего не любил, когда задевал кто. Ты тихо, и я тихо. Ты с уважением, и я к тебе с уважением. И поднести могу. Пить с тобой буду. Но если ты гад... Тут, Вася, остановка. — Дядя Митяй остановился, кулаки его сжались, налились силой, а лицо злое и совсем не старое. Не узнать дядю Митяя. — Жизнь, Вася, не прошла, а пролетела. Весело, сволочь, пролетела. Я ловкий был, смелый, в нэп. ну, тогда еще лошадьями занимался, конокрадом был. Ни разу не застучали. Сидел исключительно за фулюганство. Рестораны любил, больней всего их любил. Чистая скатерочка, музыка — ажаз и, будьте любезны, графин водочки, рыбка осетринка, икорочка черненская, шашлычок из баранинки... Пожалуйста, повторите графинчик. «Сию минуточку». Я эти рестораны любил, Вася. А то было так, первый раз-то получилось. Сижу, значит. Шашлычок-балычок, из графинчика наливаю. Подходят трое. А сердце уже чует — будем драться. Драться я любил и никого на свете не боялся. Подходят, останавливаются. Пересядь, говорят, за другой столик, а мы тут. Ужинать, говорят, будем. А са-

ми, гады, смотрят неуважительно. Ждут. Сердце мое чует, но я спокойненько. Я выпил, закусуваю. Тогда один, по всему видать, смелый, берет меня сзади за ворот, берет тремя пальчиками и помогает мне встать. Я встаю, разворачиваюсь — и в рыло. Посчитал он стулья, столики соседние и на пол. Я фуллоганничал сильно. Ну, и жил. А теперь вот — от всего отстранен. Не живу.

— Давно уже?

— В прошлом месяце откачали, но, говорят, в последний раз.— Дядя Митяй скис сразу, сел на место, жалобно погладил бок.

— Печенка?

— Да все тут — и печенка и все другое.

— Ну, а материально?

— Что толку. Материально я обеспечен. Пенсия у меня хорошая. Я ведь по дизелям был, механик-моторист первого класса, зарабатывал хорошо.

— А говорите — конокрад?

— О, это ж когда было, при нэпе. А так я ведь тоже человек, у меня этих грамот похвальных — пруд пруди. А премий сколько было. Работать я тоже любил, но из гордости — хорошо любил работать, чтоб всегда на первом месте, не люблю в хвосте...

Так и живет дядя Митяй, получает хорошую пенсию, лечится в Кисловодске, и со счета его куда не сбросишь, хотя фигура, конечно, нетипичная.

Посидели мы у него, повздыхали, посочувствовали и пошли на нашу улицу, там еще жива была наша хата, хотя в ней уже много лет жили совсем другие люди. Идти надо было через выгон, где из красного кирпича, под железной крышей стояла моя школа — с яблонями, вишнями, красными, черными и белыми пионами вдоль прохладных тропинок. В классе этого кирпичного дома меня учили грамоте Роман Алексеевич и Агриппина Васильевна — лучшие люди на свете. За школой вечно шумел, булькал, захлебывался, гремел под колесами деревянным настилом артезиан. До настилов, по мокрым доскам подъезжали с бочками брать воду из высокого чана, зазеленевшего склизкой зеленью изнутри и вечно кипевшего под артезианской трубой. Из чана через отверстие вода падала в колоду, где могли пить лошади, а из колоды вода сходила в длинное корытце, из которого пили овцы, а уж из корытца вода стекала в канаву. Канавы, обсаженные деревьями, пересекала край выгона и входила в нашу улицу, текла по ней в зеленых тополях, да в осокорях, да в мосточках для перехода с одной стороны улицы на другую, текла до самого казенника, большого оврага за селом, залитого водой, заросшего чаканом, где в глиняных отвесных кручах, в миллионах выдолбленных нор жили, водили птенцов шуры — красивые, с радужным оперением птицы. Гляжу на все это... Школа сиротливо стоит теперь на голом выгоне, сама почти голая. Вместо тропинок с пионами и розами — выбитый толчок вроде овечьего тырла, только голый столб стоит с проволочным кольцом наверху. В баскет играют. Возле артезианского колодца уродливая мрачная башня. Никакого чана, никакой колоды или корытца, никаких настилов. Серый цементный гроб, внутри труба с вонючей водой и вокруг — грязь, разлив грязи и закипающая огромная лужа. Никакой канавы, конечно, нет и в помине.

С тяжелым чувством вошел я в нашу разбитую и пыльную улицу. И не сразу отыскал свою хату. Тут их поприбавилось, повыврастали новые, и глядя на них свежее прежнего — крыши перекрыты, стены подправлены. Во дворах буйствовала жизнь. Дворы, сеники, пустыри, бросовые клочки за садом — все теперь ломилось от зелени, все тяжело яблоками, грушами, сливами, виноградом. Запустение на выгоне, на улице и возрождение во дворах, где виноградники подступают почти к воротам. Странность эту разъяснил мне директор. Теперь вместо колхозов в нашем селе крупный совхоз с девятью отделениями. Естественно, говорит директор, что поскольку совхоз, то все стало тяготеть к центру, здесь, в центре, и все благоустройства, окраины же постепенно должны сойти на нет. По генеральному плану, например, Симковка, а также моя Непочетка обозначены как неперспективные поселения, поэтому должны отмереть. В то же самое время живые люди там, веди к ним высоковольтную линию, водопровод и так далее. Куда поведешь, а куда и не поведешь. По генеральному плану, должны переселяться к центру из неперспективных мест, а Непочетка,

например, не хочет, она запускает корни все глубже в землю, дворы ее ломаются от богатства, да и от родных могил Непочетка не хочет отодвигаться. Целая проблема. А то вот еще Хуторки — это за Непочеткой. Стоят три хатки. И тоже — никуда. Тут жили, тут и помер. Не вести же к ним высоковольтку.

— А посмотрите, тоже ведь скажете — никаких удобств.

Скажу, конечно. А может быть, и не скажу. Не разобрался еще. Вроде все логично, и директор прав, да только, с другой стороны, и люди вроде бы правы.

Отвлекся я. Но и не отвлекаться тоже нельзя.

Родная хата. Две акации, завалинка, крылечко. Но дело это сугубое, личное. Лучше мы зайдем к Саньке да к Леньке Малакановым. Дружки по детству были. Правда, оба они убиты на войне. Дядя Андрей помер. Была рыжая голстушка Вера, голышом еще бегала, небось жива. Тетка Нюрка тоже жива. Открыли калитку, кликнули хозяев. Из ближнего окна выглянула рожка, по-другому никак назвать нельзя.

— Пожалуйста, прошу пожаловать к нам,— произнесла эта рожка и сделала широкий балаганный жест.

— Нам хозяйева нужны.

— Вот я и есть хозяин, пожалуйста к нам.

Да, под глазами водяные мешки, лицо уже безнадежно споенное. Вышла рыжая толстушка с подоткнутым передником. Все пообвисло у нее, передних зубов нет и не вставлены. Все же сразу узнал я в ней Веру. Поднялись в комнату. Тетка Нюрка уже старая женщина, за семьдесят, но лицо чистое, благородное, красивое. Лежала на деревянной кровати, отдыхала, что-то голова прибалывать стала. Поднялась, платок теплый на плечах стянула. Комната срединная, с одним окошком, полутемно. Потом я понял, что тетка Нюрка сразу признала меня, но виду не подала, даже и не взглянула в мою сторону. Что-то такое, теперь уж и не помню что, сказала, вздохнула и стала плакать — тихо, беззвучно. Если такой грех вообще допустим, то я скажу — да, я любовался ею в эту минуту. Плакала великая женщина — глубоко, безутешно, но совсем незаметно для других, хотя все мы сидели, смотрели на нее и все видели.

— Ну, будет, Нюрк, чего ж тут плакать,— стала успокаивать Татьяна Ивановна.

Тетка Нюрка незаметно вытерла слезы углом теплого платка, справилась с собой и тихо, но спокойно сказала:

— А ты, Танюха, ишшо молодая.

— Куда уж там молодая.

Вбежала и остановилась у дверного косяка старшая Веркина, Катюша, смугленькая, хорошенькая девчушка-семиклассница. Она глядела на все юными глазами, и от них, от этих глаз, от этой босоногой, в простеньком платьице девчушки стало как-то легче дышать в душной и полутемной комнате.

— Живем, Вась, мы добро.— сказала тетка Нюрка, неожиданно, как дядя Митяй, обратившись ко мне,— все бы хорошо...

Тот, с опоенным лицом, Веркин муж, Катюшин отец, третий день сидел за стеной, пил.

— Сам гибнет, и нам нету жизни. А совхоз смотрит, ничего, руки золотые, не может без него обойтись. Он печку сложит — никто так не сложит. А гибнет.

— Ушла бы Вера.

— Ушла. А дети? Их трое. Вот и живем... А ты не забыл, значит. Зашел. Спасибо тебе. Ты ж знаешь, ребят моих нету.

Я сказал:

— Знаю.

Как живые встали передо мной Санька и Ленька. Ленька, рыжий, как Вера и как дядя Андрей, был на год моложе меня, Санька, белый, как сметана, был на год старше меня. У Саньки глаза были не то что подслеповатые, а какие-то нечетливые и все время сощуренные. Дружить, водиться с ним набивались все без исключения на нашей улице. Чем-то он покорял всех нас, в том числе и меня. Целыми днями я простаивал перед Санькиными воротами, выжидал момент, когда он окажется близко от меня. «Сань, нехай я к вам пойду»,— приставал я до тех пор, пока он не сдавался и не говорил: «Ладно, иди».

И сейчас не могу понять, отчего же я был бесконечно счастлив в Санькином дворе, рядом с Санькой. Леньку я в расчет особо не принимал. Мы играли в бабки, в чушки, железными прутками с гайкой ловко били на валу воробьев, потрошили их и варили в малюсеньком чугушке суп с воробьями, а то сдирали с вишневых деревьев клей и целый день жевали этот клей. В школу мы еще не ходили, но я рано начал чгать и был счастлив, когда Санька просил показать ему буквы. Палочкой я писал для него буквы на пыльной земле или на завалинке, и душа моя была на седьмом небе.

В первый колхозный год мы с Санькой в степь поехали погоньями. Помню наши сборы. Санька укладывал в деревянный сундучок полевые пожигки — на дно два куска сала, потом запасные штаны из мешковины, с одним карманом, потом рубашки, рушничок и на самом верху большая книга «Тихий Дон». «Вот читать будем», — сказал Санька. и я не знаю, чему больше радовались мы: тому, что в степь едем с мужиками, и не как раньше, все порознь, а все вместе, или же этой разбухшей, сильно заношенной книге «Тихий Дон». Кто-то Саньке наговорил про нее такого, что он укладывал ее, как икону, и мы не могли дождаться, когда там, в степи, теснясь плечом к плечу, будем сидеть и сладко шевелить губами, читать каждый про себя. «Ну, прочитай?» — «Прочитай». И тогда он или я, послунив палец, перевернет толстую и тяжелую страницу...

А еще до школы мы сидели на печке и играли патронами. Патроны — даже не верится, что гражданская война вот-вот только кончилась и патронов этих было много, — эти патроны, обласканные нашими руками, вытертые нашими карманами, горели медным пламенем, руки сами тянулись к ним. И там, на печке, в карман своих штанов из мешковины я натаскал украдкой этих патронов. Я не мог с ними расстаться. А на полу, когда прыгнул с печки, патроны зазвенели, и я был пойман с поличным. Сгорая от стыда, от позора, я отступал от Саньки и нечаянно пяткой наступил на цыпленка, раздавил его. Какой ужас...

— Теть Нюра, а помните, как я вот тут цыпленка у вас раздавил?

— Нет, не помню. Нету моих ребят...

Помолчали немного, потом тетка Нюрка поднялась.

— Ну, пойдемте, поглядите, как мы живем. Живем, Вася, мы добро.

Пошли. Двор, где мы играли когда-то, теперь был сильно урезан, засажен виноградником. Под сараем уйма кур, гусей, уток. Идем через калиточку в сад-огород. Это вот «мускат», а тут «сливан» — «сильванер», значит, тут черный, — хорошее вино из него, а это «козиные сиськи» («дамские пальчики», значит). Виноград кончился, пошли плети огуречные, помидоры, свекла, морковка, капуста и так далее. Лунки и канавки свежие, поливаются, рядом водяной насос. Потом сад. Две старые сливы. Вот эту Санька посадил, а эту Ленька. Так и зовем их — Санькина и Ленькина.

— Вот тут были черносливы, — говорю я, — сохранились?

— Неужели помнишь? Тут они и есть. Корни от них.

Тетка Нюрка трясет деревья, собирает в подол сливы, груши, яблоки, угощает нас.

— Живем мы даже добро, а счастья нету. Из-за него все. Доли нету. У кого доля — чего ж ему не жить. Сады у каждого, птицы полно, столько птицы и до колхозов не было, мотоциклы почти в каждом дворе. У кого мотоциклет, тот ишшо дюжей живет.

— Почему? — спрашиваю.

— Ты же не маленький, должен понимать.

Из окна снова высовывается опоенная рожа несчастного гибнущего человека. И снова я отвлекаюсь.

— Отчего же пьют гак, ни себя не жалеют, ни близких? — спрашиваю одного директора и второго, дяди Тимохина. — В чем дело?

— Стихия, пьют жестоко. То причина — есть и такие, с причиной. — то без причины. черт их знает отчего, а пьют, — говорит один директор, примерно то же говорит и другой — Живут ведь хорошо. Неужели от хорошей-то жизни? На месте все средства мы исчерпали, дальше бороться силы нет, надо ставить вопрос выше.

САШКА — СЫН БАРЫКИ

В самом деле, не одни же у нас только пенсионеры, дяди Тимохи, дяди Митяи да тетки Нюрки. Есть и другие. Есть, например, Сашка Курдюшов. Сын Василия Денисовича Курдюшова, по-уличному Барыки.

Собственно, пришел-то я не к нему, не к Сашке, а к самому Василь Денисовичу.

Узнал его только лишь по глазам. Совсем уже у другого человека до сих пор все еще те глаза, играющие хитрецей, шутейностью, с прищурцем, вечно намекающие на что-то, вечно загадывающие какую-то загадку. Словом, памятные глаза. Голову склонил, взглянул на меня, пощупал взглядом.

— Живой Петька. Может, ошибся? Не должно быть. Тэ-тэ-тэ-тэ... Из самой Москвы? Тэ-тэ-тэ-так.

— А я, Василь Денисович, пришел должок получить.

— Так, так, так.— Задумался на минутку. Любил он и теперь коротко так задуматься, а потом исподлобья взглянуть загадочно.— Должок, Петрович, помню. Астраханский фирмический карандаш.

Гляди ж ты, помнит. Я был поражен. Мне-то сам бог велел помнить, я ведь блудный сын.

В нашей степи есть лопушок такой мягкий, листья по земле просгилают, гонит вверх сочные ростки съедобные. Иду я по степи, увидал под ногами и сразу все вспомнил — и мягкость этих мягких листьев, и их запах сладкий. К губам прикладываю, запахом не надышусь. Жил он во мне все эти годы вместе с родной степью, с родной землей. Мне-то бог велел! Но он. Ему-то к чему такая малость, давняя-предавняя шутка, этот астраханский «фирмический» карандаш? Перед самыми колхозами отец мой спрягался с Барькой, то есть совместно обрабатывали и убирали поля. Сделать это в отдельности ни отец, ни Василь Денисович не могли. В этой спяге и я, семилетний мужичок, тоже был учтен. Перепахивали поле скоропашкой. Мешок с соломой на скоропашку, на мешок меня умостили, вожжи в руки — и пошел. Было условие, Василь Денисович поставил.

— Перепахашешь без огрехов,— сказал он после второго или третьего гона,— будет тебе карандаш, не простой, а фирмический, астраханский.

Поле было перепахано без огрехов, но карандаша я не получил, был обманут, как, впрочем, обманывали и многих других детей до меня еще и после меня.

— Как же не помнить, помню, Петрович, не забыл.

И так это было, будто он и вправду взял да и преподнес мне вот теперь, через столько лет, тот заветный подарок. Я обнял Василь Денисовича и удивился, как худы его плечи, как почти по-детски хрупка его стариковская фигурка по сравнению с тем, конечно, что было. А был он справен, даже тяжеловат, лицо с двойным подбородком розово лоснилось сквозь жесткую щетину. Усох Василь Денисович. Сильно усох, но не пропал. Тяжелые годы за плечами, трудные. Главное — не пропал. При пенсии теперь, при сыне, а сын-то, сын — орел, хотя по виду вроде и не так приметен.

Была тут в некие годы мазанка, сенцы да две комнатки. Так и стоит она, живет в ней Василь Денисович со старухой. Зато супротив мазанки, образуя с нею один дворик, вырос новый дом на высоком каменном фундаменте, под светлым шифером. Богатый дом, Сашкин. Василь Денисович ни полслова о Сашке, никакой похвальбы, обычной для стариков, никакой гордости. А зачем? Все на виду, все само за себя говорит. Вот он дом, а в доме — э! — зайди да погляди. Все это я и прочитал тут же на стариковском, сухоньком теперь, но бойком еще лице.

— Пока старуха обедать соберет, мы подумаем, Петрович, какие бы нам вопросы обсудить. Много накопилось вопросов. Я в курсе. Ты думаешь, не вижу? Все вижу. И что у вас там, в Москве, и что подальше вашего, во всем масштабе. А как же! Эх, Петрович.— И опять эти взгляды, загадочные, со значением, с намеками.— Я ведь теперь свободный, пенсия идет. С семи до двенадцати, пока не засну, лежу и слушаю, не выключаю. Там старуха, там Сашка со своими, а я тут один со всем миром. Включу и лежу, слушаю что к чему. И каждый божий день, без пропусков, Петрович. Так что в курсе.

Приехал Сашка. Ввел мотоцикл с коляской по-хозяйски, как прежде отец вводил буланого. Поставил к кухоньке, где уже шипело что-то, жарилось-парилось, руки помыл под рукомойником. Да, неприметен Сашка, лысоват, сухощав, но жилист, походка цепкая. В строительной бригаде работает. Поминал директор Сашку, хороший работник. Это я знал уже. Говорит со мной на «вы», культурный.

— Помню,— говорит,— как вы меня на балалайке учили играть.

С того времени к музыке у Сашки слабость. Писателей знает нынешних, их произведения, знает, кто в моде нынче, кто наоборот. Глаза спокойные, умные. Жена у Сашки сибирячка, был на заработках, привез с собой. Тоже культурная, симпатичная. Вышивки ее высокого качества, на стенках висят. Зал и комнаты обставлены современной мебелью, современными безделушками, со вкусом. Все как в городе. Телевизор самой последней марки, с огромным экраном. От одного тут не отказались. Пуховые перины и пуховые подушки. По четыре на каждой кровати. И это, между прочим, очень хорошо.

О том, о сем поговорили. Рыбалку затронули. Тут Сашка больше всего оживился. Да, не курит Сашка, пьет только для приличия, в компании.

Так что и пьют тут не все.

Рыбалка — страсть. Повел меня в сараюшку. Вот они, удочки, снапом лежат, сорок штук. Леска веревочная, крючки с палец, если согнуть его. На сомов. На ночь ставит. Поставил на прошлой неделе — восемнадцать сомов, ровно сорок кило. Насилу увезли с женой на мотоцикле. Рубль кило — сорок рублей. Деньги считать умеет Сашка, но он же и добывать их умеет.

— Одно не получается,— говорит Сашка,— три года хлопочу, пока результатов нет. Писал в Совет Министров, отвечают — не можем. Все, пишут, идет по разнарядке. Добивайтесь на месте. В крайисполкоме вроде обещают, вот жду. Хочу машину. Загорелся, а достать негде.

— Какую? — спрашиваю.

— Да взял бы уж какую б дали.

— И «Волгу»?

— «Волгу» бы хорошо, не дадут ведь.

— А «Чайку»?

Сашка улыбнулся.

— «Чайку», говорят, в частные руки не продают. Я понимаю, вы насчет денег. Деньги есть,— просто сказал Сашка.

Прав Василь Денисович. Что тут говорить? Все и так видно.

Пробыл я у Барыки весь день до вечера. Сперва в мазанке обедали. Потом обедали, уже при свете, в Сашкином доме. По-городскому, с салфеточками. Да, не то что у дяди Тимохи. Конечно, там тоже есть все, но тут культура. Магнитофоны, приемники с проигрывателями, Бетховен, Моцарт. Тут жизнь другая, потребности другие. И возможность имеется удовлетворять потребности.

Вспомнил тут и тетки Нюркины слова: «У кого моциклет, тот ишшо дюжей живет». На эту тему тоже поговорили с Сашкой. Насмотрелся я, наслушался, так что тоже был в курсе, и говорить на эту тему было мне нетрудно.

А еще до этого с директором разговаривал.

— Ну вот,— говорю,— скот, свиньи, птица — этого полно в каждом дворе. Где берут корм?

Директор понял меня и ничего не захотел скрывать.

— Откуда? А все оттуда же, все из одного места. Вы думаете, мы не знаем. Все знаем, но ведь не поставишь же за каждым плечам по охраннику?

— Ташат?

— Ташат.

В другом совхозе парторгу говорю:

— Можно ли обеспечить все семьи мясом, молоком, маслом, яйцами, салом — всем, что у них есть сейчас?

— Для этого специально надо стада держать.

— Значит, надо кормом обеспечивать.

— Понемногу выписываем, но у нас нет таких фондов.

— Тогда, может быть, это не воровство, если они корм тащат?

Парторг не знал что сказать, как тут все распутать. В Ставрополе, в крайкоме, товарищ знал и сказал определенно.

— Распустились люди,— сказал он твердо.

Тут много всяких курганов. От татар еще остались. И до сих пор ребятня, как и в мое время, копается в этих курганах. Черенок найдут от кинжала, ржавый кусок от сабли, монетку зеленую. В одном таком кургане натолкнулись на твердое. Позвали мужиков. Открыли склеп. Склеп был не татарский, помещичий. В одном гробу кости, другой был пуст. Какая-то тайна. Видно, подделка похорон, чтоб человека скрыть. Взял один на спину, унес домой. Мать-перемать, как же тебе не стыдно, ты же сознательный человек, зачем он тебе, гроб этот?! Ящик, говорит, для соли сделал.

— Распустились.

Как же, говорю, тышу лет не распускались, а теперь вдруг распустались. А потому, говорит, что законы либеральные. Ведь прокурор не принимает дела, если украдено на 99 рублей 99 копеек. Только на сто. Все это знают и берут столько, чтобы на шестьдесят — семьдесят рублей. Но регулярно. Примеров — вагон. И глупых, и смешных, и печальных.

В эти дни кукурузу ломали. Ее был черед. Бригадир ставит на ночь охрану. В строгой тайне говорит ей: нынче на Сухой балке стоять. Ладно. «Нюрка, сбегай к тете Любе, скажи: на Сухой балке буду». Нюрке это нетрудно. Одна нога тут, другая там.

На Сухой балке.

На Сухой балке.

На Сухой балке.

Значит, нынче надо заходить с Мокрой балки.

— Вы знаете,— говорит Сашка,— честно скажу. Мне бы лучше день на самой тяжелой работе отработать, и бесплатно, чем это дело. Ведь я же без света еду на эту Мокрую балку. Два-три раза обязательно перевернешься. Потом нагрузишь люльку, опять же без света, мало что перевернешься — задавить можно человека, там ведь один за одним и пешие и на лисапетах, налетишь — опять отвечай. И каждую минуту боишься нарваться. А вдруг с Сухой да повернет на Мокрую. Страху перенесешь сколько, поту сколько выйдет. Честно, лучше отработать на тяжелой работе. А жить надо. Свиныню кормить надо, гусей — надо, курей — надо, овец — надо.

ДЯДЯ ТИМОХА УХОДИТ НА ПЕНСИЮ

— Против того, что было, люди живут лучше. И говорить нечего. Едят лучше, ходят лучше. Раньше все лето босиком да босиком, а то в черевиках. Кто их нынче наденет, кому они сдались?

Так дядя Тимоха подытожил наш разговор после недолгого молчания. А разговор наш был и молчание наше было по случаю того, что я прочитал им свои прошлогодние записки о них самих.

— Все правда,— сказала Татьяна Ивановна.

Мишка улыбался, головой крутил.

— Убей меня, чтоб я запомнил все подряд. Нет, я лучше свинарник буду строить, землю копать. Ну, и платют за это?

Я сказал, что платят, конечно.

— Почему?

— Дело не в этом,— сказал дядя Тимоха. Он не спешил с отзывом, продумал все хорошо и только потом, перебив Мишку, сказал коротко — Корректно написал.

И слово это, «корректно», показалось мне оттуда, от тех ненашенских тоненьких папиросок, от тех еще времен, когда дядя Тимоха в активе ходил.

— Корректно... ничего не скажешь.

А когда все замолчали, неожиданно заключил, подвел итог своим мыслям насчет того, что жить против прежнего стало лучше.

Говорил дядя Тимоха лежа. В этот приезд мой он лежал в постели, болел, болела поясница, спина. Сначала было встать хотел, но не получилось.

— Нет, не поднимусь, лежать буду,— сказал он и успокоился.

Спали мы с дядей Тимохой в одной комнате. Моя кровать у окна, его у глухой стенки. На ночь Татьяна Ивановна растирала дяди Тимохину поясницу удушливой мазью. Запах был так густ, что я чувствовал его на губах, они как бы покрывались тонким слоем этой растворенной в воздухе мази.

— Тигровая, что ли?— спросил я, задохнувшись.

Татьяна Ивановна грубо и сильно втирала мазь в могучую дядину спину, а дядя стонал от удовольствия. Когда Татьяна Ивановна закончила растирание, перевернула дядю Тимоху на спину, он ответил мне:

— Может, и тигровая, шут ее знает, но помощь есть, действует.

Татьяна Ивановна погасила у нас свет, ушла к себе в чулан. Было тихо, чуть слышно стучали в соседней комнате настенные часы. Я уже подумал, что дядя Тимоха уснул. Но он вдруг длинно и громко прочистил горло, сказал:

— Корректно написал...

Чем-то мои записки тронули его. Может, он думал так: вот прожил свое все, старый стал, скоро помру, надо же когда-нибудь помирать, все равно ведь придется. Помру, значит, а что останется? Вот история какая. А чуток написал, положил на бумагу — это все останется на бумаге. Помру, а это останется. можно в любое время почитать. И наверно, думал я, дяде Тимохе не спится сейчас, наверно, ему еще чего-нибудь рассказать охота, раз такая история получается. И действительно. Дядя Тимоха опять стал прочищать горло. Не хочет, чтобы я уснул. Тогда я подал голос:

— Болит спина?

— А чего ж ей делать, болит. Нехай болит. Я все могу перетерпеть. Не такое было. У меня живот резали, на моих глазах режут, а я все вижу и терплю. В войну было. Сперва, значит Андриюшку взяли, потом меня. Из Цыгановки повезли нас в Прикумск, оттуда в Егорьевск, там то, се, поболтались — и на Ростов, а из Ростова пешим ходом в Новочеркасск, там всего сорок верст, недалеко. Ну, пришли, по хвастерам поставили, обмундировку получили, ждем. Харчи есть, плохонькие, но есть. Живем, приказа ждем. А войска... господи, туда-сюда идут, конца краю нету. А мы приказа ждем. Тут заявляется командир, но не наш, чужой, людей набирает на передовую, в артиллерию, правда, не в пехоту. Ихних, значит, повыбило, теперь он новых набирает. Объявили, добровольно кто, мол, желает. А я смерть не люблю вперед вытасить, молчу. «Пойдешь, говорят, в артиллерию? Ты, Сорокин?» — спрашивают. Я говорю, приказ отдадите — пойду, а добровольно не пойду. Я и правда смерть этого не люблю, приказ любой выполняю, голову положу, а выполняю, ничего не забоюсь, но добровольно не, не пойду. Какая судьба мне положена, такая нехай и будет, чужую судьбу не хочу. Может, и лучше в артиллерии, пехоту больше бьют, но приказа нам нету, значит, все, значит, не эта моя судьба. А кое-кто пошел. Добровольцев этот командир набрал. Значит, опять живем до приказа. Приказ, конечно, поступил, а у меня, как на грех, живот схватило, хоть кричи, мучаюсь животом. Меня к докторам на проверку. Доктор военный был, ученый, как поглядел, сразу определил — резать надо. «Согласен?» — спрашивает. Раз, говорю, надо, режьте. Какая, говорю, тут война, на двор не могу сходить. Ну, положили на стол, стали резать. А практикантов этих у доктора — как мух. Облепили кругом, глядят, учатся. А я слышу, как режет, слышу, живот развернул весь, кишки берет, вынимает, все по порядку рассказывает этим практикантам, они слушают, учатся, а я ноль внимания, терплю. Правда, когда заднюю кишку стал подтягивать, она у меня сильно опустилась, вот тут дюже больно стало. Ну, ничего, подтянул и стал обратно кишки укладывать. Шлеп, шлеп, шлеп. «Вот, говорит, и опять все на старом месте». Зашил сверху ниткой — и всего делов. Две недели полежал, и отпустили домой насовсем... А эта спина, тьфу, разве ж это... так, ерунда, только и делов что вставать нельзя. не встанешь.

— Ничего,— говорю.— поправитесь.

Дядя Тимоха не ответил, другое думал. Потом каким-то своим мыслям сказал:

— Делов много, чего там говорить.

— В каком смысле?

— В смысле жизни. Много кое-чего было, всего не расскажешь.

Я вспомнил еще ту дяди Тимохину жизнь, другую, когда были Андрюшка, Поля, тетя Дуня, а этих, нынешних, людей никого возле него не было. Еще живы были бабушка-сказочница, дедушка, белый как лунь, все пел «Горе мое великое...».

Дядя Тимоха, оказывается, о том же думал.

— Андрюшку жалко,— вдруг сказал он.— И Полюшку жалко, дитем померла, ничего не увидала, и Дуньку жалко, всех до одного жалко. А ничего не поделаешь.

Я спросил:

— Отчего тетя Дуня умерла?

— От сибирки. Сибирская язва называется.

Я сказал, что у людей сибирской язвы не бывает, только у животных.

— Бывает, бывает. За один день сгорела. А была молодая, крепкая, ты должен помнить. Годов двадцать пять было, не больше. Дело было до колхозов еще. Ну, я тоже молодой был. Как сейчас помню. Бакшу пололи. Пришли до света, полем бакшу, я в одном месте, она в другом. Тут солнце поднялось, тепльняшла. А Дунька говорит: «Чтой-то, Тимох, я вроде заморилась». Ну, говорю, отдохни, ляжь полежи, говорю. Легла, а сама говорит: «Ну чего ж я лежать буду». Опять взялась за тяпку. Полола, полола и тяпку обронила. «Чтой-то плохо мне, говорит. Может, говорит, я заболела, даже пить хочется». Ну, думаю, дела плохие, не до бакши стало. Чего у тебя болит, спрашиваю. «Ничего особо не болит, а заморилась, говорит, и пить хочется». А лоб у ней горит. Ну, пошли мы домой. Идем, а она и итить уже не может. Пить просит, а степь кругом, воды негде взять. Подожди, говорю, вот дойдем, тогда напьемся. А ей все хуже, итить не может. Тогда я взял ее на руки, по пес. Несу, а она ухватилась за меня, заплакала и сгнем вся горит, пить просит. Что ты будешь делать. Несу и самому жарко стало. И что за болезнь чудная такая? Непопнтная. Несу ее, а далеко еще итить, и жалко не знаю как, а она говорит: «Остановись, положи меня». Остановился, положил. «Ну вот, говорит, теперь я помирать буду. Как же, говорит, я помирать буду, когда мне жить хочется». И опять заплакала. Да что ты, говорю, бог с тобой, ну чего выдумала. Отдохни и опять пойдем, а там я тебя вылечу. «Не вылечишь ты, говорит, у меня все внутри сгорает. Огонь у меня внутри». Ну, донес с горем пополам, за доктором побег. Пока доктор пришел, живая была, пока туда, сюда, лекарства выписывать стал, а она сгорела, не дождалась. Все в нутре сгорело. А в памяти была, так и померла в памяти. Все говорила: «Тимоха, Тимоха, не хочу я помирать, не хочу». И все плакала, правда помирать не хотела... Давно дело было, а все как недавно... Много делов, чего там говорить... А потом жисть пошла — страшно подумать. Остался я с ими, с Полюшкой ды с Андрюшкой. И накормить их надо, и обувь-одеть надо, и приглядеть за ими надо, а я тут как раз в партию записался, уговорили, и так целые дни в сельсовете, секретарем был, а тут, как партийный стал, и вовсе от дому отбился, по ночам сидели-заседали. Ждут они меня, ждут ды так голодные и лягут. Приду к свету, когда стоплю печку, когда и не стоплю, кой-чего приготовлю им, посплю часик-другой — и опять туда же. Такое время было. Детей жалко, ды и сам совсем пропадаю, худой стал, аж черный, обовшивел весь. Ну, раз вырвался пораньше, натопил печку, борща сварил как умел, поели хорошо все вместе и в теплом, дело зимой было, спать легли. Полюшка на печке, я на кровати с Андрюшкой. Легли, а я, чтоб тепло не выдуло, юшку закрыл. Легли ды все и угорели. Андрюшка с кровати упал ночью, спал на полу, ну и живой остался, а Полюшка так и не проснулась, и сам насилу очухался, всего рвало меня. Схоронили Полюшку, к матери отнесли. Остались мы с Андреем... Тут-то скоро на Танюхе женился, на Татьяне Ивановне, а то погибли б мы с Андреем. Вообще-то баб этих было хоть отбавляй, сами лезли, навязывались, красивые, но непутевые. А я этих красивых смерть как не люблю, всегда боялся, и парнем когда был. С ими только свяжись, не рад будешь. Нет, думаю, ни за что на этих жениться не буду, ну их к свиньям. А Танюху привели, гляжу, подходит, и сама так себе, ничего, и не такая, как эти красивые. Подходит, думаю, ну и женился сразу, а то какж бы нам с Андрюшкой. Не дожид

Андрей, убили фашисты. А парень был... умный, тихий, уважительный, сильно идейный был, первый комсомолец, на первом счету был и на войну добровольно ушел. И не пришел... Ну, ладно, чего говорить, спать давай.

Утром, когда завтракали, дядя Тимоха поднялся, тоже за стол сел. Все молчали, увлеклись едой, ни с того ни с сего он сказал:

— А мы тут с Василём всю ночь проговорили. Часов до трех, наверно. Много делов.

Никто на это не отозвался. Говорили и говорили, что тут такого особенного. И то, что никто не обратил внимания на его слова, дяде Тимохе не понравилось, но он смолчал. А когда Татьяна Ивановна спросила у меня так, между прочим: «Что там в Москве у вас, как живете, ничего не рассказал»,—тут дядя Тимоха остановил Татьяну Ивановну:

— Не приставайте к человеку, дайте отдохнуть, мы с им всю ночь проговорили, наверно, часов до трех.

— О чем же вы говорили?

— Много делов, много...

Поднялся дядя Тимоха и днем больше уже не ложился. На ночь опять его растирала Татьяна Ивановна удушливой мазью, а на другой день с утра самого вырядился в новый костюм, в новые ботинки, новый картуз достал защитного цвета, поглядел на себя в зеркало и сел за стол писать заявление.

Красивым писарским почерком вывел на тетрадном листке: «Прошу снять меня с должности почтового сторожа совхоза ввиду моего окончательного перехода на пенсию. Т. Сорокин».

— Чего это? — спросил я.

— Ну их к свиньям, хватит.

Свернул вдвое листок и ушел. Через час вернулся, уже полным пенсионером.

— Это же исторический момент,—сказал я дяде Тимохе.

— А чего тут. И делов-то всего ничего.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

В доме дяди Тимохи, где постоянно толкуются внуки, Валькины и Любкины дети, даже ночуют, даже уроки делают; куда заглядывают не только дочери, но и тот же Мишка, у которого своего вина пока нет, а выпить хочется; где и огород, и поросята, и куры, и виноградник,— в этом доме все держится не на дяде Тимохе, а на Татьяне Ивановне. Встает она еще затемно, и целый день опять же до темна все горит у нее под руками. И не устает, весь день то есть виду не подает, и все веселая, насмешливая, на одном месте не сидит, весь день то гремит на кухне посудой, то щелкает садовыми ножницами в винограднике, то кричит своим командирским голосом на кур, забравшихся в огород, на поросят, когда приносит в сажок еду для них, на дядю Тимоху, когда он этого заслуживает, а заслуживает он, по мнению Татьяны Ивановны, всегда.

— Ты вот рассказал бы Петровичу, как женился,—сказала Татьяна Ивановна, когда узнала, о чем мы с дядей Тимохой ночью разговаривали.

— А чего тут рассказывать, женился и женился. Мог бы и другую взять, набивались сами.

— О, господи, ды кто ж там набивался, не Машка ль дурочка?

— И Машка в том числе, и вовсе не дурочка она, это только считается так, баба как баба.

— Всю жизнь с им, как с малым дитем, Петрович, как с малым дитем. Давай поворачивай свою спину.

Татьяна Ивановна пришла нагирать дядю Тимоху. Мы уже в своих кроватях лежали. Застонал, заскрипел дядя. В нос шибануло теперь уже хорошо мне знакомой мазью. Запах ее распространялся со скоростью звука, только Татьяна Ивановна открыла банку, как я уже стал задыхаться. Окончила дело, банку завязала, руки вытерла, присела.

— Всю жизнь так вот, как с дитем малым. Видал бы ты, Петрович, какой он был, когда жениться собрался. Господи...

— Интересно.

— Надо б интересней, ды нельзя. Я только что в Цыгановку приехала, у тетки жила. Там и вышла замуж, а через три месяца мужика моего трактором задавило. Ну, я уехала оттуда к тетке. Работаем, значит, в колхозе, на хлопок ходили тогда. Уже морозы стояли, снег был, а коробочки не раскрылись, собирали эти коробочки по снегу. С темна до темна, без выходных. Кухвайку на себя, ватные штаны — и в степь коробочки собирать, а голодуха была, тридцать второй год. Тетка и говорит: «Надо тебе замуж, Танюха. Тут, говорит, сваха приходила, ну, говорит, есть один на примете, в центре живет, вдовый». Один раз сказала, другой раз, стала и я думать. Что ж, думаю, не баба, не девка, надо прибаваться к одному чему-нибудь. Ну, а ему тоже сказали про меня. Передает он, чтобы пришла я, а мы ж в степь ходим, без выходных, некогда мне. Тут собрание получилось, так бы не пошла, а посмотреть тоже хочется. Что за жених такой. Пришли в нардом во всем, в чем на коробочки ходили, собрание начинается, а сваха и говорит на ухо: «Вон, говорит, носатый, в президнуме сидит». Как поглядела я, испугалась. И правда носатый, худой, бородавки на ем какие-то, ну, не понравился, ды и все, не могу глядеть на негс. А он пишет сидит. Нет, думаю, не пойду, лучше одна буду. Так и ушла с собрания. Нет и нет. Через сколько дней, хлопок мы убрали уже, в бригаде работали, опять пришла сваха эта, говорит, заболел он, просит, чтоб пришла, помогла немного по дому. Уже, говорит, раз угорели все, девочка до смерти, малый остался. Сейчас сам заболел, как бы опять чего не получилось, сходп, говорит, Танюха. Тетка тоже говорит — сходи. Пойду помогу, думаю сама себе, ну, только и того. Глупая ж была, молодая, а дуже жалостная, вссх жалко мне. Пошла. Одна пошла. Как открыла двери, как глянула... Господи, а назад поздно уже, не побегisha. Дверь закрыла за собой, стою на пороге. Лежит он на грязной-прегрязной постели, лохмотами заваленный, белый как смерть, а сам-то черный, малярия трусит его. Андрюшка на полу сидит, вроде зашивает что-то. Тоже кости ды кожа одна. Здравствуйте, говорю. Не слышу, вроде не ответили. Тятка, спрашиваю, не встает? Андрея спрашиваю. «Не встает», говорит. Ну, думаю, все. Значит, все за ним надо делать. А в хате... грязи на два пальца, к чему ни притронуся. Ну, жених, думаю, ну, секретарь, в президнуме пишет. Тут бы ушла, ну так жалко стало, так жалко, и себе тоже жалко, молодая, девятнадцать годов было, да за что ж, думаю, такая доля мне, что некрасивая? А не ушла. Скинула с себя кухвайку, затопила печку, воды наносила и как взялась скресть ды чистить ды их самих мыть. Два дня спины не разгинала. Вымыла, выскребла, чего постирала, чего в печке сожгла. Какие деньги были, пошла в кооперацию, матери набрала и стала им рубахи ды штаны шить. Новенькие у меня стали. Ну, и осталась я. А он, Петрович, на тринадцать лет от меня старше, а сам и счас как диге все равно.

С одним только я был не согласен. Насчет красоты. Татьяна Ивановна не хуже других, симпатичная, даже сейчас это заметю. Может, из-за носа так считает? Нос у нее, правда, немного широковат и как бы расплющен немного, но это ничуть не портит ее симпатичное, живое и очень доброе лицо.

— Во, Петрович, какая любовь бывает. Лучше вашего кина,— засмеялась Татьяна Ивановна и ушла. У нее много оставалось недоделанных дел.

Еще в прошлый год, в свой первый приезд, я сразу заметил, на ком держится дом. Собрались тогда мы в Цыгановку. Пока туда-сюда, за машиной пошли в контору, Татьяна Ивановна успела нарубить кур, сварить их, упаковать две корзины продовольствия. Зачем это? Едем-то к своим. Ну и что ж что к своим, зачем нам ихнее есть, когда у нас все свое. В самой Цыгановке тоже как вихрь — к одной сестре, к другой, к третьей, к Саше-племяннику, к моим родственникам и знакомым. И сразу начинает что-нибудь делать, собирать на стол, прибирать со стола, керосинку разжигать, мимоходом на кухне или в сенцах заметет. Такая Татьяна Ивановна. И вдруг на тебе — плачет. Возится на кухне, а сама, вижу, плачет.

— Татьяна Ивановна, вы что, вроде плачете?

Разогнулась быстро, свободной рукой смахнула слезы.

— Плачу. А как же тут не плакать: что удумал, старый пенек, никому ни слова, ни полслова. взял и женился, ды взял кого, господи, последнюю-распоследнюю лодырницу, грязнуху. Ну как тут, Вась, не плакать?

— Не пойму что-то, кто женился?

— Ну кто ж, брат. В Цыгановке живет. Последний мой брат, родный, шестьдесят три года. Со своей разошелся — и вот сразу жениться. Ну, не можешь — не живи, всю жизнь прожил, а теперь не может, ну, скажи: не могу. Ды што ж я, не нашла б ему бабу? Ведь не сказал, втайне сделал. — И тут, может, неожиданно для себя самой отшвырнула все в сторону, быстро-быстро вытерла запаном руки и ко мне: — Заводи машину, может, поспеем. Думать некогда. И к Лидке съездишь, Митяй-то помер, съездить надо к Лидке.

— Как помер? Дядя Митяй? — Вот это новость. Дядя Митяй Не откачали, значит, доктора. А я-то к нему собирался...

Сели, поехали. Сначала на Георгиевскую дорогу, а там рукой подать, не больше двадцати километров. Погода мокрая, раздоядилось. Когда свернули в Цыгановку, Татьяна Ивановна притихла. То все брата ругала и эту, с кем сошелся брат, а то вдруг притихла. Давай, говорит, на кладбище поезжай, надо проведать сестричку и Сашку-племянника. И этого я не знал. Ведь в прошлый раз и у Сашки в гостях были и у сестрички. Плакал тогда Сашка. Сидели во дворе за столом. Я рядом с Сашкой сидел. Сидели мы обедали, разговаривали, и так нам хорошо было, так сладко было вспоминать, узнавать друг друга. Мы и на войне оба побывали... Но тут в самую тихую минуту Сашка встал из-за стола и скрылся за летней кухней. Я туда, а он плачет. Не получилась, говорит, у меня судьба, не вышла.

После войны Сашка учился, работал, в партию вступил, а потом стал запивать, да так запивать, что и остановиться не мог, все у него рухнуло, и болезнь нажил себе неизлечимую. И вот Сашка уже на кладбище...

Татьяна Ивановна быстрым шагом идет впереди меня по кладбищенской тропке, едва поспеваю за ней. Вот она свернула тем же своим занятым, деловым шагом и прямо с ходу бухнулась на одну могилку. Дождик идет, мокро Татьяна Ивановна обхватила одной рукой крест и сама переломилась. Ноги стоят как стояли, а голова внизу, на могилке. Так и застыла торчком и запричитала сразу же, с ходу:

— Саша, желанный, сестричка моя любимая, в одной-то могилочке теперь вы лежи-и-те... А я без вас тута осталася, ну, спросите у меня чего-нибудь, ды ничего вы теперь у меня не спросите-е, ничего я вам уже не отве-чу...

Мне стало неловко глядеть на Татьяну Ивановну и слушать ее. Я снял шапку и отошел в сторону, стал разглядывать другие могилы, особенно где на крестах или пирамидках портретики выставлены. И что меня поразило: вот эти двое, молодые на портретах. Такие парни крепкие, с зачесами, с челками, при галстуках, значки на пиджаках.

Татьяна Ивановна отплакалась, встала, отряхнулась. Надо идти, некогда. Я спрашиваю, что же это такое.

— Вот этот, что ли?

— Ну, хотя бы.

— Хороший парень был, комбайнер, на мотоцикле поехал к брату и убили.

А этот, спрашиваю?.. Вот она водочка, самогоночка, вот она... кто ее только выдумал. Никогда не думал, сколько же хороших людей уносит она раньше времени. И Сашку она унесла...

После тех первых дождей целую неделю просыхала земля, а нынешний дождичек еще не расквасил дороги, и мы кое-как проехали к дому брата Татьяны Ивановны. Остановились. С улицы увидели замок. Досадно: приехали, а дома никого; но Татьяна Ивановна, видно, обрадовалась: значит, еще не сошлись они. И только мы вылезли из машины, только обрадовалась Татьяна Ивановна, как на улицу вышла пожилая женщина. Это она, говорит Татьяна Ивановна, отвернись, говорит, не гляди на нее. Я отвернулся, но чувствую, заметила нас женщина, чувствую, идет она к нам.

— Здравствуйте.

-- А-а, здравствуй,— вроде только заметила и вроде удивилась Татьяна Ивановна.

Ну, говорит невеста, проходите, хозяин на станцию уехал, а вы, говорит, проходите. Отперла, по-хозяйски, не спеша сало достает, нарезает, хлеб достает, вино выставляет, рюмочки протирает. Хозяйка. Татьяна Ивановна губы поджала, в сторону глядит, только и сказала:

— Нет, нет, я не буду.

И ни к чему не притронулась. Голову в сторону отвернула. Мне даже неудобно показалось, и я принял угощение так только, для приличия. А невеста, собственно, хозяйка уже, все рассказывает, рассказывает, как поросят свели в один сажок, как виноград обрезали на двух дворах, а вино давили совместно, какие заботы, какие разговоры вокруг всего этого получились и так далее.

— Я ж,— говорит,— сначала ничего этого не хотела, а он-то все ходит и ходит, а то совсем остался ночевать, не пойду, говорит, домой — и все, уперся, ну, постелила я, а ночью ему плохо, помирать стал, за доктором пошла. Вот тебе и жених, думаю, а ему говорю: может, говорю, не надо это все, видишь, случается что. Нет, уперся, это, говорит, временное явление, от переживаний...

— Ну, ладно, мы поедем, а то некогда нам,— перебила Татьяна Ивановна невесту-хозяйку. Не смирилась, не приняла. И подделываться не хочет, скрывать свою неприязнь не хочет. Даже не попрощалась. Хлопнула дверцей, езжай, говорит, и головы не повернула.

К тетке Лиде не захотела ехать, попросила довести до автобусной остановки и посадить. Я не стал спорить, потому что догадывался, какая буря крутит сейчас в душе Татьяны Ивановны. Опоздала, узнала поздно, не смогла отговорить брата.

К ДЯДЕ МИТЯЮ

В этот день суждено было побывать на двух кладбищах. То целые годы не случается такой оказии, а то в один день два раза. С трудом проехав на эту улицу, я постучался в ворота. Из сада вышла старая оплывшая женщина. Она медленно шла ко мне, а я думал, что это должна быть тетка Лида. Ничего в ней, ни одной капельки не было от той далекой застенчивой красавицы с редкими симпатичными веснушками вокруг носа. Она подходила ко мне с чужим лицом, как подходят к чужому, незнакомому человеку. Я сказал:

— Тетя Лида, это я.

И тогда она вся изменилась, вспыхнули глаза, лицо осенилось старческой улыбкой. И как поздней зимой в случайном клочке синего неба вдруг увидишь или вспомнишь весну, так в глазах на короткий миг я увидел или вспомнил молодую тетку Лиду, забытую красавицу.

Она заморгала, сморщила рот и сказала:

— А Митя мой номер.

Потом открыла ворота, а когда я въехал во двор, опять сказала:

— Знаешь что, Вася, мы сейчас к нему поедем, к Мите. Тут недалеко, верст сорок.

— Это где?

— В Черном лесе, там же его вся родня, отец с мамкой, братья все там лежат, один брат остался живой, тоже в Черном лесе. Я сейчас, скорешенько.

На кухне взяла плетеную корзину, положила граненый стакан и порожнюю четверть, в амбарушке, где стояли тяжелые бочата, насосала через кишку белого вина, прибавила немного черного из другого бочонка — для цвету, говорит, а то молодое, мутное еще, — заткнула четверть очищенным кукурузным початком и пошла к машине.

— Первый раз без него убирала, и виноград и вино давила. Не дождался. А как он любил...

Дождик давно перестал, но тучи плотно закрывали небо, бесшумно терлись одна об одну, переползали с одного края неба на другой. Тетка Лида молчала, только на своротах дороги, когда еще по селу ехали, показывала, куда именно надо повернуть, а го все молчала, думала, конечно, о дяде Митяе, может, даже про себя разговаривала с ним. Когда проехали Куму, питомник, станцию Плаксейку, дорога пошла ровней, пошла степью.

Я тоже думал про дядю Митяю. Вспоминал прошлогодний рассказ его, вспоминал бульдожье лицо его, постное поначалу, и то, как он в момент рассказа своего весь переменялся, живой стал, нестарый, и как сказал тогда: «Жизнь не прошла, а пролетела, весело, сволочь, пролетела»

А теперь вот мы едем в Черный лес к дяде Митяю на кладбище.

Сморщился у тетки Лиды рот, выдавилась слеза.

— Я ведь до Мити,— заговорила она,— никакой жизни не знала и нигде, кроме Цыгановки, не была. Только с ним и жизнь увидала. Веселый был.— Тетка Лида улыбнулась такой же скупой, как и слеза ее, старческой улыбкой.— А культурный был, а знал сколько, бывало, как станет рассказывать — не заслушаешься... Ходил тоже культурно, по-городскому. Никогда у него этих картузов не было, в шляпе любил. Плащ у него болоневый, ботиночки лаковые, как вроде артист какой. И в город меня возил, в Прикумск. Как, бывало, чуть, так сейчас. Лида, говорит, поедем в Прикумск. Зачем, Митя в Прикумск? А так, говорит, ни за чем. Раз, два, договорился с машиной — и поехали. И ничего с собой не брал, не велел брать. Как приехали, сразу ведет в столовую, в бухвет, пива наберет, котлеток, колбаски порежут, и все на тарелочках, чистенько, а то вина возьмет заводского, в бутылках. Пошиковать любил, дюже любил... Такого, как Митя, нету больше во всем свете...

Выехали прямо к кладбищу. Ворота открыли. Перед тем как войти туда, тетка Лида перекрестилась не спеша. У могилки поставила корзинку и так же, как Татьяна Ивановна, левой рукой обхватила крест и упала на могильный холмик. Но не голосила, как Татьяна Ивановна, а разговаривала, плачущим шепотом разговаривала с Митей. Потом поднялась, вынула стакан из корзинки, ототкнула четверть, налила и опять к могилке, опять свободной рукой обхватила крест. Не обижайся, говорит, Митя, на вот, выпей стаканчик, не обижайся. И вылила вино в землю, под крест. В эту минуту явственно я увидел лицо дяди Митя.

После она показала мне могилки родителей дяди Митя, трех братьев его, могилы их были рядом.

Мы шли по утопанной дорожке. Тихо было, голая степь кругом. Чуть-чуть уловило пахло чебрецом. Тетка Лида показала мне эту травку. Низкая, ползучая, она стелилась по ровной жесткой земле по обеим сторонам дорожки.

— Митю мы в мае хоронили, солнышко было, день теплый, тихий, и так этим чебрецом пахло, так пахло, и людей было много.

Я сошел с тропинки, сорвал пучок этой травы с собой взять в машину. Тетка Лида, не глядя на меня, сказала:

— Ничего отсюда выносить нельзя. Все тут ихнее.

Она сказала вполголоса, а я почувствовал себя маленьким-маленьким и не бросил духовитый пучок, а с каким-то непонятным испугом выронил его из руки и руку вытер о пиджак.

Заехали мы к последнему живому брату дяди Митя, но дома его не оказалось. Жена и дочка занимались большой уборкой, им было не до нас.

— Все Митины братья,— говорила тетка Лида в дороге,— были умные, самостоятельные, и этот, живой, тоже... А Митя у их был любимчиком. От старшего трое ребят осталось, тут живут, в Черном лесе, все ученые, один на шофера выучился, другой на всех машинах может—и на тракторе и на комбайне, третий тоже возле машин, в мастерской работает. Вся ихняя порода такая, ученая. К Мите, бывало, все бегут совхозские то мотор наладить, го машину, то движок, бьются, не могут, а Митя придет, посмотрит и сразу скажет: да у вас то-то, мол, и то-то. И правильно, раз, два — и наладил. Он уже на пенсии был, а к ему все бегали. Он эти моторы знал, уж так знал, так знал...

То и дело тетка Лида морщит старческий рот.

— И я-то,— жалобно сказала она,— и я от его эти моторы стала знать. Сад мы движком поливаем, сама я теперь чиню движок.

Уже было темно. По памяти как-то я проехал улицами и не попал в грязь, не застрял нигде, а уж застрять в нашей Цыгановке есть где. И грязь тут такая, как смола, ногу вытащишь, а сапог останется.

Тетка Лида собирала ужин, борщ разогревала на кухне, арбуз принесла, а я под ярким и пустынным электричеством разглядывал иконы, ходил по комнате. В передней свет не был включен, и оттуда тянуло тьмою и жутковатой пустотой. Именно там, в передней, мы слушали в прошлом году дядю Митя. Теперь в ней никого не было. Одиноко теперь тетке Лиде и, может быть, жутко, особенно по ночам. Одна она была как перст.

Сели ужинать.

— Ага,— сказала тетка,— без икон сперва даже страшно было, с иконами ничего не боюсь, помолюсь — и хоть убей меня.

Я думал, что иконы так просто висят, от старого времени остались, но тетка оказалась верующей.

— А как же не верить, Вася...

— Я же помню вас тогда еще, ничего такого не заметно было.

— Во-первых, мода была не верить, многие побросали тогда веру, а ведь он-то, Вася, есть... Тут у нас вот что было. Уйдут на работу, дома никого, все взрослые, замок повесют, вечером приходят — замок висит как висел, а в хате кто-то был, стол на середине стоит. Поставили стол на место, на другой день опять повторяется: замок висит, а в хате кто-то был, стол на середине стоит. Тогда и говорит один тут у нас отчаянный, неженатый. «Я, говорит, ничего не боюсь, проверю, кто приходит к вам». Залез под кровать, заперли его за замок. Сидит, ждет. Время к обеду. Слышит — топ, топ, входят, а двери никто не открывает, двери закрытые, а они входят, стол на середине ставят, садятся, беседуют. По голосам, слышит, грое их. Одна женщина. Ну, что им, людям, значит, за ихние грехи, за то, значит, что верить перестали, что им сделать? Один говорит — огонь насрать надо, чтоб в огне сгорели, чтоб и земля вся с ими сгорела. Другой говорит — лучше чумной мор насрать. Нет, говорит тогда женщина, ну, она ж это, Вася, божья мать, от огня и от чумного мора, говорит, много безвинного погибнет, сделаем так, чтоб жили они, но, чтобы больно им было, пустим мор на молодых. Вот и мрут у нас молодые, сам видел...

Спать мне было предложено в передней. Ставни с улицы были затворены наглухо. и когда я выключил свет, то стало в этой передней, где жил дядя Митяй, я сейчас спал на его месте, стало в этой передней как в могиле. Я не мог уснуть, а все время до самого утра ждал рассвета. И думать ни о чем не мог. Только когда стал просачиваться свет, я смог заставить себя думать о чем-нибудь об одном, определенном, по своему выбору. Думал я и о том, что вет вымрут последние остатки прошлого, остатки дикости, нашей трудной, но уже минувшей жизни, и останется в моей Цыгановке только все молодое, хорошее, здоровое, и жить будет моя Цыгановка куда лучше, чем раньше, куда легче. Приходя в себя от тяжелой бессонной ночи, я размышлялся. Но это не было просто мечтой. Я знаю теперь людей, которые не только мечтают, но засучивши рукава выводят мою Цыгановку на светлую дорогу, выгребают из нее старую грязь, ломают, перестраивают все на лучший лад.

Знает их и тетка Лида и даже пользуется ими по-всеми. Мы как-то заговорили с ней о топливе, где брать его, о разной помощи, она ведь одна теперь, опереться не на кого.

— А я, Вась, хитрая, я профсоюзная, три копейки плачу, а чуть что — счас в контору, ну, и уголька подкинут, картошечки или другое что. Без этого нельзя.

НОВЫЕ ЛЮДИ

Не в том смысле, конечно, что те, старые, отходят в прошлое, верят во всякие глупости и так далее, а эти вот, новые, вышедшие им на смену, современные, опора и надежда нашей жизни. Таких новых людей достаточно в моей Цыгановке, о них я расскажу в следующем очерке. Но сегодня скажу о других, которые пришли в наше село из других мест, из других земель, и живут теперь как у себя дома, и болеют за наше село как за свое родное, и которые, конечно же, ближе и нужней моему селу, моей Цыгановке, чем я сам.

Когда-то было тут несколько колхозов. Потом сделали один совхоз. Совхоз большой, девять отделений, делов, как бы сказал дядя Тимоха, много. Три зерновых хозяйства, то есть отделения, одно садово-огородное — виноград, арбузы, помидоры,— еще хозяйство по производству, как говорят в конторах, яйца и мясоптицы, два отделения овцеводческих, еще по производству молока и, наконец, по нагулу и откорму скота, а также свиней.

Вот какой гигантский комбинат продовольствия моя Цыгановка. Это была незнакомая мне Цыгановка. Раньше жила она как бы сама в себе — ела, пила, пахала, сеяла,

гуляла по праздникам, ходила в церковь. Теперь комбинат. Это было открытием для меня. Я невольно подумал, что подобными комбинатами покрыта нынче вся Россия. Ехал я встретиться с детством, с прошлым своим, а приехал в будущее. Сколько прошли с тех пор! Кем все это пройдено, кем поставлено, поднято на такую высоту? Ну конечно же, не нынешними молодыми героями труда, честь им и слава, они тогда еще пешком под стол ходили, а вот этими смешными да нелепыми дядями Тимохами, ихним горбом. Как? А трудно и сказать как. Всей их жизнью, без остатка.

И опять меня поворачивает все к ним, а надо ведь о другом сказать — о новых людях.

Гигантская фабрика продовольствия... На три версты растянута только одна Цыгановка, не считая других селений, входящих в совхоз «Архангельский». Всем этим миром и комбинатом руководит Алексей Саввич Коваленко, новый для наших мест человек.

Первый раз услышал я это имя у Василь Денисовича, у Барыки. После ужина, на Сашкиной уже половине, в Сашкином доме, мы разговорились. Не заметили, как стемнело, совсем темно стало. Когда Сашка узнал, что утром я собираюсь уезжать, он поднялся и сказал:

— Сейчас смотаюсь, я быстро Вам же все равно завтра в контору, а зачем? Машина за вами сюда подойдет. Сейчас я к Алексею Саввичу.

— Это кто? — спросил я.

— Кто? Наш директор.

— Неудобно, — сказал я, — и ночь уже, где ты найдешь директора?

Сашка поглядел на часы.

— Он сейчас в конторе. Там у них сейчас разговор, подытоживают, это я знаю.

Завел Сашка мотоцикл и уехал в темную ночь. Ну и что же, подумалось мне, что же оттого, что они там сидят подытоживают, это их дело, и не одни они, наверно, засиживаются вот так после трудового дня, подводят итоги дню, назавтра намечают и, вообще, разговаривают о делах вольно, не по повестке, не по протоколу. Такие посиделки руководителей я встречал и раньше. Теперь меня приятно удивило, что об этом точно знал и рядовой рабочий. Сашка был в строительной бригаде, знал и считал в порядке вещей сесть на мотоцикл и ночью ввалиться к директору с пустяком. Другой бы так шуганул с этой машиной — не захотелось бы в следующий раз соваться по ночам. И вспоминалась Татьяна Ивановна, как она выговаривает слово «директор» и как тут Сашка, например, выговаривает это слово. Разницу сразу можно заметить.

Через полчаса Сашка вернулся и сказал, что все в порядке. Утром действительно машина стояла перед домом.

В другой раз услышал я о директоре от тетки Лиды. Правда, тут я сам спросил, проверить, что ли, хотелось, зачем-то я спросил тетку Лиду:

— А начальники у вас, как они?

— О-о-о! — сказала тетка Лида, и как бы обрадовалась моему вопросу, и вроде спохватилась, что сама не успела про это сказать. — Директор у нас, Вася, даже хороший, даже умный. Дураки, они с простыми людьми не знают, брезговают. Алексей Саввич, — тетка Лида стала шепотом говорить, вроде это тайна была какая, — ты не поверишь, Вася, со мной всегда за ручку здоровкается. Один раз иду со станции, с Плаксейки, а грязь была ды ветер был; глядь, машина, «газик» догоняет, останавливается, дверца открылась — директор. «Ты чего, Мухина, говорит, пеши идешь?» А как же, говорю, лошадей у меня нету. Поздоровкался, в машину посадил. Пока доехали, все дочиста повыспрашивал у меня, ну, я ж не дура, угольку попросила. Сам у конторы вышел, а шоферу приказал домой меня довести. Вот какой директор, Вася, дай бог ему здоровья. И Митя его уважал, а Митя мой кого попало не стал бы уважать.

Так, значит. Здоровается за ручку. А план? Может, при всем при этом совхоз убыток государству приносит, с планом не справляется? Тогда лучше уж не здоровался бы за ручку. Нет, с планом порядок, уже пятнадцатый год как совхоз приносит хорошие доходы, прибыль дает хорошую. А директора избрали депутатом Верховного Совета России. Но когда я пришел к нему, с первого раза он мне не показался. Он не сидел тогда за своим столом, а стоял спиной к двери, разговаривал с человеком, тоже стояв-

шим по другую сторону длинного стола заседаний. Похоже было, что собирался уходить. Секретарша провела меня: вот, мол, человек из Москвы.

— Ну что там еще,— сказал он тихо, чуть повернув голову, продолжая стоять боком ко мне,— что такое?

Я немного растерялся, стал что-то говорить, но как-то так, что и сам себя не слышал, голос у меня осел. Потом я прокашлялся, стал говорить громче. Из Москвы, так сказать, приехал вот и так далее.

— Ну?

И это мне окончательно не понравилось. Уйти сразу? Тоже глупо. И я сказал еще что-то, сказал, что родился тут, в Цыгановке, на Непочетке, вот приехал поглядеть.

— Непочетка? — Директор повернулся ко мне, на его лице была улыбка. Он стал разглядывать меня. Потом сказал: — Садитесь.— И сам прошел к своему месту, тоже сел.— Непочетка, Непочетка,— с каким-то тяжелым чувством повторил он.— Давно не были?

— Тридцать лет.

Директор устало откинулся на спинку кресла. Спросил, узнал ли я свою Непочетку. Узнал, конечно, узнал. Канава текла по улице, теперь нету канавы, высохла, затоптана, на выгоне, возле артезиана, грязюка, лужа киснет, школа моя голая стоит...

— Не понравилось?

— Не понравилось.

Помолчали. Раз, другой поглядели друг на друга. Потом я спросил:

— А вы сами не наш будете, не цыгановский?

— Теперь уже ваш. А приехал из Донбасса. На шахте инженером был. Послали сюда, тоже инженером был, теперь директором.

— Не тридцатитысячник, случайно?

— Он.

— Ну и как тут, как работается?

— Трудно. А канаву, между прочим, два раза прокапывали, ничего не помогает, в каждом дворе виноград развели, отводят воду по дворам, высушили канаву и затоптали. Разве в канаве дело.

Директор переставал говорить, задумывался, видно, хотелось ему так сказать, чтобы все стало ясно, чтобы я понял что к чему. А сказать сразу обо всем трудно было, поэтому Алексей Саввич задумывался, и мне казалось, что ему вроде хотелось оправдаться, что ли, передо мной, и от этого я стал постепенно проникаться к Алексею Саввичу симпатией. Кто я такй, чтобы оправдываться передо мной? А я все же чувствовал, что он оправдывается, что вроде ему даже неудобно передо мной за то, что она, моя Цыгановка, такая нескладная и трудная.

— Дело ведь к чему идет? А к тому, что нынешняя деревня, вот эти цыгановки должны уйти в прошлое, исчезнуть с лица нашей земли. Другая, совсем другая будет сельская земля. Будут стоять чистые, уютные, современные поселения. Свет, вода, газ, асфальт. а кругом зеленая земля. Чтоб люди вздохнули легко, они заслужили это, пострадали. Конечно, на глом месте легче строить новые дома, новые улицы, ничего ломать не надо. А у нас? Цыгановка наша вон как раскидана. А Непочетка ваша вообще относится к так называемым неперспективным районам, эти районы, эти места должны исчезнуть.

Я слушал и думал, что да, нелегко. Село нужно стягивать к центру, в новые современные дома, есть уже план генеральный. Дожила моя Цыгановка до генерального плана. Да, нужно собрать ее в один узел, в один комплекс с асфальтом, светом, газом, водопроводом, магазинами, баней, культурными центрами. А попробуй растяни все это на три версты в длину да на две в ширину, по улицам, где не только машина, бывают месяцы, что и трактор не пройдет. А люди нынче по телевизору видят, как надо, как у людей бывает, как положено жить. Они хотят жить по-культурному, с полной, а не частичной культурой. Но и с места их не сдвинешь, в комплекс их трудно передвинуть.

— Бросай, говорю, свою хату, занимай новый дом в центре. Нет, отвечает, не брошу. Вот и поговори. Приходится,— говорит Алексей Саввич,— пока нарушать генераль-

ный план, даже вразрез идти, ведь люди сейчас хотят жить. И Непочетка ваша, она отмереть должна, а мы там целый комплекс построили вразрез с планом, построили клуб, магазин, баню, но ведь кругом грязь, пыль, какой это комплекс. А надо. Силой же не погонишь людей со своих мест. А вы говорите, лужа, голая школа. Школу вашу, кстати, закрыли. Не могли отстоять. Теперь непочетенских ребятишек будем на автобусах возить за семь километров. Видите, деятели образования раньше нас налегли на генеральный план. Раз отмереть должна Непочетка — значит, и школа не нужна. Не могли отбить.

Алексей Саввич помолчал, в окно выглянул, там смеркалось уже, включил свет.

— Вот она какая лужа. Конечно, трудно. Но ведь и интересно. Видишь, что надо делать, всю эту гору перед собой видишь, и хочется свернуть эту гору. Вот приезжайте еще через тридцать лет...

Я не обиделся на этот выпад, а только смотрел на смуглого, уже сидящего человека, на его усталое лицо, язву успел нажать в нашей Цыгановке, сесть тут начал; слушал его и уже гордился им как своим земляком. Все, Алексей Саввич, завяз ты в моей Цыгановке, завяз на всю жизнь; завтрашний день ее — свет, асфальт, газ, водопровод, чистые домики, а кругом зеленая земля, — завтрашний день моей Цыгановки стал уже его жизнью. И мне хотелось сделать что-нибудь хорошее этому человеку, пожелать, чтобы не болел он, чтобы в семье у него было все ладно, жена не болела, детишки хорошо учились — словом, пожелать ему счастья.

В другой раз я попал к Алексею Саввичу на эти вечерние посиделки. Тут были парторг, заместители директора. Говорили о разных хозяйственных делах, потом все свелось к одному пункту: стали думать о выставке, как получше, поярче устроить ее. Да, совхоз готовил свою сельскохозяйственную выставку. Для кого? И для себя и для других, для соседей. У самих же девять отделений, девять больших хозяйств. В одном хозяйстве не знают, чего достигли в других хозяйствах, надо, чтобы все видели достижения всех. А показать есть что.

Познакомился тут я с заместителем Алексея Саввича — Журавлевым Василием Павловичем. Этот тоже из других был мест. Из древнего костромского городка Галича. Не может никак забыть свой Галич: городок-то с XIII века стоит, а озеро какое, Галичское, а лещи, окуни-горбыли, щуки, лини копченые на базаре сколько хочешь, а ерш специальный, смеется Василий Павлович, галичский ерш. А остров! Двухкилометровая коса обсажена тополями, там по воскресеньям, по праздникам весь Галич гуляет, а то еще на Лисьей горке... Нет, не может забыть Василий Павлович. Лицо широкое, простецкое, глаза умные, много знающие, — сидит он в старомодной шляпе, в длинном старомодном плаще, вспоминает с доброй улыбкой, нет-нет и засмущает по родине. Зачем же уехал из своего Галича, если забыть не можешь? Ну, во-первых, не забывать, помнить свою родину и даже скучать по ней — не такой уж большой грех, во-вторых, уехал Василий Павлович не из Галича, а из Вены. Да, в Вене закончил войну Василий Павлович Журавлев. Коммунист? Коммунист. Выбирай, куда хочешь ехать восстанавливать хозяйство, но только туда, где немцы побывали, понаделали делов. Выбрал Ставрополье. И не жалел. Сперва был председателем райисполкома; тачанка, пара лошадей, кучер, мотался по району — двенадцать колхозов, три совхоза, концы не близкие. Вот этот совхоз организовывал, был в нем секретарем парткома, теперь вроде коменданта цыгановского, весь быт, все коммунальное хозяйство, все заботы по этой части на нем.

Был Василий Павлович заместителем директора по хозяйственной части, но часть эта так разрослась, что создали целый отдел, отдел коммунального хозяйства, теперь стал его начальником.

Да, вспоминает Василий Павлович про свой Галич, тоскует порой, но и эту землю, которую пришлось восстанавливать после немца, ее тоже от сердца уже не оторвешь, а часто и вовсе нельзя уже понять, чей он, Василий Павлович, галичский или наш. И сам он уже может сказать хотя бы про директора рыбозавода «Плаксейка». Виктор Павлович Потапенко, ну как же, наш, цыгановский, воспитанник нашей школы, архангельской десятилетки. Или про секретаря парткома Александра Филипповича Марченко: наш, говорит, коренной.

— Тут у нас такое дело,— Василий Павлович не то чтобы хвастается, но и не без этого, конечно,— вот дело какое. Получается, что мы кадры готовим для района. Вот Марченко. Выдвинули его на комсомольского секретаря, поработал, поднакопил опыту, дело повел хорошо, забрали от нас — куда? — первым секретарем горкома комсомола. Теперь вот Колю Ульяновку выдвинули, тоже наш, цыгановский, шофер, футболист, вратарь, до армии у нас слесарем работал. Боимся, опять как бы не забрали. Вот что получается.

— Все это хорошо,— говорю я.— И с кадрами, и с хозяйством, и трудности есть, чтобы бороться с чем было, но все же, Василий Павлович, к степи нашей надо привыкнуть, не то что костромские леса с реками, озерами — тут сухо, голо.

— Не говорите, кое-что и у нас имеется. Вы знаете Отказненское водохранилище? Это же море, регулирует поливную воду, вода пошла большая у нас, каналы, хранилища. А вот по соседству рыбхоз «Плаксейский». Там чего только нет. Около десяти водоемов, всякие инкубаторы для ценного малька, ну и взрослая рыба. Имеется даже копильный цех. Так что без воды, без рыбы не сидим...

Да, все-таки я сравниваю, не могу не сравнивать, много лет ведь не видел родного края. Конечно, всего стало больше. Но я беру вопрос узко. Беру вот этих новых, пришлых людей. Северный Кавказ, Ставрополье еще в мои детские годы было окраиной России. Не просто считалось так, а все мы, старые и малые, чувствовали это по всему укладу нашей жизни. К нам в Цыгановку почти каждую зиму, как мы говорили тогда, «из Расеи» приходил мужичок-полстовал, пьяница горький. Жил он у Малакановых, у дружков моих Саньки и Леньки, валенки валял. Этот расейский мужичок казался нам из такого далека, из таких неведомых земель, как сейчас марсианин, и то навряд ли. Марсиане нынче уже не удивят так, как нас тогда этот полстовал. Это ж надо! Как же это он доберется-то сумел оттуда? Словом, жили каждый сам по себе. А вот теперь, когда я слушаю Василия Павловича из Галича, Алексея Саввича из Донбасса, гляжу на этих людей, которых послала сюда партия и они по ее зову приехали сюда и выполняют поставленные перед ними задачи, общие между прочим, для всего государства, заботятся о моей Цыгановке как о своей, и вполне возможно, что завтра могут быть переброшены в Якутию, или в Москву, или еще куда, гляжу на этих новых людей и думаю, что все теперь — и Цыгановка, и Якутия, и Москва, и Донбасс, и Кострома лесная — как один большой дом, все живем вместе, все заняты одним делом, все думают об одном: как бы лучше устроить жизнь в этом большом доме.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

NO PARKING!

Покойный ныне писатель Роман Ким сказал мне однажды в разговоре: «В Японии говорят так: кто пробыл в Японии неделю, тот пишет о ней книгу, кто пробыл в Японии месяц — пишет статью, кто пробыл в Японии год — ничего не пишет».

Быть может, это справедливо не только в отношении Японии. Пробудь я в Америке год, я бы, наверное, пришел к утешительному выводу, что знаю голько то, что ничего не знаю. Но я был куда меньше и не растерял решимости записать увиденное.

Об Америке столько написано и американцами и людьми многих стран. Но иногда мне начинало казаться, что даже американцы не знают Америку. Они мчатся по ее отличным дорогам в сверхсовременных машинах все быстрее, быстрее. Темп гонки возрастает. «NO PARKING» — предупреждает надпись повсюду. Значение ее гораздо большее, чем просто извещать: «Стоянка запрещена».

«NO PARKING» — это приказ мчаться не останавливаясь дальше, вперед, в нарастающем темпе, в котором мчатся все.

Куда?

Средства давно превысили цели. И даже стали целью.

Мне кажется, дедам современных молодых американцев было намного проще. На внуков пал груз осмысления. И сомнений. Они так же, как деды, умеют хорошо работать, они жизнестойки, но в отличие от дедов многим из них не все ясно. Они хотят знать, куда мчится их страна. Они пытаются вмешаться в это движение.

Абстрактный вопрос из сферы будущего: «Сможет ли машина когда-либо выйти из подчинения человеку?» — здесь не выглядит отвлеченно. Машина давно уже несет своего владельца, хотя формальные права вождения лежат у него в кармане. Ветерок «эр кондишен» обвеивает его в пути, многие мыслимые удобства созданы ему в обмен на то, чтобы он не спрашивал, куда машина мчит его.

Прошлой осенью и этой зимой Соединенные Штаты Америки и многие страны взволновало дело лейтенанта Колли, палача вьетнамской деревни Сонгми. Как все преступники такого рода, он говорил в свое оправдание, что выполнял приказ, был только исполнителем.

Причины и следствия не связаны между собой стеклянными галереями, где все открыто для обозрения.

Полвеком ранее, когда заканчивалась первая империалистическая война и десять миллионов убитых истлевали в полях Европы под артиллерийскую наннихиду, Америка вступила в войну на стороне победителей, стремясь не опоздать к переделу мира. В связи с этим тогдашний президент Вильсон сказал: «Стоит повести наш народ на войну, как он забудет, что терпимость вообще существует на этом свете. Чтобы воевать, нужно быть зверски грубым и беспощадным, дух зверской беспощадности повсеместно проникнет в жизнь нации, заразит конгресс, суды, полицию, рядового человека».

Америка во всеоружии выходила на мировые рынки, и Вильсон сформулировал те принципы, с которыми она выходит.

События имеют свою логику, гораздо более сильную, чем логика людей, их развязавших. И не всегда правильно по размерам событий судить о масштабе личности, сто-

явшей у их истока. В истории человечества самые страшные бедствия часто связаны с самыми ничтожными личностями.

Но бывает иначе. Войну во Вьетнаме начал, в сущности, один из самых просвещенных президентов Америки, которому принадлежат слова: «...о нас будут вспоминать не за наши победы и поражения на поле битвы или в политике, а за то, что мы сделали для духовного развития человечества...», — президент Кеннеди. А продолжал и расширял ее один из бесцветнейших президентов Америки — Джонсон.

Машина мчалась, неся менявшихся водителей вместе с их правами на вожделение.

В дни, когда наша делегация была в Америке, антивоенное движение еще не приняло такого размаха, как сейчас. Ветераны, бросавшие свои вьетнамские медали на ступени Капитолия, пятьсот тысяч демонстрантов в Вашингтоне, вышедших остановить правительство, которое не хочет остановить войну, тринадцать тысяч арестованных полицией — все это было позже.

Иногда поступок одного человека поражает не меньше, чем цифры, вместившие тысячи. Среди полумиллиона демонстрантов шла мать погибшего во Вьетнаме солдата, еще молодая женщина. Она несла медали и ордена сына, которые он получил там. Она бросила их на ступени Капитолия. И вместе с ними бросила американский флаг, которым был накрыт гроб ее сына, привезенного из Вьетнама. Не каждая мать решится лишить себя последних иллюзий, последнего утешения.

Но и это было позже. Однако причины, вызвавшие взрыв, различимы были и в то время.

За месяц наша делегация — Фрида Лурье, Михаил Алексеев и я — облетела многие города Востока, Юга и Запада Америки. Мы были в Вашингтоне, Атланте, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Лас Вегасе, Солт Лейк Сити, Бостоне, Нью-Йорке. Здесь рассказывается о встречах в нескольких из этих городов.

ВАШИНГТОН

После многочасового перелета через океан, после долгого сидения в нью-йоркском аэропорту, еще одного перелета я как-то не почувствовал нереальности всего происшедшего со мною. Но утром, проонувшись в номере отеля, подойдя к окну, я увидел, что я в Америке. Я включил телевизор. Но и в этом окне увидел Америку.

То раннее утро в Вашингтоне, в отеле «Дюпон плаза», где все еще спало, было для меня самым удивительным за всю поездку.

* * *

В то утро, первое наше утро в Америке, мы вышли из отеля, полные свежего любопытства ко всему вокруг.

У подъезда атлетически сложенный негр в малиновой ливрее, в фуражке с золотыми галунами и со свистком в зубах вызывал машину. Пожилой джентльмен в шляпе и с сигарой, пожилая дама с подстриженной серой собачкой на поводке ждали у своих чемоданов. Мех на жакете у дамы и шерсть собачки были одной масти.

Мимо, огибая сквер, катился блестящий поток машин. Золотистые, бежевые, черные, бирюзовые, красные — всех расцветок и оттенков; широкие, низкие, с мощными моторами, наполовину состоящие из мотора машины огнбали сквер по дуге, попадая то в тень деревьев, то вспыхивая на солнце эмалью и никелем. В их покойной мягкой глубине было пусто. Где самая обширная семья разместится свободно, сидел за рулем, как правило, один человек. Иногда это был белый, иногда негр, и тогда сквозь дымчатое стекло видны были только белый воротничок и белые манжеты.

Меня все еще не оставляло чувство нереальности происходящего. В Москве был октябрь, дождливый после дождливого лета. А когда мы ехали на аэродром, мело снежком под колеса машины. И здесь был октябрь, двадцать градусов по Цельсию с утра. Женщины шли в летних платьях, в тонких брюках, мужчины — в летних костюмах, дети — в гольфах. Ведь Вашингтон на широте даже не Баку, даже не Самарканда: на широте Душанбе, столицы нашего Таджикистана. А Нью-Йорк — до него час лететь на север — на широте Ташкента и южного, того самого турецкого берега Черно-

го моря. И северная граница Соединенных Штатов проходит соответственно южнее Киева: между Харьковом и Днепропетровском. Вот здесь и расположен кукурузный пояс Америки: на широтах между Ташкентом и Киевом.

Итак, был октябрь, девятый час утра, и в Вашингтоне в это совершенно летнее утро множество народу шло и ехало на работу, дети шли в хайскул — в школу, дворники-негры подметали тротуары мягкими, как веники, метлами на длинных палках.

И все еще было зеленое: и подстриженный газон, и листья на дубах, больше похожие на листья наших кленов. И вьющийся по стенам домов плющ. Вот кому архитекторы мира еще не воздали должной хвалы. Он красив во всякое время года: и летом, и осенью — красные листья по серой стене, — и зимой, когда листва опадет, а жилистый, извитой ствол и расплзшиеся по стене ветки — как черные тени на сером камне. Во всякое время года он способен прикрывать даже уродство. Недаром же говорится, что врач может хотя бы похоронить свою ошибку, архитектору остается только посоветовать посадить что-либо вьющееся.

Облетев в дальнейшем Восток, Юг и Запад, я мог убедиться, что Вашингтон — самый европейский город Америки. Здесь нет небоскребов: по закону ни одно здание не может быть выше Капитолия. И многие улицы, дома, ограды напоминают Францию: ведь город строил француз. И статуя Свободы, как известно, тоже приплыла из Франции.

Но свернешь за угол — и уже старая Англия. Мрачноватые красные кирпичные здания, черные плоские водосточные трубы, белые окна. Кладка — под расшивку, и светлый цементный шов на всем протяжении одинаков. И кирпич словно весь одного обжига. Он только потемнел от времени. Сколько простояли эти дома, сколько еще простоят — ни внешнего ремонта, ни покраски им не потребуется. Такая работа стоит денег, но это ведь в Англии сказано: мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи.

Мы шли мимо этих домов в то утро, и школьники обгоняли нас. У особняка с подъездом, белые мраморные ступени которого обливал из шланга негр в черной ливрее, поравнялись с нами две девочки лет восьми-девяти. Две пары тупоносых туфель бойко стучали по серым плитам тротуара. Две пары гольфов: на черных ногах белые, на белых красные. У одной девочки жесткие, как пружинки, волосы стянуты зелеными, в бусах лентами в два пучка: пучок надо лбом торчком вверх, пучок на затылке торчит вниз. У белой девочки две косички. В них — синий и красный шерстяные шнуры. Такие трех цветов американского флага — белый, синий, красный — шерстяные шнуры в Америке носят школьницы вместо бантов.

Девочки, обгоняя нас, живо и громко разговаривали. Бог ты мой, как они говорили по-английски, эти маленькие девочки! Целой жизни не хватит вот так научиться говорить.

Когда человек долго живет за границей, он у себя на родине иной раз начинает выглядеть иностранцем. Но и там, за границей, он тоже, и еще в большей степени, иностранец.

Вашингтон только в Америке кажется европейским городом. Но если перенести его хотя бы мысленно в Европу — с его домами, людьми, машинами, образом жизни, — станет очевидно, что это сугубо американский город.

Однако есть в Вашингтоне и такое, чего не встретишь больше нигде в Америке. Одно из этих отличий особенно заметно в утренние часы, когда по улицам административной столицы идут чиновники департаментов.

И в первое наше утро и всякий раз в дальнейшем, когда удавалось, я останавливался и смотрел на это шествие.

Они идут мимо закрытых еще магазинов, закрытых кафе, мимо аптек, где, сидя за стойками, как в барах, на высоких табуретках, завтракают люди. Перед дверьми аптек или просто на углу лежат кипы газет. Иногда тут стоит продавец или никто не стоит, и тогда можно бросить мелочь — «никель» — и взять газету. Проходя, чиновники бросают «никель», не замедляя шага берут газету, толстую американскую газету, читать которую надо иметь определенные навыки. Это собрание реклам, новостей лучше просматривать по диагонали, а носить удобней прижимая локтем, потому что она весит,

весит ощутимо. И чиновники чаще проходят мимо газетных кип налегке, покачивая в пальцах за уголок папочку.

Они уже приняли утренний душ, съели рациональный нетяжелый завтрак, запив его чашкой кофе, чтобы в двенадцать ровно отправиться на ланч. И вот идут, овеваемые дымком сигарет, ценя эти последние минуты перед стартом: выбритые, свежие, в еще свежих белых рубашках, которые из прачечной доставляются в целлофановом пакете и которые вечером, пропотевшие, будут брошены в стирку.

В легких в эту пору года костюмах, купленных не в подвальном этаже универмага, где для людей малого состояния круглый год «sale» — распродажа по дешевке вышедшего или выходящего из моды, залежалого, — и не на первом этаже, где вещи несколько дороже, а на этажах, незримо соотносящихся с этажами их служебной лестницы, чиновники идут по улицам Вашингтона, поигрывая складками своих пиджаков. И переливаются эти складки на их спинах всеми мыслимыми оттенками, какие еще встретишь только у машин, мчащихся в этот час. Тут и сталистые и бежевые с зеленой. Тут и переливчатые, как крыло майского жука под солнцем: оно и зеленое, оно и синим вспыхнет, а черное, когда не под лучом, и золотистое вроде. А то вдруг так повернется к свету, что уже рубином отликает.

В массе своей рослые, сознающие свое положение и вес, многоликие и в то же время в чем-то главным одинаковые, они идут под дубами и платанами; блестящие, нестертые башмаки их ступают по серым плитам, по асфальту, по мягким дорожкам скверов.

Еще не жарко, еще лежат косые тени, а если смотреть в даль улицы, видна сизоватая дымка: не бензиновая, а та дымка раннего утра, что за ночь надышала деревья, чтоб весь день людям дышать. Только в эти часы воздух и бывает свеж, насколько он может быть свежим в американских городах, основное, все растущее население которых — автомобили.

Те, что движутся в этот час пешком, не бедней тех, кто движется в машинах сидя. У них тоже есть и машины и заботы, связанные с ними. Старая, времен гужевого транспорта поговорка «встречают по одежке, провожают по уму» здесь начиналась бы словами: «Встречают по машине...»

Каждый год пятнадцатого числа сентября месяца машина, ездил на ней или не ездил, падает в цене. А эталоном и отныне желанием многих становятся те машины, которые продаются после пятнадцатого сентября: машины будущего года. Но с желанием еще можно справиться, а вот положение обязывает: живя в обществе, люди смотрят на себя глазами общества и гораздо реже — собственными глазами.

А если помнить, сколь безгранична способность людей принимать ложные ценности за истинные, жертвовать ради них всем человеческим, многое перестает поражать. Ведь это людьми весьма самонадеянно сказано: «Ослы солому предпочитают золоту». Так ли уж неразумны ослы?

В машинах и пешком, мягко постукивая литыми пластмассовыми или резиновыми каблучками, движется в департаменты чиновный Вашингтон. Это шествие. Шествие Белых воротничков. Быть может, еще вот так в Ватикане идут во дворец служители папы.

Чиновников в Вашингтоне в пятнадцать раз больше, чем промышленных рабочих, так что в определенном смысле они его лицо. Его Белые воротнички, даже если на черной коже.

Среди того, что оплачивает их воедино — низших и высших, — не последнюю роль играет предание о маршальском жезле, который якобы носит в ранце каждый солдат.

Я как-то спросил нашего сопровождающего и переводчика мистера Креймера, какие занятия и профессии дают в Америке наивысшее положение в обществе. На первом месте, разумеется, бизнес. Далее следуют по порядку: крупные чиновники, юристы, врачи.

Так случилось, что в течение нашей поездки сменились три сопровождающих, три эскорта. Первым был мистер Креймер.

Высокого роста, с хорошей выправкой, которая сохранилась у него со времен, кажется, мюнхенской офицерской школы, корректный, даже внутренне застегнутый на

некие незримые пуговицы, мистер Креймер водил и возил нас по Вашингтону. Он переводчик высшего класса, но кроме того — весьма состоятельный человек, владелец недвижимости и, как говорят, миллионер. Мне было интересно, почему он взялся месяц летать с нашей группой по стране, по городам, где уже бывал не раз. Помимо того, что это нелегко физически, помимо чисто организаторской, не всегда приятной стороны дела — устройства гостиниц, переездов и прочее, прочее, — работа эта требует большого напряжения и точности. И вряд ли уж так много значит для него материально.

— Мне это интересно, — сказал он. — Мне нравится моя работа. И это хорошая практика.

И все же это была только часть ответа. Позже многие американцы и поступками своими, и своими биографиями, и рассказами не раз отвечали на этот вопрос.

Здесь деньги значат многое, в определенном смысле — все. Разумеется, различные работы оплачиваются по-разному и дают разное положение в обществе. На вас могут смотреть и снизу вверх и вовсе никак не смотреть. Но, тем не менее, работа есть работа, отношение к ней во всех случаях серьезное. Я не могу сказать — «большинство» (у меня нет сравнительных данных), но многие американцы, с которыми я разговаривал — и люди состоятельные, и среднего состояния, — работать или зарабатывать начинали с тринадцати-четырнадцати лет. Не на хлеб, хлеб у них был, — на машину. И к шестнадцати годам, когда дают права вождения, свою первую машину покупали на заработанные деньги. И этим гордятся. Как гордятся и тем, что многое умеют делать своими руками, хотя их состояние от них этого не требует.

Дочь мистера Креймера летом работала официанткой в ресторане на пляже. Тоже зарабатывала себе на машину: она студентка.

— Это семьсот миль отсюда, — рассказывал он. — Мы с женой приехали к ней на машине. Она не знала. Мы сели за ее столик, тогда только она увидела нас. Мы пообедали у нее. Я дал ей на чай пять долларов. Она закричала подруге через весь ресторан: «Мне дали на чай пять долларов!» — Он показал, как она подняла над собой пятидолларовую бумажку. — Она только не сказала, что это ей дал отец.

И мистер Креймер вдруг улыбнулся неожиданной на его сухом, желтоватом лице улыбкой. Это была застенчивая, отцовская улыбка, она словно осветила лучшую часть его души.

Не будем пока определять, что тут хорошо и что плохо. Я хочу только отметить, что мистер Креймер, состоятельный человек, отец явно любящий, не подарил своей дочери пять долларов на машину, а дал ей их за работу. На чай. Не стоит, конечно, обсервезивать пустячок: это был шуточный подарок. Но форма его очень характерна. Она отражает один из элементов американского воспитания детей.

На зеленой однодолларовой бумажке, самой массовой, которую американцы держат в руках чаще, чем любую другую купюру, — портрет первого президента США, героя войны за независимость, Вашингтона.

Пять долларов — это тоже такая купюра, которая постоянно в обращении. Говорят даже, преступление до пяти долларов — это не американское преступление. В дни, когда мы были в Америке, с выставки новых моделей автомобилей украдено было сразу восемь машин. Это по-американски. А преступления до пяти долларов совершают в основном наркоманы, которым наркотик нужен сейчас, сию минуту. И в эту минуту он им дороже жизни. Особенно чужой.

Словом, пять долларов знают и держат в руках даже дети. На них — портрет Авраама Линкольна. На обратной стороне — памятник Линкольтну. К этому памятнику в Вашингтоне возят всех иностранцев, а американцы считают своим долгом прийти сюда и привести своих детей.

Объехав несколько раз соседние кварталы, мы сравнительно быстро сумели поставить машину — «припарковаться», как говорят русские в Америке.

Удивительна эта способность русского языка так обкатать чужое слово, что оно уже и чужим не кажется. Теперь у английского «parking» образовалось целое семейство близких и дальних родственников. Тут и «припарковаться», и «парковочка», и «запаркуюсь». Шофер нашего посольства, однажды подвозивший нас, сказал, заметя издали освободившееся место:

— Ну-кась я вот тут припаркуюсь бочком, авось да никто не выгонит.

И на слух все слова тут были русские.

Наверное, и у других языков есть эта способность, но я других языков не знаю.

Однако с проблемой паркинга мы начинали уже знакомиться не только в лингвистическом плане, но и на практике тоже. Когда мистер Креймер попросил нас ровно в десять утра выйти из отеля, я отнес это за счет американской точности. Оказалось все проще. Он не мог там останавливаться. Он подхватил нас почти на ходу, остановившись лишь настолько, чтоб мы успели сесть. Если б мы не ждали его на улице, он вынужден был бы проехать мимо, повинуясь табличке «No parking». Поэтому, уславливаясь о встрече, американец прежде всего берет в расчет, где он поставит машину.

Удачно справившись с этой задачей, мы пешком пошли к памятнику Линкольну. И от соседних машин тоже шли туда люди, отстегивая на ходу фотоаппараты.

Была жара градусов двадцать пять в тени, и женщины шли в шортах, с голыми ногами и в черных очках. Или в легких расклешенных брюках самых смелых расцветок. Девушки — в обтягивающих джинсах, застиранных и затертых добела, что почему-то особенно модно. И в джинсы эти вправлена либо мужская рубашка, либо кофточка, короткая настолько, что между ней и поясом — голая спина.

Негритянки шли, окруженные целым детским садом. На ребятишках — и в горошек, и в клеточку, и в полоску — все самое яркое. Полные мамы — в лиловых, зеленых, желтых штанах, тоже расклешенных. А где-нибудь сзади — тонконогий отец в клетчатой шляпе, насунутой на глаза, моложавый для такой многочисленной семьи.

Вид гуляющей американской толпы — самый пестрый и яркий. Мужчины в спортивных туфлях, в спортивных шапках с длинными козырьками, словно только что с теннисного корта. Мужчины в твердых фетровых техасских шляпах. Парни, длинноволосые, как девушки. Девушки с мужскими манерами и сигаретами в пальцах. Дети с бумажными стаканчиками в руках, из которых они на ходу через цветную полиэтиленовую соломинку тянут изо льда кока-колу и оранджус. Детей в гуляющей толпе всегда много, они держатся сами по себе, и вряд ли родители точно могут сказать, где в этот момент их дети.

И моложе всех одеваются пожилые американки.

Все это множество людей, приехавших в разноцветных машинах, подымалось по каменным ступеням к памятнику Линкольну. И оттуда навстречу им спускались люди и бежали дети, затеявая на лестнице игру. И тут же на ступенях, на солнце сидела молодежь, вытянув ноги в башмаках, не обращая никакого внимания на идущих мимо.

За белой колоннадой, на постаменте, в белом мраморном кресле, положила руки на подлокотники, — Авраам Линкольн. Отсюда, где всегда тень, видна широкая под солнцем лестница, по которой идет множество людей снизу вверх, подняв лица. А еще дальше — Пруд оражения и за ним белый заостренный четырехгранный обелиск, прозванный карандашом: памятник Вашингтону.

В Америке говорят: «Рузвельт доказал, что президентом можно быть сколько угодно. Трумэн доказал, что президентом может быть кто угодно. Эйзенхауэр доказал, что президента может вообще не быть».

Шестнадцатый президент Америки Авраам Линкольн был первым из президентов, кто пал от руки убийцы.

Если посмотреть за реку Потомак, за мост — в ту сторону, куда Линкольн обращен спиной, — там на зеленом холме Арлингтонского кладбища горит Вечный огонь. Он горит на могиле Джона Фицджеральда Кеннеди, теперь уже четвертого президента США, застреленного убийцей.

Вступая на свой пост, Кеннеди сказал, что отныне факел перешел в руки нового поколения. Факел зажжен на его могиле.

Кеннеди говорил за год до своей гибели: «В вихре ежедневных конфликтов и кризисов, драматических стечений обстоятельств, в сутолоке политической борьбы поэт, художник, музыкант продолжают незаметный труд столетий, создавая мосты общих переживаний между народами, напоминая человеку об универсальном характере его чувств, желаний и горестей, напоминая ему о том, что силы единения глубже сил разъединения. Память об Эсхиле и Платоне сохранилась поныне, а слава Афинского государства канула в вечность. Данте пережил гордыню Флоренции XIII века, Гёте без-

мятежно возвышается над всей германской политикой. И я уверен, что когда оседет пыль веков над нашими городами, о нас тоже будут вспоминать не за наши победы и поражения на поле битвы или в политике, а за то, что мы сделали для духовного развития человечества...»

Когда говорит политический деятель, значение и смысл слов сказанных становятся понятными в полной мере, если известна цель, которая преследовалась. Отделенные от времени, от всего того, чем они были вызваны, слова могут наполняться самостоятельным смыслом, а могут терять свое значение.

Трагическая смерть возвысила Кеннеди в глазах человечества. Мертвый, он обрел то значение, какого, быть может, не имел бы при жизни. Но он был, несомненно, талантливый политиком, одним из самых талантливых защитников своего класса. И возможно, стал бы крупным реформатором.

Газовые и нефтяные короли Далласа считали его при жизни «розовым», противником свободного предпринимательства. И только после гибели его стала известна блестящая финансовая операция, разработанная им; в момент потрясения она спасла Соединенные Штаты Америки от паники и падения курса доллара.

Еще в 1961 году, за два с половиной года до своей гибели, Кеннеди достиг соглашения с центральными банками других стран, которое названо было «обменным». По этому соглашению были накоплены огромные запасы свободно конвертируемой валюты: фунтов стерлингов, иен, марок ФРГ, лир, франков и т. д. Они могли быть выброшены на рынок в случае чрезвычайных обстоятельств. Появление такой огромной массы иностранной валюты в обмен на доллары заранее обрекало на неудачу любые попытки начать широкую распродажу долларов.

Впервые возникла необходимость прибегнуть к этому плану в дни, когда был убит его автор.

Бессмысленно гадать, что смог бы сделать Кеннеди для духовного развития Америки и человечества. Но в октябре 1969 года о нем вспомнили совсем по другому поводу.

Когда в середине октября более миллиона американцев вышли требовать прекращения войны во Вьетнаме, по телевидению в этот день показывали народу покойного президента Кеннеди. Он говорил. Но не эти слова о духовном развитии человечества и не речь свою о мире, произнесенную на Генеральной Ассамблее. Он обращался к народу с экранов телевизоров, обосновывая необходимость продолжения войны во Вьетнаме. Покойный, он говорил то, что нужно было живым, стоящим у власти.

Что знает народ о своих великих людях, отцах нации, которые смотрят на него с пьедесталов? У подножия памятника Линкольну каждый день толпятся люди, шелкают затворы фотоаппаратов, взрывают снизу показывают на него детям.

Всеченная на камне надпись гласит: «В этом храме, как и в сердцах народа, для которого он спас союз, память Авраама Линкольна воплощена навеки».

Есть горькая шутка о студенте, которого спросили, что написал Шекспир. «О-о, много цитат!..»

На пути к цели великий человек говорит те необходимые слова, которые одни способны вдохновить народ, дать ему направление, силы и веру. Но когда цель достигнута, нужны иные слова, чтобы двигаться вперед, прежние потеряли свое значение, они уже не вдохновляют, а успокаивают. И был бы жив великий человек, он бы, очевидно, сказал их. Но он теперь говорит то, что нужно живущим, тем, кто правит сегодняшней Америкой. Усаженный на пьедестал, он может только взирать. Не от него зависит, кто, и как, и в какой обстановке заставит его говорить от собственного имени. И школьники с детства заучивают имена и — «много цитат».

Недавно было сообщено в газетах, что на одной американской военной базе в Западной Германии двумстам пятидесяти двум американским солдатам был прочитан такой текст: «Мы считаем само собой разумеющимся, что все люди созданы равными, что создатель наделил их неотъемлемыми правами, и среди них — правом на жизнь, свободу и стремление к счастью».

Тех, кто согласен с этим, попросили поставить свои подписи. Семьдесят три процента солдат отказались подписаться под этими словами. Их не предупредили, что текст этот взят из американской Декларации Независимости, а они не подозревали этого, хо-

тя имя создателя Декларации Независимости первого президента США Джефферсона так же, как имя Линкольна, каждому из них известно с детства.

Возят иностранцев и на Арлингтонское кладбище. И здесь непременно показывают дом генерала Ли. Он стоит на холме, уцелевший и сохраняемый

В те времена, когда Ли бесславно командовал южанами, одним из солдат его армии был дед Дина Раска, недавнего государственного секретаря в правительстве Джонсона. Разумеется, дед, не бывший тогда еще и отцом, не мог знать, что внук его дорастет до столь высоких степеней, станет государственным секретарем, то есть министром иностранных дел. Еще менее он, сражавшийся с оружием в руках за увековечение рабства, мог думать, что дочь этого самого внука, его правнучка, возьмет да и выйдет замуж за негра.

Фотографии счастливо улыбающихся молодоженов и улыбающегося тестя-дипломата печатал, помнится, журнал «Америка». Но улыбки эти рассчитаны скорее на внешнее погрешение. Самым таким рекламным сообщением, в сущности, подчеркивается исключительность происходящего.

Когда подсчитывается, сколько их и где — в джазе ли, в правительстве, в зятях, — когда об этом постоянно помнят, сознательно тасуются карты, чтоб получился необходимый расклад, говорить о каком-либо равноправии, думается, рано. При подлинном равноправии никому не придет в голову сообщать на весь мир, что дочь министра вышла замуж за негра, как не сообщается, что вышла замуж за белого. Прадед-южанин может спать спокойно, правнучка не настолько сотрясла устои, чтобы ему пришло время перевернуться в своей могиле.

Рассказывают, у Дина Раска в бытность его государственным секретарем была шутка про запас, специально для иностранных дипломатов. Подводя гостя к окну в Белом доме, он говорил, указывая оттуда на дом своего деда генерала Ли:

— Тогда нам не удалось взять Вашингтон силой. Но мы взяли его хитростью, и вот я — в Белом доме...

Шутка оказалась долговечней государственного секретаря.

А история на Арлингтонском кладбище выглядит тихой и умиротворенной. На зеленых травянистых холмах под белыми одинаковыми каменными столбиками спят ветераны. «Жизнь вас поссорила, я помирю вас...» Тихо звонят колокола, привезенные сюда в дар от правительства Голландии. И ныне здравствующие ветераны, те, что сидят сейчас в своих офисах, работают на заводах, мчатся в машинах по тысячам автострад, знают про запас, что и они со временем будут лежать здесь. И мимо свежей могилы каждого из них, отдавая последние почести, проследует караульный взвод.

Будут ли это те солдаты, те «джи ай», что несут службу сейчас, или те, что еще учатся в школе, или те, что сегодня еще не родились, — неизвестно заранее, какой кому отмерен срок. Белые столбики на зеленом поле — как белые фуражки моряков на параде: и прямо и по диагонали ряды их незыблемо строги. А у могилы Неизвестного солдата шагает с ружьем на плече солдат живой, тоже не известный никому из тех, кто приходит сюда смотреть, щелкать затворами аппаратов. Молодой, отборно-рослый, в синей с золотыми галунами форме и темных от солнца очках, он отмеривает положенное количество шагов, поворачивается, сделав «к ноге», щелкает каблуками. К каблукам его солдатских ботинок прибиты металлические пластинки, и щелкает он ими громко, к полному восторгу глазающих на него мальчишек.

Постояв на углу каменной площадки с прикладом у носка, солдат вскидывает ружье на плечо и парадным шагом один на виду у всех следует мимо могилы к другому углу каменной площадки. И снова щелкает каблуками и делает «к ноге».

«Здесь покоится в почете американский солдат, известный только Богу» — гласит надпись.

Уже полвека, со времен первой мировой войны, покоится здесь привезенный из Европы прах. И четверть века покоится рядом с ним прах солдата второй мировой войны. А третья могила — солдата корейской войны.

И все эти десятилетия так же глазают мальчишки и взрослые туристы, так же через равные промежутки времени щелкают металлические пластины на каблуках и так же молод стоящий в карауле солдат. Словно бы и в самом деле время остановилось.

Но время движется, и роют все новые и новые могилы на Арлингтонском кладбище, и везут из-за океана прах американских солдат, погибших теперь уже во Вьетнаме.

Для живых многие перемены в жизни свершаются постепенно и за видимыми обоснованиями, за житейскими заботами не кажутся столь разительными. Но если бы вдруг встали из могил ветераны, похороненные вместе на одном Арлингтонском кладбище, те, кто погиб за освобождение поработанных в своей стране, и те, кто под тем же лозунгом свободы погиб, поработав чужой народ в чужой стране...

Какой огромный исторический путь. Какой короткий исторический срок. А колокола, привезенные из Голландии, умиротворенно и мелодично вызывают «Аве Мария». Над зелеными холмами Арлингтонского кладбища, над ровными рядами белых каменных столбиков.

У выхода с Арлингтонского кладбища установлен памятник морским пехотинцам. История его интересна, и мистер Креймер, сам участник боев на Тихом — «Pacific» — океане, повел нас смотреть его.

На постаменте, изображающем скалу, несколько солдат водружают флаг. Это скульптурный портрет подлинных людей, некоторые из них живы сейчас. А было вот что

В феврале 1945 года американская морская пехота высадилась на японском острове Иводзима. Остров этот небольшой, вулканического происхождения, но судьба поместила его в тысяче двухстах километрах от Токио, как раз на полпути американских бомбардировщиков, летавших с Сайпана бомбить Японию. Нужна была база, куда могли бы сесть поврежденные самолеты, откуда могли бы подыматься истребители сопровождения, радиус действия которых был мал. Словом, военная целесообразность, цель операции были очевидны. В подобной ситуации средства играют подчиненную роль, их не жалеют. А средством были американские морские пехотинцы. Вдохновенные, как всегда в таких случаях, идеей свободы и защиты родины, подчиняющиеся приказу и своим командирам, морские пехотинцы, молодые ребята, высадились в нескольких тысячах миль от Америки на голый японский остров. Как писали тогда и после, «хорошо укрепившийся враг оказал упорное сопротивление». А враг — это были тоже молодые ребята самого крепкого возраста, японские солдаты и морские пехотинцы, тоже вдохновенные идеей защиты родины и тоже подчиняющиеся приказам и своим командирам.

Из десанта в сто десять тысяч человек американцы потеряли около семи тысяч убитыми и двадцать одну тысячу ранеными, но цель была достигнута. С цепью атакующих шел фотограф. Он-то и запечатлел момент, когда несколько солдат водружали флаг на высоте, господствовавшей над островом, — на горе Сурибати, где были японские артиллерийские позиции. В дальнейшем по этой фотографии был создан памятник.

«Я отдал бы многое, — писал двести с лишним лет назад Лихтенберг, — чтобы точно узнать, для кого, собственно, были свершены подвиги, о которых официально говорят, что они-де свершены «на благо отечества?»»

Война на островах Тихого океана была частью второй мировой войны, и она, конечно, соотносилась с той великой войной, что вел наш народ четыре года. Но что она разрешала сама по себе и что меняла в мире?

Помимо памятников доблести, она оставила и памятники величайшего позора: Хиросиму и Нагасаки. Американские военные специалисты и сегодня еще если не оправдывают напрямую атомную бомбардировку, так, пытаясь подчеркнуть ее неизбежность, говорят, что вторжение в Японию обошлось бы США более чем в миллион жизней.

Не будем рассуждать о том, сколь необходимой была бы такая высадка. Ведь и атомные бомбы сбрасывали в тот момент, когда, в сущности, исход войны был решен.

Но не все среди людей решается при помощи арифметики. И не всегда миллион больше одного.

Когда гибнут солдаты, как бы ни была трагична их гибель, это все же солдаты. Верные присяге, обученные, вооруженные, способные сражаться и защищать себя, они погибли в бою. Но гибель детей в пламени атомного взрыва...

Среди вечных вопросов, стоящих перед человечеством, есть и такие: бывает ли победой та победа, которую достигли ценой отказа от собственных принципов? И можно ли вообще жестокими средствами достичь благих целей?

Взрыв атомной бомбы над Японией был одним из ответов на этот вопрос, одним из самых жестоких ответов. Но есть и иной ответ. Вспомним Достоевского, вспомним, как Иван Карамазов говорит брату Алеше о вечной гармонии, купленной ценой страданий: «Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка... представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно крохотное созданище... на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором?..»

Когда вопрос поставлен так, «один» значит больше, чем «миллион». Потому что в решении его судьбы заложено решение судеб многих и многих миллионов.

Президент Трумэн, доказавший, что президентом в Америке может быть кто угодно, решал с простотой государственного деятеля, для которого великие вопросы — ничто по сравнению с практической целью. И в пламени атомного взрыва сгорели сотни тысяч детей. Стучит ли поныне их пепел в людские сердца?

За день до отъезда из Вашингтона перед вечером заехал вдруг знакомый журналист Георгий Иванович Исаченко и предложил покататься: мы гости, он в какой-то степени на правах хозяина, не первый год живет здесь. Вообще-то мы с ним не были знакомы, но он был приятель моих близких московских приятелей, а за океаном это уже почти родственник.

Поехали на Грэйт Фолс. Большие водопады, которые, к слову сказать, весьма умеренной величины. Но и тут есть нечто вроде музея с некоторым количеством экспонатов и где-то выкопанной пирогой. Пальцев на одной руке вполне хватает, чтобы перечислить века американской истории; сколько ни копай в землю, корней ее там не обнаружишь. А те корни, что попадают, не успев истлеть, питали некогда совсем иное дерево, начисто срубленное пришельцами.

Но к деньгам всегда требовалась знатность рода. И со всего света американцы свозят всевозможный антиквариат, скупают древние камни Европы, иногда целыми храмами, везут, везут, выставляют у себя, даже если эти древности не такие древние, словно бы тем самым пытаясь продлить свою историю в прошлое. Все это довольно странно при общем практическом и очень трезвом складе мышления. Казалось бы, зачем молодой нации, не обремененной традициями (а традиции не только украшают жизнь, способствуют незыблемости духовных основ, но они имеют свойство становиться тормозами жизни, их легче создать, чем преодолевать потом), — так вот, зачем, казалось бы, молодой нации заводить то, что не было присуще ей на первых порах? Но у богатства своя логика, а признаки старения во все века одинаковы: чем неприглядней сущность, тем многостепенней, пышней, сложнее внешние охранительные признаки отличий.

Но вот где американцы остаются самими собой, так это в способах изымания денег. Нет, деньги берутся не за вход, не за право посещения или обозрения — все это устарелые, малоходовые способы, хотя и они пока что существуют в умеренном количестве, без них пока что не обойтись. Но в основном все делается наиболее приятным для вас способом, и потому-то простому смертному трудно устоять.

Едва мы только поставили машину, «припарковались», едва мы ступили ногой на твердый асфальт, как сразу увидели, где можно выпить кока-колу со льдом, грэйп, или оран, или какой-либо другой джус со льдом, где можно выпить горячий кофе, поесть. Так же, как вам не надо искать рекламу — она сама повсюду лезет в глаза, — так же вам не надо искать, где можно напиться, купить сигарет, поесть. Не вы ищете, как истратить деньги, — вам повсеместно предлагают, как наилучшим способом истратить их.

Вы можете сесть за столик, а можете бросить монету в автомат. И если вам велика бутылка за двадцать пять центов или вам это дорого, бросьте десять и пять центов — и выскочит бутылка меньших размеров.

Вот в этот момент, когда вы бросаете монету, вы совершаете то главное, чем начинается и заканчивается непреодолимый цикл деньги—товар—деньги. В этот момент вы платите зарплату тысячам и тысячам рабочих, инженеров, профессоров. В этот мо-

мент вы финансируете будущие предприятия, которые еще только в проектах или проекты которых даже не созданы. Но вам не надо об этом знать, вам не надо об этом думать, вам надо только захотеть напиться. Или закурить. Ведь обращаются не к вашему гражданскому долгу или сознательности — качества, присущие не абсолютному большинству людей,— обращаются к вашим желаниям, к вашим простейшим потребностям, которые в ту же минуту готовы удовлетворить. Вы не «должны», а вы «можете, если хотите». Ну и, разумеется, если у вас, кроме желания, есть чем заплатить.

А уж для того, чтобы вы захотели, работает целая промышленность, лучшие специалисты в разных областях человеческого знания. И это все люди, знающие свое дело. И между прочим, они знают, что тут нет мелочей. Так, например, установлено, что даже окраска стен влияет на то, захотите вы или не захотите купить мясо в этом магазине. Потому что в помещении, окрашенном в холодные тона — голубой, зеленый, синий,— парное мясо не выглядит столь свежим. И оно выглядит гораздо аппетитней, когда на нем отсвет стен, окрашенных в теплые тона. Выбирая, вы предпочтете его. И этим достигнуто главное: создалась возможность продать.

Но все заключения самых высококвалифицированных специалистов — это только гипотезы. Реальностью они становятся в тот момент, когда вы платите. Это момент наивысшего торжества, момент свершения и зачатия. И не случайно вас благодарят за покупку.

Далеко не каждому суждено стать академиком. Не каждому дано быть кинозвездой, оперным певцом, верхолазом, хирургом или бизнесменом. Но покупателем бывает каждый. От мала до велика. Вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания. Даже религиозные запреты оказались бы здесь бессильны. Впрочем, покупать и продавать никакая религия не запрещала, она сама всегда выступает в роли продавца, только товар ее по нынешним временам далеко не первой необходимости. И хоть «покупатель» — состояние временное и даже не профессия, это все же самая многочисленная категория человечества. К ней-то, к ее желаниям и обращено все.

Не надо думать, что в расчет берутся в первую очередь состоятельные люди. Миллиарды компании «Кока-кола» принесли не миллиардеры, а те, кто платит «никель». Они платят мелочь, но их большинство.

Обладая наименьшими политическими правами и наименьшим состоянием, каждый из них в эту минуту, когда тратит свой доллар или несколько центов, когда жует полученный из автомата сэндвич или закуривает сигарету, в эту минуту он финансирует всех и все. Он объявляет риск оправданным, эксперимент — завершаемым, труд — стоящим затрат. И если он этого не делает, если и он, и другой, и третий пройдут мимо не купив, пожелав опустить монеты в автоматы иной фирмы, произойдет неминуемый крах.

А они пройдут, непременно пройдут мимо, если есть иные, более привлекательные предложения. Так уж устроен человек, что он ищет, где лучше, а не хуже. За те же деньги он хочет получить лучшее или то же самое, но дешевле. И нет иного способа привлечь его по доброй воле, как создать нечто более привлекательное. Дешевле или лучше.

Потому-то сотни тысяч специалистов самой высокой квалификации заняты тем, как найти узкую, еще не заполненную кем-либо щель, втиснуться в нее со своим предложением, раздвинуть других локтями. Вполне понятно, что благотворительности, так называемой заботе о человеке, тут нет места. Заботятся о себе и только о себе, любимом. Но путь к этому — создать потребителю нечто лучшее, нечто более привлекательное. Иначе он пройдет мимо.

К слову говоря, такое быстрое распространение всеобщего образования в последние десятилетия объясняется ведь тоже не столько усилиями гуманистов и просветителей, а тем, что это стало выгодно. Вначале выгодно, потом необходимо. На теперешнем сложном производстве, требующем квалификации, нет места человеку без образования. Да и прибыли квалифицированный труд приносит гораздо больше. И вот в Японии обязательным стало всеобщее девятилетнее образование, а в Америке строительный рабочий заканчивает одиннадцать классов. Иначе труд его не будет соответствовать необходимому стандарту, за ним придется переделывать, доделывать, а это невыгодно. Или — что еще вероятней — потребитель предпочтет иной труд, остановится на другом предложении.

В тот вечер, возвращаясь с Больших водопадов, мы решили посмотреть одно из относительно новых предприятий, так сказать, общественного питания. А заодно и поужинать там. Не так давно эти закусочные «Mc Donalds» пробивали себе дорогу, сейчас они есть по всей стране.

Мы мчались к Вашингтону в вечернем потоке красных хвостовых огней, под искусственными неоновыми солнцами. Выпадали из потока и вновь вливались в него уже на других шоссе. И вдруг откатились в сторону, на «автомобильное озеро», как называют здесь.

На блестящем под фонарями асфальте стояло множество машин, а посередине светило изнутри стеклянное здание, прозрачное насквозь, с желтым, видимым даже сквозь туман неоновым «М» над входом.

Поставив машину на освободившееся место, где еще не развеялось бензиновое тепло, мы вылезли. Подъезжали и отъезжали машины. В них несли из стеклянного здания белые бумажные пакеты все с той же фирменной желтой «М». В иных машинах ели.

Предводительствуемые Исаченко, мы вошли в свет, на красный синтетический ковер, которым под плинтус затянута пол.

— Займите место, а я сейчас все принесу,— скомандовал Георгий Иванович.

Но было любопытно посмотреть, как тут что происходит. Мы стали в одну из очередей, разделенных турникетами, и начали подвигаться к стойке из листовой нержавеющей стали. За ней молодые ребята и девушки в белых колпаках быстро выдавали всем одно и то же. Ни разнообразия, ни выбора тут не было — за одну и ту же цену всем одно и то же. И вот что это было: хамбургер, то есть круглая, с тмином, свежая булочка, разрезанная пополам, с круглой плоской горячей котлетой в ней. К хамбургеру полагается кулек с жареной картошкой, два запаянных пакетика с кетчупом и горчицей и стакан сока со льдом, накрытый пластмассовой крышкой, в которой крест-накрест сделан надрез для соломинки. Все вместе это выдают вам в бумажном с двумя ручками пакете.

Вас не спрашивают, берете ли вы в машину или будете здесь есть, и потому, может быть, не надо класть вам в пакет, накрывать стакан пластмассовой крышкой. Не спрашивают, нужен ли вам кетчуп или горчица, — вы вправе их выбросить. Ценится время, только оно дорого; все остальное по сравнению с ним не стоит ничего. И ребята в белых колпаках работают в одном ритме, они не торопятся, но ни минуты не отдыхают.

Пока наша очередь подвигалась, я смотрел, как работает парень, накладывающий картошку в пакетики. Он делает только это. Весь день. Накладывает картошку в пакетики. В левой руке, как колоду карт, он держит стопку пакетов. В правой — совок, заканчивающийся неким подобием хвоста, на который первым движением он насаживает пакет. Вторым движением подгребают картошку с противня. И пока это кругообразное снизу движение заканчивается, картошка сыпается из совка в надежный на него пакетик. А третьим движением он снимает пакетик с совка. Три этих движения. Ничего кроме.

Ритм нарушается, когда он берет металлическую сетку с картошкой — сюда она привозится уже в виде полуфабриката — и опускает сетку в кипящее масло. А через определенное время он вываливает ее на поднос и загружает новую.

Мы взяли пакеты, взяли бумажные салфетки — вот это здесь каждый делает самостоятельно.

— Несите, несите,— спроваживал нас Георгий Иванович, пресекая попытки заплакать. — Все же я тут в некотором роде хозяин.

Но любопытство родилось раньше приличий, и я посмотрел, сколько это стоит. На семь человек это стоило пять долларов шестьдесят центов.

Сев за столик, мы разорвали по длине пакеты, расстелили и ели на внутренней стороне их, как на скатерти: так тут делали все. Ни вилок, ни ножей не полагалось. Картошку из пакетиков берут пальцами, обмакивают в кетчуп: она и приготовлена с таким расчетом, в виде длинной соломки. С нами был мальчик лет одиннадцати, он о таком способе еды мечтал всю жизнь.

Поев, мы свернули пакеты, отнесли к урне с надписью на крышке: «Push» — толкай. Стол вытирать было не нужно.

Увековеченная И. Ильфом и Е. Петровым надпись в загсе «Сделал дело — уходи!»

здесь никому не требовалась. Все само собой происходило в заданном ритме: быстро двигалась очередь, быстро выдавали пакеты, быстро ели, быстро уходили.

Как театр, по словам Станиславского, начинается с гардероба, так «Макдональдс» начинается с «автомобильного озера». Ибо в мчащейся Америке, прежде чем поест, вы должны подумать, где поставить машину. Это первое и непереносимое условие переходного периода между «не скоро ели предки наши» и еще не открытого грядущего способа хватать пищу на лету.

Несколько дней спустя, уже в городе Атланте, я рассказал в состоятельной семье о нашем посещении «Макдональда».

— О-о, это отвратительно! — с гримасой легкого ужаса сказала хозяйка.

А хозяин по этому случаю тут же рассказал американский анекдот: однажды в компании шести мужьям было предложено женами написать, что бы они хотели есть раз в неделю. Один муж написал: «Хамбургер». «Зачем? — удивилась жена. — Ты ешь его всю неделю». «Вот я и хочу есть раз в неделю...»

АТЛАНТА

11 октября вечером мы вылетали в Атланту, на юго-запад. Город этот, столица штата Джорджия, находится уже в другом поясе: когда в Вашингтоне, скажем, шесть часов вечера, в Атланте еще пять.

Сравнительно недавно, во времена конных и пеших передвижений, расстояния измерялись линейными мерами: верстами, километрами, милями. Но теперь, когда люди от мала до велика летают по воздуху, единицей измерения все больше и больше становится само время. Оно еще только входит в силу, это новое божество и кнут, но уже подчиняет себе и мысли людей и жизнь. Оно становится видимостью смысла и цели и гонит, гонит людей во все убыстряющейся гонке. А на бегу важнее всего не отстать, тут некогда спрашивать: «Зачем?» И уже там, где ничего не стоит время, ничего не стоит и человеческая жизнь.

Расстояние от Вашингтона до Атланты, измеряемое временем, равнялось примерно двум с половиной часам полета. По дороге на аэродром я уже прикидывал мысленно, когда будем на месте, что еще успеем сделать... И вдруг выяснилось на аэродроме: полет задерживается. Поначалу это было даже интересно: ведь со времен наших первых пятилеток прилагательным к слову «точность» всегда было «американская». К тому же у себя дома мы привыкли, что самолеты и поезда отправляются минута в минуту, если только не разразилось стихийное бедствие.

И вот мы сидели на новом сверхсовременном аэродроме и ждали. Наш третий по счету сопровождающий, мистер Кримгольд, чувствуя себя сейчас представителем фирмы (а фирмой тут были все Юнайтед Стейтс), объяснял, что это, в общем-то, довольно обычный случай. На государственных линиях опозданий не бывает, а эта авиакомпания — частная. Поскольку пассажиров мало, компании выгодней отложить вылет и в виде компенсации бесплатно накормить пассажиров обедом, цена которого пять долларов.

Вот так в этот вечер мы оказались в ресторане, в полумраке, где на белых скатертях горели свечи в разноцветном стекле. За одним столом люди сидели, словно освещенные огнем камина, за другим и лица и скатерть были зелеными.

Стена сплошного стекла отделяла нас от летного поля, где уходили в темноту цепочки сигнальных огней и взлетали самолеты, и мы смотрели туда как из зеленой подсвеченной глубины аквариума. Неслышно возникали и растворялись в полумраке официанты в белых куртках; цвет их от стола к столу менялся.

Мы долго выясняли, что за рыбу мы едим.

— Карп?

— О, но! Но!..

Перебрали десятка два названий и английских и русских, проделав солидный лингвистический труд, и выяснили наконец: едим карпа. Просто мистер Кримгольд забыл, «уот из карп». И теперь радовался:

— Карп! Я конечно знаю: «карп»!..

За ближним к нам столом сидела семья американцев. Они уже кончали есть, когда мы селились. Рослый, в шерстяной спортивной белой рубашке отец, молодящаяся

мать, рослый сын и рослая спортивная невестка. От свечи в желтом стеклянном колпаке, стоявшей посредине, лица их казались сильно загорелыми. Уже поев, они разговаривали за кофе, курили. Невестка из высокого бокала потягивала через полиэтиленовую соломинку чай со льдом и лимоном. Все четверо не спешили. И вот это было главным удовольствием и содержанием вечера. Они, конечно, знали, что стоит время, но они позволили себе эту трату: не спешить. Им это было по состоянию, и это был предметный урок одного поколения другому.

Мы вылетели в Атланту только через два часа. За это время негр-носильщик десять раз от машин к транспортеру подкатывал на тележке чемоданы. Еще в Нью-Йорке в самый первый день, когда мы ждали самолета на Вашингтон, я спросил сопровождавшего нас тогда мистера Креймера, сколько вот такой носильщик зарабатывает. Мистер Креймер сказал:

— У него небольшая оплата. Но он зарабатывает чаевыми.

Мы сидели напротив транспортера, где принимали багаж, разговаривали, и я начал считать между делом. Молодой негр в фуражке, в обтягивающей синей форме, сложенный, как полисмен, катил тележку, похвастывая, покачивая плечами, веселыми глазами оглядывая женщин. И деньги небрежно совал в карман. Другой носильщик был пожилой негр. С напряженным лицом, шаркая, он бежал за тележкой. За час молодой пять раз подвез вещи, старый успел шесть раз.

Время, которое пассажиры провели в ожидании и за обедом, компания расценила по два с половиной доллара в час. Это десять средних зажигалок, если покупать в магазине оптовых цен. Это билет в кино. Это французская губная помада фирмы «Кристиан Диор». Или накладные ресницы на один глаз. Примерно столько же, три доллара, берет за час бэби-ситтер, человек, которого нанимают посидеть с ребенком. А три часа ожидания пассажиров — семь с половиной долларов — это бутылка нашей «столичной» водки.

Есть ритуал, всякий раз заново совершаемый в самолетах американских авиакомпаний. Едва самолет отрывается от земли, как стюардессы надевают домашние переднички, становясь на время полета вашими милыми хозяйками. Они обносят всех карточками, в которых на выбор предлагаются напитки, и пока вы отмечаете, что будете пить, одна из стюардесс в микрофон рассказывает, какие меры нужно принимать в случае аварии, как пользоваться кислородной маской; другая под ее голос все это демонстрирует.

Мне нравилось смотреть это маленькое представление. Нравилось, как они храбро жестами мимов показывают под нашептывающий в микрофон голос. Тем более что слов я все равно не понимал и не надеялся в случае аварии пользоваться чем-либо из спасательных предметов. Если уж так повезет, лучше не суетиться в последние свои минуты.

Милые девушки эти в своей милой игре старались предстать во всеоружии того опыта, который приобретает только один раз. Но кто приобрел его, тот, как правило, уже никому не дает практических советов.

А после, вернувшись к заботам хозяек, они обносили всех пластмассовыми чашечками со льдом и пятидесятиграммовыми сувенирными бутылочками с джинджер эль, джином, виски, напоминая:

— Уан доллар... Уан доллар...

Итак, было 11 октября 1969 года, и мы летели из Вашингтона в Атланту, был поздний вечер, и казалось, глядя в черные иллюминаторы, что внизу — небо, яркие созвездия, а над нами — черная, без единого огонька земля.

Я всегда искренне завидовал людям, умеющим жить минутой. Это высокое умение, оно дарует многие наслаждения. Если вы можете жить только тем, что происходит сейчас, в это мгновение, ему отдаваться целиком, как будто всего остального не существует, вы долго проживете на этом свете. И в вашем стакане вина никогда не будет ни капли посторонней горечи.

Впрочем, умение ли это? Быть может, с этим надо родиться? Характер человека, как считали древние греки, это его судьба.

Мне, например, всегда в эту минуту мешает то, что не относится к ней. Так было и теперь.

И одиннадцатое число и октябрь месяц мне вообще памятни. Памятни еще и потому, что тоже 11 октября, но раньше, раньше, когда этих девушек на свете не было, шла война на нашей земле. И вот в числе многих раненых в этот день сорок третьего года был ранен и я. Под Запорожьем, в районе станции Янцево и двух деревень — Ивановки и Дружелюбовки.

Когда сидишь среди людей, чей язык ты не знаешь, хорошо под их разговор, под гудение моторов думать о своем. При желтом свете плафонов я так ясно видел тот день с его осенним низким солнцем из-под туч, и поле в разрывах, и перебегающих наперегонки с пулями людей. И видел того паренька-пехотинца. Такой он был ладный, разгоряченный, весело ощеренный. Он метнул гранату, и мы спрыгнули вслед за ней в траншею, в пыль и дым, и бежали, перепрыгивая через мертвых.

А потом он сидел на земле в одном сапоге и вместе с кровью выдавливал из большого пальца осколок, а за поворотом траншеи, головой к нам, лежал немец, которого он упредил гранатой. Случайный осколок этой гранаты вонзился в палец через сапог. Я попробовал его вытащить, но осколок сидел прочно, ногти срывались. Я вытирал пальцы о штаны и снова на ощупь ловил его; парень терпел, держа обеими руками босую ногу. А наверху все грохотало. Наклонясь, я зубами вырвал осколок, и освобожденная кровь потекла сильней, словно пробку выдернули.

Стюардесса в передничке поставила передо мной на откидной столик прозрачную целлофановую коробку с сэндвичем—слой белого хлеба, слой ветчины, слой хлеба, слой оранжевого сыра, и еще хлеб, и куриное мясо, украшенное зеленью. И все вокруг ели из таких же прозрачных пластмассовых коробочек и вытирали губы и пальцы бумажными салфетками. Еда в самолете на всех авиалиниях определенной протяженности была тем, что само собой разумелось. Она не требовала ни новых усилий, ни дополнительных затрат: она входила в стоимость билета.

А в то утро, вернее полдень уже, когда пехоте принесли обед, пошли в контратаку немецкие танки. Как раз только что приполз солдат с термосом на спине и, согнувшись в траншее, суетливо снимал с плеч брезентовые ляжки, когда танки начали стрелять. Они надвигались, низкие, желтые, как глина, и стреляли из длинноствольных пушек. И оглушительно-звонко — так, что на долгие месяцы застрял у меня в голове этот звон, а теперь я одним ухом не слышу даже звонка будильника — лопнул снаряд.

Когда я оглянулась, солдат лежал на боку, и нога его в окованном ботинке вытягивалась, скребла землю в последней дрожи. А из опрокинувшегося термоса через крышку тек на дно траншеи пшениный кулеш. Я не ел с прошлого дня, а кулеш полз на землю, горячий, густой. В нем были крупные куски картошки и белые куски сала, и ложка была у меня за голенищем. Я посмотрел по сторонам. Но в траншее были еще люди. И я постеснялся. И танки шли.

Стюардессы уже собирали коробочки. Внизу над каким-то американским городом был туман. И красный огонь реклам сквозь туман то разгорался, то мерк, будто пожар, задушенный дымом.

Красное зарево пожара стояло тогда над горячей станцией Янцево. И примерно в такой же поздний час везли на полutorке по степи моего телефониста Абашина и меня. Абашина вкинули в кузов, а меня посадили через борт, потому что влезть сам я уже не мог: во мне было пять осколков, а шестой прошел навывлет. На другой день два осколочка вынула хирург в медсанбате, а три так и остались во мне, заросли и уже давно не мешают. Наверное, она и эти вынула бы, если б заметила сразу, но она спешила: раненых везли и везли.

Я сидел тогда в кузове спиной к кабине и смотрел на отдалявшуюся в ночь горящую станцию и ров огненных пуль над ней: там все шел бой. Машину встряхивало, Абашин перекатывался в кузове, наваливаясь мне на ноги.

Потом, когда меня снимали с грузовика, я увидел другого своего телефониста. Он стоял внизу и смотрел. И ждал. Я плюнул в него, потому что даже ударить не мог в тот момент. Он вытерся рукавом гимнастерки и опять стоял, белый в темноте. А мертвый Абашин лежал в кузове.

Когда пошли танки и перебило провод, я его послал восстановить связь, вот этого, живого. Он уполз и не вернулся. И связи не было. Тогда я послал Абашина: мне нужно было стрелять по танкам.

Каждый из моих телефонистов был старше меня, и у обоих были дети. А мне было двадцать лет. Не знаю, кому легче умирать, но воевать мальчишкам определено легче: они еще столького не понимают, много для них еще игра. И убедить их просто, мальчишек. И детей у них нет, некого сиротами оставлять. Но это значит еще и то, что никто живой, никто после них на земле не остается. А у меня и родителей к тому времени не было, так что мать бы не убивалась. И вот в двадцать лет я обладал той властью над людьми, тем высшим правом, которое, наверное, только богу можно вручить. Но где он, бог, если люди убивают друг друга? И нам, мальчишкам, дано было право посылать людей на смерть.

Когда не вернулся Абашин, полез я. Я нашел его на поле, уже умирающего, и пока сращивал провод, танковый снаряд разорвался почти что в ногах у меня. Это меня и спасло. Мина рвется, едва коснувшись земли, снаряд выбрасывает осколки вверх. Они исполосовали голенища сапог, шинель и только несколько застряло во мне.

После мне говорили не раз, что я должен был отдать телефониста под суд трибунала. Зло должно быть наказуемо, я знаю. Там, на поле, я бы застрелил его. Но когда он вот так стоял и смотрел, готовый все принять, мне стало гадко. И еще я пожалел его детей.

Мы сядились в Атланте примерно в тот же самый час, когда все это было, только через двадцать семь лет. И сверху город в огнях казался галактикой, опрокинутой с неба на землю.

Это был Юг, и старому негру, который, косолапя и сутулясь, что-то бормоча про себя, катил вещи по коридору отеля, мистер Кримгольд заплатил доллар. Уан доллар за то же самое, за что в Вашингтоне было заплачено три.

В бабочке, в шляпе с узкими полями и маленьким красным перышком за лентой, с зонтиком, висевшим на локте, мистер Кримгольд шел вслед за негром, говоря:

— Здесь доллар стоит дорого! О-о, здесь он стоит много...

Это был Юг, и в номере у себя, в маленькой кухоньке, когда я зажег свет, рыжие тараканы побежали по масляным стенам, не очень, впрочем, торопясь. Номер оказался большой, и все в нем, кроме белоснежных простынь, имело устоявшийся несвежий запах, а мебель во второй комнате, словно из театрального реквизита, была белая, со множеством приляпанных резных колонн. Всю ночь в коридоре топали, слышны были нетрезвые голоса, электрический холодильник в кухоньке, включаясь, трясся и звенел, у газовой плиты допотопной конструкции фитиль не гас, и туда, на синий его огонек, сползались тараканы.

А днем, в Атланте же, в Пич три центр — Персиковом центре, — мы осматривали новый отель архитектора Палмена, небоскреб среди небоскребов. В нем номера по сорок, сто, сто пятьдесят долларов, и подвесные чугунные беседки в холлах (правда, из-за не совсем точного расчета эти беседки пришлось все же поставить на опоры, очень большое огорчение), и голубой вращающийся ресторан над крышей, в дань космосу и коммерции названный «Поларис», и скоростные лифты не скрыты в шахтах, а открыты для обозрения: светящиеся изнутри электрическим светом, они возносятся как огненные ракеты, взлетающие со ступеней. А ведут кабины лифтов молоденькие лифтерши, возраст которых колеблется где-то между восемнадцатью — двадцатью с небольшим. В своей униформе — синих супермини, красных курточках, красных шапочках — они похожи на стюардесс.

Здесь собраны многие соблазны для тех, кого уже трудно соблазнять. И один из соблазнов тот, что здесь все дорогое, пожалуй, кроме самой идеи: строить исключительно для тех, кто тратит в день, в час больше, чем целая семья в Южной Америке, скажем в Эквадоре, зарабатывает в год.

Когда архитектор Палмен со своими компаньонами начинал дело, у него был миллион и он шел на определенный риск: угадал ли, не превысил ли спроса этим своим предложением? Но оказалось, спрос уже превышал предложение, и сейчас в строительство таких отелей в Америке и Европе Палмен, кроме таланта, вложил уже сто миллионов долларов.

А внизу, среди подъезжавших и отъезжавших, отъезжавших и подъезжавших машин, к багажникам которых кидались портье, ходил небольшой пикет с транспарантами, призывая не селиться в этом отеле, бойкотировать его.

Однако отель и небоскребы Персикового центра — города посреди города — мы осматривали днем, а утро началось с того, что за нами заехала миссис Уэллс.

В тех городах Америки, где мы были по программе, а видимо, и не только в них, есть так называемые Центры гостеприимства, Центры по приему иностранных гостей, прямо или не прямо связанные с госдепартаментом. Работают в них волонтеры, и миссис Уэллс была одним из таких волонтеров и руководителей центра.

Позже, когда она в тот день вела нас по залам музея, одна из дам, бродивших между картинами, глянула ей вслед и сказала другой даме со значением. «Big wheels...» «Биг велс», «большими колесами», называют в Америке крупных чиновников, помогающих правительственной машине функционировать бесперебойно.

Но это «большое колесо», миссис Уэллс, была весьма изящной женщиной, худощавой, как большинство американок. К слову сказать, в Америке для женской одежды размеров восемнадцать (наш сорок восьмой) и выше есть даже специальные магазины, что-то вроде наших магазинов «Богатырь». Они явно не угрожали миссис Уэллс разорением.

Одетая в белое платье джерси, крокодиловые коричневые туфли, к которым для завершения гарнитура была такая же крокодиловая сумочка, она привела нас к своему огромному черному «доджу», внутри плотоядно-красному, как пасть, и мы поехали.

День стоял жаркий. Уже с утра в Атланте было семьдесят пять градусов по Фаренгейту. И хотя по Цельсию это тридцать, цифры имеют странную власть. Я вполне понимаю того мужика, который жаловался в известной притче: «Сроду сколько живем, до станции было шесть верст. Приехали землемеры, намерили девять. Им что, они приехали да уехали, а нам теперь три лишние версты ходи...»

Так вот, зная достоверно, что на улице семьдесят пять градусов, чувствуешь себя совсем не так, как в тридцать, что бы по этому поводу ни говорила арифметика. И миссис Уэллс, ведя машину, временами отрывала руки от руля, чтобы вытереть ладони платочком. А машину она вела так, будто сначала выучилась водить, а потом уж ходить. При этом рассказывала о городе те подробности, которые всегда любопытны приезжим.

На том месте, где стоит теперь город Атланта, прежде жили индейцы и росли сосновые леса. По-индейски смола сосен — «пич». По-английски «пич» — это персик. Как полагают, произошла некая лингвистическая путаница, и вот улица, по которой мы ехали, где и в помине нет сосен и где не растут персиковые деревья, названа Пич три стрит — Персиковая улица, а центр с его небоскребами — Пич три центр. И если в Атланте хотят сказать о девушке то, что у нас определяют понятием «кровь с молоком», говорят — «персик со сливками».

В Memorial arts center — Центре искусств, одной из достопримечательностей Атланты, — ступая гнз по коврам, мы вслед за миссис Уэллс вошли в симфонический зал и некоторое время слушали электронную музыку, созданную при помощи счетно-вычислительных машин.

С высоким уважением относясь к эксперименту, риску, поиску, я менее всего хочу тут иронизировать. Ведь даже гении, которым суждено было осветить путь человечества, при рождении своем являли довольно жалкое зрелище. И все же, думается, тут не рождалось великое. Если правда, что музыка выражает душу создателя, эта музыка в полной мере выражала ее.

Пусть эксперимент остается экспериментом, но пусть и в наш электронный век искусство — хотя бы литература, музыка — останется немеханизированным, штучным производством. А техника... Ну, перед ней такое широкое поле деятельности!

Пусть для имеющих душу создает тот, кто наделен душой. А если музыка понадобится машинам, вот для них пусть машины и творят. Это не значит, что нужны запреты: самое безнадежное -- пытаться запрещать то, за чем будущее. Просто у людей должна оставаться свобода выбора. А люди — так уж они устроены — в конечном счете всегда выбирают лучшее. В этом утешение и надежда.

В остальном же Центр искусств в Атланте являл собой пример удачной архитектуры и богатейших возможностей богатейшей из стран. Тут был использован на отделку стен и подводный мрамор из Италии, и многие, многие ценные материалы, название которых я затрудняюсь перечислить. Пожалуй, в некотором несоответствии со всем этим великолепием были произведения искусств, собранные здесь и представленные для обозрения: позолоченная рама была явно богаче холста. И в студиях, где занимались будущие живописцы, создавалось пока нечто робкое, что, конечно же, никак не может быть поставлено в укор.

Для спорта необходимы и залы, и бассейны, и тут отдача находится в прямом соответствии с затратами. Но искусство подчиняется несколько иным законам.

Оно родилось из страданий и надежд человечества, из стремления к свободе, к познанию смысла бытия. И если наука помогает человеку освободиться от сил природы, обрести власть над ними, искусство служит освобождению человеческого духа. Невозможно создать, не будучи внутренне свободным. И если даже создавал раб, он в эти минуты был свободным человеком.

Тысячи и тысячи раз казалось — искусство бессильно изменить что-либо, а оно из поколения в поколение, даже в пору мрачного одичания, продолжало являть собой непрерывное усилие человеческого духа.

Мы видим, чего не удалось достичь. Но мы не всегда способны оценить сделанное. Быть может, без этого ни на час не прекращающегося усилия, отмеченного и высочайшими взлетами и падениями, без всего того, что уже посеяно в душах, мир представлял бы собой грустную картину.

Странная, если подумать, судьба художников. Нередко считалось, что и хлеб, который они едят, не ими заработан. А они оставляли человечеству, оставляли своему народу наследство (я говорю тут даже не о духовном наследстве, я имею в виду только материальную сторону его), наследство, цену которого со временем трудно бывало исчислить; оно само становилось единицей измерения ценностей и национального престижа. Кто еще из шутов и нищих способен был оставлять такое наследство?

Американское искусство, занимающее сегодня в мире столь видное место — особенно американская литература, театр, музыка, — не имеет в истории собственных традиций. В нем смешались традиции европейской и африканской культуры, как в самой американской нации смешалась и продолжает смешиваться кровь многих народов и рас.

Можно купить, вывезти из другой страны картину, перевести на свой язык книгу, можно вывезти и заново, на новом месте построить старинный храм, но культуру нельзя ни купить, ни завоевать. Ее можно только создать самим. И в Америке она создавалась по мере урбанизации общества, по мере того, как пришельцы, хлынувшие из разных стран на северо-американский континент, становились единым народом, по мере того как создавалась та американская действительность, которая стала почвой американской культуры, американского искусства.

Особенно видно слияние этих двух традиций — европейской и африканской — в джазе. На европейских инструментах, восприняв европейские мелодии, негры придали им собственный музыкальный строй, влили свой темперамент и ритм. Сегодня видно, какое влияние оказал джаз на всю современную музыку, против него бессильны многие и многие барьеры. Интересно, что у себя на родине он не сразу и не всеми был признан. Уже королева Виктория восторженно рукоплескала джазовому танцору, уже Европа признала джаз, и только после этого он как бы заново был признан так называемыми серьезными американскими композиторами.

Экономически Соединенные Штаты сегодня могут оказать любую поддержку искусству. Тем более странно кажется, что в США, чья кинематография не только завоевала мировую известность, но является одной из наиболее доходных статей, до последнего времени не было своего института кинематографии. Были факультеты кинематографии и кинокритики при некоторых университетах, но института кинематографии не было. Он создан только в 1967 году на пожертвования частных фондов и некоторые ассигнования федерального правительства.

Memorial arts center в Атланте тоже построен на частные пожертвования и весь — с мрамором и бархатом — стоил 14,5 миллиона долларов. Для сравнения: новый реактивный пассажирский самолет «Боинг-747», который скоро будет летать через Атланти-

ческий и Тихий океаны, один такой самолет стоит двадцать миллионов долларов. А постройка его прототипа обошлась в семьсот пятьдесят миллионов. Если еще можно надеяться, что пассажирский самолет со временем окупится, то его военный собрат не окупится никогда. Тут вообще никакие сравнения невозможны.

Имена людей, жертвовавших деньги на строительство Центра искусств, высечены в мраморе, выставлены для обозрения. Ничего не поделаешь: реклама, престиж всегда стоили денег. Кроме того, пожертвования такого рода освобождают от уплаты части налогов, так что рука дающего не оскудевает.

И все же, как бы ни были различны мотивы людей, финансировавших создание таких центров, важны, в конечном счете, не они. Дело иной раз не только переживает людей, но и оказывается значительней своих создателей.

В шесть тридцать вечера, как значилось по программе, заехал в отель доктор Роберт Уэллс, чтобы везти нас к себе. Он приехал прямо из клиники на своей машине и просил извинить, что она не столь вместительна, как машина его жены. Она в самом деле не была столь парадна, но вместить могла бы еще одного-двух человек, учитывая, что в Америке на этот счет нет строгих ограничений. И как все машины мира, имела еще то удобство, что в самой себе уже несла тему первого разговора. Вскоре я спрашивал доктора Уэллса, когда он разрешит своему сыну сесть за руль.

Доктор Уэллс улыбнулся, как человек, у которого достаточно здравого смысла, чтобы спокойно принять неизбежное:

— В шестнадцать лет. И я этот день не тороплю.

— Но в его возрасте вы спешили?

— Иес. И он может спешить. Мысленно. Вечное противоречие родителей и детей.

У вас тоже есть такие противоречия?

Теперь уже я сказал:

— Иес. Но мои дети пока в том возрасте, когда меня больше волнуют их болезни.

Доктор Уэллс рассмеялся.

— Я понял своих родителей,— сказал он,— когда стал отцом. Он тоже поймет. К сожалению, тогда он уже не будет ребенком. Каждому возрасту свое. Это, кажется, Вольтер сказал: если человек до двадцати пяти лет не был либералом — это бессердечный человек, если после двадцати пяти лет не стал консерватором — дурак...

— Сколько вам сейчас, доктор?

Доктор Уэллс обернулся. Умные глаза его смеялись.

— Уже сорок два...

В твидовом спортивном пиджаке, сидя вполборота и почти не глядя на дорогу, он вел беседу, а руки его отдыхали на руле. В этот день он сделал три операции: мальчику, семидесятилетней леди и оперировал коленную чашечку звезде местного футбола.

— Была эта операция очень сложной?

— Но!

— Он сможет играть?

Доктор Уэллс пожурился, и так и этак взвешивая мысленно все варианты, и, оставив за собой право на некоторую долю сомнения, сказал:

— Иес.

А руки его лежали на руле. Большие красивые мужские руки. Руки хирурга. Но если бы он был скульптор, подумалось бы, наверное: только у скульптора могут быть руки, так вылепленные природой. Или что-нибудь в этом роде. Мы часто видим не то, что есть, а что нам уже известно.

А между прочим, именно в этот день 12 октября, но двадцать семь лет назад, меня оперировали в медсанбате. Я не помню рук того хирурга. Я вообще не помню рук, оперировавших меня: не до того бывает, вот и не помнишь. А после уж не пришлось видеть. Ведь это поток, поток раненых, когда начинается наступление. И раненые не помнят рук, а хирурги не помнят лиц.

Помню только, что у нее болели зубы. Я лежал на столе, а военврач вошла завязанная. Она даже стонала, когда вырезала у меня осколок из спины. Он, как нарочно, засел глубже, чем проникла анестезия. Возможно, надо было сделать еще укол. Но военврач сказала, что уже видит осколок, и продолжала резать

Мне было тогда двадцать лет, и я был офицер и в детстве читал «Овода». Я лежал лицом вниз, изо всех сил сцепив зубы, и медсестра, годившаяся мне в младшие сестренки, гладила меня по голове. И после принесла мне кружку вишневого компота. Словно знала, что я люблю больше всего.

Несложные арифметические расчеты говорят, что доктор Уэллс был тогда в том возрасте, в каком его сын вскоре сядет за руль.

Мы выехали из города на окраину, и здесь уже можно было дышать не только «эр кондишен», тем микроклиматом, который машина несла в себе среди отработанного дыхания моторов,— можно теперь было дышать воздухом сосен, запахом травы и земли — подобием того воздуха, который всегда был здесь до нашествия цивилизации.

И улицы здесь были шире, оттого что дома, большей частью одноэтажные, стояли каждый словно в глубине парка. Это был аристократический пригород, место обитания состоятельных семей, давно уже начавших выезжать из центров задымленных городов на окраины, где еще сохранился лес, где был воздух.

В Париже есть уличные автоматы фирмы «Жибо», в которых за несколько су каждый желающий может три минуты дышать загордым воздухом.

В Америке формально воздух пока еще не продается и не покупается. Но это только формально. Те баснословные деньги, которые платят за участки на окраинах городов, платят не только за землю. Их платят за воздух, которым можно дышать.

Вот в связи с этим несколько небезынтересных цифр.

В Соединенных Штатах к началу 1963 года на 188 миллионов населения приходилось 82,6 миллиона машин. Из них 68,9 миллиона легковых автомобилей.

В том же 1963 году в штате Нью-Джерси, не являющемся исключением, на одну квадратную милю приходилось 360 автомашин, то есть около 140 машин на квадратный километр. Если можно сравнивать, это почти вдвое превышает плотность населения Греции, Австрии, Франции.

Ежедневно в воздух штата выбрасывалось 760 тонн окиси азота, 2015 тонн двуокиси серы и 3270 тонн газов, содержащих несгоревший углерод. Шестьдесят процентов этих газов выделяли автомобили.

С тех пор каждый год в стране производилось от пяти до одиннадцати миллионов автомобилей. В 1970 году население США возросло примерно на два миллиона человек. Машин было выпущено девять миллионов.

«Каждый шестой человек из числа самостоятельного населения США зарабатывает на жизнь продажей, производством, вождением или ремонтом автомобилей. На них тратится один из четырех долларов, расходовемых потребителями. Нефтяная промышленность скармливает им 75 миллиардов галлонов горючего ежегодно,— пишет журнал «Лайф».— Они потребляют 20 процентов нашей стали, 51 процент свинца, 60 процентов резины. Лишите их права мчаться по дорогам со скоростью 70 миль в час во возрастающем числе, и наше общество... начнет трещать по швам».

Машины сходят с конвейеров, все более совершенные, дразня воображение, предлагая неслыханные удобства. «Шевроле поможет вам все время быть в движении.» — извещает реклама. Восемьдесят шесть процентов путешествий американцы совершают на машинах. И ежедневно на дорогах Америки погибает сто пятьдесят человек. Только за последние десять лет 450 000 американцев стали жертвами автомобильных катастроф, это больше, чем потеряла Америка во второй мировой войне.

«Прогресс» неостановим, и сегодня шестьдесят процентов всех остаточных продуктов, заражающих воздух Америки, приходится уже на долю только легковых автомобилей.

Тем не менее когда мы остановились у дома, светившегося огнями к приезду гостей, и вышли из машины, и услышали тишину и шум деревьев над собой, доктор Уэллс не сказал: «Вы чувствуете, какой здесь воздух? Как здесь дышится легко...» Он сказал примерно то, что говорит реклама:

-- О-о, вот машина моей жены. У нас здесь гараж на две машины...

Это было сказано как бы между прочим, но с тем наивным стремлением поразить, которое я потом не раз встречал у многих американцев. Две машины, гараж — это символ благосостояния, овестьственных возможностей. Чье сердце устоит перед этим не дрогнув? Чей разум не смутится?..

В середине прошлого века жил в Америке человек, многим соотечественникам казавшийся при жизни чудачком: Генри Дэвид Торо. Он был посажен за решетку потому, что демонстративно отказался платить налоги правительству, которое не отменило рабства. Он с топором, взятым у соседа, отправился в лес, срубил себе там хижину и жил в ней два года наедине с природой. Результатом явилась его знаменитая книга «Уолден».

«Я ушел в лес,— писал он,— ибо хотел жить целенаправленно, встречаться лишь с существенными сторонами жизни...»

Современный состоятельный американец, переселяясь из центра города на окраину, забирает с собой все, что вынудило его к бегству. И тем делается первый шаг к тому, чтобы и эти леса стали непригодными для жизни.

«Всю историю человечества, в сущности, следует рассматривать как борьбу человека с окружающей средой, как последовательное освобождение его от различного рода зависимостей, в которые поставила его природа, и, наконец, как «порабощение» им мира с его почвами, растениями, животными,— пишет известный зоолог профессор Жан Дорст в своей книге «До того как умрет природа». — В глазах биологов появление человека занимает в истории земного шара такое же место, как крупные катаклизмы в масштабах геологического времени, как «катастрофы» Кювье, во время которых коренным образом и в глобальных масштабах изменялись животный и растительный миры нашей планеты... Если принять во внимание кратковременность периода, в течение которого проявилась деятельность человека, то темп и размах этих «катастроф» не имеют себе равных. Так, первобытный человек уже располагал орудием огромной силы — огнем, что далеко не соответствовало «техническому уровню» того времени. Позднее цивилизации античного мира опустошили Средиземноморье, а крушение великих империй прошлого было предопределено эрозией почвы в их владениях».

И далее Ж. Дорст пишет: «...степень цивилизации измеряется не только количеством киловатт, производимых энергоустановками. Она измеряется также рядом моральных и духовных критериев, мудростью людей, двигающих вперед цивилизацию, стремящихся обеспечить ей долговечность в наиболее благоприятной для ее процветания среде, в полной гармонии с законами природы, от которых человек никогда не освободится».

Мы вошли в дом доктора Уэллса («Мой дом — моя крепость»), где миссис Уэллс, двое детей — «бой энд герл» — и коллега, компаньон доктор Фокс с женой ждали гостей. Сразу же были даны в руки стаканы виски со льдом, и вскоре могло показаться, глядя со стороны, что стоит посреди холла компания, где все знают друг друга не один десяток лет. В действительности же громкие голоса и смех свидетельствовали только о том, что соблюдаются правила хорошего тона, принятого в Америке.

Под позванивание льдинок о толстое стекло стаканов прозвучали первые шутки. В брешь, пробитую шутками, двинулись школьные анекдоты, и были установлены многие если не текстуальные, так, во всяком случае, сюжетные совпадения. А к концу вечера, для которого пожертвовали жизнью несколько «чикенз» — цыплят, — жаренных именно так, как готовят в Джорджии (вместе с половинками груши и персика), выяснилось, что и мы и вы одинаково ценим юмор. Именно это же совсем недавно выяснил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Роджерс, посетив Гану. Он открыл для себя и оценил чувство юмора народа Ганы, о чем тут же счел необходимым известить человечество.

Не знаю, сближает ли юмор материка и народы, но достаточно проверено, что в наш век юмор очень помогает не вести серьезных бесед.

В тот вечер доктор Уэллс рассказал американский, впрочем ставший уже международным, анекдот о супружеской паре, которая никогда не ссорится, поскольку заранее обо всем договорилась, разумно разделив обязанности и сферы влияния. Жена решает мелкие вопросы: покупать ли машину? в какую школу отдавать детей? менять ли обстановку? Муж решает исключительно крупные вопросы: выводить ли войска из Вьетнама? допустить ли красный Китай в ООН? как быть с атомным оружием?

Если такое соглашение существует в этой семье, могу свидетельствовать: миссис Уэллс блестяще справляется со своими обязанностями. Дом ее — американский дом, где

есть все, что должно быть у людей их круга. И хотя эти знаки отличия не столь явны, как звезды у генерала на погонах, они есть, они присутствуют во всем. И дети ее учатся в частной школе, где, как она говорит, лучше условия для занятий атлетикой — это тоже составляет одно из преимуществ людей их достатка. Миссис и мистер Уэллс, оба рослые, красивые, породистые,— отличная пара. Быть может, со временем суждено им большее состояние, но сейчас, насколько это представляется со стороны, доктор Уэллс — в своей золотой поре расцвета сил, успеха, ума. Что же касается тех основных вопросов, которые, по уговору, должен решать он... Впрочем, жены в современном мире как-то успешней справляются со своими обязанностями.

Составляет ли это предмет его душевных терзаний — не знаю. Весело глядя своими красивыми глазами, рассказывал он о том, до скольких лет человек бывает либералом и кто с двадцати пяти лет не становится консерватором. Доктору Уэллсу, мы помним, уже сорок два.

В известной просьбе-молитве, обращаемой к господу: дать душевный покой, чтобы принимать то, чего не можешь изменить, мужество, чтобы изменять то, что можешь, и мудрость, чтобы отличить одно от другого,— есть уязвимое звено. Это уязвимое звено — последний пункт, именуемый мудростью. Здесь, собственно, начало всех испытаний и искушений, которым подвергается человек.

Если что и дарует душевный покой, утешительную уверенность, что все равно, мол, ничего ты не можешь изменить, так это не мудрость. Нет, не мудрость.

— Машина — это монстр, подчинивший себе жизнь,— сказала миссис Онофрио, везя нас в капище монстров — на завод компании «Дженерал моторс».

Она тоже была волонтером Центра по приему гостей, но не столь опытна, очень волновалась и, ответив на два-три вопроса, заданных скорей из вежливости, миссис Онофрио — возможно, в прошлом госпожа Онуфриева — сказала:

— Дальше я буду следить за дорогой...

Руль был в ее руках, жизни наши — тоже. Как тут не согласиться?

В стеклянном холле завода respectable секретарша, взяв из ящика на столе очки, вручила их каждому из нас. Очки эти, разумеется, не меняли положения вещей, просто их дымчатые стекла защищают глаза от вспышек электросварки. С тем мы поступили в распоряжение штатного гида.

Рослый, в форменной черной фуражке, белой рубашке и черном галстуке, похожий на немолодого полисмена, он пошел впереди нас, шагая широко и медленно, сразу задав темп туристического осмотра.

Завод этот — один из ста с лишним заводов компании «Дженерал моторс» — занят сборкой автомобилей. В день он выпускает сорок пять машин. Мы начали осмотр там, где первая деталь была взята на конвейер — господь бог взял в руки ком глины, — и закончили его, когда готовая, окрашенная машина сползла с конвейера: монстр явился на свет. Он достаточно надежен, и потому испытательный пробег совершает один автомобиль из трех.

Только мы шли по цеху, который казался малолюдным. Никто не обгонял нас, не попадался навстречу. Не было привычных глазу спорящих, торопящихся людей, на ходу решающих вопросы. Все были на своих рабочих местах, а по проходам на автопогрузчике ездил рабочий-негр с сигарой в зубах: руки его были заняты. И светились предупреждающие надписи, например, такого содержания: «Здесь не играют в лошадки, безопасность прежде всего».

Конвейер двигался в заданном темпе, рабочий проходил вместе с движущейся деталью пять-шесть шагов, совершая на ходу несколько несложных операций, и возвращался, и с новой деталью проходил пять-шесть шагов, и снова возвращался, и снова пять-шесть шагов в том самом темпе, который обеспечивал заданную производительность: сорок пять машин, ни больше и ни меньше. И каждый совершал свои простейшие несколько операций, на которые разложен весь процесс, и автомобили сходили с конвейера. Как сходят самолеты, ракеты, танки. А у каждого та же доля участия в создании их: простейшая операция, в которой даже отдаленно нельзя угадать результат общего труда.

Вряд ли создатели конвейера, как и те, кто на первых порах осмеивал его, могли тогда уже увидеть в нем грозный прообраз времени. Когда не только доля участия человека в труде будет сведена к одному элементарному действию, но такой же элементарной, обезличенной станет ответственность за результаты, за все, что свершается. Твое действие никого не убивает, никого не поработает, никому непосредственно не грозит. Но из этих простейших действий складывается сегодня то, что движет современными армиями, дает силу речам политиков, что страхом всеобщего уничтожения, гораздо большим, чем для верующих страх божьего суда, нависло над миром. А в то же время совесть каждого участника может быть спокойна: видимая доля его ответственности так мала, что, если не хочешь, не увидишь ее вовсе. Да и можешь ли ты что-либо изменить?

Когда человека принуждают силой, он рано или поздно находит в себе силу бороться. Но так называемые цепи железные — это от времен рабства. И прочны они, и грозны, и тяжелы, а все же ненадежны. Надежней самая тоненькая, незримая — золотая цепь. Тут уж приходится не с кем-то, тут надо бороться с самим собой.

Продельвать свою простейшую операцию, по сравнению с которой труд средневекового ремесленника — искусство, рабочий «Дженерал моторс» приезжает на своем автомобиле. Он получает в четыре раза больше, чем рабочий японской автомобильной промышленности, один из самых высокооплачиваемых рабочих Японии. А Япония сегодня уже вышла на второе место в мире по производству автомобилей: пять с половиной миллионов машин сошло с ее конвейеров в 1970 году.

Конечно, чтобы так платить в своей стране, нужно много недоплачивать в других странах, где дешевая рабочая сила, куда стремятся американские капиталы. Вот эти недоплаченные в других странах, на других континентах доллары незримо включены в оплату американского рабочего. Инженера. Администратора. В оплату даже тех работников умственного труда, чьей профессией стало критиковать создавшееся положение вещей.

А впрочем, об этом написаны десятки книг. О той части жизни, которую ежедневно отдают работе, чтобы потом, после работы, иметь возможность жить. И об этих вождельных, трудом и многими компромиссами добытых часах, об этих «от шести вечера до полуночи», являющихся как бы собственно жизнью, а на самом деле бегством от самих себя при помощи машины, телевизора, спиртного — чего угодно.

Об этой цепи золотой, в которую как будто даже сами стремятся.

В Америке идет блистательная пьеса Олби «Всё в саду». Она рассказывает о том, как ради собственного сада и оранжереи, ради подстриженного газона и второй машины в гараже, ради того, чтобы иметь все то, что имеют люди их круга, жены продают тело, а мужья продают душу.

Из подчиненной роли средства так легко, так незаметно переходят на роль властителей, становятся видимостью цели. И из многих вопросов, какими мучилось и мучится человечество, едва ли не самым существенным становится: «Какой счет?..»

ХЬЮСТОН

Мы летим в Техас. В город Хьюстон, небоскребы и миллионы которого стремительно выросли на нефти. И город Даллас, отныне позорно вошедший в историю Америки, тоже в Техасе. И недавний президент Соединенных Штатов, принимавший присягу на борту самолета, который увозил из Далласа гроб с телом Джона Кеннеди, тоже, как известно, родом из Техаса.

О Джонсоне писали, когда он был на посту: «Тонкий политик и человек пронзительный». О нем писали: «Джон Ф. Кеннеди восхищался преданностью Джонсона интересам страны и его политическим мастерством». Писали: «Ни один вице-президент в истории страны не был подготовлен лучше Линдона Джонсона к тому, чтобы принять на себя ответственное бремя главы государства».

Отпрезидентствовав полтора срока, Линдон Джонсон сделал признание, от каких еще Макиавелли остерегал. Он заявил вдруг, что ни по образованию, ни по другим дан-

ным никогда не считал себя годным для исполнения обязанностей президента, а годным его считала жена, леди Бэрд. Впрочем, леди Бэрд еще раньше сказала прессе: «Порой Линдон действует так стремительно, что не успеваешь опомниться...»

Мы сидим на аэродроме в Атланте и ждем своего рейса. Прилетают и улетают самолеты, режут на поле моторы. Статистика говорит, что лишь восемь процентов американцев путешествуют самолетами. Но когда сидишь на аэродроме, кажется, вся Америка только и делает, что перелетает с места на место.

Через равные промежутки времени распахиваются двери, в них валит толпа прибывших пассажиров. По двум, вправо и влево, пологим пандусам спускаются они в зал, проходят под взглядами, как на параде мод: пожилые леди в высоких шляпках; молодые леди в больших розовых, или темных, или перламутровых очках; длинноволосая молодежь, вся в карманах и заклепках; подпертые твердыми воротничками чопорные джентльмены, не роняющие себя до того, чтобы смотреть под ноги. Идут спортивного вида мужчины, согнутым пальцем за крючок вешалки неся на спине костюмы и платья в целлофановых, на молниях мешках. А среди взрослых, словно на перемену из класса вырвавшись, бегут дети, засидевшиеся в полете, спрыгнувшие с неба на землю.

Все это множество лиц, костюмов, картонок, пакетов и тростей, враз возникнув, так же враз исчезает. И опять пустые пандусы и закрытые двери. И снова распахиваются они, валит многоголосая толпа прибывших очередным рейсом.

Для сидящих в зале это своего рода развлечение. На время смолкают разговоры, все смотрят. Только негр-сержант лежит с закрытыми глазами. У него суровое лицо древнего воина, на мундире яркие колодки. Это не за прошлые войны — он молод, — это добыто во Вьетнаме. И вот вытянувшись во весь немалый рост, каблуками кованых ботинок упираясь в ковер, лопатками — в спинку кресла, он лежит, будто дремлет, перегородив проход. И пассажиры обходят его не тревожа.

Его охраняет мундир армии и яркие колодки на груди, он может себе позволить то, что непозволительно для негра-носильщика, толкающего перед собой тележку с чемоданами.

Он может себе это позволить, потому что каждый пятый убитый во Вьетнаме американец — негр. Образовательный ценз не дает им отсрочки от призыва: у негров чаще всего нет образования. И высокой квалификации нет. Их гонят в пехоту. И хотя среди американских военнослужащих негров немногим более двенадцати процентов, среди убитых двадцать процентов — негры.

«Братя, черные солдаты, — писал в те дни из калифорнийской тюрьмы лидер партии «Черная пантера» Бобби Сил, — мы здесь, в Америке, пытаемся освободиться от гнета, который нам пришлось нести на протяжении четырехсот лет. А вы, наши черные братья, сейчас рискуете своей жизнью на фронте и гибнете в борьбе против народа, который ничего не требует, кроме права на самоопределение, объединения страны и всех вьетнамцев... Вьетнамцы никогда нас не угнетали, никогда не называли нас «черномазными», никогда не делали нам ничего плохого... То, что сегодня делают с вьетнамским народом, готовятся сделать здесь с черным народом... Но ведь мы люди. Это главное — мы люди и существуем не для того, чтобы показывать кому-то, сколько цветного населения мы можем уничтожить в чужой стране».

Объявляют наш рейс. Предводительствуемые мистером Кримгольдом, который держит наши билеты в руке, мы поднимаемся к выходу. От дверей я оглянулся. Сержант все так же лежал, скрестив на груди сильные руки, упершись каблуками в ковер. В креслах сидела респектабельная публика.

А в Хьюстоне, в Интерконтиненталь аэропорте, когда мы ждали у транспортера свои чемоданы, мимо, волоча за лямки по полу вешевой мешок, прошел молодой солдат. Он только что прибыл другим самолетом и шел оглядываясь, ища кого-то глазами. То огромное, цилиндрическое, в материи цвета хаки, что он волочил по полу, как контейнер, нельзя было даже назвать вешевым мешком. Там свободно со всем их содержимым уместились бы вещмешки моего звзда времен войны.

Вдруг из встречного потока людей выбежала молодая женщина с длинными, ниже плеч волосами, повисла на шее солдата, целуя и плача. И все, кто шел мимо и кто был

в зале, смотрели на них, сочувственно улыбаясь. А она никого не видела. Она была безвременна. Обхватив тонкими руками, она повисла на его сильной загорелой шее и что-то говорила и целовала его, вернувшегося, живого.

За шесть с лишним тысяч миль отсюда Вьетнам. И его вдовы, и сироты, и девушки, которым уже не дождаться своих любимых,— все это за шесть с лишним тысяч миль. А он жив, жив, он вернулся живой. Она целовала его на виду всего аэропорта, а солдат стоял, одной рукой обнимая ее, другой держа за ляжки огромный свой вещмешок.

Время ли в такой счастливый момент думать о том, откуда он вернулся, что там оставил? Мертвых ли, живых? Не все зверства, совершенные во Вьетнаме, стали и станут известны миру, но и те, что известны, заставили людей содрогнуться. И все же есть еще одна сторона пребывания американских войск за океаном, о которой обычно не принято говорить.

По самым общим подсчетам, каждый десятый американский солдат во Вьетнаме, в Японии, Корее, на Филиппинах и Окинаве — отец так называемого амер-азиатского ребенка. Целое поколение этих детей родилось и живет, бесправнейшее из бесправных.

Известная американская писательница Перл Бак организовала в Филадельфии приют для малой части этих детей. Она обратилась с призывом, который возмутил многие организации американских женщин: призвала солдат, воевавших или служивших в Азии, присылать по доллару в пользу «амер-азиатских» детей. Всего по доллару, примерно столько же, сколько там, в Азии, они платили за ночь, если платили. И бывшие солдаты присылают. Безмянно. Разумеется, безмянно. Один даже прислал пять долларов. Впрочем, не бестактно ли думать об этом в такой момент, когда солдат живым вернулся домой?

Из аэропорта на такси нас вез негр из Луизианы. Люди белой расы так хорошо, так квалифицированно научились отличать друг друга — кто из них немец, кто русский, кто итальянец, кто француз,— что различия порой совершенно заслоняют общность. Особенно в войну, когда люди разделены ненавистью и все чужое сразу делается враждебно, отвратительно и только свое, «наше» приятно глазу.

Но здесь, в Америке, среди негров я все чаще и чаще видел, насколько белые, в общем-то, все на одно лицо. А лица негров несли в себе такое обилие различных черт, какое сегодня можно сравнить только с различием языков. Сегодня на одном языке говорят сотни миллионов, и на одном языке говорит маленькая группа людей в несколько сот человек. Из 2960 живых языков, на которых говорят люди земного шара, 1200 — это языки американских индейцев, языки крошечных племен, которые все вместе составляют менее процента человечества. Вот так и лица негров в Америке не утратили черт далеких своих разноплеменных предков, которых четыре сотни лет назад привезли сюда из Африки в рабство. Смешалась кровь, сменились поколения, забылся родной язык, уже ничего не говорит память, и только в чертах живет еще то последнее, что осталось от племени, быть может исчезнувшего.

Родиной этого шофера была Луизиана, и по-английски он говорил плохо. Ведь когда-то бассейн реки Миссисипи, и Луизиана, и Новый Орлеан были оплотом французских колонистов. Отсюда и из Канады посягали они на могущество англичан, объединяли против них вождей индейских племен, и даже ирокезы, старинные союзники англичан, начинали склоняться на сторону французов. Будь тогда французы многочисленней, а Франция сильней, кто знает, как решилась бы судьба Америки и Канады? И вот родной язык этого шофера такси — французский.

Нас поместили в Хьюстоне в отель фирмы «Шератон Линкольн», охватывающей своими отелями всю Америку и едва ли не полсвета в придачу. На обороте счета в семи колонках мелким шрифтом перечислено, в каких городах Юнайтед Стейтс, Канады, Австралии, на Гавайях и Ямайке, Багамских островах, Мальте, Корсике, Кувейте и так далее и так далее можете вы при желании (и, разумеется, при деньгах) останавливаться в отелях «Шератон Линкольн», ездить на машинах «Шератон Линкольн», пользоваться бесчисленными услугами «Шератон Линкольн».

Отель был чопорный, публика, словно к дипломатическому приему, одетая с соблюдением всех правил протокола, стояла в лифте как в рот воды набрав. Поигрывая ключами, каждый хранил свое, индивидуальное молчание. И пока лифт нес нас на два-

дцать второй этаж, над головами у всех за матовым во весь потолок плафоном звучала музыка Чайковского.

В номере у себя, как поднимают флаг на флагштоке, я поднял пластинчатые шторы на двух стеклянных стенах. Скатавшись под потолком двумя рулонами, они нависли, грозя рухнуть оттуда, а я что-то не мог сразу найти, за что тут закрепляют шнурок. Не раздумывая долго, я завязал его за ножку дивана и погасил свет.

И увидел с высоты город. Мерцание рассыпанных огней, ряды неподвижных огней, означивших улицы, текущие струи движущихся огней... В этом колеблющемся отсвете электрического сияния даже здесь, на двадцать втором этаже, можно было читать, стоя у окна.

Среди распластанных по земле огней, заслоняя небо, в котором тоже сновали огни самолетов, высились плоские, как решетки, небоскребы, светясь всеми окнами. А далеко за ними, где меркло электрическое зарево, угадывались другие огни.

Оттого, что мы перелетали самолетами, словно перескакивали из города в город, пространство исчезло. Казалось, там, где кончаются огни Хьюстона, начинаются огни Атланта, из которых высятся ее электрические небоскребы. А потом еще чьи-то, еще чьи-то огни, и вся Америка — сплошной распластавшийся по земле электрический город.

Удивительное чувство, когда вот так вечером впервые выходишь на улицу неизвестного тебе города, в ту жизнь, где ты никогда не был и никогда уже не будешь. Где ни один человек не знает тебя и ты не знаешь никого.

Не распаковав вещи, только умывшись, мы вышли из отеля. В ранний вечерний час, освещенные фейерверком рекламы, улицы были безлюдны, на пустынных тротуарах издалека были видны редкие прохожие. В витринах запертых магазинов среди туфель, чемоданов, сумок, растянутых в стрелочку брюк и атлетически сложенных пиджаков стояли освещенные манекены. А мимо них под мигающими огнями светофоров мчались машины. Темные внутри, обливаемые снаружи всплесками красного, зеленого, желтого света, который стекал с них на ходу, машины мчались нескончаемым потоком, словно покидали город.

Было уже поздно, и ноги совсем не шли, когда мы у небольшого пустыря забрели поужинать в одноэтажное длинное здание, похожее на вагон. И точно так же, как в сидячем вагоне, в стены утыкались диваны со спинками, каждый на два человека, а между диванами под окном — столик.

Только этот вагон никуда не ехал. Люди входили в него, сидели, выходили, входили новые, а он стоял все на той же остановке. И за стойкой сипел паром, единственно свистков не подавал, никелированный кофейный автомат с рычагами; в огромных стеклянных сосудах переливался охлаждаемый апельсиновый сок апельсинов, зелено-желтый сок грейпфрута, желтый лимонный сок; на электрической плите из сплошного листа нержавеющей стали, как на столе, жарилась в этот поздний час яичница с беконом.

Мы прошли в дальний конец, где был свободный столик, сели, и сейчас же подошла официантка. Это было не начало, скорей конец ее рабочего дня, но подошла она так, словно никого другого, только нас ждало это место.

Мы хотели посидеть, чтоб ноги отдохнули, а главное, посмотреть на людей, сидящих здесь. Фрида Лурье, милая наша Фрида, осуществлявшая все связи с внешним миром и порой устававшая так, что вдруг, как она это называла, «отключалась начисто» (в такие моменты она старалась вспомнить хоть одно слово — русское или английское — и не могла). попросила меню.

Конечно, хорошо было бы не спеша выпить чаю, горячего и крепкого, как пьют в жару, когда холодной водой, сколько ни пей, не напьешься. Но чай — «ти» — в меню не было. А это значило, что и спрашивать не к чему. Неудобство американского меню в том и состоит: если там что-то не указано, так его нет и «а может быть?..» не поможет. Но зато если указано — есть.

Это была, пользуясь нашей терминологией, обычная забегаловка. В Америке такие места называют «сальной ложкой». Накурено, шумно, душно.

Наискосок от нас двое мужчин с глазами наркоманов и две женщины курили, разговаривали нервными голосами. Ребенок лет трех в грязной рубашке стоял коленями на столе в сигаретному дыму, шлепал ладошкой по стене.

Из огромного списка закусок мы выбрали недорогие сэндвичи и сок. Мы уже знали по опыту, что сэндвичи — это довольно внушительное многослойное сооружение. Цена заказа не отразилась на отношении к нам: официантка осталась такой же доброжелательной и заинтересованной. Можно было подумать, что просто у нее на редкость ровный приветливый характер, если не знать, что приветливость — одно из условий ее работы. И хотя за это нет отдельной наценки, это оплачено вами: хорошее обслуживание входит в оплату. Иначе посетитель в следующий раз пойдет в соседнее заведение, где за ту же цену есть и сэндвичи и кофе — есть все, что здесь, но только обслуживание лучше. И убытки скоро убедят хозяина, что невыгодно держать официантку, которая отпугивает посетителей. В Америке не делают того, что невыгодно.

За столиком наискосок уже началась ссора. Одна из женщин, молодая, с отечным лицом, что-то требовала от мужчины, тот курил отвернувшись. Она дернула ребенка за руку, потащила его за собой. Трое остались за столиком.

Женщина и влекомый за руку ребенок прошли внизу под нашим окном, словно это вагон наш медленно проехал мимо них.

Еще мужчина и женщина встали, пошли к выходу. Оставшийся посмотрел им вслед и быстро допил из всех стаканов. Потом, выбрав мелочь из кармана, считал ее на ладони, раздраженно косясь.

Официантка принесла нам сок и сэндвичи. Расставляя, прислушивалась к нашему разговору.

— На каком языке вы говорите?

— Угадайте.

— Вы не из Америки?

— Нет.

— Из Европы?

— В общем, да.

Ей было на вид лет девятнадцать-двадцать. Широкоскулая, рыженькая, узкие «современные», почти не накрашенные глаза. При всей предупредительности, она держалась очень естественно, с достоинством. И ей было любопытно узнать, откуда мы, люди, разговаривающие на незнакомом языке.

— Вы датчане?

— Почему датчане?

— А тут недавно были датчане. Тоже сидели за этим столом.

Мы рассмеялись:

— Нет, не датчане.

— Тогда откуда же вы?

Мир замкнулся на Дании, дальше земли не было.

— Из Москвы.

— Фром Москоу?.. Рашен!..

Она еще никогда не видела людей «фром Москоу». Может быть, на улице, не зная. Но здесь не видела никогда.

Мы дали ей значок, на нем был Московский университет. Она разглядывала его, как ребенок. Потом побежала показывать. Вернулась с приколотым значком, а из-за стойки, из-за кофейного автомата теперь поглядывали на нас с интересом.

Она родилась здесь, в Техасе — «Тексес». Одна из ее бабушек была ирландка, другая — тут она показала на свои скулы — индианка.

На нашем столике стоял портативный музыкальный автомат. Я бросил в него десять центов — «дай» — и попросил девушку выбрать песню. Она нажала клавишу.

Мы слушали ирландскую песенку и разговаривали негромко.

— Хотели бы вы поехать в Москву?

— Yes! Но это очень дорого. Если б я поехала, я бы сама увидела, что правда, что неправда. И тогда бы мы решали сами.

Она сказала это с полной убежденностью, милая, непосредственная девушка. Дай ей бог, если она в него верит. Но при всей дороговизне поехать в Москву все же легче, чем «решать самим».

Когда мы вышли, улицы были все так же безлюдны, и все так же мчались машины во вспышках электрического света, который, казалось, забыли выключить.

«The 1970 World Almanac and Book of Facts» — «Мировой альманах и книга фактов», изданная в Нью-Йорке, — сообщает, что в 1967 году в сельском хозяйстве США было занято на треть меньше, чем пять лет назад. Иными словами, ежегодный отток из сельского хозяйства равняется примерно миллиону человек.

Когда сегодня едешь по дорогам Америки, видны поля, и урожай на них, и скот, бродящий за изгородями из проволочной сетки, и совершенно не видно людей. Люди — в перенаселенных городах с их тяжким воздухом и грохотом. Здесь, на заводах, производят и гранулированные удобрения, и интоксиды, и комбикорма, и все виды сельскохозяйственных машин, которые сделали ненужным малопродуктивный, дорогой ручной труд.

И вот нам сообщили наконец, что мы едем на ферму. Правда, произошло это в тот день, когда мы бы предпочли остаться в городе: было 15 октября, Moratorium Day, День мораториума, то есть общенационального протеста против войны во Вьетнаме.

Он готовился на протяжении многих месяцев специальной инициативной группой, во главе которой встал Самюэл Браун, студент, бросивший колледж, чтобы целиком посвятить себя делу борьбы за прекращение войны во Вьетнаме. Со всей страны в адрес комитета поступали пожертвования. Были пожертвования по пятьдесят долларов и больше. Двадцать пять центов прислала тринадцатилетняя девочка. «У меня нет денег, — писала она. — Это все, что я посылаю».

Задуманное вначале как День студенческого протеста, движение это охватило города Америки. 15 октября 1969 года на улицы вышло более миллиона человек.

В этот день с утра за нами заехала в гостиницу богатая одинокая леди, волонтер местного Центра по приему гостей, и увезла в деревенскую тишь, на ферму к миллионеру мистеру Фросту, который, как она сказала, ждет нас. Он очень стар, жизнь его была полна событий и драматизма, он давно уже никого не принимает, но благодаря ее давней дружбе с мистером Фростом он готов принять нас и ждет.

Неискренне было бы утверждать, что всю свою жизнь до этого момента каждый из нас мечтал о встрече именно с мистером Фростом. Нам хотелось посмотреть ферму, одну из тех ферм, что кормят страну. И если б нам дано было выбирать, мы бы выбрали для этого другой день, а не 15 октября. Но хозяева есть хозяева.

Машина, в которой везла нас миссис Шеферд, была совершенно юным созданием. Не годы, а месяцы минули с того дня, когда она сошла с конвейера.

Миссис Шеферд много дольше жила на свете. Она пережила своего мужа, о котором говорила с легкой по отношению к нему грустью, поскольку он никогда не понимал ее. И подруги в хайскул тоже не понимали ее, она была умней их. Ее ждала трудная жизнь умной женщины. Но она не жалуется, она терпеливо несет свой крест. Она рано поняла: «Быть умной значит быть терпеливой...» Вот такую тихую беседу вели мы в один из волнующих дней Америки.

Вторую половину пути миссис Шеферд посвятила уже мистеру Фросту. Как опытный экскурсовод, который еще до осмотра достопримечательностей вводит в курс дела, чтобы на месте не терять драгоценного времени, она дала нам книгу и предложила прочесть отчеркнутое место. Это был рассказ о том, как мистер Фрост начинал от нуля, как он, ничего не имея, сделал шаг к тому, чтобы иметь миллионы.

Много десятилетий тому назад, когда только открыли техасскую нефть и слухи о ней еще не распространились широко, мистер Фрост что-то проведаль. А информация, как известно, мать интуиции. И вот он, взяв охотничьих собак, взяв ружье, надев сапоги, отправился якобы на охоту. В те места, где велась разведка нефти.

Он сделал вид, что у него испортилось ружье, присел поговорить с рабочими и вот, когда они отошли или отвернулись, приподнял крышку колодца и увидел нефть. И он купил за бесценок эти земли, которые в дальнейшем дали ему миллионы. Вот какую дичь принес он с той охоты...

В сущности, это рассказ о наивном детстве промышленного шпионажа. Теперь все делается проще и намного элегантней. Микрофон величиной с таблетку аспирина, смонтированный в вечернее платье дамы, приехавшей на прием... Домашний телефон, без которого абсолютно невозможной представляется современная жизнь и который так легко превращают в передатчик...

В Америке давно уже повсеместно действует автоматическая телефонная связь.

Не только из квартиры — из уличного автомата вы можете вызвать любой город, надо только опускать не пяти- или десятицентовые, а двадцатипятицентовые монеты.

Но это, между прочим, означает и то, что из любого города, набрав нужный вам номер и предварительно подключив к телефонной трубке магнитофон величиной с коробку сигарет, вы можете записывать все, что ваша жертва говорит по телефону. Вы можете записывать его домашние разговоры, когда трубка покоится на рычагах. И все это — с минимальной затратой пленки: магнитофон автоматически отключается, когда наступает тишина, и автоматически включается, когда звучит человеческий голос.

Электроника, давшая людям возможность проникнуть в космос, дает возможность проникать и в тщательно охраняемые секреты. «Секретов больше нет,— заявил ас промышленного шпионажа Бернард Спиндель.— Имея в своем распоряжении время, деньги и нужное оборудование, можно узнать все. Не существует больше интимных секретов и личной жизни».

Пятьсот долларов стоит пластмассовая маслина, начиненная радиоаппаратурой. Помешивая ее в бокале соломинкой, которая одновременно служит антенной, вы можете передавать все, что говорится за коктейлем.

При этом жертвы промышленного шпионажа, по выражению одного французского журналиста, «обречены на оптимизм». До самой своей гибели они, как правило, не жалуются, делают вид, что все идет хорошо, так как не менее страшно для них падение акций. Вот так, сохраняя хорошую мину, исчезла вторая по значению парфюмерная фирма Америки «Хезель Бишоп»: результаты ее научно-исследовательских работ всякий раз становились известны конкуренту. Последний банковский счет фирмы показал дефицит тридцать миллионов долларов.

Словом, все теперь делается гораздо элегантней, с соблюдением правил хорошего тона. А мистер Фрост начинал, когда и нравы были грубы, и методы проще: надел сапоги, взял охотничьих собак, ружье на плечо и — пошел наудачу...

По полевой дороге мы подъехали к массивным железным воротам. Ворота были закрыты. Миссис Шеферд, половину пути трогательно рассказывавшая о своей дружбе с миссис и мистером Фрост, несколько смутилась перед этими воротами, не зная, как вызвать хозяев.

— Я когда приезжала, они всегда были открыты,— сказала она сконфуженно. Она не подозревала, что этой ее вынужденной лжи недолго суждено прожить. А пока что она храбро предложила открыть ворота самим.

Усилиями троих мужчин одна половинка ворот медленно отворилась. Мы удерживали ее, пока дамы проехали в машине, а когдапустили, она медленно затворилась.

Так мы вступили во владения мистера Фроста. Навстречу на рыжей кобыле ехал работник в джинсах, синей рубашке и серой фетровой ковбойской шляпе.

— Хелло! — опустив стекло машины, приветствовала его издали миссис Шеферд.

И произошел короткий разговор, состоявший из одних радостных восклицаний. Из этого разговора, между прочим, выяснилось, что хозяев дома нет, а работник — он же тут и нечто вроде управляющего — ничего о нашем приезде не знает. А восклицания все нарастали и завершились просто ликующим «о'кей!», после чего миссис Шеферд в своих расклеванных брюках вышла из машины, чтобы связаться по телефону, а работник с седла пересел за руль и, как свою, повел машину по полям.

На вид ему было года двадцать три. От привычки постоянно шуриться на ярком солнце лицо его сбоку казалось улыбающимся. Он был такой же загорелый, как все крестьяне мира в летнюю пору. И руки у него были большие, загрубевшие от работы. Но этими руками он умел делать все.

Мистер Кримгольд как сел с ним рядом, так завладел им полностью: расспрашивал, рассказывал, смеялся и вновь рассказывал.

— Он рассказывает ему о своей ферме,— кратко отреферировала Фрида.

Нам уже кое-что было известно о ферме мистера Кримгольда. Он держал там на откорме семьдесят девять быков, и миссис Кримгольд об этом его увлечении сказала так: «It's cheaper than golf» («Это все же дешевле, чем игра в гольф»).

Ферма давала убыток. И вот это, как оказалось, было выгодно. Убыток понижал налог с основного дохода и таким сложным путем давал некоторую прибыль.

Вдруг мистер Кримгольд обернулся к нам с переднего сиденья, радостно смеясь:

— Вот это то самое!.. Вы поняли? Он говорит,— и он опять засмеялся, не удержавшись,— они здесь тоже... Вы понимаете?.. Они тоже, тоже получают убыток. Это очень интересно! Только я по сравнению с ними... Я — мини Сайрус Итон. Мини-юбка!..

И он опять захохотал.

Мы объехали ферму мистера Фроста. На одном пастбище лежали, пережевывая жвачку, белые быки. На другом вольно паслись олени. Их словно ветром сдувало при виде машины.

Оленей свезли сюда из многих стран мира, они уже дали потомство в неволе, и только одна порода черных, кажется африканских, оленей не хотела давать потомства, упорно огорчала мистера и миссис. Но все вместе — белые быки, те олени, что дали потомство, и те, что огорчали,— приносили запланированный убыток. А он, понижая налог с основного дохода мистера Фроста, давал прибыль.

Вот так состоялось знакомство с экзотической стороной сельского хозяйства Америки. С тем, что не кормит страну, а скорей кормится при названных выше пяти с небольшим процентах.

У дома с готовой версией, почему хозяева, к сожалению, не смогли быть, ждала миссис Шеферд. Работник проводил нас до ворот, нажал пальцем красную кнопку электромотора, и ворота сами растворились: вот и все усилие, которое требовалось для этого. Я едва не рассмеялся, вспомнив, как мы трое во главе с мистером Кримгольдом, вдохновляемые миссис Шеферд, упираясь ногами, налегая плечами, открывали их с глупой простотой.

Когда отъехали, я посмотрел в боковое стекло. Работник уже шел обратно в своей синей рубашке, в ковбойской шляпе, а ворота за его спиной сами собою закрывались, хороня тем самым маленькую вынужденную ложь миссис Шеферд.

А в общем, и в этом случае убыток дал, так сказать, запланированную прибыль: мы возвратились в Хьюстон, когда демонстрации протеста уже закончились.

Я видел эти демонстрации вечером и в следующий день по телевидению, сидя в номере гостиницы. Выступали сенаторы, поддерживающие политику Никсона, выступали сенаторы, поддерживающие движение протеста.

Сенатор Черч на одном из митингов в Вашингтоне сказал:

— Такого раскола, какой существует сейчас в вопросе о вьетнамской войне, Америка не переживала со времен Гражданской войны. Американцы требуют положить конец войне.

С вечера 14 октября до полуночи по требованию двадцати трех конгрессменов от демократической и республиканской партий в стенах конгресса шла бурная дискуссия палаты представителей. Открывший дискуссии конгрессмен Джекобс предложил считать ее началом общенационального выступления за мир.

Всю эту ночь, и день, и следующую ночь студенты сидели на улицах Вашингтона. Сменяя друг друга, они читали вслух имена погибших во Вьетнаме. Эти ночные кадры невозможно было смотреть без волнения. Свет факелов, белые, черные блестящие лица в колеблющемся свете, страстное лицо человека, стоящего перед ними, лицо проповедника. Список, который читал он с листа, бесконечен, он вмещал уже более сорока тысяч жизней. А за ним незримо стоял другой, где безымянно — сотни тысяч уничтоженных людей иной, далекой страны.

В память о сорока тысячах погибших тридцать тысяч живых прошли мимо Белого дома. И во главе одной из колонн с зажженной свечой в руке шла вдова Мартина Лютера Кинга Коретта Кинг.

Вице-президент Спиро Агню, известный ультраправыми высказываниями и среди них таким: «Сегодня Америка все ближе скатывается к классическому определению Платона насчет вырождающейся демократии, которая позволяет толпе вмешиваться в дела государства», — с яростью обрушился на «длинноволосых негодяев в университетах», на профессоров и на прессу, за что и получил от известного обозревателя Джеймса Рестона прозвище Испорченный Свисток.

Сразу же после своего избрания на пост вице-президента Спиро Агню прославился серией речей о «жирных япощках» и «полячишках». Теперь он заявил, что антивоенные выступления инспирированы кучкой «наглых снобов», «идеологическими евнухами», а молодежь Соединенных Штатов введена в заблуждение горсткой «упаднических эле-

ментов». «Мы в состоянии,— предупредил он,— изолировать их от нашего общества. При этом мы будем испытывать не больше сожаления, чем человек, выбрасывающий на помойку гнилые яблоки».

Говорят, Спиро Агню делает то, чего президент не может сделать сам. Не случайно газета «Чикаго сан таймс» поместила карикатуру, изображавшую Агню в виде громоотвода: он стоит на крыше во время грозы, притягивая к себе молнии критики и тем самым давая возможность Никсону спокойно спать в доме.

Он призывал молодежь к патриотизму, Спиро Агню. Он заявил, что отказ от марша покажет стопроцентную преданность Америке. Но молодежь рассматривала антивоенные демонстрации, в частности, как проверку свободы слова, свободы выражения собственного мнения, которая не должна исчерпываться одними лишь незначительными вопросами.

В ноябре, в день Второго мораториума, студенты несли мимо Белого дома плакат: «А не послать ли на Луну Спиро Агню?»

Газеты сообщали в те дни:

студенты университета в Форт-Коллинсе (штат Колорадо) пронесли по улицам города гроб, покрытый американским флагом: так привозят из Вьетнама убитых солдат;

в университетской церкви в Индианоле (штат Айова) непрерывно бил колокол, призывая людей выйти на демонстрацию;

в Канзас-сити подростки каждую минуту звонили в телефонную компанию: один звонок в память об одном убитом солдате;

в другом городе школьники шли и звонили в дома, пробуждая память, пробуждая совесть.

Показывали по телевизору городок, один из типичных маленьких городов Америки, где парни в основном интересовались спортом, где большинство парней не имели отсрочки от военной службы, так как не учились в колледжах. Восемь из них уже убито во Вьетнаме. У одной из могил корреспондент брал интервью у матери и отца убитого солдата. Они не призывали отомстить за их погибшего мальчика, они требовали прекратить эту войну.

Но даже такая передача каждые десять минут прерывалась рекламой. Нация должна была знать, что есть, найдено новое средство от головной боли, созданы неломящиеся спички, а чернослив по-прежнему остается лучшим слабительным для взрослых и детей.

За год с лишним, что минули с тех пор, надо полагать, созданы десятки новых, еще лучших лекарств от головной боли в таблетках и порошках. И новые, во всех отношениях совершенные спички не раз поразили воображение нации. А война во Вьетнаме все идет, и пожар перекинулся уже на Камбоджу.

И сыновья убивают сыновей и сами гибнут за шесть тысяч миль от Америки.

ШОССЕ

В Лос-Анджелесе в отеле окно моего номера на семнадцатом этаже выходило в сторону шоссе, и гудение его было слышно круглые сутки. Примерно с часу ночи до четырех шум становился меньше, потом опять нарастал, но не было такого часа, когда бы он исчез вовсе. Он был всегда, как атмосферное давление, в нем рождались, жили, приспосабливались к нему, но никогда не привыкали. Если бы он вдруг смолк сразу, оказалось бы, что люди говорят неестественно громкими голосами.

Машины шли ночью при свете фар и лиловом «дневном» свете неоновых фонарей. Выходило солнце над калифорнийскими холмами, движение прибывало, и начинало казаться временами, что это движется шоссе со всеми стоящими на нем, как на конвейере, красными, желтыми, черными, сиреневыми, белыми, зелеными блестящими машинами, которые только совершают небольшие перестроения.

В десятом часу и наш «мустанг» образца семидесятого года стал в этот общинный движущийся поток. Возможно, это был не «мустанг», я не автомобилист, но это было нечто золотистое, свежесвымытое, с пристяжными ремнями, как в самолете, и мотором устрашающей мощности. А за рулем сидел мистер Кримгольд, и ехали мы в городок

Санта Барбара к известному американскому литературному критику, поэту Кеннету Рексроту. Но на первых порах не могли выехать из Лос-Анджелеса.

— О, Лос-Анджелес — это целая страна! — сказал мистер Кримгольд, когда стало ясно, что мы едем не в ту сторону.

Потом он сказал:

— На американской дороге думать не надо. Но на нее надо попасть...

И мы снова вернулись. А вскоре, вырuling на новый заход, он говорил:

— Если бы моя интуиция была немного быстрее. Мне там что-то сказало, что было не в порядке. Дорога должна была быть более шикарна...

За те две недели, что мы ездили вместе, он несколько усовершенствовал свой русский язык, основательно забытый в предшествующие сорок лет. А сорок лет назад он приехал в Америку, не зная ни слова по-английски, и одно из его первых вокзальных впечатлений было связано с надписью на дверях. Надпись была краткая: «Push» — толкай. Мистер Кримгольд толкнул и вошел туда, где за пользование кабиной каждый платит десять центов. Но, выходя, он не увидел этой надписи, толкнул дверь — не открылась. Эту дверь надо было толкать снаружи, и пока он стоял, соображая, снаружи толкнули, и дверь ударила мистера Кримгольда. Она ударила, она же научила. Он рассказывал, что написал тогда своему другу: «Это страна «пуш». Если ты не будешь «пуш», тебя будут «пуш». И все сорок лет он старался, чтоб по возможности не его.

Как человек зависимый, он очень заботился о солидности и внешнем достоинстве. Когда мы предлагали спросить дорогу, он всякий раз не слышал. Это Эйнштейн мог позволить себе не знать, какова скорость света. Эйнштейн говорил, если ему понадобится, он посмотрит в справочнике. Мистер Кримгольд позволить себе этого не мог. Он помнил все, знал все, и потому мы никак на первых порах не могли выбраться из Лос-Анджелеса.

Наконец он воскликнул победно:

— Мы в орбите! — И сразу же чувство юмора вернулось к нему: — Но здесь много орбит. Если попал в неправильную орбиту, попадешь на луну... И вообще, география здесь никуда не годится. Что ты думаешь направо, так это налево, что ты думаешь на север, так это на юг.

— Но сейчас мы едем на север?

— Надеюсь...

А в общем, мы ехали. И, кажется, правильно. Впрочем, это не имело значения, потому что до первого города мы все равно повернуть назад не смогли бы. Сидя в машине, мы мчались туда, куда вела нас дорога. И слева от нас сидели в машине люди, курили, разговаривали, глядя перед собой, словно на некий экран, и справа в машине стекло в стекло с нами беседовали люди, а за их спинами в целлофановых мешках висели на плечиках костюмы. И начинало казаться временами, что все мы стоим, а только стволы пальм с правой стороны дороги проскакивают назад и мимо со скоростью девяносто миль в час. Потом это были уже не пальмы, а зеленые до самой земли апельсиновые деревья, отделенные от шоссе металлической сеткой. И под ними на сухой земле лежали оранжевые апельсины, как у нас лежат паданцы под яблонями. А слева за беспрерывным потоком встречно мелькавших машин был Тихий океан. Пологие волны его катились на плоский берег, и взрослые люди и ребятишки, мокрые, загорелые, прыгали в волнах. И вдалеке в синеватом мареве виднелись в океане нефтяные вышки. И мистер Кримгольд начал очередной свой дорожный рассказ:

— Вообще я технократ. Я не литератор. — Он сделал отметающий жест. — Будь я на вашем месте, так я бы удивлялся, почему я, человек моего возраста и моего пола, взял на себя эту обязанность — ездить с вами? Мне на деньги наплевать. Я больше заработаю. Но я друг Советского Союза. И друг рода человеческого. Эти два гиганта, Советский Союз и Юнайтед Стэйтс, должны сойтись, иначе все пойдет на луну...

Это, конечно, было сильно сказано: «Мне на деньги наплевать». В Америке на многое решатся наплевать, но к деньгам отношение самое серьезное. И в банке люди ведут себя сосредоточенней, чем в храме. Впрочем, это и есть храм, воздвигнутый богу живому, властному, вездесущему, который правит и делами и думами. Все жертвы, все невинные младенцы и агнцы прошлых тысячелетий и веков — малая капля в сравнении с жертвами, принесенными и ежечасно приносимыми этому богу. И те сотни тысяч, что,

не успев проснуться, сгорели в пламени Хиросимы и Нагасаки, тоже ему принесены в жертву. Страшно подумать, каких он еще потребует жертв...

В остальном же мистер Кримгольд был вполне искренен. И хотя трое его детей давно уже взрослые, самостоятельные люди, ему никак не хотелось, чтобы все пошло «на луну».

Свой дорожный рассказ, начатый издавеча, он не успел закончить, потому что «география здесь никуда не годится, что ты думаешь направо, так это налево...»: мы въехали в Санта Барбара. И на заправочной станции, откуда все начинается, как от печки, нам сказали, что да, это Санта Барбара, не зная, видимо, что, по нашим расчетам, Санта Барбара не здесь. И четверо девушек, сидевших прямо на асфальте рядом со своими рюкзаками, захохотали, увидя наше недоумение. Они откуда-то тащили на себе эти тяжелые рюкзаки, быть может с гор, и теперь отдыхали, вытянув ноги в джинсах. Были они пропыленные, загорелые и веселые, и все четверо ели жареные орешки из целлофановых пакетиков. Орешки эти они добыли тут же, проделав ту несложную операцию, которой и кошку можно обучить: бросили монетку, нажали кнопку — и пакетик выскочил в руки.

Для современного человека автоматическое действие — бросить и нажать кнопку — давно уже из средства, облегчающего жизнь, выросло в нечто большее. Оно стало как бы частью его достоинства, зримым символом могущества, оно возвышает его до уровня властелина. Нигде так мгновенно не исполняются все его приказания, как в автоматах: бросил — нажал — исполнено. И нигде, надо думать, нет такого количества автоматов, как в Америке. Если бы вдруг в один день они перестали работать, это было бы равносильно шоку. Потерянные люди метались бы первое время в поисках, куда бросить, на что нажать.

Они с такой легкостью, так щегольски-небрежно нажимаются, эти яркие кнопки, что иной раз немного страшновато становится при мысли об иных кнопках, нажатие на которые предполагает всю меру человеческой ответственности, высшую мудрость, способную все взвесить, прежде чем решить. Ибо нет ничего легче как нажать, нет ничего необратимей по своим последствиям. Но, кажется, не мудрость сдерживает, а страх.

Мы тоже бросили монетку и по телефону-автомату справились, не рано ли мы. Потом снова сели в машину и начали подыматься вверх по улочке города, а океан и гулящее шоссе оставались все ниже, ниже и дальше.

Кеннет Рекрот вышел встречать в старых туфлях, ставших домашними, старых брюках и куртке, удобной и настолько обношенной, что она приняла форму его тела. Этот его домашний вид не был данью моде, той данью, что видна повсюду, даже в архитектуре.

Когда-то, не имея средств и хороших орудий труда, люди складывали дома из грубо отесанного камня. Теперь, от богатства, это стало модно и в Америке и кое-где в Европе. Это хороший стиль: все удобства, «эр кондишен» и внешняя подделка под старину. Так сказать, искусственно созданная естественная фактура. Это «смотрится». Это современно.

И вытертые до неузнаваемости, вытравленные, а еще лучше прорванные джинсы — тоже современно. «Современно» означает сегодня даже больше, чем «модно». Современно одетый, с современной спортивной фигурой, современно мыслящий человек — как хорошо, как удобно в наши дни быть современным!

А Кеннет Рекрот несомненный. И даже неспортивный. Просто пожилой человек, много повидавший, успевший за долгую жизнь о многом подумать и написать много книг. Эти книги по истории музыки, живописи, скульптуры, по проблемам современной и классической поэзии известны в Америке и за ее пределами. И всю свою жизнь он писал стихи. А сейчас в колледже Санта Барбара ведет семинар поэтического и народного творчества. Известная исполнительница и автор многих песен протеста Джоан Базз тоже была в свое время студенткой в его семинаре.

В Санта Барбара Кеннет Рекрот снимает одноэтажный старый дом в старом саду. Хозяин этого дома умер.

— Он умер здесь, и мы ничего здесь не трогаем. Что само растет — растет. Мы только поливаем иногда сад.

И оглядев и сад и дом, Кеннет Рекрот, словно бы сам удивившись, сказал:

— Он умер просто от старости.

И вот эти обычные слова отчего-то меня поразили.

В школе учительница арифметики всегда говорила мне: «Ты не будешь успевать по арифметике, потому что и мать твоя у меня не успевала...» Она учила и мою мать и меня, и поколение людей жили и проходили на глазах друг у друга. Человек знал не только, где он родился, где похоронены его родители, он знал, куда его отвезут, когда наступит срок. По статистике, средняя продолжительность жизни была меньше, но было необходимое ощущение прочности бытия.

С тех пор столько и старых, и молодых, и детей погибло в войнах, стало пеплом в лагерях уничтожения и гибнет, гибнет по сей день. И не утихают войны.

Даже создав предание о мире ином, человек утешался не преданиями. Утешало, всему давая смысл, сознание, что после него дети его будут жить на земле, не станет его — будет жив род человеческий. Впервые люди живут с сознанием, что не только их — человечества может не стать. И потому, наверное, так удивляет, когда услышишь, что из всей отпущенной ему жизни человек прожил всю.

Мы сидели на каменной площадке перед домом. Было тихо здесь, среди старых эвкалиптов, под осенним небом, таким же, как у нас. И не жарко. Здесь же, в саду, на крышке стола от пинг-понга секретарь Рексрота миссис Кэррол Тинкер накрывала обед. К обеду она сама испекла маленькие, из серой муки хлеба. Ей проще было сесть в машину и через десять минут привезти свежий, завернутый в целлофан и даже нарезанный хлеб. Но она поставила тесто в честь гостей, и теплый хлеб был посреди стола в плетеной хлебнице.

Днем ранее была у нас совсем другая встреча: мы беседовали с профессором Южно-Калифорнийского университета, специалистом по восточноевропейским проблемам, мистером Урбаном. И присутствовал на этой встрече еще некто господин Мягков. Гвардейского роста, завидной выдержки, отлично говорящий по-русски, господин Мягков сидел молча, ни разу не сняв свои темные вороненые очки. Но дело он делал и молча: он смотрел, слушал, сопоставлял.

Господин Мягков бывал в нашей стране, откуда он и происходит, был, в частности, с делегацией учителей, хотя не исключено, что основная его профессия иная. Его бы выдержку да мистеру Урбану. А тот так ненавидел, что и не сдерживался. Но при всей несерьезности его доводов, то, что он говорил, было очень и очень серьезно по своим возможным последствиям, если бы ход событий оказался целиком в руках таких, как он, людей. Он говорил, что политикой правительства Соединенных Штатов является поддержание напряженности в отношениях между Китаем и Советским Союзом. Не знаю, имел ли он полномочия говорить так или проболтался вгорячах, поскольку официально такая политика не декларируется, но нас он заверил, что все от него зависящее в этом направлении он делает.

А ведь была уже политика подталкивания, и разразилась величайшая из войн. Не знаю, жил бы сейчас на свете мистер Урбан, находившийся в то время в Англии, если бы ради победы над фашизмом наш народ не принес бы безмернейшей жертвы.

Я рассказал об этом разговоре Кеннету Рексроту, мне интересно было его мнение.

— Таких людей я знаю, — сказал он. — По ним нельзя судить об Америке. Большинство людей в Америке ненавидит войну. Особенно молодежь. А для этих время остановилось. Среди них есть бывшие марксисты, разочаровавшиеся в марксизме. Эти ведут себя как отвергнутые любовницы. Их будущее — прошлое. Они помнят наизусть кто, что, когда, по какому поводу сказал, спорить с ними бессмысленно, потому что реальная жизнь для них — цитаты. Они живут в этом мире цитат. А молодежь говорит: какое мне дело, что кто-то когда-то сказал, — я сейчас живу, тогда меня не было..

Он говорил и задумывался, не замечая, что замолчал. Мысленно он продолжал говорить, но слово, высказанное и прозвучавшее в нем, мало уже отличалось для него по своей сути.

В той гонке, в которой мчится вся Америка, быть может, только две категории людей не участвуют: молодежь, которой предстоит со временем в эту гонку вступить и которая сегодня бунтует, подвергая сомнению многие ценности, принятые обществом как несомненные, задумываясь не столько об устройстве вещей, сколько о механизме устройства жизни, и вот такие немолодые, как Кеннет Рексрот, люди, вышедшие из этой гонки и наблюдающие со стороны.

По арифметическому счету, если человеку двадцать лет, то все, что было за две тысячи лет до его рождения, отделено от него двумя тысячами и еще двадцатью годами. А если ему семьдесят, то к этому сроку надо еще пятьдесят прибавить, ибо семьдесят больше двадцати на пятьдесят. Но в жизни не все решается при помощи четырех действий арифметики.

Чем значительней человек, чем дольше он живет на свете, тем больше вмещает в себя. И прошлое, даже отдаленное тысячелетиями, становится частью его жизни, порой меняясь местами с настоящим.

— Мне иногда кажется,— сказал Кеннет Рексрот по связи с той мыслью, что была в нем,— что сейчас живет не больше тысячи человек из тех, что жили до войны.

Я взглянул на миссис Тинкер: ее тоже не было тогда.

А он говорил уже о том, о чем в те дни говорила вся Америка, сотрясаемая мощными демонстрациями молодежи: о войне во Вьетнаме.

— Года два назад я приехал в Англию, и Чарльз Сноу, с которым мы давно знаем друг друга, напал на меня: «Вот вы воюете во Вьетнаме!..» Я воюю? Я там не воюю. Это они воюют во Вьетнаме.— Он показал себе за плечо.— Пусть они отвечают за это. А я за это не отвечаю.

Быть может, это говорили прожитые годы и мудрость. Но все же, думаю, каждый из нас отвечает за все, что было при нас и свершалось. Это сознание необходимо человеку, даже если иной раз он и бывает бессилён. Так же, как сознание бесценности человеческой жизни, пронесенное через все мрачные периоды истории, помогло выстоять, выжить роду человеческому, так и сознание ответственности за все происходящее на земле поможет людям победить в борьбе с тем, что против них людьми же установлено. Кроме них самих, это сделать некому.

Одной из мыслей Льва Толстого, быть может даже любимой мыслью, была мысль о том, что если люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое. «Ведь как просто».

Как просто сказано. Как трудно это сделать. Трудней, чем слетать на Луну и вернуться обратно, о чем тогда и помышлять было нереально. Трудней многих трудов, свершенных человечеством. Но и нужней всего.

Мы выехали из Сайта Барбара под вечер и долго стояли у гудящего, обдающего ветром шоссе, а перед нашим радиатором мелькали, мелькали беспрерывно машины. Вдруг наш «мустанг» сорвался с места силою табуна в триста пятьдесят голов, пространство между двумя машинами, как вакуум, всосало нас, и мы уже неслись в струе ветра вслед за бирюзовой, а бежевая, не отставая и не догоняя, повисла на хвосте у нас.

И так же, как утром, слева летел на нас встречный поток, а солнце светило справа. Только утром, взойдя, оно стояло над холмами, а теперь садилось в океан. И опять за рулем был наш «эскорт», наш «драйвер» мистер Кримгольд, и, по его выражению, думать тут было не нужно, раз уж мы попали на дорогу, все равно ни съехать с нее, ни повернуть обратно мы уже не могли.

Конвейер мчался, а мы сидели. И справа от нас и слева от нас в мягких креслах машин сидели люди, словно в одном зрительном ряду. Потом еще одна машина вдвинулась в наш ряд. На переднем сиденье ее молодые, спортивного вида родители с сигаретами в пальцах о чем-то оживленно разговаривали, а на спинке заднего сиденья в укреплённом на ней белом складном стульчике сам по себе кормился младенец, донышком вперед, соской в рот держа в руках бутылочку с молоком. И все это — на скорости девяносто миль в час.

В каждой из этих машин были современные удобства и свой микроклимат. Не затрачивая усилий, легким поворотом рычажка его можно было сделать тропическим или вполне умеренным. Но общий климат мало зависел от каждого из этих людей. И все вместе одновременно, как бы стоя на месте и двигаясь, мы мчались туда, куда вела нас дорога.

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. СТАРКОВ

★

НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ

(Трилогия Константина Федина)

Еще в 1936 году Фединым был задуман большой роман об искусстве и о людях искусства. Но тогда роман был отложен: главной работой в то время был «Санаторий Арктур». Вот почему писатель ограничился лишь предварительными заметками, фиксацией, в самом общем виде, возможных сюжетных ходов, отдельных реплик будущих персонажей, различных вариантов названий романа («Актеры», «Шествие актеров», «До лучших времен» и др.). С этих же предвоенных лет в личном архиве Федина сохранился набросок «Пролога» будущего романа, условно названного «Картина нравов». Наконец, до войны был составлен и план романа. Об этом свидетельствует, в частности, запись на первом листе рукописного экземпляра «Первых радостей»: «Первоначальный замысел: Минск, февр. 1936. Ленинград. План — 1937 — 39 — д а ч а».

«Впоследствии,— говорил Федин десятью годами позже в широко известной статье «По поводу диалогии»,— я не переставал возвращаться к этому замыслу. Героиня то уступала место новым предполагаемым героям, то двигалась вперед, сотни обстоятельств ее жизни вводили меня в разные стороны, записки мои умножились, папка, в которой они хранились, была названа мною «Шествием актеров».

И хотя далеко не все в новом романе было до конца ясно, временами писателю казалось, что от замысла до начала непосредственной работы над ним — путь не столь уж далекий. Во всяком случае, в мае 1938 года газета «Красная Карелия» под рубрикой «Над чем работают советские писатели» поместила рассказ Федина о будущем его

произведении, свидетельствовавший, что к тому времени представление о нем сложилось у него уже достаточно определенно:

«Главная моя работа в этом году — новый роман, замысел которого возник сравнительно давно. Книга будет состоять из трех частей. Действие первой относится к 1910 году, второй — к 1919. События, изображаемые в этих частях, протекают в богатом провинциальном городе. В 1910 году протекает ранняя юность героя романа — революционера и детства героини — будущей актрисы. Здесь завязываются первоначальные отношения главных фигур романа — на фоне торгового русского города с его уродствами противоречий нелепого богатства и отчаянной нищеты. Театр с вечным стремлением «отразить» действительность будет показан здесь в образе российской провинциальной сцены и ее актерства.

Героический 1919 год будет дан в романе как картины гражданской войны. Город обороняется от белых полчищ, революцию защищают на фронтах. Все средства мобилизованы для защиты красного знамени, в том числе искусство... Наконец, третья часть романа. Ее действие относится к 1934 году, и в ней я хочу дать синтез больших человеческих судеб нашего времени...»

Но и тогда приступить вплотную к работе над новым романом не удалось: сначала затянулась работа над «Санаторием Арктур», потом отвлекли «сцены для кино» — «Киров», но особенно много времени и сил потребовала, конечно же, книга, получившая позже название «Горький среди нас».

А затем, едва первая часть этой книги появилась наконец в июньском номере «Нового мира» за 1941 год, началась война,

отодвинувшая все прежние замыслы, в том числе и замысел нового романа, на неопределенно далекий срок...

В первые месяцы войны, наряду с публицистическими выступлениями в печати, работой над «рассказом для экрана» «Норвежцы» и пьесой «Испытание чувств», Федин продолжает писать вторую часть книги «Горький среди нас». И в это же самое время, «когда войной решалась судьба родной страны» и когда «еще крепче, чем прежде, упрочилось убеждение, что будущее русской жизни нераздельно с ее советским строем и что истинно большим героем современности должен и может быть признан коммунист, деятельная воля которого однозначна Победе», Федин снова возвращается к записям прежних лет.

«...Я увидел весь роман иными глазами. Все как бы стало с головы на ноги. Первоначальная тема искусства показалась мне лишь одним из мотивов. На первый план выступило нечто более значительное. Это была тема истории».

Вскоре, после возвращения писателя из эвакуации, он вновь составляет план романа, а с весны 1943 года приступает к работе над первыми его главами. «Вторично. Начато 2 мая 1943, Москва (первые четыре главы) — новая эпоха на старых погостах...»¹ — запишет позже Федин на первом листе рукописи.

«Первые радости» начали печататься с апреля 1945 года, когда война еще не была завершена. Конечно же, на широком фоне литературы тех лет роман о 1910 годе выглядел несколько необычно. И тем не менее его глубокая связь с современностью была очевидна.

При всей внешней традиционности романа, почти все события в нем оказываются так или иначе связанными с ростом самосознания героев, с формированием новой личности, личности человека-победителя. Этим же интересом к личности, стремлением раскрыть ее в богатстве не только внешних, но и внутренних проявлений объясняется во многом и другая проходящая через весь роман тема — тема искусства.

«Меня интересовали, — скажет художник в конце 40-х годов в «Письме читателям», — главным образом две темы, когда я писал этот роман.

Прежде всего хотелось показать некоторые истоки современного нам советского харак-

тера. Они лежат в революционной истории нашей страны. Отсюда — время действия романа: 1910-й год, глухая пора русской общественной жизни, господство реакции, преследовавшей передовых людей, которые, однако, непреклонно отстаивали свой идейный путь. Это — юность отцов поколения, показавшего себя в полную силу во время Великой Отечественной войны.

Другая тема «Первых радостей» — взаимоотношение искусства и действительности. Является ли воображение художника «богом искусства»? Не обречено ли искусство на умирание, если оно отвергает связь с реальной жизнью? — вот вопросы, которыми заняты герои романа — актер и драматург — в их столкновении с юношей-революционером»².

Еще до войны, едва задумав роман об актрисе, Федин записывал: «Весна: Наташа кончает гимназию; Извеков — в послед[нем] классе Технического (об этом училище)». И тогда же, и тоже на отдельном листочке: «Судьба Наташи и Анечки одинаковые по мечте, но соверш[енно] разные в действительн[ости]. В 1910-м у Наташи тоже встречи с актером. Но Анечке 8 лет, а Наташе — 18»³. Уже в то время предполагалось, что Наташа (в романе Лиза Мешкова) должна наряду с Кириллом стать одной из главных героинь трилогии, чтобы к концу романа уступить это место маленькой Анечке, впоследствии — Аночке Парабукиной. Фабула эта сохранилась в дальнейшем и при работе над первым романом трилогии.

Кирилл в свои восемнадцать лет уже вполне сложившийся человек, отчетливо видящий впереди цель и твердо знающий, чего он хочет добиться в жизни. С первого своего появления на страницах романа он предстает человеком действия. Постоянная готовность к вмешательству в происходящее в сочетании с уверенностью в своем будущем, с жадной собственными руками делать это будущее с самого начала выделяют юношу среди других персонажей романа.

С такими, как Кирилл, показывает писатель, связано будущее России. Они не свернут с избранного раз и навсегда пути, какие бы трудности их ни подстерегали впереди.

Если Кирилл с самого начала романа — фигура цельная, неординарная, то его ровесница Лиза, воспитанная в духе неукоснительного подчинения отцовской воле и не

² Там же.

³ Там же.

¹ Личный архив К. А. Фебина.

способная, по существу, ни на какое самостоятельное решение, рядом с ним — еще совсем ребенок, а ее первая любовь к Извекову слишком воздушна и хрупка, чтобы стать надежной опорой в предстоящем ей испытании. И когда Кирилл арестовывают, то, словно в омут, замурив глаза, бросается она в замужество с чужим, нелюбимым человеком.

«Лиза была слаба, чтобы составить счастье сильного человека... Но, м[ожет] б[ыть], сильный человек сделал бы и ее сильной!»⁴ — определит характер героини сам автор романа в период работы над ним. А позже, уже в «Необыкновенном лете», возвращая читателя к этим событиям, повторит: «У ней не было своей воли. Свою волю она лишь начинала искать, когда Кирилл был для нее уже потерян».

Кирилл готов идти к цели сколько потребуется. Для Лизы же три года, на которые осужден в ссылку любимый, выслушивать нотации отца и видеть слезы матери выше сил, и она безропотно подчиняется чужой воле. «Лиза — так она и не выпила в жизни «настоящего вина»⁵, — записывал в этой связи Федин. И слова эти невольно вызывают в памяти другие — «Что касается вина, то он пил воду», — уже послужившие однажды эпиграфом к первому роману писателя, к «Городам и годам». Иначе говоря, история взаимоотношений Лизы и Кирилла выступает не просто как центральная романическая линия «Первых радостей», это еще и продолжение давнего спора с Андреем Старцовым, развенчание пассивного «старцовского» начала.

От стержневой темы романа — любовь — размовка Кирилл и Лизы — отпочковываются несколько тесно переплетающихся с ней и вместе с тем во многом самостоятельных мотивов. Наиболее важные из них связаны, конечно же, с судьбой маленькой Аночки Парабукиной и с судьбами Пастухова и Цветухина, с их спорами об искусстве.

«Историческая правда, которой я стремился во всем следовать», — говорил позже К. Федин, — заставила меня уделить в «Первых радостях» относительно небольшое место героям революции. Господствовал царизм. Большевики должны были беречь и напрягать все свои силы, чтобы глубоко в подполье выковывать будущую победу». Но тема будущего, как подчеркивает самим ха-

рактером образного раскрытия действительности в романе писатель, связана не только с тщательно скрываемой от посторонних глаз деятельностью Рагозина и его жены Ксаны, Кирилл и пожилого рабочего, от которого он впервые услышал обращенное к себе слово «товарищ». Будущее прямо зависит еще и от того, сумеют ли широчайшие массы понять, что уже близок момент, когда они должны будут взять власть в свои собственные руки и приступить к переустройству мира под руководством большевиков. В этих условиях дорог каждый молодой, зеленый росток, тянущийся к свету, дорого уже само пробуждение чувства личности в человеке. Именно применительно к Аночке и можно сказать, что родившаяся в 1936 году тема искусства, в первую очередь театрального искусства, и окончательно ставшая ясной в годы Отечественной войны тема будущего, подготовленного длительным предшествующим развитием общества, сливаются воедино уже в первом романе трилогии.

Что такое искусство? И каковы место и роль художника, творца в происходящих событиях? Об этом немало и горячо спорят в романе. И первый такой спор возникает между Пастуховым и Цветухиным сразу же после посещения ими ночлежки. Но решающее место в этом споре отводится, конечно же, столкновению взглядов Пастухова и Цветухина, с одной стороны, и Кирилл Извекова — с другой.

Уже при встрече Кирилл с Пастуховым и Цветухиным на Кумысной поляне за репликами юноши, едва речь заходит о смысле жизни, ощущается не только поразившая Пастухова уверенность в собственном будущем, но и убежденность в том, что каждый человек несет ответственность за будущее общества в целом.

А вскоре за этим разговором последует другой, в театре после окончания спектакля «На дне». Стоя в толпе, устроившей овацию актерам, Лиза, имея в виду Цветухина, говорит Кириллу:

«— ...Его Барон самый несчастный из них, и его больше всех жалко. А самое главное, что их всех жалко.

— Нет, главное — что они поднимают в тебе возмущение», — не соглашается Кирилл. Тогда-то оказавшийся рядом Пастухов и затаскивает их в уборную к Цветухину, который интересуется, понравился ли спектакль.

«— Вообще — да, — сказал Кирилл негромко, так что все прислушались, разгляды-

⁴ Там же.

⁵ Там же.

вая критика, надломившего общий восторженный тон.

— А в частности, что же не понравилось? — спросил Цветухин с любопытством и немного поощрительно, как спрашивают детей.

— Вы не понравились...

— Я? Но почему же? — удивился Цветухин.

— Вы сыграли слащаво и всех разжалобили. А я читал пьесу, там совсем не так.

— Интересно, что вы вычитали, — уже насмешливо сказал Цветухин.

— В пьесе все эти оборванцы вызывающие и смелые. А вы думаете, что они просто жалкие пьяницы».

Столкновение двух трактовок знаменитой горьковской пьесы, спор, берущий свое начало со времени ее появления на свет и в той или иной форме возникающий в жизни время от времени до сих пор, воспринимается читателями, конечно же, не только как спор о том, состояла ли цель автора «На дне» в пробуждении сочувствия к обездоленным людям труда или в призыве их к борьбе за устройство жизни на иных социальных началах. За ним на страницах «Первых радостей» встает еще и сквозная тема всего творчества Федина, тема гуманизма истинного и гуманизма мнимого. И особую остроту она обретает с того момента, когда Иззекова арестовывают, а с Пастухова и Цветухина берут подписку о невыезде.

Вызов в полицейское управление поражает Александра Владимировича как гром с ясного неба. И вот, надев сначала синий пиджачок и затем сменив его на светло-гороховый («...цвет более тонкий и независимый», — подчеркивает Федин), положив в карман портсигар и тут же заменив его нераспечатанной («...в гербах и медалях», — вновь подчеркивает писатель) коробкой заграничных сигарет, он отправляется «в охранку». Сцена допроса Александра Владимировича, следующая почти сразу же за сценой допроса Кирилла, — это вновь продолжение спора двух героев, но спора уже не об искусстве, а о самой жизни. Они резко контрастны, эти две сцены; любимейший фединский прием сопоставления героев в сходных обстоятельствах позволяет наглядно показать, как по-разному ведут себя люди перед лицом опасности. По сравнению с мужественным поведением Кирилла, обвиняемого в печатании и распространении прокламаций, поведение Александра Владимировича, привлеченного в качестве не обви-

няемого, а всего лишь возможного свидетеля обвинения, оставляет тягостное впечатление.

«Можно себе представить, — размышляет за несколько минут до вручения ему повестки Пастухов, — путем воображения, любые формы будущего, но выбрать какую-нибудь одну, как неизбежную, доступно только предвидению». И тут же спешит отбросить эту мысль: «Пусть воображение беспомощнее предвидения. Оно слаще его. Фантазия слышит все ароматы мира, логика — только сильнейший».

Вернувшись из полцейского управления домой, Александр Владимирович невольно возвращается к этим своим недавним раздумьям: «Черт знает! Вот только что он наслаждался размышлениями за этим столом. Он восхвалял фантазию. О да, он мог по своему произволу вообразить человека, невинно преследуемого слепым законом. Но разве мог бы он допустить, что через минуту сам подвернется преследованию! В лучшем ли положении Кирилл Иззекков? Не из породы ли он людей, способных предвидеть? Но неужели этот мальчик уже знал, что дорога на баррикады лежит через острог?»

Работу над «Первыми радостями» писатель завершил в августе 1945 года. И сразу же, практически не позволив себе даже краткой передышки, приступил ко второму роману трилогии.

Если в «Первых радостях» мысль о кропотливой, постоянной работе большевиков по организации широких масс и подготовке революции, проходя через все произведение, дана вместе с тем вторым планом, то в «Необыкновенном лете» давнее и постоянное стремление Федина к синтезу человеческих судеб и истории общества выступает намного отчетливее и полнее, чем в любом из предшествующих произведений.

«Судьбы людей в истории явлений — вот из чего должна складываться историчность содержания этих романов»⁶, — записал художник, приступая к работе над трилогией. К «Необыкновенному лету» это относится в еще большей степени, нежели к «Первым радостям». Тем более что события второго романа связаны с одним из самых напряженных периодов в жизни молодого государства рабочих и крестьян.

Большинство персонажей «Необыкновенного лета» — старые знакомые читателей по первому роману трилогии, новых действу-

⁶ Личный архив К. А. Федина.

ющих лиц не столь уж и много. Но вот события развиваются по сравнению с «Первыми радостями» словно бы в убыстрившемся темпе, да и по насыщенности этими событиями, и по широте встающей за ними общей картины жизни страны в те годы второй роман намного богаче первого.

«Мне важно преломление сознания героев на фоне и под воздействием событий»⁷, — подчеркивал Федин в период работы над романом. Только на фоне событий и только как происходящие под непосредственным их влиянием могут быть поняты и дальнейшая, после «Первых радостей», эволюция Цветухина, и стремительный взлет Аночки Парабукиной, и бесславная гибель Полотенцева, Зубинского, Шубникова...

Да взять хотя бы жизнь того же Александра Владимировича Пастухова.

«Он по природе не любил неприятностей», — снова, как и в «Первых радостях», замечает писатель, едва Пастухов появляется на страницах «Необыкновенного лета». По существу, в этой фразе вновь повторяется лейтмотив характера.

Но в «Первых радостях» неизменным оппонентом Пастухова, прямо подвергавшим сомнению его взгляды на действительность и на искусство, выступал практически лишь один Кирилл. В «Необыкновенном лета» ситуация уже иная. Теперь и Цветухин спорит с Пастуховым не на словах только, но и всей своей работой по созданию нового, революционного театра. Невольно втянутым в этот спор оказывается также давший Пастухову пристанище Арсений Романович Дорогомиллов. Наконец, вновь, как и девять лет назад, пересекаются в романе судьбы Пастухова и «испорченного мальчика», ныне секретаря исполкома Кирилла Извекова.

Сущность разногласий между сторонниками двух разных взглядов на место и роль искусства в жизни и в общественной борьбе демонстрируется уже в сцене первой встречи Пастухова с Извековым.

«— Товарищ Пастухов нам не ответил, поработает ли он для революционного спектакля?

— Пока меня еще не осенило подходящей темой, — ответил Александр Владимирович любезно.

— А если мы вам подскажем?

— Подскажете... замысел?

— Да.

⁷ Из письма К. Федина В. Вишневскому 22 апреля 1947 года (ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 3153).

— Вероятно, не подскажете, а... закажете?

— Назовите так.

— Замысел художника — это его свобода.

— На вашу свободу не посягают. Но не найдется ли в ее пределах нечто такое, что понравилось бы молодому театру? Ведь ваши прежние пьесы кому-то нравились?..

...Пастухов слегка передернул плечами и проговорил с той наставительной интонацией, в какой преподносится басенная мораль:

— Это было больше десяти лет назад. Я был новичком в искусстве и довольно много ходил по разным кружкам и собраниям. Однажды меня привели на совещание редакции «Золотого руна». Хозяином его был известный и вам Рябушинский. Чем-то он был рассержен и заявил примерно так: «Я вполне убедился, что писатели то же, что проститутки, — они отдаются тому, кто платит, и если заплатить дороже, позволяют делать с собой что угодно...»

— Ну, вы великолепно поддерживаете меня! — перебил Извеков.

Пастухов испытующе помедлил.

— Ведь вы не хотите сказать, что ваш взгляд совпадает с Рябушинским?

— Я хочу сказать, что мы вас освободили от рябушинских!»

Любопытно, что этот диалог двух литературных героев прямо восходит к реальному факту, о котором писал 31 августа 1907 года В. Брюсов в письме к Ф. Сологубу. Рассказывая о редакционном совещании, на котором присутствовал один из основателей журнала «Золотое руно» и издательства «Скорпион» Н. П. Рябушинский, Брюсов цитирует сказанные им слова: «Я вполне убедился, что писатели то же, что проститутки: они отдаются тому, кто платит, и если заплатить дороже, позволяют делать с собой что угодно»⁸. О том, что этот факт был известен Федину и что именно от него отталкивался писатель при работе над эпизодом столкновения Пастухова с Извековым, свидетельствует и упоминание о брюсовском письме, сохранившееся в архиве писателя среди подготовительных материалов к роману.

В личном архиве Федина сохранилась также и другая запись, объясняющая столь откровенный характер во многом политического спора двух почти десять лет не видевших друг друга и занимающих заметно раз-

⁸ См. В. Мейлах. Ленин и проблемы русской литературы XIX — начала XX вв. Л. Гослитиздат. 1970, стр. 154.

ные позиции по отношению к новой власти героев «15-я глава, — записывал романист, — должна быть в сюжете [о м] смысле наиболее острой! Это — м а с с о в а я сцена столкновений, где психологические состояния почти уже не описываются, а показываются в действии...»⁹.

Этим и объясняется, что взгляды двух спорящих сторон здесь предельно обнажены и что за репликами Извекова в споре его с Пастуховым прямо выступают основные положения ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература».

Еще более показателен диалог героев при следующей их встрече, когда с первых же реплик становится ясно: позиции оппонентов непримиримы не только во взглядах на искусство.

Чем руководствуются люди, ведущие братоубийственную войну: любовью или злом? — ставит вопрос Пастухов.

«В этой войне нами руководит ненависть, — отвечает Извсков. — Но ненависть наша не слепа. У нее зоркий глаз. Этот глаз — справедливость. Мы ведем справедливую войну обездоленных, которые защищают свое право на достойное человека бытие. Мы не хотим войны, мы хотим мира для всех. Но к нам применено насилие, нам предложена война. Мы приняли ее. Мы воюем против войны...»

— Я никогда не сомневался в возвышенности целей, о которых вы говорите, — не сдается Пастухов. — Я не так наивен и в конце концов не так жалок, чтобы бояться осмысленной борьбы. Но, признаюсь, меня ужасает, что в битве за добро человек вынужден делать так много зла! — и в ответ слышит:

«Вы ужасаетесь войны, но под войной разумеете революцию».

Спор Извекова с Пастуховым в «Необыкновенном лете» не нов для Федина. Корни его уходят в «Города и годы» и в «Братьев». И опять спор этот решается не в пользу абстрактного, слепого гуманизма. Он решается в пользу добра, понимаемого с позиций угнетенного большинства, добра, достижение которого поставили себе целью люди, не побоявшиеся ступить на путь борьбы с эксплуататорским меньшинством во имя счастья и свободы эксплуатируемого большинства.

Расхождения во взглядах Пастухова и Извекова на искусство, подчеркивает художник, связаны, прежде всего, с различием

представлений их о движущих силах и о закономерностях общественного прогресса. Вот почему и на этот раз каждый из собеседников остается при своем мнении. И опять, как не раз уже в подобных обстоятельствах, Пастухов спешит избежать неприятностей: он принимает решение покинуть Саратов.

Герой упорно старается сохранить свою «независимость», боится запятнать себя принадлежностью как к красным, так и к белым. В результате красные относятся к нему с нескрываемым недоверием, а белые попросту сажают за решетку, предоставив Пастухову тем самым реальнейшую возможность на собственном опыте убедиться, что самое богатое воображение слепо без предвидения. Именно здесь, в тюремной камере, и возникает настойчивее других в сознании Пастухова вопрос: «...Зачем же все-таки он погибает? Ведь он же ровно ничего не сделал! Если бы он дал хотя бы повод приписать себя к красным!»

Из тюрьмы Пастухов выходит уже другим человеком.

«Ты помнишь разговор с Дибичем у саратовского вокзала? — спрашивает Александр Владимирович жену Асю. — Так вот я теперь вижу, что Дибич прав. Такие, как он, если и погибнут, будут принадлежать Истории с большой буквы (это его слово, помнишь?), а не так называемым обломкам истории. Я тоже не намерен валяться в обломках. С какой стати, черт возьми?.. Мой выбор окончателен. Понимаешь? Я сделал его там, в местном филиале Дантова ада. Решил, что если останусь в живых — первое, что сделаю, напишу Извекову, что я был олух. И Дорогомилову тоже. Чтобы знали, что я не белогвардеец...»

Конечно же, читатель, достаточно хорошо знакомый со способностью Пастухова к самому неожиданному свойству переменам и превращениям, не может не задуматься: а что было бы, посади его под арест не белые, а красные? Не с той же ли решимостью Александр Владимирович объявил бы поступательной силой истории белых? Вот почему говорить об окончательном «прозрении» Пастухова рано. Но несомненно одно: он понял наконец, что в дни, когда поднялся весь народ, занимать позицию невмешательства попросту невозможно.

Тема искусство и жизнь — одна из центральных в «Необыкновенном лете», но все-таки связывает воедино судьбы всех его героев тема истории. И тему эту, как

⁹ Личный архив К. А. Федина.

и в первом романе, несут в основном те же Петр Петрович Рагозин и Кирилл Извеков. «Большевизм — как отбор сильных, способных провести Россию сквозь потрясения к будущему»¹⁰ — эта запись Федина, относящаяся ко времени подготовительной работы, предшествовавшей писанию романа, достаточно ясно характеризует место и роль Рагозина и Извекова в произведении.

Петр Петрович, как и в первом романе трилогии, один из тех мастеровых революции, что привыкли не отказываться от любой самой тяжелой и ответственной работы, поручаемой партией.

Эволюция Кирилла во втором романе заметнее. Он явно повзрослел и вырос. Как и Рагозин, свою главную задачу он видит в том, чтобы овладеть искусством вести за собой людей, по мере своих сил способствовать выработке новых отношений между ними. Этим чувством руководствуется герой — и помогая занять свое место в строю борцов за новое общество бывшему офицеру царской армии Дибичу, и поддерживая перед Рагозиным просьбу неприятного ему лично, но делающего, как он считает, большое и нужное для воспитания масс дело Цветухина. Мотив борьбы за нового человека отчетливо входит, наконец, в чувство Кирилла к Аночке, составляя основу этого чувства.

Особо стоит сказать об одной отчетливо определяющей поведение центрального героя трилогии черте.

Без сомнений, руководствуясь принципами революционной гуманности, ставит Извеков подпись под смертным приговором перебежчику, предателю Зубинскому. И в то же время гуманизм Извекова заметно отличается от гуманизма героев ранних романов Федина. Потому что Кирилл не боится «войны», не боится зла во имя добра, но одновременно и отдает себе ясный отчет, что зло, могущее быть истолкованным не как единственно возможный путь к достижению добра, способно нанести непоправимый вред делу революции.

По выходе романа много споров вызвал отказ Кирилла поставить подпись под приговором Витеньке Шубникову, мужу Лизы Мешковой, намеревавшемуся было вместе с Зубинским угнать машину к белым. Членам ревтройки свой отказ подписать приговор Извеков объясняет нежеланием, чтобы у кого-либо могло остаться подозрение, что он

воспользовался случаем и сводит с Шубниковым старые счеты.

Решение, принятое Извековым, не бесспорно для современного читателя. Прав, говоря об этом во вступительной статье к последнему собранию сочинений Федина, М. Кузнецов. Потому что подписи Кирилл приговор — и это было бы лишь справедливо по существу дела: относительно меры наказания Шубникова расхождений с остальными членами тройки у него нет («Против ли я высшей меры? Нет. Считаю, что другой применить нельзя»). Почему же тогда: «Но подписи моей под приговором Шубникову не будет»? Да потому, что в определении меры наказания Шубникову Кирилл видит одну сторону существа дела. Не менее важна для него, между тем, и другая, гораздо более широкая и выходящая за рамки судьбы персонально Шубникова: он не может не задумываться о том, какое истолкование может получить его согласие или его отказ, и понимает, что, отказываясь подписать приговор, он разоблачает этим клевету, будто Шубников — его жертва: «Разоблачается ложь, которая стремится нанести вред солдату революции, значит, самой революции».

Вряд ли мысли, беспокоящие Кирилла, могли бы остановить от подписания приговора, скажем, Курта Вана из «Городов и годов» или Родиона Чорбова из «Братьев»; да и в «Необыкновенном лете» отношение двух других членов ревтройки к решению Кирилла, не будем забывать, резко отрицательное. Но в том-то и проявилась дальновидность и наблюдательность писателя, что коммунисты у него, при всей близости друг другу в главном, в основном, те или иные конкретные вопросы очень часто решают с позиции своего собственного жизненного и нравственного опыта. И с этой точки зрения гуманизм того же Кирилла Извекова рядом с гуманизмом двух других его товарищей по ревтройке выглядит более, если так можно сказать, гуманным, более человеческим. Правда, проблема здесь, по существу, лишь намечена, и гибель Шубникова от руки Зубинского невольно воспринимается поэтому как своего рода искусный (но вместе с тем и искусственный!) выход из трудного положения, когда герой внутренне чувствует себя правым и все же явно колеблется, видя недоумение товарищей по партии, товарищей по борьбе.

Эта же тема нового гуманизма, поставленная, но так и не решенная до конца в сцене

¹⁰ Там же.

суда над Шубниковым, возникает в романе в дальнейшем опять-таки в связи с Кириллом еще несколько раз: в истории с Николаем Карнауховым, когда его друг Ипат требует судить Карнаухова как дезертира, но Кирилл рассуждает иначе и предоставляет тому возможность искупить свою вину в бою; в истории гибели Дибича, когда доброты Извекова оборачивается смертью товарища; наконец, в истории с арестом Меркурия Авдеевича и просьбой Лизы за отца.

Эта последняя сцена дает, пожалуй, наиболее полное представление о характере извековского гуманизма.

Мешков, уверявший перед уходом в монастырь не только Рагозина, но и Лизу с зятем, что все его имущество и золото изъяты государством, задержан Ипатом с жестянкой, наполненной золотыми.

К Извекову (не к Извекову, передавшему дело Мешкова в прокуратуру, и даже не к Извекову — секретарю Совета, а к Кириллу Извекову — первой своей любви) приходит дочь Мешкова Лиза с просьбой за отца: «Вы можете ему помочь! Я прошу вас!» И далее следует разговор, прямо возвращающий читателей к эпизоду с Шубниковым, к сцене суда над ним.

«— Неужели вы не защитите свою мать, если ей нужна будет защита? Какое же у вас сердце?»

— Сердце, — тихо повторил Извеков, поднявшись и точно с изумлением прислушиваясь ко внезапному чувству, ему подсказанному. — Отец, мать, брат... Эти слова звучат, как замороженные, и мы поддаемся им, как в старину поддавались ворожке. Но... вот у вас был муж — Шубников. Вы что — тоже встали бы на его защиту только потому, что он вам муж?»

Очень верно передано здесь психологическое состояние героя. Отец, мать, брат... Люди, родные по крови, с судьбами которых самым тесным образом связана твоя собственная судьба... Всегда ли можно в отношениях с ними заставить молчать сердце? И за этим сразу же другая мысль: а что, если не отец, мать, брат, а — муж? Мысль, не дающая Кириллу покоя с момента суда над Шубниковым и сразу же отчетливо всплывающая вновь: разве сам он не потому лишь отказался подписать приговор своему бывшему сопернику, что тот тоже муж, муж Лизы? И другая мысль: разве не был этот отказ истолкован товарищами по ревтройке как никому не нуж-

ная чувствительность, как голос именно сердца, а не революционного разума?

Правда, Вера Никандровна, мать Кирилла, тут же, очень кстати вроде бы, напомним о былой жестокости Меркурия Авдеевича, когда в помощи нуждался не он, а Кирилл. Напомнит она и о причастности к «делу» сына другого близкого Лизе человека, нынешнего ее мужа — Ознобишина. Но вмешательство матери лишь с еще большей очевидностью обнажает в глазах Кирилла противоречивость собственного поведения: с одной стороны, тогда, при суде над Шубниковым, когда он беспокоился, чтобы его, а тем самым и партию, членом которой он является, не заподозрили бы в сведениях личных счетов, с другой — теперь, когда уже он сам пытается уверить Лизу, что дела людей важны сами по себе, безотносительно к тому, что за люди стоят за этими делами.

«Нет, нет, — твердо останавливает Кирилл мать, — это неверно. Я не хочу действовать кому-нибудь в отместку».

Именно этот — тот же, что и в случае с Шубниковым, — довод (нельзя, чтобы это воспринималось как личная месть) заставляет его вновь переменить свое решение.

Работая над романом, писатель в заметках для себя пометил: «...Кирилл не мож[ет] помочь именно потому, что связан лично с Лизой прошлым (Pendant главе о суде над Шубниковым, которого убивает из лич[ных] опасений Зубинский, впоследствии расстрелян[ный] за измену)¹¹. Гуманизм Извекова — не абстрактный, внеклассовый гуманизм Старцова, но и не жесткий, исключая малейшие колебания гуманизм Курта Вана; это гуманизм человека, думающего в первую очередь о деле, но умеющего при этом за судьбой дела помнить и о судьбе отдельной личности. Именно потому, считая себя не вправе помочь Лизе сам, Кирилл тем не менее при посещении лежащего в госпитале Рагозина просит того разобраться в деле Мешкова. И это же просьба о снисхождении и не столько даже просьба за Мешкова («Что я, не понимаю, что он коли не по злобе, так по природе своей — наш естественный враг?» — говорит Кирилл Петру Петровичу), сколько борьба за будущего человека в той же Лизе и в свидетелях ее и Кирилла разговора, за то, чтобы у них никогда не возникло бы и мысли, что коммунист может равнодушно пройти мимо чужого горя.

¹¹ Личный архив К. А. Федина

Ни над одним из своих прежних произведений Федин не работал так долго (пусть даже с частыми и длительными перерывами в работе), как над «Костром».

Первоначальный замысел заключительного романа трилогии, как уже говорилось, относился ко второй половине 30-х годов. В 1944 году в печати появились сообщения об отказе художника от этого замысла и о том, что действие его будет вместо 1934 года перенесено в годы Отечественной войны...

Но непосредственно работа над романом начата была позже, лишь после завершения «Необыкновенного лета». Затем ее пришлось временно отложить, в октябре 1953 года она была возобновлена вновь, и к середине ноября 1961 года, восемь лет спустя, первая книга романа — «Вторжение» — была наконец подготовлена к печати. Во многом сходной оказалась судьба и второй книги «Костра» — «Час настал»: если не считать публикации двух глав еще в 1956 году, то лишь в первой половине 1965 года в печати появились начальные главы второй книги...

«Костер» — заключительный роман единой по замыслу трилогии. Но как уже при сопоставлении «Необыкновенного лета» с «Первыми радостями» бросалось в глаза различие в подходе к положенному в основу двух этих романов материалу, так и «Костер», в свою очередь, во многом не похож ни на первый, ни на второй роман.

«В нынешней войне, особенной и небывалой, человечество потрясено в основах бытия, и народные массы призваны к повышенному волевому и моральному состоянию,— говорил в докладе «Четверть века советской литературы» в ноябре 1942 года А. Толстой.— Нынешняя война — это война моторов. Это так, но это не полное определение: моторов и силы преодоления страданий, нравственной силы. В этой войне не счастье, не случай и не только талант полководца принесут победу; победит та сторона, у которой больше моторов и тверже нравственный дух народа. Нравственные категории приобретают решающую роль в этой войне».

В двух предыдущих романах трилогии судьбы героев завязываются в тугую узел буквально с начальных глав; в первой книге «Костра» все иначе: линии Веригиных, Пастухова-старшего, Извекова, Аночки, Цветухина, Петра Петровича Рагозина, Алеши Пастухова, Ивана Рагозина, напротив, долгое время развиваются почти не пересе-

каясь. В предыдущих романах также немало воспоминаний, размышлений, отступлений в прошлое, но нигде им не отводится столь обширная часть общей площади романа, как в «Костре». Наконец, в предыдущих романах материал, тоже достаточно разнородный, всегда объединен, в первую очередь, сквозной и достаточно четко просматривающейся романической интригой. И в «Костре» такая интрига, разумеется, существует, но здесь она отступает на второй план; большинство героев, особенно в первой книге романа, во «Вторжении», живет и действует, нередко даже не подозревая о существовании друг друга. Грубо говоря, в «Костре» — как бы несколько романов, а судьбы героев нередко не столько связаны, сколько, будучи соотнесенными со временем и с центральным, все определяющим событием, каким явилась война, уже через них соотносятся и друг с другом.

В свое время немало загадок породили «деревенские» главы «Костра»: довольно устойчивое представление о Федине как о писателе, пишущем в основном об интеллигенции, оказалось вдруг поставленным под сомнение уже этими двумя первыми главами романа. Но сам писатель объяснял эту особенность «Костра» так: «Крестьянская тема в структуре третьей части трилогии имеет решающее значение. Она будет усилена во второй половине романа. Я почувствовал, что изображение второй мировой войны только сквозь призму сознания интеллигенции недостаточно. С крестьянскими главами в роман войдет «элемент народного».

Именно желанием с самых первых глав романа ввести непосредственно в художественную ткань масштаб, которым можно было бы мерить в дальнейшем поступки всех героев, и диктовалось, в первую очередь, появление «веригинской» темы уже в самом начале «Костра». Именно потому две первые главы и «задают тон» всему последующему повествованию...

Уже в этих первых, «деревенских» главах «Костра» всплывает имя одного из центральных героев трилогии, Александра Владимировича Пастухова.

Есть, конечно, особый и легко угадываемый писательский расчет в том, что с самого начала нового романа судьба Пастухова идет где-то бок о бок с судьбой простого человека из толщи народных масс — шофера личного пастуховского «кадиллака» Матвея Веригина.

С того самого дня, как фашисты напали на Советский Союз, пишет романист, «представление о том, что война — раньше всего дело военных, как будто вмиг отжило свой век: по-разному, но война коснулась всех сразу». Эта мысль о всеобщей причастности к войне, с самого начала своего, с первых дней названной народом Отечественной, лейтмотивом преходит через весь роман. С каждым днем все более властно вторгается война и в жизнь Пастухова: первой и, как позже выяснится, учебной воздушной тревогой; рытьем щелей в лесу; только что родившейся, зовущей народ на отпор врагу «Священной войной» в исполнении хора Александра на Белорусском вокзале в Москве; торжеством Тимофея Ныркова по поводу близкого и неминуемого падения Смоленска... А вместе с войной так же властно врываются в сознание Пастухова и две еще в предыдущих романах трилогии сопутствовавшие ему темы: о месте искусства в битве идей, в битве народов и прямо связанная с нею тема Льва Толстого.

Приобщением к делу считал в свое время возможным спасти Андрея Старцова Курт Ван, свое дело противопоставлял правде отца и правде младшего брата Никита Карев. В деле ищет спасение и Александр Владимирович. Но есть между Пастуховым, с одной стороны, и героями двух первых фединских романов, с другой, существенное различие.

«...Пастухов — уже не Старцов из романа «Города и годы» или Карев из «Братьев», — обратит внимание читателей на это различие сам Федин в беседе «Распахнутые окна». — Он один из тех старых интеллигентов, которые прошли все «по-своему» — через заблуждения, ошибки приняв социализм. В нем есть уже новое. Он и на патриотический порыв способен».

Если Никита в «Братьях», после нескольких лет разлуки с родиной еще не понимая, на стороне какого из двух схлестнувшихся лагерей правда, считал себя вправе сказать Ростиславу: «Утверждайте ваше прекрасное дело тем способом, каким вы умеете. Я ему служу тем, что смотрю и слушаю», — то в дни, когда весь народ взялся за ружье или за лопату, Пастухов уже не может не понимать, что только смотреть и писать — мало, необходимо стать в какой-то мере еще и землекопом (коли уж возраст и здоровье не позволяют стать бойцом). Вот почему вся дальнейшая судьба Александра Владимировича, показывает художник, зависит не от

того только, насколько хорошо будет он делать свое собственное дело, но и от того, насколько станет его, Пастухова, делом дело всего народа, насколько он сумеет свою личную писательскую судьбу слить с общей, народной судьбой.

Споры об искусстве в «Костре» тоже во многом продолжают давние споры, начатые еще в первом романе трилогии и столь остро разгоревшиеся во втором.

Эта же тема в центре и самых, пожалуй, впечатляющих — во всяком случае, из опубликованных до сих пор — глав второй книги «Костра», рассказывающих о посещении Пастуховым Ясной Поляны.

Как младший к старшему, как сын за советом к отцу, идет Пастухов к Толстому, надеясь укрепить себя прикосновением к самому драгоценному в жизни, которую грозят у него отнять. Пастухов идет в Ясную не только поклониться великому мастеру слова — он идет к совести земли русской, чтобы получить ответ на жгучий вопрос: что должен делать сегодня художник?

Именно здесь, у Толстого, после пятилетней разлуки довелось встретиться вновь Пастухову-отцу и Пастухову-сыну. Они стали за эти годы еще более разными: один, мучительно размышляющий, что он должен делать в этот трудный для родины час, и другой, уверенно делающий свое дело на Десне, на Оке и готовый так же, без лишних слов, делать его у стен Тулы. Но их сближает внезапно то общее острое чувство Родины, что привело обоих в эту тяжелую пору к сердцу России.

И еще одна, тоже очень важная для определения Пастуховым своего отношения к происходящему встреча. Толстовский музей спешно эвакуируется. И вдруг появляется перед домом группа солдат, они просят пустить их в музей. «Как вы не понимаете — в музее нечего больше показывать. Разве только стены», — взрывается экскурсовод Мария Петровна. «А хоть бы стены. Прогоним-то в них какой человек! — проговорил боец с пилоткой в руке». «Не осматривать надо, а защищать эти стены!» — с болью в голосе и в слезах обиды кричит Мария Петровна. И в наступившей тишине раздается в ответ: «А мы что, отказываемся?»

Они прекрасно, не хуже Алексея Пастухова, знают, эти упрямые парни в военных гимнастерках, что, может, завтра им придется пасть у стен Москвы. Но сегодня, как и Алеша, как и Пастухов-старший, они

идут к Толстому. И давняя мысль о беспомощности, о слепоте предвидения: «Никто, никто — ни даже Толстой — никогда не мог провидеть то, что случилось сегодня...» — невольно сменяется в сознании Александра Владимировича другой, по существу прямо противоположной: «Как странно: глядя в прошлое, Толстой увидел в нем наше сегодня, а это сегодня было для него будущим. Но если он разгадал это сегодня — значит, он знает наше завтра? Как же Пастухов осмелился подумать, что Толстой не был провидцем?»

Роман не окончен, и трудно пока предсказать будущее героя: слишком не простым, «хитросплетенным» выглядит его путь к народу. Но это очень характерно, как прочитав в «Книге отзывов» музея присягу на готовность отдать свои жизни «за счастье народа, которому служил Толстой», и невольно задавшись вопросом: «А что за пользу приношу я своей жизнью?» — маститый драматург отдает себе отчет, что он пока еще не вправе поставить свою подпись рядом с подписью сына и его боевых товарищей; такого права не дает ему уже то, что он все это время ожидает победы, а они ее добывают... И вместе с тем, думается, не случайно, что именно в Ясной Поляне происходит встреча отца и сына. Всю жизнь собиравшийся Пастухов к Толстому, но лишь теперь, в войну, пришел — и это, конечно, неспроста.

Главы «Костра», прослеживающие судьбы Кирилла Извекова и Петра Петровича Рагозина, следует отнести, пожалуй, к числу наиболее «трудных» с точки зрения читательского восприятия романа. И не потому только, что до тех пор, пока произведение не будет опубликовано полностью, что-то может показаться в них недоговоренным. Чередование разных временных планов настолько стремительно, а необходимость многое из описанного в этих главах домысливать, опираясь преимущественно на собственный жизненный опыт, на собственное знание того времени, настолько очевидна, что они невольно воспринимаются стоящими несколько наособицу среди других.

С того самого времени, как читатели расстались с центральным героем «Необыкновенного лета», Кириллу не раз пришлось сменить и работу, и один город на другой. Как и в прежние годы, он всегда оказывается там, куда считала нужным послать его партия. Но в 1937 году с ним происходит непредвиденное событие, другого, более сла-

бого человека наверняка выбившее бы из колеи.

За несколько лет до этого Извеков дал характеристику человеку, впоследствии предавшему и оболгавшему свою родину и ставшему «невозвращенцем». Это-то и послужило причиной вызова Кирилла в Комиссию партийного контроля. Здесь сразу же следует сказать, что Федин не ставил перед собой задачи специально писать о годах, когда в обстановке культа личности Сталина нередко нарушались нормы социалистической демократии и социалистической законности. Но дать представление о жизни героев за пролегающее между двумя романами двадцатилетие и не сказать о том, как чувствовали себя в непростой ситуации второй половины 30-х годов героя-коммунисты «Первых радостей» и «Необыкновенного лета», писатель, естественно, не мог: поведение героев в обстановке тех лет как бы подводило итог всей их предшествующей жизни за пролегающие между временем действия двух романов годы. Свидетельствуя, с чем вступают они в Великую Отечественную войну...

Будучи вызван в КПК, Кирилл решает предварительно зайти к работающему в этом же здании, в военном отделе ЦК, хорошему знакомому еще по Саратову Петру Петровичу Рагозину.

Рагозин искренне рад встрече с Извековым, хотя буквально с первых минут Кирилл отчетливо ощущает, как сильно изменился за прошедшие годы Петр Петрович. В первую очередь, внешне, конечно, но где-то и внутренне. Последнее становится особенно заметным, едва разговор заходит о причинах появления Извекова в Москве и Рагозин узнает, что тот вызван в КПК.

Двойственное ощущение оставляет вся эта сцена встречи двух бывших друзей: с одной стороны, вроде бы нелепо осуждать Рагозина за проявленную им бдительность, вполне понятную в те напряженные годы, но, с другой стороны, невольно возникает сомнение, не скрываются ли за этой бдительностью еще и желание остаться в стороне, и опасение, не повлечет ли вызов Кирилла в КПК каких-либо неприятностей лично для него, Рагозина...

Старые друзья говорят явно на разных языках. Кирилл явился к Рагозину чтобы тот определил меру его вины так же, как определил ее в свое время в 1919 году, когда, посетив раненого Рагозина в госпитале, Извеков подробно рассказал ему о при-

говоре Шубникову и о гибели Дибича. Рагозин же, подобно председателю КПК (да еще хорошо зная в отличие от него Кирилла по подпольной и военной работе!), требует, чтобы Извеков разделил вину вместе с «невозвращенцем» Гасиловым. Ему бы, старшему товарищу по партии, сказать, как скажет Вера Никандровна: «Ты обманулся, Кирилл. Но сам ведь ты никого не обманывал. Это главное», — а он вместо этого читает проповедь. Правда, позже Рагозин примет участие в судьбе друга и даже поможет переводу его в другой город. Но это случится уже тогда, когда, будучи освобожден от руководящей работы, Извеков останется в партии. А в тот момент, откуда в тот момент в поведении Рагозина эта разительная перемена, едва он узнает, что Кириллом интересуются в КПК?

Так в 1937 году в жизненной судьбе Кирилла происходит тот крутой поворот, в результате которого к началу войны он оказывается в Туле. Нелегко переживает герой свое новое положение «штрафника». Но горе ломает слабых, Кирилл же и в горе остается прежним, верным сыном партии, и на новой работе он всего себя отдает корчеванию старого быта.

И когда через полчаса после сообщения о нападении фашистов в окружении множества знакомых и незнакомых людей Извеков поднимается по обкомовской лестнице наверх, в зал для заседаний, его охватывает давно знакомое чувство, что происходящее с ним сейчас уже было некогда в Саратове, когда так же вот собирались экстренные собрания и прямо с собраний люди шли на фронт. И это ощущение продолжающейся истории, как и давно знакомое и в то же время по-новому звучащее в этот день в устах Новожилова «товарищи!», невольно вызывает в читательском сознании прежнего Кирилла первых двух романов; таким, очень человечным и пронесшим свои лучшие черты коммуниста через все испытания прошедших лет, встречает герой первые дни Отечественной войны.

Сразу же за «извековскими» во «Вторжении» следуют главы, рассказывающие о бывшей Аночке, ныне народной артистке Республики Анне Тихоновне Улиной, и об Егоре Павловиче Цветухине, встретивших войну на границе, в недавно ставшем советским Бресте.

«Привязка» действия трех последних глав «Вторжения» к Бресту и дальнейший путь героини вместе с Цветухиным через вздыб-

ленные войной города и села позволяют художнику решить двойную задачу: с одной стороны, продолжить старую романическую линию взаимоотношений внутри «треугольника» Цветухин — Аночка — Кирилл, сложившегося некогда еще в «Необыкновенном лете», с другой — нарисовать широкую картину пробуждения народа в войне.

Еще во время работы над вторым романом трилогии Федин сделал запись: «То, что я оставил уже — прием нанизывания многих видных характерологических черт разных людей (при изображении) толпы, массы), вполне целесообразно и допустимо...»¹². В «Костре» писатель прибегает к этому приему намного чаще, чем в «Необыкновенном лете». Достаточно обратиться к изображению бегства жителей из подвергнувшегося обстрелу и воздушным налетам города, чтобы убедиться в этом.

По-разному ведут себя люди в момент опасности.

«Будь ты проклята с твоими русскими, большевиками! Это русские виноваты, ты, ты!» — с ненавистью кричит хозяйка дома, где остановилась Аночка. И она не одна такая. Не случайно, говоря о том, как Анна Тихоновна с Егором Павловичем спешат в толпе беженцев покинуть Брест до прихода немцев: «Они наконец вышли к той широкой улице, на которую стекался весь город...» — писатель тут же добавляет: «...если только весь город искал избавления в бегстве. Наверно, не весь. Вон те деревянные домики, вдоль длинного порядка справа, с закрытыми ставнями, запертыми воротами, — вышел ли кто-нибудь из них этим утром? А в порядке слева? Такие же домики, и тоже почти каждый на засовах».

Но не эти ждущие «освободителей» и спасающие свою шкуру стоят в центре широкой картины первых дней войны. Горстка солдат, занимающих оборону в районе кладбища, артисты молодежной брестской труппы, помогающие Анне Тихоновне и раненому Цветухину, десятки тех, кто под огнем вражеских самолетов, с детьми на руках, без еды, без воды, без сна идут на восток, лишь бы не оказаться под немцами, — они, а не жалкие шкурники и предатели представляют в «Костре» внезапно очутившийся в войне народ.

Правдивый и честный художник, Федин считал необходимым показать поведение ге-

¹² Личный архив К. А. Федина.

роев, не приукрашивая их ни в большом, ни в малом. В критической литературе о «Костре» достаточно много писалось о «предательстве» и о «сладком хамстве» Скудина, пообещавшего было Анне Тихоновне помочь выбраться из Пинска и обманувшего ее. Но не будем забывать, что ведь и Анна Тихоновна с Егором Павловичем не всегда ведут себя в романе так, как того хотелось бы иным критикам, в них есть и страх и слабость. Они — живые люди со всеми протекающими отсюда последствиями.

В 1965 году, то есть как раз в период работы над «Костром», писатель в упоминавшейся уже беседе «Распахнутые окна» скажет:

«Героическое в нашей романистике слишком часто изображается очень трафаретно, героические поступки персонажами совершаются немотивированно или однотипно. А изображение героев в большой литературе очень сложно, многовидно. У Пьера Безухова природа героизма немножко даже глуповата (когда в Москве он нападает на французский патруль). А у Николая Ростова — канонизированный героизм. Оба герои, но они встречаются и друг друга не понимают. Так в классике возникают личности, которые для меня живей иных моих знакомых».

У самого Федина «канонизированный» героизм — явление чрезвычайно редкое. И уж, во всяком случае, героизм Анны Тихоновны — это тот непростой героизм, что рождается непосредственно на глазах читателя в борьбе растерянности с верой в счастливый исход, в противостоянии чувства страха и чувства долга. Очень человеческий героизм, такой же человеческий, как и все поведение героини трилогии.

«Костер» не окончен, и о том, как сложатся судьбы героев к концу романа, сегодня можно лишь гадать с большей или меньшей долей вероятности. Но с уверенностью можно сказать, что, даже несмотря на заметную неровность уже опубликованных глав «Костра», есть все основания считать завершающий роман трилогии новым, очень важным этапом на пути решения центральной темы всего творчества Федина.

Более чем три десятилетия русской жизни охватывает трилогия.

Показать рождение нового характера, процесс становления героя, пришедшего в мир с жадной переделать и изменить его, проследить «судьбы людей в истории явлений» — такова задача, решавшаяся романистом в первую очередь.

Завершивший недавно свою работу Пятый съезд советских писателей недвусмысленно подчеркнул, что советская литература — литература единого метода социалистического реализма. Говорилось в связи с этим на съезде и о несостоятельности попыток отдельных исследователей доказать существование в современной советской литературе нескольких взаимно дополняющих друг друга художественных методов. «В докладе и выступлениях делегатов, — отмечалось в редакционной статье «После съезда», опубликованной в «Литературной газете» за 14 июля с. г., — шла речь о важности теоретического, методологического осмысления опыта литературы социалистического реализма, изучения ее действительных богатств, изобразительных возможностей, стилового многообразия».

Нетрудно заметить, сколь созвучны эти с е г о д н я ш н и е мысли тем памятным словам Федина, что прозвучали почти два десятилетия назад с трибуны Второго Всесоюзного съезда советских писателей:

«Когда говорится о социалистическом реализме как методе, это не значит, что художнику предлагается некий готовый орден литературной формы».

В самом широком смысле произведение социалистического реализма должно отвечать именно требованию создания образа человека нового мира. Под понятием «нового мира» у нас подразумевается мир социализма, и мы стремимся изобразить этот мир самыми различными приемами реалистического искусства».

Наглядным подтверждением плодотворности подобной широты художественных поисков в рамках единого художественного метода нашей литературы — метода социалистического реализма — и является трилогия самого Федина.



У. ГУРАЛЬНИК,
доктор филологических наук

★

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Писатель, его наследие и исследователи

Перефразируя известные слова В. Г. Белинского о Пушкине, можно сказать, что каждое новое поколение, исходя из собственного опыта и своих исторических задач, заново открывает для себя Достоевского, по-своему судит о смысле, содержании, пафосе его творчества. Достоевский не принадлежит к числу тех писателей прошлого, о которых вспоминают главным образом в связи с их юбилеями. Интерес к творчеству Ф. М. Достоевского устойчив. Повсеместно появляются работы, ему посвященные. Обильна и разнообразна литература, выходящая у нас, на родине великого писателя. В библиографическом указателе, составленном сотрудниками Государственного литературного музея и опубликованном издательством «Книга», зарегистрировано без малого четыре тысячи названий.

Марксистско-ленинская наука о литературе немало уже сделала, чтобы разобраться в социально-исторической природе явления, имя которому — Достоевский. Однако далеко не все стороны творчества писателя освещены с достаточной ясностью. В частности, убедительного, научно обоснованного ответа ждет вопрос о причинах не убывающего сильного воздействия идей и образов Достоевского на умы и чувства миллионов наших современников.

Что ищут и что находят в романах, созданных русским национальным гением, люди, живущие во второй половине XX века?

Литературоведы, философы, историки и социологи отнюдь не единодушны в своем подходе к проблеме «Достоевский и мир сегодня». Предлагаемые ими решения не-

редко спорят друг с другом. Единство методологических принципов вовсе не исключает многообразия исследовательских индивидуальностей. Но существующие разногласия сказываются на определенности оценок наследия писателя в целом, на понимании его современного значения.

Между тем от основательности, последовательности и четкости наших позиций в исследовании художественных и публицистических произведений Ф. М. Достоевского во многом зависит авторитет советского литературоведения, прочность его позиций в противоборстве с идейным противником.

Начиная с появления «Бедных людей», червенца Ф. М. Достоевского, и по сей день его творчество остается объектом острой, временами достигающей предельного накала идейно-эстетической борьбы. Но не только объектом: писатель был при жизни и остается посмертно активным участником великой битвы идей. Битвы, в которой ставкой является судьба человечества, его будущность.

Манипулируя идеями и образами Достоевского, заокеанские «советологи» и их западноевропейские эпигоны пытаются дискредитировать социалистический идеал. Творчество русского писателя-гуманиста хотят выдать за аргумент в защиту так называемого свободного мира, буржуазного образа жизни, системы капитализма. Это Достоевского-то, автора «Зимних заметок о летних впечатлениях», «Игрока», «Подростка», «Идиота», Достоевского, который проклял власть денег, всевластие «миллиона», низводящее человека до уровня животного!

Достоевский незадолго до своей кончины

оставил полную горечи и мрачной иронии запись: «Живи впредь спокойно, в одно свое пузо». Он был одним из первых, кто ужаснулся, увидев grimасы будущего «общества потребления». Лучшие его произведения явились предупреждением человечеству о грозящей ему опасности быть ввергнутым в ад бездуховности. Все его творчество от первой и до последней строки — тревожная дума о будущем человечества, о судьбах России.

Писатель жил и творил в эпоху переломную, в стране, поистине выстрадавшей подлинно революционное учение. России суждено было стать провозвестницей нового мира. Муки его рождения по-своему отразил Достоевский. Не учитывая этого, ничего не понять в романах и публицистике, во всем архисложном и крайне противоречивом наследии писателя.

В современном ему буржуазном мире-порядке Достоевский сумел увидеть зародыши той зловещей болезни, которая спустя полвека после его смерти едва не привела народы мира на край глобальной катастрофы.

Современный фашизм во всех его живучих модификациях — достаточное «оправдание» обостренного, принимавшего болезненные формы беспокойства писателя, который пытался заглянуть далеко вперед. Автор «Преступления и наказания» и «Бесов» восставал против навязывания людям воли «избранных», против инквизиторских теорий порабощения народов, против превращения целых наций в покорные «сильным личностям», «наполеонам» и «ротшильдам», бессловесные стада.

Представления Ф. М. Достоевского об исторической миссии России, как известно, носят отпечаток его почвеннических иллюзий, ориентацию на патриархальную старину. Он трагически ошибался в определении путей реализации своего утопического идеала. Время внесло серьезные поправки в концепцию русского национального характера, которую развивал и отстаивал в противовес революционным демократам Достоевский.

Нет оснований и нет надобности преуменьшать глубину действительных заблуждений писателя. Но не следует забывать и об его пророческом даре: Достоевский принадлежал к числу тех выдающихся деятелей культуры прошлого, которые видели Россию в авангарде возрожденного мира.

Едва ли не важнейшая задача литературной науки — рассмотреть наследие Достоевского, его мировоззрение и творчество в неразрывной связи с актуальными проблемами, стоящими перед нашим обществом и народом на современном этапе строительства коммунизма. Проблематика философских романов Достоевского проецируется на наш беспокойный век с его прогрессом и застоём, достижениями и срывами, катаклизмами, обнадеживающими открытиями и ввергающими в недоумение зигзагами.

К сожалению, современность Достоевского исследуется поверхностно. Но, пожалуй, наибольший вред делу приносит насильственное приурочивание литературной классики к сиюминутным потребностям общества, формальный, отписочный подход к задаче. Использование художественного произведения лишь для иллюстрации того или иного умозрительного тезиса есть чистейшая профанация искусства. А ведь этим, чего греха таить, нередко заняты философы, историки, социологи, извлекающие из романа, повести, драмы их «идеи»: точно изюм выковыривают из сладкой булki. Идея произведения, его «суть» не существует, как известно, вне целостной художественной структуры.

Реалистичнее художественное исследование жизни — и в этом одно из специфических качеств именно образного отражения действительности, эстетического ее осмысления — всегда приоткрывает завесу над будущим и позволяет предугадать перспективы развития. Творчеству Достоевского это качество присуще в высокой степени.

Недавно была впервые напечатана стенограмма вступительного слова Луначарского, произнесенного 20 ноября 1929 года на вечере, посвященном Достоевскому¹. Речь, произнесенная сорок с лишним лет назад, наносит удар по распространенному на Западе и гальванизируемому антикоммунистами мифу о неприятии большевиками-ленинцами творчества Достоевского. Если верить иным зарубежным «специалистам» по русской литературе, послеоктябрьская Россия не только отрёклась от писателя, но и предала его анафеме, вступив

¹ «Литературное наследство». Т. 82. «А. В. Луначарский. Неизданные материалы». М. «Наука». 1970. Редактор тома — Н. А. Трифонов.

в неразрешимый конфликт с его идеалами.

Концепцию, которую А. В. Луначарский развивает в речи (равно как и в статье «О «многоголосности» Достоевского», написанной в том же 1929 году), нет оснований канонизировать. Она может и должна быть оспорена в частности: далеко не все утверждения критика выдержали, как принято говорить, испытание временем. Но главные идеи Луначарского сохраняют свое живое значение и сейчас. Подкупает творческий дух в самом подходе к проблеме. Каждая фраза, каждая строка пронизаны сознанием подлинной значительности, величия Достоевского, невыдуманности его трагедии. Оратор неизменно передает ощущение гигантской личности писателя, важности и глубины поставленных им проблем. Луначарский не просто констатирует все возрастающее влияние Достоевского на современную мировую литературу. Как марксист, он это явление объясняет своеобразием исторического развития, ходом классовых битв в Европе и Америке. Одновременно он подчеркивает, что в наследии писателя не все нами приемлется, что многое в нем антагонистично нашему мировоззрению и мироощущению.

Отвернувшись от своих юношеских увлечений социализмом, Достоевский не нашел — и не мог найти — внутренней гармонии в той «религии страдания», какую проповедовал. В этом Луначарский видит трагедию великого художника и мыслителя. Борьба между мнимым религиозным разрешением проблемы зла, в которое писатель сам не верил, и разрешением этой проблемы через революцию, которое он не принимал, — так это, по Луначарскому, главное противоречие в мировоззрении Достоевского.

Луначарский здесь вычленил центральную проблему творчества писателя, над решением которой по сей день бьются многие исследователи.

Достоевский уникален, он неповторим. Но раскрывая индивидуальное своеобразие пути писателя, Луначарский рассматривает проблематику его творчества и в типологическом плане. Ссылаясь на опыт Гоголя и Льва Толстого, критик приходит к выводу, что «секрет Достоевского — есть секрет всех наших писателей, только на разные лады он разыгрывается». Это очень важное наблюдение, позволяющее опровергнуть всякого рода антиисторические толкования Достоевского, имеющие и се-

годня широкое хождение в буржуазном литературоведении.

Достоевский — «изумительный документ его собственной эпохи». А «мы должны быть историками. Для того, чтобы знать законы общества, которым мы намерены управлять, нам нужно знать, весьма твердо и тонко знать прошлое человечества и в особенности той страны, где мы призваны сами работать».

Так сформулирован Луначарским главный вопрос: «Какое же значение имеет Достоевский для нас?» Вопрос усложнен другим, естественно встававшим в те не легкие годы высокою начала классовой борьбы внутри страны: «Но вреден ли Достоевский?» Ответы и на первый и на второй вопросы даны в свете задач нового века, нового, революционного мира. Творчество Достоевского не только свидетельство о своей эпохе, но и о всех эпохах, в которых происходили «подобные явления». Без знания Достоевского необычайно трудно по-настоящему проанализировать Шекспира, других классиков мировой литературы, ибо у великого русского писателя «все те гигантские внутренние противоречия, которые можно считать основными чертами социально-трагических писателей... выражены в такой... выпуклой форме, что через него уже легко понять, в сущности говоря, взбаламученные, взвихренные ветрами социальные эпохи и людей».

Мировое событие — Октябрьская революция вызвала в людях, прямо или косвенно связанных со старым миром, «внутреннее расщепление, огромную внутреннюю борьбу». Это было в достоевщине 20-х годов, «может быть, это продлится в 30-х годах нашего столетия». «Его микстуры мы решительно отвергаем, равно как и его проекты «хирургического лечения». Но чтобы понять «современных племянников и внуков его героев», которых нам зачастую приходится лечить, нужен Достоевский...

Отвечая перестраховщикам и «запретителям», пытавшимся китайской стеной оградить молодого советского читателя от «классово чуждой» литературной классики, А. В. Луначарский говорил: «Я считаю, что мы представляем собой сейчас настолько здоровый организм, развивающийся, имеющий в себе огромные повышающиеся запасы энергии, что мы можем позволить себе сейчас такой великолепный материал, как материал Достоевского, ставить перед собой и критически преодолевать его, хотя бы от-

дельный человек вместо того, чтобы преодолеть его, потонул. Мы не можем запретить купаться в Москве-реке, потому что каждый год тонет несколько человек. Так же точно мы не можем отвести все общество от гигантской задачи: преодолеть Достоевского, использовать его для нас, потому что на отдельных лиц он может подействовать нездоровым образом».

Преодолеть Достоевского — так в конце 20-х годов была сформулирована задача в речи первого наркома по просвещению. «Постигнуть Достоевского» — так спустя сорок лет озаглавил свое обращение в газету «Советская культура» московская учительница русской литературы.

Между этими двумя формулировками пролегла огромная историческая дистанция. По ним, как по вехам, можно судить о направлении нашего движения. Они как бы обозначают этапы пройденного пути. Но путь от «преодоления» Достоевского до «постижения» идей и образов Достоевского во всей их противоречивости и во всем их богатстве был един.

Постижение Достоевского — процесс длительный и разнообразный. Особенно интенсивно он протекает в наше время, когда литературное наследие писателя становится достоянием самых широких кругов читателей.

Вопрос о научной интерпретации наследия писателя и пропаганде нашего понимания его философско-нравственной проблематики приобретает серьезное общественное значение. Недаром ведь учителя-словесники проявляют озабоченность тем, какие выводы для себя делают юноши, «обдумывающие жите», погружаясь в идейно-образный мир Достоевского. Возрастает ответственность науки о литературе.

Насколько задача эта актуальна, можно судить по тому, как сегодня воспринимается книга о злоключениях недоучившегося петербургского студента Родиона Раскольникова. Отношение к этому роману, понимание его идейного содержания, историко-философского смысла и современного значения — если хотите, лакмусовая бумажка, позволяющая почти безошибочно судить о глубине восприятия наследия Достоевского в целом.

По свидетельству опытного методиста Л. Айзермана, опирающегося на анализ школьных сочинений старшеклассников,

юные читатели склонны трактовать проблематику «Преступления и наказания» однобоко. Часто, говоря о ложности «идеи» Раскольникова, об индивидуалистическом характере его бунта, они все же «видят» обстоятельства если не снимающие полностью вину с героя романа, то, во всяком случае, смягчающие ее, даже освобождающие его от личной ответственности». Молодые люди при оценке героев литературной классики вообще почти совсем не прибегают к категориям долга и личной ответственности человека за свои деяния.

Между тем для нас это отнюдь не отвлеченные понятия.

Критикуя вульгаризаторов исторического материализма, Ленин писал: «Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий»². Это фальсификаторы марксизма утверждают, будто идея детерминизма неминуемо ведет к фаталистическим воззрениям на мир и отмечает такие проблемы, как свобода выбора и ответственность личности...

В определении замысла «Преступления и наказания» и объективного смысла романа нужна особая точность. Этой абсолютной выверенности недостает иным нашим интерпретациям. Так, можно оспорить неточные, с нашей точки зрения, акценты в концепции талантливого и впечатляющего спектакля Театра имени Моссовета «Петербургские сновидения». И дело даже не столько в наивности «поддельного чуда» — явления Христа, как полагает автор «заметок о классике» Нина Велехова («Познай самого себя». «Советская культура», 3 июня 1971 года).

Юрий Завадский был, конечно, прав, когда писал («Искусство кино», 1970, № 8), что существуют диаметрально противоположные и взаимоисключающие трактовки образа Раскольникова: либо трагический борец за благо человечества, коим внутренне движет непреоборимая жажда справедливости, либо человек, которым движут лишь самые низкие побуждения — эгоцентризм, презрение к людям. Как мы увидим ниже, советская наука отвергает метафизические однобокие воззрения на героя романа и проблематику книги в целом.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 159.

Но теоретически соглашаясь с тем, что «исходный момент трагедии Раскольников» все-таки в его эгоцентризме», Ю. Завадский, как режиссер-постановщик «Петербургских сновидений», и его коллеги эту тему приглушили. В исполнении Г. Бортникова Раскольников, непримиримый ко злу, чувствительный к страданиям ближних, легко ранимый, истовый правдоискатель прежде всего, если не главным образом, жертва обстоятельств. Он обстоятельствами понуждаем к преступлению. Такой сценический герой вызывает у зрителей безоговорочное сочувствие.

И это было отмечено рецензентами, доброжелательно откликнувшимися на спектакль. Г. Бояджиев, например, писал в статье «Скорбь и гнев Достоевского»: «Главное в увиденном нами Раскольникове — доведенное до мучительной боли, до полубреда желание защитить род человеческий от всевластия денег, вурдалаков, которые в смятенном сознании юноши как бы слились воедино в злодейке-процентщице. Именно с таким захватывающим чувством играет тему преступления актер, и так она решена режиссером» («Известия», 21 августа 1970 года).

Как бы отвечая критикам, полностью принявшим концепцию спектакля, В. Кирпотин писал: «Если трагедия Раскольника — лишь трагедия совести, то как понять, что он, уже дважды убивший, грозитя вновь обрушить топор на человеческую голову — пусть голову Свидригайлова! И еще хуже... готов воспользоваться самооговором Миколки, он торжествует, что Порфирию придется послать вместо него на каторгу невинного сектанта, пожелавшего «пострадать» («Правда», 25 декабря 1969 года).

Всех этих недоумений спектакль не снимает. В статье, которую мы только что цитировали, весьма кстати приводятся слова Достоевского о том, что совесть может заблудиться до самого безнравственного. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Другими словами, если убеждения носят извращенный характер, недолго дойти и до ординарной уголовщины.

Почти одновременно с оригинальным спектаклем Ю. Завадского была осуществлена экранизация романа, акцентировавшая прежде всего тему личной ответственности героя. Пересказывая на языке кино историю человека, преступившего «предел дозволенного, нравственно возможного яко-

бы ради утверждения своей человеческой личности», Лев Кулиджанов помнит об эксцессах, на которые демагоги способны толкнуть бунтующую молодежь на Западе. Памятны события во Франции в мае 1968 года, когда анархистствующие вожаки во вред революционному движению пролетариата использовали недоловое студенчества буржуазным миропорядком.

«Мне представляется действительно необычайно актуальной критика нищезанства и неонищезанства, — заявил Л. Кулиджанов, прочитав в одном репортерском отчете, что он ставит «антифашистский фильм». — Мне кажется важным развенчание эгоцентризма, столь разнообразно представленного сегодня различными философскими и общественными течениями» («Искусство кино», 1970, № 8). Надо ли удивляться тому, что во время Венецианского кинофестиваля 1970 года итальянская правая печать, не скрывая своей антипатии к советской экранизации «Преступления и наказания», отвергла положенную в основу фильма концепцию романа? Буржуазные критики хотели бы увидеть на экране прежде всего Достоевского — религиозного моралиста, поэта неизбежного страдания, «непротвиленца», прорицателя неизбежных глобальных катаклизмов.

Сказанного, думается, вполне достаточно, чтобы согласиться: интерпретация Достоевского, в частности «Преступления и наказания», продолжает оставаться ареной, на которой постоянно сталкиваются не только разные точки зрения, но и вступают в единоборство противостоящие идеологии. В этих условиях заслуживают пристального внимания новейшие работы советских ученых об этом романе.

Наиболее полное представление о сложившейся в советском литературоведении современной концепции «Преступления и наказания» дает монография В. Кирпотина «Разочарование и крушение Родиона Раскольника» («Советский писатель», 1970). Это — своего рода «путеводитель» по роману. Книга вобрала в себя все ценное в интерпретации «Преступления и наказания» передовой русской общественной мыслью. В ней подводится и своеобразный итог исследованиям, которые сам ученый проводит вот уже более четверти века.

Свое понимание современного значения романа автор монографии тезисно изложил в уже упоминавшейся статье по поводу ин-

сценарии романа. «Идея Раскольникова,— писал он,— вошла на пропаганде субъективистско-идеалистических теорий «героев и толпы», столь заманчивых для радикальной молодежи, бунтующей в отрыве от масс, от рабочего движения, вне социалистического идеала (что подчеркнуто Достоевским)».

Моральное крушение Раскольникова было неизбежно. Романист не мог предложить реального выхода из сложившейся коллизии. Но как гениальный художник-реалист он вскрыл бессилие индивидуалистического бунта. Он показал, что своеволие «сильной личности» есть проявление вандализма эсе той же буржуазной системы. Философия анархического «неучастия» бесплодна, в конце концов, она и преступна.

Исследователь не упрощает проблематику «Преступления и наказания», выделяя в нем в первую очередь эту линию как наиболее актуальную сегодня. Он отлично сознает, что ни один из компонентов художественного произведения не живет сам по себе, вне множественности сложнейших внутренних связей, «сцеплений», как говорил Лев Толстой. Капитальная трудность в том и состоит, чтобы при неизбежной схематизации произведения искусства, подвергнутого идейно-эстетическому анализу, не нарушить систему «кровообращения», питающую целостный организм. В работе В. Кирпотина Раскольников рассматривается как образ многогранный, сложный, «вариативный». Ученый не пытается уложить его в ложе однолинейных дефиниций.

Цинизм, властвующий над всем, приводит Родиона в отчаяние. Но индивидуалист, он казулистически обосновывает свое «право» повелевать другими, «царить над людьми», «сгрести их в руки и потом делать им добро». Волонтаристские представления о возможности пренебречь объективной закономерностью общественного развития толкают Раскольникова на заранее обдуманное убийство.

Нельзя забывать о полемическом подтексте «Преступления и наказания»: в образе главного героя романа запечатлены горькие размышления писателя о социальной действительности, о природе человека. Достоевский продолжает свою полную боли и трагического скептицизма критику революционных и социалистических идеалов, начатую в «Записках из подполья». Отсюда — многослойность проблематики этой

книги, порождающая, в свою очередь, разные толкования в науке о литературе.

Исследователи единодушны в объяснении причин, побудивших Раскольникова совершить преступление: не только личные боли и невзгоды терзают задавленного бедностью студента и не только нужда и страдания сестры и матери — его мучает нужда всеобщая, горе вселенское. Побуждения героя, таким образом, высоконравственные. Преступником, говорят одни ученые, Раскольникова делает ложно поставленная им перед собой цель. Е. Старикова, откликнувшаяся на книгу В. Кирпотина интересной статьей «Исторические корни преступления Раскольникова» («Вопросы литературы», 1971, № 2), вносит поправку в такую трактовку главной идеи романа: герой Достоевского, говорит она, с самого начала ощущает, что подло примириться со злом, не вступить за униженных и оскорбленных. Но ужасно убит даже во имя борьбы с этой подлостью. «И так на протяжении всего романа: ужас убит и подлость примириться. И нет выхода для человека. И потому — трагедия».

За, казалось бы, формулировочными оттенками — разное понимание нравственной сути романа. Научная концепция «Преступления и наказания» (равно как и творчества Достоевского в целом) должна быть всеобъемлющей, учитывать всевозможные варианты решения. Названные исследователи, думается, на верном пути к этой цели.

«Теория» Раскольникова, согласно которой обрести свободу значит стать выше других людей, над миром и вне мира, — теория самоутверждения личности путем жестокого и преступного эксперимента, — ставит героя романа в один ряд с ненавидимыми Достоевскому апологетами насилия. Е. Старикова права: писатель безусловно отрицает насилие над личностью, под какими бы благовидными предлогами оно ни совершалось. И вместе с тем романист решительно отказывал человеку в праве пассивно, безучастно взирать на страдания людей.

«Преступление и наказание», как и другие великие творения Достоевского, отнюдь не поэтизирует фаталистическую покорность среде, пассивное принятие обстоятельств. Осудив Раскольникова за совершенное им преступление, автор верит в его нравственное возрождение, так как в этом молодом человеке активное, действенное на-

чало сочетается с готовностью к самоотречению.

Убедителен вывод, к которому исследователей подводит всесторонний анализ объективного содержания романа, образа Раскольникова, его «идеи», намерений и поступков. На перекрестке исторических и нравственных дорог, говорит В. Кирпотин, писатель показал, что анархическая доктрина, «рассыпной анархический бунт» против твердынь капитализма, ни к чему не приводит. И еще один итог: Раскольников решил «или устранить несправедливый порядок, или погибнуть вместе со взорванным миром, только бы не сидеть сложа руки». Но в этой нетерпеливости героя романа, в его безоглядной готовности погибнуть вместе со взорванным им миром не сила, а слабость, бесперспективность, обреченность его мятежа.

О чем бы мы ни говорили — о личности писателя или об его журнально-публицистической деятельности, эстетических взглядах или специфике его прозы, о содержании его переписки или о неосуществленных творческих замыслах, — мы неизменно возвращаемся к проблеме, которую можно назвать узловой: наследие Достоевского и социализм. Достоевский и революция. К этой проблеме, как к центру, сходятся остальные, здесь они берут свое начало, к ней неизбежно возвращаются, будь то понимание писателем человека и его природы, представления о прошлом, настоящем и будущем человечества, позиции по отношению к различным направлениям и «партиям» в русской общественной мысли. Это именно та проблема, вокруг которой происходят самые ожесточенные схватки между подлинными, законными наследниками Достоевского и теми, кто надеется погреть руки на действительных и мнимых заблуждениях русского писателя.

«Не понимая и не принимая социализма, — говорил В. Озеров на совещании в «Вопросах литературы», посвященном первоочередным задачам изучения наследия писателя³, — Достоевский несравненно сильнее многих других художников чувствовал остроту идейных исканий современности: отныне они определяются отношением к этому учению, к борьбе за него или против него».

³ «На подлинно научной основе» («Вопросы литературы», 1971, № 4).

Какой социализм Достоевский не понимал и не принимал?

На этот вопрос отвечает Б. Сучков: «Он очень резко критиковал казарменные формы утопического социализма. Марксизм и научный социализм не несут за них ответственности и сами отвергают эти незрелые формы социализма. Тем не менее реакционные интерпретаторы наследия Достоевского стремятся использовать его для нападок на наш общественный строй. Объективно раскрыв содержание воззрений писателя, мы покажем, что подобного рода толкование его наследия — ложно и сугубо тенденциозно, хотя Достоевский и вел спор с рядом социалистических учений». Попыткой обосновать, в сущности, эту точку зрения (с некоторыми вариациями) явилась книга философа Ю. Кудрявцева «Бунт или религия». Выступая на совещании в «Вопросах литературы», автор этой работы заявил: «Достоевскому ставили в вину отрицание революции, социализма, не замечая диалектичности взглядов писателя. Важно установить, что Достоевский отрицает в революции, в социализме. Научный подход к проблеме, чуждый стереотипному мышлению, неминуемо приведет к выводу, что в революции писатель отрицает не ее цель, а те из средств, многие из которых отрицаются и марксизмом». В книге же Ю. Кудрявцев показал, что априорное признание мировоззрения Достоевского сплошь реакционным — антинаучно, что оно лишь на руку нашим идеологическим противникам. С вескими аргументами в руках автор развеивает попытки буржуазных исследователей искусственно выделить из философского наследия русского писателя круг определенных идей, которые, по их мнению, согласуются с их собственными концепциями мира и человека. Впервые в нашей научной литературе в книге «Бунт или религия» так пристально рассматриваются писания Н. Бердяева и отчасти Л. Шестова о Достоевском, вскрыто бессилие кумиров экзистенциализма решить «одну из основных проблем века, проблему личности».

Достоевский, говорит Ю. Кудрявцев, осуждал тех бунтовщиков, которых он изобразил в своих художественных произведениях. Этот очевидный факт сам по себе споров не вызывает. Но почему осуждал, во имя чего? Прямота постановки вопроса вызывает сочувствие и доверие. Недвусмыслен и ответ: «Причина неприятия

бунта как метода решения проблемы личности лежит в самих известных Достоевскому общественных течениях. Достоевский не принимает революцию за ее «бесовство», под которым он понимает что угодно, но только не заботу о благе народа, о благе личности». Ю. Кудрявцев приходит к заключению, что писатель не принимает пути и методы мелкобуржуазных форм социализма, их он включает в раздел «бесовства», им говорит свое «смирись!». Революционное движение в целом Достоевский не считал «бесовским». И хотя в его произведениях не найти другого образа борца, кроме как в бесовском одеянии, он «не отождествляет социализм с «бесовством», а, напротив, «довольно определенно проводит водораздел между ними».

Изложенная здесь точка зрения логична и в основном согласуется с объективным содержанием творчества Достоевского. Однако автор допускает то, что Г. Пospelов в другой связи (речь шла о книге М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского») назвал «преувеличением от увлечения». Говоря о том, что писатель «довольно определенно проводит водораздел» между социализмом истинным и мнимым, революционностью настоящей и поддельной, мы становимся на путь «улучшения истории». Ю. Кудрявцев за бортом оставляет отдельные факты, которые не укладываются в его стройную концепцию. С ними тоже надо бы считаться во имя той самой диалектичности, гибкости, разносторонности анализа, за которые так горячо ратует автор «Бунта или религии». Так, натолкнувшись на «диссонансы» в личности Достоевского, в его характере и поведении, Кудрявцев выдвигает теорию «тактических шагов». Писатель, мол, придерживался «тактического метода» или принципа: «не лукавить в главном и допускать хитрости в неглавном». Эта удобная концепция позволяет отмахнуться от темы «Достоевский и Победоносцев». Не было, говорят нам, «дружбы» между писателем и Победоносцевым, да и последний в те времена, когда автор «Братьев Карамазовых» был с ним близок, «еще не проявил себя как Победоносцев, чье имя стало нарицательным».

В этом отношении большую объективность проявил М. Гус, чья монография «Идеи и образы Ф. М. Достоевского» вышла в этом году вторым изданием в «Художественной литературе». Книгу М. Гуса можно, вероятно, упрекнуть в места-

ми излишнем социологизировании, в недостаточности собственно филологического анализа творчества. Привлекает же это обстоятельное исследование солидной оснащенностью документальным материалом, богатством фактической основы.

В отличие от Ю. Кудрявцева М. Гус приводит ряд свидетельств о том, что писателю довелось «наяву» сталкиваться не только с полуфантастическими и беспочвенными мечтами утопистов-социалистов, но и слышать о реальных требованиях молодого рабочего класса, об его первых революционных программах и организациях. Введенный в заблуждение живой официальной пропагандой, Достоевский не понял и не одобрил великое начинание пролетариата — Парижскую коммуну. Не сумел он разобраться и в историческом значении Первого Интернационала.

Дело, со всей очевидностью, обстоит сложнее, чем оно представлено на некоторых страницах интересной работы Ю. Кудрявцева. В частности, памятью о дистанции между автором и персонажем, надо бы все-таки уточнить: действительно ли «подпольный человек» «показывал язык» только революционерам без созидательной программы? Или, отрицая социалистическое будущее, «хрустальный дворец», он метил, между прочим, в Чернышевского и в его «партию», в «теоретиков», как называл Достоевский революционеров-шестидесятников? Утопизм положительной программы русских просветителей вне всяких сомнений, но она отнюдь не сводима к книгилистическому бунту. Не только Чернышевский и его соратники, но и основоположники научного социализма полагали, что Россия с начала шестидесятых годов вступила в революционную эпоху.

Ключом к выяснению действительного положения вещей является ленинская теория отражения. Она противостоит механическому отождествлению идейной направленности художественного произведения с субъективными намерениями, устремлениями автора. Из глубокого понимания сложного взаимодействия объективного и субъективного в искусстве исходит В. И. Ленин в своих статьях о Льве Толстом. Хотя писатель «явно не понял» революции и «явно отстранился» от нее, Ленин говорит о Толстом как о зеркале русской революции, ибо «...если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон револю-

ции он должен был отразить в своих произведениях»⁴. Своеобразие идейно-эстетических позиций писателя Ленин вскрывает, исходя из анализа пореформенной русской действительности и специфических особенностей русского народно-освободительного движения.

Руководствуясь ленинскими принципами и критериями оценки, мы вправе в том же смысле утверждать, что Достоевский в конечном счете наш союзник и находится по нашу сторону баррикад. Искания Достоевского, по справедливому замечанию автора «Бунта или религии», «шли не от желания вместе с «батюшкой-царем» «накинуть узду на народ», а от желания снять узду с народа».

Как же в таком случае квалифицировать острый конфликт между Достоевским и революционной демократией?

Эта проблема затронута во многих исследованиях. Тема «Достоевский и Белинский», например, детально разрабатывается в книгах Т. Усакиной, П. Мезенцева, В. Кулешова, ей посвящена специальная монография В. Кирпотина⁵. Богата литература о Достоевском и Чернышевском, Достоевском и Добролюбове. Однако в некоторых исследованиях встречается тенденциозно-одностороннее освещение фактов. Грешит этим, на мой взгляд, известная книга С. Борщевского «Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы». Ученый мобилизовал огромный фактический материал с целью доказать отсутствие каких-либо точек соприкосновения между Достоевским и его идейным антиподом Щедриным.

Догматическое литературоведение, замечает по этому поводу Ю. Кудрявцев, породило «довольно абстрактный взгляд не только на тех идеологов, которые считались нашими врагами, но и на тех, кто считался нашими идейными друзьями по революционной борьбе. Первых изображали сознательно ошибающимися с младенческого возраста, вторых не ошибающимися никогда». В действительности же не то-

лько колебания и заблуждения Достоевского в отношении социализма и революции, но и непоследовательность, историческая ограниченность теоретических взглядов Чернышевского и его соратников объясняются спецификой, противоречиями, сложностями одной и той же эпохи.

«Достоевский писал во время великого перелома человеческого сознания, писал во время революционной ситуации, которая не разрешилась в революцию,— заметил недавно в «Новом мире» В. Шкловский, коснувшись этого вопроса, и продолжил:— Топор летает вокруг мира Достоевского. Тот топор, о котором писал Чернышевский. Топор революции».

Это уподобление, мне кажется, не только эффектно, оно и многозначительно.

Сосредоточившись на изучении коренных различий между «партией Чернышевского» и Достоевским, мы (в том числе и автор этих строк) не обращали достаточного внимания на то, что их роднит.

Предложенные Чернышевским и Достоевским решения главенствующих вопросов общественного развития различны кардинально. И ожесточенную полемику между «Современником» и почвенническими журналами «Время» и «Эпоха» нельзя рассматривать как плод недоразумения или, что еще хуже, личных антипатий. Иные критики и публицисты, увлекшись идеализацией патриархальной старины, проповедью «неопочвеннических» теорий, склонны взаимоотношения между Достоевским и его оппонентами из лагеря революционной демократии абстрагировать от конкретно-исторической и классовой сущности борьбы. Вместе с тем со временем становится все очевиднее, что антагонисты Достоевского из «Современника» и «Русского слова», сказав много верного и пронизательного о писателе, не осознали подлинных масштабов его идейно-художественных открытий. В этом сказалось также снижение общего теоретического уровня революционно-демократической мысли после насильственной изоляции Чернышевского и ранней кончины Добролюбова. Некоторые важные социально-нравственные вопросы, в чем нас убедило последующее развитие общества, Достоевский ставил глубже и сложнее, нежели это представлялось таким его критикам, как М. Антонович, например.

Вместе с тем не забудем, что об общности конечных целей писал не кто иной, как Щедрин, один из наиболее непримиримых,

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 206.

⁵ Т. У с а к и н а. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов. 1965; П. А. М е з е н ц е в. Белинский и русская литература. М. 1965; В. И. К у л е ш о в. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М. 1965; В. К и р п о т и н. Достоевский и Белинский. М. 1960.

но и дальновидных критиков почвеннической программы. «По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им,— сказано Щедриным в 1871 году об авторе «Идиота»,— этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества». И далее, говоря о попытке Достоевского «изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия», Щедрин видит вопиющее противоречие в том, что романист, «нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора» (выделено мной.— У. Г.)

Красноречивое признание! Революционный демократ Щедрин признает задачу романа «Идиот», «гениально задуманной вещи», совпадающей с конечной целью передовой русской социалистической мысли. Одного только этого свидетельства достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности навязываемых читателям буржуазными «специалистами» по Достоевскому представлений о соотношении положительного идеала писателя и положительной программы русских революционеров-просветителей.

На фальсификации истории хотели бы заработать капитал так называемые советологи. Чаще всего атаке подвергается Белинский, давший путевку в жизнь автору «Бедных людей», но настороженно отнесшийся к его повороту в сторону «Двойника».

Было бы нелепо отрицать напряженность ситуации, сложившейся вокруг Достоевского уже во второй половине 40-х годов. И в последующие десятилетия наличие реакционных мотивов в художественном и публицистическом творчестве писателя позволяло мракобесам хвататься за его фалды. Реакция и сегодня не отказалась от надежды привязать великого художника к своей колеснице. Но констатировать только эти факты значит останавливаться на полпути, говорить половинную правду.

Ведь именно воздействию передовых идей, «идей Белинского и Гоголя», молодой

Достоевский был обязан ускоренным движением в сторону к углубленному социальному критицизму. На первый взгляд это может показаться парадоксальным, но «Двойник» и другие ранние повести, вызывавшие недовольство Белинского, восторженного ценителя «Бедных людей», свидетельствовали о поисках реалистом гоголевской школы более эффективных и действенных форм, новых приемов и средств для раскрытия нефасадной стороны русской жизни, которую его научил видеть тот же «неистовый Виссарион».

В монографии «Достоевский и Белинский» по этому поводу сказано, что «без Белинского Достоевский никогда не создал бы свои самые интересные, самые значительные художественные образы отрицателей, бунтарей, богоборцев, ревнителей справедливости, искателей правды». Вероятно, это утверждение В. Кирпотина может показаться несколько категоричным. Но конкретные исследования, проведенные советскими учеными, убеждают в том, что именно русская передовая общественная мысль обратила взоры молодого Достоевского к «потаенной» сущности социального бытия, к глубинным противоречиям человеческой природы.

Даже порвав с Белинским, всю жизнь полемизируя с ним и его преемниками, писатель находится под обаянием личности и учения критика-революционера. Но беспокойство Белинского, опасения его тоже ведь не были безосновательными: уже в раннем творчестве гениального прозаика критик рассмотрел в зародыше некоторые контрасты, в высокой степени отличавшие творчество зрелой поры.

И когда наши идейные противники на Западе все это пытаются отрицать, они вынуждены прибегнуть к передержкам и подтасовкам. Так поступает, например, американский славист Т. Проктор в своей книге «Достоевский и литературно-критическая школа Белинского» (1969). Достойный ответ этому автору дал А. Сигрист в статье «Фальсифицированный Чернышевский: стереотипы и новации» («Вопросы литературы», 1971, № 1).

Современные философы тотального огчания, ставя знак равенства между автором «Записок из подполья» и их персонажем, не прочь объявить это произведение евангелием исповедуемой ими веры, точнее — безверия. Достоевский действительно

зadolго до экзистенциализма с неподдельной болью за человека ставил проблему «некоммуникабельности», столь модную на буржуазном Западе сегодня, говорил об отчуждении личности. Он видел, как вместе с торжеством капиталистических отношений происходит разрыв естественных связей между людьми. Но что общего у Достоевского, возвысившего голос за всех униженных и оскорбленных, и литераторами, воспевающими «антигероев», поэтизирующими низменные страсти и побуждения, амнистирующими предательство, утверждающими извечность и неизбежность волчьих законов насилия и угнетения человека человеком?

Чаще и охотнее всего враги революции и социализма спекулируют на противоречиях «Бесов». Отрывая анализ идейной проблематики романа от конкретно-исторических условий, его породивших, они подменяют адрес, в который направил свой гнев Достоевский. Случалось, что и демократическая критика (вспомним хотя бы статьи Н. Михайловского о «жестоким таланте») безоговорочно объявляла эту книгу злостной клеветой на революцию и революционеров. Между тем однолинейная трактовка романа в ряду других антинигилистических романов 60—70-х годов XIX века не выдерживает критики. Равно как, впрочем, и «реабилитация» «Бесов», предпринятая некоторыми нашими исследователями.

Легковесность в решении этого вопроса тем более опасна, что, тенденциозно изымая роман из всего сложного комплекса мировоззрения и творчества писателя, авторы — наподобие англичанина Рональда Хингли в работах «Неизученный Достоевский»⁶ (1962) и «Русские писатели и общество. 1825—1904» (1967) — настойчиво выискивают в нем все ушербное. «Бесы» поднимаются на щит и объявляются едва ли не самым значительным произведением Достоевского.

Хингли не одинок и не оригинален. Еще раньше американец Стейнер в книге «Толстой и Достоевский» (1959) клеветнически утверждал, будто современная Россия избрала путь... Шигалева из «Бесов» и великого инквизитора из «Братьев Карамазовых». До него Янко Лаврин в издании «Русские писатели, их жизнь и произведе-

ния» (1954), развивая концепцию, восходящую к Мережковскому и Льву Шестову, сталкивал лбами великих романистов и, умаляя достоинства автора «Войны и мира», «возвышал» создателя «Бесов». Совсем недавно Я. Лаврин в «Заметках о Ницше и Достоевском» пошел еще дальше по тому же пути...

Однако «концепции» Хингли, Стейнера, Лаврина, антисоветизм которых едва прикрыт флером академичности, уже представляются старомодными и ограниченными с точки зрения неоавангардистов. Американец Джордж Гибнан в статье «Формы недовольства у Достоевского и Толстого» (1968) говорит об авторе «Бесов» как о прорицателе глобальных катаклизмов, апокалипсиса, «агонии и экстазов». Наконец, американский троцкист Ирвинг Шоу, также доказывая, будто Достоевский является предшественником современной литературы отчаяния и неверия, в предисловии к антологии «Идея современности в литературе и искусстве» (1967) устанавливает прямую связь между «нигилизмом» русского романиста и нигилистическим мироотрицанием модернистов. В качестве ключевого произведения опять-таки избираются «Бесы».

Советские исследователи пока еще мало сделали, чтобы помешать этим манипуляциям «советологов». Репутация «Бесов» настолько устойчива, что даже такие осмрительные авторы, как М. Гус, поддаются ее гипнозу. Во втором издании монографии «Идеи и образы Достоевского» дано традиционное определение романа: «Бесы» — злобный памфлет на революцию и социализм, — хотя такая упрощенная квалификация противоречит конкретному, оснащенному разнообразным документальным материалом разбору идейной проблематики романа, который осуществлен на предыдущих страницах самим М. Гусом.

Величие Достоевского и историческое значение этого его романа в том, что, ощутив в «нечаевшине» разъединение революции и морали, он с огромной художественной силой и страстной убежденностью показал, к какому глубокому падению приводит — воспользуемся определением Маркса и Энгельса — приверженность «всеразрушительной ортодоксии»⁷.

Судя по воспоминаниям В. Бонч-Бруевича, Ленин говорил, что при чтении «Бесов»

⁶ О книге «Неизученный Достоевский» см. рецензию М. Ломагиной в «Вопросах литературы», 1965, № 5.

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 398.

надо не забывать, что здесь отражены события, связанные не только с деятельностью С. Нечаева, но и М. Бакунина, напоминал, что как раз в то время, когда писался роман, Маркс и Энгельс вели ожесточенную борьбу против Бакунина. Дело критики разобратся в этом.

Как известно, основоположники научно-го социализма разоблачали авантюризм Бакунина, его псевдореволюционность. Сторонники Бакунина не отступали ни перед какими средствами, ни перед каким вероломством, прибегали ко лжи, клевете, запугиванию, нападению из-за угла, прикрываясь — как провокаторы — именем Интернационала. Этим, естественно, не преминула воспользоваться официальная пресса, возлагавшая на подлинных революционеров ответственность за совершаемые авантюристами уголовные преступления, убийства и мошенничества. И как в этой связи не вспомнить, что писатель заставляет Петра Верховенского в «Бесах» признаться: «Я не социалист, а мошенник...»

Исходные позиции Достоевского были ошибочными, так как он ставил знак равенства между апостолами своеволия и подлинными носителями идеала будущего. Еще задолго до «Бесов», в «Записках из подполья», писатель утверждал, что «хрустальный дворец» будет с низким наслаждением разрушен. Что же касается персонажей «Бесов», то у Достоевского, как мы видели, были основания для беспокойства: настороженность вызывали не только громогласные заявления, но и поступки радикалистских элементов в русском освободительном движении, тех самых, кто, по словам Маркса и Энгельса, был готов превратить революцию «в ряд убийств, сначала индивидуальных, затем массовых»⁸.

Рыцари революции всегда решительно очищали свои ряды от примазавшихся к святому делу авантюристов, себялюбцев, нечистоплотных людей.

Исторические параллели рискованны, их убедительность чаще всего кажущаяся. Но разве по сей день не остается в силе предостережение автора «Бесов»? Ни на минуту не забывая о заблуждениях Достоевского, мы вправе утверждать, что писатель помогает нам развенчивать тех, кому сегодня выгодно развязать анархистскую борьбу с коммунизмом. О настроениях,

подогреваемых сегодня на Западе провокаторами из числа ультралевацких, экстремистских идеологов, писал Б. Сучков в статье «Политика и литература» («Литературная газета», 3 февраля 1971 года).

Надо ли еще раз оговариваться, что значение таких выдающихся произведений художественной культуры, как «Преступление и наказание» или «Бесы», отнюдь не сводимо к тем или иным, пусть даже самым многозначительным современным ассоциациям? Но самая возможность подобных параллелей и сопоставлений говорит о неисчерпаемости этих созданий гения Достоевского.

В современной (не только отечественной, но и зарубежной) литературе о Достоевском все большее место занимают биографии. В этом, вероятно, есть своя логика. Интерес к личности писателя всегда был велик, но популярность такого рода изданий должна быть поставлена и в связь с возросшей популярностью документальных жанров.

Жизнь Достоевского, бывшего петрашевца, осужденного на смертную казнь, каторжанина и ссыльного, разжалованного в солдаты, преисполнена высоко драматизма. Образ создателя «Записок из Мертвого дома» вдохновляет не только историков литературы, но и беллетристов.

На Западе сейчас в ходу несколько жизнеописаний Достоевского. Об их научном уровне и идейной направленности можно вполне судить по трем обнародованным во Франции книгам Доминики Арбан: «Достоевский — виновный» (1953), «Достоевский сам о себе» (1963), «Годы учения Федора Достоевского» (1968). Написанные по фрейдистским рецептам, труды эти, при всей их солидной оснащенности фактографическим материалом, воссоздают извращенный, фальшивый образ писателя. Советские специалисты вскрыли органические недостатки названных книг, их методологическую беспомощность⁹.

Двойничество — центральная тема тех зарубежных исследований, которые назойливо проводят параллели между автором и его героями, приписывая писателю философию «человека из подполья», болезненную психику персонажей его романов. Так, в английской книге «Зеркала на дороге»

⁸ Там же.

⁹ См. «Вопросы литературы» № 4 за 1969 год и № 1 за 1971 год.

Ф. О'Коннор прибегает к испытанным мотивировкам («эдипов комплекс», «восстание против отца» и т. п.) для объяснения проблематики творчества Достоевского. Лоуренса Колберга из Чикагского университета уже не удовлетворяет простое уподобление писателя его героям-неврастеникам. В статье «Психологический анализ и литературная форма: исследование двойников Достоевского» (1963) говорится о необходимости изучения личности автора как «архетипа психопатологического гения». В книге А. Стейнберга «Достоевский» (1966) творчество писателя рассматривается не как отражение исторической реальности, а только как воплощение индивидуального психического опыта, связанного с реальностью опосредствованно и потому порождающего миф о действительности. Все эти и им подобные концепции должны внедрить в сознание читателя уверенность в главенствующем значении темных побуждений, инстинктов, не поддающихся контролю разума. Заодно распространяются фальсифицированные представления о русском человеке, его внутреннем мире, характере и идеалах.

Самая основательная биография, изданная у нас, на родине писателя, принадлежит перу покойного Леонида Петровича Гроссмана, одного из самых авторитетных исследователей жизни и творчества Достоевского. В разное время появилось несколько беллетристических или полубеллетристических произведений о жизни великого писателя. Одно из них — «Здесь жил Достоевский. Повесть из 33 сцен» М. Никитина (1956) — вызвало целую дискуссию. В ней приняли участие Б. Брайнина, С. Макашин, В. Ермилов. Последний упрекал автора в либеральной идеализации облика и мировоззрения ссыльного писателя. Молодым годам Достоевского посвящен роман Д. Бреговой «Дорога исканий» (1962). Не так давно в Алма-Ате вышла книга Павла Косенко «Сердце остается одно», повествующая о пребывании Достоевского в Казахстане, а вслед за ней его же книга «Иртыш и Нева. Двенадцать лет из жизни Достоевского-литератора».

Марксистско-ленинская литературная наука не игнорирует личность художника. Напротив. Прав был К. Чуковский, когда он настаивал в беседах с молодыми на том, что «биография писателя и его творчество неделимы. Нельзя изучать произведения, писать о них исследования и крити-

ческие статьи, не зная до мельчайших подробностей жизнь писателя» («Литературная Россия», 1971, № 7). Но нашей методологии чуждо рассмотрение творчества классика как иллюстрации его непосредственных жизненных впечатлений, как беллетристического комментария или, того хуже, регистрации душевных движений.

В романах Ф. М. Достоевского отчетливо отразилась неповторимая личность автора, его душевный склад, его духовный мир. Но их историческое и эстетическое значение вовсе не ограничивается фиксацией внутреннего мира их создателя. В художественном и публицистическом творчестве Достоевского запечатлено и исследовано все разнообразие реальной жизни.

«Личностный» подход многое объясняет в замысле, в истории создания произведения, позволяет установить реалии и прототипы. Можно привести и другие аргументы в пользу обращения исследователя к личности автора. Но рассматривать художественное творчество как зеркальное отражение индивидуальности художника значило бы сузить представления о назначении и гносеологических возможностях искусства. Сегодня, разумеется, уже не встретишь адептов биографического метода как такового. Но «родимые пятна» биографизма подчас обнаруживаются самым неожиданным образом.

Нам уже довелось писать о повести Павла Косенко «Сердце остается одно» («Литературная Россия», 1970, № 29). Были отмечены ее несомненные достоинства. Мы критиковали ее серьезные промахи. Тем, вероятно, можно было бы ограничиться. Но в восьмой книжке журнала «Молодая гвардия» за 1970 год появилась восторженная рецензия-аннотация И. Коккинаки, безоговорочно рекомендующая повесть читателю. Ни слова о недостатках: напротив, промахи, по сути, возводятся в ранг достоинств. Заслуга автора биографической повести о Ф. М. Достоевском усматривается в том, что «удалось показать цельность и чистоту характера человека, ставшего гордостью России». «Величественный и простой образ писателя» передан «с предельной ясностью». Самому П. Косенко, вероятно, и в голову не приходило утверждать «цельность характера» и «простоту образа» своего героя. Автор рассуждает о сложном, противоречивом, «мучительном процессе перестройки миропонимания» Достоевского, помнит, что ссыльный писатель

переживал в то время один из самых отчаянных моментов в своей жизни. Но впечатление о «цельности» и «простоте» критик почерпнул все-таки из книги «Сердце остается одно». Главная мысль ее автора заключается в том, что, как бы ни менялись взгляды писателя, сердце его по-прежнему было полно любви к бедным людям, глубочайшим сочувствием к ним, страстным желанием облегчить их участь, привести к счастью.

Кто будет с этим спорить? Но правильный тезис подтверждается не анализом объективного содержания творчества, а ссылкой на двусмысленную цитату из письма Достоевского к Ап. Майкову: «Идеи меняются, сердце остается одно». Так незаметно происходит подстановка. Сердце Достоевского действительно всегда оставалось сердцем великого гуманиста. Но гуманизм, равно как и патриотизм, — да простится нам повторение азбучных истин — понятия социально-исторические и, следовательно, нуждаются в конкретном наполнении. Гуманизм Достоевского претерпевал качественные изменения: он был одним в пору создания «Бедных людей», тесного общения с Белинским и активного участия в кружке социалистов-утопистов, другим — в эпоху революционного подъема 60-х годов, когда писатель в противовес учению Чернышевского утверждал свой «почвеннический» идеал.

Нужно ли и можно ли противопоставлять «меняющимся идеям» «неизменное сердце»? Нет ли между ними определенной связи? А менялись ли идеи писателя? Был ли идейный кризис, перелом в мировоззрении Достоевского, равно как и последующая эволюция? Увы, вопросы совсем не праздные. Без малого полвека назад А. Долинин писал: «...Как был Достоевский, до каторги, пламенным защитником «униженных и обойденных», последователем Белинского-социалиста, Жорж Санд и Фурье, так и остался он им до конца». То же самое, по сути дела, пишет сегодня Ю. Кудрявцев в «Бунте или религии»: «Каторга не изменила существенно мировоззрение Достоевского, она очистила его от многих наивных утопий, заставила более критически подходить к вопросу о методах и средствах решения коренных общественных проблем».

Современному восприятию Достоевского

у нас менее всего свойствен преувеличенный интерес к теневым сторонам личности писателя. Советская литературная наука не выступает ни в роли «прокурора», ни в роли «адвоката» гения: великий художник не нуждается в защите. Его «оправдание» в самом творчестве, в той правде, которую он сумел сказать своим современникам и потомкам. Эти принципы в отношении к классикам литературы сформулированы не сегодня и не вчера. Но мы отнюдь не безучастны к личности писателя, к его нравственному облику.

Подводить итоги еще рано. Специально-го анализа требуют новые публикации, появляющиеся в преддверии юбилея писателя. О них не стоит говорить вскользь. Литературоведение находится в пути. Оно берет один перевал за другим. Достоевский — высочайшая из вершин, которыми науке о литературе предстоит овладеть.

Настало время новых стартов. Работы, созданные в последние годы, — только некоторые из них нам удалось рассказать в этих заметках — неравноценны. Но в лучших из них видно плодотворное стремление выйти за пределы привычных исследовательских площадок, расширить горизонты исследований.

А «предмет» изучения поистине неисчерпаем.

...В одной из последних записных книжек Ф. М. Достоевского, впервые напечатанных в 1883 году, сказано: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой». Этим словам, которые могли бы служить эпиграфом ко всему творчеству писателя, предшествует другая запись: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен... — хотя и не известен русскому народу теперешнему, но буду извещен будущему».

История России и народа русского показала, что Ф. М. Достоевский был неправ, выводя свою народность из глубин христианского духа. История подтвердила величие писателя-гуманиста, видевшего свою главную задачу в искусстве — при полном реализме найти в человеке человека.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Борисова. В поисках друга.— **В. Сквозников.** Стиль — вопреки моде.—
Ю. Данилин. Книга отчаяния и непокорности.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Кунина. Диалектика милитаризма.— **Р. Баландин.** Судьбы одной гипотезы.— **Ф. Видрашку.** Мир без надежды.— **Д. Шалин.** О понимании человека человеком.

Литература и искусство

В ПОИСКАХ ДРУГА

Гавриил Троепольский. Белый Бим черное ухо. Повесть. «Наш современник», 1971, №№ 1, 2.

Герой новой повести Г. Троепольского старый журналист, пенсионер Иван Иванович Иванов, человек одинокий (в войну он потерял сына, совсем недавно — любимую жену) и больной (с войны он носит в груди осколок), взял щенка. Это обстоятельство, вполне заурядное, особенно если принять во внимание, что Иван Иванович — страстный охотник, любитель и знаток природы, становится для него источником разнообразных размышлений и переживаний, как горьких, так и радостных, иногда самых обыденных и простодушных, порой возвышенных, драматических и неожиданных в своих выводах. Свои записки о сеттере Биме Иван Иванович так и определяет — «о собаке, о себе».

В одной из этих записей Иван Иванович писал: «Мы с ним на разных ступенях развития, но очень и очень близки. Природа творит по устойчивому закону: необходимость одного в другом; начиная с простейших и кончая высокоразвитой жизнью, везде — этот закон... Разве смог бы я вынести столь жуткое одиночество, если бы не было Бима?» Дело не в том вовсе, что забавный щенок с необычной для его породы окраской развлекал Ивана Ивановича, а взрос-

лый Бим, оказавшийся охотничьей собакой с редким нюхом, стал прекрасным спутником Ивана Ивановича на охоте, дело не в развлечении и не в отключении, а скорее в обратном: сначала своей любовью и великодушьем, позже, когда болезнь Ивана Ивановича их разлучила, своей преданностью и своими страданиями Бим включает Ивана Ивановича в жизнь. Пожилой человек, за плечами которого огромный жизненный опыт, прояснившимся зрением на каждом своем шагу — ходит ли он по улицам своего города или в сопровождении Бима бродит по лесам и полям — устанавливает эту «необходимость одного в другом», существующую всюду и всегда, повсеместно и ежеминутно, но часто неосознаваемую, отрицаемую, растаптываемую и тем не менее восстанавливаемую, творимую природой заново, потому что разобщение и одиночество — свидетельство распада жизни.

Г. Троепольский относится к природе не только с любовью, но с тем огромным уважением, при котором точное знание не исключает *познания*. Одухотворенность природы для Г. Троепольского факт бесспорный, не боящийся точного знания. Поэтому-то о жизни животного он пишет с уважением к

его собственной натуре, не навязывая этой натуре никаких поверхностных параллелей с жизнью человека.

В том же номере «Нашего современника», в котором напечатано начало повести Г. Троепольского, приведены слова молодого поэта Василия Кубанева (едва перешагнув двадцатилетний возраст, он погиб в 1942 году от туберкулеза, обострившегося на фронте, куда он пошел добровольцем). «Я знаю,— писал В. Кубанев,— для того, чтобы осуществить свои замыслы, я должен всю жизнь учиться — у жизни, у книг, у людей, у вещей, у себя, у мира, у врагов своих, у жуков и ящериц, у ручьев, у звезд, у солнца,— у всего всему учиться». Герой повести Г. Троепольского в высшей степени обладает этой способностью учиться даже у щенка, которого он сам обучает, прививая ему самые первые понятия: хорошо, плохо, нельзя... В один из первых выездов в поле восьмимесячный Бим сделал неожиданное и поразительное открытие — хозяин, его всеильный, всемогущий хозяин, оказывается, калека: он не слышит тех запахов, которые чувствует он, Бим, и тогда впервые «Бим принял решение с а м». И... «вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения самого себя».

Бим утешал хозяина, снисходил к нему и учился брать на себя то, чего не может друг. «Выстрел. Перепел падал как ошпаренный кипятком», но «догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти, поднять на крыло и лечь, а остальное делает друг. Игра на равных: хозяин без чутья, собака без ружья. Так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы».

В применении к животным, к Биму прежде всего, Г. Троепольский постоянно говорит о преданности, о благородстве, о доверии как о качествах, не столько им приписываемых, сколько им действительно свойственных. Речь идет не о поэтической метафоре, а о биологическом свойстве. Рассказывая в конце повести о том, как ставший бездомным Бим (Ивана Ивановича неожиданно увезли в Москву на операцию), страдавший, избитый, с покалеченной лапой, упорно шел к родной двери, Г. Троепольский пишет, что он шел «к той самой, знакомой с первых дней жизни, к двери, за

которой доверие, наивная святая правда, жалость, дружба и сочувствие были настолько естественны, до абсолютной простоты, что сами эти понятия определять не имело смысла... та дверь, куда шел Бим, была частью его существа, она была его жизнью. И — все. Так, ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают такой преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной основой самого существа, когда благородство души — само собой разумеющееся состояние».

На протяжении повести шаг за шагом Троепольский обнаруживает, что нравственные понятия заложены в самой структуре жизни, что их содержание не придумано, не привнесено умозрительно откуда-то извне, а действительно является «естественной основой самого существа» жизни. Он отыскивает те ресурсы правды, благородства, преданности и самоотречения, которые кроются в жизни природы так же, как и в жизни людей, не только при этом собирая факты и примеры, но больше всего устанавливая, что именно на этих качествах стоит жизнь. В этом пафос повести, которую автор посвятил А. Т. Твардовскому.

С каждым новым ударом судьбы бездомный Бим ослабевал до такой уже степени, что даже мелкая неприятность превращалась в роковую, а удача, даже серьезная, оказывалась бессильной восстановить его сопротивляемость. Не масло в Биме только одно — память о друге, с которым Бим и мог быть самим собой, потому что даже у хорошего человека, пастуха Хрисана Андреевича, где было вдоволь и покоя, и еды, и тепла, не было ружья, а стало быть, и охоты, а — лишь пастушья служба, вполне занятая, но для Бима совсем недостаточная. Биму не нужна была свобода сама по себе, ему нужен был тот, с кем он мог вернуть уже испытанное и не требующее никакой замены счастливейшее чувство взаимного доверия и дружбы. В этом суть Бимовой натуры, но это не единственная из возможных высот, не единственный вариант героической нравственности, встречающийся в природе. Об этом Г. Троепольский — и писатель, и природовед, и человек — говорит прямо, это находит нужным оговорить особо.

В повести есть эпизод, один из самых ярких в ней, когда Бим на охоте встречается с волком. Связь одного существа с другим, необходимость одного в другом, часто лежащая где-то в глубине, а не на поверхности, Г. Троепольский обнаруживает здесь в простом и неожиданном повороте.

«Волк, огромный старый волк... подпрыгнув на всех четырех ногах, резко, всем корпусом, не поворачивая шеи, обернулся на выстрел и... стал. Широкий мощный лоб, налитые кровью глаза, оскаленные зубы, красноватая пена... И все-таки он не был жалок. Он был красив... О нет, он не был трусом, он не хотел падать и сейчас... но... рухнул-таки плашмя, медленно геребирая лапами. Потом замер, присмирел, успокоился.

Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку. Но что это была за стойка! Шерсть на спине взъерошилась, на холке она почти стояла торчком, а хвост зажат между ног: озлобленно-трусливая, безобразная стойка на своего брата, на гордого царя собак, уже мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим, и кровью своей страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не верил. Бим боялся брата, волк не боялся его даже смертельно раненный». К трупу волка Бим не пошел, «а, наоборот, нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на тридцать подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал в лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иванович заметил, что белки глаз у Бима кроваво-красные. Зверь!

...Когда собрались на кордоне все охотники, выпили по чарке и заговорили, веселые и возбужденные, Бим отчужденно и одиноко лежал под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, пораженный и зараженный волчьим духом».

Но сколько ни скитался Бим, как ни гнали его и ни калечили, волчий дух, неожиданно проснувшийся, заговоривший в нем, не взял над Бимом власть. Бим облез и потерял стать, отличные качества высокопородной (хотя и выбракованной) охотничьей собаки гасли в нем, и тем не менее подранка он взять не захотел, не мог, как ни натравливал Бима на этой случайной охоте один из его временных хозяев, охотник неумелый и подловатый. Ударом сапога этот человек разбил Биму грудь, и от этой травмы Бим не мог оправиться уже до конца жизни. Но Бим остался Бимом, хотя,

казалось бы, новый образ жизни толкал его к одичанию. Может быть, могучий волчий дух преобразовался здесь в преданность и устойчивое благородство; может быть, он сказался в том, как живучи и нестребимы оказались в Биме эти качества, которые заложены были в нем природой, а Иваном Ивановичем разгаданы, очищены, развиты и тем самым закреплены?

Эти две очевидные индивидуальности — волк и Бим — сопоставлены в повести, обнаружена их связь и естественная «необходимость одного в другом». Речь в данном случае идет о животных, и писатель не устанавливает, чья природа выше. Он только обнаруживает то назначение, которое каждый из них несет, ту миссию, которую каждый выполняет в налаженном природой порядке. Точно так же, только более бегло, походя расскажет он о некоторых других животных и птицах: о лисе, о сороке, о серой вороне, о том, в чем смысл их существования, и тогда в повести слышится откровенный, не стесняющийся своего жанра голос публициста, выступающего в защиту природы от тех, чья неумная, а порой слепая инициатива хочет ее решительно переделать. Голос публициста сменяется голосом поэта, и тогда можно прочитать прекрасные строки о весеннем лесе: «Ветви слегка шумели от легкого ветра, жидко и голо; они будто ошупывали друг друга, то притрагиваясь концами, то чуть прикасаясь серединой сучьев: жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались — деревья казались живыми даже и безлистые». Голос поэта сменяется голосом моралиста, не желающего скрадывать откровенную назидательность, нравоучительность своей интонации, и тогда Г. Троепольский, рассказывая о первом подснежнике, который «такой маленький, но героический, такой тихий, но до того напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки, сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке», сравнит с ним людей «незаметных», но с огромной душой, вмещающей «в себе все лучшее, что есть в человечестве,— доброту, простоту, доверие».

Приключения Бима — это цепь новелл, в каждой из которых у Бима новый партнер, новая ситуация, новая грань познания жизни. Проходят люди, задевая Бима самым краешком своего существования, поскольку что уж может быть серьезного во встрече с бродячей собакой! Но, может быть, именно потому, что это краешек существования,

не требующий от встречных Бима никакого нравственного усилия, никакой душевной траты, а только почти инстинктивного движения к существу явно бездомному и беззащитному — так мгновенно и ясно проявляются в этих встречах люди. Эпизоды и характеры эти написаны неравноценно. Есть зарисовки совсем небольшие, четкость которых безупречна. Таков развеселый парень Шурик (Бим попал на строительство нового дома), который в обеденный перерыв плеснул в банку Бима ложку водки и предложил: «А ну, долбани-ка, песик, за здоровье тех, кто тут не ворует». Бим обиделся и отвернулся, поскольку водку, естественно, не пил, чем привел в восторг всю компанию, истолковавшую эту обиду по-своему («Не за кого тебе пить, благоразумный»), в награду Бим получил большой кусок колбасы. Дальнейшую речь Шурика о досках, усохших за ночь на одну треть, «Бим понял... по-своему: во-первых, водка собаке — плохо, а если ты ее не пьешь, то тебе дадут колбасы; во-вторых, все эти ребята, пахнувшие кирпичами, досками и цементом, — хорошие. Биму так и показалось, что Шурик говорил все время именно об этом».

Еще с одним хорошим человеком познакомился Бим — с Матреной. «Она приказала ему лежать у обочины, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепилась ими в шпалу вместе с другими женщинами.

— Раз-два, взяли! — рывкнул мужчина. — Еще разик! Еще раз! — орал он подбоченясь и даже гордо.

На каждый его крик женщины отвечали дружными рывками так, что бревно подчинилось и ползло за ними, зажатое со всех сторон клещами. При каждом таком рывке лица женщин напрягались до красноты, а у одной из них, худосочной и квелой, наоборот, лицо бледнело и даже синело. Эту

женщину Матрена отстранила рукой и сказала ей так, как когда-то говорил хозяин Биму, отгоняя его:

— Уйди! Отдохни, а то богу душу отдашь. — И к мужчине: — Ну, кричи, что ль, антихрист!

— Раз-два, взяли! — гаркнул тот и, поправив треух, стал выводить как бы с огромным трудом: — Ой, бабочки, еще раз! Муж уехал на Кавказ! Не доехал до Кавказа! Оженился там, зараза! Стоп! Ложи струмент!

Слово «зараза» Бим уже слышал от Курносого дядьки: плохое слово. Других слов он не понял».

Вообще те, кто Бима привечал и подкармливал, написаны — при всей малости отпущенного им места — несравненно более емко, чем характеры отрицательные. Злые люди в повести Г. Троепольского выглядят порой даже плоско, а некоторые и мелодраматично, как, например, злобный коллежционер собачьих знаков, отобравший у Бима ошейник, по которому можно было его найти; да и сюжетное назначение этого эпизода выглядит несколько надуманным. Хорошие же люди и люди, как-то пробуждающиеся к добру, написаны Г. Троепольским часто не только более живо, но и с большей зоркостью и пронизательностью. Впечатление такое, что направление нравственных интересов автора, который «натаскивает» своих героев на поиски правды и доброты так же, как Иван Иванович «натаскивал» Бима на красную дичь, определило и интенсивность его чисто художественных средств. Его письмо оживает, наливается соком, когда речь заходит о хорошем человеке. Как это ни прямолинейно, но это так. И в этом чистосердечии свое, особое достоинство повести Г. Троепольского.

И. БОРИСОВА.

★

СТИЛЬ — ВОПРЕКИ МОДЕ

Г. Н. Поспелов. Проблемы литературного стиля. Издательство Московского университета. 1970. 330 стр.

Новая книга Г. Н. Поспелова еще раз подтверждает, что самая модная тема, ответственно теоретически осмысленная, предстает актуальной проблемой. Невозможность однозначного и общеприятного решения такой проблемы подтверждает долговечную ее важность, которую нельзя

просто оплести зыбкой обиходной терминологией и создать для нее тем самым иллюзорную законченность, якобы закрытость.

Стиль — это очень модно. Автор рецензируемого исследования, опытный и сильный полемист, обнажает несостоятельность тех суждений, которые претендуют на окон-

чательность хотя бы предварительных определений «литературного стиля», где на всякий случай смешано все в угоду всем. Но, кроме предварительных определений, существуют и практические приложения, — и, излагаемые по ходу рассуждений в книге, подвергнутые строгому логическому разбору, они тоже оказываются раскрытыми в своей недостаточности. Когда обычно говорится, что стиль есть оформленное содержание — а это чем дальше, тем чаще встречается, — или что стиль — это «своеобразие содержания и формы произведения писателя, отчетливо отличающее их от произведений других писателей», или что стиль — «идейно-художественное своеобразие писателя, сказывающееся...» и т. д., — это воспринимается как привычное, вроде бы само собою разумеющееся.

Автор обстоятельно разбирает определение, подобные только что приведенным. Книга Г. Н. Пospelова занимает сразу же четкую позицию в отношении этого замутненного вопроса. Стиль — это категория формы; никакие попытки «вливания» в нее элементов «содержания» (чтобы избежать возможных упреков в формализме) ни к какому положительному результату не приводят. Правда, когда-то и автор книги считал, что стиль — некое всеохватывающее качество литературного произведения и поэтому — универсальная категория литературоведения. Теперь, двадцать лет спустя, Г. Н. Пospelов решительно рассчитался с подобным представлением. Он пишет: «Следует различать литературный стиль как целостное единство всех принципов художественной изобразительности и выразительности (предметной, композиционной, словесной), вполне соответствующее особенностям идейного содержания произведений, закономерно исторически возникающего в национальной литературе определенной эпохи ее развития, и могущее повторяться в творчестве одного или нескольких писателей того или иного «течения», и т у н д и в и д у а л ь н у ю т в о р ч е с к у ю м а н е р у к а ж д о г о п и с а т е л я, в к о т о р о й э т о е д и н с т в о с т и л е в ы х п р и н ц и п о в п о л у ч а л о с в о ю р е а л и з а ц и ю н а т о м и л и и н о м у р о в н е е е з а к о н ч е н н о с т и и э с т е т и ч е с к о г о с о в е р ш е н с т в а».

Это немножко громоздкое обозначение получает силу и полномочия определяющей формулы, и эту формулу при таком универсальном охвате опровергнуть вряд ли можно.

Подобная жесткость — характерная осо-

бенность четких и острых положений Г. Н. Пospelова. Автор неустанно предостерегает против смешения понятий, а отсюда и терминов, хотя подчеркнутая точность сообщает положениям автора книги свойство очень удобной мишени для обстрела — особенно со стороны тех, для кого во всех вопросах подготовлено услужливое «как то, так и другое».

Как обычно, Г. Н. Пospelов предваряет рассуждения о собственно стиле общими соображениями, которые в своей совокупности образуют основы теории литературы. Самая общая схема теории строится так: всячески обусловленное идеологическое «миросозерцание» необходимо порождает «содержание» (тематику, проблематику, пафос); роды литературы так или иначе предопределяются «темами», жанры — «проблемами». Ведущим понятием остается «литературное течение»; его создают писатели, «близкие друг другу по своему идеологическому «миросозерцанию» и по своим теоретическим убеждениям».

В этой стройной схеме не остается места очень распространенной и вообще необходимой категории метода. Г. Н. Пospelов, многие годы обосновывающий правоту существования и определяющий смысл этого понятия, вдруг от него отворачивается. Выходит даже, что самый термин «метод», «более или менее приемлемый для обозначения какого-то общего, повторяющегося, типологического свойства литературных произведений», «крайне неудобен для обозначения всего богатства ее (литературы. — В. С.) исторически конкретных свойств».

Но, вероятно, вообще невозможно найти понятие, которое обозначает «все богатство» литературного произведения. Это применимо и к методу. Острота же восприятия автором чужого слова и всегдашняя обдуманность употребления своего позволяет предполагать в словах «более или менее приемлемый для обозначения какого-то общего свойства» оттенок некоторой внезапной пренебрежительности.

Автор прав — самое понятие и слово, к нему относящееся, основательно затрепали, под них подводили что угодно, они обесценены. Но и в той слаженной системе, которую разрабатывает и усовершенствует от книги к книге Г. Н. Пospelов, понятие метода могло бы оказаться кстати. Тогда, может быть, не возникало бы недоумение оттого, что в рассматриваемой работе Пушкин («Евгений Онегин»), Лермонтов («Герой

нашего времени») и Герцен («Кто виноват?») оказываются, по общей ситуации, воссозданной в их романах, в пределах некоего единого типологического образования («литературного течения»). Ладно еще — Онегин с Печориным, но зачем же и несоизмеримый с ними в художественном отношении Бельтов? Игнорирование понятия творческого метода, как представляется, системе не помогает.

Концепция Г. Н. Поспелова основана на детальном разборе литературных явлений XVIII—XX веков. Вторая часть книги всецело обращена к истории русской литературы. Вольно или невольно автор демонстрирует последовательную логичность развития своих фило-софско-теоретических воззрений на протяжении десятилетий. Так, в главу о становлении стиля в творчестве русских сентименталистов вошла в качестве составной части работа Г. Н. Поспелова 40-х годов об истоках нашего сентиментализма, этюд о поэзии Хераскова. Она вошла органически, очень кстати, очень уместно — ведь эта работа, тогда обидно затерянная в малотиражных «Ученых записках», обновленная и обогащенная, опять обнаруживает свою немодную и подлинную интересность. А строки, посвященные в другой главе Сумарокову — человеку желчному, резкому, ревнивому и бескомпромиссному, защищающему в свете своих идеалов гражданственность,— от-

меняют, в свою очередь, всегдашнюю гражданственность пафоса современного исследователя.

Суждения Г. Н. Поспелова о классицизме, об истоках сентиментализма, о системах Гоголя и Чехова известны в общих чертах тем, кто читает работы ученого или слушает его лекции в университете. В новой своей книге автор никого и не собирается удивлять. Надо отметить вместе с тем, что иногда историко-литературные анализы очень довлеют сами себе. Разбор творчества Гоголя (а особенно Чехова) располагается рядом с теорией собственно литературного стиля, охват проблем намного шире, чем заявлено в названии книги.

Очередное исследование Г. Н. Поспелова, посвященное общим проблемам теории литературы, практически обращено главным образом к литературоведам. Можно надеяться, однако, что этот труд окажется полезным и для более широкого круга любителей литературы.

Оригинальная концепция литературного развития, предлагаемая Г. Н. Поспеловым, всегда связанная с общими процессами исторической действительности, всегда активно направленная против формализма, претерпевает свое внутреннее развитие. Книга ее автора о стиле непременно явится стимулом дальнейших размышлений над задачами теории литературы.

В. СКВОЗНИКОВ.

★

КНИГА ОТЧАЯНИЯ И НЕПОКОРНОСТИ

Шарль Бодлер. Цветы Зла. По авторскому проекту третьего издания. Издание подготовили Н. Балашов и И. Поступальский. М. «Наука». 1970. 480 стр.

Шарль Бодлер — одна из самых трагических фигур в истории французской поэзии XIX века. Участник революции 1848 года и ее знаменитого июньского рабочего восстания, враг бонапартистского декабрьского переворота 1851 года, он стал затем одной из красноречивейших жертв свирепой политической реакции, которой сопровождался приход Второй империи.

Это было время, когда из Франции эмигрировали Виктор Гюго, Эжен Сю, Феликс Пиа и когда на долю многочисленных народных поэтов 1848 года выпали всевозможные преследования, в результате которых Пьер Дюпон и Пьер Лашамбоди были приговорены к ссылке, Гюстав Матьё не выходил из тюрьмы, затравленный Шарль

Жилль покончил с собою. Маску бесстрастия, аполитизма должен был надеть на себя такой крупный поэт, как Леконт де Лиль. Многие писатели потеряли возможность печататься, а другие по воле реакции попадали под суд, как это случилось с Флобером, с Гонкурами, с Дюма-отцом, с Бодлером, да и не только с ними.

Весь остаток жизни Бодлера после революции 1848 года полностью приходится на время реакции, в обстановке которой и появился на свет знаменитый сборник стихотворений «Цветы Зла».

Бодлер не мог молчать о том, что его переполняло, не мог надеть какую-либо маску, а душа его изнемогала от величайшей человеческой боли и муки. «Цветы

Зла» — это книга вчерашнего мятежника, вынужденного частью похоронить, частью скрывать свои былые вольнолюбивые стремления, которые порою все же напоминают о себе в его книге. Бодлер мечтал в 1848 году о великих назревших социальных реформах, призванных пересоздать общество во имя счастья людей, во имя справедливости к обездоленному трудовому народу... А теперь поэт оказался приговорен к каторге существования в том Париже, который из светоча свободы превратился в некую «яму, где теперь — гниенье и распад», где человек обречен на безмолвное подчинение существующему гнету, на одно неизбывное страдание, на духовное оцепенение и где поэту остается искать забвения в вине, гашише, любовных связях, в разгуле чувственности, а слагая стихи, лишь эстетизировать свои страдания, разврат, самый порок:

Нет ничего страшней жестокости светила,
Что излучает лед. А эта ночь — могила,
Где Хаос погребен! Забыгьясь бы теперь
Тупым, тяжелым сном — как спит
 в берлоге зверь...
Забуться и забыть и сбросить это бремя,
Покуда свой клубок разматывает время...

(Перевела А. Эфрон)

Так поэт очутился на каком-то дне жизни, по его выражению — в «аду». Но мятежник не умирал в Бодлере. «Сплин и Идеал», крупнейший раздел «Цветов Зла», свидетельствует о вечных противоречиях и постоянной борьбе в душе поэта. Нет, еще не погибли в нем представления о высоком и прекрасном. Как у воспетого им Дон-Жуана в преисподней, у него еще сохранялись гордость и непримиримость. Пусть он горько называет себя «трупом меж трупам», в ком все давно мертво», пусть твердит в минуту безнадежности, что ему «все равно, какой идти теперь тропкою», пусть отрекается от старых дорогих заветов («мятеж... не оторвет меня от начатой страницы») — все это было так, но одновременно его книга была проклятием этим настроениям, судорожной попыткой вырваться из их круга. Вот один пример: опьяняясь Женщиной как «вспышкой яркого огня» «в моей безрадостной Сибири», подчиняясь ее влекущему соблазну, Бодлер в то же время истступленно клянет Жанну Дюваль как «чудовище», как «вампира» и мучительно жаждет преодолеть ее порочную власть.

В разделе «Сплин и Идеал» господствуют мрачные тона пессимизма, «тоски свищовые края». В последующих разделах книги уже мелькают некие проблески света. Душа поэта теплеет, когда он пишет об улицах большого города, где перед ним то семеро обездоленных стариков, зрелище которых пробуждает в нем «братскую дрожь», то горемычные старухи, восьмидесятилетние изношенные Евы, обрисованные им с таким состраданием. Его умиляет мудреца-тряпичник, полный «любви к поверженным» и «гнева к сильным», готовый «царственно диктовать» законы общественного переустройства. Поэт любит этих простых людей, бедняг, отверженных богом, которому нет дела до их выстрадавших «богохулений», до «стона замученных и корчащихся в пытке». Романтику, каким был Бодлер, кажется, что защитить этих несчастных, «кто паг, и нищ, и сир», способен лишь Сатана, единственный «обиженных мститель». Но у поэта еще не угасла вера в борьбу самих обездоленных, и в знаменитом стихотворении «Авель и Каин» он призывает исстрадавшихся, нищих и голодных потомков Каина сбросить наконец с себя иго благополучных, буржуазно-самодовольных и лелеемых богом Авелей:

Каина дети! кончается горе,
Время настало, чтоб быть вам на воле!

Авеля дети! теперь берегитесь!
Зов на последнюю битву я внемлю!

Каина дети! на небо взберитесь!
Сбросьте неправого бога на землю!

(Перевел В. Брюсов)

Да, Бодлер не стал трупом, и не все пути были ему безразличны. Вместе с волей к справедливости в нем жила и неистребимая воля к прекрасному. Поэт, он уподоблял себя Солнцу, способному все «вещи низкие очистить навсегда». Впечатлениям окружавшего его страшного мира он переплавлял в самоцветы искусства, в те ювелирно отчеканенные стихотворения, в частности сонеты, мастерству которых дивился взыскательный Теофиль Готье.

Но вся глубочайшая искренность мучившегося поэта, представшая в художественном великолепии «Цветов Зла», послужила буржуазной реакции лишь удобным поводом отдать в 1857 году автора книги под суд за оскорбление «добрых нравов», за «бесстыдство» его искусства, которое про-

курор смятенно именовал «безнравственным реализмом». Бодлер был осужден, подвергнут штрафу, группа стихотворений из «Цветов Зла» была впредь запрещена к печати, а поэт отошел к потомству с аттестацией аморального литератора и плохого гражданина, пугала для всех добропорядочных людей...

Впоследствии символисты и декаденты высоко превознесли Бодлера как одного из «прókлятых» поэтов. Однако лишь в кругах революционеров были по-настоящему оценены и весь трагизм его жизненной участи, и смысл его знаменитой книги — вовсе не как романтической апологии Зла. Можно ли забыть о Луизе Мишель, наслаждавшейся чтением этих стихов на баррикадах Парижской коммуны? Русский поэт-народоволец Мельшин еще в 1890-х годах начал переводить «Цветы Зла»; интерес к Бодлеру вполне разделяли Горький и Луначарский. Французский коммунист Жан Прево, участник героического Сопrotивления, погиб от нацистской пули, не расставаясь с томиком Бодлера. А в 1946 году Французская коммунистическая партия добилась гражданской реабилитации Бодлера.

«Цветы Зла» много раз издавались в русских переводах, но обычно в виде сборника избранных стихотворений. В рецензируемом издании советский читатель впервые получает максимально полный текст книги, дополненный теми произведениями, которые Бодлер имел в виду присоединить к третьему, не состоявшемуся при его жизни изданию.

Большая статья Н. И. Балашова «Легенда и правда о Бодлере» — лучшее из написанного о поэте на русском языке. Сжато и в то же время всесторонне-полно очерчен

здесь жизненный и творческий путь Бодлера, охарактеризованы различные стороны его литературного наследия, его искания, достижения, ошибки и противоречия. Этому очерку, основанному на критическом изучении богатой зарубежной литературы о Бодлере, не хватает, пожалуй, только подробных данных о направлении поэтических поисков Бодлера в 1840-х годах, что разъясняло бы, с каким духовным и творческим багажом поэт пришел к революции 1848 года; дело в том, что произведения 40-х годов в «Цветках Зла» исчерпываются каким-нибудь десятком слишком уж разнообразных по теме стихотворений. Поэтому слова Н. И. Балашова о том, что Бодлер еще в 40-х годах «создавал основу» своего сборника, нуждались бы в большем обосновании.

Комментарии, составленные с исчерпывающей полнотой, создают в целом давно желанный тип издания классика, порою превосходящий по своей заботливости и вниманию к деталям бывшие книги издательства «Academia». Особенно ценно, что во многих случаях здесь приводятся варианты переводов одного стихотворения: это позволяет читателю глубже оценить творческий замысел Бодлера и средства художественного воплощения этого замысла. Жаль только, что в комментариях не приводится (хоть в выдержках) ходатайство ФКП о реабилитации поэта и его книги.

Рецензируемому изданию предпослано краткое введение покойного академика Н. И. Конрада — последний напечатанный при жизни его труд, — раскрывающее основные проблемы восприятия Бодлера в разные эпохи.

Ю. ДАНИЛИН.

★

Политика и наука

ДИАЛЕКТИКА МИЛИТАРИЗМА

Г. А. Арбатов. Идеологическая борьба в современных международных отношениях. Доктрина, методы и организация внешнеполитической пропаганды империализма. М. Политиздат. 1970. 351 стр.

Один из наиболее известных в США журналов, посвященных проблемам философии и социологии, носит название «Дэдалус». Образ мифического героя, тщетно ищущего выход из лабиринта, видимо, наиболее соответствует состоянию современной буржуазной мысли, для которой характерны

пессимизм, неверие в человека, в его стремление к миру и социальному прогрессу. Но странно: как только те же буржуазные социологи обращаются к сфере международных отношений, многие из них становятся горячими сторонниками идеи «единства человечества». Эту идею питает наряду с ре-

лигиозным мистицизмом своеобразная ядерная логика: процветающая технократическая цивилизация сможет выжить лишь в условиях единства человечества, а если до сих пор все люди на земле не соединились, то виноваты в этом... коммунисты, упрямо цепляющиеся за «устаревшие догмы»!

Подобные рассуждения — один из множества способов искажения существа идеологической борьбы в международных отношениях. При всем многообразии направлений и оттенков объективная классовая цель различных буржуазных теорий в конечном счете сводится к попытке скрыть, замаскировать главное, что определяет сущность современной эпохи: глобальное противоборство двух социальных систем — социализма и капитализма.

Идеологическая борьба в современных международных отношениях — явление чрезвычайно сложное. Здесь невидимыми нитями переплетаются вопросы внешней и военной политики, дипломатии и пропаганды, философии, социологии, психологии. Логика исследования этой борьбы по необходимости ставит перед ученым ряд проблем теории международных отношений, заставляет анализировать особенности кризиса буржуазной идеологии, специфику доктрин и методов внешнеполитической пропаганды империализма.

Автор книги «Идеологическая борьба в современных международных отношениях» член-корреспондент Академии наук СССР Г. Арбатов как бы направляет луч прожектора то на одну, то на другую грань исследуемого явления. Плоскость, ровная издавна, оказывается шероховатой. Далекие друг от друга явления приобретают неожиданное родство.

Из поднятых в книге теоретических вопросов наиболее важным, на наш взгляд, представляется раскрытая автором взаимосвязь между возросшим влиянием народных масс на современные международные отношения и обострение идеологической борьбы. Ключ к решению проблемы дает идея о «диалектике милитаризма», высказанная Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге». Как известно, военная сила всегда рассматривалась эксплуататорскими классами в качестве главного оружия политики. В чем, так сказать, философский смысл военной силы для правящих классов? «Образно говоря, оружие — это один из инструментов, с помощью которых эксплуататорское меньшинство всегда компенсировало свою численную слабость пе-

ред лицом угнетенного большинства, сводило на нет ту силу массы, которая всегда была за трудящимися», — пишет Г. Арбатов. Но в процессе исторического развития наступает момент, когда с помощью одной только военной силы нельзя больше держать в повиновении народные массы. Закономерным результатом изобретения огнестрельного оружия, перехода от наемного войска к массовым армиям явилось то, что и военная политика правящих кругов стала во многом зависеть от трудящихся масс, их воли и настроений. Традиционная буржуазная наука привыкла рассматривать народ, плебс, как объект, а отнюдь не субъект политики. Теперь же настроения, чувства, переживания народных масс превращаются в важнейший фактор силы в международных отношениях. В наши дни буржуазные политики вынуждены признать существование этого фактора, но классовая ограниченность не позволяет им до конца понять, что именно моральный дух народных масс, а не традиционная военная сила определяет судьбы мира.

До сих пор, например, для многих буржуазных исследователей остается загадкой: как могло случиться, что объединенные силы 14 империалистических государств в годы гражданской войны не смогли задушить не окрепшую еще тогда Советскую республику. Иные теоретики ссылаются на объективные факторы, на ошибки, допущенные Керенским, президентом Вильсоном, но упорно не желают признать ни силы молодого социалистического государства, оставившего завоевания революции, ни силы международного движения пролетарской солидарности с его лозунгом «Руки прочь от Советской России!». Вооруженный до зубов империализм (в 1918 году только в Европе находилось почти два миллиона американских солдат) не решился бросить всю мощь своих армий для участия в интервенции, боясь (и не без оснований — в посланных частях начались восстания) революционных последствий в собственном тылу.

А в 1945 году? До сих пор американские историки правого толка сокрушаются по поводу того, что, имея монополию на атомную бомбу, США вовремя не воспользовались ею, чтобы раз и навсегда покончить с ненавистным коммунизмом. Забывают или попросту не хотят признать не только военную мощь Советского Союза, вышедшего победителем из тяжелейшей войны, но и страх правящих кругов перед вероятной реакцией

трудящихся в условиях всенародного подъема, вызванного победой над фашизмом. Страх был обоснован: преступление правительства США, первым применившим атомную бомбу (притом без всякой военной необходимости, а как демонстрацию силы против Советского Союза), вызвало возмущение, отголоски которого слышны по сей день.

Влияние народных масс на внешнюю политику усиливается в связи с появлением оружия массового уничтожения. Война или мир — этот вопрос становится личным делом для миллионов людей, прежде весьма далеких от политики. Ясно, что если бы империализм решился развязать термоядерную войну, он был бы сметен с лица земли как социальная система.

Есть и еще одна сторона вопроса, имеющая важнейшее значение для перспектив антиимпериалистической борьбы: «Если раньше революция была как бы возмездием империализму за уже совершенное им преступление войны, то теперь самой объективной логикой общественной жизни она может превратиться в меру предупреждения страшной угрозы, нависшей над человечеством...

Стремление предотвратить мировую термоядерную катастрофу — это мотив борьбы масс, вполне достаточный для самых активных политических выступлений, включая при определенных обстоятельствах и революцию. Угроза физическому существованию целых народов создает в этом отношении ничуть не меньший потенциал, ничуть не меньший революционный заряд, чем нужда, политическое бесправие и национальный гнет, поднимавшие до сих пор на революционную борьбу миллионные массы трудящихся».

С этим зарядом империалистические правители, раздувающие очаги войны, вынуждены обходиться осторожно. Многие их политические маневры вызваны страхом перед массовым революционным взрывом в тылу. Социальная база оппозиции милитаризму расширяется. Угроза, нависшая над человечеством в результате развития военной техники, вызвала к жизни новые огромные общественные силы самозащиты и самосохранения. Они оказывают непосредственное воздействие на внешнюю политику империалистических государств. Правительство США, например, в 60-х годах заменило доктрину «массированного возмездия», открыто ориентированную на «глобальную войну», более изворотливым «гибким реагированием».

В «доктрине Никсона» на одно слово «сила» приходится десять о «мире», «партнерстве», «дружбе», «сотрудничестве».

Конечно, необходимость считаться с общественным мнением выражается не только — и не столько — в формулировках и словах. За мнения, за умы и души людей идут настоящие сражения. Сложность, однако, в том, что именно сейчас, когда империализм более, чем когда-либо в прошлом, нуждается в идеологическом оправдании своей антинародной милитаристской политики, все труднее найти это оправдание, ибо у буржуазных идеологов отсутствует главное — конструктивные идеи, вера в будущее. Безвозвратно отошло время, когда буржуазия выступала глашатаем общественного прогресса. Она уже давно не в состоянии «выдвинуть идеи, которые могли бы увлечь за собою народные массы»¹.

Трудно, в самом деле, пытаться увлечь за собой массы тем, кто их глубоко презирает. В современной буржуазной социологии распространение получили различные варианты теории «массового общества», противопоставляющие «элиту» «человеку масс». Последнему приписываются всевозможные пороки и темные инстинкты, обусловленные якобы генетическими, биохимическими, психологическими и иными факторами. Его удел — вырождение, в будущем для него места нет. И если представителям просвещенной элиты суждено на волне научно-технического прогресса подняться к новым высотам цивилизации, то люди масс обречены стать обезличенными придатками машин, неполноценными в умственном и нравственном отношении. Известные «антиутопии» О. Хаксли, Орвелла, Замятина были написаны в 20—40-х годах. Но то, что тогда воспринималось как плод болезненного воображения отдельных писателей, теперь на Западе представляется в виде вполне серьезного прогноза. Современные прорицатели «технотронного» общества (например, З. Бжезинский в книге «Между двумя эпохами. Америка в век технотроники», 1970) пытаются доказать, что техника и электроника, компьютеры и роботы вытесняют трудящегося человека. По их мнению, рабочие, не находя себе применения, в конечном счете превратятся в антиобщественную силу, пополнят ряды преступников и наркоманов.

Но что же получается в итоге? Объек-

¹ «Программа КПСС». М. 1968, стр. 51.

тивная закономерность роста влияния народных масс на политику вынуждает буржуазию с ними считаться, даже заигрывать; органически же присущие ей презрение к людям заранее обрекает на неискренность и ложь, что в свою очередь порождает «кризис доверия» к капитализму как системе. Этот все углубляющийся кризис доверия человечества к капитализму, ко всем его экономическим и социально-политическим установлениям и идеям Г. Арбатов считает самым главным (в политическом смысле) проявлением идейного кризиса империалистической буржуазии. В великом соревновании двух систем, по мере того как социализм доказывает свое историческое превосходство, капитализм начинает прятать собственное лицо, стыдится собственного имени. В 50-х годах к нему начали приписывать слово «народный», но это не спасло положения. «Капитализм стал грязным словом во всем мире», — констатировал в 1962 году американский миссионер в Перу Дан Макклелан. И потому в 60-х годах слово «капитализм» стали заменять другими терминами, заговорили о «индустриальном» и «постиндустриальном» обществе.

В последние годы к этим новым именам прибавляются еще и краденые лозунги. Не располагая собственными позитивными идеями, западные теоретики пытаются обратиться на пользу буржуазии лозунги мира, революции, социального прогресса, которые в сознании мирового общественного мнения прочно ассоциируются с социализмом. Капитализм не отваживается более открыто защищать собственные лозунги, а вынужден хитрить, маневрировать, приспосабливаться. И это еще одно свидетельство того, что он исторически себя изжил. Буржуазные идеологи и тут оказываются в двойственном положении: чтобы защитить капитализм, они вынуждены его отрицать. Выполняя эту неразрешимую задачу, буржуазная идеология неизбежно вступает в конфликт с действительностью, теряет способность обеспечивать устойчивое влияние на массы. «Идеология, некогда бывшая путем к действию, ныне зашла в тупик», — признает известный американский социолог Д. Бели. Его книга, посвященная «Концу идеологии», появилась в 1960 году, но сетования на отсутствие идей продолжают на Западе и сегодня. «Наше время — это время умирающих идеологий и устаревших лозунгов», — писал недавно Р. Стил.

Глубокий кризис буржуазной идеологии,

отсутствие у империализма позитивных идей имеет два важных последствия для идеологической борьбы на международной арене. Во-первых, его главным оружием в этой борьбе становится антикоммунизм, то есть система негативных идей, своего рода антиидеология. Во-вторых, делается попытка компенсировать отсутствие конструктивных идей большим масштабом и размахом подрывных пропагандистских операций.

Разоблачению идеологии антикоммунизма посвящено у нас немало книг. Г. Арбатов вносит свою лепту и в этот вопрос, в частности, тем, что рассматривает антикоммунизм в его совокупности как главное идейно-политическое оружие империализма. В определенном смысле, конечно, антикоммунистической является вся политика и идеология современной буржуазии. Однако важно, как это делает автор, проводить различие между свойственным буржуазии и мелкой буржуазии некоммунизмом и тем воинствующим антикоммунизмом наиболее реакционных и агрессивных кругов, который сегодня является главной составной частью официальной политики и пропаганды империалистических государств. С момента рождения первого социалистического государства и особенно с момента выхода социализма на мировую арену антикоммунизм, подчеркивает Г. Арбатов, стал отличительной чертой внутренней и внешней политики империалистической реакции. «Именно он лежит в основе ее деятельности, направленной на подрыв нового строя в странах социализма, сколачивание агрессивных союзов против социалистических стран, на организацию сотрудничества реакционных классов различных государств в деле подавления революционного движения и «экспорта» контрреволюции». Но вместе с тем — и это чрезвычайно существенно — антикоммунизм является и своего рода тактикой для прикрытия основных целей классовой политики монополий. Свою борьбу за мировое господство, например, империалистические государства постоянно маскируют ссылками на не существующую в природе «коммунистическую угрозу», против которой якобы необходимо обороняться. Жупел антикоммунизма неизменно используется реакцией для того, чтобы вести наступление не только против коммунистов, но и против всех прогрессивных сил.

Центральной идеей книги является глава третья, посвященная внешнеполитической пропаганде империализма. В ней автор ана-

лизирует доктрины и методы, стратегию и тактику империалистической пропаганды, подробно описывает ее разветвленный аппарат. Эта глава особенно богата фактическим материалом и содержит сведения, которые необходимо знать каждому, в той или иной мере соприкасающемуся с идеологической борьбой. В частности, представляют большой интерес сведения о размахе и формах подрывной работы Информационного агентства Соединенных Штатов (ЮСИА). Г. Арбатов подчеркивает важную особенность деятельности империалистической пропаганды, обусловленную как отсутствием конструктивных идей, так и презрением к массам, которые якобы неспособны их воспринять. Упор делается на эмоциональное, а не на рациональное воздействие. По этому поводу видный специалист в области пропаганды Л. Фрезер пишет: «Пропаганда... апеллирует к эмоциям — прямо либо косвенно... На каких эмоциях может прямо или косвенно играть пропаганда? Ответ будет таков: на всех — на простых... вроде страха, на сложных — таких, как гордость или любовь к приключениям, на недостойных эмоциях, вроде жадности, и на добрых — таких, как сочувствие или самоуважение, на эгоистических эмоциях, вроде честолюбия, или эмоциях, обращенных к другим, — таких, как любовь к семье». Все эти чувства — добрые и дурные — буржуазная пропаганда использует для достижения своих целей. Как этого достигают? Об этом откровенно рассказывает профессор университета Бордо Ж. Элюль. «Людам не говорят прямо: «Действуйте так, а не иначе», но находят психологический трюк, который вызывает соответствующую реакцию... Как видим, пропаганда, таким образом, уже не имеет ничего общего с распространением идей».

Недостойная игра на человеческих эмоциях с целью вызвать заранее предусмотренную политическую реакцию, побудить к определенным политическим действиям — одно из орудий «психологической войны», ставшей в настоящее время главной формой империалистической пропаганды.

Для многих — и здесь мы подходим к главному теоретическому выводу — не всегда ясна прямая связь, существующая сегодня между идеологической борьбой, с одной стороны, международными отношениями — с другой. Важнейшее назначение буржуазных теорий в области общественных наук в том, чтобы прямо или косвенно ок-

леветать внешнюю политику Советского Союза, оклеветать принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Один способ фальсификации состоит в попытке представить дело так, будто напряженность в международных отношениях, «холодная война» порождается не агрессивной политикой империализма, а является следствием идеологического противоборства.

Из этой реакционной посылки делается затем «логический» ход: коль скоро Советский Союз подчеркивает необходимость такого противоборства, то на него и падает ответственность за напряженность в международных отношениях. Если мирное сосуществование не исключает идеологической борьбы, говорят буржуазные теоретики, то оно не является якобы «подлинным» миром. Требование отказа от идеологической борьбы, «деидеологизация», аргументируется, таким образом, интересами «подлинного» мира. А тем временем усиливается «психологическая война», представляющая собой, помимо прочего, фальсификацию существа идеологической борьбы, подмену борьбы идей подрывными действиями.

«Психологическая война» — составная часть политики «холодной войны», которую ведет империализм. Важно помнить, что сколько бы отдельные теоретики ни говорили о «единстве человечества», к которому якобы стремится буржуазия, идеологическая война империализма против сил социализма и социального прогресса не прекращается ни на минуту. Призывы к «мирному сосуществованию идеологий» сопровождаются ежедневной, ежечасной антикоммунистической психологической атакой в эфире, на экранах телевизоров, на страницах печати.

Важнейшим оружием коммунистических партий против империалистической фальсификации и клеветы является сила примера социализма. В. И. Ленин еще в первые дни Советской власти говорил: «Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Там — драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов людей, эксплуатация капитала, здесь — настоящая политика мира и социалистическая республика Советов»².

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 279.

Эта ленинская мысль о силе примера социализма — центральная в книге. «Именно тем, что в своей идеологической борьбе коммунистические партии, социалистические страны делают ставку на объективные социально-экономические процессы, на историческое превосходство нового общественного строя, и объясняется их уверенность в торжестве идей социализма».

Вместе с тем Г. Арбатов подчеркивает необходимость постоянной, фронтальной борьбы с империалистической идеологией по всем направлениям. Он справедливо отмечает, что такая борьба стала важной составной частью отношений двух систем на международной арене.

А. КУНИНА.

★

СУДЬБЫ ОДНОЙ ГИПОТЕЗЫ

Х. Такеучи, С. Уеда, Х. Канамоори. Двигаются ли материки?
Перевод с английского. М. «Мир». 1970. 248 стр.

Суть гипотезы Вегенера о перемещении континентов достаточно проста: до конца каменноугольного периода (около трехсот миллионов лет назад) на земном шаре существовал единый материк, омываемый единым океаном. Затем материк этот раскололся. Отдельные части его расплылись по поверхности планеты, образовав современные обособленные континенты. Плотная земная кора, слагающая континенты, перемещалась по еще более плотной мантии Земли, подобно тому как плывут айсберги в море, только несравненно медленней.

Прошло более полувека с той поры, когда Вегенер выдвинул и обосновал свою гипотезу. Вокруг нее не прекращаются споры геологов. Иногда они несколько затихают, иногда разгораются вновь. За последние годы в связи с полученными новыми данными о строении океанической и континентальной земной коры и о положении геомагнитных полюсов в прошлые геологические эпохи интерес к проблеме движения материков заметно вырос. Ей посвящено немало специальных работ. О ней часто пишут популяризаторы науки. И все-таки на вопрос, верна гипотеза Вегенера или нет, ученые отвечают по-разному.

Не претендует на окончательное решение проблемы и одна из самых поздних работ о движении (дрейфе) материков, принадлежащая перу японских геофизиков, которые признаются: «Мы, авторы этой книги, в настоящее время вовсе не убеждены, что теория континентального дрейфа правильна. Мы только полагаем, что многие открытия, сделанные в последние несколько лет, свидетельствуют в пользу этой теории».

В поисках решения проблемы авторы ведут читателя в обширные и малоизвестные

для неспециалистов области геологических знаний (геофизика, геоморфология, палеоклиматология, тектоника, стратиграфия, палеогеография и т. д.), давая широкий обзор современного состояния наук о Земле.

Гипотеза Вегенера предоставляет для этого хорошие возможности. Она возникла как результат обобщения разнообразных фактов, издавна привлекавших внимание геологов и географов, но не получивших исчерпывающего объяснения.

Почему так схожи абрисы восточного и западного берегов Атлантического океана (в частности, западного побережья Африки и восточного — Южной Америки)? Почему горные цепи приурочены к западным оконечностям обеих Америк, оконтуривают с востока Австралию (Новая Гвинея, Новая Зеландия), а в Евразии гнутся с запада на восток (Альпы, Кавказ, Гималаи)? Почему острова в океанах расположены гигантскими дугами (Японские, Курильские)? Почему обнаруживается явное сходство в геологическом строении атлантических побережий Северной Америки и Западной Европы, Южной Америки и Африки, а также побережий Индии, Мадагаскара и Южной Африки? Почему следы древнего оледенения, происшедшего 250—300 миллионов лет назад, разбросаны на огромные расстояния — прослеживаются на юге Южной Америки и Африки, в Индии и на юге Австралии?

Все эти загадки чрезвычайно просто объясняются гипотезой Вегенера.

При условии постепенного расширения Атлантического океана — гигантской трещины, разделившей материки, — берега его должны, в общем, сохранять сходство внешнее и «внутреннее» — геологическое. «Если два куска газеты, — предлагают хорошие

сравнение японские ученые.— можно приблизительно подогнать друг к другу разорванными краями, из этого еще рано делать вывод, что раньше они должны были составлять единый лист. Но представьте себе, что через разорванные края газеты продолжают, сохраняя смысл, печатные строки... Тогда уже не будет сомнения, что куски эти — от одного газетного листа. В случае материков печатным строчкам соответствуют геологические структуры». Некоторые из таких структур Британских островов и канадских Аппалачей, Капских гор Африки и бразильских Сьерр, африканских и южноамериканских плоскогорий обнаруживают замечательное сходство — словно они и не разделены обширнейшей впадиной Атлантики, словно это действительно одни и те же строки разорванного газетного листа.

Гипотеза Вегенера обладает подкупающей простотой и универсальностью. Поэтому она поначалу встретила поддержку со стороны многих известных геологов. На специальном симпозиуме, еще в 1928 году, геологи всесторонне обсудили гипотезу и пришли к заключению, несмотря на целый ряд серьезных возражений, что нет оснований для отказа от нее. В целом гипотезу признали перспективной.

Прошло немногим более десяти лет, и «теорию дрейфа континентов полностью отвергли как дикую фантазию Вегенера и даже не всегда упоминали о ней в университетских лекциях». Почему же так произошло?

«Все новые теории — хорошие они или плохие,— поясняют авторы,— имеют одну общую черту: они не согласуются с общим мнением, преобладающим в это время. Опираясь на принятое убеждение, легко относиться отрицательно к новым гипотезам и выступать против них». Действительно, в науке порой очень ярко проявляется сила предубеждений и предрассудков, веры (говоря словами Н. Заболоцкого) во «вчерашней истины закон».

Привычные научные истины окаменевают, подобно религиозным догмам. Новые идеи способны поразить воображение своей парадоксальностью. фантастичностью. Нелегко, скажем, представить себе пластичной, а тем более жидкой нашу надежную земную твердь. Однако в настоящее время у геофизиков нет сомнений в том, что при достаточно сильных и дли-

тельных воздействиях любая горная порода начинает проявлять свойства жидкости. Конечно, об этом знали многие ученые и во времена Вегенера. (Подобно тому, как биологи еще до Дарвина знали почти все факты, легшие в основу его знаменитого «Происхождения видов...»). Но эти факты они не вводили в круг своих идей о строении и жизни Земли.

И все-таки у противников гипотезы дрейфа континентов имеется немало веских аргументов. Об этом в книге японских геофизиков сказано вскользь. А ведь «предание анафеме» гипотезы Вегенера в чем-то оправдано. При детальном анализе оказывается, что доводы в пользу движения материков не столь уж убедительны. Даже сходство геологического строения атлантических побережий Африки и Южной Америки (аналогия с разорванным газетным листом) не может служить подтверждением гипотезы. Так, австралийский геолог А. Х. Войси предложил сопоставить восточные берега Австралии и Северной Америки. Никому из ученых не придет в голову мысль о том, что эти территории некогда располагались по соседству. А сходство очертаний берегов и геологического строения у них весьма значительное. Доказывает это лишь то, что в разных местах земного шара отдельные районы разбивались, подчиняясь одинаковым закономерностям.

Практически ни один из доводов сторонников дрейфа континентов не выглядит бесспорным. Известный советский геолог В. В. Белоусов писал: «...в свете современных научных данных вся основа гипотезы Вегенера неприемлема». И продолжал: «...колебательные движения земной коры, ее поднятия и опускания, являются основным типом тектонических движений. Но где эти движения в гипотезе Вегенера? Что говорит эта гипотеза о разделении земной коры на геосинклинали (области активной прогибания и вздымания коры.— Р. Б.) и платформы, о периодичности тектонических движений? Дает ли она возможность объяснить складчатость во всем ее разнообразии?..»

Вот, оказывается, в чем дело. Увлечение гипотезой Вегенера привело к тому, что с помощью ее стали пытаться объяснять самые различные геологические явления. Ее захотели сделать как бы ключом для всех дверей. Ею попробовали заменить слишком многие теории. Когда эти претензии не оправдались, ученые поспешили

отказаться вовсе от идеи движущихся континентов.

Обновление гипотезы Вегенера за последние двадцать лет в значительной мере связано с развитием техники и методики геологических исследований. В книге японских ученых подробно рассказано об изучении магнитных свойств горных пород, позволившем уточнить изменение положения полюсов Земли за геологическую историю. Были получены новые подтверждения того, что в прошлом материка объединялись воедино или, по крайней мере, составляли два гигантских континента.

Исследованиями дна океанов были выявлены зоны гигантских разломов, достигающих тысячекилометровой длины. Горизонтальные перемещения океанической коры вдоль этих разломов превышают сотни километров. Следовательно, существование значительных горизонтальных движений земной коры можно считать доказанным. Но какие же силы могли вызвать гигантские перемещения материков? Авторы присоединяются к мнению тех ученых, которые предполагают, что движение материков вызвано течениями вещества мантии, подстилающей земную кору. В то же время они приводят факты, не вполне соответствующие этому предположению. И подчеркивают: «До сих пор не получено прямых доказательств того, что такое течение действительно существует в мантии», предлагая признать верность этой гипотезы «только после получения дополнительных доказательств».

От смелых идей Вегенера делаются шаги к еще более смелым предположениям о расширении Земли (или другой вариант — расширение ядра Земли) и о потоках вещества мантии. В этом состоит одно из наиболее ценных качеств почти всех новых идей: они как бы раскрепощают научную мысль, открывают новый простор фантазии, пробуждают к жизни необычные гипотезы. Возможно, не всем им суждено остаться в науке. Однако без них, без широких и свободных научных исканий, вряд ли можно рассчитывать на успехи в познании природы.

В книге японских ученых приведены разнообразные, порой противоречивые мнения ученых по поводу проблем, прямо или косвенно связанных с континентальным дрейфом. При этом авторы избегают резких суждений и не навязывают своего мнения читателю. В научно-популярной

книге это особенно важно: автор-специалист способен легко убедить неподготовленного читателя в верности даже очень сомнительных (с точки зрения других специалистов) домыслов. К тому же, по всей вероятности, противоречивые факты и идеи далеко не всегда взаимно исключаются. Они нередко могут быть объединены в пределах более общей концепции. Возможно, такая судьба ожидает в недалеком будущем и гипотезу перемещения континентов и гипотезы, которые, казалось бы, ей противоречат (а в действительности дополняют ее).

Заканчивая книгу, авторы позволяют себе очень осторожно высказаться в пользу идеи о движении материков. Но тотчас отмечают, что в будущем не исключена возможность отказа от нее, подчеркивая: «Не столь важен ответ на этот вопрос, сколько важно то, что мы продолжаем спорить, а в спорах рождается истина».

Правда, если судить по драматической истории гипотезы Вегенера и припомнить некоторые другие научные споры, хочется уточнить: не всегда столкновение мнений приводит к рождению истины. Порой она на долгие годы остается «незаслуженно оклеветанной» изгнанницей. Да и очень просто бывает в свете наших ограниченных сегодняшних знаний отличить истину от заблуждения. Ведь все истины стареют, преобразуются или возрождаются со временем, по мере совершенства методов исследования и научных идей. И завтрашняя ослепительная истина может сегодня оставаться для нас неказистой и неприметной.

Между прочим, историю гипотезы континентального дрейфа авторы книги начинают с 1910 года, хотя еще задолго до этого неоднократно высказывались (в частности, в середине прошлого века) подобные мысли. Заслуга Вегенера состояла главным образом в том, что он привлек для обоснования этой поначалу преимущественно умозрительной идеи обширный фактический материал. Вообще надо заметить, что научные гипотезы имеют обычно долгую историю и нередко даже обнаруживают связь с древнейшими мифами. Если гипотезу о перемещении материков связывают с именем Вегенера, то не потому, что этот ученый первым ее высказал, а потому, что он сумел ввести ее в науку.

Кстати, в нашей стране одним из первых сторонников этой гипотезы был Б. Л. Лич-

ков, опубликовавший сорок лет назад интересную и оригинальную работу «Движение материков и климаты прошлого Земли». В ней он особенно подробно анализировал палеогеографические доказательства движения материков (в частности — существование обширной области древнего оледенения Южного полушария). Научные редакторы рецензируемой книги могли бы упомянуть об этой работе и включить ее в предлагаемый ими список литературы. И еще: редакторы в предисловии к русскому изданию пишут, что авторы «стараятся по мере сил сохранить научную объективность, хотя это им не всегда удается». Упрёк кажется странным. Японские ученые с редкостным искусством сумели остаться предельно объ-

ективными при анализе очень спорной и сложной проблемы. Возможно, именно поэтому противникам гипотезы Вегенера покажется, что в книге уделено слишком много внимания подтверждению этой гипотезы, а сторонники, напротив, не удовлетворятся излишними — по их мнению — сомнениями и осторожностью.

Конечно, наши критические замечания никоим образом не затрагивают главного: книга японских ученых является прекрасной научно-популярной работой. Ее можно рекомендовать всем, кого интересует жизнь Земли и нелегкие, но необычайно увлекательные проблемы современной геологии.

Р. БАЛАНДИН.

★

МИР БЕЗ НАДЕЖДЫ

Б. Стрельников, И. Шатуновский. Америка — справа и слева. Путешествие на автомобиле. Иллюстрации и зарисовки с натуры И. Семенова. М. «Правда». 1971. 270 стр.

Перевернув последнюю страницу этой небольшой по объему книги, убеждаешься в правоте заявления ее авторов — они действительно не пытались открывать Америку. Задача Вашингтонца (Б. Стрельникова) и Москвича (И. Шатуновского) была гораздо скромней. Но это только на первый взгляд. Проехать по Новому Свету, повторяя насколько возможно маршрут И. Ильфа и Е. Петрова, опубликовавших в 1936 году в «Знамени» «Одноэтажную Америку», и к тому же написать книгу, не боясь «соперничества», — задача не из легких. Но перипетии путешествия позади, трудности создания книги — тоже.

И перед нами — новое литературное произведение о цитадели капиталистического мира.

...Давно открытая Америка — справа и слева от наших путешественников. Для начала им, как и Ильфу и Петрову, потребовался человек, который

умеет отлично вести машину,
отлично знает Америку,
хорошо говорит по-английски,
хорошо говорит по-русски,

обладает достаточным культурным развитием,

имеет хороший характер, чтобы не испортить путешествие,

не любит зарабатывать деньги.

Тридцать пять лет назад этими качествами в достаточной мере обладал доброй памяти мистер Адамс. Сейчас низкорослого суетливого старичка должен был заменить американский сервис, а где сервис не окажется на высоте — с хлопотами справится Вашингтонец, который за десять лет своей корреспондентской жизни в Штатах ко многому привык и многому научился.

Итак, перед нами Америка 70-х годов...

Читатель, несомненно, помнит серию очерков «Америка — справа и слева», опубликованных в «Правде» в конце 1969 года. Они были написаны, как говорят журналисты, «с ходу», по горячим следам, в комнатах придорожных мотелей и в машине, любовно прозванной «Акулиной».

В книге, сохранившей название очерков, материал собран воедино, значительно дополнен и расширен.

Мы видим Америку, намного отличную от той, которую видели Ильф и Петров. Тридцать пять лет принесли неслыханные богатства стране. В то время, когда страны Европы и других континентов горели в огне войны, на территорию Америки упала лишь одна бомба, да и та была подвезена японцами к воздушному шару и направлена в гости к дяде Сэму попутным ветром. Шар коснулся земли в штате Орегон, и бомба убила шесть человек. Когда американские атомные бомбы разрушили Хиро-

симу и Нагасаки и уничтожили триста тысяч человек, в Орегоне злорадно говорили:

— Это им за тот воздушный шар!

Лейтенант чикагской полиции Хевеленд, оправдывая свободную продажу и куплю оружия на всей территории страны, рассказывал авторам, что в карманах американцев, в дамских сумочках, в ящиках письменных столов, в тайниках хранится не менее четырехсот миллионов единиц оружия от мелкокалиберных браунингов до противотанковых пушек второй мировой войны — по две единицы оружия на каждого американца, включая грудных детей. С начала века от огнестрельного оружия пало (в мирное время) свыше аэсьмисот тысяч американцев. Это больше, чем во всех войнах, вместе взятых, которые когда-либо вели США. В боях с немецкими захватчиками и японскими милитаристами погибло 291 557 американских солдат. А кстати — что знает американец о том, кто спас мировую цивилизацию от перспективы освенцимов и газовых камер?

«Мама говорит, что отец называл русских героями. Рассказывал, что у вас были большие потери. Это правда?» — спрашивает авторов книги американский студент, мать которого хранит советскую медаль, полученную ее мужем за героизм во время доставки военных грузов в Мурманск. Узнав, что наш народ потерял в войну больше двадцати миллионов человек, студент ужаснулся: он ведь слышал, что Советский Союз присоединился к Америке в борьбе против гитлеровской Германии в конце войны.

Свыше восьмидесяти пяти миллионов граждан Соединенных Штатов родились уже после окончания второй мировой войны. Сейчас в Америке около семи миллионов студентов университетов и колледжей. Шестнадцать процентов из них не знают, на чьей стороне воевал Советский Союз. А шесть процентов уверены, что Советский Союз был на стороне Германии и Японии.

Мощная идеологическая машина формирует американца по принципу: каждый должен знать не то, что он может знать, а то, что ему положено знать. Институт доктора Джорджа Гэллага выяснил, что пятьдесят восемь процентов взрослых американцев за всю свою жизнь не прочитали ни одной книги от корки до корки.

«Американская кинематография, — заметили Ильф и Петров, — это моральная эпи-

демия, не менее вредная и опасная, чем скарлатина или чума. Все превосходные достижения американской культуры — школы, университеты, литература, театр — все это пришиблено, оглушено кинематографией. Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук — и после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратиться в идиота».

Нынешним американским мальчикам помогает «превращаться в идиотов» та же кинематография, помноженная на силу и безграничные возможности телевидения.

Промышленные и торговые монополии давно уже купили телевидение со всеми его потрохами. Их «спонсоры» купили не только телевизионное время, но и право составлять программы, набирать артистов, руководить режиссерами. Автомобильные, мыльные, электрические, авиационные и прочие короли, принцы туалетной бумаги купили право воспитывать вкусы американцев, диктовать им эстетические нормы, свои взгляды на события в стране и за рубежом. Сеть паутины продуманно накладывается одна на другую, и очутившаяся в ней маленькая мошка — человек бьется, чтобы вырваться. Но зачем? Куда?

Еще Ильф и Петров писали, что «средний американец, невзирая на его внешнюю активность, натура очень пассивная... Скажите ему, какой напиток лучше, — и он будет его пить. Сообщите ему, какая политическая партия выгоднее, — и он будет за нее голосовать. Скажите ему, какой бог «настоящий», — и он будет в него верить. Только не делайте одного — не заставляйте его думать в неслужебные часы. Этого он не любит, и к этому он не привык». И эту особенность среднего американца используют те, кто делает деньги из всего на свете.

В продолжительном путешествии, в котором Москвич и Вашингтонец пересекли Америку с востока на запад и с запада на восток, они, естественно, встречались со многими людьми, о которых искренне, талантливо рассказывают нам, читателям.

Особый интерес представляют встречи с молодыми людьми Америки. Что собой представляют эти парни, стоящие на дорогах с поднятым вверх большим пальцем? Их называют хич-хайкерами — людьми, «голосующими» на дорогах. Ильф и Петров отмечали, что поднятый большой палец — это сигнал, который сделался такой же не-

отъемлемой частью американского автомобилезма, как дорожные знаки. Но Москвич и Вашингтонец заметили, что сейчас американцы все реже распахивают дверцы своих автомашин для хич-хайкеров. Опасно. Было много случаев, когда «голосующие», вместо того чтобы выкладывать историю своей жизни, лупили водителя по голове рукояткой пистолета и выбрасывали его в канаву. Дело дошло до того, что Федеральное бюро расследований обратилось к автомобилистам с призывом не подбирать хич-хайкеров.

Наши авторы подбирали.

«Мы сажали их на переднее сиденье рядом с водителем, которым был Вашингтонец. Москвич со своими ста восемьдесятю девятью сантиметрами роста и титулом экс-чемпиона одной из союзных республик по классической борьбе устраивался на заднем сиденье. В руках он небрежно вертел тяжелый отечественный фотоаппарат «Зенит».

Среди американцев, перед которыми открывались дверцы «Акулины», встречались общительные и молчаливые, веселые и грустные, молодые и старые. Все они были не похожи друг на друга.

— Камо грядеши, мистер Христос? — спросил Москвич парня, своим внешним видом и облачением похожего на Иисуса Христа.

— В винный магазин за бутылкой виски, — ответил тот и тут же заметил: — Не для себя, для дяди. Виски — это ему. Я-то сам предпочитаю марихуану. (Недавно в печати сообщалось о специальном совещании у президента Никсона по вопросу борьбы с массовым употреблением наркотиков.)

Прошли первые минуты знакомства, и хич-хайкер по имени Джон настроился на серьезный лад. Он начал рассказывать о себе и о своих сверстниках, у которых, по его словам, «нет ничего общего с запрограммированным современным обществом».

— Я ушел из дома, — рассказывает он, — потому что почувствовал: дальше так жить нельзя. Отец знает лишь одну страсть — делать деньги. Мать — седая женщина, пишет сексуальные романчики ради денег. Я, по их мнению, родился, чтобы делать деньги... Куда бы я ни повернулся, всюду видел одного бога — прибыль! Искусство — прибыль; наука — прибыль; медицина — прибыль; любовь — прибыль; патриотизм — тоже прибыль. Одних посылают за океан убивать вьетнамских крестьян и называют это

патриотизмом, другие наживаются на войне, и это тоже называется патриотизмом.

Джон полон решимости не повторять путь своих родителей и вообще старшего поколения американцев. Он говорит им спасибо за спортивные машины и цветные телевизоры с дистанционным управлением, но упрекает за то, что они не дали ему самого главного — цели в жизни, ради которой следует жить. «О, вы создали комфортабельный мир, папы и мамы, но почему он у вас такой «взрывчатый»? Мы только и слышим из уст наших социологов: «взрыв насилия», «взрыв ненависти», «взрыв расизма», «взрыв преступности», «взрыв жестокости», «взрыв секса и порнографии», «взрыв наркомании», «взрыв гомосексуализма», «взрыв ультраправой идеологии». Да не взорвемся ли мы сами ко всем чертям в ближайшую пятницу?.. Над моей детской колыбелью вы развесили зонтик атомного взрыва. А сейчас по телевидению (в цвете, в натуральном цвете, конечно!) вы показываете мне, как вьетнамцы корчатся и сгорают в пламени напалма. Мне еще не исполнилось и двадцати пяти лет, а вы уже подарили мне три войны: «холодную», корейскую и вьетнамскую...»

Устами этого парня глаголет истина.

А что говорят люди постарше?

В одной из бесед с Вашингтонцем известный в Америке актер и режиссер Осси Дэвис говорил, что в эпоху молодости Америки «звуки выстрелов были музыкой нашей мужественности». И под эту музыку сгоняли краснокожих с их земель, закабалили черных, отняли у них плоды их труда и право на человеческое достоинство. «Мы, — продолжал он, — воздвигали славу Америки на перемолотых костях отдельных людей и целых народов. Мы воздвигли эту славу не с проповедью любви и мира, а путем насилия, путем агрессии против тех, кто был слабее нас. Но теперь дуло револьвера, завершив полный цикл, направлено на нас самих, и закон возмездия, от которого нам так долго удавалось увиливать, стучится наконец в нашу дверь».

Но политическая мораль обывателя из «молчаливого большинства», которого призывают шевелиться, иначе его заменят кнопкой, покоится на известной формуле: «Права или не права Америка, она моя страна».

За минувшее десятилетие Америка превратилась в самую агрессивную, самую

воинственную страну капиталистического мира. И наряду с агрессивностью во внешней политике внутри страны наблюдается стремительный рост преступности. Чувством страха перед преступностью, как свидетельствуют авторы, охвачены буквально все американцы. В больших городах жители боятся выйти на пустынные улицы с наступлением темноты. Женщины боятся остаться с незнакомым мужчиной в лифте. Хозяева маленьких лавочек боятся одиноких покупателей, когда остаются с ними один на один. Таксисты боятся ночных пассажиров. Матери боятся, что гангстеры похитят их детей. Грабежи банков и магазинов стали чем-то вроде развлечения в обеденный перерыв. От нападения бандитов не избавлены даже официальные представители иностранных государств.

А где же знаменитая американская полиция?

Многотысячные легионы полицейских, сильные и натренированные, с пистолетами у бедра и изящными никелированными наручниками, с полуметровыми дубинками на кожаных ремешках и с четко отработанными движениями, всегда готовы продолжить дело своих чикагских собратьев, проливших восемьдесят лет назад рабочую кровь на маленькой улице Хеймаркетсквер.

«От имени народа я приказываю быть спокойствию!» — грозно гласит надпись на постаменте памятника полицейскому в Чикаго. Но далеко не все американцы склонны следовать этому повелению. Полиция не справляется, и власти бросают на помощь регулярные войска.

Есть в книге «Америка — справа и слева» еще одно свидетельство очевидцев. Наши путешественники увидели то, чего не смогли видеть тридцать пять лет назад Илья Ильф и Евгений Петров. Авторам «Одноэтажной Америки» случалось наблюдать тогда, как американец начинает понимать, что такое Гитлер и его национал-социалистская партия, какую опасность представляет набирающий силу германский фашизм для самой Америки. Борис Стрельников и Илья Шатуновский своими глазами увидели и рассказывают в своей книге о том, что в Новый Свет пришла идеология Гитлера и фашизм все больше и больше охватывает новые сферы политической жизни Америки. Читатель знакомится с деятелями общества Джона Бёрча, с адмиралом Айзиком Келли, который жаждал драки не только с авторами книги, но «со

всем Советским Военно-Морским Флотом», с последователями губернатора штата Алабама Джорджа Уоллеса, которые, надо полагать, развернутся всюду на выборах 72-го года, и со многими другими вдохновителями тех, кому снятся атомные пустыни на просторах Советского Союза и других социалистических стран. Эти деятели считают, что нынешнее американское правительство является «прокоммунистическим» (!). Это заявил авторам книги техасский майор в отставке мистер Сэмюэл Колмэн от имени своих единомышленников, которых он собирает в своем заведении «Дубовая ветка».

Вашингтонская газета «Ивнинг стар» под заголовком «Уоллесовский кошмар может закончиться диктатурой» писала, что уже отчетливо видны многие параллели между тем, что происходило в дни фашизации Германии, и тем, что происходит в Америке сегодня. Не пора ли вспомнить, обращает внимание автор статьи, что Гитлер привлек к себе первых своих приверженцев путем эксплуатации страха, ненависти и фанатизма — страха перед коммунизмом, ненависти к неарийцам. Он достиг диктаторской власти, пишет газета, когда утвердил в Германии закон и порядок путем страха перед полицейской силой. «Если демократия не способна поддержать закон и порядок, — сказал владелец «Дубовой ветки» за чашкой кофе, — тогда я за диктатуру типа Гитлера и Муссолини».

Яснее не скажешь.

В книге Б. Стрельникова и И. Шатуновского много уделено места и другим аспектам американской жизни. Читатель не оставит без внимания слова уважения к простым американским людям, рассказы о их гостеприимстве, деловитости, способности вести «дело» по-настоящему, умению, одним словом, работать. Привлечет внимание глава о «микстуре» аптекаря из Атланты Джона Стиса Пэмбертона, претендующей сделать землю «Планетой Кока-кола», рассказ о теске нашей столицы, затерявшейся где-то в самом центре Америки, главы, повествующие о трагической судьбе коренных жителей Америки и о новых методах «работы» ку-клукс-клана. Я уверен, что читатель с интересом воспримет эту книгу, написанную через тридцать пять лет после выхода в свет «Одноэтажной Америки» и доносящей сейчас до нас правду о той стране, где после путешествия Ильфа и Петрова не было ни Красух, ни Хатыней, ни Лидице, ни Орауров, ни Освенцимов. Правду об Америке,

которая не живет без того, чтобы не сеять смерть и смуту в далеких от ее берегов краях, Америке, где понимание, что может прийти возмездие, проникает все больше, пробиваясь сквозь толщу лжи, обмана и насилия.

Читатель получил правдивую и интересную книгу, которую закрываешь с чувством благодарности и признательности ее авторам.

Ф. ВИДРАШКУ.

★

О ПОНИМАНИИ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ

А. А. Бодалев. Формирование понятия о другом человеке как личности. ЛГУ. 1970. 136 стр.

Сколько времени вам понадобится, чтобы составить представление о личности человека, нарисовать его психологический портрет? Несколько минут, дней, может быть, лет?

Мягкий, застенчивый, не первый год знакомый вам человек неожиданно оказывается способным на действия почти героические, трудно совместимые с привычным представлением о нем. Другой — обходительный, корректный, с устоявшейся репутацией положительного человека на поверку выступает совсем иным, чем знали его сослуживцы, — нетерпимым, деспотичным, лишенным элементарного такта в общении с близкими. В подобных ситуациях, когда происходит изменение привычных представлений и давно знакомое открывается заново, начинаешь сомневаться в своей способности проникать во внутренний мир другого. Различаются ли люди по способности понимать друг друга, как внешность соотносится с внутренним миром личности, каковы психологические механизмы и закономерности в формировании образа другого человека — этот комплекс социально-психологических проблем исследует психология познания человека человеком.

Как самостоятельная область науки психология восприятия и понимания людьми друг друга оформилась сравнительно недавно. Однако попытки теоретически осмыслить человеческое свойство пронизательности встречаются уже в глубокой древности. Первоначально они имели форму рассуждений о связи внешности человека с его характером. Это естественно, потому что способность понимать другого опирается на способность к экспрессии, к внешнему выражению внутренних душевных движений. Еще Аристотель был убежден в непосредственной связи внешности и характера. По его мнению, об особенностях характера можно сделать достоверные заключения,

проследив сходство лица человека с определенным зверем: толстый, как у быка, но якобы говорит о лени, широкий нос, напоминающий нос свиньи, — для него признак глупости и т. д. «Наука распознавать людей», завещанная потомкам средневековым чернокнижником Альбертом фон Больштедтом, устанавливала не менее «достоверные» связи между курчавостью и глупостью, длиной носа и кичливостью, надутыми щеками и храбростью. Расцвет физиономики — искусства распознавать характер людей по внешности — связывают с именем Лафатера, приходится он на конец XVIII века. Цюрихский пастор Лафатер оставил после себя целый ряд психологических зарисовок известных людей своего времени, поражавших своей тонкостью современников и потомков. Его работы называют «физиономической библией». Ф. Галль, основоположник френологии, был убежден, что его теория позволит по внешним признакам (форме черепа) безошибочно делать заключение о характере, способностях и уме человека.

Ни одна из подобных систем прошлого не смогла отстоять право называться наукой. Лишь со второй половины XIX века изучение связи внутренних душевных движений и свойств человека с внешними формами их проявления становится предметом собственно научного исследования. Первой работой такого рода можно считать книгу Ч. Дарвина «О выражении эмоций у животных и человека», опубликованную в 1872 году. В ней знаменитый ученый, сравнив формы эмоциональной экспрессии, нашел, что у человека и животных они аналогичны и могут быть точно идентифицированы наблюдателем. Этот тезис получил развитие в экспериментах Т. Пидерита, который в лабораторных условиях с помощью электрощупа научился вызывать нужные эмоции у испытуемого, раздражая отдель-

ные участки лица. Пидерит считал, что каждая эмоция выходит наружу при посредстве движения определенных лицевых мускулов. Наблюдатель, фиксируя внимание на их игре, «считывает» в обратном порядке внутреннее состояние человека, обнаруживающее себя в том или ином мимическом рисунке. Систематические экспериментальные исследования природы человеческой пронизательности начинаются в конце 20-х — начале 30-х годов нашего века. В последние десятилетия число работ, посвященных этим проблемам, быстро растет, непрерывно совершенствуется понятийный аппарат, техника эксперимента, формулируются новые гипотезы.

В советской психологии исследование проблем познания человека человеком началось в 50-х годах, в наше время за ним прочно закрепилось положение самостоятельного направления в психологии. С начала 60-х годов проводится серия интересных экспериментов по обширной программе — изучаются процессы опознавания, становления образа другого человека у ребенка и школьника, влияние деятельности на формирование образа человека и другие проблемы. Анализ полученных данных можно найти в ранее опубликованной книге члена-корреспондента АПН СССР А. А. Бодалева «Восприятие человека человеком» (Ленинград, 1965). Логическим продолжением этой работы является новая книга А. А. Бодалева, выпущенная издательством Ленинградского университета в 1970 году. В ней собран значительный экспериментальный материал, обобщаются результаты исследования как советских, так и зарубежных ученых по проблеме понимания человека человеком. В отличие от первой книги, где рассматривается восприятие, то есть непосредственное наглядно-образное отражение одним человеком другого, вторая имеет дело с формированием образа человека как личности — обобщенной характеристикой его как субъекта труда, познания и общения. В своей новой монографии Бодалев разбирает общие принципы понимания людьми друг друга, возрастные и индивидуальные особенности, влияния рода деятельности и положения человека на характер его умозаключений о личности, психологические механизмы формирования первого впечатления.

В действиях человека нельзя видеть чисто поведенческую реакцию, лишенную внутреннего психологического содержания. Действия людей мотивированы, целенаправленны,

в них воплощены потребности, интересы, способности, чувства человека. Чтобы познать человека, следовательно, недостаточно восприятия внешних фактов поведения и установления их регулярности. Познание должно идти дальше, через осознание внутренних побудителей тех или иных действий к умозаключению о глубинных чертах личности. Связь внешних проявлений с явлениями внутренней жизни неоднозначна, иначе расшифровка личности другого была бы делом вполне ordinарным, каковым его и считают многие. Исследования Бодалева подтвердили, что заблуждения насчет прямой связи внешних признаков с чертами личности весьма широко распространены. Так высокий лоб в обыденном сознании — признак ума, толстые губы — свидетельство большой чувственности, рост ниже среднего ассоциируется с властью, энергичностью, широкий рот указывает на чувство юмора. Житейские обобщения такого рода в целом имеют не больше достоверности, чем утверждения основателей физиономики и френологии.

Другая весьма распространенная ошибка в познании других людей — «эффект ореола». Сплошь и рядом человек оказывается неспособным своевременно фиксировать изменения во внутреннем мире другого, если у него сложилось определенное представление о нем. Мы склонны излишне доверяться схеме, в которую однажды уложили чью-то личность, и не замечаем изменений этой личности в целом или отдельных сторон ее, противоречащих устоявшемуся взгляду. Более того, незаметно для себя мы стараемся вернуть человека к привычной схеме поведения, если он чересчур уклонился от нее, заставить действовать в соответствии с отведенной ему ролью: «что-то ты сегодня сам не свой», «смотрите, его будто подменили», «хватит прикидываться» и т. д. Эффект ореола для оцениваемой личности оборачивается эффектом репутации. Это своеобразный фаворитизм к прежней информации, преодолеть его инерцию обычно очень трудно.

Еще одна распространенная тенденция состоит в неверной группировке ряда черт, которые, как полагают, должны сопутствовать друг другу. Агрессивность значит также энергичность, застенчивость — податливость и т. д. Смежный с этим явлением эффект «стереотипизации», «безотчетного структурирования личности» был изучен с помощью ряда интересных экспериментов. Представьте, что перед вами фотография героя. Наверное, вы попытаетесь разглядеть

в его чертах что-то свойственное человеку выдающихся способностей, так же как в лице матерого преступника вы постараетесь увидеть признаки дурных наклонностей. Интересна ваша реакция, когда вы узнаете, что фотография с подписью «преступник» сделана с героя, а фотография «героя» — с преступника. Двум группам испытуемых предлагали нарисовать психологический портрет людей, изображенных на подобных фотографиях, причем на них был заснят один и тот же человек (не герой и не преступник, а, скажем, конторский служащий). Экспериментаторы зафиксировали у определенной части испытуемых тенденцию строить заключение о личности в соответствии с установкой, созданной подписью. Набор качеств, которые человек связывает с некоторым классом лиц (например, с представителями определенной национальности), получил название «стереотипа».

Как бы ни была велика опасность ошибочных обобщений, совсем без обобщений в познании личности никак не обойтись. В них аккумулируется предшествующий опыт общения индивида, отражаются особенности биографии данного человека и воплощаются значимые для общества критерии оценки людей. Отдельно взятый факт поведения еще может ничего не говорить о личности в целом. Неудачно сыгранные роли есть и у великих артистов. Но если актер от роли к роли не добивается успеха, если ощущение творческого подъема ему малодоступно, а импровизация получается надуманной, то мы с полным основанием заключаем — посредственный актер. Добросовестный работник, выполняющий поставленную перед ним задачу старательно, но без взлетов мысли, без выдумки, получает характеристику надежного, но не блестящего специалиста. У каждого из нас имеется множество подобных схем, в которых переработаны и обобщены конкретные факты поведения: блестящий оратор, бюрократ, опытный педагог, рвач, душа компании и т. д. Обобщения такого рода выполняют функцию эталонов, в них фиксируются нравственно-эстетические критерии оценки людей. Эталоны в одно и то же время и содержательная характеристика и оценка, они выявляют общественную значимость данного качества личности.

Разумеется, полученные данные не составляют научной классификации. Они подвержены всевозможным искажениям, так как являются продуктом заведомо ограни-

ченного опыта индивида. Кому-то не повезло в контактах с работниками торговли — встречались не самые вежливые и честные, — и вот уже сложилась установка на восприятие всех продавцов и кассиров в мрачном свете. Однако не следует забывать, что и научные типологии личности, построенные по всем правилам индукции, в каких-то отношениях неизбежно упрощают, схематизируют действительность.

Важной задачей психологии познания человека человеком является выяснение связанных наборов обобщений, имеющих хождения в различных социальных группах, а также закономерностей, по которым осуществляются процессы обобщения людьми разного возраста. Последняя задача представляется особенно важной. С возрастом происходят значительные изменения в характере деятельности и общения человека, причем изменения эти могут быть довольно точно фиксированы. Появляется возможность проследить связь деятельности и общения индивида с его типичными обобщениями относительно встречающихся в жизни людей. Раздел книги А. А. Бодалева, посвященный анализу возрастных особенностей понимания человека человеком, пожалуй, самый богатый по материалу, собранному автором.

Для изучения возрастных особенностей понимания другого был использован метод свободных характеристик. Лицам разных возрастов предлагалось дать характеристику основных черт личности сверстников, которых они хорошо знают. Этот метод позволяет выявить, что индивид считает главным в человеке, уровень его собственной способности к обобщению, к оценке личности в целом. Удалось выявить и наиболее типичные критерии оценки в каждой возрастной группе.

Зрелость познавательного процесса во многом зависит от способности отвлекаться от конкретных событий, видеть общее в многообразии частных фактов, в данном случае фактов поведения. У дошкольников эта способность развита очень слабо. Младшие дошкольники в характеристике сверстника практически не могут избежать ссылок на отдельные поступки. Раскрывая содержание того или иного качества, дети чаще всего указывают на конкретные события их личной биографии. Так, Петя оказывается хорошим, «потому что угощал вафлей» или «потому что все скушал». С приходом ребенка в школу в корне меняется содержа-

ние его деятельности, что отражается и в способах видения им окружающих. Дети младшего школьного возраста отмечают в сверстнике в первую очередь отношение к учебе, к труду по самообслуживанию, к товарищам. Появляются суждения об интересах, отсутствовавших у дошкольников, попытки сделать заключения о волевых качествах оцениваемого. У пятиклассников встречаются отдельные высказывания о жизненных планах и способностях, ни разу не отмеченные первоклассниками. Существенные сдвиги мы находим у восьмиклассников. Гораздо больше внимания, чем пятиклассники, уделяют подростки развитию ума, кругозора, дают развернутую характеристику эмоциональных и волевых особенностей личности. Если у пятиклассников преобладали суждения о качествах, выражающих отношение человека к деятельности и к другим людям, то подростки уже начинают разбираться в отношении человека к собственной персоне (уверенность в себе, застенчивость, выставление своего «я»). Десятиклассник в словесном портрете сверстника довольно редко фиксирует такие черты, как дисциплинированность, отношение к учебной работе, совсем мало уделяет внимания труду по самообслуживанию. Зато он очень чувствителен к манере поведения и мотивам в общении с окружающими, а также к действиям, в которых обнаруживается отношение человека к самому себе. Суждения выпускников о личности другого более осторожные, чем у подростков, — учитываются нюансы, приходит понимание сложности и противоречивости внутреннего мира человека.

От элементарных понятий, бедных содержанием, односторонних, ситуативных к дифференцированным, прочным знаниям и навыкам обобщения — такова ведущая тенденция развития понимания человека человеком.

Общие тенденции, однако, не исключают индивидуальных вариаций, которые становятся заметнее с возрастом. Каждый индивид имеет свой личный, неповторимый опыт взаимодействия с другими людьми, и потому присущий ему взгляд на людей отличается от видения других.

Можно не сомневаться, что книга А. А. Бодалева заинтересует не только профес-

сионального психолога. Педагоги, врачи, руководители производственных коллективов — все, кому приходится по работе постоянно сталкиваться с людьми, делать заключения о способностях человека, точно оценивать его внутренние состояния, могут почерпнуть в ней ценные сведения. Естественно, что в ограниченной по объему работе все вопросы не могут получить одинаково полного освещения. Некоторые проблемы лишь поставлены, бегло обрисованы направления перспективных исследований. Сделать же предстоит еще очень много. Круг проблем нерешенных, требующих дополнительных исследований, постоянно расширяется. Меньше всего ясности сегодня в том, что же способствует точности понимания другого и кто глубже способен проникать во внутренний мир человека? Вопрос этот весьма запутан, при его изучении получено много противоречивых экспериментальных данных и не подтвержденных гипотез. Относительно формирования первого впечатления достоверно известно, что оно тем точнее, чем богаче экспрессия оцениваемого, чем больше событий поведения доступно восприятию. Интуитивная, глобальная оценка личности часто бывает точнее аналитических суждений. Заслуживает серьезного внимания, хотя и нуждается в дополнительной проверке утверждение о связи точности самооценки и оценки других. Более объективному представлению о собственной личности, по-видимому, соответствует более глубокое и адекватное понимание личности другого. Интересен вывод ряда исследователей о безотчетной тенденции приписывать другим те отрицательные черты, которые человек не видит, не осознает в своей личности. Расходятся данные ученых относительно «генерализованности» самой способности понимать людей. По одним данным, проницательный человек сохраняет свою способность при оценке самых разных категорий людей. По данным других экспериментов, люди лучше понимают тех, кто похож на них, и хуже — несхожих с собой. Какая из этих точек зрения верна, пока не ясно. Здесь, как и во многих других случаях, требуются новые, более тонкие эксперименты.

Д. ШАЛИН.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОННОЙ ПОЧТЫ

«ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСТОРОЖНО»

О некоторых пособиях по лекторскому мастерству

Когда-то А. П. Чехов сожалел о том, что «ораторское искусство у нас в совершенном заgone». В России, по его подсчетам, было всего-навсего пять-шесть настоящих ораторов.

Сейчас ежедневно по стране читается 50 000 лекций. Возможно, что и число настоящих ораторов сейчас сильно выросло, но все равно, чтобы стать одним из них, каждому молодому лектору приходится начинать сначала, и он обращается к специальной литературе по лекторскому мастерству.

К сожалению, такие пособия, как замечательная книга Г. З. Апресяна «Ораторское искусство» (М. 1969), крайне редки. А многочисленные брошюры весьма далеки от совершенства. Взять, например, издания прошлого года: Е. А. Адамов, «О культуре речи пропагандиста» («Московский рабочий». 1970) и А. В. Кирсанов, «Шаблон противопоказан» (напечатана во втором выпуске библиотечки «Искусство лектора». «Знание», 1970).

Какие же конкретные советы и рекомендации находит в них лектор?

Прежде всего натыкаешься на серию завораживающих и пугающих требований:

«Трибунное слово должно быть глубоким, интересным, живым», «Изложение должно быть творческим, действенным...» и т. д., «Лектор, докладчик, пропагандист, политинформатор, неся слушателям высокие идеи, важные и новые мысли, должны их аранжировать, заставить звучать особенно убедительно, впечатляюще», «...уметь найти нужные слова для нужных мыслей...». Кроме того, речь должна быть содержательной, ясной, убедительной, наглядной, популярной, образной, эмоциональной.

Как же этого добиться?

А. В. Кирсанов, например, советует вместо «общих формулировок» приводить факты: «Факты в массовой аудитории — это своего рода сырье для мысли». Можно было бы браться собирать факты, однако в следующем абзаце находишь предупреждение: «Но ратовать за факты вовсе еще не значит, что лекция должна быть завалена фактами... Такая лекция гасит интерес слушателей».

На одной и той же странице сначала сказано: «Чтобы слово достигало эмоционального воздействия, оно само должно быть страстным, гневным, проникнутым чувством». А затем: «Пусть манера разговора со слушателями будет не броская. В основе успеха оратора — деловитость...» «Поэтому говорящий сухомерно преуспееет все же больше, нежели тот, кто говорит образно, эмоционально-приподнято, но пустомерно, без мысли».

Все верно. Не ясно только, что и когда предпочесть, как преподнести факты, сдерживать свои чувства или давать им волю.

Немало сказано и о применении цифр, однако все сводится к тому, что цифра «требует усилий, внимания, меры и такта».

Но все же что конкретно должен делать молодой лектор? Листаем другое пособие.

Опытный методист Е. А. Адамов пишет: «М. И. Калинин говорил, что надо расцветивать лекции по марксизму-ленинизму примерами из художественной литературы. Но, разумеется, нельзя при этом терять чувство меры... Приводить примеры из художественной литературы надо всегда к месту...»

Конечно, во всем нужно чувство меры, но ведь это чувство воспитывается, прививается человеку путем показа того, что хорошо, а что плохо. На вопрос, как лучше использовать то или иное средство, лектор и пропагандист всегда найдет ответ в брошюре Е. А. Адамова: «Пользоваться цитатами надо осторожно», «Пропагандистам надо... использовать цифры осторожно...», «Осторожно пользуются опытные пропагандисты в своих речах приемом гиперболы...», «Опытный пропагандист очень осторожно пользуется сокращенными словами», «В устной речи следует очень осторожно употреблять профессиональные, диалектные и жаргонные слова» и пр.

В других случаях слово «осторожно» заменяется выражениями «не следует злоупотреблять», «удачно применять» и т. п.

А. В. Кирсанов также советует «не злоупотреблять какими-то словами, словосочетаниями, даже поговорками, пословицами».

Е. А. Адамов знает и отчего все беды: «Корень неудач многих наших пропагандистов заключается в том, что они путают речь письменную с речью устной».

Можно поверить автору, но нельзя согласиться с тем, как он раскрывает «природу устной речи»: устная речь в отличие от письменной «творится в момент ее произнесения» («хотя она и подготовлена заранее»), «Устная речь неповторима — это искусство моментальных (?) формулировок», «У хорошего оратора слова послушной толпой следуют за его мыслями», «Настоящая живая устная речь требует способности мыслить в аудитории», тогда «слова переливаются из фразы в фразу», «Палитра красок оратора богаче, чем палитра красок писателя», «Устная речь есть музыка живого слова» и т. п.

Но есть ли за этим обилием метафор реальное содержание? Что такое, скажем, «музыка живого слова»? По-видимому, чувствуя, что начинающему пропагандисту это может быть не до конца понятно, Е. А. Адамов совершенно справедливо замечает: «Музыка бывает тоже разная, бывает хорошая и бывает плохая» — и в подтверждение приводит высказывание известного писателя: «Это убедительно показал Марк Твен. Однажды с великим юмористом произошел неприятный случай: Марк Твен брился дома и очень сильно порезался. Думая, что он один дома, не сдержался и громко выругался. А в соседней комнате, оказывается, была его жена, она все это слышала. Желая устыдить мужа, она повторила слово в слово все, что сказал Марк Твен. Писатель терпеливо выслушал жену, а потом сказал ей: «Дорогая, слова те, музыка не та».

Автор, видно, полагает, что теперь-то уже самый недогадливый пропагандист поймет, что такое «музыка живого слова», и с успехом будет применять полученные от методиста знания на занятиях.

Устная речь в последние годы обстоятельно изучена лингвистами — особенности словоупотребления, синтаксиса. К сожалению, результаты этих исследований в брошюрах не отражены. Из реальных особенностей устной речи обычно отмечается только интонация. С обязательной ссылкой на изречение Б. Шоу. Например, в брошюре Е. А. Адамова: «Вот почему известный писатель Джон Бернард Шоу был абсолютно прав, когда он сказал: «Есть 50 способов сказать «да», 500 способов сказать «нет» и только один способ написать эти слова». Как справедливо сказано!»

А. В. Кирсанов в брошюре «Шаблон противопоставлен» замечает: «Слову устному свойственно огромное интонационное богатство. Бернард Шоу говорил, что есть 50 способов сказать слово «да» и 500 способов — слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть один способ. Вот какой диапазон емкости живого слова!» Разногласия авторов только в цифрах, в количестве способов сказать «нет».

Многие основные понятия — убедительность, ясность, образность и др. — остаются нераскрытыми, противоречивыми, поэтому и конкретные рекомендации не могут удовлетворить лектора-практика. Так, А. В. Кирсанов советует: «К примеру, в лекциях часто сравнивают революционное учение марксизма-ленинизма с компасом, с путеводной звездой, с факелом... Все это правильные сравнения. Но есть у них тот недостаток, что, любившись пишущим и выступающим, сравнения эти от многократного употребления невольно примелькались... А почему не сказать, что коммунистическое мировоззрение является для человека тем, чем для астронома телескоп, а для лабораторного исследователя — микроскоп... Марксизм-ленинизм — это ключ, с помощью которого открываются

самые замысловатые замки общественных отношений. А почему бы не сравнить это учение, скажем, с лощией общественной жизни и т. п.?»

Если даже считать сравнения А. В. Кирсанова (например, марксизма с микроскопом) превосходными, яркими и свежими, то и тогда придется признать, что это не выход из положения. Ведь очень скоро, полюбившись пишущим и выступающим, сравнение марксизма с микроскопом (ключом, лощей) невольно примелькается. С другой стороны, дело не только в частоте употребления. Образ путеводной звезды полюбился пишущим два тысячелетия тому назад (а может быть, и больше), и у хороших авторов он ярок и свеж, у плохих банален.

Молодой лектор, веря методистам, и рад бы как можно чаще прибегать к эпитетам, метафорам и сравнениям, но интуиция подсказывает: образ коварен. Образ облегчает слушателю путь к смыслу, а с другой стороны, именно потому, что это образ, то есть неточное, переносное, описательное обозначение, он может и затруднять понимание. Кроме того, чем ярче образ сам по себе, тем труднее его использовать так, чтобы он не выпадал из общего тона.

Возможно ли в методике лекционной пропаганды добиться большей определенности и точности? По-видимому, возможно, но только в том случае, если общие рассуждения заменить конкретным разбором выступлений — хороших и плохих, раскрыть принципы словоупотребления в том или ином случае. Пока же в большинстве случаев отрывки из выступлений известных ораторов приводятся без анализа всего ансамбля изобразительно-выразительных средств.

Примером такого подхода может послужить другая брошюра того же автора, Е. А. Адамова, — «Советские ораторы на трибуне» («Знание». 1966). Здесь достоинства каждого оратора оценены с завидным лаконизмом.

Так, про В. Володарского сказано, что он был выдающимся оратором, С. М. Киров — также выдающимся, М. И. Калинин — замечательным, Я. М. Свердлов «обладал также ораторскими способностями».

Про А. В. Луначарского говорится, что он был «блестящий литературный критик», что «все его выступления носили отпечаток сверкающего ораторского таланта... его речи часто превращались в блестящий фейерверк мыслей» (фейерверк всегда блестящий, а фейерверк мыслей — это едва ли похвала), что он выступал «с блестящей речью о Максиме Горьком», что у него «глубокое содержание сочеталось с блестящей формой», что однажды «блестящей латынью...» «он блестяще разоблачил позицию буржуазных ученых», что «блестяще развернулся полемический талант А. В. Луначарского», что в его речах «сверкали художественные образы» и т. п. (стр. 37—43).

В брошюрах, которые призваны помочь молодому лектору, вероятно, следует, во-первых, приводить полезные для совершенствования устной речи сведения из различных наук (лингвистики, педагогики, психологии) и, во-вторых, давать анализ опыта ораторов прошлого и современности.

Если же в изданиях такого рода нет ни того, ни другого, то они вряд ли смогут достичь той цели, ради которой пишутся: способствовать повышению лекторского мастерства. А задача эта важна чрезвычайно.

Недаром в той же заметке, с которой мы начали, А. П. Чехов писал: «...Во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, х а н ж е с т в о слова или пошлое красноречие. И в древности, и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры».

И далее:

«В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания — обучение красноречию следовало бы считать неизбежным».

В. ОДИНЦОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР. Уйти, чтобы остаться. Роман. Л. «Советский писатель». 1970. 263 стр.

Перед нами вторая книга ленинградского прозаика — он дебютировал романом «Гроссмейстерский балл» (опубликован в «Юности», вышел отдельным изданием в 1966 году).

В первом романе герои, молодые ученые, только начинали самостоятельную работу. В романе «Уйти, чтобы остаться» действуют уже не вчерашние студенты, а исследователи, обретающие опыт, решающие сложные вопросы современной радиоастрономии.

Но главное для автора — не чисто научные, а нравственные проблемы. Вадим Родионов, талантливый исследователь, долгое время изучает ионосферу Венеры. Он создает свой, оригинальный метод, подтверждающий гипотезу о глубокой ионосфере на планете. Однако тем самым он опровергает точку зрения своего шефа Киреева. Вадим оставляет исследование, переключается на совсем другую работу и постепенно превращается чуть ли не в агента по научно-техническому снабжению при Кирееве. Кончается роман нравственным пробуждением героя, его бунтом против Киреева и «киреевщины».

А рядом, «на параллельных», в романе проходят два образа — как предостережение и как урок Вадиму. Один из них, Савицкий, сломленный тем же Киреевым, не нашедший в себе сил отстаивать свою гражданскую и научную правоту, так и уходит из жизни, не осуществив своих возможностей. Для другого же, Устиновича, научная честность и бескомпромиссность превыше всего, и именно они дают ему силу и стойкость в сложных жизненных ситуациях.

Нельзя не почувствовать стремления молодого писателя говорить в своем романе о серьезных, значительных вопросах. Они задевают читателя за живое, заставляют его

мысленно включиться в подспудный спор, идущий в книге, — о моральном облике ученого, об его ответственности перед своим талантом, о том, в чем его смелость и достоинство.

Автор стремится приблизить к нам научную проблематику, атмосферу работы, быта своих героев. И это ему во многом удается: чувствуешь и характерные подробности жизни современного научного коллектива, и современную речь героев. Но, к сожалению, от живого ощущения примет сегодняшнего автор нередко соскальзывает на проторенную литературную колею.

Друг Вадима — Ипполит. И конечно же, Вадим зовет его «Ипп». Они разговаривают «честно, по-мужски». Этот стиль «а ля «Хэм» с бесчисленными «привет, старик!», с добродушно-ласковыми ругательствами, скупыми «мужскими» рукопожатиями хорошо знаком читателям по многим и многим юношеским повестям.

Впрочем, улавливая требования времени, автор чем дальше, тем больше переходит с привычно иронического тона на сугубо серьезный. Он отказывается от пространных психологических описаний. Ему больше по душе скупая многозначительность, недоговоренность. Но здесь, так же как и в случаях типа «привет, старик!», мы часто ощущаем нечто стилистически подчеркнутое, не просто знаменательное, а скорее «общезнаменательное».

У автора есть свой взгляд на мир, свое видение его. Оно дает себя знать то острой, неожиданной характеристикой, то метким определением, оригинальным сближением далеких друг от друга понятий. Но этому немало мешают наносные стилистические «веяния», создающие атмосферу уже бывшего. Обо всем этом надо было бы подумать молодому способному прозаику — о том, от чего следует «уйти, чтобы остаться».

В. Морозова.

Н. А. КРЫМОВА. Станиславский-режиссер. М. «Искусство». 1971. 144 стр.

Название этой книги столь же просто, сколь необъятно: «Станиславский-режиссер»...

Небольшая (в ней сто сорок четыре страницы) книга издана в серии «методической литературы для художественной самодеятельности», которую постоянно выпускает издательство «Искусство». Казалось бы, задачи автора ясны и просты: рассказать о принципах режиссуры великого деятеля театра, не отпугивая читателей обилием специальных терминов, порекомендовать другие, более объемистые исследования, книги самого Станиславского — так сказать, быть первой ступенькой для неискушенного читателя. Но в этой книге «популярность» понимается по-другому. Автор — Наталья Крымова — вовсе не снисходит к своему читателю и не адресует его к другим трудам. Она пишет книгу серьезную, зовущую к раздумьям, а иногда и к полемике. С первой по последнюю страницу этой книги мы ощущаем живого Станиславского — в его работе над спектаклями, в самих спектаклях, живущих на сцене («Синяя птица», «Горячее сердце») и давно ушедших со сцены.

Для Крымовой искусство Станиславского прежде всего определяется его связью с жизнью и отображением жизни. Она права, утверждая: «Станиславский достигал замечательной мощи спектакля благодаря широкому и социальному раскрытию предлагаемых обстоятельств пьесы, которые он всегда видел как обстоятельства самой жизни». В то же время эта неременная связь с жизнью вовсе не прямолинейна в искусстве. Н. Крымова права, утверждая и анализируя претворение жизни в спектаклях Станиславского, не изменяющее ему «идеальное чувство стиля будущего спектакля, некий сплав автора и режиссера».

Эти не мыслимые друг без друга свойства пронизывают всю работу Станиславского, в том числе те спектакли, которые анализирует автор данной книги. Анализирует же она главным образом последние режиссерские работы Станиславского, так мало освещенные в истории театра. В трех главах книги предстает перед читателем работа Станиславского над «Женитьбой Фигаро» и «Горячим сердцем», над «Бронепоездом 14-69» и режиссерским планом «Отелло».

Задача автора — вовсе не реконструкция спектаклей, но именно процесс работы Станиславского — над французской комедией кануна революции, над русской комедией, над советским спектаклем, в котором законы психологической драмы сплавляются с законами народного эпоса, образуя новое, важнейшее качество. Читатель как бы становится участником работы над спектаклями Станиславского.

Читая страницы, посвященные «Горячему сердцу», слышишь, как причитает Параша возле тюрьмы, как поет хор, подплывающий к пристани в лодке-лебеди, видишь, как выскакивает на площадь, куражится, пляшет Хлынов-Москвин, а значит — сливаешься со Станиславским и с его удивительной работой над последними спектаклями.

Это, думается, лучший метод популяризации — не снисходить к читателю, не разъяснять любителям то, что давно известно профессионалам, но вместе с читателем войти на репетицию Станиславского, склониться над его режиссерским планом, увидеть спектакль — за открывшимся занавесом с белой чайкой. Это гораздо труднее, чем написать обычную книжку «для самодеятельности». Но это значит — написать настоящую книгу, которая нужна и заведующему клубом, и режиссеру народного театра, и пенсионеру, разыгрывающему пьесу в школьном драмкружке. Не меньше нужна такая книга и студентам Театрального института, и режиссерам, и актерам. Прав П. А. Марков, сказавший в небольшом предисловии к этой небольшой книге: «В книге Н. Крымовой в сжатом виде, по существу, раскрыто самое главное в режиссуре К. С. Станиславского, более того — так или иначе затронуты все его основные постановочные принципы... Станиславский... приближен к нам, он предстает в книге как наш современник».

Е. Полякова.

★

Е. КРАСНОЩЕКОВА. «Обломов» И. А. Гончарова. М. «Художественная литература». 1970. 94 стр.

Наверное, не случайно из многих уже вышедших книжек «Массовой историко-литературной библиотеки» наибольший интерес вызвали те, где современный исследователь решил остаться лицом к лицу с давним уже явлением искусства, сохраняя при этом взгляды, устремления, заботы и тре-

воги человека наших дней, занятого всем, чем заняты мы в сегодняшней жизни. Так, С. Бочарову, например, в книжке, посвященной «Войне и миру», удалось, выражая острую нынешнюю потребность в самом широком взаимопонимании и единстве между людьми, открыть, сколь многое заключено было для Толстого в понятии «мир», как высоко поднялось в 60-е годы прошлого столетия представление о возможном и необходимом человеческом взаимосближении, почему именно Отечественная, общенациональная война могла стать и стала «материалом» толстовской книги. Чем в большем нуждаемся мы сейчас, чем серьезней к этим собственным нуждам относимся, тем больше и обнаруживаем в бесценном культурном наследии человечества.

В издательском предуведомлении к книжке Е. Краснощековой о гончаровском «Обломове» говорится, что ее автор хочет ответить на вопрос, «почему судьба помещика, знаменитого владельца Обломовки и трехсот крепостных Захаров, то есть персонажа давно ушедших времен,—глубоко, иногда до слез, волнует нас, читателей». Самая лексика и интонация тут не очень согласуются с тем, что мы привыкли встречать в подобного рода аннотациях и характеристиках. Но на этот раз пафос книжки дает о себе знать даже в издательской рекомендации, разрушая привычные жанровые формы.

Да, Е. Краснощекова хочет прежде всего понять, почему в наше строгое, столь склонное ко всякой научности и деловитости время судьба Ильи Ильича волнует и трогает нас. Она не может пройти мимо того, что именно Обломов был первой и, в сущности, единственной любовью Ольги, что только с ним и при нем раскрылась душа Агафьи Матвеевны. Она внимательна и к тому, что происходит с Ильей Ильичом, когда он в пору сватовства к Ольге начинает исполнять всяческие ее поручения, и к его почти инстинктивному отстранению затем от этого. И открывается, что самое высокое, самое дорогое для нас в Обломове это как раз то, что делает для него невозможным — по разным причинам — «включиться» в жесткие ритмы века. Илья Ильич обречен, но душа в нем остается до самого конца сохранный, не раздробляется, не разменивается, как бы страшна ни была заплаченная за это цена.

Е. Краснощекова пишет об «Обломове», не забывая ни на минуту о всех сегодня-

шних сложностях в «сопряжении» живой души с практичностью и трезвостью, не относя трудности тут только за счет чьего-то «недопонимания». В то же время анализом прошлого она добывает и для настоящего истинную «иерархию», подлинную «меру» явлений и характеров.

Очень важно, что на этой же основе исследовательнице многое удается прояснить и в плане историко-литературном, хотя книга ее отнюдь не обременена обилием цитат, ссылок, сопоставлений.

«Обломов» выходил впервые в свет тоже в далеко не тихое, не простое, не сентиментальное время. Островский тогда выступил с «Грозой», Тургенев — с «Накануне», Салтыков, выпустив «Губернские очерки», стал сатириком Щедриным. А роман Гончарова медленно тянулся на страницах «Отечественных записок» из месяца в месяц, со своим героем, который так и не снял халата, так и не встал с постели. Но и тогда «Обломова» читали: вопреки, казалось бы, всему он имел успех.

Очевидно, и в ту пору, когда жизнь в России едва ли не впервые двинулась с такой небывалой прежде быстротой, с такой непривычной энергией перемен и поворотов, к одному этому содержанию времени тоже все-таки не сводилось. В «Грозе» Островский глядывался и в глубинную устойчивость народного духа. А очень скоро после появления «Обломова» Толстой начнет писать «Войну и мир» как книгу о связи времен, о том, чем вообще во все времена живы в конечном счете люди.

Е. Краснощекова называет роман Гончарова произведением «живым, очень сложным, беспощадным и трагическим», говорит о людях его с заинтересованностью и пристрастием. Это и делает ее анализ в равной мере и обращенным к широкому кругу читателей, и плодотворным для живых историко-литературных и даже социологических построений и выводов.

Я. Билинчис.

доктор филологических наук.

★

ФЕЛИКС ЛЕВ. Перед школой. Книга для родителей. М. «Педагогика». 1971. 224 стр.

Ребенок входит в мир. Он смотрит на этот мир широко раскрытыми, изумленными глазами: все ново, все интересно, все впервые. Каждый прожитый день — праздник, каждый следующий — открытие. Но входя в этот огромный, многокрасочный, заман-

чивый мир, ребенок приносит в него пусть еще очень маленький, но особый, не менее удивительный и интересный мир — мир своей души.

Об открытии ребенком мира, о его первых шагах и соприкосновении с ним рассказывает новая книга Феликса Льва «Перед школой», выпущенная в этом году издательством «Педагогика». И хотя автор назвал ее в подзаголовке книгой для родителей, думается, что ее с увлечением прочтут не только родители, но и все те, кто любит детей, кто хочет открыть для себя «этот маленький таинственный остров» — мир детской души.

Книга интересно, умно и ненавязчиво рассказывает о том, какими представляются маленькому человеку различные, порой очень сложные стороны человеческого бытия, какими видятся ему обычные, повседневные вещи и явления, которые давно перестали удивлять, восхищать и радовать нас, взрослых. Вместе с автором мы следим, как растет ребенок, как постепенно постигает он все многообразие окружающего, и одновременно мы, взрослые, не только узнаем его самого, но и учимся у него. Да, учимся у ребенка тому непосредственному и органичному видению мира, которое позволяет всем детям без исключения быть поэтами.

Книга Феликса Льва полна метких наблюдений над речью ребенка, начиная с его первых слов. Но детское словотворчество, помогая нам разглядеть и понять очень важную черту характера, присущую каждому ребенку, — стремление к активному мышлению, активному восприятию окружающего, — никак не является для автора самоцелью. Все эти очень образные: «лижибоки», «солнечные тучи», «вытащи занозы из палки», «это не стоянка такси, а стоянка людей», — вовсе не умиляют автора. Рассказывая о них, он прежде всего стремится понять, почему малыш сказал так, а не иначе, почему пришла к нему та или иная ассоциация, стремится проследить за ходом мысли ребенка, приводящим к созданию «нового» слова.

Наблюдая за этим своеобразным, иногда довольно сложным процессом, мы вместе с автором не только узнаем что-то неожиданное о родном языке, но, что гораздо важнее, находим истоки необычного в детском восприятии окружающего.

И вдруг мы отчетливо сознаем: то, что у нас принято называть «образностью», поэтическим видением мира и другими наукообразными терминами — для ребенка есте-

ственная потребность, в которой нет ничего выходящего за рамки обычного.

Открывая нам внутренний мир своего героя, знакомя с его слово- и мыслетворчеством, автор все время напоминает нам, что даже самый маленький ребенок — это уже характер, неповторимая индивидуальность, личность, которая с первых минут жизни требует к себе не только внимания, но и настоящего, серьезного уважения.

Эта увлекательно и ярко написанная книга каждой своей страницей убеждает, что наше серьезное и уважительное общение с ребенком необходимо не только ему. Оно не меньше, а может быть и больше, нужно нам самим, потому что делает нас добрее, справедливее и мудрее.

Феликс Лев заканчивает свою книгу словами: «Но счастлив бывает человек, которому выпадает удача пронести сквозь всю свою жизнь свет детства». Да, это, несомненно, редкое счастье. И закрывая книгу, хочется еще сказать: «Счастлив бывает человек, которому в детстве удается встретить умного и доброго взрослого друга — отца, воспитателя, педагога».

Н. Беккермай.

★

ПОДВИГ АКТЕРА. М. ВТО. 1970. 234 стр.

ТАЛАНТ И МУЖЕСТВО. Кн. 2. М. «Искусство». 1970. 255 стр.

Выпущенная Всероссийским театральным обществом книга воспоминаний «Подвиг актера», казалось бы, ставит задачу довольно частную и достаточно скромную — воссоздать историю фронтовых театров ВТО. Скромны в литературном отношении и высказывания участников, что производит впечатление неоспоримой подлинности, почти документальности. Авторы говорят о разном. Дневники актрисы Е. Наумовой фиксируют драматичные и комедийные штрихи актерского военного быта. Строгое и лаконичное повествование ныне известного режиссера Андрея Гончарова — не только о начале его собственной творческой биографии, но и о подвижническом труде старейшин актерского цеха, ветеранов, работавших на передовой. В воспоминаниях возникают образы Дикого, Михоэлса, Яблочкиной — людей, чей энтузиазм озарял каждое начинание под девизом «все для фронта». Но о чем бы вы ни узнавали из сборника, герой и автор здесь — понятия тождественные, хотя ни один из авторов не считает себя героем...

Так же, как не считают свою жизнь в дни войны чем-то незаурядным ни Алла Тарасова, ни Каярел Ирд, ни Александр Бениаминов, ни Березин и Тимошенко, встретившиеся на страницах книги «Талант и мужество». Примечательно, что при абсолютном несходстве художественских индивидуальностей оба сборника отличаются глубокой общностью. Общностью духовного облика участников. Общностью их мировосприятия. И наконец, даже общностью «предлагаемых обстоятельств», в которых развертывается действие.

Спектакли идут в землянке, в чаще леса, под крылом самолета на военном аэродроме, на палубе линкора, на стыкованных грузовиках. Маршруты повторяются. От стен Брестской крепости — к предместьям Москвы и окраинам Ленинграда. Через опаленные, измученные города Восточной Европы — к Берлину, увешанному белыми простынями, платками, полотенцами — первыми знаками подписанной в Карлсхорсте капитуляции. Вы словно вместе с актерами оставляете свои автографы на развалинах рейхстага. Подобный «эффект присутствия», ощущение непосредственной причастности к событиям достигнут яркостью и силой исторических фактов.

Обе книги ставят и немаловажные проблемы творческого порядка. Это прежде всего содержательные размышления о классической и современной пьесе в условиях войны. Об истоках популярности первой и гражданской агитационной роли второй. Это интереснейшие выводы о восприятии музыкальной классики на фронте. И наконец, занимающие почти всех без исключения актеров-фронтовиков качественно новые связи театра и зрителя. Ведь одно дело — успех сегодняшнего спектакля, выраженный аплодисментами мирно расходящейся публики. И совсем иное дело — успех спектакля, вызывающего митинг солдат, тут же уходящих в бой. Миссия искусства, долг художника — в дни войны

эти понятия предстают во всей своей сокровенной сути. Единство мастера и масс как необходимый стимул творчества — такова определяющая тема сборников. Читая их, оцениваешь высоту морально-этических норм, удивительную духовность людей войны.

Соответствие творчества мастера его душевным качествам — вот о чем напоминают сегодня литературные портреты, собранные в книге «Талант и мужество». Здесь звучат голоса видных советских журналистов и театральных критиков — Е. Боннэр и А. Свободина, Н. Жегина и О. Дзюбинской, Н. Морозовой и Г. Храмовича. От них мы узнаем о необычной и трагической судьбе первого исполнителя песни «Орленок» — Александра Окамова, расстрелянного фашистами. Мы знакомимся с удивительной, романтической партизанской жизнью безвременно ушедшего вахтанговца Максима Грекова. Мы видим полный душевной щедрости и обаяния образ Клоуна — Михаила Шуйдина в очерке Евг. Богата. А Сим. Дрейден ведет читателя по военным госпиталям. Здесь, не считаясь с усталостью и преклонным возрастом, замечательная актриса — ленинградка Елена Жихарева не только читала раненым стихи и прозу, но своим материнским теплом и заботой помогла выжить сотням солдат. В каждом очерке словно горит свет неповторимой человеческой индивидуальности. Это действительно портретная галерея, где не найдешь досадных журналистских штампов и общих мест. А если таковые и проступают в очерке В. Владыкиной о певице Нине Исаковой, они огорчительно далеки от задач книги и ее атмосферы. Атмосферы, полной живых чувств, глубоких раздумий и нерядовых поступков. Атмосферы, где все поверяется событиями Великой Отечественной войны. И по прошествии трех десятилетий не исчезает читательский интерес к книгам, воскрешающим годы 1941—1945.

Е. Луцкая.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу.— О праве наций на самоопределение.— О национальной гордости великороссов. 120 стр. Цена 12 к.

А. Коршунов. Теория отражения и творчество (Над чем работают, о чем спорят философы). 256 стр. Цена 25 к.

С. Попов. Как правые социалисты воюют против социализма. 128 стр. Цена 19 к.

А. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче. 128 стр. Цена 16 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. Сказки времени. 215 стр. Цена 41 к.

Ю. Антропов. Белая душа. Рассказы и повести. 295 стр. Цена 60 к.

Р. Асаев. Белое облако. Стихи. Перевод с осетинского. 102 стр. Цена 29 к.

В. Баныкин. Шагающие деревья. Рассказы и повесть. 256 стр. Цена 52 к.

Ю. Величенко. А рядом ходит человек... Стихи. 88 стр. Цена 22 к.

Н. Бирюнов. Твердая земля. Роман. 432 стр. Цена 85 к.

С. Велиев. Узлы. Роман. Перевод с азербайджанского. 381 стр. Цена 71 к.

С. Винулов. А всего и помнится... Стихи и поэмы. 86 стр. Цена 36 к.

В. Волькенштейн. Спартак.— Папесса Иоанна.— Смерть Линкольна. Трагедии. 264 стр. Цена 84 к.

Н. Глазков. Творческие командировки. Стихи. 128 стр. Цена 34 к.

А. Кулешов. Сосна и береза. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. 152 стр. Цена 53 к.

А. Малышев. Тринадцатый кордон. Роман. 240 стр. Цена 47 к.

К. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Вступительная статья В. Базанова и А. Архиповой. («Библиотека поэта») 480 стр. Цена 1 р. 9 к.

Б. Сангаджиева. Молодая звезда. Стихи. Перевод с калмыцкого. 79 стр. Цена 25 к.

Г. Цуринова. Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия. 311 стр. Цена 83 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Ильф и Е. Петров. Золотой теленок. Роман. Рисунки Кукрыниксы. 358 стр. Цена 3 р. 85 к.

Р. Маргиани. Стихи. Перевод с грузинского. 319 стр. Цена 85 к.

С. Рустам. Каспийские волны. Стихи. Перевод с азербайджанского. Вступительная статья П. Антокольского. 142 стр. Цена 47 к.

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. Романы. Вступительная статья Л. Якименко. Иллюстрации О. Верейского. («Библиотека всемирной литературы») 783 стр. Цена 2 р. 19 к.

А. Фатьянов. Соловьи. Стихотворения и песни. Предисловие В. Гончарова и Н. Старшинова. 191 стр. Цена 58 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Бараташвили. Американские нравы. Рассказы. 112 стр. Цена 52 к.

С. Баруздин. О войне. Роман и повести. 477 стр. Цена 1 р. 3 к.

А. Вансберг. Поединок столетия. Димитров. Документальная повесть. 208 стр. Цена 32 к.

Б. Димитрова. Страшный суд. Роман — путевой дневник. Перевод с болгарского В. Солоухина. 237 стр. Цена 76 к.

Б. Камов. Обыкновенная биография. Аркадий Гайдар («Жизнь замечательных людей») 415 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Пысин. Избранная лирика. Перевод с белорусского К. Кулиева. 31 стр. Цена 11 к.

Н. Суханова. Когда становятся короче дни. Повесть. Рассказы. Предисловие Н. Тихонова. 240 стр. Цена 34 к.

У. Хашимов. День мотылька. Повесть и рассказы. Перевод с узбекского. 190 стр. Цена 28 к.

Е. Шатьно. Река человеческая. Повести и рассказы. 239 стр. Цена 55 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Есенин. Стихотворения и поэмы. 191 стр. Цена 40 к.

Р. Зернова. Рассказы про Антона. 41 стр. Цена 25 к.

В. Киселев. Девочка и птицелет. Роман. 223 стр. Цена 48 к.

Я. Коларова. Дома на зеленом лугу. Повесть. Перевод с чешского. 159 стр. Цена 37 к.

В. Левшин. Новые рассказы Рассеянного Магистра. Математический детектив. 175 стр. Цена 50 к.

К. Луческой. Вещи поют. Рассказы о технической эстетике. 127 стр. Цена 42 к.

Мир приключений. Альманах. 734 стр. Цена 1 р. 51 к.

Н. Носов. Дружок. Рассказы. 76 стр. Цена 27 к.

По дорогам сказки. Сказки писателей разных стран в пересказах Т. Габбе и А. Любарской. Оформление В. Конашевича. 400 стр. Цена 96 к.

Э. Цюрупа. Доброе утро, малышки! Повесть. 302 стр. Цена 95 к.

Е. Яхнина и М. Алейников. Шарло Бонтар. Историческая повесть. 288 стр. Цена 58 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Адамов. Гривастое солнце. Стихи. 144 стр. Цена 30 к.

Н. Евдокимов. Сказание о Нюрке — городской жительнице. Повесть. 112 стр. Цена 22 к.

Л. Каратеев. Здравствуйте. Стихи. 128 стр. Цена 34 к.

М. Колосов. Карповы эпопеи. Повести и рассказы. 352 стр. Цена 62 к.

Д. Кузовлев. Земля и люди (Письма из деревни). 56 стр. Цена 9 к.

В. Пальман. Земля в теплых ладонях. Очерки. 144 стр. Цена 20 к.

В. Пасецкий. Отогревшие землю. Книга об освоении Арктики. 238 стр. Цена 69 к.

О. Поскребышев. Как черный хлеб. Стихи. 112 стр. Цена 27 к.

Н. Потапов. Встречи без стенограмм. Воспоминания. 144 стр. Цена 21 к.

Р. Радовская. Высоко в горах. («Короткие повести и рассказы») 112 стр. Цена 20 к.

М. Рапов. Зори над Русью. Роман. 736 стр. Цена 1 р. 51 к.

И. Рыжов. Кинь грусть. («Короткие повести и рассказы») 112 стр. Цена 20 к.

В. Семенов. Аннушка. Стихи. 50 стр. Цена 27 к.

И. Тропп. Нас водила молодость. Документальная повесть. 112 стр. Цена 18 к.

«ИСКУССТВО»

Вера Николаевна Пашенная. Статьи. Воспоминания. Составители И. Полонская и А. Штейн. 303 стр. Цена 1 р. 83 к.

С. Герасимов. Жизнь. Фильмы. Споры. Страницы автобиографии. О моей профессии. Полемика. Портреты. Для молодых и о молодых. 255 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Козинцев. Глубокий экран. 254 стр. Цена 1 р. 63 к.

Е. Львова. Искусство Болгарии. Очерки. 179 стр. Цена 2 р. 40 к.

Мифы и реальность. Буржуазное кино сегодня. Сборник статей. Выпуск 2. 264 стр. Цена 1 р. 32 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Ханай. Социалистическое право и личность. Перевод с немецкого. 336 стр. Цена 1 р. 33 к.

«МЫСЛЬ»

В. Веселовский. О сущности живой материи. 295 стр. Цена 1 р. 14 к.

Р. Ермолаева и А. Манусевич. Ленин и польское рабочее движение. 503 стр. Цена 2 р. 4 к.

Перспективное планирование и долгосрочные экономические прогнозы. Под редакцией М. З. Бора, В. К. Полторыгина и И. Ф. Суслова. 159 стр. Цена 66 к.

«ЭКОНОМИКА»

С. Батышев. Формирование квалифицированных кадров в СССР. 214 стр. Цена 1 р. 6 к.

В. Краснова, А. Фельзер и Е. Пршедромирская. Рационализация делопроизводства. 79 стр. Цена 21 к.

Р. Нечаева. Организация сбыта промышленной продукции в ГДР (В помощь работнику материально-технического снабжения и сбыта). 40 стр. Цена 12 к.

«НАУКА»

Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV—нач. XVI вв. Коллектив авторов. 402 стр. Цена 2 р. 40 к.

Археологические открытия 1970 г. Сборник статей. 471 стр. Цена 2 р. 28 к.

Р. Балдаев. Народное образование в Монгольской Народной Республике. 134 стр. Цена 61 к.

И. Беглов. США: собственность и власть. 544 стр. Цена 2 р. 3 к.

Э. Вильховченко. Критика современной буржуазной теории «человеческих отношений в промышленности». 206 стр. Цена 62 к.

В. Дмитренко. Торговая политика Советского государства после перехода к нэпу. 1921—1924 гг. 271 стр. Цена 1 р. 32 к.

Ежегодник германской истории. 1969. 512 стр. Цена 2 р. 22 к.

Н. Ермошкин и И. Сучков. Печать, радио, телевидение республики Индии. 66 стр. Цена 21 к.

Исследование по славянскому языкознанию. Сборник статей. 500 стр. Цена 2 р. 15 к.

В. Кривневич. Влияние научно-технического прогресса на изменение структуры рабочего класса СССР. Итоги и перспективы. 319 стр. Цена 1 р. 48 к.

Мировая социалистическая система. Некоторые проблемы развития на современном этапе. Сборник статей. 250 стр. Цена 1 р. 16 к.

Некоторые вопросы идеологической борьбы в странах Азии и Африки. Сборник статей. 290 стр. Цена 1 р.

В. Панфилов. Взаимоотношения языка и мышления 232 стр. Цена 1 р. 18 к.

Проблемы интеграции в Африке. Сборник докладов. 78 стр. Цена 24 к.

Социально-политические сдвиги в странах развитого капитализма. Очерки. 502 стр. Цена 2 р. 19 к.

В. Тюрин. Теуку Умар — национальный герой Индонезии. Очерк. 88 стр. Цена 28 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Алексеев. Социальная ценность права в советском обществе. 224 стр. Цена 1 р. 24 к.

Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 13. 192 стр. Цена 58 к.

А. Игнатов. Уголовный закон охраняет права несовершеннолетних. 86 стр. Цена 13 к.

И. Ильинский, Б. Страун и Б. Топорнин. ГДР. Основы государственного строя. 232 стр. Цена 73 к.

М. Кольнер. Из практики следователя. 64 стр. Цена 7 к.

А. Тишков. Рудольф Абель перед американским судом. 72 стр. Цена 8 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/VI 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 9/VIII 1971 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 11722. Зак. 2264. Тираж 165.000 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.

«НОВЫЙ МИР» В 1972 ГОДУ

В 1972 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать следующие произведения:

- Ф. Абрамов** — «Костры осенние», роман;
- Ч. Айтматов** — «Путешествие по героической книге», повесть;
- Г. Бакланов** — «Друзья», роман;
- А. Бек** — новый роман;
- В. Быков** — «Обелиск», повесть;
- Г. Владимов** — «А земля пребывает вовеки», роман;
- Н. Воронов** — «Два города», роман;
- Е. Герасимов** — «Море в Черкассах», повесть;
- Л. Гинзбург** — «Последнее слово», документальная повесть;
- Ф. Искандер** — «Сандро из Чегема», повесть;
- В. Катаев** — новая повесть;
- В. Кетлинская** — «Вечер, окна, люди», роман;
- В. Некрасов** — «Городские прогулки», рассказы;
- В. Попов** — «И это называется будни», роман;
- А. Рекемчук** — «Пророк в своем отечестве», повесть;
- В. Семин** — «Женя и Валентина», роман;
- Л. Славин** — «Неистовый», роман;
- В. Тендряков** — новая повесть;
- Ю. Трифонов** — «Исход», роман;
- К. Федик** — «Костер», главы из романа;
- В. Шукшин** — рассказы;
- Эрве Базен** — «Счастливыцы с острова Отчаяния», роман, перевод с французского;
- Уильям Пирсон** — «Лихорадка в крови», роман, перевод с английского.

В прозаическом разделе журнала также предполагается опубликовать произведения **А. Ананьева**, **С. Антонова**, **В. Астафьева**, **В. Белова**, **Ю. Бондарева**, **А. Борщаговского**, **М. Ганиной**, **О. Гончара**, **Д. Гранина**, **Ю. Домбровского**, **Е. Дороша**, **Е. Драбкиной**,

Н. Дубова, Н. Евдокимова, С. Залыгина, Г. Комракова, В. Конецкого, Г. Коновалова, В. Лихоносова, Н. Мельникова, Ю. Нагибина, П. Нилина, Е. Носова, Б. Полевого, Г. Радова, Е. Ржевской, В. Рослякова, А. Рыбакова, Д. Сергеева, И. Соколова-Микитова, Г. Троепольского, В. Фоменко, А. Шарова и других.

В журнале будут напечатаны воспоминания **Н. Атарова** «Валентин Овечкин», Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента Академии наук СССР **М. Емельянова** «Путь в студенчество», Маршала Советского Союза **Н. Крылова** «Огненный бастион», **Н. Любимова** «Записки театрала», народного артиста СССР **И. Моисеева** «Противостояние», **Е. Мухиной** «Восемь сантиметров» (записки радистки-разведчицы), народного артиста СССР **Г. Товстоногова** «Круг мыслей», **М. Шагинян** «Человек и время» (продолжение), **А. Штейна** «Портрет друга» (о Юрии Германе), **С. Щипачева** «Трудная отрада».

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи **Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, О. Вацетиса, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Зульфийи, М. Исаковского, С. Капутикян, М. Карима, В. Корнилова, В. Коротича, Д. Кугультинова, А. Кулешова, Ю. Левитанского, В. Лифшица, М. Луконина, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Л. Первомайского, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Я. Смелякова, Вл. Соколова, М. Танка, А. Тарковского, Н. Тихонова, В. Цыбина, О. Чиладзе, О. Чухонцева, В. Шефнера, С. Щипачева, Г. Эмина** и других.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес.
8 р. 40 к.

6 мес.
4 р. 20 к.

3 мес.
2 р. 10 к.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

Цена 70 коп.

70636